

Н. К. МИХАЙЛОВСКІЙ.

ЛИТЕРАТУРА И ЖИЗНЬ

(ПИСЬМА О РАЗНЫХЪ РАЗНОСТЯХЪ).



Цѣна 1 рубль.

INSTITUT

BADAŃ LITERACKICH PAN

BIBLIOTEKA

00-330 Warszawa, ul. Nowy Świat

Tel. 26-68-63



С.-ПЕТЕРБУРГЪ.

ТИПОГРАФІЯ ГАЗЕТЫ «НОВОСТИ», ЕКАТЕРИННИНСКІЙ КАНАЛЬ, Д. № 113.

1892.



24.147

О г л а в л е н і е.

	стр.
О драмѣ Додэ, о романѣ Бурже и о томъ, кто виновать	1
О совѣсти г. Минскаго	44
Объ XVIII передвижной выставкѣ	67
О Крейцеровой сонатѣ	79
Объ отцахъ и дѣтяхъ и о г. Чеховѣ	89
Объ ошибкахъ исторической перспективы	101
О женщинахъ и о донъ-жуанахъ	113
О воспитаніи и наслѣдственности.	124
О буддизмѣ	132
О трудномъ положеніи русскаго читателя	164
Кое о чемъ	176
О г. Потапенкѣ	186
Объ одномъ соціологическомъ вопросѣ	197
Памяти Г. З. Елисеева	204
О новыхъ мозговыхъ линіяхъ	216
О живой старинѣ	224
О нѣкоторыхъ явленіяхъ французской жизни	234
О Лермонтовѣ	244
О гр. А. Толстомъ и о наркотикахъ	253
Объ Иудѣ предателѣ и о XIX передвижной выставкѣ	263
Памяти Н. В. Шелгунова	273
Опять объ отцахъ и дѣтяхъ	281
Изъ литературныхъ воспоминаній и текущей жизни	290

OTARBIHIS

ПРЕДИСЛОВІЕ.

Эта книжка составилась изъ фельетоновъ, напечатанныхъ въ „Русскихъ Вѣдомостяхъ“ (одинъ—въ „Волжскомъ Вѣстникѣ“) за 1890 и 1891 годы, подъ заглавіемъ „Письма о разныхъ разностяхъ“, и нѣсколькихъ статей, напечатанныхъ въ „Русской Мысли“ за 1891 г. подъ заглавіемъ „Литература и жизнь“. Оба эти заглавія я счелъ нужнымъ сохранить и для настоящей книжки, такъ какъ оба они равно соотвѣтствуютъ ея содержанію. Ничего вновь написаннаго въ книжкѣ нѣтъ. Я лишь исключилъ или отложилъ, по разнымъ соображеніямъ, кое-что изъ напечатаннаго подъ упомянутыми заглавіями. Такъ, изъ „Писемъ о разныхъ разностяхъ“ исключены статьи объ Иванѣ Грозномъ, потому что я рассчитываю впоследствии дать имъ другую обработку. Исключена одна изъ статей „Русской Мысли“, потому что въ ней начатъ разговоръ, которому, по обстоятельствамъ, не суждено было кончиться. Исключено и еще кое-что. Измѣненій же въ томъ, что перепечатано въ книжкѣ, не сдѣлано рѣшительно никакихъ.

Ник. Михайловскій.

PERIPHERAL

The present work is a study of the peripheral nervous system in the human being. It is a study of the structure and function of the peripheral nervous system, and of the changes which take place in it in disease. The work is divided into two parts, the first dealing with the structure and function of the peripheral nervous system, and the second with the changes which take place in it in disease. The first part is divided into two sections, the first dealing with the structure and function of the peripheral nervous system, and the second with the changes which take place in it in disease. The second part is divided into two sections, the first dealing with the changes which take place in it in disease, and the second with the changes which take place in it in disease.

Wm. H. W. W.

О драмѣ Додэ, о романѣ Бурже и о томъ кто виноватъ.

I.

Въ «Русскихъ Вѣдомостяхъ» было недавно приведено содержаніе бесѣды сотрудника одного американскаго журнала съ Эмилемъ Зола. Французскій романистъ говорилъ, по обыкновенію, о торжествѣ «натурализма» и о проискахъ его враговъ. Между прочимъ, враги эти, «видя все болѣе и болѣе возрастающій успѣхъ произведеній новой школы, задумали переводить и популяризировать романы Джорджа Эллиота съ цѣлью вызвать реакцію въ пользу идеалистическаго направленія. Но реализмъ этой писательницы, произведенія которой проникнуты мрачной и скучной философіей, не пришлось по вкусу французской публикѣ». Обратились къ русскимъ писателямъ, и эта попытка имѣла нѣкоторый успѣхъ. «Благодаря ей,—сказалъ Зола,—намъ сдѣлались доступны два—три дѣйствительно замѣчательныхъ произведенія». Причина этого сравнительно большаго успѣха кроется въ томъ, что «русскіе взяли отъ насъ нѣкоторыя идеи и, прекрасно усвоивъ и переработавъ ихъ въ славянскомъ духѣ, представили намъ въ своихъ произведеніяхъ». Изъ этого не слѣдуетъ однако, чтобы русская литература оказала дѣйствительное вліяніе на французскую. «Только объ одномъ Бурже можно сказать, что его талантъ испыталъ на себѣ ея вліяніе, да и это еще можетъ быть подвержено сомнѣнію». Во всякомъ случаѣ французская литература переживаетъ нынѣ кризисъ, который Зола характеризовалъ такъ: «Послѣ того удара, который нанесъ господствовавшему направленію натурализмъ, стала чувствоваться потребность нѣкоторой реакціи. Человѣкъ неудержимо стремится къ счастью, оно—постоянный предметъ его желаній. При помощи положительнаго, научнаго метода мы заставили

его увидѣть зло во-очію, посмотрѣть на жизнь, какова она есть на самомъ дѣлѣ. Но мы не дали ему утѣшенія. Онъ благодаренъ намъ за то, что мы сдѣлали въ интересахъ раскрытія правды, но онъ дастъ намъ понять, что онъ еще не удовлетворенъ. Такъ надо думать. Но что можетъ въ концѣ-концовъ дать это удовлетвореніе? До сихъ поръ это вопросъ открытый. Символистическая школа дѣлаетъ усилія въ этомъ направленіи, но она еще не дала намъ ни одного замѣчательнаго произведенія. Талантъ Мопассана развился, развился и талантъ Бурже. Но ихъ произведенія, при всей оригинальности и несомнѣнныхъ достоинствахъ, не дали новой формулы. Мы остаемся въ періодѣ ожиданія и неудовлетворенности»...

Далѣе Зола распространялся о своихъ собственныхъ планахъ. Еще нѣсколько лѣтъ займетъ у него завершеніе серіи Руголь-Маккаръ, а затѣмъ онъ будетъ частью писать романы, по «отрѣзаннымъ отъ того крайняго направленія, которому слѣдовало до сихъ поръ», а частью займется критикой. Онъ сказалъ американскому журналисту: «У меня найдется сказать нѣчто новое. Я отмѣчу нѣкоторые новыя теченія въ литературѣ послѣдняго времени и дамъ имъ философскую оцѣнку».

Крупный беллетристическій талантъ Эмиля Зола, къ сожалѣнію, не мѣшаетъ ему быть человѣкомъ совершенно необразованнымъ. Это была бы еще не очень большая бѣда, потому что, во-первыхъ, знаніе—дѣло наживное, и учиться никогда не поздно; потому, во-вторыхъ, что такой наблюдательный и талантливый человѣкъ, какъ Зола, можетъ и безъ обширнаго образованія сдѣлать многое, если только будетъ помнить, чего именно ему не достаетъ и во что ему, слѣдовательно, лучше не пускаться. Въ своихъ прежнихъ писаніяхъ по теоріи искусства и литературной критикѣ, хорошо извѣстныхъ русской публикѣ, Зола слишкомъ ясно обнаружилъ невѣдѣніе границъ своего невѣдѣнія. «Экспериментальный романъ», «научная формула романа», «аналитическій методъ», «новѣйшія науки», «романисты-анатомы», «романисты-химики»,—весь этотъ смѣшной наборъ «ученыхъ» словъ и фразъ, импонируя развѣ ужъ очень наивнымъ читателямъ, опьяняющимъ образомъ дѣйствовалъ на самого Зола. Онъ дошелъ наконецъ до того, что провелъ курьезнѣйшую параллель между Клодомъ - Бернардомъ и собою, Эмилемъ, Зола, какъ дѣятелями науки. Это были Геркулесовы столбы, дойдя до которыхъ, Зола, сколько мнѣ извѣстно, замолкъ какъ теоретикъ, и обратился къ своему настоящему дѣлу. Вышеприведенная его бесѣда съ американскимъ журналистомъ свидѣтельствуетъ однако, что онъ далеко не отказался отъ дѣла, ему несвойственнаго. Въ ожиданіи будущаго, когда онъ предъявитъ «философскую оцѣнку» разныхъ литературныхъ теченій, онъ и теперь, если не въ печати, то въ словесной бесѣдѣ, сыплетъ словечками вроде «научнаго, положительнаго метода», «новой формулы» и т. д. Надо думать, что талантливый ро-

манисть и доселѣ не усвоилъ себѣ значенія этихъ «ученыхъ» словъ и цеголяетъ ими въ полной невинности. Разговоръ съ американскимъ журналистомъ былъ кратокъ или переданъ вкратцѣ, а потому многое остается неяснымъ. Но основная самоувѣренность Зола достаточно сквозитъ въ его сужденіи о русской литературѣ. Что русская литература многимъ обязана французской, и даже въ гораздо большей степени, чѣмъ это кажется Эмилю Зола, — это несомнѣнно; но несомнѣнно также, что нашъ русскій реализмъ или, пожалуй, натурализмъ будетъ много постарше натурализма Зола, постарше и посерьезнѣе. Въдѣ «два - три дѣйствительно замѣчательныя произведенія» русской литературы, которыя стали въ послѣднее время доступны французамъ, благодаря переводу, ужь конечно не заключаютъ въ себѣ «цѣлоторыхъ идей, заимствованныхъ у насъ», — кого бы ни разумѣлъ Зола подъ этими *нами*.

Несмотря однако на все эти наивности и странности, въ разговорѣ Зола съ американскимъ журналистомъ есть одно указаніе, очень любопытное и тѣмъ болѣе цѣнное, что оно сопровождается косвеннымъ отреченіемъ отъ «натурализма». Изъ словъ Зола видно, что французское общество не довольно натурализмомъ, не удовлетворено этимъ направлениемъ, орудующимъ будто-бы при помощи «положительнаго, научнаго метода». И для руководителя, открывшаго «новую формулу», Зола, можетъ быть даже съ излишней торопливостью, готовъ удовлетворить новому запросу литературнаго рынка: онъ обѣщаетъ «отрѣшиться отъ того крайняго направленія, которому слѣдовалъ до сихъ поръ». Такимъ образомъ, начавъ за здравіе натурализма, Зола кончаетъ за упокой его.

Понятно, что никакого «положительнаго, научнаго метода» Зола никогда не употреблялъ и не могъ употреблять, по той простой причинѣ, что область науки сама по себѣ, а область искусства сама по себѣ. Подъ натурализмомъ, какъ онъ выяснился въ романахъ, повѣстяхъ и разсказахъ Зола и К^о, слѣдуетъ разумѣть совокупность трехъ чертъ далеко не равнаго достоинства и отнюдь не необходимо одна съ другой связанныхъ. Это, во-первыхъ, стремленіе изображать жизнь, какъ она есть, безъ прикрасъ, безъ фальшивой идеализаціи, не обходя мрачныхъ сторонъ. Это въ сущности то самое теченіе, которое у насъ еще въ сороковыхъ годахъ образовало такъ-называемую натуральную школу и продолжается въ лучшихъ представителяхъ нашей литературы доселѣ, давно переживъ свою кличку. Жило оно и во Франціи задолго до Эмиля Зола и если получило въ трудахъ его и его единомышленниковъ новыи и очень талантливый толчекъ, то вмѣстѣ съ тѣмъ осложнилось двумя особенностями, отнюдь не привлекательными. По справедливому замѣчанію Щедрина, французскіе «натуралисты» слѣдали центромъ своихъ художественныхъ заботъ «сильно дѣйствующій торсъ, не прикрытый даже фиговымъ листомъ», чтѣ, понятно, вовсе не требуется основной идеей натурализма: не только свѣта, чтѣ въ окошкѣ, не только правды,

что подъ фиговымъ листомъ. А кромѣ того, французскіе «натуралисты» очень ужъ налегли, говоря quasi-ученымъ языкомъ Эмиля Зола, на «детерминизмъ явленій», на убѣжденіе, что все существующее необходимо и инымъ, какъ оно есть, быть не можетъ. Безспорная истина; но когда она подаетъ поводъ для уподобленія романиста или вообще беллетриста «безстрастному анатому», ничѣмъ не восхищающемуся и ни о чемъ не скорбящему, то она въ значительной степени утрачиваетъ свой характеръ истины; ибо вѣдь и восхищеніе, и скорбь тоже имѣютъ свое мѣсто въ «детерминизмѣ явленій»: есть явленія, которыя должны, необходимо должны вызывать негодованіе, радость, смѣхъ, и всякіе толки о холодной стали анатомическаго ножа, о непререкаемости взаимодѣйствія химическихъ реактивовъ—въ такихъ случаяхъ просто смѣшная бляга. Такую именно смѣшную блягу представляютъ собою теоретическія разсужденія Зола. Скрывающійся подъ нею нравственно-политическій индифферентизмъ, надо думать, воспитанный душнымъ режимомъ второй имперіи, не есть какая-нибудь новость. Онъ слишкомъ часто игралъ свою роль въ исторіи и очень рѣдко имѣлъ двусмысленное мужество объявляться въ обнаженномъ видѣ. Большею-же частью онъ прикрывается модными въ данную минуту теоретическими ученіями, будь то гегеліанская метафизика или «положительный, научный методъ». Этотъ «методъ» самъ по себѣ, разумѣется, не при чемъ въ дѣлѣ Эмиля Зола, который орудуетъ имъ именно какъ моднымъ, т. е. не вникая въ его настоящій смыслъ и значеніе и даже просто не понимая того, о чемъ онъ говорить. «Анатомическій ножъ», «аналитическій методъ» и проч. чисто-механически приставлены къ тремъ вышепоименованнымъ чертамъ французскаго натурализма, которыя явственно проглядываютъ и въ послѣднемъ произведеніи Зола—«*La bête humaine*», еще не оконченномъ въ ту минуту, когда я пишу это. Повидимому, въ этомъ романѣ найдутъ себѣ мѣсто разныя «звѣрства», но центральнымъ окажется то крайнее извращеніе полового инстинкта, которое выражается непреодолимымъ желаніемъ убить или изувѣчить жертву сладострастія. Это—хорошо извѣстное явленіе, и въ любомъ учебникѣ психіатріи Зола можетъ найти подходящіе для него матеріалы. Дѣлая его предметомъ художественнаго воспроизведенія въ обстановкѣ собственныхъ житейскихъ наблюденій, Зола несомнѣнно рисуетъ или хочетъ рисовать жизнь, какъ она есть. Но, во-первыхъ, «жизнь» сведена здѣсь къ тому «сильно дѣйствующему тореу, не прикрытому даже фиговымъ листомъ», о которомъ говорить покойный Щедринъ, а во-вторыхъ, во славу «детерминизма явленій», сюжетъ выбранъ заведомо психіатрической и тѣмъ самымъ изъятый изъ области нравственнаго суда и отвѣтственности. О человѣкѣ, одолѣваемомъ этою страшною формою душевной болѣзни, только и можно сказать: вотъ больной человѣкъ, достойный даже сожалѣнія, не смотря на все свое звѣрство. Онъ не виноватъ, какъ не

виновать курносый въ томъ, что онъ курносъ, а горбоносый въ томъ, что онъ горбоносъ. Но вѣдь онъ *подло* заманилъ свою жертву въ удивленное мѣсто (не знаю, такъ-ли у Зола, но это все равно), онъ *безсовѣстно* надругался надъ ней, онъ *гнусно* любовался ея страданіями!.. Подло, безсовѣстно, гнусно!.. Но какой-же смыслъ имѣють эти слова осужденія, когда мы признали эту *bête humaine* суду не подлежащею? А кровь и страданія жертвы все-таки вопіють о себѣ, и, какъ-бы точно и тонко ни была воспроизведена вся драма, читатель непремѣнно останется неудовлетвореннымъ. Останется въ немъ что-то колебательное и трудное, какой-то вопросительный знакъ. Что-то нужно рѣшить, на что-то нужно самому себѣ отвѣтить, а между тѣмъ не только отвѣта нѣтъ, но и самый вопросъ не ясенъ. Состояніе это было-бы просто даже мучительно, если-бы романистъ не отвлекъ вниманія читателя въ сторону кровавыхъ подробностей фабулы и не вызвалъ ими своего рода наркоза. Конечно, ни Зола, ни какой другой романистъ, который возьмется за воспроизведеніе сюжета вродѣ осложненія полового чувства маніей убійства, не виноваты въ томъ, что такіе факты есть: они фотографируютъ дѣйствительность, въ которой ничего не властны измѣнить. Это такъ, но они властны направить свой фотографическій аппаратъ на тотъ или другой предметъ, и за выборъ этотъ, конечно, отвѣтственны. Понятно, что одна ласточка весны не дѣлаетъ, и одинъ романъ вродѣ «*La bête humaine*» не даетъ повода для обобщеній. Но онъ не одинъ. Не всегда «натуралисты» берутъ психіатрическіе сюжеты, но такъ или иначе, этимъ или другимъ путемъ, они обходятъ пунктъ нравственнаго суда и отвѣтственности. Щеголяя отдѣлкою подробностей, они топятъ въ ихъ «детерминизмъ», т. е. въ ихъ неизбѣжной послѣдовательности, всякій протестъ противъ зла. Фактъ этотъ объясняется, я полагаю, просто нравственно-политическимъ индифферентизмомъ, а Зола своими неудачными теоретическими упражненіями пытался оправдать его и возвести въ принципъ.

Теперь Зола обѣщаетъ отрѣшиться отъ этого «крайняго направленія», которое очевидно стало, наконецъ, претить французскому обществу. Не смотря на компизмъ своихъ экскурсій въ область ученыхъ словъ, Зола—человѣкъ большого здраваго смысла и хорошо понялъ не только фактъ неудовлетворенности читателей *quasi*-научнымъ методомъ, но и причину этой неудовлетворенности. «Человѣкъ неудержимо стремится къ счастью,—говоритъ онъ,—а мы не дали ему утѣшенія; онъ благодаренъ намъ за правду, но еще не удовлетворенъ». Предоставить человѣку счастье—не дѣло романистовъ, но если разумѣть подъ счастіемъ удовлетвореніе потребностей, то и романисты могутъ внести сюда свою лепту, въ предѣлахъ своей дѣятельности. «Натуралисты» удовлетворяли или стремились удовлетворять потребности познанія предъявленіемъ подлинной правды жизни, какъ она есть. Въ общемъ картина получилась

нехорошая, до такой степени нехорошая, что вотъ, по словамъ Зола, понадобилось утѣшеніе, которое, когда выяснится, въ чемъ оно можетъ или должно состоять, дать «новую формулу» романа. Утѣшеніе не можетъ, конечно, состоять въ извращеніи или сокрытіи правды; эта фальсификація, бывшая когда-то въ большемъ ходу, есть пройденная ступень, и къ ней нѣтъ возврата. Натуралисты имѣютъ право съ полнѣйшимъ презрѣніемъ отвергнуть требованіе подобнаго утѣшенія. Больше вниманія заслуживало-бы требованіе такихъ картинъ, въ которыхъ, какъ и въ самой жизни, было бы ужъ не сплошное зло и звѣрство, а и кое-что отъ добра. Но допустимъ, что зло такъ огромно, звучитъ такъ сильно, что заглушаетъ все другія, добрыя струны жизни, а потому воспроизведепіе этихъ добрыхъ звуковъ или ничего не измѣнить въ общей неутѣшительной картинѣ, или отведеть глаза отъ ея подлиннаго общаго смысла и слѣдовательно извратить его. Читатель съумѣетъ оцѣнить это обстоятельство и съ благодарностью приметъ изображеніе даже вынужденнаго зла, чѣмъ то, которое рисуютъ ему «натуралисты», назойливо тѣняясь около фигового листа; но только что-бы при этомъ прекратилось то мучительное, колебательно-вопросительное состояніе, которое вызывается неудовлетвореніемъ потребности нравственнаго суда. Въ этомъ и будетъ состоять утѣшеніе: усталый глазъ отдохнетъ на протестъ противъ зла.

Въ только-что вышедшей книжкѣ г. Минскаго «При свѣтѣ совѣсти» я нашелъ краснорѣчивую страничку о современной французской литературѣ (въ книжкѣ г. Минскаго много краснорѣчивыхъ страницъ, можетъ быть слишкомъ много и слишкомъ краснорѣчивыхъ). Собственно о «натуралистахъ» г. Минскій говоритъ слѣдующее:

«Ненависть къ людямъ—ихъ вдохновеніе, ихъ пагосъ. Къ изображаемымъ героямъ они относятся, какъ къ личнымъ врагамъ, ставятъ имъ на каждой страницѣ западню, ловятъ на словахъ, вскользя и съ ядовитой улыбкой упоминають объ ихъ притворной добродѣтели; наоборотъ, когда по ходу разсказа герой обнаруживаетъ низкія стороны своей натуры, писатель съ радостью замедляетъ дѣйствіе и отходитъ не раньше, чѣмъ расплешетъ до послѣдней капли всю грязь его души. Красота достается въ удѣлъ посудѣ и мебели, деревьямъ и камнямъ; въ человѣкѣ-же съ наслажденіемъ и точною изображаются звѣрство, обжорство, вѣроломство, развратъ, болѣзни. Эти романисты садятся писать съ затаенною надеждою доказать несбыточность какого-нибудь идеала: любви, вѣры, чести, дружбы,—и все ихъ произведенія не болѣе, какъ искусные эксперименты, артистически ловкій подборъ событий, что человѣкъ есть звѣрь».

О книжкѣ г. Минскаго когда-нибудь въ другой разъ. Теперь скажу только, что это нѣкоторая игра ума, нѣкоторый метафизическій фокусъ, осложненный или «осоленный», какъ любятъ выражаться авторъ, метафорами, уподобленіями, притчами, поэтическими экскурсіями. Въ первой части, изъ которой заимствовано вышеприведенное сужденіе о французскихъ натуралистахъ, авторъ облачается въ сатанинскую маску и без-

понадно разрушаетъ то самое, въ разрушеніи чего уличаетъ «натуралистовъ». Опъ тоже стремится доказать «несбыточность какого бы то ни было идеала: любви, вѣры, чести, дружбы» (потомъ этотъ малеванный чортъ оказывается, хотя и страшнымъ, но уже не до такой степени). Поэтому, произнося свое сужденіе о натуралистахъ, онъ, собственно говоря, не уличаетъ, въ укоризненномъ смыслѣ, не осуждаетъ ихъ, а просто констатируетъ фактъ, неизбѣжный на извѣстной ступени чело-вѣческаго развитія,—ступени очень высокой, той именно, на которой стоитъ самъ г. Минскій, загримированный сатаной, да еще вотъ Франція. Но сатанинскій гримъ украшаетъ физиономію г. Минскаго только въ первой части, а затѣмъ онъ поднимается на еще высшую ступень «познанія абсолютно несуществующихъ и непостижимыхъ мэоновъ». Что это за мэоны, объ этомъ, равно какъ и вообще о книжкѣ г. Минскаго, повторяю, въ другой разъ. Теперь съ насъ достаточно знать, что г. Минскій позналъ несуществующее и непостижимое, а Франція еще не познала.

Миѣ, грѣшному, вещи представляются вообще проще, чѣмъ онѣ изображены въ краснорѣчивой книжкѣ г. Минскаго. Онъ увѣряетъ, напри-мѣръ, что «когда мы встрѣчаемъ тѣло сильное, легкое, соразмѣрное, т. е. во всѣхъ частяхъ одинаково цѣлесообразное, насъ потрясаетъ блаженство, смѣшанное съ грустью; мы готовы упасть ницъ и молиться не прекрасному тѣлу, а святынь міра, вѣчной цѣли мірозданія, символомъ которой кажется намъ прекрасное тѣло». «Сильное, легкое, соразмѣрное тѣло», конечно, прекрасно, но я долженъ откровенно признаться, что при видѣ его меня не «потрясаетъ блаженство, смѣшанное съ грустью». Мало того, я не вѣрю, чтобы и г. Минскій, какъ только увидитъ ка-кого-нибудь, скажемъ, акробата (у этихъ людей очень часто бываетъ сильное, легкое и соразмѣрное тѣло), такъ сейчасъ и падетъ ницъ и молиться начнетъ. Такъ и относительно французскихъ натуралистовъ. Краски г. Минскаго слишкомъ густы, слишкомъ ярки. Ничего сатанин-скаго, демоническаго, чело-вѣконенавистническаго въ этихъ людяхъ, миѣ кажется, нѣтъ. Они бываютъ иногда, напротивъ, до нельзя наивны и во всякомъ случаѣ грѣшатъ не избыткомъ ненависти къ чему бы то ни было, а избыткомъ равнодушія. Изящную мебель и подлый поступокъ они изображаютъ съ одинаковою безучастностью. Отсюда эта подчасъ утомитель-ная детальность въ описаніи обстановки, костюмовъ и проч.; отсюда-же та тягостная сиротливость и непристроненость нравственнаго чувства, которую такъ часто приходится испытывать при чтеніи этихъ произведе-ній. Въ «*La Curée*», напри-мѣръ, изображены гнуснѣйшія отношенія между отцомъ, сыномъ и матерью. Нравственное чувство не можетъ не возмущаться этою гнусностью, но она изображена съ такою-же равно-душною тщательностью, какъ и прелестный зимній садъ, въ которомъ эта гнусность разыгрывается; а такъ какъ зимній садъ дѣйствительно прелестенъ, то и гнусность обнаружвается нѣкоторымъ поэтическимъ оре-

ломъ, хотя авторъ этого вовсе не хотѣлъ. Въ «*Nani*» графъ Мюффа есть настоящій скотъ въ образѣ чловѣка, недостойный ни сожалѣнія, ни участія. Но этотъ справедливыи приговоръ нравственнаго чувства невольно колеблется, когда вы читаете подробнѣйшее описаніе тѣхъ наругательствъ, которымъ графъ подвергается со стороны Нана, и это колебаніе тѣмъ болѣе тягостно, что Мюффа и въ эти минуты остается все тѣмъ-же скотомъ. Въ «*Pot bouille*» негоднйство Октава Мюре рѣшительно тонетъ въ блескъ его успѣховъ, расписанныхъ самыми яркими и соблазнительными красками; опять-таки отнюдь не потому, чтобы авторъ имѣлъ намѣреніе поэтизировать негоднйство, — онъ честный чловѣкъ, — а просто потому, что успѣхъ Октава веселый, гладкій, и равнодушное зеркало разказа отражаетъ все подробности этой веселости и гладкости. И говоритъ авторъ: я *sine ira et studio* предъявляю «детерминизмъ» явленій; если при этомъ нравственное чувство читателя попадаетъ въ нѣкоторый лабиринтъ, изъ котораго не знаетъ какъ выбраться, такъ вѣдь я и не браея руководить нравственнымъ чувствомъ читателя.

Огромный успѣхъ романовъ Зола, самоувѣренный, вродѣ какъ диктаторскій тонъ его теоретическихъ статей, масса вызванныхъ имъ раздражателей, — все это свидѣтельствуеетъ, что натурализмъ пришелся по плечу современному французскому обществу съ его «безыдейною сытостью» (выраженіе Щедрина). Хожденіе вокругъ обнаженнаго тора составляетъ пикантное развлеченіе, а если есть возможность сказать, что я, дескать, голой правды ищу, когда смотрю на голую женщину, такъ чего-же лучше? Нарушенное войной и коммуной благоденствіе и благочиніе возстановлено, власти бдятъ, преступления, нарушающія общественную безопасность и спокойствіе, получаютъ должное возмездіе; остается только созерцать ходъ вещей въ его причинной послѣдовательности, а если это можно сдѣлать подъ флагомъ «положительнаго, научнаго метода», такъ опять-таки чего-же лучше? Этихъ сытыхъ, спокойныхъ, самодовольныхъ людей не тяготитъ непристрасенность нравственнаго чувства. Но кромѣ сытыхъ есть еще пресыщенные, чья изпошенная душа, если и способна ощущать боль внутренней разодранности, то находитъ въ ней особаго рода тонкое сладострастіе, смакуеетъ его. Образчикъ этого смакованія, не советѣмъ впрочемъ, искренняго, мы въ свое время увидимъ на русской почвѣ въ книжкѣ г. Минскаго. Но г. Минскій придумалъ такую занимательную штуку, какъ «мэоны», и при помощи чего-то нестижимаго и несуществующаго полагаетъ выбраться на берегъ. На несуществующемъ едва-ли можно далеко уѣхать, и французы, повидимому, желаютъ выбраться, не дожидаясь «мэоновъ».

Французскіе натуралисты отнюдь не исчадія сатаны, не злорадные демоны, — они просто равнодушные люди, частью воспитанные равнодушной общественной средой, частью сами ея воспитывающіе такимъ

могущественнымъ средствомъ, какъ романъ. Поразительный индифференцизмъ Зола сквозитъ и въ вышеприведенномъ его разговорѣ съ американскимъ журналистомъ. Онъ имѣетъ сказать нѣчто новое и, конечно, благотворное, хоть въ смыслѣ истины, но откладываетъ это дѣло на нѣсколько лѣтъ, втеченіе которыхъ будетъ заниматься дѣломъ, въ которое уже не вѣрять, ибо теперь уже заявляетъ намѣреніе отрѣшиться отъ своего направленія. Это истинно поразительно. Однако въ романахъ самого Зола часто, помимо его воли, прорывается среди равнодушнаго констатированія зла протестъ противъ этого зла. И, конечно, никто не осмѣлится сказать, что вся Франція была когда-нибудь погружена въ полное равнодушіе. Но безпримѣрныя несчастія, одно за другимъ обрушившіяся на эту страну, начиная съ кровавой декабрьской ночи 1851 г., наконецъ придавили ее. Ея лучшіе, наиболѣе энергическіе люди цѣлыми горстями выбрасывались за бортъ то наполеоновскимъ режимомъ, то войной, то внутренними кровавыми расправами. Остальныхъ несчастія ошеломляли до растерянности и безучастія. Цѣль и смыслъ жизни затерялись въ этомъ калейдоскопѣ разгромовъ. На что надѣяться? во что вѣрить? чего желать? къ чему стремиться? Все разбито, раздавлено... «О, поле, поле, кто тебя усыпалъ мертвыми костями?!» Ужасное положеніе, при которомъ самая «сытость» (а вѣдь не въ-же французы и сыты), такъ поразившая иностранцевъ и при уплатѣ военной контрибуціи, и потомъ теперь, на всемірной выставкѣ, не только не помогаетъ дѣлу, а еще удручаетъ его: сытые безучастно созерцаютъ, пресыщенные сладострастно смакуютъ.

Отдохнула-ли Франція или что другое, но и этому комфортабельному безучастію, и этому утопченному разврату мысли и чувства наступаетъ, кажется, конецъ, по крайней мѣрѣ въ области литературы. Въ числѣ симптомовъ этого возрожденія жизни мнѣ кажутся достойными вниманія и указаніе Зола на реакцію противъ натурализма, и два почти одновременно появившіяся и имѣющія огромный успѣхъ произведенія: Бурже—«*Le disciple*» и Додэ—«*La lutte pour la vie*». Эти произведенія—очень различны не только по формѣ (романъ и драма), но и во многихъ другихъ отношеніяхъ. Драма Додэ несравненно проще по замыслу, яснѣе по тенденціи и въ художественномъ отношеніи не представляетъ чего-нибудь рѣзко выдающагося, тогда какъ романъ Бурже, будучи крупнымъ художественнымъ произведеніемъ, въ то-же время отличается сложностью замысла и нѣкоторою туманностью направленія. Общее-же у нихъ слѣдующее. Совершается злое дѣло; оно взвѣшено, смѣряно, изслѣдовано съ точки зрѣнія причинъ и слѣдствій. Останавливается-ли, можетъ-ли остановиться на этомъ пунктѣ работа нашего духа? Нѣтъ, не останавливается, не должна останавливаться. Возникаетъ новый вопросъ, настоячиво требующій разрѣшенія: кто виновать?—не въ смыслѣ механической причинъ, а въ смыслѣ ответствен-

наго и подлежащаго воздѣйствию начала. Изслѣдованіемъ механической причины зла удовлетворена только логическая или вообще познавательная способность; чувство и воля тоже требуютъ себѣ работы и такъ или иначе получаютъ ее: чувство возмущается, воля напрягается. Вопросъ: кто виновать?—не есть ни праздный вопросъ, ни противорѣчащій верховному закону причинности, ибо и самъ онъ есть неизбежное слѣдствіе извѣстныхъ причинъ, лежащихъ въ нашей духовной организаціи. За исключеніемъ нѣкоторыхъ особенно тусклыхъ историческихъ моментовъ всеобщей растерянности и безучастія, вопросъ этотъ всегда глубоко волновалъ людей въ той или другой формѣ. Совершилось злое дѣло. Кто виновать? Можетъ быть я, такой-то, имя рекъ,—и тогда наступаетъ сверлящая работа совѣсти съ ея требованіемъ искупленія, аскетическаго, въ видѣ веригъ и всякаго рода лишеній, или дѣйствительнаго, въ видѣ крутого поворота дѣятельности. Можетъ быть такое-то второе или третье лицо, ты, онъ, вы, они,—и тогда воля напрягается въ направленіи мести или той или другой сдѣлки. Можетъ быть общественный строй,—и тогда является стремленіе измѣнить его. Бывали въ исторіи человѣчества и другія рѣшенія. Одни, мятущіеся въ поискахъ за отвѣтомъ на роковой вопросъ, создавали отвратительный или обманчиво-прекрасный образъ злого духа, который и оказывался единственнымъ, великимъ, за все отвѣтственнымъ виноватымъ. И разъ онъ былъ найденъ, то есть созданъ, надлежало бороться съ нимъ, то есть опираться на дѣйствовать. Конечно, условія личнаго характера и темперамента и условія среды могутъ быть иногда таковы, что или парализуется дѣятельность воли послѣ того, какъ уже насыщена потребность чувства правильнымъ или неправильнымъ отвѣтомъ на вопросъ: кто виновать? Гамлетъ знаетъ, кто виновать въ томъ зломъ дѣлѣ, которое омрачаетъ его жизнь. Слишкомъ хорошо знаетъ, потому что виноватый мозолитъ ему глаза чуть не каждый день, а между тѣмъ у него не хватаетъ силы дѣйствовать. Но здѣсь-то и лежитъ корень трагической тоски, удручающей Гамлета. Эта тоска—неутоленная жажда дѣятельности, и тотъ безумный восторгъ, который овладѣваетъ Гамлетомъ послѣ сцены въ театрѣ, когда ему удается сдѣлать хоть малость въ направленіи воздѣйствія на виноватаго, свидѣтельствуешь, какую полноту жизни даетъ дѣйственный отвѣтъ на вопросъ: кто виновать? Этотъ-то вопросъ и задаютъ себѣ и читателямъ Бурже и Додэ въ вышеупомянутыхъ произведеніяхъ. Задаютъ вопросъ и даютъ на него посылный отвѣтъ.

Робертъ Грелу, герой романа Бурже, совершаетъ злое дѣло. Онъ виновать и, во-первыхъ, казнится собственною совѣстью, а, во-вторыхъ, его убиваетъ братъ его жертвы. Поль Астье, герой драмы Додэ, совершаетъ много злыхъ дѣлъ, и совѣсть его не протестуетъ, но его убиваетъ отецъ одной изъ его жертвъ. Такимъ образомъ непосредственные

виновники зла въ обоихъ произведеніяхъ несутъ одинаковую казнь— смертную. Въ драмѣ Додэ это казнь подчеркнутая, рѣзко тенденціозная, это самъ авторъ казнитъ своего героя, о чемъ совершенно откровенно говоритъ въ предисловіи. Въ романѣ Бурже нѣтъ такой ярко выраженной ненависти автора къ герою, и если постигающая героя казнь, по мнѣнію автора, заслужена имъ, то частью это ложится пятномъ на другомъ виноватомъ,—ученомъ Сикетъ, ученикомъ котораго признаетъ себя Робертъ Греду. У Поля Астье тоже есть учитель, но это, во-первыхъ, не созданіе художественной фантазій, а совершенно конкретное лицо—знаменитый Дарвинъ; во-вторыхъ, этотъ учитель не является на сценѣ; въ третьихъ, авторъ рѣшительно отвергаетъ отвѣтственность Дарвина за подлости Поля Астье. Изъ всего этого видно, до какой степени проста и ясна драма Додэ по сравненію съ романомъ Бурже. Разница эта объясняется не только разницею во взглядахъ авторовъ, но и разницею въ степени сложности самыхъ явленій, намѣченныхъ ими для художественной эксплуатаціи.

II.

Драмъ Додэ у насъ посчастливилось,—ее переводятъ и даютъ на нѣсколькихъ сценахъ, а потому пересказывать содержаніе ея во всѣхъ подробностяхъ нѣтъ надобности. Припомнимъ его только въ самыхъ общихъ чертахъ. Герой драмы, Поль Астье, еще въ предыдущемъ произведеніи Додэ, въ романѣ «L'immortel», влюбилъ въ себя женщину гораздо старше себя, герцогиню Марію-Антонію Падовани, и женился на ней, то есть собственно на ея огромномъ богатствѣ. Теперь, въ драмѣ, богатство это уже сильно расшатано биржевыми спекуляціями и роскошною жизнью Астье, состоящаго депутатомъ и мѣтящаго гораздо выше. Герцогиня ему больше ни на что не нужна, тѣмъ болѣе, что ему опять улыбается счастье въ видѣ любви красивой и несмѣтно богатой еврейки Эфири Селени. Нужно развестись съ женой, но та не соглашается. Астье пробуетъ добиться ея согласія то возбужденіемъ ревности, то напротивъ притворнымъ возвращеніемъ любви, и наконецъ рѣшается даже отравить ее. Но жена накрываетъ его въ самый моментъ приготовленія къ преступленію; однако, все-же любя его, прощаетъ и соглашается на разводъ. Астье счастливъ. Но нѣсколько раньше онъ соблазнилъ дѣвушку, пѣкую Лидію Вальянъ, отецъ которой и убиваетъ Поля Астье въ тотъ самый моментъ, когда онъ, повидимому, достигъ всѣхъ своихъ цѣлей. Все это осложнено и переплетено рядомъ другихъ жестокостей и подлостей Поля Астье, который продѣлываетъ ихъ съ чрезвычайнымъ хладнокровіемъ и увѣренностью, ибо,

говорить, я держусь дарвиновых принципов борьбы за существование и переживания сильнѣйшихъ. Сообразно этому драма называется «Борьба за существование», а для Астье и ему подобныхъ Додэ избралъ кличку — «struggleforlifer», борцы за существование.

Парижскій корреспондентъ «Русской Мысли» г. Франко-Славъ, давая отчетъ о драмѣ Додэ, между прочимъ говоритъ: «Изъ того, что Поля Астье оправдываетъ свои негодныя продѣлки и всѣ свои преступления естественнымъ закономъ, по которому сильные переживаютъ слабыхъ, авторъ выводитъ заключеніе, что теорія Дарвина породила подобныхъ уродовъ. Но развѣ эти уроды не существовали до появленія знаменитой книги англійскаго философа? Развѣ эти Астье не существовали во всѣ времена и во всѣхъ странахъ? Вообще чувствуется, что Додэ не особенно ясно представляетъ себѣ философію Дарвина, иначе онъ не могъ-бы обвинить ее въ такихъ напастяхъ, въ какихъ она рѣшительно не виновата». Въ этомъ-же смыслѣ, но только съ болѣею строгостью осуждаетъ Додэ извѣстная французская писательница и, между прочимъ, переводчица Дарвина, г-жа Клемансъ Роје, въ фельетонѣ, помѣщенномъ въ одной изъ петербургскихъ газетъ. Она утверждаетъ, что Додэ «дастъ такое странное толкованіе закона борьбы за существованіе, что Дарвинъ, если-бы онъ былъ еще живъ, только развелъ-бы руками». Затѣмъ г-жа Роје распространяется о нравственно-политическомъ значеніи борьбы за существованіе. Большой цѣны эти разсужденія не имѣютъ, но еслибы они были даже вполне справедливы, они, равно какъ и замѣчаніе г. Франко-Слава, были-бы все-таки неумѣстны, неумѣстны до удивительности. Драма Додэ и сама по себѣ отличается необыкновенною ясностью, исключаяющею, казалось-бы, возможность недоразумѣній на-счетъ цѣлей и намѣреній автора, а онъ снабдилъ ее еще предисловіемъ, не оставляющимъ уже рѣшительно никакого мѣста сомнѣніямъ. Предисловіе открывается перепечаткою словъ одного изъ дѣствующихъ лицъ драмы, послѣ чего Додэ пишетъ: «Слова эти резюмируютъ мысль моего произведенія». А эти резюмирующія слова начинаются такъ: «Конечно, я не великаго Дарвина зову къ отвѣту, а тѣхъ лицемѣрныхъ разбойниковъ (hypocrites bandits), которые на него ссылаются». Далѣе, комментируя личность своего героя, Поля Астье, Додэ говоритъ: «Читалъ-ли онъ Дарвина? Я въ этомъ сомнѣваюсь, я даже увѣренъ, что нѣтъ, но того немногого, что онъ изъ него знаетъ и охотно цитируетъ, нѣсколькихъ схваченныхъ на-лету дарвинистскихъ формулъ, достаточно въ его собственныхъ глазахъ и даже въ глазахъ общества для научнаго объясненія его преступнаго существованія». Такимъ образомъ Додэ не только не обвиняетъ Дарвина въ мерзостяхъ Поля Астье, какъ утверждаютъ г. Франко-Славъ и г-жа Клемансъ Роје, но, напротивъ, рѣшительно отрицаетъ право Поля Астье ссылаться на теорію англійскаго ученаго, и дѣлаетъ это въ выраженіяхъ столь

ясныхъ, что приведенныя замѣчанія обоихъ критиковъ становятся просто непонятными Г-жа Клемансъ Ройе, въ качествѣ правотѣрной дарвинистки, могла-бы огорчаться драмой Додэ совѣтъ съ другой стороны. Писательница эта сдѣлала когда-то на свой собственный страхъ нѣкоторые рискованные нравственно-политическіе выводы изъ теоріи Дарвина и доселѣ стоитъ на необходимости и благотворности такихъ выводовъ; а между тѣмъ изъ нѣсколькихъ мѣстъ драмы и предисловія къ ней можно вывести заключеніе, что Додэ смотритъ на теорію Дарвина какъ на нѣчто, можетъ быть, и прекрасное въ научномъ смыслѣ, но къ практической жизни совершенно неприменимое. Правъ-ли, не правъ-ли Додэ, но этотъ вопросъ драмой все-таки не затрогивается, а потому и мы его касаться не будемъ. Въ драмѣ отношенія Поля Астье къ дарвинизму поставлены чрезвычайно просто и ясно: безсовѣстный негодяй утверждаетъ, а можетъ быть и самъ вѣрнѣе, что разнообразныя его мерзости и подлости оправдываются дарвинистскими принципами «борьбы за существованіе» и «переживанія приспособленій». Отношеніе, какъ видите, чисто внѣшнее: Астье просто прикрывается теоріей и безъ нея былъ-бы точно такимъ-же негодемъ, какъ и при ней.

Додэ очень обстоятельно мотивируетъ разныя подробности драмы, да и въ ней самой подчеркиваетъ нѣкоторые положенія съ такою старательностью, которая даже граничитъ съ наивностью. Между прочимъ онъ рассказываетъ, какъ и почему зародилась въ немъ мысль «Борьбы за существованіе». Онъ былъ натолкнутъ на этотъ сюжетъ процессомъ Лебье и Барре, которые убили старуху-молочницу, причемъ Лебье, вскорѣ послѣ убійства, прочелъ публичную лекцію о борьбѣ за существованіе и частію повторилъ ее на судѣ. Додэ думалъ написать книгу полу-фактическаго, полу-романическаго содержанія, подъ заглавіемъ «Лебье и Барре—два современные молодые француза». Но тутъ скоро появился французскій переводъ романа Достоевскаго «Преступленіе и наказаніе», и Додэ отказался отъ своего плана: онъ увидѣлъ въ романѣ Достоевскаго этотъ планъ уже осуществленнымъ,—Раскольниковъ былъ Лебье, статья Раскольникова о преступленіи — лекція Лебье о борьбѣ за существованіе. Тѣмъ не менѣе «борецъ за существованіе», «struggleforlifeger» не давалъ покоя Додэ. Онъ вглядывался, дѣлалъ новыя наблюденія, и такимъ путемъ сложилась наконецъ фигура Поля Астье сначала въ романѣ «L'immortel», а потомъ въ драмѣ «La lutte pour la vie». Полю Астье 32 года, его пріятелю и въ нѣкоторомъ смыслѣ ученику Шемино—30 лѣтъ. По наблюденіямъ Додэ, типъ «борцовъ за существованіе» въ особенности распространенъ въ возрастѣ 30 — 40 лѣтъ, а за ними идетъ поколѣніе еще большихъ негодяевъ. Поль Астье презираетъ Лебье и Барре, какъ мальчишекъ, изъ-за грошей убившихъ жалкую старуху и ни о чемъ, кромѣ немедленнаго удовлетворенія своихъ маленькихъ прихотей, не думавшихъ. Онъ мѣтитъ

выше; тридцать—тридцать пять тысячъ годового дохода для него «нищета»; онъ разсчитываетъ къ тридцати пяти годамъ стать министромъ, но и на это не останавливается. «Я люблю власть, я хочу избраться очень высоко,—говоритъ онъ,—понимаешь, очень высоко! Хочу управлять событіями и людьми!» По пути къ этому высокому положенію Поль Астье хладнокровно шагаетъ черезъ все препятствія, въ чемъ бы они ни состояли и чего-бы это ни стоило тѣмъ, кто стоитъ на дорогѣ; онъ шагаетъ черезъ чужую честь и совѣсть, даже черезъ чужую жизнь, но все-таки содрагается передъ фактомъ отравленія жены, — на это у него не хватаетъ духу. Дождь очень рѣзко бьетъ этотъ фактъ и комментируетъ его. «Поль Астье,—говоритъ онъ,—принадлежитъ къ поколѣнію, которое хотя и не вѣрится въ старыя учрежденія (vieilles institutions), но сохранило еще смутный инстинктъ закона, жандарма (un vague instinct de la loi, du gendarme). Можетъ быть я ошибаюсь, но мнѣ кажется, что эта группа людей въ 30—40 лѣтъ, мало рѣшительная на зло, какъ и на добро, порода колеблющихся и вопрошающихъ Гамлетовъ, еще не пришла къ абсолютному и дѣятельному ничто слѣдующаго поколѣнія, уже ничего не уважающаго и лишеннаго всякой нравственности». Въ текстѣ драмы Шеминно отъ своего имени поддерживаетъ эти соображенія автора. У Поля Астье есть секретарь Лортигъ, 23-хъ лѣтъ. Такъ вотъ по поводу этого Лортига Шеминно говоритъ: «У этихъ ничего нѣтъ, ни Бога, ни жандарма. Мы хоть и не вѣримъ въ старыя учрежденія, но знаемъ, что они есть. Это все равно, какъ перила у лѣтницы: пользоваться ими приходится рѣдко, но все-таки спокойнѣе, когда они есть, а эти молодцы конца столѣтія...» Любопытно, что у Лортига тоже есть готовая теорія для оправданія мерзостей. Онъ попрекаетъ Шеминно «предразсудками», отъ которыхъ ихъ поколѣніе еще не успѣло отдѣлаться, а вотъ я,—говоритъ,—держусь ученія Берклея: «Ничто не существуетъ, міръ есть фантазмагорія; признавъ этотъ принципъ, можно все себѣ позволить».

Почему именно Берклея выбралъ Дождь въ учителя Лортигу,—понять довольно трудно. Придворный проповѣдникъ, потомъ епископъ, энергическій мисіонеръ, раззорившійся на одномъ мисіонерскомъ предпріятіи, тонкій метафизикъ и крайній спиритуалистъ, можетъ быть самый крайній изъ всехъ, когда-либо существовавшихъ, Берклей очень удивился-бы такому ученику. Ученіе Берклея не только не изгоняло сверхчувственнаго и супранатуральнаго начала, но, напротивъ, признавало существующимъ только Бога и его эманацию—духъ. Отрицатель-же Берклей реальность матеріи, видимаго міра, который былъ, съ его точки зрѣнія, лишь нашимъ представленіемъ. Эта метафизическая тонкость ничего собственно не переставляла въ дѣйствительныхъ отношеніяхъ между вещами вообще и въ частности ни мало не колебала принципа нравственнаго долга. Притомъ же система Берклея и въ свое-то время

была очень мало популярна, нынѣ поминается только въ курсахъ исторіи философіи, да и то не во всѣхъ, такъ что рѣшительно не видно, почему-бы могъ за нее ухватиться въ концѣ XIX вѣка какой-нибудь Лортигъ. Можетъ быть Додэ хотѣлъ этимъ способомъ еще болѣе подчеркнуть отношеніе современныхъ французскихъ негодяевъ къ научнымъ или философскимъ теоріямъ, на которыя они якобы опираются. Если есть вѣроятность, что Поль Астье не читалъ Дарвина, то можно голову прозакладывать, что Лортигъ не имѣетъ ни малѣйшаго понятія о Берклеѣ: онъ гдѣ-то урвалъ даже не мысль, а фразу, перевралъ ее и своимъ умомъ дошелъ до распутнаго вывода, котораго Берклеѣй никогда не дѣлалъ и который изъ его системы отнюдь не вытекаетъ. Если Додэ именно это хотѣлъ сказать своимъ сопоставленіемъ Лортигъ-Берклеѣй, то выборъ Берклея, съ одной стороны, пожалуй и удачный, — потому что болшей наглости Лортигу приписать уже и нельзя, — неудаченъ съ другой стороны. Когда Астье ссылается для оправданія своихъ низостей на Дарвина, это понятно, то-есть понятны побужденія Астье. Дарвинъ есть въ нѣкоторомъ смыслѣ послѣднее слово науки, отразившееся на самыхъ разнообразныхъ отрасляхъ знанія, слово авторитетное и вмѣстѣ модное. Ссылатся на него не только дестно, а можетъ быть и выгодно, потому что *magister dixit!* А что такое Берклеѣй? Забытый метафизикъ прошлаго столѣтія, именемъ котораго никому рта не зажмешь.

Въ своемъ родѣ не менѣе странно сопоставленіе Лебье съ Раскольниковымъ, хотя Додэ находитъ аналогію не только между ними, какъ личностямъ, но и между лекціей Лебье о борьбѣ за существованіе и статьей Раскольникова о преступленіи. Начать съ того, что Лебье прочиталъ свою лекцію послѣ убійства, а Раскольниковъ написалъ свою статью до убійства, только еще обдумывая его чисто теоретически. Это, повидимому, мелкая, а въ сущности чрезвычайно важная и характерная разниця. Раскольниковъ — настоящій теоретикъ, мыслитель, дошедшій до несчастной мысли объ убійствѣ старухи въ книжномъ уединеніи, мечтающій о благѣ человѣчества, а отнюдь не о собственныхъ какихъ-нибудь наслажденіяхъ. Передъ Достоевскимъ рисовался, — да такимъ онъ и вышелъ, — образъ человѣка съ благороднымъ характеромъ, но теоретически заблуждающагося. Въ этомъ — то столкновеніи благородной души съ теоретическимъ заблужденіемъ и заключается весь интересъ сложной и глубокой фигуры Раскольникова, тогда какъ Астье просто негодяй, никогда о людяхъ не думающій и, конечно, незнакомый съ тѣми мучительными бессонными ночами и можетъ быть еще болѣе мучительными тревожными днями, которые проводилъ Раскольниковъ и до убійства, и послѣ него. Живой первообразъ Поля Астье — Лебье могъ прочитать лекцію о борьбѣ за существованіе послѣ убійства. Раскольниковъ же, наоборотъ, могъ написать свою

статью о преступленіи только до совершенія убійства, а послѣ него онъ лишь угрызается сомнѣніями и совѣстью вплоть до признанія. Въ связи съ этимъ нельзя припять и другую параллель Додэ—между Полемъ Астье и Гамлетомъ. Строго говоря, онъ, пожалуй, такой параллели не проводитъ, яв все-таки называетъ всю группу людей, къ которой принадлежит Астье, «породой колеблющихся и вопрошающихъ Гамлетовъ». Можетъ быть по сравненію съ Лортигомъ, который еще только развертывается, Астье и окажется колеблющимся, вопрошающимъ, «мало рѣшительными на зло, какъ и на добро». Но нѣсколькихъ минутъ раздумья передъ отравленіемъ жены, при наличности цѣлага ряда безастѣнчивыхъ подлостей, немножко мало для сравненія съ благороднымъ и дѣйствительно колеблющимся датскимъ принцемъ. Приостановившись передъ покушеніемъ на прямое убійство жены, Астье продолжаетъ однаковидти къ своей прежней цѣли своими прежними средствами, и Додэ самъ говорить, что въ другой разъ его герой, уже не колеблясь, подаль-бы стаканъ съ отравой.

Астье ясенъ, простъ, не обуреваемъ никакими сомнѣніями. Столь-же просты, ясны и несомнѣнны отношенія къ нему автора. Додэ прямо ненавидитъ своего героя и откровенно заявляетъ это въ предисловіи. Онъ говоритъ: «Нѣкоторые хотѣли-бы, чтобы я окончилъ драму торжествомъ Поля Астье. Нѣтъ, я иначе смотрю на вещи. Я безусловно вѣрю, что все оплачивается; я всегда видѣлъ, что люди рано или поздно получали воздаяніе за дѣла свои, добрыя или злыя, и не въ будущей жизни, которой я не знаю, а здѣсь на землѣ. Долженъ признаться, что моя ненависть къ злымъ такъ велика, что я вложилъ можетъ быть излишнюю утонченность въ казнь моего Поля Астье. Я достигъ его въ минуту полного счастья, такого счастья, что онъ можетъ быть сталъ-бы почти добрымъ». Дѣйствительно, заключительная сцена драмы изысканна до художественнаго неприличія. За кулисами происходитъ аукціонная продажа имущества бывшей жены Поля Астье, а на сценѣ онъ милуется со своей новой невѣстой; онъ счастливъ, все идетъ именно такъ, какъ ему нужно. Но какъ разъ въ тотъ моментъ, когда за кулисами слышится возгласъ аукціониста: «присуденъ!» (дѣло идетъ о какомъ-то экипажѣ), раздастся выстрѣлъ Вальяна, отца соблазненной Полемъ Астье дѣвушки, Астье падаетъ, и Вальянъ, указывая рукой на небо, повторяетъ слово аукціониста: «да, присуденъ!»

Очень достойно вниманія, что Додэ и самъ понимаетъ «излишнюю утонченность» казни Поля Астье, но измѣнять ничего все-таки не хочетъ. Пусть лучше останется нѣкоторый изъянъ въ художественной правдѣ, которая вѣдь всегда условна, но потребность нравственнаго суда должна быть насыщена во что-бы то ни стало. Авторъ знать не хочетъ никакого «детерминизма явленій», въ которомъ нашлось-бы если не оправданіе, то хоть объясненіе злодѣйскихъ чертъ Поля Астье. Воз-

гласъ «присуждень!», ставящій послѣднюю точку къ драмѣ, есть торжествующій, радостный возгласъ самого автора. Поль Астье виноватъ и долженъ, по приговору автора, смертью искупить свои вины. Это не приговоръ Ѳемиды, глаза которой, во избѣжаніе пристрастія, завязаны. Ѳемидѣ, охранительницѣ закономъ установленнаго порядка, нечего дѣлать съ Полемъ Астье, ея вѣднію подлежатъ лишь преступившіе область права, формальнаго закона, какъ Вальянъ; а Поль Астье, напротивъ, находится подъ ея охраной, ибо ни одна изъ его подлостей и жестокостей не приняла размѣровъ и формъ, уловимыхъ для такъ называемаго правосудія. Вотъ если-бы онъ отравилъ свою жену и былъ уличенъ въ этомъ преступленіи,—тогда другое дѣло. Но Додэ не допустилъ его до этого, не предалъ его въ руки уголовной юстиціи, а расправился самъ, руками оскорбленнаго за дочь Вальяна. Нѣчто подобное, только въ гораздо болѣе сложной духовной обстановкѣ, мы увидимъ и въ романѣ Бурже. Тамъ Робертъ Грелу избѣгаетъ—и, съ формальной точки зрѣнія, правильно избѣгаетъ—кары закона, но за то присуждается къ смерти и казнится руками графа Андре, мстящаго за сестру. Повтореніе этого приѣма въ двухъ совершенно другъ отъ друга независимо возникшихъ выдающихся произведеніяхъ двухъ, можетъ быть, наиболѣе талантливыхъ современныхъ французскихъ беллетристовъ представляется миѣ глубоко-знаменательнымъ. Я вижу тутъ одинъ изъ признаковъ того, что для Франціи пришелъ конецъ равнодушному отношенію къ злодѣйствамъ, не зачисленнымъ въ сферу правонарушеній, не караемымъ закономъ, а иногда даже покровительствуемымъ,—окончательный конецъ, когда глухо и бесшумно бродящіе въ обществѣ запросы получаютъ выраженіе въ литературѣ страны. Вотъ и Зола, какъ мы видѣли, отмѣчаетъ реакцію противъ натурализма съ его безстрастнымъ воспроизведеніемъ «детерминизма явленій». Французское общество, по словамъ Зола, благодарно натуралистамъ за фактическую правду изображенія зла, но оно жаждетъ утѣшенія. Можно-ли утѣшаться тѣмъ, что Ѳемида властвуетъ, какъ и всегда, и все такъ-же держитъ мечъ въ одной рукѣ и вѣсы въ другой, и все такъ-же у нея глаза завязаны? Благородный Вальянъ убилъ негодяя Астье и понесетъ за это кару нелицепріятнаго закона, а самъ Астье, если-бы не былъ убитъ, и въ самомъ дѣлѣ, можетъ быть, управлялъ-бы людьми и событіями. Точно также какой-нибудь голодный нищій, украшій у Поля Астье старыя панталоны или пятифранковикъ, попадетъ въ руки правосудія, а самъ Астье, ограбившій на законномъ основаніи свою жену и разорившій множество другихъ людей, безнаказанно пользуется плодами своего грабежа. Такимъ образомъ зло, причиняемое Полю Астье, карается, а зло, имъ самимъ причиняемое, не карается. Утѣшительно-ли это? Додэ и Бурже, являясь въ этомъ случаѣ, какъ надо думать, представителями разбуженной французской совѣсти, хотятъ много утѣшенія.

Для нихъ дѣло не въ преступникахъ, въ смыслѣ нарушителей законовъ, ограждающихъ жизнь, собственность, установленныя права, а напротивъ, въ томъ морѣ зла, которое ускользаетъ отъ воздѣйствія закона и часто пользуется даже его покровительствомъ. Вотъ въ этомъ-то морѣ зла кто виноватъ? Познавъ зло, какъ фактъ, познавъ его причины и слѣдствія, мы хотимъ еще найти отвѣтственнаго виновника и поступить съ нимъ такъ, какъ подскажутъ намъ возмущенное нравственное чувство и контролирующій разумъ.

Доде нашелъ виноватаго въ лицѣ struggleforlifer'a, борца за существованіе, и, съ страстною ненавистью настигнувъ одного изъ представителей этого типа, торжествуетъ, когда тотъ, при возгласѣ «присудеждень!», окровавленный валится на землю. Вотъ поверженный виновникъ зла! Вотъ торжество оскорбленнаго нравственнаго чувства! Какъ-бы мы, однако, ни относились къ руководящимъ мотивамъ Доде, какъ-бы мы ни цѣнили этотъ страстный протестъ противъ зла, не замаскированный никакими «анатоміями» и «положительными, научными методами», едва-ли все-таки можно принимать очень близко къ сердцу его торжество. Полю Астье,—пусть онъ даже вполне характеренъ и правдивъ, какъ художественное воспроизведеніе распространеннаго въ наше время типа,—но есть тотъ красный цвѣтокъ, который, въ разсказѣ покойнаго Гаршина, впиталъ въ себя всю невинно пролитую кровь, всѣ слезы и всю желчь человѣчества. Да и Доде не тотъ героическій безумецъ, который отважился вступить въ борьбу съ концентрированнымъ зломъ, если не всего міра, такъ своего времени. А! Если-бы Астье былъ подобіемъ краснаго цвѣтка, то не одинъ Доде аплодировалъ-бы возгласу: «присудеждень!». Но возлѣ Астье стоитъ уже Шемино, который пока еще только присматривается, учится, но въ свое время не уступитъ Полю Астье въ дѣлѣ жестокой подлости, а сзади выглядываетъ еще болѣе безстыжій Лортигъ. Мало того. Драма Доде получаетъ общественное значеніе, какое онъ именно и хотѣлъ ей придать, только потому, что рядомъ съ Астье есть еще и Шемино, и Лортигъ, и цѣлая перспектива. Сама по себѣ исторія Поля Астье не выходитъ изъ предѣловъ довольно узкихъ интересовъ и представляетъ собою частный случай, который можетъ эксплуатироваться внѣ какихъ-нибудь опредѣленныхъ условій времени и пространства. Сегодня и сто лѣтъ тому назадъ, во Франціи и въ Россіи возможны безсовѣстные негодяи, лѣзущіе па-проломъ по чужимъ спинамъ и по чужимъ душамъ къ почестямъ, богатству, власти. Единственная специфически современная черта—ссылка на Дарвина—теряетъ свое значеніе въ виду категорическаго заявленія Доде, что Дарвинъ тутъ не причемъ. Совсѣмъ другое дѣло, когда мы узнаемъ, что Астье не случайный экземпляръ, что struggleforlifer'ы могутъ быть en masse приурочены къ какимъ-то опредѣленнымъ условіямъ, воспитаннымъ людьми вроде Астье и Шемино, которымъ теперь отъ 30 до

40 лѣтъ и за которыми слѣдуетъ еще цѣлое поколѣніе еще болѣе разнузданныхъ Лортиговъ.

Эти цифры возраста интересны. Люди, которымъ теперь отъ 30 до 40 лѣтъ, родились около времени краха республики 1848 года и воцаренія Наполеона. Они хоть и не вѣрятъ настоящимъ образомъ въ «старыя учрежденія», но по крайней мѣрѣ смотрятъ на нихъ, по живописному и остроумному уподобленію Шемпно, какъ на перила у лѣстницы: постоянной надобности въ этихъ перилахъ нѣтъ, а на всякій случай не вредно знать все-таки, что они тутъ и за нихъ можно ухватиться. «Молодцы конца столѣтія» вродѣ Лортига, люди лѣтъ на десять моложе, уже совсѣмъ не беспокоятся ни о какихъ перилахъ, — имъ все тринтъ-трава. «Старыя учрежденія» въ данномъ случаѣ — не совсѣмъ подходящее выраженіе, по крайней мѣрѣ по-русски. Говоря о старыхъ учрежденіяхъ, дѣйствующія лица драмы и самъ Додэ разумѣютъ не только собственно учрежденія, а и вѣрованія, вообще совокупность направляющихъ, руководящихъ началъ, что можно-бы было передать общепринятымъ фигуральнымъ выраженіемъ — старые боги. Много было боговъ у пылко и быстро живущей Франціи. Еще не успѣвали потускнѣть боги феодально-рыцарской чести, какъ воздвигались алтари свободѣ, равенству и братству; богиня разума, хотя и свергнутая, все еще жила рядомъ съ возродившимся богомъ военной славы, а изъ-за него выступалъ уже богъ гуманизма. Какая-бы вражда ни происходила на этомъ Олимпѣ, но онъ содержалъ въ себѣ пѣлый рядъ духовныхъ ферментовъ, способныхъ будить энтузіазмъ, руководить людьми въ жизни и вести ихъ на смерть. Честь, совѣсть, отечество, человѣчество разны, и часто въ совершенно противоположномъ смыслѣ, понимались и толковались, но они не были «забытымъ словами». Они стали постепенно забываться съ тѣхъ поръ, какъ горсть бонапартистовъ, пользуясь чужими ошибками, измѣнически захватила власть и затѣмъ втеченіе двухъ десятилѣтій выбивала изъ Франціи всякій духъ. Именно всякій. Наполеоновскій режимъ нельзя назвать реакціей въ смыслѣ рѣшительнаго и неуклоннаго обращенія къ какому-нибудь изъ старыхъ боговъ, хотя заигрыванія происходили со всеми ими. Людямъ власти казалось въ ту пору, что для упроченія существующаго порядка нужно, чтобы всякая духовная жизнь замерла, насколько это возможно въ такой странѣ, какъ Франція, чтобы пламя увлеченія какими-бы то ни было идеалами залилось водой повседневной жизни и узкихъ матеріальныхъ интересовъ. Эта злонамѣренная и близорукая политика привела къ Седану, потерѣ двухъ провинцій и миллиардамъ контрибуціи. Оказалось, что французы разучились умирать даже въ честь бога военной славы, того единственнаго изъ старыхъ боговъ, культъ котораго все-таки официально поддерживался. А между тѣмъ находились и среди незлонамѣренныхъ глупцы, которые утверж-

дали, что все идетъ къ лучшему, что пора, наконецъ, Франціи отвернуться отъ судорожныхъ порываній къ идеалу и широкимъ задачамъ. Старые боги блѣднѣли, тускнѣли, новыхъ не нарождалось. Въ этой-то страшной пустотѣ и сложились характеры поколѣнія, къ которому принадлежатъ Астье и Шеминю, а потомъ и Лортиги. Это—жестокіе и тупые, толстокожіе люди, для которыхъ соприкосновеніе съ міромъ идей и идеаловъ ограничивается платоническимъ уваженіемъ къ наукѣ и философіи, поскольку онѣ, въ лицѣ Дарвина и Беркеса, могутъ быть истолкованы или перевернуты съ распутною цѣлью.

Не всегда, однако, повидимому, дѣло ограничивается такимъ платоническимъ уваженіемъ. Но мнѣ остается на этотъ разъ слишкомъ мало мѣста, и я закончу выпиской изъ предисловія Бурже къ роману «Le disciple» Это чрезвычайно любопытное предисловіе написано въ видѣ письма или вообще обращенія «къ молодому человѣку».

«Я вижу передъ собою,—говоритъ Бурже,—два типа молодыхъ людей, а для тебя это два искушенія, одинаково страшныхъ и пагубныхъ. Одинъ—жизнерадостный циникъ. Въ двадцать лѣтъ онъ уже сбѣлалъ учетъ жизни, и вся его религія заключается въ одномъ словѣ: наслаждаться, которое можно перевести другимъ: имѣть успѣхъ. Занимается-ли онъ политикой или биржей, литературой или искусствомъ, спортомъ или торговлей, офицеръ-ли онъ или дипломатъ, адвокатъ,— у него только одинъ богъ, одинъ принципъ и одна цѣль: онъ самъ. Онъ занимствовалъ у современной естественной философіи великій законъ жизненной конкуренціи и прилагаетъ его къ дѣлу своей карьеры съ жаромъ позитивиста, который дѣлаетъ изъ него цивилизованнаго варвара. Альфонсъ Доде, прекрасно понявшій этого современнаго молодого человѣка, окрестилъ его именемъ *struggleforlifer*, а самъ онъ охотно называетъ себя «концомъ столѣтія». Онъ уважаетъ только успѣхъ, а въ успѣхѣ только деньги. Онъ убѣжденъ, читая эти строки, что я смѣюсь надъ публикой, когда рисую его портретъ, и что я самъ такой-же. Онъ до такой степени нигилистъ на свой образецъ, что идеалъ кажется ему комедіей и въ другихъ, каковъ онъ въ немъ самомъ, когда онъ, напримѣръ, жметъ передъ народомъ, чтобы добиться его голосовъ. Этотъ молодой человѣкъ—чудовище, не правда-ли?... Потому что надо быть чудовищемъ, чтобы въ двадцать пять лѣтъ превратить свою душу въ числительную машинку и отдать ее въ услуженіе машицѣ наслажденія. Но для тебя онъ все-таки не такъ страшенъ, какъ тотъ другой, который является утонченнымъ умственнымъ экикурейцемъ. Какъ страшны и какъ часты встрѣчи съ этимъ тонкимъ нигилистомъ! Въ двадцать пять лѣтъ онъ уже пробѣжалъ весь кругъ современныхъ идей. Его рано возбужденный критическій умъ понялъ послѣдніе результаты тончайшихъ философскихъ системъ нашего времени. Не говори ему о нечестіи, о матеріализмѣ. Онъ знаетъ, что слово «матерія» не имѣетъ

опредѣленнаго смысла; съ другой стороны онъ достаточно уменъ, чтобы понимать, что всѣ религіи были въ свое время законны. Только самъ-то онъ не вѣрить и никогда не повѣритъ ни въ какую религію, какъ не повѣритъ вообще ни во что, кромѣ игры собственнаго своего ума, изъ которой дѣлаетъ орудіе утонченнаго разврата. Добро и зло, красота и безобразіе, пороки и добродѣтели, — все это для него только предметы наблюденія. Человѣческая душа въ цѣломъ для него не болѣе, какъ хитрый механизмъ, разборка котораго интересуетъ его съ точки зрѣнія опыта. Для него нѣтъ ничего истиннаго и ложнаго, ничего нравственнаго и безнравственнаго».

Этотъ второй типъ «нигилиста», болѣе страшный, чѣмъ Астье, Шеминно, Лортигъ, и изображенъ въ романѣ Бурже. Странная, мимоходомъ сказать, судьба этого слова «нигилистъ». Пустилъ его въ ходъ Тургеневъ, собственно для нашего, русскаго обихода. Пустилъ неудачно, потому что слово привилось, а между тѣмъ оно вовсе не соответствовало тѣмъ явленіямъ русскоѣ жизни, которыя должно было покрывать, и Тургеневу пришлось потомъ горько каяться въ этомъ промахѣ. Но вотъ слово нашло себѣ настоящее мѣсто во Франціи, и мы увидимъ, что такое заправскіе нигилисты, дѣйствительно достойные этого имени. Не поручусь, впрочемъ, что теперь, спустя двадцать лѣтъ послѣ появленія клички, и у насъ не завелось заправскіе нигилисты.

III.

Астье, Шеминно и Лортигъ относятся къ наукѣ и философій съ чисто платоническимъ уваженіемъ. *Sacrées elles sont, car nous n'y touchons*, — такъ могли-бы передѣлать эти негодии старинную остроту для характеристики своихъ отношеній къ тѣмъ научнымъ и философскимъ теченіямъ, на которыя они хотятъ опереться въ своихъ мерзостяхъ. Поэтому у Додэ Дарвинъ оказывается совершенно невиновнымъ и неответственнымъ за позорное примѣненіе его доктринъ къ житейскоѣ практикѣ. Советѣмъ иначе построенъ романъ Поля Бурже. Но прежде чѣмъ погрузиться въ мрачныя глубины этого замѣчательнаго произведенія, мы остановимся мимоходомъ на маленькой, не особенно оригинальной, но все-таки забавной шуткѣ выдающагося тоже современнаго французскаго писателя—Ришена. Шутка эта называется «Послѣдній изобрѣтатель» и напечатана въ газетѣ «Gil-Blas».

Дѣло происходить въ отдаленномъ будущемъ—9—10,000 лѣтъ спустя. Мы находимся въ засѣданіи «политехническаго и верховнаго собранія». Президентъ держитъ рѣчь примѣрно такого содержанія: Во-

преки нашему священному закону ничему не удивляться, вы, господа, удивлены тѣмъ, что я васъ созвалъ и говорю съ вами древнимъ членораздѣльнымъ языкомъ, тогда какъ вотъ уже тридцать вѣковъ наши беды происходятъ исключительно по телефону и при помощи алгебраическихкихъ формулъ. Тридцать вѣковъ тому назадъ закончился періодъ открытій, всѣ тайны упразднены, и въ настоящее время рѣчь можетъ идти только о такихъ подробностяхъ, для которыхъ достаточно телефонно-алгебраическаго сообщенія. Я-бы и не потревожилъ васъ столь необычнымъ способомъ, если-бы дѣло шло о какихъ-нибудь улучшеніяхъ въ составѣ церебральнаго эликсира, въ устройствѣ интерастральнаго фонографоскопа или въ поляризаціи индуктивнаго и ретроверсивнаго эфирнаго тока, питающаго динамо-панспермическій механизмъ дѣторожденія. Но я долженъ представить вашему вниманію нечто совершенно изъ ряда выходящее. Вы знаете, что мы оставили одинъ островъ внѣ прогресса науки, какъ образчикъ древней, варварской земли. И вотъ съ этого острова явился человѣкъ, который утверждаетъ, что можетъ питаться безъ нашего церебральнаго эликсира, сообщаться со звѣздами, не прибѣгая къ помощи интерастральнаго фонографоскопа и производить дѣтей безъ посредства динамо-панспермической машины. Я видѣлъ дѣтей этого человѣка, произведенныхъ страннымъ и таинственнымъ способомъ, и долженъ признаться, что они довольно похожи на человѣческія существа. Человѣкъ этотъ не скрываетъ своихъ изобрѣтеній, нагло утверждая, что они совершенно независимы отъ науки, и, на вопросъ о процессахъ его питанія, сообщенія со звѣздами и дѣтопроизводства, отвѣчаетъ: не знаю! Ясно, что во всемъ этомъ есть какая-то тайна, а такъ какъ всѣ тайны безповоротно упразднены уже тридцать вѣковъ тому назадъ, то я предлагаю этого кощунствующаго изобрѣтателя и революціонера казнить смертью. — Члены политехническаго и верховнаго собранія вотируютъ казнь охрипшими отъ долгаго неупотребленія голосами (они привыкли къ телефонно-алгебраическому разговору). Вводятъ преступника. Наружность его составляетъ рѣзкій контрастъ съ внѣшнимъ видомъ членовъ собранія, отличающихся огромными плѣшивыми головами на ничтожномъ сморщенномъ туловищѣ. Мы назвали-бы этого несчастнаго красивымъ, по тогдашнее человечество смотреть на него съ отвращеніемъ и умерщвляетъ его утонченнымъ научнымъ способомъ при помощи электричества. Такъ погибъ послѣдній изобрѣтатель, заново открывшій хлѣбъ, вино, лирическую поэзію и любовь.

Это — шутка, въ оригиналѣ, конечно, гораздо болѣе забавная, чѣмъ въ моемъ сокращенномъ изложеніи, но содержащая въ себѣ зерно серьезнаго опасенія, что дескать поступательный ходъ науки въ концѣ концовъ засушить и обезцвѣтитъ жизнь. По мнѣнію Поля Бурже, опасность эта и гораздо глубже, и гораздо ближе; потому что уже и теперь

наука или, точиѣе, философія на научпой подкладкѣ дастъ себя знать страшнымъ ущербомъ нравственнаго чувства.

Молодой человекъ Робертъ Грелу попадаетъ гувернеромъ въ семью маркиза де-Жюсса и соблазняетъ сестру своего воспитанника сначала разсчитаннымъ ухаживаніемъ, потомъ, въ рѣшительную минуту, угрозой отравиться, наконецъ обѣщаніемъ умереть вмѣстѣ. Однако, опомнившись, послѣ того какъ Шарлотта отдалась ему, онъ отказывается отъ самоубійства, и дѣвушка, оскорбленная вдобавокъ еще его дневникомъ, который ей удалось прочесть, отравляется одна. Передъ смертью она написала своему отсутствующему старшему брату, графу Андре, письмо, въ которомъ изложила всю исторію. Робертъ Грелу арестованъ по подозрѣнію въ убійствѣ Шарлотты, судится, но отказывается давать какія-бы то ни было показанія, и осужденіе его, повидимому, несомнѣнно. Графъ Андре знаетъ изъ письма сестры, что Грелу не виноватъ въ томъ преступленіи, въ которомъ обвиняется, но не хочетъ открывать эту тайну суду, во-первыхъ, чтобы не обнаруживать позора сестры, а во-вторыхъ, потому, что Грелу все-равно заслуживаетъ всякой казни. Въ дѣлѣ Грелу совершенно особымъ образомъ заинтересовано еще одно лицо. Это вѣкій Адрианъ Сикетъ, знаменитый ученый и философъ, имѣвшій своими сочиненіями огромное вліяніе на Грелу. У него есть собственноручная исповѣдь Грелу, изъ которой онъ знаетъ все, что знаетъ графъ Андре изъ предсмертнаго письма Шарлотты. Сикетъ пишетъ объ этомъ графу анонимно, и тотъ, пораженный мыслью, что есть кто-то еще, знающій дѣло, объявляетъ передъ судомъ истину. Грелу оправданъ. Но въ тотъ-же день графъ Андре убиваетъ его изъ револьвера, прямо называя это убійство казнью. «Я казнилъ его»,— говоритъ онъ присутствующимъ, и это заявленіе послѣ выстрѣла неволью напоминаетъ восклицаніе Вальяна «присужден!»), которымъ послѣ выстрѣла-же оканчивается драма Доля.

Такова фабула романа Бурже. Но интересъ совѣзмъ не въ ней, не во внѣшней исторіи Робера Грелу. Можно даже сказать, что дѣйствующими лицами романа являются не люди, а идеи и душевныя состоянія. Большая часть романа занята исповѣдью Грелу, переполненной философскими отвлеченностями и психологическими тонкостями, и затѣмъ характеристикю Адриана Сикета, формула жизни котораго исчерпывается, какъ говоритъ авторъ, однимъ словомъ: мыслить.

Сикетъ еще въ ранней молодости обнаружилъ выдающіяся способности и отсутствіе всякихъ увлеченій, свойственныхъ молодости. Онъ усидчиво работалъ, изучая англійскихъ и нѣмецкихъ философовъ, естественныя науки, въ особенности физиологію мозга, науки математическія. Въ двадцать пять лѣтъ онъ напечаталъ свой первый трудъ, озаглавленный «Психологія Бога» и вызвавшій шумный скандалъ. Давно уже не появлялось ничего подобнаго по широтѣ общихъ взглядовъ, по глубинѣ

эрудици и по смѣлости отрицанія, «нигилизма». Тѣми-же качествами, но еще въ сильнѣйшей степенн, отличались послѣдующія произведенія Сикета—«Анатомія воли» и «Теорія страстей». Разсказ застаетъ Сикета человѣкомъ уже знаменитымъ, въ сочиненія котораго,—это очень важно замѣтить,—съ особенною жадностью вчитывается мыслящая молодежь. Живетъ онъ въ высшей степенн скромно и аккуратно, холостъ, не имѣетъ никакихъ личныхъ привязанностей, совершенно лишенъ честолюбія. Непосредственныя его сношенія съ людьми ограничиваются тѣмъ, что онъ три раза въ недѣлю принимаетъ въ опредѣленный часъ посѣтителей: студентовъ, обращающихся за совѣтомъ, ученыхъ, работающихъ въ одной съ нимъ области знанія, иностранцевъ, привлеченныхъ его европейскою славой. Въ теченіе пятнадцати лѣтъ онъ занимаетъ одну и ту-же квартиру, ни разу не обѣдалъ внѣ дома, ни разу не заглянулъ въ театръ. Газетъ онъ никакихъ не читаетъ, избирательными своими правами ни разу не воспользовался. Въ предисловіи къ «Анатоміи воли» онъ писалъ: «Кто хочетъ познать и сказать истину въ области явленій душевной жизни, долженъ свести свои общественныя связи къ minimum'у». Что касается содержанія сочиненій Сикета, то Бурже сообщаетъ объ этомъ слѣдующее. Сикетъ признавалъ, что разумъ человѣческой безсильенъ познать конечныя причины и сущность вещей и долженъ ограничиваться координаціей явленій. Тѣ явленія, которыя суммируются въ словѣ «душа», подлежатъ, подобно прочимъ, научному изслѣдованію. Какъ видитъ читатель и какъ указываетъ самъ Бурже, оба эти положенія не составляютъ исключительной собственности Сикета и входятъ въ кругъ общепринятыхъ нынѣ идей. Да мудро было-бы и ожидать, чтобы Бурже надѣлилъ своего героя какимъ-нибудь вполнѣ оригинальнымъ философскимъ міросозерцаніемъ, притомъ не фантастическимъ, которое, пожалуй, и романистъ сочинить можетъ, а состоящимъ въ непосредственной связи съ наукой. Понятно, что Бурже, характеризую міросозерцаніе Сикета, напиралъ больше на кое-какія частности и на рѣзкость выраженій. Такъ, онъ приписываетъ Сикету отрицательный анализъ ученія Спенсера о «Непознаваемомъ». По Сикету, это ученіе есть «послѣдняя форма метафизической иллюзіи, на которую онъ обрушивается съ энергіей аргументаціи, невиданною со времени Канта». Есть еще у Сикета «очень новый и очень остроумный» трактатъ о животномъ происхожденіи душевной жизни человѣка; здѣсь доказывается, что все наши чувства суть результаты извѣстнаго, долгаго процесса развитія черезъ рядъ животныхъ формъ. Между прочимъ, въ этомъ трактатѣ анализъ чувства любви посвящено «двѣсти страницъ, смѣлыхъ до забавности подъ перомъ человѣка цѣломудреннаго, если не дѣвственника». «Почти бесполезно прибавлять,—замѣчаетъ Бурже,—что сочиненія Сикета проникнуты отъ первой до послѣдней страницы полнѣйшимъ детерминизмомъ». Особенно выразительными въ этомъ смыслѣ кажутся Бурже слѣ-

дующія слова Сикета: «Если-бы мы знали относительное положеніе всѣхъ феноменовъ, составляющихъ въ данную минуту вселенную, мы могли-бы вычислить съ астрономическою точностью день, часъ и минуту, когда напр. англичане очистятъ Индію, или когда Европа сожжетъ послѣдній кусокъ своего каменнаго угля, или когда еще не родившійся теперь преступникъ убьетъ своего отца, а такая-то поэма будетъ сочинена».

При всемъ своемъ умственномъ превосходствѣ Сикетъ въ житейскомъ смелѣ есть своего рода «цвѣтокъ засохшій, безуханный». Онъ въ сущности очень недалекъ отъ тѣхъ членовъ «политехническаго и верховнаго собранія», которыхъ комическая фантазія Ришпена отнесла къ очень отдаленному будущему. Это не мѣшаетъ однако Сикету утверждать, что онъ беретъ жизнь съ ея поэтической стороны. И онъ не совѣмъ не правъ. Вся житейская обстановка и всѣ вопросы обыденной жизни были для Сикета какими-то неинтересными призраками, но за то отвлеченія, идеи были настоящею реальностью, въ кругу которой онъ жилъ настоящею, полною жизнью. Сидя за своимъ письменнымъ столомъ, въ старомъ потертомъ пальтишкѣ, этотъ смѣшной человѣкъ былъ владыкой цѣлаго міра. Контрастъ между его житейскою безпомощностью и умственною выдержанностью хорошо отмѣченъ многими мѣстами романа. Такъ, вызванный къ судебному слѣдователю по дѣлу Грелу, онъ ведетъ себя до смѣшного трусливо, неумѣло, неловко, пока рѣчь не заходитъ объ отвлеченныхъ вопросахъ. Тутъ онъ какъ-бы умственно выпрямляется и смѣло предъявляетъ свои самые рискованные теоретическіе взгляды. Онъ говоритъ, напримѣръ, что воспитаніе есть въ сущности примѣненіе опытнаго метода къ психологін, но что поле этого опыта, къ сожалѣнію, очень ограничено законами и ходячей моралью. Какъ убѣдить людей, что для науки было-бы полезно прививать дѣтямъ, въ видахъ опыта, извѣстные недостатки или пороки? Онъ не возстаетъ противъ потребности всякаго общества имѣть въ своемъ распоряженіи опредѣленную теорію добра и зла, но смотритъ на эту потребность съ нѣсколько презрительною снисходительностью. На замѣчаніе заинтересованнаго судебного слѣдователя, что убійство Шарлотты де-Жюсеа есть во всякомъ случаѣ преступленіе, Сикетъ спокойно отвѣчаетъ: «Съ соціальной точки зрѣнія, безъ сомнѣнія; но для философіи нѣтъ ни преступленія, ни добродѣтели, а есть только факты извѣстнаго рода, управляемые извѣстными законами, вотъ и все. Впрочемъ, вы найдете, какъ я смѣю думать, окончательныя доказательства этому въ моей «Анатоміи воли».—Для довершенія характеристики умственнаго склада Сикета надо еще замѣтить, что, несмотря на весь свой «нигилизмъ», онъ вполне признаетъ историческую законность всѣхъ заблужденій или того, что ему кажется заблужденіями. Онъ гордо вѣритъ, что обладаетъ истиной, и во имя ея опровергаетъ, напримѣръ, теологическія заблужденія, но знаетъ въ то-же время, что и они, эти заблужденія, суть или въ свое

время были необходимыми продуктами известной эволюции. Онъ рѣшительно отрицаетъ свободу воли во имя детерминизма, но знаетъ также, что иллюзія свободы, живущая въ людяхъ, есть необходимый результатъ известныхъ психологическихъ и физиологическихъ условій нашего организма.

Адрианъ Сикетъ живетъ исключительно мыслью, гдѣ-то въ надзвѣдныхъ пространствахъ и чувствуетъ себя прекрасно. Ни единое облачко не смущаетъ его тихой, спокойной и полной умышленнаго наслажденія жизни, пока дѣло Грелу не спускаетъ его на землю. Мало того, что повѣстка судебного слѣдователя отнимаетъ у него время, нужное для работы, и нарушаетъ порядокъ дня, установившійся годами, а впереди еще явка въ судъ въ качествѣ свидѣтеля. Все это ужасно, но все-таки затрогиваетъ только виѣшній распорядокъ жизни. Есть нѣчто ужаснѣе: на леномъ небѣ душевной жизни знаменитаго философа появляется неожиданное облако и растетъ, растетъ... Роберъ Грелу, этотъ предполагаемый убійца Шарлотты, считаетъ себя ученикомъ Сикета, ученикомъ, слѣдовавшимъ въ жизни абстрактнымъ теоріямъ учителя. Такимъ-же признаютъ его и судебный слѣдователь, и мать преступника. Такимъ-же вынужденъ признать его и самъ Сикетъ, когда ознакомился съ содержаніемъ обширной исповѣди несчастнаго молодого человѣка. Сикетъ убѣдился изъ этой рукописи, что Грелу есть дѣйствительно его ученикъ, въ полномъ смыслѣ этого слова, и въ знаменитомъ ученомъ постепенно разгорается чувство отвѣтственности. Онъ, лично никому не сдѣлавшій зла, мухи, какъ говорится, не обидѣвшій, сознаетъ себя косвеннымъ виновникомъ драмы, разыгравшейся въ домѣ маркиза де-Жюсса; никто другой, какъ онъ, смиренный, спокойный ученый, внушилъ своими сочиненіями Роберу Грелу тотъ складъ мысли, который привелъ молодого человѣка на скамью подсудимыхъ. Онъ разрушилъ въ немъ вѣру въ старыхъ боговъ и не далъ взамѣнъ ничего положительнаго, твердаго. Это чувство отвѣтственности тѣмъ мучительнѣе для Адриана Сикета, что въ принципѣ, теоретически, онъ его совершенно отрицаетъ. Какая отвѣтственность? за что? Вѣдь все совершающееся неизбежно и теоретически возможно вычислить день и часъ, въ который еще неродившійся преступникъ убьетъ своего отца. Но увы! философская теорія не можетъ усмирить бунтующую совѣсть...

Адрианъ Сикетъ интересуется Бурже не только какъ оригинальная личность, а и съ точки зрѣнія того вліянія, которое онъ имѣетъ или можетъ имѣть на своихъ молодыхъ читателей и почитателей. Этотъ вопросъ о вліяніи учителя и объ его отвѣтственности, сквозящій уже въ самомъ заглавіи романа—«*Le disciple*», не въ первый разъ затрогивается Полемъ Бурже. Въ талантливыхъ критическихъ очеркахъ, собранныхъ въ двухъ томахъ подъ заглавіемъ «*Essais de psychologie contemporaine*» (1883 и 1886 г.), онъ руководился, между прочимъ,

мыслью опредѣлить вліяніе нѣкоторыхъ выдающихся писателей 1850—1870 годовъ на читателей. Нельзя сказать, чтобы это ему вполне удалось. Это естественно, потому что въ лучшихъ изъ своихъ опытовъ онъ самъ является слишкомъ ученикомъ тѣхъ учителей, которыхъ критикуетъ. Наибольше для насъ здѣсь интересные общіе выводы, къ которымъ Бурже пришелъ въ своихъ критическихъ или, какъ онъ самъ ихъ называетъ, психологическихъ опытахъ, могутъ быть сведены къ слѣдующему. Въ бурной исторіи Франціи XIX вѣка одна за другой погибали великія надежды и великія попытки осуществленія. Къ половинѣ столѣтія среди всѣхъ этихъ обломковъ непоколебленнымъ сохранился одинъ элементъ—наука. Къ ней-то и прилѣпились лучшіе умы. Мыслить, знать, созерцать познаваемое или познанное—стало для этихъ лучшихъ умовъ высшимъ изъ наслажденій. Вопросы нравственно-политической жизни, волновавшіе когда-то людей непосредственно, своею жизненною сущностью, обратились теперь въ предметы объективнаго изученія, наравнѣ съ явленіями природы. А отсюда пониженіе дѣйственной энергіи нравственнаго чувства. Вольтеръ и прочіе умственные вожди прошлаго столѣтія были увѣрены, что они борются съ заблужденіями, вредными, позорными, ненавистными. Современные вожди тоже ищутъ истины и, слѣдовательно, тоже борются съ заблужденіями, но энергія ихъ борьбы не можетъ идти ни въ какое сравненіе съ тогдашнею. Всякое заблужденіе представляется имъ не только заблужденіемъ, но и необходимымъ продуктомъ извѣстныхъ условій расы, времени, исторіи, комбинаціи естественныхъ и общественныхъ силъ. И это сознаніе необходимости. «детерминизма» заблужденій ослабляетъ энергію борьбы, вырабатывая презрительное равнодушіе къ явленіямъ жизни и ироническій скептицизмъ по отношенію къ нравственно-политическимъ идеаламъ. Я встрѣчаюсь съ заблужденіемъ, я знаю, что это заблужденіе, но я знаю также, что оно необходимо при данныхъ условіяхъ; я ищу истины, нащель ее; я знаю, что это истина, но я знаю также, что при иныхъ условіяхъ я не призналъ-бы ее истиной. Между нравственнымъ чувствомъ, признающимъ данное явленіе зломъ, и наукой, разъясняющей необходимость, неизбѣжность этого зла, возникаетъ конфликтъ, парализующій всякую дѣятельность, кромѣ чисто умственной,—наблюденія и изслѣдованія вѣчной смѣны истины и заблужденія, добра и зла, съ ихъ причинами и слѣдствіями.

Такъ, примѣрно, можно резюмировать нѣкоторыя черты литературныхъ портретовъ, собранныхъ въ «Опытахъ современной психологіи» Поля Бурже. Онъ понимаетъ, что это состояніе нездоровое, но самъ зараженъ этимъ нездоровьемъ. Онъ находитъ конфликтъ между нравственнымъ чувствомъ и наукой неразрѣшимымъ, а къ критикуемымъ учителямъ относится какъ къ необходимымъ продуктамъ извѣстныхъ условій, не занимая воинствующаго положенія ни за нихъ, ни противъ нихъ. Поэтому и вопросъ объ

ихъ отвѣтственности за проповѣдуемая ими ученія отстучаетъ въ «Опытахъ» совѣтъ на задній планъ. Въ романѣ дѣло стоитъ иначе. Набросавъ въ предисловіи предварительный портретъ своего героя, приведенный мною въ прошлый разъ, авторъ прибавляетъ: «А! мы слишкомъ хорошо знаемъ этого молодого человѣка; мы сами рисковали быть такими, мы, которыхъ очаровывали парадоксы слишкомъ краснорѣчивыхъ учителей». Сообразно этому задача самаго романа двойна. Это исторія сухого и утонченнаго молодого эгоиста, но вмѣстѣ съ тѣмъ это исторія «ученика», т. е. исторія вліянія и отвѣтственности учителя. Любопытно, что въ изображеніе личности Адриана Сикета внесены цѣликомъ многія черты изъ «Опытовъ современной психологіи», главнымъ образомъ изъ этюдовъ о Тэнѣ и Ренанѣ. Было-бы интересно прослѣдить эти самозамѣшательства, эти переводы матеріала изъ области критики въ область романа, но это заняло-бы слишкомъ много мѣста. Тѣмъ важнѣе для насъ отмѣтить разницу отношеній автора «Опытовъ» и автора романа къ одному и тому-же матеріалу. Тамъ, въ «Опытахъ», Ренанъ и Тэнъ разсматривались, во-первыхъ, какъ неизбежныя и слѣдовательно неотвѣтственные продукты данныхъ условій, а во-вторыхъ, разсматривались они исключительно въ обстановкѣ ихъ работы, внѣ какого-бы то ни было непосредственно личнаго столкновенія съ практической жизнью. Въ романѣ, напротивъ, Адрианъ Сикетъ выброшенъ трагическимъ толчкомъ изъ круга его обычныхъ, исключительно умственныхъ интересовъ въ водоворотъ жизни, и здѣсь, на этой почвѣ житейской борьбы и волненій, проникается чувствомъ отвѣтственности до такой степени напряженнымъ, что оно совершенно выбиваетъ его изъ сѣдла. Въ ночь послѣ убійства Робера Грелу графомъ Андре, около трупа не спятъ два человѣка, мать убитаго и Адрианъ Сикетъ. Мать плачетъ и молится. Много съ ея стороны, конечно, и ожидать нельзя въ эту трудную ночь. Но также плачетъ и молится дерзкій «нигилистъ», знаменитый авторъ «Психологіи Бога», «Анатоміи воли» и «Теоріи страстей». Онъ мысленно шепчетъ слова единственной молитвы, которую онъ случайно помнитъ съ дѣтства: «Отче Нашъ, иже еси на небесѣхъ»...

Завидна доля художника, въ особенности, если онъ, какъ Бурже, вмѣстѣ съ тѣмъ и критикъ, мыслитель. Создавая образы для иллюстраціи или утвержденія какой-нибудь своей задушевной мысли, онъ можетъ направить эти образы въ ту или другую сторону, — куда захочетъ, казнить ихъ или миловать, — какъ захочетъ, и сдѣлать это съ такою степенью убѣдительности, что читателю остается только покорно слѣдовать за руководящею нитью, предупредительно растянутою передъ нимъ авторомъ. Не мѣшаетъ однако быть на-сторожѣ противъ этой покоряющей воли художника; не мѣшаетъ сколько-нибудь самостоятельно разбираться въ томъ матеріалѣ, надъ которымъ онъ оперируетъ. Возьмемъ Адриана Сикета такимъ, какъ онъ изображенъ у Бурже, ничего

не прибавляя, не убавляя и не измѣняя, но попробуемъ собственными средствами разложить эту фигуру на составляющіе ее элементы, хотябы для того, чтобы отдѣлнить въ ней случайное, второстепенное, индивидуальное отъ существеннаго и типическаго. Это сдѣлать не трудно, по крайней мѣрѣ въ предѣлахъ нашихъ цѣлей.

Образъ Сикста полонъ глубокаго интереса и въ художественномъ смыслѣ отличается рѣдкою законченностью и цѣльностью. Миѣ кажется, что по законченности, цѣльности и яркости ему не очень многого недостаетъ, чтобы встать рядомъ съ крупнѣйшими художественными созданіями, какими въ нашей литературѣ являются, напримѣръ, гоголевскій Плюшкинъ или педришскій Гудушка. Но кромѣ художественности исполненія есть еще намѣренія автора, его тенденція, на этотъ разъ подчеркнутая съ необычайною рѣзкостью. Въ Сикстѣ наука высушила все личныя привязанности, обезцвѣтила все краски личной жизни. Будь его умственная работа направлена не на теоретическую истину, а на технику, мы не удивились-бы, если-бы онъ, подобно людямъ отдаленнаго комическаго будущаго, настаивалъ на необходимости всеобщаго примѣненія динамо-напернической машины. Во всякомъ случаѣ ему лично ничего не надо изъ тѣхъ благъ цивилизаціи, общественной жизни и естественныхъ наслажденій, которыми нынѣ дорожатъ люди. Въ главѣ, носящей характеристическое названіе «*Tourments d'idées*», Сикстъ, взволнованный бунтомъ совѣсти по поводу дѣла Робера Грелу, оглядывается на свою жизнь и съ гордостью видитъ, что ради интересовъ чистой истины онъ пожертвовалъ рѣшительно всемъ. Это—монахъ отъ науки. Само по себѣ такое монашество, какъ касающееся личной жизни Сикста, не представляетъ для насъ особеннаго интереса. Но добытую имъ въ уединенной кельѣ истину этотъ монахъ вѣщаетъ міру. И мы видимъ, что наука отлучила его, во-первыхъ, отъ Бога, ибо бытіе Божіе есть для него лишь «гипотеза», необходимая на извѣстныхъ ступеняхъ развитія, а въ частности христіанство есть ученіе, «наиболѣе проникнутое идеями, противными его идеямъ»; во-вторыхъ, наука отлучила его отъ общественныхъ интересовъ и нравственно-политическаго идеала и довела до полнѣйшаго индифферентизма. Обѣ эти отрицательныя черты отлично уживаются рядомъ лично въ Сикстѣ, нисколько не мѣшая цѣльности его индивидуальнаго портрета, но невольно являются вопросы: насколько онѣ логически связаны другъ съ другомъ? необходимо-ли онѣ другъ другу сопутствуютъ и не было-ли бы лучше, въ интересахъ анализа, предпринятаго Полемъ Бурже еще въ «Опытахъ современной психологій», если-бы религіозный вольнодумецъ и политическій индифферентистъ получили каждый отдѣльное, самостоятельное воплощеніе? Развъ мы, въ самомъ дѣлѣ, не знаемъ многочисленныхъ примѣровъ того, что самые крайніе вольнодумцы являются вмѣстѣ съ тѣмъ самыми пылкими сторонниками тѣхъ или другихъ нравственно-политическихъ идеаловъ,

а наоборотъ, безусловно преданные известнымъ догмамъ относятся къ явленіямъ общественной жизни такъ, что тамъ хоть трава не расти? Что обѣ половины, изъ которыхъ составленъ Сикетъ, могутъ быть отдѣлены одна отъ другой и получить самостоятельное бытіе, это видно отчасти изъ послѣдней страницы романа: потрясенный Сикетъ шепчетъ забытую молитву, но на перерожденіе его въ смыслѣ большаго участія къ людскимъ дѣламъ и отношеніямъ нѣтъ никакого намека. Можетъ быть, это обращеніе къ Богу есть минутная вспышка, послѣ которой Сикетъ обратится на старый путь невѣрія. Но возможно и такъ, что онъ навсегда, на всю жизнь, поклонится тому, что сжигалъ въ области вѣры, и въ то-же время по-прежнему не заглянетъ ни въ одну газету, не воспользуется своими правами избирателя и вообще ничѣмъ не выразитъ своего участія къ жизни ближнихъ, согражданъ, соотечественниковъ, человечества. Что-же касается чисто личной нравственности, то Адриану Сикету и теперь не въ чемъ себя упрекнуть, такъ что его кухарка, огорченная тѣмъ, что онъ не ходитъ въ церковь, говоритъ все-таки: *le bon Dieu ne serait pas le bon Dieu, s'il avait le coeur de le damner.*

Эта черта личной нравственной чистоты, художественно дополняя портретъ Сикета, вмѣстѣ съ тѣмъ служитъ и тенденціи автора. Чуждый слабостей и пороковъ, Сикетъ тѣмъ рѣзче оказывается виноватымъ въ качествѣ представителя и воплощенія современной науки, современной философской мысли. Усвоивая этой наукѣ и этой философской мысли двойную отвѣтственность, обвиняя ее заразъ и въ разрушеніи принятыхъ религіозныхъ догматовъ, и въ распространеніи политическаго индифферентизма, Бурже идетъ и еще дальше. Адрианъ Сикетъ живетъ исключительно въ атмосферѣ мысли, его духовный вскармленникъ Робертъ Грелу вступаетъ, вооруженный его теоріями, въ жизнь и оказывается уже настоящимъ негодяемъ. Онъ виноватъ и несетъ заслуженную кару, сначала въ совѣсти своей, а потомъ просто отъ руки графа Андре. Но внутренній голосъ говоритъ Сикету, что и онъ виноватъ, виноватъ въ растлѣніи молодой, неустановившейся мысли, а такъ какъ Сикетъ есть ничто иное, какъ ходячая наука, воплощенная философская мысль, то вотъ и второй виноватый: наука, мысль. На вышеставленные вопросы Бурже могъ-бы отвѣтить: Я знаю, что религіозное вольнодумство и нравственно-политическій индифферентизмъ въ дѣйствительности могутъ быть и не быть связанными въ предѣлахъ той или другой личности, того или другого поколѣнія; но мнѣ кажется, что современная философская мысль бьетъ именно въ обѣ эти стороны заразъ; это положеніе вещей я и изобразилъ: мнѣ кажется также, что люди, искренно и глубоко захваченные волной современной философской мысли, какъ Адрианъ Сикетъ и Робертъ Грелу, при столкновеніяхъ съ жизнью становятся въ мучительныя противорѣчія и съ нею, и съ самими собой; это я тоже изобразилъ.

Если-бы это было такъ и только такъ, если-бы романъ Бурже только воспроизводилъ мрачную дѣйствительность современной духовной смуты, то противъ его конструкціи ничего нельзя было-бы возразить. Но это не такъ. Романъ ищетъ виноватаго и находитъ его, и казнить, — справедливо-ли, это мы увидимъ. Романъ ищетъ, кромѣ того, выхода изъ смуты и не находитъ его, ибо финалъ романа никоимъ образомъ нельзя считать выходомъ. Бурже видитъ въ теоріяхъ Сикста какой-то изъянъ, лучше сказать, чувствуетъ его, но возразить противъ этихъ теорій ничего не можетъ: онъ съ его точки зрѣнія чудовищны, но истинны. Куда-же податься? Отвергнуть-ли истину, потому что она чудовищна, или обнять чудовище, потому что оно истина? Это все тоже противорѣчіе нравственнаго чувства и науки, которое Бурже еще въ «Опытахъ современной психологін» призналъ «по всей вѣроятности» (vraisemblablement) неразрѣшимымъ. Отсюда глубоко-пессимистическій тонъ романа, рѣзко противорѣчащій съ предисловіемъ, написаннымъ въ видѣ горячаго воззванія «къ молодому человѣку». Въ этомъ предисловіи Бурже зоветъ французскую молодежь къ идеалу, совѣтуетъ ей воспитывать въ себѣ силу любви и силу воли, безъ которыхъ,—говоритъ онъ,—все гниль и агонія. Но откуда-же взять и какъ приложить эти двѣ великія силы, если Сикетъ теоретически правъ? А вѣдь теоретически онъ остается правымъ и разбить только въ жизни, когда, по волѣ автора, поклоняется всему, что сжигалъ. Такимъ образомъ смута остается смутой, и той молодежи, которой Бурже хочетъ видѣть силу любви и силу воли—не на что опереться...

IV.

Чтобы видѣть, какъ, по мнѣнію Бурже, абстрактныя теоріи Адриана Сикста отражаются въ практической жизни, мы должны довольно подробно ознакомиться съ исповѣдью Робера Грелу, занимающею почти треть романа. Понятно, что мы выберемъ лишь самое необходимое.

«Между вами,—пишетъ Грелу Сикету,—знаменитымъ ученымъ и мною, вашимъ ученикомъ, обвиняемымъ въ подлѣйшемъ преступленіи, существуетъ тѣсная и неразрывная связь, которой люди не поймутъ, которой вы и сами не знаете. Я такъ страстно, такъ полно жилъ вашею мыслью въ самую рѣшительную эпоху моей жизни! Теперь, среди мучительной умственной агоніи, мнѣ не къ кому, кромѣ васъ, обратиться за помощью. Поймите меня, уважаемый учитель, не подумайте, что источникъ моихъ страшныхъ мученій лежитъ во внѣшнихъ условіяхъ моего положенія. Я въ тюрьмѣ, но я не былъ-бы достоинъ имени философа, если-бы давно уже не научился видѣть во внѣшнемъ мірѣ

только безразличную и фатальную смѣну явленій и признавать свою мысль единственною реальностью, съ которою надо считаться». Хотя Греду и не убивалъ Шарлотты, въ чемъ его обвиняютъ, но прикосновененъ все-таки къ ея смерти и его мучать угрызения совѣсти, тогда какъ, говоритъ онъ, «неповѣдваемое мною ученіе, то, что я считаю истиной, самыя существенныя мои убѣжденія—заставляютъ меня смотрѣть на угрызения совѣсти, какъ на неслѣдѣннѣйшую изъ человѣческихъ иллюзій. Эти убѣжденія безсильны возвратить мнѣ былой покой увѣренности: я сердцемъ сомнѣваюсь въ томъ, что мой разумъ признаетъ истиной. Не думаю, чтобы возможна была болѣе лютая казнь для человѣка, съ молодю отдавашагося наслажденію мысли». Выказаться и получить отъ знаменитаго учителя откликъ, быть можетъ, разрѣшеніе всѣхъ сомнѣній,—такова цѣль исповѣди. Это собственно цѣлая автобіографія.

Съ тѣхъ поръ какъ Греду себя помнить, онъ знаетъ за собою одну рѣдкую черту—возможность и потребность раздвоенія личности. Въ немъ всегда жили два человѣка: одинъ собственно жилъ, а другой съ любопытствомъ наблюдалъ перваго. Вмѣстѣ съ тѣмъ онъ всегда питалъ инстинктивное отвращеніе къ какому-бы то ни было самому ничтожному активному шагу. Напримѣръ при одной мысли, что надо идти въ гости, у него уже билось сердце; самыя легкія физическія упражненія были для него не переносны; открытая борьба въ защиту даже самыхъ дорогихъ своихъ убѣжденій и по-сейчасъ представляется ему чѣмъ-то почти невозможнымъ. «Этотъ страхъ передъ дѣйствіемъ,—говоритъ Греду,—объясняется излишествомъ мозговой работы, которое удлиняетъ человѣка среди окружающихъ его реальностей, и, по непривычкѣ къ общенію съ ними, онъ ихъ трудно переноситъ». Черту эту Греду, по его словамъ, унаслѣдовалъ отъ отца, человѣка физически слабаго, но обладавашаго недюжинною умственною силою и преданнаго умственнымъ занятіямъ. Греду отмѣчаетъ въ себѣ еще необыкновенную необузданность желаній. Вообще, говоритъ онъ, «абстрактныя натуры менѣе другихъ способны противостоять страсти, если ужъ она въ нихъ пробудилась, можетъ быть потому, что обыденная связь между мыслью и дѣйствіемъ въ нихъ разрушена. Я видалъ, какъ мой отецъ, обыкновенно терпѣливый и кроткій, предавался безумному гнѣву, доходившему почти до потери сознанія. Въ этомъ отношеніи я также настоящій его сынъ, а черезъ него—потомокъ дѣда, плохо уравновѣшеннаго, своего рода первобытнаго гениальнаго человѣка, полу-мужика, выдвинувашагося механическими изобрѣтеніями». Отецъ Греду пользовался всеобщимъ уваженіемъ, и въ мальчикѣ рано зародилась мысль, что люди умственныхъ интересовъ не подлежатъ той-же мѣркѣ, какою мѣряются люди, не сдѣлавшіе упражненій мысли своею специальностью; въ немъ воспиталось презрительное отношеніе къ толпѣ.

Отецъ Греду рано умеръ, и маленькій Робертъ остался совершенно

одинокимъ, потому что мать его была простая женщина, неспособная ни поддержать, ни направить его въ области умственной жизни, куда его тянуло. Это была вмѣстѣ съ тѣмъ очень богомольная женщина, строго подчинявшаяся всѣмъ католическимъ традиціямъ и обрядамъ, что отразилось на мальчикѣ очень оригинально. Всю унаслѣдованную имъ отъ отца и рано разбужденную потребность мышленія онъ направилъ на самоанализъ, дабы съ микроскопическою детальностью разглядывать свои грѣхи и потомъ каяться въ нихъ духовнику. Духовникъ, человекъ добрый, но ограниченный, поощрялъ это благочестіе, не подозрѣвая, какъ вредно для мальчика до такой степени анализировать каждый свой шагъ, каждую бѣгло мелькнувшую мысль. Способность психологическаго анализа тѣмъ самымъ изощрилась и направилась затѣмъ на личность самаго духовника, а далѣе и на многое другое. Греду сравниваетъ себя за этотъ періодъ своего развитія съ яблокомъ, въ которое проникъ червь: снаружи есть только маленькое пятнышко, но внутри разрушительная работа черви идетъ все глубже. Разнообразное чтеніе, то разжигающее воображеніе и чувственность, то все болѣе отклоняющее отъ образа мыслей матери и духовника—довершало дѣло. Но довершилъ его Адрианъ Сикстъ своими сочиненіями. «Вы мнѣ доказали,—пишетъ Греду своему учителю,—съ одинаково неотразимою діалектикой, что всякая гипотеза о первой причинѣ есть нелѣпость, но что тѣмъ не менѣе какая-нибудь этого рода нелѣпость столь-же необходима для нашего разума, какъ иллюзія обращенія солнца около земли, хотя мы знаемъ, что солнце неподвижно, а земля вертится... Я понялъ и свое нравственное одиночество, отъ котораго такъ страдалъ возлѣ матери, аббата Мартели (духовника), товарищей. Вы доказали въ своей «Теоріи страстей», что мы безсильны выдти изъ предѣловъ нашего я и что всякое общеніе между двумя личностями основывается на иллюзіи. Изъ «Анатоміи воли» я узналъ, что тѣ грѣхи чувственности, въ которые я впадалъ и которые причиняли мнѣ столько угрызений совѣсти, были неизбѣжны». Кромѣ этого содержанія сочиненій Сикста, юноша восторгался въ нихъ отвлеченностью и неустрашимостью мысли, тонкостью діалектики, широтою обобщеній: во всемъ этомъ онъ находилъ отзвукъ своему собственному настроенію. При такихъ условіяхъ Робертъ получилъ приглашеніе ѣхать въ деревню къ маркизу де-Жюсса гувернеромъ. Принимая это предложеніе, онъ мечталъ о наслажденіяхъ мысли, которымъ онъ отдастся въ деревенской тиши, о томъ, что, отложивъ кое-что изъ своего гувернерскаго жалованья, онъ поѣдетъ въ Парижъ еще и еще учиться, поселится недалеко отъ Сикста и будетъ пользоваться его руководствомъ. Случилось иначе.

Первымъ человекомъ, обратившимъ на себя вниманіе Робера въ замкѣ Жюсса, былъ старшій сынъ маркиза, графъ Андре, тридцатилѣтній офицеръ, смѣлый, физически сильный и ловкій, энергическій. Это было

нѣчто діаметрально противоположное самому Грелу. Несколько послѣдній уважалъ мысль, просто поклонялся ей, настолько-же графъ Андре презиралъ ее. Внутренняя раздвоенность молодого мыслителя рѣзко отъ-нялась цѣльностью графа, у котораго всякое чувство, весьма слабо отражаясь въ области идей, быстро и цѣлкомъ разрѣшалось въ дѣйствіе. Грелу не могъ не любоваться этою столь недостававшюю ему цѣльностью, но вмѣстѣ съ тѣмъ относился къ своему живому контрасту съ антипатіей, принимавшей иногда характеръ даже ненависти. Этотъ грубый варваръ, какимъ графъ представлялся Роберу, частью раздражалъ его, частью вызывалъ его презрѣніе, но частью и импонировалъ ему. Ему приходило въ голову, что настоящій великій человѣкъ, какимъ онъ хотѣлъ-бы быть, долженъ соединять въ себѣ его, Робера Грелу, силу мысли съ дѣйственной энергіей графа Андре. Эта идея стала все болѣе и болѣе грызть Грелу, а тутъ рядомъ была Шарлотта, молодая, красивая, добрая. Роберъ и самъ не знаетъ хорошенько, какъ совершилось все послѣдующее. Иногда ему кажется, что дѣло очень просто: онъ влюбился въ Шарлотту и не могъ отказаться отъ желанія обладать ею. Иногда-же, роясь въ своей душѣ съ свойственнымъ ему излишествомъ анализа, онъ приплетасть сюда и свое двойственное отношеніе къ графу Андре, и усвоенную отъ Сикета идею необходимости «психологическихъ опытовъ». Въ самомъ дѣлѣ, если по ученію Сикета въ интересахъ науки было-бы полезно прививать дѣтямъ пороки, то почему-же его ученику не сдѣлать опыта соблазна дѣвушки и не обогатить науку своими наблюденіями надъ нею? Задержки въ правдивномъ чувствѣ не могло быть, потому что тотъ-же Сикетъ убѣдилъ молодого человѣка, что для философа нѣтъ ни добра, ни зла, а есть только комбинація необходимыхъ явленій. Далѣе, побѣдивъ Шарлотту, Грелу нанесъ-бы ударъ гордости ненавистнаго ему графа Андре, а вмѣстѣ съ тѣмъ, добиваясь этой любви, онъ пополнилъ-бы односторонность своей исключительно уметвенной жизни и покончилъ-бы съ притекающею отсюда раздвоенностью, отсутствію которой въ графѣ Андре онъ такъ завидовалъ. По всѣмъ этимъ побужденіямъ, а частью и велѣдствіе искреннаго увлеченія Шарлоттой, Грелу принялся за свой «опытъ», то есть за дѣло систематическаго соблазна. Исторію этого опыта онъ рассказываетъ очень подробно, шагъ за шагомъ, съ полною откровенностью записывая какъ тѣ подлости, къ которымъ онъ считалъ нужнымъ прибѣгать для достиженія своей цѣли, такъ и тѣ взрывы совѣсти и настоящаго увлеченія, съ которыми онъ не могъ справиться даже при помощи философіи Сикета. Любопытно, что даже въ практикѣ любовнаго соблазна Грелу оказывается ученикомъ Сикета. Мы, впрочемъ, уже упоминали, что въ одномъ изъ сочиненій Сикета есть трактатъ о любви, «смѣлый до забавности подъ перомъ человѣка цѣломудреннаго, если не дѣвственнаго».

Исповѣдъ Грелу окончивается слѣдующимъ обращеніемъ: «Пишите мнѣ, дорогой учитель, направьте меня. Поддержите меня въ томъ ученіи, которое я все-таки исповѣдую и въ силу котораго все необходимо, даже самыя отвратительныя наши поступки, даже это холодное предпріятіе соблазнить дѣвушку. Скажите мнѣ, что я не чудовище, что вообще нѣтъ чудовищъ, что если я выйду изъ своего теперешняго положенія цѣль, вы не откажете мнѣ въ своемъ руководствѣ и дружбѣ. Если-бы вы были врачомъ и къ вамъ пришелъ-бы раненый, вы перевязали-бы его рану. Вы тоже врачъ, великій врачъ душъ, а раны моей души глубоки. Умоляю васъ: хоть одно утѣшительное слово, одно, единственное слово, и я буду вѣчно благословлять васъ!»

Но Сикетъ, какъ мы видѣли, не знаетъ этого утѣшительнаго слова; онъ самъ въ немъ нуждается и находитъ его въ такой области, которая лежитъ за тридевять земель отъ его философіи и состоитъ съ ней въ открыто враждебномъ противорѣчii. Достоинно однако примѣчанія, что это чужое слово еще недавно было совсѣмъ нечужимъ, по крайней мѣрѣ Роберу Грелу, если не Адриану Сикету. Робертъ усвоилъ себѣ въ ранней молодости отъ матери и отъ аббата Мартеля все то религиозное міросозерцаніе, обломокъ котораго, въ видѣ молитвы, всплылъ въ памяти Сикета въ окончательно трудную минуту. Но эта соломенка, за которую хватается утопающій послѣ крушенія своей философіи Сикетъ, не спасла въ свое время Робера Грелу. Мы видѣли, что, весь охваченный религіей матери и аббата Мартеля, Робертъ ухитрялся даже изъ таинства покаянія сдѣлать предлогъ для пѣкотораго умственнаго сладострастія: онъ анализировалъ свои грѣхи съ тѣмъ-же спеціальнымъ, своеобразнымъ наслажденіемъ, съ какимъ впоследствии производилъ «психологическіе опыты». Такимъ образомъ можно думать, что къ какому-бы ученію Грелу ни пригнѣлся, онъ остался-бы все-таки тѣмъ-же раздвоеннымъ существомъ, у котораго болѣзненно преувеличенная жажда анализа парализуетъ энергію и если даетъ ей какой-нибудь исходъ, то непременно уродливый. И въ самомъ дѣлѣ, болѣзненный складъ души обнаружился въ Робертѣ Грелу съ тѣхъ поръ какъ онъ себя помнитъ, то есть задолго до знакомства съ ученіемъ Сикета; мало того: онъ унаслѣдованъ имъ отъ отца и дѣда. Правда, ученіе Сикета оказалось очень подходящимъ для этой нездоровой души; но и безъ него душа эта, очевидно, не могла-бы вынести бремя жизни и такъ или иначе погибла-бы. Это обстоятельство еще болѣе усиливаетъ пессимистическій тонъ романа. Бурже выбралъ для разсказа исторію частнаго, случайнаго явленія, притомъ весьма мало зависимаго отъ какихъ-бы то ни было теоретическихъ ученій, а коренящагося просто въ фізіологическихъ условіяхъ организма героя. Но вмѣстѣ съ тѣмъ онъ желалъ сдѣлать общій выводъ, дать общее поученіе. При этомъ теоріи Сикета, противъ которыхъ направленъ весь замыселъ романа, не только не колеблются, но,

напротивъ того—получаютъ даже косвенное подтвержденіе: «детерминизмъ», неизбѣжность несчастій Грелу вытекаетъ изъ фізіологическихъ условій наслѣдственности и индивидуальной организаціи съ такою ясностью, что Сиксту трудно было-бы найти болѣе выразительный примѣръ. По ученію Сикста, все существующее и совершающееся фатально необходимо, и жизнь Робера Грелу сложилась дѣйствительно фатально: онъ уже въ утробѣ матери былъ обреченъ на рядъ тѣхъ или другихъ несчастій и уродливыхъ дѣйствій. А такъ какъ Бурже желаетъ обобщить этотъ частный случай, то получается общій мрачный эффектъ, какъ будто не лично Грелу, а чуть не вся Франція или по крайней мѣрѣ цѣлое поколѣніе французовъ обречено на гибель.

Есть однако, кажется, для Бурже на этомъ мрачномъ небѣ двѣ звѣздочки—одна въ области теоріи, другая въ сферѣ практической жизни. Увы, это звѣздочки маленькія, мерцающія слабымъ, двусмысленнымъ свѣтомъ!

Въ предисловіи, говоря о несчастіяхъ Франціи, Бурже поетъ нѣкоторый гимнъ какой-то «молодой буржуазіи», той именно, которая была молода во время послѣдней войны. Только ею, по словамъ Бурже, Франція и держится. Она-же съ своей стороны принесла отечеству огромныя жертвы. Она даже «подчинилась всеобщей подачѣ голосовъ, самой чудовищной и несправедливой изъ тираній, — потому что сила большинства есть грубѣйшая изъ силъ, не имѣя за собою даже смѣлости и таланта. Молодая буржуазія покорилась, она все приняла, чтобы только имѣть право служить родинѣ необходимую службу». Такъ какъ Франціей заправляетъ, несомнѣнно, буржуазія, въ томъ числѣ и та, которая была молода во время войны, то совершенно непонятно, какъ, чему и почему подчинились эти заправилы. Бурже говоритъ здѣсь о своемъ поколѣніи; но весь намекъ остается тѣмъ болѣе неяснымъ, что тутъ-же прибавляется, что поколѣніе это «не сумѣло ни установить окончательную форму правленія, ни разрѣшить грозныя задачи иностранной политики и социализма». Такимъ образомъ эта первая звѣздочка, по малой мѣрѣ, неясно горитъ. Но поколѣніе Бурже, очевидно, не справилось не только съ практическими задачами политики и экономики, а и еще кое съ чѣмъ. Въ «Опытахъ современной психологіи» Бурже утверждалъ, что наука и нравственное чувство находятся въ противорѣчій другъ съ другомъ,— противорѣчій, но всей вѣроятности неразрѣшимомъ; но тамъ онъ говорилъ объ этомъ спокойно, просто констатировалъ факты или то, что ему казалось фактами. Теперь, въ романѣ, тотъ-же фактъ его возмущаетъ, мучитъ. Онъ рисуетъ два яркихъ портрета людей, источенныхъ противорѣчіемъ между наукой и нравственнымъ чувствомъ и разбитыхъ этимъ противорѣчіемъ въ конецъ. Онъ заставляетъ ихъ дрожать совѣстью, мучиться жаждой исхода. Мы видимъ, что они этого исхода

не получаютъ въ романѣ, и не мудрено, что не получаютъ, потому что его не знаетъ и самъ авторъ, а снабдить ихъ тѣмъ, чего у него самого нѣтъ, онъ, конечно, не могъ. Несмотря на всю свою антипатію къ теоріямъ Сикста, Бурже собственно ничего не имѣетъ возразить противъ нихъ, какъ научно-философскихъ теорій. Онъ знаетъ и говоритъ въ предисловіи «молодому человѣку» одно: «Въ числѣ идей, до тебя достигающихъ, есть такія, которыя дѣлаютъ твою душу менѣе способною къ любви, менѣе способною къ напряженію воли. Считаю достойнымъ, что въ этихъ идеяхъ есть нѣчто ложное (que ces idées sont fausses par un point), какъ бы ни были онѣ соблазнительны, какими-бы великими именами и высокими талантами онѣ ни поддерживались. Воспитывай въ себѣ двѣ великія добродѣтели, двѣ силы, витъ которыхъ все гниль и агонія: любовь и энергію воли.»—Прекрасныя слова, подъ которыми охотно подпишутся, конечно, не худшіе изъ людей; но вѣдь истина есть все-таки истина, и какъ быть, если эта истина расходится съ великими силами любви и энергіи воли? Сказать, что она именно поэтому и только поэтому не истина—зазорно, а признать ее истиною и все-таки отвернуться отъ нея—кромѣ того и не выгодно. Очевидно, нужно какое-то особенное сочетаніе истины, науки съ великими силами любви и энергіи воли, которое и укажетъ путь спасенія отъ золь, изображенныхъ въ романѣ Бурже. Самому Бурже кажется, хотя онъ и не говоритъ этого съ полною ясностью, что подобное сочетаніе, по крайней мѣрѣ въ зародышѣ, уже существуетъ, и именно въ ученіи Спенсера о «непознаваемомъ». На это имѣются намеки и въ текстѣ романа, и въ предисловіи. Это-то и есть вторая, теоретическая звѣздочка на пессимистическомъ небѣ автора «Le disciple». Я не буду распространяться о томъ, насколько эта звѣздочка не надежна...

Каковы-бы ни были недостатки, неясности и недоговоренности романа Бурже, онъ остается все-таки замѣчательнымъ произведеніемъ. Въ художественномъ отношеніи фигуры Робера Грелу, Адриана Сикста и графа Андре отличаются рѣдкою законченностью и яркостью, а нравственный смыслъ романа отмѣчаетъ собою во всякомъ случаѣ настоятельную потребность современнаго французскаго общества, и быть можетъ не одного французскаго, особенно если имѣть въ виду, что, по указанію самого Бурже, его картины и выводы пополяются картинами и выводами Додэ.

Общество, обезсиленное политическими крахами, въ которыхъ такъ или иначе гибнутъ наиболѣе энергичскіе представители идеаловъ, усталое отъ смѣны напряженныхъ надеждъ разочарованіями и сдвоенное петлей бонапартистскаго режима, непременно должно выдвинуть прежде всего грубо безсовѣстныхъ людей въ родѣ Поля Астье, фигурирующаго въ драмѣ Додэ. Этакіе люди существуютъ, конечно, всегда; мало того, можетъ быть въ большинствѣ нашихъ современниковъ есть какъ-

бы кусочекъ Поля Астье, зародышъ. Но этотъ зародышъ придавленъ продуктами вѣковой преемственной работы человѣческаго духа. На него надѣта узда,—у однихъ страха Божія, у другихъ страха общественнаго мнѣнія, у третьихъ страха собственной совѣсти; и пока живы тѣ или другіе идеалы,—все равно, въ чемъ-бы они ни состояли, лишь-бы это были идеалы, то есть руководящее представленіе о чемъ-то высокомъ, прекрасномъ, къ чему обязательно приблизиться. — зародышъ звѣря молчитъ. Времена усталаго равнодушія и крушенія идеаловъ разнуждываютъ его. Его плотоядныя стремленія не встрѣчаютъ задержки рѣшительно ни въ чемъ, и въ этомъ смыслѣ Поля Астье настоящій нигилистъ, въ полномъ смыслѣ этого сильного слова. Это совѣмъ не то, что наши молодые люди шестидесятыхъ годовъ, которыхъ съ такою прискорбною опрометчивостью называлъ нигилистами Тургеневъ. Эти люди дѣйствительно съ бурною страстностью обрасывали съ себя иго старыхъ идеаловъ, но немедленно-же добровольно надѣвали на себя новое. Ихъ идеалы могли казаться съ разныхъ точекъ зрѣнія разными, въ томъ числѣ и странными, смѣшными, дикими, наконецъ опасными, но никто не можетъ отрицать, что они во всякомъ случаѣ были, и имъ приписались обильныя, тяжелыя жертвы. Отличительная-же черта Поля Астье въ томъ именно и состоитъ, что онъ никогда, ничѣмъ и ничему не пожертвуетъ, а напротивъ всегда и все принесетъ въ жертву себѣ. Ибо нѣтъ ни существа такого, ни такой идеи, которыя были-бы ему дороги. Въ немъ разрушены все старыя вѣрованія и цѣнованія и не замѣнены никакими новыми. И когда онъ овладѣетъ ареной жизни, опустѣлой и безпорядочно заваленной обломками бывшихъ, поверженныхъ идеаловъ, ошеломленные предъидущими разочарованіями зрители будутъ ему аплодировать, завидовать или, въ лучшемъ случаѣ, спокойно созерцать его, какъ объектъ научнаго изслѣдованія или художественнаго воспроизведенія. Этимъ спокойнымъ созерцаніемъ занимается, между прочимъ, Адрианъ Сикетъ и хочетъ заниматься Робертъ Грелу.

Нѣтъ, такъ нельзя жить, — говоритъ Додэ; не могу и не хочу я спокойно смотрѣть на торжествующее зло, нельзя предоставить ему поле жизни. Дѣло не въ томъ только, что Поля Астье обидѣлъ или ограбилъ такихъ-то и такихъ-то лицъ, а въ томъ, что онъ и ему подобные заполняютъ всю страну, становятся официальными ея представителями и заправилами, а кромѣ того однихъ, тѣхъ, кто имъ мѣшаетъ, душатъ, а другихъ заражаютъ примѣромъ. Зло страшное, огромное, расплзающееся во все стороны, какъ чернильный клаксъ на пропускной бумагѣ. Кто-же виноватъ въ этомъ злѣ и какъ быть съ его виновникомъ? Додэ не развязываетъ узла, а разрушаетъ, объявляя виновникомъ Поля Астье и предавая его смертной казни. Изъ цѣлой стаи жадныхъ волковъ онъ убиваетъ одного и торжествуетъ побѣду. Бурже идетъ дальше. Казнивъ совершенно подобнымъ-же образомъ

Робера Грелу, онъ, кромѣ того, наказаль его и Адриана Сикета угрызениями совѣсти и чувствомъ отвѣтственности. И, конечно, да здравствуетъ больная совѣсть! Да здравствуетъ эта благодѣтельная мучительница, властно объявляющая своему посетителю, что онъ виновенъ и долженъ казнить! Да здравствуетъ, ибо она требуетъ искупленія, жертвы, а жертва или по крайней мѣрѣ хотъ искренняя готовность жертвы есть единственный непререкаемый признакъ наличности идеала, то есть въ данномъ случаѣ возрожденія его. Вспышки совѣсти не всегда бываютъ достаточно продолжительны, но что бы ни случилось съ Роберомъ Грелу, если-бы онъ остался живъ, что бы ни случилось и съ Сикетомъ послѣ кризиса, въ минуты угрызений совѣсти передъ ними носилось что-то высокое, прекрасное, чему надлежало отдаться и что они оскорбили.

Вопросъ, однако, не только въ продолжительности вспышекъ совѣсти, а и въ томъ, насколько вообще эта усвоенная романистомъ Роберу Грелу и Сикету черта типична и соответствуетъ дѣйствительности. Вотъ Поля Астье совѣсть ни разу не уязвила. Натуры Грелу и Сикета, конечно, гораздо тоньше: они не дорожатъ тѣми изменными наслажденіями, ради которыхъ Астье топчетъ все, они отдались исключительно высокому наслажденію мысли. У нихъ есть, пожалуй, такое задушевное, что заслуживаетъ названія идеала: они хотятъ все знать, все понимать и ради этой цѣли готовы отказаться отъ всѣхъ земныхъ благъ. Весьма поэтому вѣроятно, что имъ доступны и угрызения совѣсти, — но вѣдь они ничтожное меньшинство. Правда, въ ихъ рукахъ сила проповѣди, пропаганды, и собственно въ виду значенія этой силы Бурже и возлагаетъ столько отвѣтственности на Адриана Сикета, а въ лицѣ его казнить еще одного виновника—современную науку и философскую мысль.

Это—огромное и печальное недоразумѣніе, чреватое скверными послѣдствіями. Я очень хорошо понимаю, что жрецы науки далеко не всегда стоятъ на высотѣ своего положенія, что они могутъ быть позорно равнодушны, малодушны и бездушны, могутъ отдавать свои знанія и свою изощренную мысль на службу неправому дѣлу и т. д. Но каковы-бы ни были ихъ личные грѣхи, отвѣтственность за нихъ не можетъ падать на самую науку, на самую философскую мысль. Съ этой стороны тенденція романа Бурже намъ слишкомъ хорошо знакома, потому что у насъ даже очень крупныя писатели бываютъ иногда склонны къ дикой агитаціи противъ науки.

Возьмемъ нѣкоторые изъ пунктовъ ученія Сикета въ самой ихъ грубой формѣ. «Человѣкъ безсилень выйти изъ предѣловъ своего я, и всякое общеніе между двумя личностями основывается на иллюзіи»; то есть: любовь къ женщинѣ, къ дѣтямъ, друзьямъ, соотечественникамъ и т. д.—все это рядъ иллюзій, подъ которыми скрывается одно себялюбіе. Въ частности любовь къ женщинѣ есть ничто иное, какъ поло-

вое влеченіе, и имѣть чисто животное происхожденіе. Всякій нашъ поступокъ зависить отъ извѣстной, непреодолимой комбинаціи причинъ и слѣдствій, и если намъ кажется, что мы свободно, по собственному выбору, идемъ направо или налево, тонимъ человѣка въ рѣкѣ или, напротивъ, спасаемъ утопленника, такъ это иллюзія. Этихъ трехъ положеній съ насъ, пожалуй, и достаточно. Въ распространенномъ видѣ, то есть обставленномъ тонкой аргументаціей и обильнымъ фактическимъ матеріаломъ, онѣ радуютъ сердца Адріана Сикета и Робера Грелу и пугаютъ Поля Бурже. Пугаютъ тѣмъ сильнѣе, что онѣ ничего противъ нихъ возразить не можетъ; онѣ считаютъ ихъ истиной, противъ которой, однако, возмущается его нравственное чувство. Не умѣя разрѣшить это противорѣчіе, онъ хочетъ изъ него просто выпрыгнуть въ какую-то область невѣдомаго, гдѣ и надѣется укрѣпиться. Но прежде всего три приведенныя положенія не составляютъ какого-нибудь оригинальнаго открытія Адріана Сикета и даже не могутъ быть приписаны, въ качествѣ такового, нашему времени вообще. Для извѣстной части общества это въ сущности общія мѣста, популяризированныя еще въ прошломъ столѣтіи. Можетъ быть Сикетъ и въ самомъ дѣлѣ обнаружилъ въ «Анатоміи волн» и «Теоріи страстей» такую рѣдкую логическую силу и такую необыкновенную эрудицію, до которой какому-то Гольбаху или Гельвецію какъ до звѣзды небесной далеко. Но блестящая группа французскихъ писателей прошлаго вѣка такъ популярно и талантливо пропагандировала три приведенныхъ пункта философіи Сикета, что ихъ вредныя послѣдствія должны-бы были тогда-же обнаружиться, а между тѣмъ мы этого не видимъ. Существуетъ, правда, мнѣніе, что вліяніе этихъ писателей было вредно, но это во всякомъ случаѣ не тотъ вредъ, который имѣеть въ виду Бурже. XVIII вѣкъ былъ полонъ страстной борьбы съ старыми идеалами, но отсутствіемъ идеаловъ и энергіи онъ, конечно, не страдалъ. Это было время кипучей жизни, о которой мы можемъ думать только съ завистью и въ которую, при всѣхъ усиліяхъ воображенія, трудно вдвинуть такую ничтожную, безвольную, безхарактерную, холодную фигуру, какъ Робертъ Грелу, или такого въ сущности расплывчатаго мыслителя, какъ Адріанъ Сикетъ, который не только не умѣеть ни любить, ни ненавидѣть, но и истины отъ заблужденія отличить не можетъ. Въ самомъ дѣлѣ, для него заблужденіе есть такое-же явленіе, какъ и всякое другое,—оно вызвано непреодолимой комбинаціей причинъ и слѣдствій, оно законно, а его собственное убѣжденіе, которое онъ обязанъ признавать истиннымъ, есть опять-таки только необходимый продуктъ необходимыхъ причинъ. Онъ и занимается поэтому скептическимъ переливаніемъ изъ пустого въ порожнее, игрой ума, не разрѣшающейся въ какой-бы то ни было активный шагъ и даже въ какое-бы то ни было зажигающее чувство. Умственнымъ вождямъ французскаго общества прошлаго столѣтія была хорошо извѣстна

та истина, что всякое явленіе есть необходимый продукт необходимыхъ причинъ; они потратили много остроумія и таланта на распространеніе этой истины въ увлекательной формѣ по всему лицу земли. И, однако это не мѣшало имъ признавать заблужденіе заблужденіемъ, истину истинной и жить, какъ говорится, веѣми фибрами души, звонить во вся, вторгаясь во все вопросы практической жизни. Значить, дѣло не въ пугающей Поля Бурже истинѣ, а въ чемъ-то другомъ.

Человѣкъ есть по самой природѣ своей эгоистъ; любя другихъ, онъ любить самого себя, а все остальное есть только иллюзія. — Это тоже стародавняя мысль, тоже не мѣшавшая въ свое время людямъ жить и любить и приносить жертвы любви. И не мудрено. Иллюзія вѣдь тоже фактъ, съ которымъ приходится считаться, потому что мы всю жизнь проводимъ, можно сказать, среди иллюзій. Я смотрю въ окно на залитый солнцемъ садъ. Но въ природѣ есть только различныя колебанія волнъ эфира, а ощущеніе или впечатлѣніе свѣта и цвѣтовъ есть только моя иллюзія, обусловленная строемъ моего организма. Это не мѣшаетъ мнѣ, однако, имѣть разнообразныя отношенія къ свѣту, какъ свѣту, гораздо даже болѣе разнообразныя и близкія, чѣмъ къ свѣту, какъ колебаніямъ волнъ эфира. Иллюзія или нѣтъ моя любовь къ другому человѣку, но я ее чувствую, отличаю отъ себялюбія совершенно для меня ясными, опредѣленными чертами, какъ отличаю цвѣта спектра, хотя все они суть колебанія волнъ эфира. По извѣстнымъ теоретическимъ, а частью и практическимъ соображеніямъ можетъ оказаться надобность доказывать, что любовь къ людямъ и самая идея этой любви не откуда-нибудь извиѣ въ пастъ заложена, а имѣетъ чисто земное происхожденіе. Такова именно и была одна изъ задачъ XVIII вѣка. Въ наше время, пожалуй, что и нѣтъ надобности въ приписываемыхъ Сикету тонкой диалектикѣ и обширной эрудиціи, чтобы достаточно солидно обставить такой, напримѣръ, тезисъ: отнимая у голоднаго кусокъ, я дѣйствую, какъ себялюбецъ; оставаясь голоднымъ, чтобы отдать кусокъ другому, я дѣйствую опять-же, какъ себялюбецъ, только на этотъ разъ мнѣ пріятнѣе накормить другого, чѣмъ насытиться самому. Исторически дѣло такъ и шло, что грубый эгоизмъ дикаря постепенно расширялся семейными и общественными узами, захватывая въ районъ личныхъ интересовъ чужіе интересы, что и называется, въ противоположность эгоизму, альтруизмомъ; на самомъ-же дѣлѣ тутъ нѣтъ противоположности, а есть преемство, развитіе. Совершенно справедливо. Но если дубъ выросъ изъ желудка, такъ вѣдь все-таки не значитъ, что дубъ и желудокъ одно и то-же. Также самое можно сказать о сведеніи любви къ женщицѣ на половое влеченіе, — это дубъ и желудокъ.

Такимъ образомъ нѣтъ резона ужъ очень-то пугаться страшныхъ тезисовъ Адриана Сикста. Поскольку въ нихъ заключается истина, они могутъ и должны быть приняты, а что касается односторонняго ихъ

пониманія Сикетомъ и употребленія, которое онъ изъ нихъ дѣлаеть, частью самъ, частью руками своего ученика, такъ это имъ и надлежитъ поставить на счетъ. Бѣда не въ наукѣ, какъ-бы глубоко она ни спускалась, дорываясь до корня вещей, не въ философской мысли, какъ-бы ни были смѣлы ея полеты, а въ томъ, что въ лицѣ Сикета и Грелу мысль отлучилась отъ жизни. Нагляднымъ образомъ, художественно, эта отлученность выражается тою житейскою безпомощностью, тою трусостью передъ самымъ ничтожнымъ дѣйствіемъ, которою одинаково заражены и знаменитый ученый, и его несчастный ученикъ. По зараза трусости проникла у этихъ якобы отчаянно смѣлыхъ мыслителей, какими ихъ рекомендуютъ Бурже, и въ самую область мысли. Ибо во многихъ случаяхъ именно только трусость мысли въ сочетаніи съ равнодушіемъ къ жизни заставляеть ихъ отступать передъ «иллюзіями».

Зло, въ чемъ-бы оно ни состояло и какіе-бы размѣры ни принимало, есть необходимый результатъ извѣстныхъ причинъ. Это положеніе особенно смущаетъ Бурже. Ему кажется, что оно должно парализовать энергію борьбы со зломъ, потому что какъ-же бороться съ завѣдомо неизбѣжнымъ? Дѣйствительно-ли, однако, это положеніе такъ страшно? Что за него могутъ прятаться трусость и равнодушіе, это безспорно, но вѣдь онѣ всегда будутъ искать и всегда найдутъ за что спрятаться. А если во мнѣ родилось желаніе борьбы, такъ оно, во-первыхъ, столь-же фатально необходимо, какъ и то зло, противъ котораго я хочу бороться. Этого никакою Сикетъ, хоть будь у него семь пядей во лбу, съ своей собственной точки зрѣнія оспорить не можетъ. Далѣе, пусть я, предпринимая борьбу, только исполняю велѣнія извѣстныхъ или неизвѣстныхъ причинъ, и мой самостоятельный починъ есть ничто иное, какъ иллюзія. Пусть, но въ моемъ сознаніи, рядомъ съ велѣніями причинъ, все съ тою-же необходимостью становится велѣнія цѣлей, каковыя совершенно отсутствуютъ въ якобы всеобъемлющей философіи Сикета. Это понятно. Достиженіе цѣли требуетъ дѣятельности, а онъ боится всякаго дѣйствія и равнодушенъ къ жизни; онъ только мыслитель, и потому довольствуется изслѣдованіемъ причинъ. Вглядываясь, однако, ближе въ этотъ образъ монаха отъ науки, мы найдемъ даже и въ его тусклой жизни цѣль, велѣніемъ которой онъ повинется. Эта цѣль — все знать, все понимать, и ради нея Сикетъ отказывается отъ всѣхъ другихъ благъ жизни. Такимъ образомъ, напирая исключительно на велѣнія причинъ и совершенно умалчивая о велѣніяхъ цѣли, философія Сикета даже его собственной личности не обнимаетъ. Таковы для самой мысли результаты ея отлученія отъ жизни, но отлученіе можетъ быть и въ другую сторону.

Мнѣ не разъ случалось, въ томъ числѣ, помнится, и на этомъ самомъ мѣстѣ, то есть въ «Русскихъ Вѣдомостяхъ», употреблять слово «религія» въ особенномъ смыслѣ. Позволяю себѣ повторить сказанное

мною въ другомъ мѣстѣ, въ «Запискахъ профана»: «Подъ религіей я разумѣю такое ученіе, которое связываетъ существующія въ данное время понятія о мірѣ съ правилами личной жизни и общественной дѣятельности; связываетъ такъ прочно, что для исповѣдующаго это ученіе поступить противъ своего нравственнаго убѣжденія въ такой-же мѣрѣ невозможно, какъ согласиться, что, напримѣръ, дважды-два равняется стеариновой свѣчкѣ...» Такой религіи нѣтъ въ современной Франціи, и не въ ней одной, конечно, но потребность въ ней настоятельна. Отсюда между прочимъ этотъ протестъ противъ «натурализма»; отсюда подчеркиваніе возможности для какого-нибудь Астье ссылаться на теорію Дарвина; отсюда мысль объ изсушающемъ вліяніи науки, о томъ индифферентизмѣ, который она внушаетъ своимъ adeptамъ, не давая имъ никакого руководства для жизни. Все это можетъ быть прекрасно по побужденіямъ и могло-бы быть прекраснымъ по послѣдствіямъ, если-бы упреки обращались къ тѣмъ или другимъ отдѣльнымъ представителямъ науки и философіи съ тѣми или другими теоріями. Но, какъ говорятъ нѣмцы, надо остерегаться, чтобы не выплеснуть изъ ванны вмѣстѣ съ водой и ребенка. Надо помнить, что наука не дѣлаетъ и не можетъ дѣлать уступокъ,—она цѣликомъ должна сочетаться съ жизнью...

Ну, а кто-же виноватый-то и что съ нимъ дѣлать? Если Греду и Сикетъ виноваты, такъ они это сами признали и казнятся собственной совѣстью, а въ дѣла чужой совѣсти никому не слѣдуетъ мѣшаться. Истинный виновникъ есть тотъ порядокъ вещей, который систематически, упорно, втеченіе длиннаго ряда годовъ не давалъ мысли вкусить жизнь, не давалъ жизни оплодотвориться мыслью.

О совѣсти г. Минскаго.

I.

Странныя биваютъ иногда впечатлѣнія, странныя и по своей кажущейся безпричинности, и по своей неотвязности. Говорить, на-примѣръ, передъ вами человѣкъ о серьезномъ и важномъ предметѣ, къ которому, казалось-бы, нѣтъ никакого резона приетупаться съ ложью въ сердцѣ и на устахъ: можно его совѣмъ не трогать, и никто за это молчаніе къ отвѣту не притянетъ, а если ужъ понадобилось или захотѣлось тронуть, такъ можно и должно сдѣлать это вполне искренно. Говорить тотъ человѣкъ со всеми признаками глубокаго убѣжденія и горячаго чувства: пылко, краснорѣчиво, бѣя себя въ грудь, воздѣвая очи къ небу и раздирая отъ волненія ризы свои. А вы не вѣрите. И чѣмъ больше вы проникаетесь важностью и серьезностью предмета и чѣмъ, съ другой стороны, сильнѣе жестикулируете и вибрируете голосомъ ораторъ, тѣмъ вы все-больше и больше укрѣпляетесь въ своемъ невѣрїи. Вы наконецъ съ безповоротною ясностью чувствуете, что ораторъ ломается, что, бѣя себя въ грудь размахистымъ жестомъ, онъ, однако, не наноситъ себѣ ни ранъ, ни ушибовъ, а ризы свои разрываетъ съ расчетомъ возможности починить ихъ у ближайшаго портного. И вамъ становится частію обидно, потому что человѣкъ этотъ, очевидно, полагаетъ своихъ слушателей очень ужъ простоватыми, а частію смѣшно, потому что подъ напыщенной формой оказываются пустяки, а такое несоотвѣтствіе всегда комично.

Это сложное чувство мнѣ довелось испытать недавно, при чтенїи книжки г. Минскаго «При свѣтѣ совѣсти». Никакихъ сразу уловимыхъ причинъ сомнѣваться въ искренности г. Минскаго я не имѣю, да и зачѣмъ-бы ему, кажется, говорить о совѣсти не по совѣсти? Никто его,

съ позволенія сказать, за языкъ не тянетъ. Онъ заговорилъ *motu proprio*, единственно потому, что у него на душѣ накопилось по этой части столько, что вылилось наконецъ черезъ край на бумагу, въ непривычной ему, поэту, прозаической формѣ. «При свѣтѣ совѣсти» есть свободный голосъ лишь мыслью заинтересованнаго мыслителя. Да и слова-то страшныя, повелительно обязывающія къ искренности. Шутка въ самомъ дѣлѣ сказать: при свѣтѣ совѣсти!... А между тѣмъ съ первыхъ-же страницъ книжки я почувствовалъ себя въ атмосферѣ неискренности, которая, по мѣрѣ дальнѣйшаго чтенія, становилась все гуще и удушливѣе. Эмфазъ, въ волнахъ котораго привольно купается г. Минскій, параболы и гиперболы, тропы и фигуры и прочія риторическія украшения, которыми онъ уснащаетъ свою рѣчь, не только не убѣдили меня въ горячей искренности чувствъ автора,—а объ ней-то все они и призваны свидѣтельствовать,—но произвели даже совершенно противоположное дѣйствіе. Я не довѣрился, однако, своему неприятному впечатлѣнію, постарался разобратъся въ немъ, разыскать его причины и хочу подѣлиться кое-чѣмъ изъ своихъ размышленій съ вами, читатель; тѣмъ болѣе что книжка г. Минскаго затрогиваетъ предметы глубоко интересные.

Г. Минскій говоритъ въ предисловіи: «Три части, изъ которыхъ книга состоитъ, были задуманы и написаны въ разное время, съ большими промежутками; по внутреннему настроенію, ихъ проникающему, онѣ относятся между собой, какъ полночь, предразсвѣтныя сумерки и день. Говорю это съ дѣлюю предупредить читателя: пусть онъ не принимаетъ мрачныхъ воззрѣній на жизнь, выраженныхъ въ первой части, за окончательное міросозерцаніе автора, а смотритъ на нихъ, какъ на фундаментъ, который по необходимости складывается въ отдаленіи отъ свѣта... Я не обозрѣваю въ ней (книгѣ) жизнь и людей съ одного возвышеннаго пункта, но снова прохожу тотъ тернистый путь сомнѣній и внутренней борьбы, которымъ совѣсть въ дѣйствительности вела мою душу».—И вотъ первое, чему я не вѣрю въ книжкѣ г. Минскаго: не вѣрю, чтобы ея три части были написаны въ разное время, съ большими промежутками. Казалось-бы, зачѣмъ ему говорить въ такомъ дѣлѣ неправду? и не все-ли это равно—написана-ли книга въ одинъ пріемъ или въ три? А вотъ подите-же! Не могу отдѣлаться отъ впечатлѣнія неискренности. Конечно, я не имѣю ни права, ни основанія не вѣрить фактическому показанію г. Минскаго, и разъ онъ говоритъ, что книжка написана «съ большими промежутками», такъ оно такъ, безъ сомнѣнія, и было. Но вѣдь, собственно говоря, мы даже не знаемъ, чему именно тутъ надо вѣрить, потому что «большой промежутокъ»—выраженіе уже слишкомъ неопредѣленное. Если я горю желаніемъ подѣлиться съ читателемъ своими мыслями и, окончивъ первую часть работы, отвлекаюсь какими-нибудь посторонними дѣлами на недѣлю, на

мѣсяць, такъ мнѣ это можетъ показаться очень большимъ промежуткомъ, а между тѣмъ въ смыслѣ выработки идей тутъ можетъ быть даже ровно никакого промежутка нѣтъ: мое настроеніе, мое отношеніе къ предмету, можетъ быть, не измѣнилось ни на волосъ. И наоборотъ, можно въ сравнительно ничтожный срокъ столько пережить, что весь сложившійся передъ тѣмъ строй мысли окажется въ конецъ разореннымъ или преображеннымъ. Савла одно видѣніе на дамасской дорогѣ превратило въ Павла, а у иныхъ на подобное превращеніе уходятъ годы и еще годы. Я не говорю, чтобы указаніе на большіе, въ смыслѣ измѣренія времени, промежутки не имѣло никакой цѣны. Напротивъ, въ данномъ случаѣ оно могло-бы быть очень интересно, еслибы, конечно, было поточнѣе и поопредѣленнѣе. Въ самомъ дѣлѣ, если-бы г. Минскій сдѣлалъ съ тремя частями своей книги то самое, что онъ сдѣлалъ съ большинствомъ своихъ стихотвореній въ изданіи 1887 года, если-бы онъ означалъ на нихъ годы написанія, мы имѣли-бы любопытный матеріалъ для сужденія о томъ, какъ послѣдовательно переживаемы имъ міросозерцанія отражались на его поэтической дѣятельности. А теперь мы лишены того удовольствія и той пользы, которыя доставило-бы подобное сопоставленіе. Мы даже не знаемъ, возможно-ли былъ-бы этотъ интересный анализъ, потому что вѣдь вся та эволюція личныхъ взглядовъ г. Минскаго, которая изложена въ книжкѣ «При свѣтѣ совѣсти», совершилась можетъ быть уже послѣ 1887 г., послѣ того, какъ онъ нашелъ нужнымъ собрать свои стихотворенія и такимъ образомъ подвести итогъ своей поэтической дѣятельности. А съ другой стороны нѣкоторыя изъ изложенныхъ въ книжкѣ г. Минскаго сомнѣній переживались передовою частью русскаго общества лѣтъ двадцать—тридцать тому назадъ. Вы видите, что даже при полномъ довѣрїи къ фактическому показанію г. Минскаго относительно «большихъ промежутковъ», мы не знаемъ, чему именно тутъ вѣрить надо. Стары-ли, молоды-ли три части его книжки,—кто-же ихъ знаетъ? Само по себѣ это обстоятельство еще не подрывало-бы довѣрія къ словамъ г. Минскаго, но бѣда въ томъ, что и по внутреннему своему содержанію, и по формѣ изложенія три части книжки не носятъ на себѣ никакихъ слѣдовъ перерыва работы, хотя изъ нихъ, пожалуй, и можно-бы было сдѣлать три отдѣльныя книжки. Вы сейчасъ увидите, почему пунктъ этотъ представляется мнѣ стоящимъ вниманія.

Всякій писатель, издавая книгу, печатая статью, хочетъ подѣлиться съ читателями тѣмъ, что онъ считаетъ въ данную минуту истиной, до чего онъ окончательно доработался. Съ другой стороны, вообще говоря, и читателю нѣтъ дѣла до того, какъ прежде думалъ или чувствовалъ какой-нибудь X или Z, если онъ тѣ свои думы признаетъ нынѣ неправильными; пусть дастъ истину, какъ онъ ее сейчасъ понимаетъ. Бываютъ однако исключенія. Бываетъ такъ, что у писателя является

потребность всенародно исповѣдываться или, какъ выражается г. Минскій, «снова проходить тотъ тернистый путь сомнѣній и внутренней борьбы, которымъ совѣсть въ дѣйствительности вела его душу». И читатели встрѣчаютъ иногда подобныя исповѣди съ живѣйшимъ интересомъ. Такъ было, напр., съ извѣстною исповѣдью гр. Л. Толстого. Понятно было желаніе гр. Толстого заявить о совершившемся въ немъ переломѣ; попятенъ былъ и интересъ читающей публики. Толстой есть Толстой, звѣзда первой величины, какъ-бы кто ни смотрѣлъ на его теперешнія странности, и каждое его произведеніе представляетъ извѣстный интересъ, если не само по себѣ, то въ смыслѣ освѣщенія личности знаменитаго автора. Даже допуская извѣстную долю неискренности и, если можно такъ выразиться, кокетства, отъ котораго едва-ли могутъ быть совершенно свободны подобныя публично-интимныя произведенія, интересно во всякомъ случаѣ знать и то, какъ кокетничаетъ человѣкъ такого роста, какъ Толстой. Интересно знать, какъ онъ, выступая на новую стезю, кается въ своихъ прошлыхъ грѣхахъ и заблужденіяхъ, казнится за нихъ, изобличаетъ ихъ лживость и несостоятельность. Такое покаянiе и самообличеніе, конечно, неизбѣжны въ произведеніяхъ, представляющихъ пройденное и отвергнутое міросозерцаніе. Оставимъ гр. Толстого и припомнимъ, какъ говорилъ о своемъ отвергнутомъ, приломъ одинъ изъ самыхъ искреннихъ русскихъ людей, Бѣлинскій. Онъ никогда не пускался въ публично-интимныя исповѣди, но изъ его біографіи и переписки мы знаемъ нѣкоторыя относящіяся сюда черты. Такъ, напримѣръ, въ одномъ изъ писемъ къ Боткину онъ съ очевидно страшною болью въ сердцѣ негодуетъ: «Боже мой, сколько отвратительныхъ мерзостей сказалъ я печатно, со всею искренностью, со всею фанатизмомъ дикаго убѣжденія!» Перебравъ нѣкоторые свои критическіе промахи, Бѣлинскій съ ужасомъ спрашиваетъ: «неужели я говорилъ это?» И затѣмъ опять говоритъ о «дичи, которую изрыгалъ въ некетовствѣ» и-т. д. Вотъ типъ настоящей исповѣди, настоящаго повторенія «тернистаго пути сомнѣній и внутренней борьбы, которымъ совѣсть въ дѣйствительности вела душу». Я говорю «типъ», а не образчикъ для буквального подражанія. Страстность тона самообличенія Бѣлинскаго объясняется его темпераментомъ, въ которомъ человѣкъ не воленъ, но въ искреннемъ воспроизведеніи пути сомнѣній и внутренней борьбы неизбѣжно это непріязненное отношеніе къ отвергнутому прошлому. Это прошлое полно не только заблужденій, но еще *моихъ* заблужденій, и тѣмъ они еще для меня ненавистнѣе, если, конечно, я дѣйствительно когда-то въ нихъ вѣрилъ, а теперь дѣйствительно отвергаю. И понятно, что Бѣлинскій имѣлъ-бы право занять насъ исторіей своей души.

Имѣеть-ли такое право г. Минскій? Собственно о правѣ тутъ толковать, пожалуй, нечего: взялъ, да и напечаталъ. Но за нами, читате-

лями, тоже остается право позать плечами и спросить: зачѣмъ? Г. Минскій держится очень высокаго мнѣнія о поэтахъ. Въ одномъ изъ своихъ стихотвореній онъ выразилъ мысль, что даже «поцѣлуй поэта священны». Въ одной своей прозаической статьѣ онъ утверждалъ, что «публицистика питается крохами со стола поэзии» и что «образы искусства намъ дороже, нежели истины науки», хотя, казалось-бы, совершенно лишнее мѣрить эти двѣ вѣщи. Вообще г. Минскій очень гордый поэтъ. Но если позволительно опасаться, что дамы оцѣнятъ поцѣлуй г. Минскаго не съ точки зрѣнія ихъ священности, то столь-же позволительно сомнѣваться, чтобы его поэтическія заслуги оправдывали въ глазахъ читателя его предпріятіе разсказать исторію своей души. Все же вѣдь онъ не Толстой! Впрочемъ допуская, что г. Минскому есть что сказать по тѣмъ вопросамъ философіи, психологіи и этики, которые затрогиваются въ книжкѣ «При свѣтѣ совѣсти», я готовъ его выслушать, но заблужденія г. Минскаго, то, что онъ самъ уже отвергъ, какъ пройденную ступень,—какое мнѣ до этого дѣло? Вѣдь это пройденное даже для него самого имѣетъ только отрицательную цѣну, только въ качествѣ чего-то завѣдомо ложнаго и несостоятельнаго.

Но допустимъ, что личность г. Минскаго въ самомъ дѣлѣ настолько интересна, что и поцѣлуй его священны, и заблужденія цѣнны. Въ такомъ случаѣ мы, естественно, желаемъ получить исторію его души полностью, во всемъ живомъ трепетѣ обуревавшихъ его сомнѣній и отрицаній прошлаго. Пусть онъ казнится за прошлыя заблужденія, пусть проклинаетъ ихъ. Въ виду нѣкоторыхъ, чисто, впрочемъ, внѣшнихъ свойствъ г. Минскаго, какъ шестателя, можно-бы было ожидать даже излишней роскоши въ этомъ отношеніи. Я уже приводилъ въ одномъ изъ предыдущихъ «Писемъ о разныхъ разностяхъ» образчикъ амфаза г. Минскаго. Человѣкъ, способный съ такою преувеличенною выразительностью говорить о пустякахъ, долженъ, повидимому, съ особенно пламенною неукротимостью обрушиваться на свои старые грѣхи и заблужденія. Вотъ, какъ Бѣлинскій: «дичь», молъ, «гнусность», «мерзость», «неужели я говорилъ это?» Но ни чуть ни бывало. Горя словеснымъ пламенемъ во всѣхъ прочихъ смыслахъ и отношеніяхъ, г. Минскій съ чрезвычайно спокойною благосклонностью оглядывается на свое умственное прошлое, любитъ на него и располагаетъ различныя его ступени (три части книжки) въ красивые узоры. Мы это частію видѣли уже въ предисловіи: три части книжки относятся между собою, какъ «полночь, предразсвѣтныя сумерки и день»; первая часть, проникнутая мрачными воззрѣніями на жизнь, уподобляется «фундаменту, который по необходимости складывается въ отдаленіи отъ свѣта». Вотъ этимъ-то спокойно благосклоннымъ отношеніемъ г. Минскаго къ тому, что имъ отвергнуто, какъ ошибка и заблужденіе, прежде всего объясняется <http://reint.org/> нѣкоторые неискренности, ко-

торое производить его книжка. Повторяю, я не имѣю резона сомнѣваться въ фактической вѣрности заявленія г. Минскаго, что «При свѣтѣ совѣсти» написано въ разное время, съ большими промежутками, но это ничего не говоритъ моему уму и сердцу, потому что и двѣ педѣли и два года могутъ быть, смотря по обстоятельствамъ, и одинаково большимъ, и одинаково малымъ промежуткомъ. А промежутковъ въ смыслѣ нравственнаго перелома я не вижу: слишкомъ уже благосклоненъ г. Минскій къ тому, что онъ яко-бы ежечъ, и, значитъ, слишкомъ равнодушенъ къ тому, чему яко-бы поклоняется. Равнодушіе это тѣмъ сильнѣе бьетъ по глазамъ, что облекается въ необычайно цвѣтнстую форму риторическаго изложенія. «И чѣмъ громче свисталь соловей», тѣмъ яснѣе становилось, что писать о совѣсти еще не значитъ писать по совѣсти...

Слишкомъ красивый слогъ, какъ это часто бываетъ, опьяняетъ самого г. Минскаго и, поднявшись къ риторическимъ небесамъ, онъ думаетъ, что тѣмъ самымъ уже пѣчто доказаль, и не только думаетъ, а пренаивно заявляетъ это: мы, говоритъ, доказали. На дѣлѣ, однако, изложеніе г. Минскаго не только не заслуживаетъ названія доказательнаго, но сплошь и рядомъ онъ не умѣетъ даже сколько-нибудь точно формулировать то, что, по его мнѣнію, подлежитъ доказательству.

Я уже рапѣ говорилъ, что въ первой части своего произведенія г. Минскій замаскировывается или гримируется демономъ, безпощадно разрушающимъ все лучшія человѣческія вѣрованія и идеалы. Теперь понятно, надѣюсь, почему я тогда сказалъ, что это маска, гримъ. Если бы г. Минскій доселѣ оставался при томъ образѣ мыслей, который изложенъ въ первой части, такъ можетъ быть,—хотя и въ этомъ сомнѣваюсь,—его пришлось-бы признать настоящимъ, подлинно страшнымъ демономъ. Но теперь мы знаемъ, что это уже пройденная ступень и г. Минскій только «снова проходитъ тотъ тернистый путь сомнѣній и внутренней борьбы, которымъ совѣсть въ дѣйствительности вела его душу»; его нынѣшнее міросозерцаніе не совпадаетъ съ мрачнымъ содержаніемъ первой части, онъ только реставрируетъ его, маскируется имъ, дабы наглядно показать, что вотъ, дескать, какой я страшный былъ! Посмотримъ, какой-такой демонъ.

«Безгранична, какъ небесныя пространства, неизмѣрима, какъ вѣчность, сильна, какъ тяготѣніе звѣздъ, любовь каждаго къ самому себѣ». Таково одно изъ основныхъ положеній г. Минскаго и можетъ быть зерно, изъ котораго развертывается даже вся его книга. Изъ этого достаточно неповаго положенія г. Минскій хочетъ сдѣлать страшилище, грозный таранъ, имѣющій разрушить крѣпость какихъ-бы то ни было идеаловъ. Собственно въ этихъ видахъ онъ уже при самомъ приступѣ къ дѣлу снабжаетъ свой таранъ гиперболическими сравненіями: «безгранична, какъ небесныя пространства, неизмѣрима, какъ вѣчность, сильна, какъ тяготѣніе звѣздъ». Но не пово не только это положеніе,

а и дальнѣйшее его развитіе у г. Минскаго. Любовь къ себѣ, себя-любіе или «самолюбіе», какъ предпочитаетъ выражаться нашъ авторъ, не только сильно, но и сильнѣе всякой другой струны въ человѣческой душѣ. Къ самолюбію сводятся въ концѣ-концовъ все наши чувства и поступки. «Чувствовать и сознать жизнь каждый можетъ лишь своею душою, своими нервами, непремѣнно своими собственными, а не душою и нервами ближняго!.. Пусть рядомъ со мною корчится въ предемертной мукѣ братъ или другъ мой, но прежде чѣмъ я не увижу и не услышу его мукы, непосредственно ощущать ее я не могу. А когда увижу и услышу, то мысленно поставлю на его мѣсто себя, на себѣ примѣрю его страданія, и тогда себя-же пожалѣю, и это сожалѣніе къ себѣ самому назову состраданіемъ къ чужому горю... Люди постоянно приходятъ между собою въ столкновенія, дѣлятся радостью и горемъ, но при всемъ этомъ душа каждаго остается герметически замкнутой сама въ себѣ... Самолюбіе было, есть и будетъ не порокомъ, не болѣзнію души, но ея верховнымъ, сокровеннѣйшимъ пачаломъ, неизмѣннымъ закопомъ, управляющимъ всеми ея движеніями отъ рожденія до кончины, хотя-бы и крестной». Безкорыстная любовь есть «очевидная ложь»; въ человѣческой душѣ нѣтъ ничего, кромѣ жажды бытія и наслажденія и боязливаго отвращенія къ небытію и страданіямъ. Любовь къ ближнему, благодарность, самоотверженіе, безкорыстіе, состраданіе, милосердіе, справедливость,—все это вздоръ, ложь, иллюзія, ибо представляютъ собою лишь осложненныя и отраженныя формы самолюбія...

Weh! weh!
 Du hast sie zerstört,
 Die schöne Welt
 Mit mächtiger Faust.
 Sie stürzt, sie zerfällt!
 Ein Halbgott hat sie zerschlagen!

Такъ поетъ невидимый хоръ, пораженный силою заклинаній Фауста. Такъ надлежитъ скорбѣть и ужасаться намъ послѣ того, какъ Halbgott Минскій разрушилъ mit mächtiger Faust всю область любви и справедливости... Weh! weh!..

Я привелъ, конечно, не всю аргументацію г. Минскаго по вопросу о самолюбіи, но, собственно говоря, она все-таки вся тутъ, потому что, за исключеніемъ одного пункта, о которомъ будетъ сказано особо, вся остальная первая часть представляетъ только повтореніе и размазываніе вышеприведеннаго. Мы, впрочемъ, еще въ этомъ убѣдимся. Какъ ни страшна, однако, демонская маска г. Минскаго, какъ ни могущественны его удары, они, повторяю, не новы. Мы еще недавно видѣли ихъ въ ученіи Адріана Сикста, причемъ даже слова употребляются обоими великими мыслителями, мѣстами, одни и тѣ-же. Адріанъ Сикстъ, конечно, менѣе краснорѣчивъ, чѣмъ его русскій современникъ, но и онъ

говорить, что душа человеческая не может выйти «изъ предѣловъ своего я», предвосхищая такимъ образомъ положеніе г. Минскаго, что «душа каждаго остается герметически замкнутой сама въ себѣ». Но мы видѣли, что и Адрианъ Сикстъ вовсе не оригиналенъ, потому что исповѣдуемая имъ странная истина была пущена во всеобщее обращеніе еще въ XVIII вѣкѣ. У г. Минскаго есть стихотвореніе, оканчивающееся меланхолическимъ восклицаніемъ: «слишкомъ поздно, поэтъ, ты родился!» Да, именно слишкомъ поздно. Дѣло не въ томъ, что г. Минскій не сказалъ новаго слова. Только незнающій стараго можетъ тѣшиться горделивою мыслью, что онъ нашелъ что-то совершенно новое. Но г. Минскій уже слишкомъ запоздалъ. Оставимъ въ покоѣ Адриана Сикста и XVIII вѣкѣ. Весь тотъ кругъ истинъ, въ составъ котораго входитъ представленіе о человѣкѣ, какъ о себялюбцѣ, эгоистѣ по самой сущности своей природы, былъ очень популяренъ и у насъ лѣтъ тридцать тому назадъ. Я хорошо помню тѣ времена, а кто помоложе, тотъ можетъ справиться въ передовыхъ журналахъ того времени, конца пятидесятихъ и шестидесятихъ годовъ. Тогда по русской землѣ дыханіе новой жизни носилось, надламывался вѣковой общественный строй, и все его ближнія и отдаленнѣйшія основы подвергались пересмотру. Въ нашемъ прошломъ оказывалось при этомъ столько лжи, лицемерія, всяческой неправды, что не только мы, тогдашняя зеленая молодежь, а и люди постарше насъ, учителя наши, естественно хватали подчасъ черезъ край въ противоположную сторону, въ сторону обнаженной правды. Это мнѣ хорошее слово подъ перо попало—обнаженная правда. Любопытно было-бы припомнить тѣ времена въ ихъ подробности, но это не къ дѣлу будетъ. Между прочимъ, между очень и очень многимъ прочимъ, въ томъ ненавистномъ уметвенномъ багажѣ прошлаго, отъ котораго мы такъ страстно хотѣли отдѣлаться, было ученіе о врожденности и сверхчувственномъ происхожденіи нравственныхъ идей. Сообразно этому въ теоріи отводилось необыкновенно высокое мѣсто любви къ ближнему, самоотверженію, состраданію, безкорыстной преданности и проч., которыя, однако, на практикѣ подмѣнивались не только разными простыми нравственными низменностями, но и цѣлыми ихъ группами, освященными всею общественнымъ строемъ, каковы были рабство миллионъ и чиповничье взяточничество. Возмущенные этою противорѣчивостью слова и дѣла, мы,—опять-таки между прочимъ, потому что были и другіе пути раздѣлки со старымъ,—мы стали доискиваться правды, обнажая ее отъ тѣхъ лживо-блестящихъ одеждъ, которыми ее облакало лицемеріе нашихъ отцовъ. Найти эту правду было не трудно, потому что въ Европѣ процессъ обнаженія правды давно уже имѣлъ мѣсто. И вотъ оказалось то самое, что теперь съ такимъ демонскимъ видомъ излагаетъ г. Минскій: человѣкъ есть по самой природѣ своей эгоистъ, себялюбецъ, а самоотверженіе, безкорыстная любовь и т. п., это только

отраженные формы себялюбия. Но вотъ въ чемъ разница. Г. Минскій излагаетъ свою мысль съ дѣланнымъ пафосомъ и подсказываетъ читателю пугающимъ басомъ: я демонъ! я страшный! А мы дѣлали дѣло обнаженія правды необыкновенно весело, можетъ быть, даже черезчуръ весело. И это совершенно понятно. Во-первыхъ, мы и не хотѣли никого пугать, а хотѣли, напротивъ влить въ людей бодрость, вѣру въ жизнь, которую и сами были, полны. А во-вторыхъ, что-же тутъ въ самомъ дѣлѣ такого страшнаго? Торопливо и весело сogleкая съ правды живо-блестящія одежды, мы знали, что у насъ есть на-готовѣ новыя, гораздо болѣе приличныя, что не оставимъ мы се гулять въ костюмѣ Адама, не знавшаго стыда. Это опять-таки нетрудная задача, по крайней мѣрѣ, для людей, которые напряженностью жизни гарантированы отъ позорившаго для мыслящаго человѣка страха,—страха слова. Какъ составная часть извѣстной философской системы, обнимающей все сущее однимъ принципомъ, и какъ одно изъ орудій отрицанія остальныхъ взглядовъ, положеніе о верховности и незыблемости человѣческаго эгоизма имѣетъ неоспоримую цѣну. Но цѣна эта тѣмъ выше, что оно вовсе не стираетъ разницы между добромъ и зломъ вообще, между любовью въ разныхъ ея формахъ и проявленіяхъ и собственно эгоизмомъ въ частности. Пусть душа моя не можетъ непосредственно жить чужою жизнью и никогда не выбьется изъ предѣловъ моего *я*, но предѣлы-то эти могутъ быть и узки, и широки. Пусть, любя ближняго, я люблю все-таки только самого себя; пусть я ищу собственнаго наслажденія, даже принося, повидимому, жертву, потому что мнѣ, именно мнѣ самому, пріятнѣе принести эту жертву, чѣмъ видѣть чужое страданіе, совершенно такъ-же, какъ въ другомъ случаѣ мнѣ пріятнѣе заставить другого страдать, чѣмъ самому поступиться хотя-бы однимъ волосомъ съ головы. Разница между этими двумя случаями остается непоколебленною и для непосредственнаго живого чувства, и для анализирующаго разума. Называйте, если хотите, любовь отраженнымъ себялюбіемъ, она все-таки не просто себялюбіе; употребляйте, вмѣсто слова «жертва», какое хотите другое, между принесеніемъ въ жертву себя другому и припесеніемъ другого въ жертву себѣ останется рѣзкая демаркаціонная черта. Да, альтруизмъ есть ни что иное какъ развѣтвленный и осложненный эгоизмъ, но *я* эгоиста не способно переживать чужія радости и скорби, а *я* альтруиста способно съ большею или меньшею легкостью претворять ихъ въ свои собственные. Изъ этого слѣдуетъ, что признаніе человѣка эгоистомъ по природѣ, отнюдь не способствуя смѣшенію вещей, подлежащихъ различенію, вмѣстѣ съ тѣмъ не включаетъ въ себѣ ничего угрожающаго практической нравственности и теоріи морали; не только не угрожаетъ, а даетъ имъ новую и болѣе прочную опору. Вмѣсто немотивированнаго или фантастически мотивированнаго императива: люби ближняго—оно указываетъ на высокую <http://reil.org.ru> цѣну: личной жизни, расширеніемъ пережива-

нѣмъ чужихъ жизней. И вотъ почему мы съ весельемъ обнажали правду. Ахъ, это было частью даже забавное время. Принесетъ, на-примѣръ, человѣкъ жертву, и иной разъ немалую, и потомъ говорить: жертва, это вздоръ, ерунда, сапоги въ смятку, я дѣйствовалъ просто какъ разумный эгоистъ...

Отчего-же г.-то Минскій, питающійся крохами съ нашего веселаго стола, такъ мраченъ? Это намъ раскроется въ концѣ нашей бесѣды, которую сегодня мы кончить не успѣемъ. Пока можемъ дѣлать только предварительныя предположенія. Можетъ быть, мракъ автора «При свѣтѣ совѣсти» зависитъ отъ непреклонности его мысли, не сдающейся ни на какіе компромиссы? Едва-ли. Страшныхъ и, повидимому, вполне непреклонныхъ словъ онъ говоритъ много. А все-таки нѣтъ, нѣтъ, да и сдѣлаетъ уступочку, и поотодвинетъ свою демонскую маску въ сторону. Такъ, на-примѣръ, въ одномъ мѣстѣ онъ говоритъ: «Въ наши дни, когда боязнь страданій и жажда удовольствій стали единственными мотивами поступковъ» и т. д. Если они стали таковыми въ наши дни, значить были, а можетъ быть, и еще будутъ иные дни, когда мотивами поступковъ служили или будутъ служить не только боязнь страданій и жажда наслажденій. Значить, не совсѣмъ правда, что «самолюбіе было, есть и будетъ» и т. д.

Хотя въ общемъ г. Минскій несомнѣнно питается крохами съ чужого стола, но въ ученіи объ эгоизмѣ, какъ о верховномъ принципѣ, онъ сдѣлалъ, кажется, одно нововведеніе. Онъ уematриваетъ слѣдующее противорѣчіе, проникающее всю нашу жизнь: «Я созданъ такъ, что любить долженъ только себя, но эту любовь къ себѣ я могу проявлять не иначе, какъ первенствуя надъ ближнимъ своимъ,—такимъ-же, какъ я, самолюбомъ, жаждущимъ первенства; поэтому цѣль моей жизни и цѣль жизни моего ближняго одна другую взаимно отрицаютъ и уничтожаютъ». Г. Минскій утверждаетъ, что если-бы кого-бы то ни было изъ людей спросили, чего онъ больше всего желаетъ и о чемъ мечтаетъ, то совѣсть заставила-бы его отвѣтить такъ:

«Я желаю стоять на возвышенномъ средоточіи земли, чтобы всѣ люди, склоненные, толпились кругомъ и славили меня, какъ единственный источникъ бытія и радости, чтобы матери указывали на меня своимъ дѣтямъ, чтобы юноши взирали на меня съ тайной грустью, а женщины—съ тайнымъ восторгомъ. Я желаю, чтобы моему имени повсюду воздымалось и курилось столько алтарей, сколько на землѣ холмовъ и горъ. Я желаю дышать огненной атмосферой, раскаленнымъ кислородомъ всеобщей любви, благодарности за оказанное добро, а чистой любви за то, что я существую, вижу, слышу и люблю себя. Я желаю,—если мнѣ нельзя жить вѣчно,—чтобы въ часъ моей смерти всѣ люди добровольно рѣшились перестать жить, чтобы они сожгли красивыя зданія, изорвали яркія ткани, закопали въ землю драгоценности и, собравшись вокругъ моей могилы, умерли отъ горя».

Если эту чудовищную мечту лелѣютъ всѣ и каждый, если вдоба-

вокъ, какъ и указываетъ г. Мняскій, природа, создавъ людей съ подобной жаждой первенства, дала большинству силы пигмеевъ, то понятно, какой дикій кавардакъ долженъ проходить на нашей грѣшной землѣ. Прежде всего рушатся мечты о равенствѣ и мирной жизни. Объ этомъ не стоитъ и распространяться. Затѣмъ, чудовищная мечта недостижима не только для всѣхъ или для большинства, а даже просто ни для одного человѣка. Поэтому въ дѣйствительности люди вынуждены разбивать свою мечту на мелочь. И вотъ примѣры. Какъ вы думаете: почему, когда артистъ или пѣвецъ сходитъ со сцены, раздаются пѣсколько выкрикивающихъ имя артиста голосовъ, которые покрываютъ всѣ остальные? Вы думаете, можетъ быть, потому, что эти голоса просто сильнѣе другихъ, или что обладатели ихъ особенно взволнованы игрою артиста, или что они моложе другихъ и потому экзальтивнѣе? Советѣмъ пѣть: «то, подъ предлогомъ восхищенія пѣвцомъ, вырвалось наружу желаніе чѣмъ-нибудь заявить о самомъ себѣ, если не мелодичнымъ пѣніемъ, то хоть яростнымъ крикомъ». Замѣтили-ли вы, что когда знакомый, придя къ вамъ, рассказываетъ о морозѣ, то дѣлаетъ это непременно «съ непонятнымъ торжествомъ» и притомъ въ девяти случаяхъ изъ десяти преувеличиваетъ число градусовъ? Не замѣчали? Вы видѣли только сжаціяся отъ холода фигуры, красныя лица, потираемыя руки. А демонская натура г. Минскаго замѣтила и подыскала объясненіе: «сообщая о замѣчательномъ морозѣ, ваши знакомые хоть на секунду выдвигаются и первенствуютъ надъ вами». Вы, можетъ быть, встрѣчали горбуновъ, которые стыдятся своего уродства и стараются его какъ-нибудь скрыть? Неправда, такихъ не бываетъ: «горбунъ шагаетъ по улицѣ съ сознаніемъ своей замѣчательности». Вы думаете, что когда человѣкъ стоитъ у постели умирающей любимой женщины, онъ такъ-таки вполне безугѣшно горюетъ? Пѣтъ, онъ даже желаетъ ея смерти, и вотъ почему: «Смерть эта будетъ событіемъ, въ центрѣ котораго будетъ красоваться *онъ*, безугѣшный страдалецъ. *Его* будутъ жалѣть, *его* будутъ утѣшать, *онъ*, шатаясь отъ горя, пойдетъ первый за похоронной колесницей». Вы, можетъ быть, припомните изъ исторіи — древней, новой, вчерашней, случаи «высокихъ подвиговъ и мученическихъ смертей изъ-за любви къ людямъ». Зная-же, что на самомъ дѣлѣ это происходило «изъ-за того, чтобы хоть на мигновенье, хоть передъ смертью раздуть огонь своего бытія насчетъ самолюбія другихъ, хоть на собственной могилѣ возродить мистически отрадный цвѣтокъ первенства».

Да, все это, пожалуй, до извѣстной степени оригинально. Но зато же вѣдь это и вздоръ...

II.

«Чужая душа потемки», — прекрасная, но слишком часто забываемая поговорка. Кто только не лезет в чужую душу, кто только не располагается там, как у себя дома, и судит, и ридит! Оно, конечно, дѣло неизбѣжное. Всякому по необходимости приходится составлять себѣ мнѣніе о мотивахъ чужихъ поступковъ и о вѣроятномъ поведеніи. Но надо-бы помнить, что это дѣло трудное, а иногда, кромѣ того, и очень отвѣтственное. Изъ числа нашихъ большихъ писателей Достоевскій пользовался особенною славой сердцевода, о чемъ много говорили не только литературные критики, а и специалисты науки, психіатры. Между тѣмъ у этого прославленнаго сердцевода можно найти слѣдующія два диаметрально противоположныя сужденія на одну и ту-же психологическую тему. Въ «Дневникѣ писателя» 1873 г., негодуя, въ топъ извѣстной части нашей печати, на судъ присяжныхъ за его будто-бы чрезмѣрную склонность къ оправдательнымъ вердиктамъ, Достоевскій писалъ: «Прямо скажу, строгимъ наказаніемъ, острогомъ и каторгой вы, можетъ быть, половину спасли-бы изъ нихъ (преступниковъ). Облегчили-бы ихъ, а не отяготили». А въ 1876 г. въ томъ-же «Дневникѣ писателя» Достоевскій, по одному частному поводу, такъ обращался къ присяжнымъ: «Много вынесетъ она изъ каторги? Не ожесточится-ли душа, не развратится-ли, не озлобится-ли на-вѣки? Кого когда поправила каторга?.. Оправдайте несчастную, и авось не погибнетъ юная душа, у которой можетъ быть, столь много еще впереди жизни и столь много добрыхъ для нея зачатковъ. Въ каторгѣ-же навѣрное все погибнетъ, ибо развратится душа». Если принять въ соображеніе, что дѣло идетъ ни больше, ни меньше, какъ о каторгѣ, и что голосъ Достоевскаго пользовался извѣстнымъ, весьма значительнымъ авторитетомъ, то сопоставленіе это окажется просто даже страшнымъ въ своей поучительности. Гдѣ-же правда? спасаетъ каторга или губитъ и никогда никого не поправила? Замѣйте, что въ обоихъ случаяхъ Достоевскій говоритъ совершенно категорически, какъ будто онъ всѣ рекомендуемые поговоркой семь разъ примѣрялъ и, наконецъ, на восьмой отрубалъ свое рѣшеніе. Эта манера рѣшать важные вопросы относительно свойствъ человѣческой души категорически, даже не задумываясь о томъ, что надо-же предъявить какія-нибудь доказательства, практикуется въ особенности беллетристами и поэтами. Ее можно-бы было назвать беллетристической психологіей. Беллетристъ даже весьма невеликихъ талантовъ, набившій себѣ руку, можетъ со всѣми признаками вѣроподобія, но въ сущности совершенно произвольно, связать рядомъ посредствующихъ звеньевъ любые два психологическіе момента. Каторжаникъ просвѣтленный и каторжаникъ загубленный каторгой могутъ быть сдѣланы одинаково вѣроятными при помощи беллетристической психологіи, которая требуетъ только, чтобы между

каждыми двумя соедѣнными психологическими подробностями не было явнаго противорѣчія. Для этого требуется весьма нехитрое умѣнье, а между тѣмъ оно часто выдается за глубокое сердцевѣдѣніе и тонкій психологическій анализъ,—до такой степени, что, наконецъ, и сами беллетристы начинаютъ вѣрять въ свое сердцевѣдѣніе. Я отнюдь не говорю, чтобы между беллетристами и поэтами не было тонкихъ наблюдателей душевной жизни, замѣчательныхъ практическихъ психологовъ. Напротивъ, таковые вполне возможны и дѣйствительно существуютъ. Но и замѣчательнѣйшимъ изъ нихъ можно посоветовать болѣшую осмотрительность, по крайней мѣрѣ, въ тѣхъ случаяхъ, когда они хотятъ философствовать и притомъ строить философію на своей беллетристической психологіи. Не буду приводить другіе примѣры такихъ построений и обращусь прямо къ г. Минскому.

Почтенный поэтъ съ рѣшительностью, какъ мы видѣли, утверждаетъ, что жажда первенства есть преобладающая струна въ человѣческой душѣ, ибо эту жаждой наиболѣе полно проявляется основное свойство всякаго живого существа—себялюбіе или самолюбіе. Доказательствъ г. Минскій не приводитъ никакихъ и даже вовсе не думаетъ о нихъ. Онъ довольствуется беллетристической психологіей. Въ новеллѣ, драмѣ, поэмѣ можно занимательно и со всѣми признаками вѣроподобія изобразить человѣка, который лелѣетъ комически-чудовищную мечту г. Минскаго, приведенную мною въ прошлый разъ: какъ онъ стоитъ на высокой горѣ и все курятъ ему оміамы и славословятъ, какъ послѣ его смерти все люди умираютъ отъ горя и т. п. Можно также, и пожалуй въ томъ-же самомъ произведеніи, нарисовать того чудака-горбуна, который ходитъ по улицамъ съ сознаниемъ своей достопримѣчательности, и того плоскостопнаго человѣка, который, горюя о предстоящей смерти друга, въ то-же время утѣшается картинностью своего горя, и проч. Существуютъ-ли подобные люди или нѣтъ, много-ли ихъ, если они существуютъ, или мало, но, какъ художественные образы, они теоретически возможны, и въ сознаніи своей силы дать этимъ образамъ художественное бытіе, беллетристъ почерпаетъ легкомысленную увѣренность, что онъ знаетъ человѣческое сердце. Къ этому присоединяется еще одно обстоятельство. Вообще говоря, не только чужая душа — потемки, но и въ своей собственной не легко бываетъ разобранъ. Однако, при извѣстной добросовѣстности, по крайней мѣрѣ нѣкоторыя, наиболѣе опредѣленные движенія собственной души могутъ составить предметъ точныхъ и цѣнныхъ наблюдений. Но, можетъ быть, слѣдовало-бы признать общимъ правиломъ, что наблюденія этого рода должны быть именно только наблюденіями, а обобщеніе ихъ, постройка на основаніи ихъ какого-бы то ни было теоретическаго знанія должно быть предоставлено другимъ. Искренняя исповѣдь или какая другая форма изложенія ряда самонаблюдений можетъ оказаться очень

цѣннымъ психологическимъ матеріаломъ, но лучше будетъ, если группировку и обобщеніе этого матеріала возьметъ на себя не самъ исповѣдующійся и самонаблюдатель, а кто-нибудь другой. Возможны, конечно, люди вполне къ себѣ безпристрастные, но въ огромномъ большинствѣ случаевъ даже совершенно искреннему самонаблюдателю, который вздумаетъ обобщать свои наблюденія, грозятъ двѣ противоположныя, но одинаково опасныя ошибки. Либо онъ сочтетъ свою личность чѣмъ-то исключительнымъ, рѣзко выдѣляющимся изъ всей массы человечества, либо, напротивъ того, распространитъ на все человечество свои чисто индивидуальныя черты. Когда я читаю произведенія вроде книжки г. Минскаго, меня всегда занимаетъ вопросъ: какъ-же смотреть автору на самого себя? Ну, хорошо, завѣтная мечта всѣхъ людей состоитъ въ томъ, чтобы стоять на возвышенномъ средоточіи земли, пользоваться даровою всеобщюю любовью и т. д.; всѣ люди, сообщая о сильномъ морозѣ, изъ тщеславія прибавляютъ нѣсколько градусовъ; всѣ люди, глядя на умирающаго друга, любятъ картинность своего горя и т. д. Стоитъ-ли за эту общую скобку г. Минскій? Это вопросъ не праздный и можетъ быть заданъ отнюдь не въ видѣ какой-нибудь пикировки. Если г. Минскій составляетъ исключеніе, то этимъ рѣшительно подрывается общее правило или, по крайней мѣрѣ, является надежда на существованіе и другихъ исключеній, ибо не вполне-же г. Минскій неподобенъ. Если-же г. Минскій, напротивъ, съ самого себя писалъ портретъ человечества, то, во-первыхъ, какое онъ на это имѣлъ право и основаніе, остается совершенно неизвѣстнымъ, а во-вторыхъ, столь-же неизвѣстно, какъ-же мы должны относиться къ писаніямъ г. Минскаго вообще и къ книжкѣ «При свѣтѣ совѣсти» въ частности? Можетъ быть онъ не въ правду свои мысли излагаетъ, а, такъ сказать, прибавляетъ нѣсколько градусовъ, собственно затѣмъ, чтобы пошерветствовать надъ нами. Можетъ быть, и въ стихахъ и въ прозѣ г. Минскаго нѣтъ ни одной искренней фразы, а есть только стремленіе помѣститься на возвышенномъ средоточіи земли. Каково положеніе читателя? Но положеніе это еще осложняется тѣмъ, что, какъ мы видѣли, г. Минскій проситъ не смотрѣть на первую часть его книги, какъ на выраженіе окончательнаго міросозерцанія автора. Дѣло было-бы не только не сложно, а, напротивъ того, въ высшей степени просто, если-бы г. Минскій въ самомъ дѣлѣ говорилъ откровенно и притомъ лично за себя: вотъ, молъ, какой я былъ смѣшной, легкомысленный и тщеславный человѣкъ,— делалъ такія-то нелѣпыя мечты, такъ-то и такъ-то притворялся, ломался и проч. Такое откровенное признаніе не только освѣтило-бы намъ литературную дѣятельность г. Минскаго, но крайней мѣрѣ, въ извѣстный ея періодъ, но и было-бы дѣйствительно цѣннымъ психологическимъ матеріаломъ, подлежащимъ, конечно, дальнѣйшей обработкѣ. Но г. Минскій, во-первыхъ, совершенно произвольно обобщилъ свои

личныя черты, покрывъ ими все человѣчество, а во вторыхъ, кокетничать съ своими заблужденіями, какъ будто и признавая ихъ заблужденіями и въ то-же время обращая ихъ въ «фундаментъ, который по необходимости складывается въ отдаленіи отъ свѣта». Разобраться во всемъ этомъ невозможно, и приходится братъ обобщенія г. Минскаго просто, какъ они есть, не пытаясь уловить отношенія къ нимъ самого автора. Неможно обидно, конечно, серьезно вглядываться въ произведеніе, въ искренности котораго есть все основанія сомнѣваться, но что-же дѣлать!

Неможно обидно, а немножко и смѣшно. Если оставить въ сторонѣ вопросъ объ искренности г. Минскаго, о томъ, серьезно-ли онъ вѣрить въ изложенныя имъ яко-бы истины или только на возвышенное средоточіе земли стремится, то обобщенія его надо признать просто продуктами беллетристической психологіи. Это не наука, не философія, какъ въ этомъ комически увѣренъ г. Минскій, а беллетристика, которой можетъ быть противопоставлена въ идейномъ смыслѣ совершенно противоположная беллетристика. Г. Минскій ставитъ положеніе: человѣкъ всегда стремится къ первенству надъ своими ближними; положеніе это онъ поддерживаетъ не доказательствами какими-нибудь, а ссылками на примѣры, которые еще сами нуждаются въ доказательствахъ. Придерживаясь этого приѣма, весьма легко «доказать» совершенно противоположный тезисъ, а именно: человѣкъ стремится подчинить свою волю чужой волѣ и находить въ этомъ подчиненіи величайшее наслажденіе. Я беру съ обставитъ этотъ тезисъ несравненно солиднѣе, чѣмъ г. Минскій обставилъ свой, хотя твердо знаю, что и мой тезисъ отнюдь не покрываетъ всего содержанія человѣческой души во все времена и у всехъ народовъ. Я не буду, конечно, этимъ заниматься и такъ, къ слову, напомнимъ только одинъ діалогъ изъ «Наканунѣ» Тургенева, который былъ нѣсколько больше хозяиномъ въ человѣческой душѣ, чѣмъ г. Минскій. Берсеневъ и Шубинъ бесѣдуютъ о словахъ «соединяющихъ» и «разъединяющихъ». Берсеневъ перечисляетъ объединяющія слова: искусство, родина, наука, свобода, справедливость. «А любовь? — спросилъ Шубинъ. — И любовь соединяющее слово: но не та любовь, которой ты теперь жаждешь; не любовь — наслажденіе, а любовь — жертва. — Шубинъ нахмурился. — Это хорошо для цѣмцевъ; я хочу любить для себя; я хочу быть номеромъ первымъ. — Номеромъ первымъ, повторилъ Берсеневъ. А мнѣ кажется, поставитъ себя номеромъ вторымъ — все назначеніе нашей жизни».

Значитъ, всяко бываетъ, и мы увидимъ, что г. Минскій, въ сущности, самъ такъ полагаетъ. Порѣшивъ на этомъ, пойдѣмъ далѣе вслѣдъ за г. Минскимъ.

Жизненное противорѣчіе, возникающее изъ всеобщаго стремленія къ первенству, естественно ведетъ къ разрушенію всехъ общественныхъ

идеаловъ, построенныхъ на иллюзіяхъ любви, равенства, справедливости, и, кромѣ того, дѣлается источникомъ множества душевныхъ страданій. Но для послѣднихъ имѣется еще и другой, пожалуй, даже болѣе страшный источникъ. Дѣло въ томъ, что «любя только себя самого, я больше всего презираю и ненавижу свое самолюбіе». Внутренній голосъ, который велитъ мнѣ презирать свое самолюбіе, называется совѣстью, причѣмъ предполагается, что совѣсть возстаетъ на самолюбіе во имя нравственнаго идеала или чувства долга. Но это не справедливо. «Совѣсть ополчается на самолюбіе не во имя нравственнаго идеала, а во имя страха смерти». Человѣкъ любить бытіе, жизнь и боится небытія, смерти. Эта боязнь уничтоженія заставляетъ его связывать свое имя съ бытіемъ тѣхъ, кто его переживаетъ. Отсюда голосъ совѣсти. Онъ подсаживаетъ человѣку, что всѣ его заботы о тѣлѣ, питіи и т. п. составляютъ службу брэнному тѣлу, которое, можетъ быть, черезъ день прекратить свое существованіе и превратится въ гниющій прахъ. Безцѣльность этихъ заботъ удручаетъ совѣсть и «на первыхъ ступеняхъ развитія» работа совѣсти чрезвычайно плодотворна. Она даетъ мѣрило мыслей и поступковъ, указываетъ цѣль, для которой стоить пострадать. «На этой ступени развитія человѣкъ твердо различаетъ между добромъ и зломъ, самолюбіемъ и любовью къ ближнему, нравственнымъ и безнравственнымъ. Онъ, напримѣръ, твердо знаетъ, почему именно заботы о дѣтяхъ нравственнѣе, чѣмъ заботы о себѣ самомъ: потому что въ дѣтяхъ продлится его бытіе. Онъ твердо знаетъ, почему слѣдуетъ жертвовать семьей ради государства: потому что государство долговѣчнѣе семьи». Но недолго длится эта цѣльность души. «Къ безпечно восторженной совѣсти подкрадывается мудрый змій опыта и разума и начинаетъ ее искушать». Онъ указываетъ ей на брэнность всѣхъ цѣлей жизни, ибо вѣчнаго бытія нѣтъ и для семьи, государства, человечества, земли. Все умереть, все прекратить свое бытіе и не къ чему человѣку прицѣпить свое личное существованіе. «Разумъ потушилъ свѣточъ безсмертія; человечество осталось безъ верховной цѣли: мѣрило добра и зла потеряно; душа раздвоилась, и обѣ ея половины — стремленіе къ правдѣ и стремленіе къ истинѣ — вступили между собою въ междуусобную борьбу. Ибо истина разума и правда совѣсти роковымъ образомъ отрицаютъ, уничтожаютъ одна другую. Правда исповѣдуетъ то, что должно быть; истина признаетъ то, что есть; правда считаетъ самолюбіе ложью міра, истина возводитъ самолюбіе въ непреложный его законъ; правда благовѣствуетъ разумность и цѣлесообразность вселенной, истина съ ликованіемъ объявляетъ о ея случайности и безцѣльности» и т. д. Въ концѣ-концовъ «разумъ, неистощимый въ доказательствахъ, богатый опытомъ и знаніями, побѣдилъ совѣсть, богатую только мечтами и желаніями, вѣрнѣе, убѣдилъ ее». Убѣдилъ, но приреченіе все-таки невозможно. «Совѣсть не можетъ отказаться отъ своей

сокровениѣйшей сущности, отъ стремленія къ безсмертію, равнымъ образомъ какъ разумъ не можетъ отказаться отъ истины и не признать это стремленіе несбыточнымъ. Противорѣчіе непримиримо и соглашеніе невозможно». Властное вмѣшательство разума лишаетъ совѣсть того руководящаго характера, которое она имѣла «на первыхъ ступеняхъ развитія». Источенная червемъ отрицанія безсмертія, тоскующая по верховной цѣли жизни, она все-таки не можетъ примириться съ самолюбіемъ или себялюбіемъ, какъ основою всеѣхъ нашихъ мыслей, чувствъ и поступковъ, а между тѣмъ наталкивается на него на каждомъ шагѣ. Отсюда страшное недовольство жизнью. Какъ прежде совѣсть угрызала душу послѣ совершенія злыхъ поступковъ, такъ теперь она угрызаетъ ее послѣ совершенія добра; ибо «въ добръ она видитъ то-же самолюбіе, да еще съ придачей притворства, трупъ, раскрашенный красками жизни». Большая совѣсть велитъ человѣку презирать себя и поступать такъ, чтобы его презирали другіе. Современный человѣкъ, имѣя выборъ между добромъ и зломъ, часто предпочитаетъ окунуться въ грязь порока, чтобы доставить совѣсти отраду самопрезрѣнія... Послушный совѣсти, я презираю себя не потому, что ничтоженъ въ сравненіи съ другими, а потому, что мое бытіе ничтожно въ сравненіи съ безсмертіемъ. Поэтому, вслѣдъ за самопрезрѣніемъ, большая совѣсть повелѣваетъ мнѣ презирать ближняго, ибо и ближній, и семья, и государство, и человѣчество, обречены, какъ и я, на безцѣльное и ничтожное прозябаніе... Такова болѣзнь души, воспринявшей въ себя разладъ между любовью къ бытію и невѣріемъ въ безсмертіе, между стремленіемъ къ верховной цѣли жизни и отрицаніемъ цѣлесообразности міра».

Дойдя до этого пункта, г. Минскій засыпаетъ и видитъ сонъ апокалипсическаго характера подъ названіемъ «Послѣдній судъ». Онъ видитъ высокую, дивную женщину. «То была она, — говоритъ онъ, — моя неразгаданная богиня, моя изступленная муза, безумная совѣсть моей большой души, она, такъ часто являвшаяся мнѣ въ послѣдніе годы, связавшая мою волю, спугнувшая мои вдохновенія, изсушившая мое сердце». Позади совѣсти стояли угрюмые люди съ факелами въ рукахъ, — «лучшіе, сильнѣйшіе, правдивѣйшіе» изъ людей, и въ числѣ ихъ, конечно, самъ г. Минскій. Совѣсть объявляетъ собравшейся несмѣтной толпѣ народа, что ей надоѣло смотреть на презрѣнныхъ людей и что она намѣрена уничтожить землю. «Лучшіе, сильнѣйшіе, правдивѣйшіе» будутъ одинъ за другимъ бросать свои факелы на землю, и когда упадетъ послѣдній факель, — земля разрушится. Идутъ разные разговоры, причемъ все изъясняется прекраснѣйшимъ, отборно возвышеннымъ слогомъ: факелы гаснутъ, остается наконецъ одинъ, тотъ самый, который находится въ рукахъ г. Минскаго. Г. Минскій уже готовъ швырнуть его о землю, уже поднимаетъ руку, чтобы уничтожить слѣдующимъ движеніемъ міръ... Weh! weh! Но тутъ вдругъ г. Минскаго, какъ молнія, озаряетъ мысль:

«Если все ложь и самолюбие, если нигдѣ нѣтъ святыни, то откуда взялась ты, порожденіе души моей, скорбная совѣсть? Твой смертный приговоръ надъ живымъ міромъ не является-ли оправданіемъ міра?» И рука г. Минскаго безсильно опустилась... А затѣмъ онъ проснулся и сталъ писать вторую часть своей книжки.

Вторая и третья части книжки посвящены возстановленію того, что г. Минскій разрушилъ въ первой. Мы пройдемъ ихъ очень бѣгло. Оказывается, что любовь, самопожертвованіе, словомъ все, чего въ первой части рѣшительно не было, на самомъ дѣлѣ существуетъ. Но надо различать. Мы убѣдились, что всякая наша дѣятельность, добрая и злая, одинаково ничтожна, безцѣльна и самолюбива. На этомъ надо прочно утвердиться. «Если мы оставимъ нетронутою хоть одну иллюзію, если, напримѣръ, допустимъ, что всѣ поступаютъ самолюбиво, кромѣ героя, умирающаго за счастье людей, то мы осудимъ себя на дальнѣйшее скитаніе во мракѣ прежнихъ противорѣчій». Однако, внутренній голосъ, совѣсть, самымъ фактомъ своего существованія свидѣтельствуетъ, что гдѣ-то внѣ человѣческой души и внѣ земной жизни есть «истинное добро, конечная цѣль, вѣчное бытіе», словомъ,—«святыня». Страничку, буквально страничку, посвященную изложенію этой мысли, г. Минскій заканчиваетъ такъ: «Существованіе святыни такимъ образомъ является строго доказанной истиной», и далѣе уже вполне свободно говоритъ: «мы доказали» и т. п. Въѣсть съ тѣмъ обнаруживается, что «наша себялюбивая правда не совѣмъ себялюбива, наши бранныя цѣли не совѣмъ преходящи». Обнаруживается далѣе, что мы вовсе не исключительно къ первенству стремимся и не только смѣшную мечту о возвышенномъ средоточіи земли дѣлѣемъ. «Мы, наоборотъ, ищемъ, какъ-бы отречься отъ себя, подчинить себя высшему началу, смиряться, уничтожиться передъ чѣмъ-то, лежащимъ внѣ насъ. Но все, совершаемое во имя первенства, и доброе, и злое, и жестокое, и самоотверженное, совѣсть равно отрицаетъ и клеймитъ названіемъ самолюбія; подвиги-же самоотреченія для святыни, подчиненіе нашихъ цѣлей вѣчной цѣли—одно это совѣсть признаетъ истинно добрымъ и нравственнымъ».

Такимъ образомъ, гора родила мышь. Никто вѣдь и не сомнѣвается въ томъ, что если, напримѣръ, г. Минскій написалъ свою книжку собственно затѣмъ, чтобы «попервенствовать» подобно человѣку, облыжно увеличивающему число градусовъ мороза, такъ это не хорошо, а если онъ хотѣлъ послужить святынь истинны, такъ это хорошо. Но затѣмъ-же онъ оклеветалъ человѣчество, приписавъ всѣмъ людямъ, всѣмъ безъ исключенія, нелѣпое желаніе стоять на возвышенномъ средоточіи земли въ центрѣ всеобщихъ восторговъ и овніамовъ? Неправда вѣдь это, простая, голая, фактическая неправда. И если г. Минскій когда-нибудь исповѣдывалъ эту неправду, такъ какое намъ до этого дѣло? Мало-ли еще

какой вздор могъ онъ исповѣдывать! Въ его ученическихъ тетрадахъ навѣрное было много не на мѣстѣ поставленныхъ *ятей* и знаковъ препинанія, но это еще не создаетъ резона публиковать тѣ тетрадки. А вѣдь ошибка г. Минскаго не грамматической ошибкѣ чета. Это больше, чѣмъ ошибка, это клевета, и не на Ивана или Марью клевета, а на весь родъ человѣческій. Публиковать ее, пожалуй, можно, но не иначе, какъ съ краской стыда на щекахъ, съ искреннимъ покаяніемъ въ своемъ легкомыслии. Г-нъ-же Минскій не только не кается, но даже настоящимъ образомъ не отрекается, а съ спокойнымъ самодовольствомъ ставитъ рядомъ два противоположные продукта своей беллетристической психологій. На собственный чисто фактической вопросъ объ основныхъ свойствахъ человѣческой души, г. Минскій отвѣчаетъ: основное свойство состоитъ въ самолюбіи и притомъ въ формѣ стремленія къ первенству. А затѣмъ вторично отвѣчаетъ: основное свойство состоитъ въ самоотреченіи, подчиненіи себя чему-то 'высшему. Правда, г. Минскій старается связать эти два діаметрально противоположныя показанія оговорками: «для людей», «для святыни». «Если вы умрете ради людей, то и на плахѣ не освободитесь отъ упрека совѣсти въ самолюбіи и стремленіи къ первенству. Но все, что-бы вы ни совершили во имя святыни, совѣсть ваша признаетъ необходимымъ и праведнымъ». Но во-первыхъ, это ни мало не измѣняетъ фактическаго положенія вещей: значитъ, есть-же все-таки люди, совершающіе тѣ или другіе поступки «ради святыни», а не то, чтобы непремѣнно все пакостники и тщеславные самолюбцы. А во-вторыхъ, оговорки «ради людей» и «во имя святыни» не спасаютъ дѣла г. Минскаго и въ принципиальномъ отношеніи: въ большинствѣ случаевъ святыня человѣка предписываетъ ему дѣйствовать такъ или иначе именно ради людей. Если, напримѣръ, г. Минскій не угрызается совѣстью за свою книгу, такъ онъ написалъ ее во имя святыни, но вмѣстѣ съ тѣмъ онъ написалъ ее, конечно, ради людей, ради того, чтобы просвѣтить насъ темныхъ.

Какъ-бы то ни было, но г. Минскій и въ третьей части, какъ ни въ чемъ не бывало, ссылается на первую, не какъ на образчикъ заблужденій, нынѣ имъ отвергнутыхъ, а просто какъ на нѣчто доказанное и непоколебленное, такъ что тѣхъ сомнѣній и колебаній, которыми будто-бы веда г. Минскаго совѣсть, на-лицо не оказывается, хотя объ нихъ и говорится и хотя исходныя точки въ теченіе разговора осложняются до неузнаваемости. Это, при полной неточности и напыщенности языка автора, при необыкновенной его склонности къ метафорамъ, которыми книга буквально кишитъ, дѣлаетъ не только разборъ ея, а даже изложеніе крайне труднымъ. Въ дальнѣйшемъ изложеніи г. Минскій ищетъ «святыни» и долго не находитъ. Онъ перебираетъ Космосъ, Душу человѣческую, наконецъ, Абсолютъ и поочередно, по разнымъ соображеніямъ, отказывается признать въ нихъ святыню. Онъ находитъ

ее лишь въ «мэонѣ», что значитъ «несуществующій». И самый терминъ, и кое-что, характеризующее «мэонъ» или «мэоны», г. Минскій заимствовалъ изъ Платонова «Софиста», но мы на этомъ останавливаться не будемъ. Во всякомъ случаѣ г. Минскій придалъ мэонамъ оригинальное мѣсто въ философи, хотя можно навѣрное сказать, что эти самые мэоны никому и ни на что не нужны.

Всякое пространство, какъ-бы оно ни было мало или велико, необходимо представляется намъ ограниченнымъ другимъ, бѣльшимъ пространствомъ. Понятіе о безпредѣльной, ничѣмъ не ограниченной вселенной нашему разуму совершенно не доступно, какъ противоположное всякому опыту и полное противорѣчіе. Это-то немыслимое, невозможное, несуществующее «объемлетъ священнымъ трепетомъ и ужасомъ» г. Минскаго и составляетъ первый пространственный мэонъ. Вторымъ пространственнымъ мэонъ есть атомъ, не тотъ условный атомъ, которымъ орудуетъ химія, а послѣдняя, недѣлимая, невозможная, несуществующая частица матеріи. Такимъ-же образомъ получаютъ мэоны времени—вѣчность и мгновеніе, мэоны первопричины и верховной цѣли, мэоны познанія — «вещь въ себѣ» и самосознающее я, мэоны нравственной дѣятельности — безкорыстная жертва и свобода отъ вождельній. Наконецъ, все эти мэоны сливаются въ единый мэонъ, который можно-бы было назвать также Абсолютномъ, безусловнымъ.—Надо только помнить, что это безусловное, такъ сказать, съ отрицательнымъ знакомъ: оно не существуетъ.

Я затрудняюсь, читатель, передать дальнѣйшія размышленія г. Минскаго въ сколько-нибудь систематическомъ видѣ. Прочтите сами, или, если хотите послушаться добраго совѣта, не читайте, потому что только даромъ потратите время. Дѣло въ томъ, что ученіе о мэонѣ или мэонахъ, какъ оно набросано въ «Софистѣ» Платона, подъ руками дѣйствительно даровитаго метафизика могло-бы сложиться въ стройную систему, въ своемъ родѣ не худшую другихъ метафизическихъ системъ,—не худшую, хотя, конечно, и не лучшую. Но если вы даже большой любитель этихъ попытокъ мысли оторваться отъ опыта и проникнуть въ сокровенную сущность вещей, то не найдете, все-таки, въ книжкѣ г. Минскаго никакого удовлетворенія. Г. Минскій, заявляя о своемъ презрѣніи къ даннымъ опыта и о своемъ намѣреніи перелетѣть за предѣлы того, что человѣческому разуму доступно, даже прямо-таки въ область несуществующаго, на дѣлѣ совершенно безсиленъ въ сферахъ чистой мысли. Безпомощно хватается опъ на каждомъ шагѣ за метафоры, притчи, образы, словомъ за разныя подобія плоти и крови, хотя на словахъ именно ихъ-то и не хочетъ знать. Идея или идеаль доступны ему только въ формѣ идола. Онъ не излагаетъ свои идеи и не доказываетъ ихъ, а изображаетъ. Это выходитъ особенно курьезно, когда онъ ведетъ рѣчь о единомъ, безусловномъ, мэонѣ. Какъ избра-

зять несуществующее? Для этого надо предположить его существующимъ. Г. Минскій и дѣлаетъ это предположеніе. Чтобы понять мэона, несуществующаго, онъ надѣлаетъ его «абсолютнымъ бытіемъ», то-есть совершенно извращаетъ смыслъ собственной своей идеи и затѣмъ рисуетъ якобы глубокомысленную, а въ сущности просто забавную картину того, какъ мэонъ изъ какихъ-то странныхъ побужденій погружается въ небытіе. При этомъ мэонъ говорить предсмертную рѣчь тѣмъ самымъ напыщеннымъ языкомъ, которымъ выражается и г. Минскій. Какимъ образомъ мэонъ, несуществующій, могъ существовать, и какимъ образомъ абсолютъ могъ умереть и куда онъ дѣвался,—до этого г. Минскому дѣла нѣтъ. Онъ не логическою мыслью руководится, а беллетристику пишетъ, но не потому, что хочетъ ее писать, а потому, что не можетъ ориентироваться въ сферахъ отвлеченной мысли, въ которыхъ, однако, пламенно желаетъ основаться.

Мэонъ, величественный мэонъ, приводящій г. Минскаго «въ священный трепеть и ужасъ», какъ расписанный невозможными красками клоуны, кувыркается изъ бытія въ небытіе и обратно. Зачѣмъ онъ все это дѣлаетъ? Или, точнѣе, изъ-за чего г. Минскій продѣлываетъ такія штуки надъ чѣмъ-то, хотя и несуществующимъ, но приводящимъ его, г. Минскаго, въ священный трепеть и ужасъ? Послѣ еще нѣсколькихъ кувырканій г. Минскій приходитъ къ тому заключенію, что для насъ есть четыре пути постиженія непостижимаго мэона: точное знаніе, то-есть наука, искусство, удовлетвореніе жажды первенства и борьба съ своими желаніями или аскетизмъ. И онъ восклицаетъ: «Да будутъ благословенны страданія несовершеннаго міра! Да будетъ благословенно отсутствіе любви, истины, свободы! Да будутъ благословенны достойныя знанія науки, хрупкіе образы искусства, безцѣльные дѣла самолюбія и столь-же безцѣльные подвиги самоотреченія,—эти четыре рода орудій, которыми человѣкъ высѣкаетъ изъ своей души спящій въ ней мистическій пламень!» Словомъ, да будетъ все на своемъ мѣстѣ, какъ оно сейчасъ есть и какъ будто никакихъ мэоновъ г. Минскій не сочинялъ. «Если, — говоритъ онъ, — ученіе о мэонахъ кажется мнѣ истиной, то, между прочимъ, потому, что оно само въ себѣ не заключаетъ какой-то универсальной, всецѣляющей мудрости или святости, а наоборотъ *приводитъ къ собственному отрицанію* и, указывая на науку, искусство, самолюбіе и аскетизмъ, какъ на четыре пути достиженія святости, *само себя устраняетъ, признаетъ немужнымъ*».

Итакъ, читатель, если вы занимались наукою, продолжайте ея заниматься, не смотря на то презрѣніе къ основѣ науки—опыту, которымъ (презрѣніемъ) полонъ г. Минскій. Если вы стремитесь къ первенству и топчете своихъ ближнихъ ради своего самолюбія, — продолжайте, г. Минскій васъ благословляетъ. Если вы, наоборотъ, обуздывали во имя чего-бы то ни было свои желанія, опять-таки продолжайте.

Помните, что *ненужно* одно—ученіе о мѣнахъ и, значить, книжка г. Минскаго.

Дѣлать какіе-нибудь общіе выводы относительно книжки, которая противорѣчитъ себѣ на каждомъ шагѣ и въ концѣ-концовъ оказывается никчемною съ точки зрѣнія самого автора, очевидно, невозможно. Но можно сдѣлать нѣкоторые выводы относительно автора, которые пригодятся и для отрицательной по крайней мѣрѣ характеристики книги.

Ясно, во-первыхъ, что совѣсть не очень беспокоитъ г. Минскаго. Я говорю, разумѣется, о г. Минскѣ, какъ объ авторѣ «При свѣтѣ совѣсти», а до личной его жизни мнѣ никакого дѣла нѣтъ. Совѣсти нѣтъ въ книжкѣ, кощунственно озаглавленной «При свѣтѣ совѣсти». Совѣсть не кокетничаетъ съ отвергнутымъ прошлымъ, а скорбитъ о немъ и проклинаятъ. Совѣсть не говоритъ напыщеннымъ языкомъ. Совѣсть не рядится въ костюмы демона или ангела. Совѣсть не удовлетворяется и не ущемляется холодными логическими разсужденіями въ такомъ родѣ: «Абсолютъ единъ и ничѣмъ не ограниченъ; какимъ-же образомъ существую я—не Абсолютъ, граница абсолютнаго? Одно изъ двухъ: или разрозненный міръ, или единый Абсолютъ; вмѣстѣ они существовать не могутъ» и т. д. Это вопросы, лежащіе внѣ компетенціи совѣсти, и можетъ быть даже совѣсть признаетъ ихъ праздными и вздорными. Это вопросы не совѣсти, а разума, принявшаго метафизическое пареніе. Но и метафизика г. Минскаго или вообще его философія не выдерживаетъ никакой критики. Въ томъ самомъ «Софистѣ», изъ котораго г. Минскій извлекъ мѣновъ, есть разсужденіе о мудрецахъ или философахъ и о подражающихъ мудрецамъ или софистахъ. Софистъ г. Минскій плохой, но философія его есть не философія, а подражаніе философіи. Онъ ходитъ около философскихъ вопросовъ, но вслѣдствіе полной неспособности къ отвлеченной мысли ежеминутно съѣзжаетъ на беллетристику. Онъ перепутываетъ самые элементарныя философскіе термины и изо-всѣй этой путаницы выбирается тѣмъ, что подсовываетъ вмѣсто отвлеченной идеи конкретный образъ, отъ чего путаница, конечно, еще увеличивается.

Если г. Минскій, какъ авторъ книжки, о которой идетъ рѣчь, не есть ни человѣкъ ущемленной или просвѣтленной совѣсти, ни человѣкъ отвлеченной мысли, такъ что-же онъ такое? Онъ—«художественная натура, не основанная на нравственномъ чувствѣ». Ставлю эти слова въ кавычкахъ, потому что они принадлежатъ не мнѣ. Я заимствую ихъ изъ блестящей характеристики Ивана Грознаго, сдѣланной когда-то К. Аксаковымъ. По Аксакову, такая натура не испытываетъ ни одного чувства правдиво. Такой человѣкъ бываетъ посѣщаемъ и добрыми чувствами, но онъ не отдается имъ дѣльно и непосредственно, потому что въ тоже время любитъ ихъ красотою. Онъ можетъ приходиться въ настоящее умиленіе отъ красоты добра, но именно отъ его красоты, а

не оть самаго добра. Въмѣстѣ съ тѣмъ онъ можетъ находить красоту и въ самомъ дикомъ или низкомъ явленіи, потому что его нравственное чувство не принимаетъ никакого участія въ его художественныхъ построеніяхъ. Для него жизнь есть не жизнь, а театральное представленіе или картина, которая можетъ быть художественно прекрасна даже и тогда, когда ея сюжетъ нравственно отвратителенъ. Отъ того-то г. Минскій и демономъ замаскировывается, и на возвышенномъ средоточіи земли себя видитъ. Отъ того-то онъ не чувствуетъ настоящей боли совѣсти, а только краснорѣчиво и многорѣчиво говоритъ о ней. Отъ того-то, наконецъ, ему рѣшительно все равно, существуетъ или не существуетъ мѣопъ, лишь-бы на его существованіи или несуществованіи построить картину...

Нелишне можетъ быть замѣтить, что художественная натура не значитъ талантливая натура. Художественная натура имѣетъ извѣстныя склонности, но затѣмъ остается еще вопросъ о природныхъ средствахъ для удовлетворенія тѣхъ склонностей. Какъ поэтъ, г. Минскій не лишень дарованія, но задача, предпринятая имъ «При свѣтѣ совѣсти», далеко превышаетъ его художественныя средства. Шутка вѣдь сказать: Абсолютъ собирается погрузиться въ небытіе, и г. Минскій хочетъ художественно изобразить этотъ моментъ... Такое несоотвѣтствіе задачи со средствами всегда порождаетъ крайне непріятную напыщенность. Пыжится человѣкъ до того, что и жалко его, и противно, и смѣшно.

Если есть что въ книжкѣ г. Минскаго искренняго, писаннаго дѣйствительно при свѣтѣ совѣсти, такъ это — страхъ смерти. Страницы, посвященныя этому сюжету, очевидно изъ души льются. Но развѣивать этого не буду, ибо безъ того слѣшкомъ долго занимался г. Минскимъ.

Объ XVIII передвижной выставкѣ.

Мнѣ рассказывали, что на одномъ изъ костюмированныхъ баловъ въ Петербургѣ, устраиваемыхъ художниками, литература была представлена въ видѣ свиньи, облѣпленной названіями газетъ и журналовъ, а передъ мордой у нея былъ прикрѣпленъ апельсинъ: литература, дескать, понимаетъ въ искусствѣ, какъ свинья въ апельсинахъ... Для художниковъ это, мнѣ кажется, немножко нехудожественно и грубо, а кромѣ того и вполне неосновательно. Литераторы отличаются отъ прочей публики, посѣщающей художественныя выставки, галереи и мастерскія, только тѣмъ, что хотятъ и умѣютъ излагать свои мысли на бумагѣ. Бываетъ, конечно, и гораздо большее различіе. Бываетъ такъ, что отзывы о художественныхъ произведеніяхъ пишутъ въ газетахъ и журналахъ люди, специально посвятившіе себя изученію искусства и потому обладающіе подготовкой, какой нѣтъ не только у большинства публики, а подчасъ и у самихъ художниковъ. Бываетъ и такъ, что печатные разговоры о выдающихся произведеніяхъ искусства ведутъ талантливые художники слова (покойный Гаршинъ, г. Короленко), которые, надо думать, кое-что въ искусствѣ понимаютъ, потому что и сами къ нему прикосновенны. Но даже оставимъ совсѣмъ въ сторонѣ подобные случаи. Я буду говорить о себѣ. Я никогда специально не занимался изученіемъ искусства ни съ теоретической, ни съ исторической, ни съ технической стороны, никакими художественными дарованіями не обладаю, и однако собираюсь посвятить это письмо недавно открытой XVIII передвижной выставкѣ. Быть можетъ я выскажу очень неосновательныя сужденія, быть можетъ столь-же неосновательно выскажутся всѣ тѣ мои собратья по перу, которые займутся выставкой. Но почему-же именно къ намъ должна адресоваться оскорбительная аллегорія, фигурировавшая на упомянутомъ костюмированномъ балу?

Какъ видно изъ отчета, на прошлогодней выставкѣ въ одномъ Петербургѣ перебивало почти семнадцать тысячъ посѣтителей, изъ которыхъ писателей, и притомъ такихъ, которые что-нибудь о выставкѣ написали, было, много сказать, двадцать человекъ. Остальные семнадцать тысячъ минусъ двадцать человекъ ничего о выставкѣ не написали, по отъ словеснаго сужденія, конечно, не отказывались, и нельзя-же думать, чтобы всѣ эти словесныя сужденія были правильны, и именно потому, что они словесныя, а не печатныя. Если ужъ подносить оскорбительную аллегорію, такъ либо опредѣленному лицу, провинившемуся передъ искусствомъ и его жрецами, либо всей публикѣ (за исключеніемъ, конечно, покупателей: это было-бы ужъ и не разсчитливо). Но опредѣленному лицу господа художники не рѣшались нанести оскорбленіе, по соображеніямъ отвѣтственности, а всей публикѣ... да для кого-же они и выставляютъ свои произведенія, какъ не для толпы, отъ кого, какъ не отъ нея, ждуть хвалы и славы? Ну, а если славы и хвалы, такъ при случаѣ и порицаніе приходится выслушать, хотя-бы вполнѣ неосновательное. Не находя такимъ образомъ удобствъ адресоваться съ обидой къ опредѣленному лицу и ко всей публикѣ, господа художники избираютъ козломъ отпущенія литературу. Ахъ, она къ этому такъ привыкла! У насъ за все про все литература отвѣчаетъ. Изъ этого не слѣдуетъ, однако, чтобы мы должны были трусить остроумія художниковъ, даже если-бы оно было и поядовитѣе того, которое поразило литературу на костюмированномъ балу. Напротивъ, собираясь писать о выставкѣ, я твердо стою на той почвѣ, что я такая-же публика, какъ и всѣ прочіе; что я не Молчаливъ, который «не можетъ смѣть свое сужденіе имѣть»; что единственное мое отличіе отъ массы публики—желаніе и умѣніе излагать свои мысли на бумагѣ—еще никому не даетъ права ругать меня скверными словами. А если кто такія слова говорить, такъ пусть ему и будетъ стыдно, а не литературѣ. Я такъ твердо стою на этой почвѣ равенства съ остальной публикой, что и не попытаюсь занять другую, болѣе выгодную позицію. А она возможна. Если, по отношенію къ художникамъ и искусству, мы такая-же публика, какъ и прочій, не пишущій людъ, то вѣдь и господа художники, по отношенію къ намъ, такая-же публика, какъ весь многочисленный персоналъ непишущаго общества. Они можетъ быть кое-чему научились у насъ, кое-что уяснили и усвоили себѣ при помощи фактовъ и идей, разрабатываемыхъ, развиваемыхъ и распространяемыхъ литературой. А не уяснили и не усвоили, такъ тѣмъ хуже для нихъ. И если посчитать апельсины...

Нѣтъ, я не увлекусь потокомъ остроумія господъ художниковъ. Я памятую, что и мы, и они призваны дѣлать одно и то-же дѣло, только разными средствами. Дѣло это столь велико, что по крайней мѣрѣ понимающіе его величіе должны-бы оставить въ сторонѣ всѣ счеты объ апельсинахъ и всякое взаимное сквернословіе. Пусть сквернословятъ

непонимающіе, въ числѣ которыхъ безспорно есть и литераторы, и художники, а понимающіе пусть дѣла дѣлаютъ. Мнѣ кажется, что, при условіи этого пониманія, всякій имѣетъ право говорить о художественныхъ произведеніяхъ. Я могу быть совершеннымъ профаномъ въ технической сторонѣ дѣла, но эстетическія впечатлѣнія мнѣ все-таки доступны, и не исключительно-же для знатоковъ-спеціалистовъ пишутся и выставляются картины. Но искусство вызываетъ не только эстетическую эмоцію. Вольно или невольно, сознательно или безсознательно, художникъ шевелитъ, по крайней мѣрѣ, можетъ шевелить мое нравственное чувство, будитъ и направляетъ, по крайней мѣрѣ можетъ будить и направлять мою мысль... И если я дѣйствительно понимаю великое значеніе искусства, какъ одного изъ факторовъ жизни, то и не сунусь въ чуждую мнѣ область художественной техники. Пусть о ней говорятъ другіе, болѣе компетентные. Я останусь въ предѣлахъ того, что не хуже другихъ способенъ воспринимать и понимать.

Первое, что меня поразило на нынѣшней передвижной выставкѣ, это—скудость, и количественная, и качественная, бытовой живописи, жанра. Я говорю, конечно, сравнительно съ прошлыми годами. Напримѣръ, талантливейшій и неутомимый В. Е. Маковский выставилъ нынче всего шесть нумеровъ, а между тѣмъ бывали годы, когда онъ выставлялъ до двадцати и даже до сорока картинъ и картинокъ, почти исключительно жанровыхъ. Само по себѣ это можетъ быть простая случайность, годъ на годъ не приходится. Но въ связи съ другими фактами, поразившими меня на выставкѣ, и съ общимъ впечатлѣніемъ, сначала не совсѣмъ яснымъ, мною оттуда вынесеннымъ, убылъ произведеній г. Маковского представляется мнѣ имѣюще известное значеніе. Я запишу факты и впечатлѣнія, какъ попалю, и потомъ попробую подвести итогъ.

Другой жапристъ, г. Кузнецовъ, выставилъ портретъ г. Л. и картинку подъ названіемъ «Прерванный завтракъ»: свиньи ѣдятъ, собака мѣшаетъ имъ ѣсть. Можетъ быть это какія-нибудь особенныя свиньи, понимающія толкъ даже въ апельсинахъ, но меня занимаетъ тотъ фактъ, что это все-таки свиньи, а не люди, тогда какъ на прежнихъ выставкахъ я помню у г. Кузнецова людей.

Историческая живопись совершенно отсутствуетъ на выставкѣ. Правда, г. Литовченко далъ «Боярыню», но эта фигура относится развѣ къ исторіи костюма, а никакъ не къ исторіи людей. Г. Невревъ, прежде такъ интересовавшійся дѣлами нашихъ предковъ, выступилъ съ видомъ мѣстности въ Москвѣ. И затѣмъ пейзажи, пейзажи, пейзажи... Есть группа крымскихъ этюдовъ г. Васнецова и группа кавказскихъ видовъ г. Киселева; есть превосходная «Осень» г. Волкова, «Осень» г. Дубовского, «Осень» г. Мясоѣдова, «Осень» г. Полѣнова, «Осень» г. Бажина, «Къ концу лѣта» г. Сейтгофа. Но не все-же осень. Есть и «Весна»

г. Ярцева, и «Весна» г. Менка, и «Весна» г. Мясоѣдова, и зима не забыта, и лѣто, и пейзажи г. Шиниклина есть, и опять-таки превосходное «Сырое утро» г. Волкова, и «Вечерь» г. Холодовскаго, и еще «Вечерь» г. Левитана и проч. Число пейзажей на пыѣшней выставкѣ абсолютно можетъ быть и не больше, чѣмъ на предыдущихъ, но, — я не знаю почему, — ихъ кажется очень много.

Можетъ быть потому, что пейзажъ представляетъ собою въ нѣкоторомъ родѣ символъ и вмѣстѣ съ тѣмъ условіе уединенія, а на выставкѣ есть много картинъ, изображающихъ людей въ полномъ одиночествѣ. Я говорю не о портретахъ, «головкахъ», «боярыняхъ», «арабахъ» и т. п., а о такихъ картинахъ, въ составъ самаго сюжета которыхъ входитъ одиночество. Нѣкоторыя изъ нихъ даже прямо совпадаютъ съ пейзажемъ. Напримерь, «Ифигенія въ Тавридѣ» г. Васнецова: жрица Артемиды одиноко стоитъ не вдалекѣ отъ морского берега; и такая она маленькая на большомъ полотнѣ, наполненномъ зеленью, моремъ, скалами, что всю картину можно-бы было назвать прямо крымскимъ пейзажемъ; а съ другой стороны эта прекрасная, но равнодушная природа такъ подчеркиваетъ одиночество Ифигеніи, что можетъ быть именно это и хотѣлъ выразить художникъ. «Ночь» г. Брюллова: чудесно написанный старый паркъ при лунномъ освѣщеніи: по дорожкѣ идетъ, очевидно, гуляя, одинокая женщина; вверху, надъ деревьями, мерцаютъ двѣ-три звѣзды. Я не знаю, что это такое. Можетъ быть это пейзажъ, лишь по технически-художественнымъ соображеніямъ оживленный одинокой женскою фигурой, а можетъ быть житейская драма, разрывшшаяся или разрывающаяся одиночествомъ, и эти мерцающія звѣзды, эта дорожка въ паркѣ, эта полоса луннаго свѣта, пущенная по зелени, — все это лишь аксесуары, призванные отбѣнить одиночество гуляющей ночью женщины.

Въ картинѣ г. Мясоѣдова «Вдали отъ міра» мы опять наталкиваемся на совпаденіе пейзажа съ идеей одиночества, хотя картина эта ужъ конечно не пейзажъ. Молодой, изможденный, по благообразный и даже слишкомъ благообразный человекъ въ монашескомъ одѣяніи стоитъ одинъ въ лѣсу, опершись на слишкомъ длинный заступъ. Если бы заступъ не страдалъ этимъ излишествомъ длины, то, опираясь на него, отшельникъ долженъ былъ-бы согнуться и молодость его фигуры была бы не столь подчеркнута. А художникъ хотѣлъ именно молодого, благообразнаго человека отпратить въ лѣса и пустыни, «въ даль отъ міра», въ пейзажъ. Да, конечно, въ этой лѣсной глуши одиночество достижимо вполне, но почему именно такого молодого, благообразнаго понадобилось художнику удалить отъ міра?

Другой художникъ пошелъ въ этомъ отношеніи еще дальше и уловилъ задатки стремленія къ одиночеству въ мальчикѣ четырнадцати-пятнадцати лѣтъ. Я говорю о предетной картинѣ г. Богданова-Виль-

скаго «Будущій иннокъ». Дѣйствіе происходитъ въ крестьянской избѣ: крестьянскій мальчикъ въ лаптяхъ и въ рубашкѣ сидитъ, облокотившись на столъ; возлѣ него лежитъ на скамейкѣ книга въ старомъ кожаномъ переплетѣ; онъ слушаетъ что говоритъ захожіи странникъ съ котомкой за плечами и съ палочкой въ рукѣ; а можетъ быть и не слушаетъ, а подъ говоръ старика свою собственную думу думаетъ. Блѣдное, задумчивое личико этого мальчика, отнюдь не красное, но лучше, чѣмъ красное, необыкновенно выразительно. Сжатія губы и устремленные куда-то въ неопредѣленную даль глаза свидѣтельствуютъ о напряженной работѣ молодой души, и все эта работа уйдетъ на одиночество, — это «будущій иннокъ».

Такой-же будущій иннокъ изображенъ на картинѣ г. Неестерова «Видѣніе отрока Варооломея». Худенькій крестьянскій мальчикъ съ большими, робкими глазами жалуется старцу-черноризцу, что ему не дается книжное ученіе, и проситъ помочь ему. Отрокъ Варооломей сталъ потомъ Сергіемъ Радонежскимъ и удалился въ пустыню. Да и сейчасъ, на картинѣ г. Неестерова, онъ вполне иннокъ. Не такой онъ маленькій, какъ Ифигенія на картинѣ г. Васнецова, но кругомъ него все-таки поля и поля, а рядомъ съ нимъ стоитъ только старецъ-черноризецъ, да и тотъ есть видѣніе, да и видѣнію этому художникъ советѣмъ закрылъ лицо и голову, такъ что только конецъ сѣдой бороды видѣтъ изъ-подъ кантыря.

Вообще одиночества поразительно много на нынѣшней выставкѣ. Вотъ «Барышня» г. Клода: барышня въ юбкѣ и спустившейся съ плеча рубашкѣ, съ напильотками въ волосахъ и книгой въ рукѣ, сидитъ у окна; на окнѣ догорѣвшая свѣчка, а на заднемъ планѣ видна совершенно нетронутая постель. Эти детали даже съ излишнею ясностью подчеркиваютъ одиночество барышни. «Къ сумеркамъ» г. Костанда: одинокая женская фигура сидитъ въ полѣ, пригорюнившись. Сюда-же относится «Лѣсникъ» г. Малышева, «Лавочникъ» г. Лебедева, «Любитель-садоводъ» г. Холодовскаго, «Музыкантъ» г. Размарицына. Все это люди, случайно или не случайно, намѣренно или не намѣренно взятые въ моментъ одиночества. На первый взглядъ нѣтъ и не можетъ быть ничего общаго между поэтической Ифигеніей и мальчикомъ-лавочникомъ, оставленнымъ родителями или хозяевами для присмотра за мелочной лавченкой, къ которой не подходитъ ни одинъ покупатель («Лавочникъ» г. Лебедева); между «Барышней» г. Клода и «Любителемъ-садоводомъ» г. Холодовскаго, казалось-бы, только и общаго, что оба они изображены въ бѣльѣ. Но именно разнообразіе-то путей, которыми художники приходятъ къ одиночеству, мнѣ и представляется достойнымъ примѣчанія. Точно они не сами, по доброй волѣ приходятъ, а какая-то посторонняя сила гонитъ ихъ изъ разныхъ исходныхъ точекъ къ одному и тому-же конечному пункту.

Довольно, наконецъ, одиночества. Поидемъ въ люди, на свадьбу поидемъ. Вотъ «Вѣнчаніе» г. Матвѣева. Но это вѣнчаніе советѣмъ особое: женихъ въ арестантскомъ халатѣ, вѣнцы надъ головами жениха и невѣсты держатъ тюремные сторожа, вдали стоитъ, заложивъ обѣ руки въ карманы, единственный свидѣтель,—кто-то изъ тюремнаго начальства. Вѣнчаніе происходитъ въ тюремной церкви, и тотчасъ послѣ вѣнца молодой возвратится въ свое тюремное одиночество. Не ушли мы, значить, отъ него даже и на свадьбѣ. Герою и героинѣ картины г. Савицкаго «Не сошлись характерами» можетъ быть не грозить тюремное одиночество, но она такъ плачетъ (повнѣшую на рѣenniцъ слезу просто стереть хочется), а онъ такъ злобно на нее оглядывается (просто скверно смотрѣть), что, конечно, имъ предстоить въ самомъ скоромъ времени быть каждому самому по себѣ, т. е. опять-таки въ одиночествѣ...

Есть, однако, на выставкѣ и картины, изображающія цѣлыя массы народа. Таковы «Ночлежники» г. Маковского, «Въ ожиданіи найма» г. Зоценко. На картинѣ г. Маковского зима, на картинѣ г. Зоценко лѣто. На картинѣ г. Маковского множество типичныхъ оборванцевъ толпится, ежась отъ холода, на покрытой снѣгомъ площадкѣ передъ почлежнымъ домомъ. На картинѣ г. Зоценко лежатъ и сидятъ, изнывая отъ жары, мужики и бабы, ожидающіе наемщиковъ. Людей много, но общества нѣтъ: и тамъ, и тутъ людей нужда согнала въ одно мѣсто, но въ общество ихъ не соединила.

Еще одно замѣчаніе о портретахъ. На выставкѣ есть превосходные портреты гг. Рѣпина и Ярошенко, есть и другіе, но только одинъ портретъ, покойнаго Сѣрова, имѣетъ, такъ сказать, общественный интересъ. Можно любоваться необыкновеннымъ мастерствомъ выставленнаго г. Рѣпинымъ портрета баронессы Иксуль или удивительнымъ портретомъ мальчика, сына г. Менделѣева, написаннымъ г. Ярошенко; но зрители обречены при этомъ на исключительно эстетическія впечатлѣнія: уму и сердцу большинства зрителей, не имѣющихъ чести знать оригиналы, эти портреты ничего не говорятъ. Не такъ было на предъидущихъ выставкахъ. Вспомните, напримѣръ, выставку 1887—1888 гг. съ портретами поэта Плещеева, Салтыкова (г. Ярошенко), Гаршина, Самойлова, Листа, Глинки (г. Рѣпина). На выставкѣ 1886—1887 гг. были два портрета Кавелина (г. Брюллова и г. Ярошенко), портреты астронома Струве, философа Соловьева (Крамского), профессора Мечникова, художника Рѣпина (г. Кузнецова), г. Спасовича, г. Менделѣева (г. Ярошенко). На выставкѣ 1884—1885 гг.—портреты Тургенева, г. Стасова, Крамского (г. Рѣпина), гр. Л. Толстого (г. Ге), поэта Майкова (Крамского), Гл. Успенскаго, г-жи Стрелтовой (г. Ярошенко). Всѣхъ этихъ людей не нужно знать лично, чтобы заинтересоваться ихъ портретами не только отвлеченно-эстетически, не только какъ художествен-

ными произведеніями. Огромному большинству посѣтителей выставки они хоть по-наслышкѣ знакомы своею научно-литературною, артистическою или иною какою общественною дѣятельностью. Нынѣ же общественный интересъ представляетъ, повторяю, только портретъ Сѣрова, да и тотъ написанъ В. А. Сѣровымъ, можетъ быть родственникомъ и можетъ быть по чисто личнымъ побужденіямъ.

Мнѣ кажется, что въ убыли жанра, въ полномъ отсутствіи исторической живописи, въ обиліи пейзажей, въ обиліи варіацій на мотивъ одиночества, въ отсутствіи портретовъ, имѣющихъ общественный интересъ—во всемъ этомъ сказывается одна и та-же черта. И это тѣмъ любопытнѣе, что это не мѣстная какая-нибудь черта: въ приложенномъ къ иллюстрированному каталогу выставки списокѣ адресовъ художниковъ, участвующихъ въ выставкѣ, находимъ Москву, Петербургъ, Кіевъ, Царское Село, станцію Плиски курско-кіевской ж. д., Харьковъ, Одессу, деревню Степановку Херсонской губ., а кромѣ того Парижъ и Римъ. Вѣдь это почти буквально отъ финскихъ хладныхъ скалъ до пламенной Колхиды, не считая пребывающихъ за границей. Одно изъ двухъ: либо художники по какимъ-нибудь соображеніямъ сами рѣшили удалиться отъ міра и болѣе или менѣе игнорировать общественную жизнь, либо эта жизнь настолько оскудѣла, что художники не могутъ извлечь изъ нея ничего, кромѣ отрицательнаго возбужденія. Первое предположеніе кажется мнѣ совершенно невѣроятнымъ. Для художниковъ удалиться отъ міра—значить уйдти въ область чистой красоты, безпредметнаго созерцанія и воспроизведенія линій и красокъ. Этого отнюдь нельзя сказать о нынѣшней передвижной выставкѣ въ цѣломъ. Не безпредметное служеніе чистой красотѣ этотъ отрокъ Варооломей съ большими, робкими глазами, молитвенно сложившій ручки и мучающійся тѣмъ, что ему не дается «книжное ученіе»: онъ слишкомъ напоминаетъ мнѣ нашихъ гимназистиковъ, изнывающихъ надъ «греками и латинами», и даже до самоубійства. Да, по правдѣ сказать, въ картинѣ г. Неестерова, кромѣ этой фигуры мальчика, которому книжное ученіе туго дается, ничего и хорошаго нѣтъ,—никакой красоты и ни въ какомъ смыслѣ. А перлъ выставки—«Будущій иннокъ» г. Богданова-Вѣльскаго—и всѣ другія варіаціи на тему прямо одиночества или нескладывающагося общества (картины г. Маковского и г. Зощенко) или разлагающагося союза (картина г. Савицкаго)? Или вотъ еще «Бродяга» г. Иванова: старообразный мальчишка въ оборванномъ пальто, изъ бокового кармана котораго торчитъ пачка папиросъ, и въ большихъ, чужихъ, можетъ быть женскихъ ботинкахъ приведенъ огромнымъ городовымъ въ какое-то присутственное мѣсто. Этотъ «бродяга» тоже вѣдь одинокій человекъ: нѣтъ общества, нѣтъ союза, въ которомъ онъ чувствовалъ-бы себя своимъ, и въ жизни котораго онъ участвовалъ-бы своею личною жизнью. Нѣтъ, это не искусство

для искусства, не удаленіе искусства въ пустыню чистой эстетики. Если-бы это было такъ, то такому профану, какъ я, нечего было бы и дѣлать на выставкѣ: пришелъ, полюбовался и ушелъ. Но, несмотря на относительную скудость пышной передвижной выставки, я не могъ ограничиться однократнымъ посѣщеніемъ ея и передъ нѣкоторыми картинами, даже передъ большинствомъ ихъ, подолгу останавливался, испытывая какое-то грустное удовлетвореніе, въ которомъ эстетическая эмоція играла очень слабую роль. Станнымъ образомъ, убыли жанра и отсутствію исторической живописи я былъ даже радъ. Общее грустное, по отнюдь не неприятное впечатлѣніе было-бы не такъ цѣльно, если-бы, напримѣръ, г. Невревъ далъ по бывшимъ примѣрамъ историческую картину, а не видъ мѣстности въ Москвѣ, вовсе, впрочемъ, не интересный, или если-бы г. Литовченко вставилъ свою одинокую «боярыню» въ какой-нибудь историческій эпизодъ. Такъ лучше. Конечно, если-бы поднялся и оживился тонъ выставки во всѣхъ ея частяхъ; если-бы портреты весьма, вѣроятно, достойныхъ, но никому неизвѣстныхъ лицъ замѣнились портретами общественныхъ дѣятелей, любимыхъ или нелюбимыхъ, но всѣмъ знакомыхъ; если бы, напр., г. Мясоѣдовъ выставилъ, ну, хотя что-нибудь вродѣ своего стараго «Чтенія Положенія 19-го февраля», а не ушелъ «Въ даль отъ міра»; если-бы г. Маковекій развернулся во всю разнообразную ширь своего таланта, а г. Рѣпинъ, не ограничиваясь прекраснымъ портретомъ баронессы Искуль, выставилъ одну изъ такихъ бытовыхъ или историческихъ картинъ, которыя привлекали къ себѣ на прежнихъ выставкахъ столько вниманія; если-бы г. Суриковъ напомнилъ о себѣ чѣмъ-нибудь вродѣ «Боярыни Морозовой» или «Утра стрѣлцкой казни»; если-бы еще новыя силы явились съ произведеніями неожиданной силы и значенія, отмѣчающими какія-нибудь явленія общественной жизни въ ея прошломъ и настоящемъ; если-бы все это было, — то выставка была-бы, конечно, богаче и интереснѣе. Но была-ли бы она въ общемъ столь правдива и искренна, какъ нынѣшняя, этого я не знаю. Столь умѣстная въ свое время идиллія «Чтенія Положенія 19-го февраля» быть можетъ показала-бы въ настоящее время запоздалую и неискреннюю слащавость. И не только это «Чтеніе», а еще и многое другое въ томъ-же родѣ. Нынѣшняя выставка производитъ грустное впечатлѣніе, но оно не неприятно, потому что выставка въ цѣломъ правдива: она отражаетъ оскуднѣніе общественной жизни. При этомъ и обиліе пейзажей способствуетъ тому-же общему впечатлѣнію.

Какъ всякій профанъ въ искусствѣ, интересующійся людскими дѣлами и отношеніями, я, откровенно признаюсь, никогда не понималъ значенія пейзажа, гдѣ люди или совсѣмъ отсутствуютъ, или такъ только, въ качествѣ аксесуара фигурируютъ, а при случаѣ могутъ быть замѣнены летающей галкой или пасущейся коровой: хорошо, очень хорошо,

но и только. Нынѣшняя выставка, благодаря своему общему характеру и нѣкоторымъ своимъ характернымъ подробностямъ, уяснила мнѣ значеніе пейзажа, именно какъ символа единенія, одиночества и, слѣдовательно, отсутствія общественныхъ интересовъ. Безъ сомнѣнія всегда были, есть и будутъ такіе художники и такіе зрители, которые чувтъ и цѣнятъ красоту пейзажа ради нея самой, безъ всякаго отношенія къ какимъ-бы то ни было другимъ мотивамъ. Г. Шинкинъ, напр., можно сказать, не выходитъ изъ сосноваго лѣса самъ и не выводитъ изъ него своихъ многочисленныхъ поклонниковъ, любуясь и другихъ заставляя любоваться отвлеченно-художественной красотой пейзажа. Но ни его картины, ни картины другихъ спеціалистовъ пейзажа, какъ такового, не могутъ разрушить во мнѣ слѣдующую комбинацію впечатлѣній, полученныхъ на выставкѣ-же. Я спрашиваю себя: вотъ этотъ очевидно даровитый, душой либко живущій «будущій иннокъ» г. Богданова-Бѣльскаго, за красотой-ли онъ пойдетъ въ натуральный пейзажъ лѣсовъ и пустынь? Или этотъ, гораздо менѣе одаренный отрокъ Варѳоломей? Или еще—зачѣмъ ушелъ въ пейзажъ благообразный молодой человекъ г. Мясоѣдова? Конечно, затѣмъ, чтобы спасти свою душу и молиться о грѣхахъ міра. Красота пейзажа тутъ не причемъ, хотя можетъ быть они и воспримутъ ее попутно и будутъ, подобно щедринскому Именичу, находить, что «въ лѣсочкахъ прохладныхъ—столько становится для тебя радостно и незаботно, что даже плакать можно». Но если ясна цѣль ихъ удаленія отъ міра, то не менѣе ясна и причина этого удаленія: они не нашли въ мірѣ ничего такого цѣннаго, къ чему могли-бы прилѣпиться душой, никакого союза, который оправдываль-бы съ ихъ точки зрѣнія Аристотелево опредѣленіе человѣка: животное общественное. Вотъ почему промѣняли они жизнь въ мірѣ на жизнь въ пейзажѣ. И я спрашиваю себя далѣе: не отъ той-же-ли самой причины зависятъ и обиліе пейзажей на нынѣшней передвижной выставкѣ? При этомъ я не забываю ни г. Шинкина, который всегда жилъ въ сосновомъ лѣсу, ни гораздо болѣе разнообразнаго, но все-таки спеціалиста-пейзажиста г. Волкова, ни другихъ. Я говорю о впечатлѣніи, производимомъ выставкой въ цѣломъ. Прежде пейзажи, если можно такъ выразиться, не выпячивались впередъ. Рядомъ съ ними болѣе или менѣе кинѣла человѣческая, общественная жизнь въ будничныхъ бытовыхъ сцѣпахъ, въ исторической живописи, въ портретахъ общественныхъ дѣятелей, въ живописныхъ комментаріяхъ къ памятникамъ литературы. Теперь все это или совсѣмъ отсутствуетъ, или умалилось количественно и качественно, или сведено къ той темѣ единенія, одиночества, которая такъ родственна пейзажу.

Я назвалъ перломъ выставки «Будущаго иннока» г. Богданова-Бѣльскаго, художника, впервые выступающаго на передвижной выставкѣ. Говорю, какъ профанъ, но да не покажется это сужденіе уже слишкомъ профанскимъ. Я очень понимаю, что нельзя сравнивать разные роды

живописи и нельзя сказать, что лучше: «Будущий инокъ» г. Богданова-Бѣльскаго, портретъ баронессы Искуль г. Рѣпина или «Сырое утро» г. Волкова. Какъ художественныя произведенія, всѣ три вещи равно прекрасны, и можетъ быть даже слово «равно» здѣсь не умѣстно, потому что оно все-таки намекаетъ на попытку сравненія вещей не-соизмѣримыхъ. Но если представитель чисто художественной критики долженъ чувствовать себя въ данномъ случаѣ въ положеніи Париса передъ тремя богинями, то для меня это затрудненіе рѣшительно не существуетъ. Къ необыкновенной законченности и вмѣстѣ простотѣ художественнаго замысла и къ блеску исполненія, которыми отличаются всѣ три произведенія, въ картинѣ г. Богданова-Бѣльскаго прибавляется еще нѣчто, чего нѣтъ и по самому существу дѣла не можетъ быть ни въ превосходномъ портретѣ, выставленномъ г. Рѣпинымъ, ни въ превосходномъ пейзажѣ г. Волкова. Мало того: это нѣчто даетъ мнѣ ключъ къ значенію и характеру всей нынѣшней выставки и въ частности объясняетъ, чего и почему не достаетъ въ портретѣ г. Рѣпина и въ пейзажѣ г. Волкова, и почему, однако, вмѣстѣ съ тѣмъ хорошо, умѣстно, что имъ чего-то недостаетъ. Имъ недостаетъ общественнаго интереса, и это было-бы очень печально, еслибы можно было думать, что интересъ этотъ оскудѣлъ въ самихъ художникахъ. Но чудный, истинно чудный мальчикъ г. Богданова-Бѣльскаго свидѣтельствуетъ, что этотъ интересъ оскудѣлъ въ самой жизни, ибо и онъ, вдумчивый и пылкій, передъ кѣмъ вся жизнь впереди, мечтаетъ объ иночествѣ, одиночествѣ. Для меня это было центральнымъ впечатлѣніемъ, вѣрнѣе, стало такимъ, когда, посѣтивъ выставку во второй разъ, я попытался сгруппировать разрозненныя впечатлѣнія. Около «Будущаго инока», какъ около центра, располагается все вышеприведенное: сначала отрокъ Варооломей г. Нестерова и «Вдали отъ міра» г. Мясоѣдова, потомъ цѣлый рядъ одинокихъ—отъ Ифигеніи г. Васнецова до «Барышни» г. Клодта, потомъ намеки на одиночество въ картинахъ гг. Иванова, Савицкаго, Матвѣева, потомъ цѣлыя группы людей, не складывающихся въ общество, потомъ пейзажи, потомъ отрицательныя черты, въ родѣ отуствствія исторической живописи и портретовъ общественныхъ дѣятелей.

Остается еще сказать о картинѣ г. Ге «Что есть истина?», возбуждающей особенно много толковъ. Ее или непомѣрно хвалить, или непомѣрно бранять. Одновременность этихъ двухъ непомѣрностей свидѣтельствуетъ, что картина во всякомъ случаѣ замѣчательна. И дѣйствительно, это большое и смѣлое произведеніе, хотя я долженъ признаться, что для меня она не совсѣмъ ясна. Я именно потому и поставилъ ее отдѣльно отъ прочихъ, что не умѣю ее вдвинуть въ то общее впечатлѣніе, которое вынесъ съ выставки. Можетъ быть я и ошибаюсь, конечно, но, по-моему, выставка въ цѣломъ правдиво отражаетъ оскудѣніе нашей общественной жизни, и великое ей спасибо за эту правди-

вость. Но роль искусства можетъ не ограничиваться такимъ выясненіемъ дѣйствительности, какъ она есть. Искусство можетъ занять руководящее положеніе и кажется мнѣ, что, по замыслу, картина г. Ге принадлежитъ къ такимъ руководящимъ произведеніямъ; по замыслу но, къ сожалѣнію, не по исполненію. Впрочемъ, тутъ есть смягчающія обстоятельства. Картина изображаетъ Христа передъ Пилатомъ. Ихъ только двое на большомъ полотнѣ. Христосъ стоитъ со связанными назади руками. Передъ тѣмъ, какъ повѣстуетъ евангеліе, «воины и тысяченачальники и служители іудейскіе взяли Иисуса и связали Его»; у первосвященника одинъ изъ служителей ударилъ Его по щекѣ, Его всю ночь ввели отъ одного начальства къ другому и наконецъ привели уже утромъ къ Пилату. Въ концѣ короткаго и отнюдь не строгаго допроса, когда Христосъ сказалъ, что онъ «на то пришелъ въ міръ, чтобы свидѣтельствовать объ истинѣ», Пилатъ сказалъ ему: «что есть истина? И, сказавъ сіе, опять вышелъ къ іудеямъ и сказалъ имъ: я никакой вины не нахожу въ немъ». Сцену эту г. Ге поваялъ совершенно оригинально и притомъ очель вѣрно. Пилатъ, добродушный, скептическій и мало интересующійся іудейскими дѣлами римлянинъ съ жирнымъ лицомъ и жирной шеей, по съ изнѣженными, худыми, почти женскими руками, задаетъ свой вопросъ совсѣмъ не за тѣмъ, чтобы получить отвѣтъ. Это даже не вопросъ, потому-что, задавъ его, Пилатъ сейчасъ же уходитъ; онъ и стоитъ на картинѣ г. Ге въ полоборота къ выходнымъ дверямъ. Онъ говоритъ: «что есть истина?», добродушно-скептически улыбаясь, съ нѣкоторымъ насмѣшливымъ презрѣніемъ можетъ быть къ этому измученному человѣку, оборванному и нечесанному, которому, дескать, совсѣмъ не къ лицу заниматься вопросомъ объ истинѣ, а можетъ быть и къ самому этому вопросу. Я не помню, чтобы кто-нибудь на полотнѣ или въ печати такъ трактовалъ вопросъ Пилата, и всѣ обычныя наши представленія объ этомъ моментѣ сводятся къ тому, что Пилатъ задалъ свой вопросъ глубокомысленно, философически. Но когда помотришь на картину г. Ге, то поймешь, что это представленіе отнюдь не вяжется съ образомъ Пилата, какъ онъ рисуется всеѣмъ евангельскимъ повѣствованіемъ. Онъ долженъ былъ именно такъ, на-ходу, съ насмѣшкой бросить свое «что есть истина?» Но къ этому новому, необычному пониманію не сразу привыкаешь, такъ-что нѣкоторое время стоишь передъ Пилатомъ въ недоумѣніи. Притомъ-же Пилатъ написанъ, повидимому, въ расчетѣ, что на него надо смотрѣть съ довольно отдаленнаго разстоянія, а пынѣшнее помѣщеніе выставки очень тѣсно и на картину приходится смотрѣть очень близко. Вся фигура Пилата въ бѣлой тогѣ облита яркой полосой свѣта, не задѣвающей Христа, который стоитъ въ полутѣни. При этомъ слишкомъ ослѣпительномъ свѣтѣ и на близкомъ разстояніи, напримѣръ, складка на шеѣ Пилата кажется какимъ-то невозможнымъ рубцомъ, а волосы на затылкѣ невозможно крас-

ными. Все это разбиваетъ впечатлѣніе и затемняетъ достоинство оригинальнаго замысла. Иисусъ, напротивъ, написанъ превосходно, но я не понимаю, почему это Иисусъ. Дѣло не въ излишнемъ реализмѣ, за который и прежде укоряли г. Ге, а теперь укоряють и будутъ укорять еще больше. Понятно, что у страдальца, измученнаго, избитаго, не можетъ быть той тщательной прически à la Iesus, какую ему придаютъ иногда даже незаурядные художники. Пусть Христосъ будетъ изображенъ еще реальнѣе, если это возможно, но если г. Ге сближается на евангеліе (Іоан. XVIII, 38), то я, естественно, хочу видѣть въ Христѣ Христа, то есть тѣ черты, которыя ему усвоиваетъ евангеліе. За Христомъ шли ученики, толпы народа, а въ Христѣ г. Ге нѣтъ ничего отъ вождя. Христосъ былъ проповѣдникомъ любви, кротости, всепрощенія, — я не вижу этихъ чертъ на картинѣ г. Ге. Можетъ быть, въ лицѣ Иисуса надо читать презрѣніе къ этому веселому и легкомысленному Пилату, и тогда мы имѣемъ столкновение двухъ презрѣній, но я отнюдь въ этомъ не убѣжденъ. Можетъ быть, въ остромъ, я бы сказалъ, ключемъ, сосредоточенномъ почти до отсутствія мысли взглядѣ Христа, въ его сжатыхъ губахъ, въ его спокойной позѣ выражается готовность страдать и умереть за правое дѣло; такая готовность, что не объ чемъ и думать. Я не знаю.

О Крейцеровой сонатѣ.

Мнѣ пришлось недавно слышать слѣдующій разговоръ. Нѣкоторое благотворительное учрежденіе пожелало дать въ пользу своихъ благотворимыхъ концертъ. Дама, взявшая на себя это дѣло, бесѣдовала съ профессиональнымъ комиссіонеромъ по части устройства концертныхъ. Она предоставляла ему, какъ опытному и свѣдущему человѣку, всю организацію концерта, выборъ пьесъ и исполнителей, съ тѣмъ, однако, условіемъ, чтобы непременно была сыграна Крейцера соната и чтобы названіе это было напечатано на афишѣ особо крупными буквами. Нѣмецъ-комиссіонеръ выразилъ полную готовность исполнить порученіе; aber, gnädige Frau, прибавилъ онъ, почтительно-скептически улыбаясь, я не думаю, чтобы Крейцера соната привлекла особенно много публики и не совѣмъ понимаю, зачѣмъ вы хотите печатать на афишѣ ея заглавіе крупнымъ шрифтомъ. Дама разъяснила нѣмцу, что его сомнѣнія сами по себѣ совершенно основательны, но что der berühmte russische Schriftsteller Graf Tolstoi написалъ повѣсть подъ названіемъ «Крейцера соната», о которой такъ много говорятъ, что соната навѣрное сдѣлаетъ сборъ. Нѣмецъ, очевидно вполне беззаботный насчетъ русской литературы, сказалъ, что это дѣло другое. Я не знаю, состоялась-ли эта спекуляція и имѣла-ли успѣхъ, если состоялась. Но говорятъ, что Крейцера соната, т. е. собственно соната Бетховена, посвященная Крейцеру, усиленно покупается въ Петербургѣ, и это на первыхъ порахъ немало изумляло торговцевъ нотами.

Такова магическая сила таланта и даже можетъ быть одного имени гр. Толстого. Его «Крейцера соната», еще не напечатанная, ходитъ по рукамъ въ многочисленныхъ спискахъ, усердно читается, вызываетъ нескончаемые толки и споры и неожиданнымъ образомъ отражается даже на торговлѣ нотами. Это въ самомъ дѣлѣ неожиданно. Хотя рассказъ

гр. Толстого и озаглавленъ «Крейцера соната», но самая соната отнюдь не играетъ въ немъ, такъ-сказать, заглавной роли. Два человѣка, мужчина и женщина, онъ на скрипкѣ, она на рояли, играли вмѣстѣ, въ числѣ другихъ пьесъ, Крейцерову сонату, и послѣ этого случилось нѣчто такое, что, по самому ходу всего дѣла и по прямымъ указаніямъ разсказа, непременно должно было рано или поздно случиться, хотя-бы Крейцеровой сонаты и въ поминѣ не было. Если-же и признать, что Крейцера соната дала, хотя-бы только случайно, толчокъ событіямъ, разсказаннымъ въ повѣсти, то изъ этого обстоятельства отнюдь все-таки не слѣдуетъ, чтобы надо было сеічасъ-же бѣжать въ магазинъ за нотами. Даже совсѣмъ напротивъ. Въ разсказѣ есть, правда, очень любопытное и остроумное разсужденіе о музыкѣ вообще и о Крейцеровой сонатѣ въ частности, но практическая, учительная сторона этого разсужденія сводится къ тому, что такія вещи слѣдуетъ играть только при особенныхъ, значительныхъ обстоятельствахъ, а отнюдь не при обыкновенныхъ условіяхъ салоннаго и концертнаго исполненія. И если послѣ этого любители и любительницы музыки стали осаждать музыкальные магазины требованіями Крейцеровой сонаты, то это представляется мнѣ не только неожиданнымъ, а даже какъ будто немножко обиднымъ для нашего знаменитаго писателя. И во всякомъ случаѣ это свидѣтельствуешь, мнѣ кажется, по крайней мѣрѣ о томъ, что интересъ читателей къ произведеніямъ гр. Толстого далеко превосходитъ ихъ желаніе слѣдовать его совѣтамъ или указаніямъ. Ни для кого, впрочемъ, не тайна, что читателей у гр. Толстаго несравненно больше, чѣмъ послѣдователей.

Трудно писать о произведеніи, котораго нѣтъ у читателей подъ руками и которое, можетъ быть, претерпѣть еще какія-нибудь, хотя, конечно, только второстепенныя измѣненія въ печати. Тѣмъ не менѣе «Крейцера соната», какъ и нѣкоторыя прежнія произведенія гр. Толстого, стала уже до напечатанія общественнымъ достояніемъ. О пей говорятъ, спорятъ и въ нѣкоторыхъ газетахъ появились уже отчеты о пей: дескать, мы присутствовали при чтеніи «Крейцеровой сонаты» и вотъ что по этому случаю думаемъ. Я тоже присутствовалъ, тоже думалъ и тоже хочу разсказать, что я думалъ. Полагаю, что имѣю на это право, потому что лишить меня его могъ-бы только самъ гр. Толстой, а онъ никогда не протестовалъ противъ печатнаго обсужденія его произведеній до ихъ напечатанія, какъ не протестуетъ и противъ появленія ихъ въ спискахъ. Конечно, это не будетъ критическая статья, а только отчетъ о впечатлѣніи.

Разсказъ ведется въ «Крейцеровой сонатѣ» отъ имени нѣкоего Позднышева, убившаго свою жену въ припадкѣ ревности и оправданнаго судомъ въ виду того душевнаго состоянія, въ которомъ онъ находился въ моментъ убійства, и вообще въ виду обстоятельствъ дѣла. Поздны-

шевь не только рассказывает факты, а и развивает известные взгляды на положеніе женщинъ, бракъ, семейную жизнь. Нѣкоторые изъ этихъ взглядовъ напоминаютъ взгляды самого гр. Толстого, имъ раньше высказанные. То-же нужно сказать и о манерѣ изложенія Позднышева. Такъ, напримѣръ, гр. Толстой часто прибѣгаетъ въ своихъ теоретическихъ статьяхъ къ довольно произвольнымъ, но имѣющимъ видъ математической точности показаніямъ такого рода: 99⁰/₁₀₀ человечества думаютъ такъ-то или такъ-то, 0,01 такого-то расхода удовлетворила-бы такую-то общественную потребность, и т. п. Позднышевъ употребляетъ этотъ пріемъ quasi-математическаго расчета постоянно. Изъ этого не слѣдуетъ, однако, чтобы мы имѣли право такъ-таки прямо все мысли и чувства Позднышева приписывать гр. Толстому, хотя-бы уже потому, что въдъ Позднышевъ убилъ жену и говорить, все время потрясаемый этимъ воспоминаніемъ. Трудно, конечно, будетъ убѣдить публику, что Позднышевъ самъ по себѣ, а гр. Толстой тоже совсѣмъ самъ по себѣ. И въ этомъ, кромѣ нѣкотораго совпаденія мнѣній и пріемовъ, въ значительной степени виновата самая архитектура разсказа. По-неволѣ думается, что если-бы авторъ имѣлъ въ виду только нарисовать художественный образъ Позднышева, не принимая на себя никакой отвѣтственности за его взгляды и теоріи, то онъ не далъ-бы ему такъ много говорить объ этихъ своихъ теоріяхъ и взглядахъ. Люди случайно, въ первый и, можетъ быть, въ послѣдній разъ въ жизни сталкиваются на желѣзной дорогѣ и одинъ изъ нихъ, Позднышевъ, рассказываетъ другому всю свою жизнь; рассказываетъ пространно, подробно, съ разными экскурсіями въ область общественной и нравственной философіи. Конечно, это не художественный пріемъ, и если къ нему прибѣгаетъ не какой-нибудь новичокъ или слабый талантъ, а такой мастеръ, какъ гр. Толстой, то позволительно думать, что художественность для него послѣднее дѣло, а на первомъ мѣстѣ стоитъ публицистика. Съ другой стороны, однако, нельзя-же усвоивать гр. Толстому все мнѣнія человѣка, находящагося въ такомъ исключительномъ положеніи, какъ Позднышевъ. Въдъ Позднышевъ убійца и, по собственному своему показанію, развратникъ! Можно жалѣть, что гр. Толстой поставилъ насъ, читателей, въ такое нерѣшительное, двусмысленное положеніе, но лучше все-таки, во избѣжаніе вящихъ недоразумѣній, видѣть въ исповѣди Позднышева именно только его исповѣдь, а гр. Толстому не вмѣнять ее ни въ заслугу, ни въ порицаніе. «Крейцера соната» есть во всякомъ случаѣ художественное произведеніе, а Позднышевъ — художественный образъ. Въ какой мѣрѣ авторъ вложилъ ему въ уста свои собственные убѣжденія и въ какой мѣрѣ эти убѣжденія видоизмѣняются тѣмъ особеннымъ положеніемъ, въ которое Позднышевъ поставленъ фабулой повѣсти, объ этомъ можно только догадываться. А съ догадками такъ легко попасть впросакъ, что лучше и не покушаться на нихъ. Бу-

демъ смотрѣть на «Крейцерову сонату» не какъ на замаскированную публицистику, хотя это и соблазнительно, а исключительно какъ на художественное произведение.

Оно-же и пріятно. Мы такъ давно уже ждемъ, чтобы гр. Толстой отдохнулъ отъ публицистики и вновь возвратился къ тому поприщу, на которомъ онъ во-истину великій мастеръ. Очевидно, творческая сила не изсякла въ нашемъ несравненномъ художникѣ и требуетъ себя работы. Можетъ быть, «Крейцера соната» есть задатокъ возрожденія художественной дѣятельности, чѣмъ и объясняется ее двойственный, какъ-бы переходный характеръ. Можетъ быть, намъ предстоитъ получить отъ автора «Войны и мира» еще много истинно прекрасныхъ произведеній. Будемъ вѣрить и ждать. Тургеневъ, умирая, писалъ гр. Толстому: «Выздоровѣть я не могу, и думать объ этомъ нечего. Пишу-же я вамъ собственно, чтобы сказать вамъ, какъ я былъ радъ быть вашимъ современникомъ, и чтобы выразить вамъ мою послѣднюю, некрешнюю просьбу. Другъ мой, вернитесь къ литературной дѣятельности! Вѣдь этотъ даръ вашъ оттуда, откуда все другое. Ахъ, какъ я былъ-бы счастливъ, если-бы могъ подумать, что просьба моя такъ на васъ подѣйствуетъ!.. Другъ мой, великій писатель русской земли.—внемлите моей просьбѣ!» Эти предсмертные строки, послѣднія, написанныя Тургеневымъ, при всей своей исключительной трогательности, выражаютъ задушевную мысль огромнаго большинства русскихъ писателей.

«Крейцера соната» начинается маленькой прелюдіей. Двумя-тремя штрихами намѣчаются необыкновенно живые портреты нѣсколькихъ человѣкъ, бѣдующихъ по желѣзной дорогѣ въ одномъ вагонѣ. Тутъ есть адвокатъ, старый купецъ, молодой приказчикъ, дама, что называется, изъ образованныхъ и какой-то нервный человѣкъ, который оказывается потомъ Позднышевымъ. Въ интересахъ нижеслѣдующаго, мы остановимся на минуту на фигурѣ стараго купца. Онъ рассказываетъ приказчику про свои кутежи на Нижегородской ярмаркѣ, а потомъ, когда, уже въ присутствіи дамы, завязывается общій разговоръ о любви, бракѣ, разводѣ и т. п., выражаетъ самыя суровыя мнѣнія, что, дескать, жена должна быть непреоборимо вѣрна своему супружескому долгу и что ее надо держать въ страхѣ. «А самимъ въ Бунавинѣ съ красотками бутьить можно?»—спрашиваетъ адвокатъ. Купецъ строго отвѣчаетъ:—«это статья особая». Тотчасъ послѣ этой краткой отвѣди онъ выходитъ изъ вагона, и приказчикъ выражается о немъ такъ: «стараго завѣта панаша», а дама находитъ, что онъ «живой Домострой». И вслѣдъ за тѣмъ ввязывается въ разговоръ Позднышевъ.

Вся сцена въ вагонѣ очень мила и характерна, но дѣло не въ ней, конечно, не въ этой, сдѣланной рукой мастера мелочи. Захватывающій интересъ повѣсти развертывается постепенно, вмѣстѣ съ рассказомъ Позднышева. Почему-то Позднышевъ пожелалъ рассказать всю свою

исторію совершенно незнакому челоѣку и рассказываетъ ее втеченіе двухъ-трехъ часовъ подъ-рядъ, прерываемый лишь короткими, въ нѣсколько словъ, репликами автора. Но разъ вы примирились съ этою наглядною несообразностью, — а отчего-бы съ ней не примириться? — вы попадаете во власть нѣкотораго «мага и волшебника». Сначала вы немножко и даже, можетъ быть, не немножко досадуете на ту смѣсь правды и вздора, которая господствуетъ въ теоретическихъ взглядахъ Позднышева, но затѣмъ, подчиняясь силѣ художественнаго творчества, вы съ неустанно растущимъ интересомъ слѣдите за развертывающеюся передъ вами драмою и подъ конецъ почти забываете свою первоначальную досаду. Все, — и правда, и вздоръ, — укладывается на свое мѣсто въ художественномъ образѣ Позднышева и получается нѣчто дѣльное и яркое. Такъ, такъ, вѣрно, — говорите вы себѣ: Позднышевъ именно такъ долженъ былъ дѣйствовать и разсуждать.

Позднышевъ — убійца. Но это случайность, которой въ его жизни могло и не быть, ибо онъ вовсе не кровожадный челоѣкъ. Но онъ развратникъ, и въ этомъ состоитъ его коренная, всеопредѣляющая черта. Онъ прямо самъ себя такъ называетъ, и такимъ именно является онъ въ воспроизведеніи гр. Толстого. Едва-ли найдется въ нашей литературѣ такое тонкое и глубокое изображеніе одного изъ типовъ развратной души, какое дано «Крейцеровой сонатой». Это не значить, чтобы Позднышевъ совершалъ поступки во вкусѣ французскихъ порнографовъ. Напротивъ, въ вульгарномъ смыслѣ слова онъ, пожалуй, и не очень развратенъ. Но развратникъ, настоящій развратникъ еще не тотъ, кто живетъ развратно, то-есть совершаетъ развратные поступки; или по крайней мѣрѣ есть иной, высшій, въ превосходной степени развратъ. Настоящій развратникъ тотъ, кто душу свою въ развратъ кладетъ, и это можетъ быть сдѣлано въ разныхъ формахъ. Нѣкоторыя изъ нихъ, болѣзненно рѣзкія, намѣтилъ мрачный гений Достоевскаго. Форма развратной души (если можно такъ выразиться), выбранная гр. Толстымъ для Позднышева, гораздо мягче, трезвѣе; поэтому и въ рѣчахъ и поступкахъ его не сплошная извращенность, какъ у какого-нибудь Федора Карамазова, а есть, напротивъ, много правды, много такого, съ чѣмъ долженъ согласиться даже самый чистый челоѣкъ. Безусловно справедливы, напримѣръ, сѣтованія Позднышева о тѣхъ развращающихъ условіяхъ, при которыхъ въ нашемъ бытѣ, въ большинствѣ случаевъ, происходитъ первое сближеніе молодого челоѣка съ женщиной. Столь-же справедливы его негодующія указанія на ту сторону положенія нынѣшней дѣвушки, которая дѣлаетъ изъ нея чуть-что не рабу, выводимую на рынокъ для продажи, или по крайней мѣрѣ ловительницу жениховъ. Вообще много вѣрнаго, остроумнаго, справедливаго, а поскольку Позднышевъ рассказываетъ свою личную судьбу, то и высоко-художественнаго.

Позднышевъ никогда не знаетъ любви въ челоѣческомъ, гуманномъ

и гуманизирующемъ смыслѣ этого слова. До брака онъ сблизился съ женщинами за деньги, женился, собственно говоря, не любя, а просто подвернулась молодая, красивая, съ красивыми локонами и въ ловко обтянутомъ платьѣ ловительница жениховъ. Она была вовсе не дурная женщина и не то, чтобы сознательно ловила жениха, а такъ ужъ ея жизнь сложилась въ этомъ единственно возможномъ для нея направленіи. Любви она тоже не знала. Такъ называемый медовый мѣсяцъ они провели необыкновенно скучно, — имъ на другой-же день послѣ свадьбы оказалось буквально не о чемъ говорить. — Жизнь пошла своимъ чередомъ. Онъ занимался своимъ дѣломъ (земецъ онъ былъ), она — своимъ хозяйствомъ, потомъ дѣтьми. Они все оставались чужими другъ другу и даже презирали: онъ — ея занятія, она — его дѣло. Ссоры, бурныя сцены, повидимому, безпричинныя, но неизмѣнно слѣдовавшія за пароксизмами того, что они называли любовью, то-есть за взрывами животнаго чувства. Затѣмъ ревность, опять-таки, повидимому, безпричинная, неосновательная. Тутъ подвернулся смазливый скрипачъ, который сыгралъ съ женой Позднышева Крейцерову сонату, а впрочемъ, и другія музыкальныя пьесы. Ревность въ Позднышевѣ заклокотала еще пуще и въ одинъ изъ припадковъ ея онъ убилъ жену.

Сцена убійства, предшествовавшія ей обстоятельства, сцены ревности и безпричинныхъ ссоръ разсказаны такъ, какъ это можетъ сдѣлать только гр. Толстой. Что-же касается Позднышева, то, независимо отъ художественности разсказа, вложеннаго въ его уста авторомъ, онъ хорошо понимаетъ истинную причину своихъ несчастій. Вся бѣда въ томъ, что его и жену связывало исключительно одно только животное чувство. Всѣ перипетіи драмы, за которою увлеченный художникомъ читатель слѣдитъ съ такимъ напряженнымъ вниманіемъ, вытекаютъ изъ этого основного, простого и, увы! столь обыкновеннаго факта. Понятно, что если между людьми нѣтъ иной связи, кромѣ животной, такъ имъ и на другой день послѣ свадьбы говорить не о чемъ. Понятно или по крайней мѣрѣ становится понятнымъ по прочтеніи «Крейцеровой сонаты», что, послѣ утоленія чувственности, люди совершенно другъ другу чужіе, другъ-друга непонимающіе и даже презирающіе и, однако, чѣмъ-то неразрывно связанные, должны враждовать между собою даже безъ видимыхъ причинъ. По выраженію Позднышева, это взаимное озлобленіе есть протестъ человѣческой природы противъ животнаго, которое подавляетъ ее. Понятна и фактически неосновательная ревность: люди, цѣлнвшіе другъ въ другъ только одно животное наслажденіе, знаютъ, что ни для той, ни для другой стороны нѣтъ никакихъ причинъ воздержаться отъ этого наслажденія и при иной обстановкѣ, и точно также безъ всякаго одухотворенія. Все это, повторяю, Позднышевъ отлично понимаетъ и если-бы этимъ ограничивалась его исповѣдь, то мы имѣли бы не только выдающееся художественное произведеніе, а и глубоко вѣр-

ное поученіе, само собою вытекающее изъ сопоставленія фактовъ и въ нихъ, въ этихъ фактахъ имѣющее свои ясно обозначенные предѣлы.

Позднышевъ не знаетъ этихъ предѣловъ, потому что онъ развратникъ, настоящій развратникъ, то есть человѣкъ, не столько живущій развратно, сколько душу свою въ развратъ положившій. Правда, онъ тяготился своими семейными отношеніями и воспоминаеть о нихъ съ отвращеніемъ, справедливо видя въ нихъ развратъ, хотя и происходящій на законно-брачной почвѣ. Но мысль его до такой степени плѣнена этими развратными отношеніями, что иного порядка вещей онъ себѣ и представить не можетъ. Такъ, напримѣръ, ему кажется, что Крейцера соната и вообще музыка, сблизивъ его жену со скрипачемъ, играла извѣстную роль въ его несчастіи. Допустимъ, что это такъ. Но Позднышевъ по этому случаю воспоминаеть, что «въ Китаѣ музыка— государственное дѣло и это такъ и должно быть», потому что музыка гипнотизируетъ людей и отдаеть ихъ во власть музыканта. Развѣ, говоритъ онъ, можно играть Крейцерову сонату въ салонѣ при декольтированныхъ дамахъ? Замѣьте, что Позднышевъ, повидимому, настояще любить музыку, и однако, судя по своей развратной душѣ, видитъ опасность въ сопоставленіи музыки и дамскаго декольте и готовъ даже призвать государство на защиту добрыхъ нравовъ: самъ онъ безсиленъ противъ соблазна и полагаетъ всёхъ прочихъ людей таковыми-же. Позднышевъ чрезвычайно презрительно относится къ жепскому образованію,—«гимназіямъ, акушерству, медицинскимъ и высшимъ курсамъ». По его мнѣнію, «всякія, какія-бы то ни было, женскія воспитанія имѣють въ виду только плѣненіе мужчинъ. Однѣ плѣвуютъ музыкой и локонами, а другія—ученостью и гражданскою доблестью. Цѣль-то одна и не можетъ быть не одна, потому что другой нѣтъ, цѣль прельстить мужчину, чтобы овладѣть имъ». Всякій, я думаю, знаетъ или по крайней мѣрѣ легко можетъ себѣ представить случаи, когда дѣвушка принимается учиться именно за тѣмъ, чтобы имѣть свой кусокъ хлѣба и не быть вынужденной ловить жениховъ. Далѣе всякій понимаетъ, что знаніе, образованность сами по себѣ достаточно привлекательны, чтобы служить цѣлью, даже безъ всякихъ утилитарныхъ соображеній. Въ самомъ дѣлѣ, это вѣдь, кажется, не Богъ знаетъ какая идеализація человѣческой природы вообще и женской—въ частности. Но Позднышевъ не можетъ и до такой нехитрой штуки возвыситься, его развратная душа вездѣ видитъ только свое собственное отраженіе: знаемъ, дескать, мы эти курсы да акушерства! Курсы, курсы, а сама вонъ куда глядять...

Самъ Позднышевъ, дѣйствительно, всю свою жизнь вонъ куда глядять. Эта складка такимъ страшно тяжелымъ горемъ отозвалась на его личной судьбѣ и столько мученій доставила ему еще до катастрофы, что онъ не можетъ не проклинать ее. Но вмѣстѣ съ тѣмъ она пустила въ немъ такіе глубокіе корни, что иначе, какъ подъ ея руководствомъ,

онъ не можетъ смотрѣть на весь Божій міръ. Положеніе трагическое, безвыходное. И не мудрено, что разрываемый проникающимъ его душу внутреннимъ противорѣчіемъ, Позднышевъ совѣмъ запутывается въ мысляхъ своихъ. Онъ утверждаетъ наконецъ, что плотская любовь «нечестива». Легко, конечно, этакую нитку сказать, но и помыслить, кажется, нельзя подтвердить ее доказательствами. Однако, Позднышевъ подтверждаетъ. Во-первыхъ, «вѣдь не даромъ-же природа едѣла то, что это мерзко и стыдно; а если мерзко и стыдно, то такъ и надо понимать». Крайняя спутанность мысли бросается здѣсь въ глаза, потому что кто-же, какъ не та-же природа, устроило «это»? а значить, это естественно, а если естественно, то такъ и понимать надо. Но у Позднышева есть и еще доказательство, фактическое. У него была сестра, которая еще очень молодой дѣвушкой вышла замужъ «за человѣка вдвое старше ея и развратника». Въ ночь послѣ свадьбы молодая убѣжала отъ него блѣдная въ слезахъ... Отсюда Позднышевъ заключаетъ, что «это» неестественно. Но всякій, у кого логическая способность не отуманена, какъ у Позднышева, долженъ вывести изъ этого эпизода только то заключеніе, что не годится молодымъ дѣвушкамъ выходить за старыхъ развратниковъ.

Убѣдившись этими странными доказательствами, что плотская любовь не естественна, Позднышевъ дѣлаетъ такое заключеніе: «И это убѣдилъ я, непорченный, развращенный человѣкъ; что-же-бы было, если-бы я не былъ развращенный человѣкъ?» Странный вопросъ! что-бы было? да то и было-бы, что ничего разказаннаго въ «Крейцеровой сонатѣ» не было бы. По чрезвычайно точному и вѣрному опредѣленію Позднышева, развратъ въ дѣлѣ любви состоитъ въ «освобожденіи себя отъ нравственныхъ отношеній къ женщинѣ, съ которою входимъ въ физическое общеніе». Надо-бы только распространить это опредѣленіе и на отношенія женщины къ мужчинѣ. И затѣмъ является вопросъ: можно или нельзя, входя въ физическое общеніе, не освобождать себя отъ нравственныхъ отношеній? Неразвращенный человѣкъ, полагая, скажетъ: можно. Позднышевъ, какъ человѣкъ развратный, говоритъ: нельзя. И, по спутанности своихъ мыслей, предлагаетъ другую невозможность, — отказаться отъ плотской любви совѣмъ. Онъ не отступаетъ при этомъ и отъ прекращенія рода человѣческаго: эка, говорить, гука,—пу и пусть прекратится, лишь-бы не было тѣхъ мученій и частей, которые онъ, Позднышевъ, отъ своей развращенности предпочлъ. Обжогшись на своемъ молокѣ, Позднышевъ на чужую воду съ, да еще на какую воду-то,—на цѣлый океанъ. Предпріятіе это нѣтъ безумно, и Позднышевъ самъ долженъ понимать, что это праздное. Кто-то сказалъ, что мы не до такой степени нравственны и не такой степени безнравственны, чтобы ходить нагишомъ. Положимъ, многія причины заставляютъ насъ носить платье, но пусть даже

всѣ опѣ сводятся къ нашей безирравственности. Изъ этого все-таки нельзя вывести заключеніе, что нехорошо или даже неестественно имѣть тѣло, которое мы прикрываемъ платьемъ. Какъ такъ неестественно, когда это наша природа, наше естество? Природа, видите-ли, неестественна, а г. Позднышевъ, самъ себя справедливо называющій развратникомъ, будетъ учить природу естественности! Если-бы Позднышевъ не былъ настоящимъ, глубокимъ развратникомъ, онъ поставилъ-бы свой печальный личный опытъ въ извѣстные предѣлы и сказалъ-бы: мнѣ и моеи женѣ не удалось испытать настоящей любви, мы знали только голую, обнаженную животную любовь: излеките-же изъ нашей судьбы урокъ, старайтесь, всемѣрно старайтесь не о томъ, чтобы въ корень подкопать естественное чувство животной любви,—это невозможно и не нужно.—а о томъ, чтобы любовь не оставалась на этой низшей ступени, чтобы она не оставалась голою; старайтесь, чтобы мужчины и женщины имѣли какъ можно больше общихъ духовныхъ интересовъ, дабы въ этомъ единеніи осятилось и одухотворилось животное чувство; поэтому, между прочимъ, не слушайте тѣхъ развратниковъ, которые говорятъ: курсы, курсы, а сама вонъ куда глядите! Неправда это, ибо хотя человѣкъ есть, несомнѣнно, животное, и противъ этого ничего подѣлать нельзя, но онъ не только животное.

Къ счастью или къ несчастью, Позднышевъ не только развратникъ, а кромѣ того еще и непослѣдовательный человѣкъ. Опѣ обобщаетъ свой горькій личный опытъ до того, что вездѣ видитъ отраженіе своей развратной души и, оскорбленный этою картиною всеобщаго разврата, согласенъ даже на прекращеніе рода человѣческаго. Но у него-же можно встрѣтить и еще вотъ какое разсужденіе: «Въ старину—вопла въ возрастъ дѣвка, ея родители, знающіе больше жизнь, не увлекающіеся влюбленіемъ минутнымъ, а вмѣстѣ съ тѣмъ любящіе ее не меньше себя,—родители устранили бракъ. Такъ дѣлалось, дѣлается во всемъ чловѣчествѣ, у китайцевъ, индѣйцевъ, магометанъ, у насъ въ народѣ, такъ дѣлается въ родѣ чловѣческомъ, по крайней мѣрѣ въ 0,99 его части. Только 0,01 или меньше насъ, распутниковъ, нашли, что это нехорошо, и выдумали новое». Прекрасно. Значитъ, распутниковъ-то всего 0,01 «или меньше». И изъ-за этого-то ничтожества всѣмъ отъ любви отказываться? Опомнитесь, гг. Позднышевы, очень вы уже выеокую иѣну себѣ даете!—Другой примѣръ. Позднышевъ говоритъ: «Вѣдь, вы поймите, что если женятся по Домострою, какъ говорилъ этотъ старикъ, то пуховики, приданое, постель—все это подробности освященнаго таинства», а нынѣшній, дескать, бракъ лишень этого характера и есть просто мерзость. Я отнюдь не буду стоять за нынѣшній бракъ, но вотъ есть-же, стало-быть, и такія формы брака—«по Домострою», которыя удовлетворяютъ Позднышева. Только вотъ въ чемъ бѣда. Я въ самомъ началѣ обратилъ вниманіе читателей на фигуру

старого купца, котораго его случайная спутница назвала «живымъ Домостроемъ». Этотъ Домострой, дѣйствительно, какъ мы видѣли, говорилъ о священномъ характерѣ брака, объ обязательной вѣрности жены супружескому долгу, о необходимости держать ее въ страхѣ. Вмѣстѣ съ тѣмъ, однако, онъ разрѣшалъ себѣ кутить съ красотками въ Кунавинѣ, на томъ основаніи, что «это статья особая». Неужели это въ самомъ дѣлѣ удовлетворяетъ нравственное чувство Позднышева, и не есть-ли онъ въ такомъ разѣ не только развратникъ и непослѣдовательный человѣкъ, а кромѣ того еще и лицемеръ?

Одно, мнѣ кажется, совершенно ясно вытекаетъ изъ предъидущаго, а именно, что пикантъ образомъ нельзя усвоивать гр. Толстому всѣ мнѣнія Позднышева. Если-же гр. Толстой, всегда склонный нѣсколько озадачивать читателей, вложилъ Позднышеву нѣкоторыя собственные мысли, то надо распредѣлить содержаніе «Крейцеровой сонаты» такъ: все доброе и умное принадлежитъ въ ней нашему знаменитому писателю, а все злое, развратное, глупое — Позднышеву. И намъ остается только благодарить гр. Толстого за тонкое и глубокое воспроизведеніе оригинальнаго типа развратника. Будемъ-же надѣяться, что «Крейцорова соната» есть задатокъ возрожденія художественной дѣятельности гр. Толстого.

Объ отцахъ и дѣтяхъ и о г. Чеховѣ.

Между Н. В. Шелгуновымъ (въ «Русской Мысли») и газетой «Недѣля» все еще тянется полемика, на которую я когда-то (въ «Случайныхъ замѣткахъ») обратилъ вниманіе читателей «Русскихъ Вѣдомостей». Изъ мартовской книжки «Русской Мысли» я узналъ, что, по мнѣнію «Недѣли», изложенному почтенною газетою въ статьѣ «Отцы и дѣти нашего времени», полемика эта «является только однимъ изъ эпизодовъ въ тѣхъ безконечныхъ пререканіяхъ, которые всегда ведутъ между собою отцы и дѣти». Дѣти—это «Недѣля»... Отъ «дѣтей» мы привыкли ждать молодости, свѣжести, силы, даже нѣкоторой бурности, а потому встрѣтить въ роли «дѣти» почтеннаго редактора «Недѣли», г. Гайдебурова, какъ будто и неожиданно непожко. Приглядываясь, однако, къ «дѣтямъ», представляемымъ «Недѣлей», мы не найдемъ тутъ ничего страннаго или удивительнаго. Въ той-же мартовской книжкѣ «Русской Мысли» приведена слѣдующая выписка изъ статьи «Недѣли», громко озаглавленной («Недѣля» вообще любитъ громкія заглавія) «Новое литературное поколѣніе»: «Новое поколѣніе (80-хъ годовъ) родилось скептикомъ, и идеалы отцовъ и дѣдовъ оказались надъ нимъ безсильными. Оно не чувствуетъ ненависти и презрѣнія къ обыденной человѣческой жизни, не признаетъ обязанности быть героемъ, не вѣритъ въ возможность идеальныхъ людей. Всѣ эти идеалы—сухія, логическія произведенія индивидуальной мысли, и для новаго поколѣнія осталась только дѣйствительность, въ которой ему суждено жить и которую оно потому и признало. Оно приняло свою судьбу спокойно и безропотно, оно прониклось сознаніемъ, что все въ жизни вытекаетъ изъ одного и того-же источника—природы, все являетъ

себою одну и ту-же тайну бытія, и возвращается къ пантеистическому міросозерцанію».

Таковы современныя «дѣти». Немудрено, что г. Гайдебуровъ, «родившійся», можетъ быть, и не «скептикомъ» и фигурирующий въ литературѣ лѣтъ 30 слишкомъ, находитъ себѣ мѣсто среди этихъ старообразныхъ дѣтей. Вообще, дѣло, очевидно, не въ возрастѣ, нѣто очень удобно. Какъ только вы увидѣли человѣка, для котораго «осталась только дѣйствительность» и который этимъ вполне доволенъ, такъ и знайте, что это «дитя», «новое поколѣніе». Странныя дѣти, можно сказать, пебивалыя дѣти, но если они сами себя такъ называютъ, такъ и Господь съ ними. И я могу съ чистою совѣстью сказать: «О, дѣти, дѣти, какъ опасны ваши лѣта!» Хотя дѣло и не въ возрастѣ. Нынѣшнія дѣти, или собственни тѣ, которые такъ сами себя называютъ въ «Недѣлѣ», не щеголяютъ обычными свойствами молодости; нѣтъ, они старше, солиднѣе своихъ отцовъ и дѣдовъ, а потому не стоятъ передъ ними и опасности, обычно грозящія молодости,—опасности страстнаго увлеченія, риска, горячей вѣры и надежды. Но та самоувѣренность, которая въ настоящей молодости является лишь естественнымъ показателемъ избытка силы, не искушенной опытомъ, въ нихъ, въ этихъ современныхъ «дѣтяхъ», чревата иными опасностями. Полагая, что только и свѣта, что въ окошкѣ, гордо отрѣзывая себя отъ идаловъ отцовъ и дѣдовъ, даже отъ всякихъ идеаловъ, вполне довольствуясь «дѣйствительностью», эти люди обрезаютъ себя на жизнь тусклую изъ тусклыхъ. Они сознаютъ это и не боятся: имъ какъ разъ по плечу эта жизнь. Но въ прежнее время они въ этомъ не сознались бы публично, потому что, вѣдь, въ самомъ дѣлѣ стыдно, а нынѣ они заявляютъ свою тусклость всенародно. Они считаютъ себя солью земли, которой мѣшаетъ только какая-нибудь горсточка «отцовъ», оберегающихъ былые идеалы, а все остальное, дескать, съ ними, готово признать ихъ своими выразителями и вождями: они—«новое литературное поколѣніе»... По существу дѣла, это только смѣшно. Возражалъ «Недѣлѣ», г. Шелгуновъ справедливо говоритъ, что ссылка на тургеневскую формулу «отцовъ и дѣтей» не имѣетъ въ данномъ случаѣ никакого смысла. Современныя «дѣти», то есть опять-таки тѣ, которые сами себя такъ называютъ въ «Недѣлѣ», отгрещиваясь отъ идеаловъ отцовъ и дѣдовъ, не блистаютъ ни талантами, ни знаніями, ни оригинальностью фізіономіи, ни даже численностью. Они представляютъ собою нѣчто въ родѣ тусклаго туманнаго пятна, расплывающагося въ общемъ фонѣ той апатіи, безодержательности, того отсутствія всякаго присутствія, которое характеризуетъ теперешнее трудное время вообще. Они только вторятъ теченію реакціи противъ идеаловъ недавняго прошлаго, ничего новаго и положительнаго имъ не противопоставляя и не обладая двусмысленнымъ мужествомъ и послѣдовательностью открытыхъ реак-

ціонеровъ. Но трудное время пройдетъ, потому что это именно только вопросъ труднаго времени, можетъ быть и долгаго, а можетъ быть совѣмъ не долгаго; волна реакціи отхлынетъ, и я не поздравляю тѣхъ раковъ, которые останутся на мели. Вообще, эти «дѣти»—явленіе до такой степени мизерное, что, можетъ быть, г. Шелгуновъ дѣлаетъ даже ошибку, удѣляя имъ столько вниманія. Но отмѣтить его все-таки слѣдуетъ, и именно въ его связи съ общимъ настроеніемъ минуты.

«Для насъ существуетъ только дѣйствительность, въ которой намъ суждено жить»; «идеалы отцовъ и дѣдовъ надъ нами безсильны»,—эти подлежащія, сказуемая, опредѣленія и дополненія можно встрѣтить не въ одной «Недѣлѣ», а и въ такихъ мѣстахъ, гдѣ отнюдь не гоняются за наименованіемъ «дѣтей». Это то-же самое «наше время не время широкихъ задачъ», которое когда-то громилъ и осмѣивалъ Щедринъ, какъ нѣчто постыдное, а нынѣ оно расплзлось и осложнилось наклономъ къ оплеванію многаго изъ того, что еще недавно было общепризнано дорогимъ. Чѣмъ-же это дорогое замѣняется нынѣ?

Недавно я прочиталъ въ одной большой газетѣ неоднократное заявленіе, что «Островскій устарѣлъ». Извѣстіе это меня очень заинтересовало. Я полагалъ, что Островскій принадлежитъ къ числу писателей, которые не старѣютъ или по крайней мѣрѣ живутъ такъ долго, что объ ихъ устарѣлости можно говорить только въ томъ случаѣ, если на смѣну имъ явилось что-нибудь особенно яркое и крупное. Должно быть, подумалъ я, наша драматическая литература едѣлала гигантскіе шаги послѣ Островскаго, и надо мнѣ съ этой литературой познакомиться. Но это оказалось дѣломъ не легкимъ. Драмы Островскаго, равно какъ и нѣкоторыхъ другихъ «отцовъ» и «дѣдовъ», какъ, напримѣръ, Писемскаго, Потѣхина, печатались въ свое время въ журналахъ. Нынѣ этого нѣтъ совѣмъ, и когда я, наконецъ, досталъ нѣсколько литографированныхъ драматическихъ произведеній, имѣвшихъ наибольшій успѣхъ въ прошлый театральннй сезонъ, я понялъ, почему они литографированы, а не напечатаны въ журналахъ. Какъ ни далеко отошли наши теперешніе журналы отъ недавнихъ преданій, но это все-таки литература, а тѣ драматическія произведенія, которыя я прочиталъ, не имѣютъ ничего общаго съ литературой. Это истинно «дѣтскія» произведенія, и по формѣ, и по содержанію. Время, породившее эти малости, любующееся на нихъ (повторяю, я читалъ пьесы, имѣвшія наибольшій успѣхъ, то-есть чаще всего дававшіяся), можетъ считать себя несчастнымъ временемъ. И къ этому, какъ ко всякому сознательному несчастію, можно, даже должно отнестись съ сочувствіемъ. Какъ въ самомъ дѣлѣ не пожалѣть этихъ бѣдныхъ актеровъ, обреченныхъ изображать не живыхъ людей, а какихъ-то говорящихъ куколъ, и произносить рѣчи, либо совершенно безсмысленныя, либо наполненныя азбучною моралью; какъ не пожалѣть и зрителей и самихъ авторовъ,

выступающихъ съ дѣтскими вещами? Но если при этомъ говорятъ, что «Островскій устарѣлъ», такъ ужь это не сожалѣнія, а смѣха достойно.

Я хотѣлъ-было предложить вамъ пересмотрѣть вмѣстѣ со мной тѣ пять-шесть новѣйшихъ драматическихъ произведеній, съ которыми я познакомился, но откладываю это до другого раза. Фактъ отсутствія драматической литературы во всякомъ случаѣ на-лицо, и никто, я полагаю, съ этимъ спорить не станетъ. А если-бы «Недѣля» или кто другой, довольный ходомъ дѣлъ вообще и «новымъ литературнымъ поколѣніемъ» въ частности, и пожелалъ спорить, то я спросилъ-бы: отчего-же вы не печатаете этихъ прекрасныхъ драмъ и комедій? Откладывая на неопредѣленное время бесѣду о новѣйшей драматической quasi-литературѣ, я лишаю себя большого развлеченія, потому что тутъ есть надъ чѣмъ посмѣяться, хотя есть и погоревать объ чемъ. Но съ этимъ торопиться нечего, въ виду непререкаемости факта исчезновенія драматической литературы. Ну, и пусть радуются этому факту тѣ, для кого «осталась только дѣйствительность, въ которой имъ суждено жить и которую они потому и признали».

Любопытнѣе, можетъ быть, было-бы пересмотрѣть критиковъ, публицистовъ, поэтовъ «дѣйствительности». Но я пока и отъ этого уклонюсь. Передо мной лежитъ маленькая книжка, имѣющая близкое отношеніе къ нашей темѣ, и на ней-то я и сосредоточусь на этотъ разъ. Книжка эта—новый, только что вышедшій сборникъ рассказовъ г. Чехова подъ заглавіемъ «Хмурые люди».

Признаться сказать, я началъ читать книжку съ конца, заинтересовавшись оригинальнымъ заглавіемъ послѣдняго рассказа—«Шампанское», потомъ прочиталъ въ безпорядкѣ остальное, намѣренно откладывая подъ конецъ самый большой рассказъ—«Скучная исторія»; откладывалъ потому, что боялся того непріятнаго впечатлѣнія, которое рассчитывалъ получить отъ этого рассказа, а почему рассчитывалъ получить непріятность, сейчасъ скажу. Въ рассказѣ «Шампанское» я остановился на слѣдующихъ хорошенькихъ строчкахъ: «Два облачка уже отошли отъ луны и стояли поодаль съ такимъ видомъ, какъ будто шептались объ чемъ-то такомъ, чего не должна знать луна. Легкій вѣтерокъ пробѣжалъ по степи, неся глухой шумъ ушедшаго поѣзда». Въ рассказѣ «Почта» опять хорошенькія строки въ томъ-же вкусѣ: «Колокольчикъ что-то прозвываетъ бубенчикамъ, бубенчики ласково отвѣтили ему. Тарантасъ взвизгнулъ, тронулся, колокольчикъ заплакалъ, бубенчики засмѣялись». Или вотъ еще, въ рассказѣ «Холодная кровь»: «Старикъ встаетъ и вмѣстѣ съ своей длинной тѣнью осторожно спускается изъ вагона въ потемки». Какъ это въ самомъ дѣлѣ мило, и такихъ милыхъ штришковъ много разбросано въ книжкѣ, какъ, впрочемъ, и всегда въ рассказахъ г. Чехова. Все у него живетъ: облака тайкомъ отъ луны шепчутся, колокольчики плачутъ, бубенчики смѣ-

ются, тѣнь вмѣстѣ съ человѣкомъ изъ вагона выходить. Эта своего рода, пожалуй, пантеистическая черта очень способствуетъ красотѣ разсказа и свидѣтельствуетъ о поэтическомъ настроеніи автора. Но, — странное дѣло, — несмотря на готовность автора оживить всю природу, все пеживое, и одухотворить все неодушевленное, отъ книжки его жизнью все-таки не вѣсть. И это отнюдь не потому, что онъ взялся изобразить «Хмурыхъ людей». Заглавіе это совсѣмъ не соотвѣтствуетъ содержанію сборника и выбрано совершенно произвольно. Есть въ сборникѣ и дѣйствительно хмурые люди, но есть такіе, которыхъ этотъ эпитетъ вовсе не характеризуетъ. Въ какомъ смыслѣ можетъ быть названъ хмурымъ человѣкомъ, напримѣръ, купецъ Авдѣевъ («Бѣда»), который выпиваетъ, закусываетъ игрой и попадаетъ въ тюрьму, а потомъ въ Сибирь за то, что подписывалъ, не читая, какіе-то банковые отчеты? Нѣтъ, не въ хмурыхъ людяхъ тутъ дѣло, а можетъ быть именно въ томъ, что г. Чехову все едино, — что человѣкъ, что его тѣнь, что колокольчикъ, что самоубійца.

Г. Чеховъ пока единственный, дѣйствительно, талантливый беллетристъ изъ того литературнаго поколѣнія, которое можетъ сказать о себѣ, что для него «существуетъ только дѣйствительность, въ которой ему суждено жить», и что «идеалы отцовъ и дѣдовъ надъ нимъ безсильны». И я не знаю зрѣлица печальнѣе, чѣмъ этотъ даромъ пропадающій талантъ. Богъ съ ними, съ этими старообразными «дѣтьми», упрямняющимися въ критикѣ и публицистикѣ: ихъ бездарность равняется ихъ душевной черствости и едва-ли что-нибудь яркое вышло-бы изъ нихъ и при лучшихъ условіяхъ. Но г. Чеховъ талантливъ. Онъ могъ-бы и свѣтить и грѣть, если-бы не та несчастная «дѣйствительность, въ которой ему суждено жить». Возьмите любого изъ талантливыхъ «отцовъ» и «дѣдовъ», то-есть писателей, сложившихся въ умственной атмосферѣ сороковыхъ или шестидесятыхъ годовъ. Начните съ вершинъ въ родѣ Салтыкова, Островскаго, Достоевскаго, Тургенева и кончите — ну хоть г. Лейкинымъ, тридцатилѣтній юбилей котораго празднуется на-дняхъ. Какія это все опредѣленные, законченныя фізіономіи и какъ опредѣленны ихъ взаимныя отношенія съ читателемъ! Я помянулъ г. Лейкина, талантъ котораго отнюдь не изъ крупныхъ и который вдобавокъ потратилъ свое дарованіе на 7,000 (такъ пишутъ въ газетахъ) пустяковыхъ разсказовъ. Однако, и онъ имѣетъ свой опредѣленный кругъ читателей, которыхъ смѣшить или трогать. Немножко надоѣдливы всѣ эти «разделюціи» (вмѣсто «резолюціи»), «насыпь еще лампадочку» (вмѣсто «налей еще рюмку»), «къ подножію ногъ твоихъ» и т. п. Но есть среда, гдѣ все это нужно, гдѣ г. Лейкинъ всегда равно желанный и дорогой гость. Тѣмъ паче надо это сказать о вершинахъ. «Писатель подписываетъ, а читатель почитываетъ», — эта горькая фраза Салтыкова вовсе не справедлива по отно-

шенію къ нему и его сверстникамъ. Ихъ произведенія читатель не только почитывалъ,—онъ спорилъ объ нихъ, умилялся или негодовалъ, ловилъ мысль, горѣлъ чувствомъ, словомъ, жилъ ими. Между писателями и читателями была постоянная связь, можетъ-быть, не столь прочная, какъ было-бы желательно, но несомнѣнная, живая. Повторяю, такая связь существуетъ даже для г. Лейкина, а для неизмѣримо болѣе талантливаго и серьезнаго г. Чехова ея нѣтъ. Онъ, дѣйствительно, пописывается, а читатель его почитываетъ. Г. Чеховъ и самъ не живетъ въ своихъ произведеніяхъ, а такъ себѣ, гуляетъ мимо жизни и, гуляючи, ухватить то одно, то другое. Почему именно это, а не то? почему то, а не другое?

Выборъ темъ г. Чехова поражаетъ своею случайностью. Везуть по желѣзной дорогѣ быковъ въ столицу на убой. Г. Чеховъ заинтересовывается этимъ и пишетъ разсказъ подъ названіемъ «Холодная кровь», хотя даже понять трудно, при чемъ тутъ «холодная кровь». Фигурируетъ, правда, въ разсказѣ одинъ очень хладнокровный человекъ (сынъ грузоотправителя), но онъ вовсе не составляетъ центра разсказа, да и вообще въ немъ никакого центра нѣтъ, просто не за что ухватиться. Почту везуть, по дорогѣ тарантасъ встряхиваетъ, почтальонъ вываливается и сердится. Это—разсказъ «Почта». Зачѣмъ онъ мнѣ? Не мнѣ лично, конечно. Мнѣ и «подножіе ногъ» г. Лейкина не нужно, но гдѣ-нибудь въ трактирѣ или въ бакалейной лавкѣ это «подножіе ногъ» произведетъ свой эффектъ; а отъ «Почты» никому, рѣшительно никому ни тепла, ни радости, хотя именно въ этомъ разсказѣ бубенчики такъ мило пересѣмиваются съ колокольчиками. И рядомъ, вдругъ, «Спать хочется»,—разсказъ о томъ, какъ тринадцатилѣтняя дѣвчонка Варька, состоящая въ нянькахъ у сапожника и не имѣющая ни минуты покоя, убиваетъ порученнаго ей грудного ребенка потому, что именно онъ мѣшаетъ ей спать. И разсказывается это тѣмъ-же тономъ, съ тѣми-же милыми колокольчиками и бубенчиками, съ тою-же «холодною кровью», какъ и про быковъ или про почту, которая выѣхала съ одной станціи и пріѣхала на другую...

Нѣтъ, не «хмурыхъ людей» надо-бы поставить въ заглавіе всего этого сборника, а вотъ развѣ «холодную кровь»: г. Чеховъ съ холодною кровью пописываетъ, а читатель съ холодною кровью почитываетъ.

Такъ думалъ я, пока, наконецъ, не дошелъ до «Скучной исторіи». Этой сравнительно довольно большой вещи я боялся. Дѣло въ томъ, что къ маленькимъ разсказамъ г. Чехова, занимающимъ одинъ газетный фельетонъ или пять-шесть страничекъ маленькаго формата въ книжкѣ, мы уже привыкли, и этотъ странный переплетъ хорошенечкихъ колокольчиковъ съ убійцами и людей съ быками не особенно утомляетъ, когда онъ разбитъ на маленькіе, оборванные клочки. А въ «Степи», первой большой вещи г. Чехова, самая талантливость этого переплета

является уже источникомъ непріятнаго утомленія: идешь по этой степи, и, кажется, конца ей нѣтъ... Въ «Ивановѣ», комедіи, не имѣвшей, къ счастью, успѣха и на сценѣ, г. Чеховъ явился пропагандистомъ двухъ вышеприведенныхъ «дѣтскихъ» тезисовъ: «идеалы отцовъ и дѣдовъ надъ нами безсильны»; «для насъ существуетъ только дѣйствительность, въ которой намъ суждено жить и которую мы потому и признали». Эта проповѣдь была уже даже и не талантлива, да и какъ можетъ быть талантлива идеализація отсутствія идеаловъ? Не везетъ г. Чехову на большія вещи. Можетъ быть, и «Скучная исторія» есть дѣйствительно скучный наборъ случайныхъ впечатлѣній или-же опять что-нибудь вродѣ «Иванова», опять пропаганда тусклаго, сѣраго, умѣреннаго и аккуратнаго житія...

Я ошибаюсь самымъ пріятнымъ образомъ. «Скучная исторія» — есть лучшее и значительнѣйшее изъ всего, что до сихъ поръ написалъ г. Чеховъ. Ничего общаго съ распущенностью и случайностью впечатлѣній въ «Степи»; ничего общаго съ идеализаціей сѣрой жизни въ «Ивановѣ». И даже совсѣмъ напротивъ.

«Скучная исторія» имѣетъ подзаглавіе: «изъ записокъ стараго человѣка». Этотъ старый человѣкъ, Николай Степановичъ «такой-то», есть знаменитый профессоръ, ученый, умный, талантливый, честный. Такимъ онъ самъ себя рекомендуетъ и, судя по сообщаемымъ имъ фактамъ, говоритъ правду. Жизнь его, вообще говоря, сложилась недурно, но къ 62-мъ годамъ подобрался разныя облачка: нѣкоторая денежная запутанность, кое-какія семейныя дрязги, хворость, главное хворость. Николай Степановичъ, какъ профессоръ по медицинской части, понимаетъ, что смерть не за горами и что было-бы съ его стороны добросовѣстно уступить катедру человѣку болѣе молодому и свѣжему, но этого онъ сдѣлать не въ силахъ. «Пусть судитъ меня Богъ, — онъ говоритъ, — у меня не хватаетъ мужества поступить по совѣти»: онъ слишкомъ привыкъ къ своему профессорскому дѣлу, слишкомъ любитъ его. «Какъ 20—30 лѣтъ назадъ, такъ и теперь, передъ смертью, меня интересуешь одна только наука. Испуская послѣдній вздохъ, я все-таки буду вѣрить, что наука — самое важное, самое прекрасное и самое нужное въ жизни человѣка, что она всегда была и будетъ высшимъ проявленіемъ любви и что только ею одною человѣкъ побѣдитъ природу и себя». Это не мѣшаетъ, однако, Николаю Степановичу имѣть и высказывать свои мнѣнія о литературѣ, о театрѣ, о разныхъ житейскихъ дѣлахъ: мнѣнія не Богъ знаетъ какой оригинальности и премудрости, но съ преданнаго своему дѣлу ученаго специалиста нельзя въ этомъ отношеніи многого и спрашивать. И вотъ этого «прекраснаго, рѣдкаго человѣка», какъ его аттестуетъ другой, несомнѣнно тоже хорошій человѣкъ, начинаютъ посѣщать странныя мысли. Ему кажется, что «все гадко, не для чего жить, а тѣ 62 года, которые уже про-

житы, слѣдуетъ считать пропавшими». Съ особенною силою эти мрачныя мысли возникаютъ въ Николаѣ Степановичѣ при слѣдующихъ обстоятельствахъ. Понадобилось ему ѣхать въ Харьковъ, чтобы собрать свѣдѣнія о предполагаемомъ женитѣ его дочери. Поѣздка эта не особенно хорошо мотивирована. Предполагаемый женихъ, котораго, мимоходомъ сказать, Николаѣ Степановичъ терпѣть не можетъ, еще не дѣлалъ предложеній; въ Харьковѣ у Николая Степановича есть знакомые, и вообще рѣшительно не видно, почему 62-лѣтній знаменитый профессоръ долженъ самъ ѣхать для собранія свѣдѣній о женихѣ. Но это все равно. Приѣхавъ большою, слабый старикъ въ Харьковъ и, натурально, загрустилъ. А тутъ еще телеграмма: дочь тайно обвѣнчалась (опять-таки неизвѣстно почему тайно), и надо ѣхать назадъ. Тяжелая, безсонная ночь... Николай Степановичъ сидитъ въ постели, обнявъ руками колѣна, и думаетъ... между прочимъ, такъ: «Чего я хочу? Я хочу, чтобы наши жены, дѣти, друзья, ученики любили въ насъ не имя, не фирму и не ярлыкъ, а обыкновенныхъ людей. Еще что? Я хотѣлъ-бы имѣть помощниковъ и наслѣдниковъ... Еще что? Хотѣлось-бы проснуться лѣтъ черезъ сто и хотъ однимъ глазомъ взглянуть, что будетъ съ наукой... Хотѣлъ-бы пожить еще лѣтъ десять... Дальше что? А дальше ничего... Я думаю, долго думаю и ничего не могу еще придумать. И сколько-бы я ни думалъ и куда-бы ни разбрасывались мои мысли, для меня ясно, что въ моихъ желаніяхъ нѣтъ чего-то главнаго, чего-то очень важнаго. Въ моемъ пристрастіи къ наукѣ, въ моемъ желаніи жить, въ этомъ сидѣніи на чужой кровати и стремленіи познать самого себя, во всѣхъ мысляхъ, чувствахъ и понятіяхъ, какія я составляю обо всемъ, нѣтъ чего-то общаго, что связывало-бы все это въ одно цѣлое... Каждое чувство и каждая мысль живутъ во мнѣ особнякомъ, и во всѣхъ моихъ сужденіяхъ о наукѣ, театрѣ, литературѣ, ученикахъ и во всѣхъ картинахъ, которыя рисуетъ мое воображеніе, даже самый искусный аналитикъ не найдетъ того, что называется общей идеей или богомъ живого человѣка. А коли нѣтъ этого, то, значить, нѣтъ и ничего»...

Душевный мракъ все сгущается, какъ вдругъ въ комнату Николая Степановича совершенно неожиданно является нѣкая Катя. Это — его воспитанница, дочь его умершаго друга, молодая женщина, хорошая, умная, живая, но претерпѣвшая много бѣдъ и въ концѣ-концовъ одинокая. На-скоро поздоровавшись съ своимъ воспитателемъ, она, задыхаясь и дрожа всѣмъ тѣломъ, умоляетъ старика помочь ей совѣтомъ, научить ее, какъ ей жить, что дѣлать.

— Помогите! — рыдаетъ она, хватая меня за руку и цѣлуя ее. **Вѣдь** вы мой отецъ, мой единственный другъ! **Вѣдь** вы умны, образованы, долго жили! Вы были учителемъ! Говорите-же, что мнѣ дѣлать?

— По совѣсти, Катя, не знаю.

Я растерялся, сконфуженъ, тронуть рыданіями и едва стою на ногахъ.
— Давай, Катя, завтракать, — говорю я, натынуто улыбаясь. — Будеть плакать.

И больше ничего бѣдная Катя такъ и не добивается отъ знаменитаго профессора, котораго она не безъ основанія считаетъ «прекраснымъ, рѣдкимъ человѣкомъ». Онъ даже не дасть ей высказаться, выложить свое горе и уже тѣмъ самымъ облегчить его. Онъ только растерянно и беспомощно повторяетъ: «давай завтракать!», да «будеть плакать!» Обезкураженная Катя уходитъ. Николай Степановичъ рассказываетъ: «Лицо, грудь и перчатки у нея мокрыя отъ слезъ, но выраженіе лица уже сухо, сурово. Я гляжу на нее и мнѣ стыдно, что я счастливѣе ея. Отсутствіе того, что товарищи-философы называютъ общою идеею, я замѣтилъ въ себѣ только незадолго передъ смертію, на закатъ своихъ дней, а вѣдь душа этой бѣдняжки не знала и не будетъ знать пріюта всю жизнь, всю жизнь!»

Да, это трагедія! И, надо отдать справедливость автору, хорошо поставленная трагедія. Но надо присмотреться къ ней нѣсколько ближе.

Николаю Степановичу 62 года, онъ припоминаетъ въ числѣ своихъ друзей Пирогова, Кавелина, Некрасова. Это, конечно, волюнѣ возможно, но едва-ли типично. Мало-ли есть несомнѣнныхъ житейскихъ возможностей, которыя, однако, слишкомъ индивидуальны, слишкомъ случайны, чтобы правомѣрно сдѣлаться объектомъ художественнаго воспроизведенія во всѣхъ своихъ конкретныхъ подробностяхъ. Безъ всякаго сомнѣнія, у Пирогова, Кавелина, Некрасова могъ быть современникъ и другъ, который, при многихъ отличныхъ качествахъ ума и сердца, всю жизнь прожилъ безъ того, «что называется общей идеей или богомъ живого человѣка». Всяко бываетъ. Но если читатель припомнитъ автобіографію Пирогова, литературную дѣятельность Кавелина, литературную дѣятельность Некрасова, біографіи другихъ знаменитыхъ русскихъ людей, воспитавшихся около того же времени, напр., Бѣлинскаго, Герцена и т. д., то согласится, я думаю, что отсутствіе «общей идеи» отнюдь для этого времени не характерно. Люди всегда люди. Они и въ тѣ времена падали, уклонялись отъ своего бога, становились въ практическое противорѣчіе съ самими собой, но они всегда, по крайней мѣрѣ, искали «общей идеи», и никоимъ образомъ нельзя сказать о нихъ, какъ говорить о себѣ Николай Степановичъ, — что они только передъ смертію опомнились. Пусть ихъ общія идеи, эти нынѣ по-дѣтски отвергаемые идеалы отцовъ и дѣдовъ, были на тотъ или другой взглядъ ложны, неосновательны, недостаточно выработаны, все, что хотите, но они были или-же составляли предметъ жадныхъ поисковъ. Для людей, воспитавшихся въ той умственной и нравственной атмосферѣ, какую г. Чеховъ усвоиваетъ Николаю Степановичу, нѣтъ даже ничего характернѣе этой погони за общими идеалами, которые связывали-бы всѣ концы съ кон-

цами въ нѣчто цѣльное и непрерывное. Миѣ кажется поэтому, что, обсуждая фигуру Николая Степановича и его печальный конецъ, можно совершенно отрѣшиться отъ показаній автора насчетъ его возраста и дружескихъ связей,—дѣло не въ нихъ совсѣмъ; не въ силу условій своей молодости такъ тускло и жалобно доживаетъ свои послѣдніе дни Николай Степановичъ, а напротивъ того—вопреки имъ. Очевидно, передъ г. Чеховымъ рисовался какой-то психологическій типъ, который онъ чисто-случайно и въ этомъ смыслѣ художественно незаконно обременилъ 62-мя годами и дружбой съ Пироговымъ, Кавелинымъ, Некрасовымъ. Можетъ быть, случайность эта объясняется просто тѣмъ, что автору нужно было именно предсмертное просвѣтленіе, и этою надобностью обусловился выборъ старика, а такъ какъ этотъ старикъ долженъ быть, по замыслу, хорошимъ и выдающимся человѣкомъ, то для сгущенія красокъ авторъ наградилъ его дружбой съ хорошими тоже и выдающимися людьми.

Затѣмъ г. Чеховъ сдѣлалъ изъ Николая Степановича специалиста по какой-то отрасли медицинскихъ наукъ, всецѣло преданнаго своей профессіи. Беллетристы—могущественные люди. Они красятъ своихъ героевъ въ любую краску, отдають ихъ куда заблагоразсудится на службу, на комъ хотять женить, съ кѣмъ хотять разженивають. Это ихъ право, и ничего съ ними не подѣлаешь. Но и читатель тоже вправѣ оскорбляться въ своемъ эстетическомъ чувствѣ тѣми явными несообразностями, которыя иногда господа беллетристы продѣлываютъ надъ своими безотвѣтными художественными дѣтищами. Г. Чеховъ большимъ несообразностямъ не подвергаетъ своего Николая Степановича, хотя, напр., выше отмѣченная отправка этого почтеннаго ученаго въ Харьковъ за справками—немножко оскорбительна и совершенно не пужна. Но, я думаю, всякій, внимательно прочитавшій прекрасную сцену объясненія Кати съ Николаемъ Степановичемъ, долженъ остановиться надъ вопросомъ: почему Николай Степановичъ медикъ и заслуженный профессоръ? Пожалуй, если хотите, вполнѣ естественно, что именно старый профессоръ медицины, въ теченіе многихъ лѣтъ съ головой погруженный въ свою специальность, не умѣеть откликнуться на вопросъ молодой женщины: какъ жить? что дѣлать? Вотъ если-бы къ нему обратились за врачебнымъ совѣтомъ, за темой для диссертациі на степень доктора медицины, за указаніемъ литературы того или другого специально-медицинскаго вопроса и т. п.,—онъ далъ-бы вполнѣ удовлетворительные отвѣты, а тутъ съ него и спрашивать нечего. Это такъ, конечно. Но сцена объясненія Кати съ Николаемъ Степановичемъ слишкомъ хороша, слишкомъ жизненна и очевидно слишкомъ глубоко задумана, чтобы къ ней могло быть приложено такое плоское объясненіе. Дряхлый ученый специалистъ не умѣеть отвѣтить на вопросъ молодой жизни,—стоитъ ли изъ-за этого огородъ городить? Стоитъ ли изъ-за такого финала до-

вольно большой рассказ писать? Нѣтъ, и медицинская специальность Николая Степановича, и его дряхлость здѣсь опять-таки совершенно случайныя черты, затемняющія суть дѣла. А суть дѣла въ томъ, что у Николая Степановича нѣтъ того, «что называется общей идеей или богомъ живого человѣка». Сцена съ Катей превосходно подчеркиваетъ этотъ коренной изъянъ Николая Степановича, составляющій центральное мѣсто всего разсказа. Снимите съ плечъ Николая Степановича тридцать лѣтъ, передѣляйте его изъ заслуженнаго профессора медицины въ кого угодно, ну хоть въ беллетриста, но оставьте его при его коренномъ душевномъ изъянѣ, и онъ точно такъ-же растерянно и безпомощно отвѣтитъ на вопль Кати: «давай завтракать! будетъ плакать!» Онь-бы и радъ сказать другое, да словъ нѣтъ и не откуда имъ взяться. И въ этомъ трагедія. Только совлекая съ нея тѣ чисто внѣшнія случайности, которыми ее обставилъ г. Чеховъ, мы поймемъ ея жизненное значеніе, а затѣмъ оставшемуся отъ такой операціи разоблаченія психологическому мотиву надо найти соответствующую конкретную житейскую обстановку.

Припомните, что говоритъ Николаѣ Степановичъ: «Во всѣхъ картинахъ, которыя рисуетъ мое воображеніе, даже самый искусный аналитикъ не найдетъ того, что называется общею идеей или богомъ живого человѣка». Это могутъ сказать о себѣ многіе современные писатели, и въ томъ числѣ г. Чеховъ. Его воображеніе рисуетъ ему быковъ, отправляемыхъ по желѣзной дорогѣ, потомъ тринадцатилѣтнюю дѣвочку, убивающую грудного ребенка, потомъ почту, переѣзжающую съ одной станиці на другую, потомъ купца, пьющаго, закусывающего и неизвѣстно что подписывающаго, потомъ самоубійцу-гимназиста и т. д. И во всемъ этомъ дѣйствительно даже самый искусный аналитикъ не найдетъ общей идеи. Ни общей идеи, ни чутко настороженнаго въ какую-нибудь опредѣленную сторону интереса. При всей своей талантливости, г. Чеховъ не писатель, самостоятельно разбирающійся въ своемъ матеріалѣ и сортирующій его съ точки зрѣнія какой-нибудь общей идеи, а какой-то почти механической аппаратъ. Кругомъ него «дѣйствительность, въ которой ему суждено жить и которую онъ по-этому призналъ» всю цѣлкомъ, съ быками и самоубійцами, колокольчиками и бубенчиками. Что попадетъ на глаза, то онъ и изобразить съ одинаково «холодною кровью». Г. Чеховъ не одинъ въ такомъ положеніи. Таковы ужъ общія условія, въ которыхъ находится нынѣ литература, и не одна литература: такова «дѣйствительность», которую, какъ фактъ, и приходится признавать. Но отъ признанія факта, какъ факта, еще далеко до его оправданія и восхваленія. Фактъ печальный такъ и долженъ называться печальнымъ, иначе разуму человѣческому и человѣческому чувству нечего дѣлать на бѣломъ свѣтѣ, да и вовсе онъ не бѣлый въ такомъ случаѣ. А между тѣмъ находятся люди,

плавающіе въ этой мутной дѣйствительности, какъ рыба въ водѣ,—весело, легко, самоувѣренно. «Они приняли свою судьбу безропотно и спокойно, они прониклись сознаниемъ, что все въ жизни вытекаетъ изъ одного источника — природы, все является собою одну и ту-же тайну бытія»,—быки и убійцы, колокольчики и самоубійцы...

Этимъ такъ и Богъ велѣлъ, ибо, все равно, не летать курамъ подь облака. Но г. Чеховъ талантливъ. Талантъ можетъ шалить забавными водевилями въ родѣ «Медвѣдь» и «Предложеніе»; можетъ размѣниваться на «Почту» и «Шампанское»; можетъ, сбитый съ толку, измѣнить самому себѣ, своей стихійной силѣ таланта, попробовавъ въ «Ивановѣ» идеализировать отсутствіе идеаловъ; можетъ, наконецъ, съ теченіемъ времени совсѣмъ погрязнуть; но, пока этотъ печальный конецъ не пришелъ, талантъ долженъ время отъ времени съ ужасомъ ощущать тоску и тусклость «дѣйствительности»; долженъ ущемляться тоской по тому, «что называется общей идеей или богомъ живого человѣка». Порожденіе такой тоски и есть «Скучная исторія». Оттого-то такъ хорошъ и жизненъ этотъ разсказъ, что въ него вложена авторская боль. Я не знаю, конечно, на долго-ли посѣтило это настроеніе г. Чехова и не вернется-ли онъ въ непродолжительномъ времени опять къ «холодной крови» и распущенности картинъ, «въ которыхъ даже самый искусный аналитикъ не найдетъ общей идеи». Теперь онъ во всякомъ случаѣ сознаетъ и чувствуетъ, что «коли нѣтъ этого, то значить, нѣтъ и ничего». И пусть-бы подольше жило въ немъ это сознание, не уступая напльву мутныхъ волнъ дѣйствительности. Если онъ рѣшительно не можетъ признать своими общія идеи отцовъ и дѣдовъ,—о чемъ, однако, слѣдовало-бы подумать,—и также не можетъ выработать свою собственную общую идею,—падъ чѣмъ поработать все-таки стоить,—то пусть онъ будетъ хоть поэтомъ тоски по общей идеѣ и мучительнаго сознанія ея необходимости. И въ этомъ случаѣ онъ проживетъ не даромъ и оставитъ свой слѣдъ въ литературу. А то что хорошаго: читатель, подобно Катѣ, ждетъ отклика на свои боли, а ему говорятъ: «пойдемъ завтракать!» Или даже еще того хуже; вонъ быковъ везутъ, вонъ почта ѣдетъ, колокольчики съ бубенчиками пересмѣиваются, вонъ человѣка задушили, вонъ шампанское пьютъ.

Объ ошибкахъ исторической перспективы.

Въ приложенныхъ къ 9-му тому сочиненіи Салтыкова «Материалахъ для біографіи» помѣщенъ отрывокъ изъ письма покойнаго къ какому-то неназванному писателю. «Мнѣ кажется,—пишетъ Салтыковъ,— что писатель, имѣющій въ виду не одни интересы минуты, не обязывается выставлять ипыхъ идеаловъ, кромѣ тѣхъ, которые изстари волнуютъ человѣчество. А именно: свобода, равноправность и справедливость. Что-же касается до практическихъ идеаловъ, то они такъ разнообразны, что останавливаться на этихъ стадіяхъ значитъ добровольно стѣснять себя. Я положительно увѣренъ, что большее или меньшее совершенство этихъ идеаловъ зависитъ отъ большаго или меньшаго усвоенія человѣкомъ тайнъ природы и происходящаго отсюда успѣха прикладныхъ наукъ. Устраиваться въ подробностяхъ, отстаивать одніи и разрушать другія—дѣло публицистовъ. Читая романъ Чернышевскаго «Что дѣлать?», я пришелъ къ заключенію, что ошибка его заключалась именно въ томъ, что онъ черезчуръ задался практическими идеалами. Кто знаетъ, будетъ-ли оно такъ? И можно-ли назвать указываемыя въ романѣ формы жизни окончательными? Вѣдь и Фурье былъ великій мыслитель, а вся прикладная часть его теоріи оказывается болѣе или менѣе несостоятельною и остаются только неумирающія общія положенія. Это дало мнѣ поводъ заняться болѣе скромною миссіей, а именно: спасти идеалъ свободнаго изслѣдованія, какъ неотъемлемаго права всякаго человѣка, и обратиться къ тѣмъ современнымъ *основаніямъ*, во имя которыхъ эта свобода изслѣдованія попирается».

Я переписалъ этотъ отрывокъ не для того, чтобы говорить о Салтыковѣ. Меня интересуетъ здѣсь указаніе на одну социологическую ошибку, которую я назову ошибкой исторической перспективы. Тотъ частный случай ошибки, который имѣетъ въ виду Салтыковъ, не разъ

трактовался въ «Отечественныхъ Запискахъ». Лично Салтыкова занимаемость онъ и въ «Мелочахъ жизни». Тамъ говорится: «Ошибка утопистовъ заключалась въ томъ, что они, такъ сказать, учитывали будущее, уснащая его мельчайшими подробностями. Стоя почти исключительно на почвѣ психологической, они думали, что человѣкъ самъ собою, независимо отъ вѣшной природы и ея тайнъ, при помощи одной доброй воли, можетъ создать свое конечное благополучіе. Между тѣмъ человечество искони связано съ природою неразрывной связью и, сверхъ того, обладаетъ прикладною наукою, которая съ каждымъ днемъ приноситъ новыя открытія. Фурье провидѣлъ ненужныхъ анти-львовъ и анти-акулъ и не провидѣлъ ни желѣзныхъ дорогъ, ни телеграфа, ни телефона, которые несравненно радикальнѣе вліяютъ на ходъ человѣческаго развитія, нежели анти-львы» и т. д. Салтыковъ не скрывалъ, однако, отъ себя, что до сихъ поръ по крайней мѣрѣ новыя успѣхи въ области науки и прикладнаго знанія слишкомъ часто приносили съ собою не «новое благо», а «новый недугъ». Далѣе, Салтыковъ говоритъ, что «человѣческо безсрочно будетъ томиться подъ игомъ мелочей, ежели заблаговременно не получитъ полной свободы въ обсужденіи идеаловъ будущаго; только одно это средство и можетъ дать ощутительные результаты».

Считаю полезнымъ напомнить эти вообще очень поучительныя страницы «Мелочей жизни» (глава V), дабы вышеприведенное письмо къ неизвѣстному литератору не ввело кого-нибудь въ заблужденіе. Разработку идеаловъ будущаго Салтыковъ не только не считалъ дѣломъ празднымъ или ненужнымъ, но, напротивъ того, относился къ ней даже съ нѣсколькими преувеличенными надеждами. Противъ обсужденія идеаловъ будущаго онъ ничего не имѣлъ, а только говорилъ о невозможности уловить детали ихъ. И совершенно справедливо, потому что дѣйствительно однихъ техническихъ изобрѣтеній можетъ быть самаго недалекаго будущаго, но для насъ сейчасъ неожиданныхъ и негаданныхъ, достаточно, чтобы кореннымъ образомъ измѣнить картину будущей жизни, какую мы, съ нашими теперешними знаніями, можемъ нарисовать. Попытки уловить подробности картины грядущаго, за вычетомъ развѣ только какой-нибудь счастливой и совершенно исключительной случайности, непременно впадутъ въ ошибки исторической перспективы, то есть внесутъ въ отдаленное будущее нѣчто такое, въ чемъ не будетъ никакой даже надобности гораздо раньше, благодаря успѣхамъ знанія и техники. Съ этой стороны старыя утописты открыты для, пожалуй, резонныхъ, но ужъ очень дешевыхъ насмѣшекъ разныхъ шалоцаевъ, и Салтыковъ скорбѣлъ объ этомъ, потому что основныя идеи, напримѣръ, Фурье онъ считалъ «неумирающими». Если, однако, ошибка утопистовъ состояла въ игнорированіи возможныхъ, но намъ неизвѣстныхъ успѣховъ знанія и техники, то не менѣе оши-

бочно думать, что знаніе и техника, теоретическая и прикладная наука сами собою, единственно своимъ поступательнымъ ходомъ, избавяють человечество отъ угнетающихъ его золь. И Салтыковъ опять-таки понималъ это. Въ письмѣ къ неизвѣстному литератору сказано: «Я положительнo увѣренъ, что большее или меньшее совершенство практическихъ идеаловъ зависить отъ большаго или меньшаго усвоенія человекомъ тайнъ природы и происходящаго отсюда успѣха прикладныхъ наукъ». Затѣмъ слѣдуетъ пропускъ, обозначенный многоточіемъ. Что здѣсь пропущено составителемъ «Матеріаловъ для біографіи Салтыкова», я, конечно, не знаю. Можетъ быть, какая-нибудь не совсѣмъ цензурная выходка, можетъ быть неудобная для печати рѣзкость по адресу чьей-нибудь личности. Но, судя по совпадению тона и содержанія письма съ концомъ V главы «Мелочей жизни», можно также предположить, что какъ разъ въ пропущенномъ мѣстѣ находилось нѣчто въ родѣ слѣдующаго: «Что исторія изобрѣтеній, открытій и вообще борьбы человека съ природой и донинѣ представляетъ собой сплошной мартирологъ, съ этимъ согласится каждый современный человекъ, если въ немъ есть хоть капля правдивости. Желѣзные дороги уничтожаютъ на протяженіи своемъ цѣлую серію промысловъ, дававшихъ цвѣтеніе и жизнь... Новая ткацкая машина, новый плугъ, сѣнокосилка, жнея, — все это угобжаетъ меньшинство и обездоливаетъ цѣлыя массы рабочихъ силъ». (Отдѣльное изданіе «Мелочей жизни», I, 50). Это, разумѣется, не отрицаніе желѣзныхъ дорогъ, ткацкихъ машинъ, сѣнокосилокъ и пр.; это лишь указаніе на то, что вопросы общественной жизни рѣшаются самою жизнью, соотношеніемъ и взаимодействіемъ социальныхъ силъ, причемъ открытія и изобрѣтенія могутъ играть, конечно, огромную, но далеко не всегда окончательнo рѣшающую роль. Рѣшаютъ дѣло свойства и характеръ общественной среды, та комбинація общественныхъ силъ, въ которой открытія и изобрѣтенія находятъ свое приложеніе.

Великое дѣло наука, и да будетъ благословенъ ея путь. Но люди, вѣрующіе въ прогрессъ науки, впадаютъ иногда въ ошибки исторической перспективы, не менѣ странныя въ своемъ родѣ, чѣмъ тѣ, которыми грѣшили старые утописты. Я приведу образчикъ изъ текущей русской литературы.

Къ русскому переводу книги Реньяра «Умственные эпидеміи» приложена довольно большая статья г. Португалова «Повальные чудачества». Статья не оправдываетъ своего заглавія,—о повальныхъ чудачествахъ въ ней, собственно говоря, совсѣмъ и рѣчи нѣтъ. Г. Португаловъ занятъ главнымъ образомъ полемикой съ гр. Л. Толстымъ и съ успѣхомъ отражаетъ его нападки на науку. Однако, среди очень вѣрныхъ замѣчаній г. Португалова попадаются и совершенно удивительныя. Между прочимъ г. Португаловъ говоритъ: «Находятся чудаки,

которые хвастаются и чваются зависимостью русскаго народа отъ земли и считаютъ это его «самобытною особенностью», которую необходимо дорожить и беречь, какъ зеницу ока». Г. Португаловъ имѣеть здѣсь въ виду уже не одного гр. Толстого, а всѣхъ, кто такъ или иначе дорожить крестьянскимъ землевладѣніемъ, причемъ для сущности дѣла довольно безразлично — называть-ли его «самобытною особенностью» или продуктомъ извѣстныхъ историческихъ условий. Во всякомъ случаѣ есть не мало людей, нисколько не прельщающихся какими-бы то ни было самобытными особенностями и, однако, придающихъ великое значеніе крестьянскому землевладѣнію. А потому и къ нимъ относится иронія г. Португалова. Самъ онъ находитъ, что дорожить тутъ рѣшительно нечѣмъ, такъ какъ наука «объщаетъ избавить человѣка окончателно отъ тяжести земли». Сдѣлаеть это именно химія, которая, дескать, находится уже наканунѣ великаго открытія, имѣющаго кореннымъ образомъ измѣнить всю жизнь народовъ всего земнаго шара. Разъ химія изобрѣтетъ способъ искусственнаго приготовленія бѣлковыхъ веществъ, мы будемъ получать пищу непосредственно изъ земли, воды и воздуха, откуда собственно и теперь ее получаемъ, но только въ посредствующей переработкѣ животныхъ и растительныхъ организмовъ. Растенія добываютъ свой пластическій матеріалъ непосредственно изъ неорганической природы, животныя получаютъ свою плоть и кровь одни изъ растений, другія изъ животныхъ-же, а мы ѣдимъ бифштексъ съ картофелемъ и рябчика съ огурцомъ. Въ будущемъ мы уподобимся растеніямъ, съ тою разницею, что будемъ перерабатывать неорганическую природу предварительно на бѣлковинныхъ заводахъ. Конечно, это будутъ не бифштексы и котлеты, не пироги и макароны, но по питательности нѣчто равнозначительное этимъ вкуснымъ вещамъ. И г. Португаловъ побѣдоносно спрашиваетъ: «что-же тогда станеть съ пресловутымъ общиннымъ, крупнымъ и мелкимъ землевладѣніемъ?»

Да, это вопросъ! Онъ по-истинѣ «столь глубокомысленъ, что провалишься въ него». Онъ могъ-бы, впрочемъ, стать еще глубокомысленнѣе, если-бы г. Португаловъ принялъ въ соображеніе судьбу не только земледѣлія, а и скотоводства, и рыболовства, и еще многого другого. Въ самомъ дѣлѣ, стоитъ-ли, наприимѣръ, принимать мѣры противъ хищническаго истребленія рыбы, когда вѣдь и ея совсѣмъ не нужно будетъ при существованіи бѣлковинныхъ заводовъ? Можно идти еще дальше. По всей вѣроятности, гораздо раньше, чѣмъ будетъ практиковаться искусственное приготовленіе бѣлка, человечество научится получать теплоту непосредственно изъ ея первоисточника — солнца. И что тогда будетъ съ нашими лѣсами и залежами каменнаго угля, о которыхъ нѣкоторые отсталие отъ г. Португалова люди тоже полагаютъ, что ими «необходимо дорожить и беречь, какъ зеницу ока»?

Надежда на искусственное приготовленіе бѣлковыхъ веществъ вполне,

конечно, осповательна, ибо не только въ ней нѣтъ ничего, противорѣчащаго основамъ химіи и ходу развитія техники, но, напротивъ, все къ тому идетъ. Прошли тѣ времена, когда даже такіе химики, какъ Берцеліусъ, а потомъ и Либихъ, считали искусственное воспроизведеніе органическихъ соединеній рѣшительно невозможнымъ. Съ тѣхъ поръ вопросъ органическаго синтеза въ химіи достаточно подвинулся впередъ, и хотя до искусственнаго образованія бѣлка мы еще не дошли, но это, конечно, только вопросъ времени. Однако, дѣло, вѣдь, не въ томъ только, чтобы произвести въ химической лабораторіи бѣлковину, какъ давно уже произведена, на примѣръ, мочевины. Моментъ, когда ученый химикъ добьется у себя въ лабораторіи образованія искусственнаго бѣлка, будетъ въ теоретическомъ смыслѣ очень важнымъ моментомъ, но самъ по-себѣ онъ еще не будетъ имѣть того рѣшающаго для судьбы чело- вѣчества значенія, которое провидитъ г. Португаловъ. Искусственный бѣлокъ еще не есть искусственная пища. Чтобы онъ сталъ таковою, нужно, во-первыхъ, чтобы производство его въ обширныхъ размѣрахъ стало достаточно дешево для конкуренціи съ теперешними способами доставленія питательныхъ веществъ, а на это мы пока не имѣемъ никакихъ данныхъ. Правда, углерода, водорода, азота и кислорода, изъ которыхъ состоятъ бѣлковыя вещества, въ природѣ много, но это еще ничего не значитъ. Аллюминій входитъ въ составъ глины, такъ что въ природѣ его сколько угодно; однако до сихъ поръ не найденъ и, можетъ быть, никогда не будетъ найденъ достаточно дешевый способъ производства этого металла, возбуждающаго своею распространенностью и своими превосходными качествами столько надеждъ въ пятидесятихъ годахъ. А затѣмъ еще вопросъ, будетъ-ли искусственный бѣлокъ столь- же питателенъ, удобоваримъ и даже просто съѣдобенъ, какъ хлѣбъ и мясо. Можетъ быть, окажется, что посредствующая переработка неорганическихъ веществъ, совершающаяся въ живыхъ организмахъ, которыми мы питаемся, безусловно необходима для усвоенія пищи нашимъ чело- вѣческимъ организмомъ. Живой организмъ—не химическая лабораторія: химическій процессъ осложняется въ немъ процессомъ физиологиче- скимъ и, можетъ быть, это осложненіе составляетъ необходимое условіе для претворенія пищи въ нашу плоть и кровь. Конечно, все это мо- жетъ выдти и иначе; но ясно, что время полученія пищи непосред- ственно изъ земли, воды и воздуха довольно-таки отъ насъ отдаленно. Столь отдаленно, что презирать «пресловутое общинное, крупное и мелкое землевладѣніе» съ возвышенной точки зрѣнія искусственнаго бѣлка значитъ впадать въ грубѣйшую ошибку исторической перспективы. И даже до вполнѣ комическаго эффекта. На этотъ разъ ошибка состоитъ въ томъ, что вырывается клокъ изъ весьма отдаленнаго и притомъ проблематическаго будущаго и внѣдряется въ совершенно неподходящія современныя условія.

Въ прошломъ году появился фантастическій разсказъ Жюль Верна «Изъ жизни редактора въ 2889 году», переведенный у насъ въ разныхъ изданіяхъ, въ томъ числѣ и въ «Русск. Вѣд.» Редакторъ газеты «Лѣтопись вселенной», издающейся (черезъ тысячу лѣтъ) въ Центрополисѣ, политическомъ центрѣ Соединенныхъ Штатовъ, не только лично переговаривается съ женой, уѣхавшей въ Парижъ, но и собственными глазами видитъ ее при помощи «телефота», особой системы зеркаль. Онъ практикуетъ «небесныя объявленія»: тѣ самыя объявленія, которыя ютятся теперь на передней и задней страницахъ газетъ, «Лѣтопись вселенной» отражаетъ особыми приборами на поверхность облаковъ, и такъ эти объявленія велики, что могутъ быть видимы населенію цѣлыхъ городовъ, даже цѣлыхъ странъ. «Лѣтопись вселенной» сообщается «фототелеграммами» съ жителями Марса и Юпитера и т. д., и т. д., и много еще разныхъ другихъ, по нынѣшнему нашему времени трудныхъ, невозможныхъ, чудесныхъ вещей объявителъ черезъ тысячу лѣтъ. Однако, завтракъ и обѣдъ редактора «Лѣтописи вселенной» состоятъ изъ тѣхъ же potages, ragoûts, rotis и légumes, какіе мы и нынѣ вкушаемъ, а не изъ «бѣлка à la Portougaloff». При всей пылкости своей фантазіи, Жюль Вернъ не рѣшился ввести некустарвенную нищу въ картину даже столь отдаленнаго будущаго. А г. Португалову она кажется столь близкою, что уже и теперь можно чуть-чуть что не «вполюбъ и исключительно наплевать» (по выраженію Гл. Успенскаго) на вопросы землевладѣнія. Правда, г. Португаловъ можетъ возразить, что въ ошибку исторической перепективы впадаетъ въ данномъ случаѣ Жюль Вернъ, потому что, дескать, черезъ тысячу-то лѣтъ ужъ навѣрное меню завтраковъ и обѣдовъ будетъ вполюбъ и исключительно состоятъ изъ бѣлка à la Portougaloff. Я не стану спорить съ г. Португаловымъ. Въ фантастическомъ разсказѣ плодовитаго французскаго писателя можно найти не мало ошибокъ исторической перепективы. Напримѣръ, жена редактора говоритъ мужу изъ Парижа: «Я была у портнихи. Какъ хороши шляпы въ нынѣшній сезонъ! Я совершенно забыла о времени и поэтому немного замѣшкалась». Нынѣшняя дама, безъ сомнѣнія, именно такъ и именно объ этомъ разговариваетъ. Но вѣдь можно же надѣяться, что хоть черезъ тысячу лѣтъ представительницы прекраснаго пола будутъ ужъ не столь страстно относиться къ фасонамъ модныхъ шляпокъ. А то что-же это такое: фототелефоты, фототелеграммы, небесныя объявленія, сношенія съ жителями другихъ планетъ и прочее такое, а дама, какъ была дамой, такъ и осталась! Этому трудно повѣрить, равно какъ и многому другому, что разсказываетъ Жюль Вернъ. Но изъ этого только то и слѣдуетъ, что Жюль Вернъ впадаетъ въ ошибки исторической перепективы, а совсѣмъ не то, что г. Португаловъ никакой ошибки не дѣлаетъ. Притомъ-же Жюль Вернъ имѣетъ за себя такія оправданія, за которыя г. Португаловъ не можетъ, а

частью и не захочет укрыться. Во-первыхъ, Жюль Вернъ просто занимательный рассказчикъ, болѣе или менѣе удачно комбинирующій беллетристическую фантазію съ данными науки, и дальше этого его претензіи не идутъ; проницательное и побѣдоносное глубокомысліе г. Португалова ему совершенно чуждо. А значить съ него много и спрашивать нельзя. Кромѣ того, ошибки исторической перспективы имѣютъ у Жюля Верна совершенно опредѣленный характеръ, чисто условный и потому не могущій никого ввести въ заблужденіе. У него вотъ черезъ тысячу лѣтъ женщины о парижскихъ модныхъ шляпкахъ толкуютъ, Россія съ Англіей изъ-за обладанія Индіей соперничаютъ, принципы организаціи газеты совершенно тѣ-же, что и нынѣ и т. д. Только все это снабжено колоссальными силами техническихъ усовершенствованій. Приѣмъ этотъ, послѣдовательно проведенный, не только ничего не путаетъ, а имѣетъ даже извѣстныя положительныя достоинства, ибо проводитъ опредѣленную границу между прогрессомъ и идеаломъ техническимъ, съ одной стороны, и прогрессомъ и идеаломъ общественнымъ—съ другой. Всѣмъ своимъ фантастическимъ рассказомъ Жюль Вернъ какъ-бы говоритъ, что прогрессъ знанія силъ природы и умѣнія ихъ утилизировать самъ по-себѣ не вліяетъ кореннымъ образомъ на соотношеніе, распредѣленіе и перераспредѣленіе общественныхъ элементовъ; что въ этомъ послѣднемъ отношеніи прогрессъ долженъ выработать себѣ особое, прямо житейское русло.

Аристотель мечталъ: «Когда каждый рабочій инструментъ могъ-бы исполнять свойственную ему работу по прикаанію или по предчувствію, когда челноки ткача ткали-бы сами собой, то мастеру не надобно было помощниковъ и господину рабовъ». Приведя эти слова и еще подобныя-же слова поэта Антипароса, Марксъ замѣчаетъ, что мечтанія древнихъ философа и поэта не пришлось осуществиться, хотя челноки ткача и ткуть сами собой. Древніе не понимали, что машина, это сильнѣйшее средство для сокращенія рабочаго времени, можетъ, попавъ въ извѣстную комбинацію общественныхъ силъ, оказаться «дѣйствительнѣйшимъ средствомъ превращенія всей жизни рабочаго и его семейства въ рабочее время, которымъ располагаетъ капиталъ для увеличенія своей стоимости». Такимъ образомъ техническій идеалъ, рисовавшійся Аристотелю, осуществленъ, но не повелъ за собой осуществленія идеала общественного. И кто знаетъ, какъ оно тамъ будетъ на бѣлковинныхъ заводахъ, когда техника до нихъ доработается? Можетъ быть и въ этомъ случаѣ успѣхи техники произведутъ столь-же неожиданные и парадоксальные результаты, извѣстнымъ образомъ преломившись въ социологической средѣ и, между прочимъ, въ формахъ землевладѣнія. Г. Португаловъ можетъ держаться на этотъ счетъ какого ему угодно мнѣнія, но не годится ему все-таки пролизировать надъ тѣми, кто понимаетъ разницу между техническимъ идеаломъ и идеаломъ общественнымъ, кто, въ ожиданіи искусственнаго производства пищи будущаго,

не отказывается думать о распределеніи естественной пищи настоящаго.

Изъ всего вышенаприведеннаго слѣдуетъ, что конечный общественный идеалъ не можетъ быть выраженъ какими-нибудь конкретными образами. Такъ называемыя утопіи имѣютъ свою условную цѣнность, какъ произведенія литературныя и, въ особенности, сатирическія, ибо въ большинствѣ ихъ сатирическій элементъ играетъ существенную роль. Имѣютъ или могутъ имѣть онѣ еще другую, болѣе высокую, цѣнность въ качествѣ малковъ, намѣчающихъ желательное направленіе нашей дѣятельности. Но ошибки исторической перспективы составляютъ неизбѣжную ихъ принадлежность, когда онѣ занимаютъ изображеніемъ практическихъ подробностей будущаго общественного строя. Въ этихъ случаяхъ утописты неизбѣжно вводятъ въ свои фантастическія картины будущаго такія детали, заимствованныя изъ настоящаго, которымъ въ будущемъ, по всей вѣроятности, и мѣста не будетъ. Другой типъ ошибокъ исторической перспективы состоитъ, наоборотъ, въ томъ, что отдѣльные моменты отдаленнаго и проблематическаго будущаго незаконно вносятся въ нашу теперешнюю жизнь.

Для примѣра этой послѣдней ошибки я привелъ курьезную выходку г. Португалова. Въ этого рода ошибки могутъ впадать всякіе люди, недостаточно вдумывающіеся въ свои слова, но въ особенности свойственны онѣ излишне самоувѣреннымъ моралистамъ. Вѣруя въ силу своей личной проповѣди, которая бываетъ иногда очень талантлива и имѣетъ шумный, хотя и не глубокий и не серьезный успѣхъ, или въ силу своего личнаго примѣра, иногда очень возвышеннаго, эти люди склонны уединять свою мораль отъ всѣхъ условий, благопріятствующихъ или препятствующихъ ея осуществленію. Имъ кажется, что стоить только повторять извѣстную моральную истину или то, что имъ представляется истиной, и она развѣтетъ и дастъ хорошіе плоды во всякое время и независимо отъ какихъ-бы то ни было условий. Отсюда ихъ нелюбовь къ житейской борьбѣ изъ-за этихъ самыхъ условий: объ чемъ толковать? объ чемъ хлопотать? зачѣмъ реформа общественныхъ условий? Стоить только послушаться моралиста — и дѣло будетъ въ шляпѣ! Прекраснымъ образчикомъ этого не то что размышленія, а настроенія самоувѣренныхъ моралистовъ можетъ служить извѣстная мысль Достоевскаго, что помѣщица Коробочка и ея крѣпостные могли бы, оставаясь въ тѣхъ же правовыхъ отношеніяхъ, явить собою высокій типъ нравственнаго союза, если-бы прониклись христіанскою моралью. При такомъ образѣ мыслей или, вѣрнѣе, при такомъ складѣ ума ошибки исторической перспективы, очевидно, неизбѣжны.

Въ маленькой книжкѣ г. Рейгардта «Необыкновенная личность» разказывается, къ сожалѣнію, очень кратко, исторія жизни и мысли нѣкоего Гейнса или Фреда. Человѣкъ этотъ былъ (онъ умеръ въ 1888 г.)

дѣйствительно недюжинный. Будучи молодымъ офицеромъ съ блестящею будущностью, онъ бросилъ въ половинѣ шестидесятыхъ годовъ карьеру и уѣхалъ въ Америку съ цѣлью примкнуть къ одному изъ тамошнихъ религіозно-коммунистическихъ обществъ. Шагъ этотъ г. Рейнгардтъ приписываетъ вліянію идей Фурье, Овена и проч.; но, повидимому, тутъ вліяли и другія причины. Какъ-бы то ни было, Гейнесъ уѣхалъ въ Америку, принялъ американское подданство, сталъ называться Вильямомъ Фреемъ и нѣсколько лѣтъ, очень бѣдствуя, мыкался, то примыкая къ какой-нибудь общинѣ, то основывая свою. Между прочимъ, среди этихъ странствованій и лишеній, Фрей познакомился съ однимъ вегетаріанцемъ и отъ него усвоилъ вегетаріанскую доктрину. Далѣе онъ познакомился съ ученіемъ Огюста Конта и съ позитивистскою общиною въ Америкѣ и сталъ страстнымъ позитивистомъ. Переѣхавъ затѣмъ въ Лондонъ, Фрей вступилъ въ число членовъ тамошняго общества позитивистовъ, опять-таки претерпѣвалъ большія лишенія, а въ 1886 г. пріѣхалъ на нѣсколько мѣсяцевъ въ Петербургъ, съ цѣлью пропаганды своихъ идей. Пропаганда эта была, повидимому, совершенно неудачна, и единственнымъ слѣдомъ ея остается обширное письмо Фрея къ гр. Л. Н. Толстому, приложенное къ брошюрѣ г. Рейнгардта, къ сожалѣнію, съ большими пропусками. Не надо, впрочемъ, знакомства съ этимъ письмомъ, чтобы видѣть, что названіе «Необыкновенной личности» Фрей заслуживаетъ не обширностью или оригинальностью ума. Человѣкъ безспорно неглупый и хорошо образованный, онъ, однако, слишкомъ легко поддавался всякимъ встрѣчнымъ вліяніямъ. Идей Фурье, Овена и проч. потянули его въ Америку, встрѣча его съ вегетаріанцемъ, встрѣча съ позитивистами опредѣляютъ дальнѣйшее теченіе его жизни. Все это не свидѣтельствуетъ о «необыкновенныхъ» умственныхъ качествахъ Фрея, но его нравственные достоинства дѣйствительно выходили изъ ряда вонъ. Онъ всю жизнь искалъ правды и, признавъ, наконецъ, нѣчто за правду, отдавался ей цѣликомъ, не отдѣлая слова отъ дѣла и претерпѣвая ради своей идеи всевозможныя лишенія.

Отсылая читателя къ брошюрѣ г. Рейнгардта за фактами, свидѣтельствующими о возвышенности нравственной личности Фрея, я останавливаюсь только на томъ, что близко соприкасается съ содержаніемъ настоящаго письма.

Въ письмѣ Фрея къ гр. Толстому есть, между прочимъ, такое замѣчаніе: «Позитивистъ (такъ называетъ Фрей себя и людей, отъ имени которыхъ онъ говоритъ) можетъ имѣть антипатію къ войнѣ и обязанъ поэтому всѣми силами своей души работать надъ торжествомъ мира; но и въ такомъ случаѣ онъ не смѣетъ сказать, что война абсолютно вредна; онъ всегда долженъ помнить возможность такихъ обстоятельствъ, при которыхъ война становится необходимостью. Потому, когда онъ встрѣчается съ людьми, имѣющими симпатію къ военной службѣ, онъ не

считать их отверженцами». Въ этомъ-же смыслѣ упоминаеть Фрей и о судѣ. Въ обоихъ этихъ случаяхъ онъ имѣеть въ виду извѣстные параграфы ученія гр. Толстого, отвергающіе военную и судебную функціи, не только въ будущемъ, «когда прекратится въ нихъ надобность», вообще, а и сейчасъ, для отдѣльныхъ личностей, которыя послушаются моралиста. Это — указаніе на ошибки исторической перспективы, и именно на тотъ типъ ихъ, который вырываетъ изъ отдаленнаго будущаго отдѣльные моменты и видѣраетъ ихъ въ неподходящія условія современной нашей жизни.

Если, однако, Фрей въ этихъ двухъ случаяхъ совершенно правъ, то нельзя того-же сказать о другихъ его замѣчаніяхъ. Нельзя этого сказать о нѣкоторыхъ его самыхъ коренныхъ убѣжденіяхъ, высказывая которыя, онъ и самъ впадаетъ въ тяжкія ошибки исторической перспективы. Фрей — позитивистъ или, точнѣе, контистъ, одинъ изъ тѣхъ, кто признаеть обѣ половины дѣятельности Огюста Конта, то есть и «Курсъ положительной философіи», и «Систему положительной политики» съ «религіей человечества». Въ міровоззрѣніи это онъ вноситъ нѣкоторыя личныя поправки; не совсѣмъ, впрочемъ, личныя, потому что онъ заимствуетъ ихъ частью у Спенсера, частью у старыхъ социалистовъ, частью у вегетарианцевъ, частью у вульгарныхъ моралистовъ. Но доктрина Фрея въ дѣломъ насъ здѣсь не интересуетъ, да она и не вполне ясна, такъ какъ его немногочисленные сочиненія намъ неизвѣстны, а письмо къ гр. Толстому напечатано г. Рейнгардтомъ съ большими и, повидимому, очень существенными пропусками. Для насъ важно отмѣтить, что сквозь все ученіе Фрея, насколько оно выясняется брошюрой г. Рейнгардта, и сквозь всю его жизнь проходитъ весьма опредѣленная аскетическая струя. Г. Рейнгардтъ это отрицаеть, однако, на основаніи такихъ соображеній, которыя едва-ли можно принять. Онъ говоритъ: «Аскетъ съ презрѣніемъ относится къ тѣлу, старается умертвить всѣ физическія потребности. Но вслѣдствіе насильственнаго умерщвленія послѣднихъ, у аскета развивается мрачный, злобный характеръ, съ придачей еще необыкновеннаго самомнѣнія; злоба его очень часто проявляется въ строгомъ отношеніи къ людскимъ слабостямъ, а самомнѣніе — въ стремленіи къ возвеличенію собственной личности, въ презрительномъ отношеніи къ людямъ, отношеніи, скрываеомомъ подъ маскою смиренія. Фрей ничѣмъ не походилъ на подобныхъ лицъ». Конечно, если подставить въ понятіе аскета тѣ черты, которыя ему усвоиваеть г. Рейнгардтъ, такъ въ характерѣ Фрея не найдется аскетической струи. Но г. Рейнгардтъ очень ужъ безцеремонно обращается съ аскетизмомъ. Ни логически, ни психологически, ни исторически нельзя установить причинную связь между аскетизмомъ съ одной стороны и самомнѣніемъ и злобой съ другой. Возможны, конечно, и такіе аскеты, но возможны и вполне добродушные и дѣйствительно смиренные. И если, не мудр-

ствуя лукаво, устранить совершенно произвольное толкованіе г. Рейнгардта, то всякій, я полагаю, признаетъ въ ученіи и жизни Фрея извѣстную долю аскетизма. Въ Лондонѣ Фрей съ своей семьей и нѣкоторыми послѣдователями жилъ такъ: «они употребляли два раза въ день самую скудную пищу, не допуская при этомъ никогда мяса, чая, кофе и алкоголя во всевозможныхъ видахъ». Въ Америкѣ Фрей нарочно, во славу вегетаріанизма, «въ теченіе нѣсколькихъ дней тяжелаго физическаго труда питался одними яблоками». Отъ людей, бесѣдовавшихъ съ Фреемъ во время его пребыванія въ Петербургѣ, я знаю, что онъ отрицалъ не только животную пищу, алкоголь, чай, кофе, но даже употребленіе соли. Я слышалъ также (поручиться не могу), что въ Америкѣ его суровая требовательность въ этомъ отношеніи повела къ раздорамъ въ основанной имъ тамъ общинѣ. Наконецъ, самое удаленіе Фрея изъ водоворота жизни въ лѣса и пустыни Америки, для устройства тамъ плоческаго общежитія, носитъ на себѣ явно аскетическую окраску; причеъ я вовсе не вижу надобности дѣлать изъ «аскетизма» ругательное или хвалебное слово, а просто указываю фактъ. Какъ и всякій приверженецъ аскетическаго идеала, Фрей разсчитывалъ, путемъ подавленія требованій плоти, поднять тонъ духовной жизни. А его чрезвычайная вѣра въ силу личной проповѣди и личнаго примѣра опредѣлила его отношенія къ значенію общественной реформы. Онъ считаетъ безусловно ошибочною мысль Роберта Овена (не одного его, конечно), «будто нравственность человѣка зависитъ отъ вліянія внѣшнихъ обстоятельствъ». Онъ съ негодованіемъ говоритъ о людяхъ, которые, «чтобы какъ-нибудь удовлетворить высшимъ стремленіямъ, къ счастью никогда не исчезающимъ совершенно, со всею злобою узкаго фанатизма требуютъ переменъ политическихъ и экономическихъ формъ; они не видятъ, что причина зла заключается не въ формахъ жизни, а въ нихъ самихъ, въ нравственной негодности людей, составляющихъ общество».

Что ученіе о вліяніи общественной среды на нравственность достигало иногда преувеличенной напряженности и незаконно подавляло значеніе личнаго почина и личной отвѣтственности, это совершенно справедливо. Но противоположная крайность отрицанія вліянія «формъ жизни» не менѣе вредна и еще болѣе ошибочна. И вовсе не нужно «злобы узкаго фанатизма», чтобы ожидать благихъ или печальныхъ послѣдствій для нравственности отъ той или другой перемены въ строѣ общественной жизни. Бываютъ, конечно, всякія исключенія, но все, основанное на исключеніяхъ, непременно будетъ зданіемъ, на пескѣ построеннымъ. Какъ ни расширяйте районъ дѣйствія проповѣди и примѣра людей вродѣ Фрея, общій складъ жизни останется ими даже незатронутымъ, если только въ составъ ихъ морали не войдетъ прямое воздѣйствіе на этотъ общій складъ. Это до такой степени ясно, что едва-ли даже нуждается въ пространныхъ доказательствахъ. Я останавлиюсь только

на одномъ соображеніи. Если все дѣло въ личной нравственности, которая можетъ процвѣтать и приносить плоды при всевозможныхъ общественныхъ условіяхъ, если причина зла заключается не въ формахъ жизни, то этимъ самымъ произносится рѣзко осуждающій приговоръ надъ всею жизнью Фрея. Пусть онъ былъ далекъ отъ «злобы узкаго фанатизма», но, спрашивается, зачѣмъ-же онъ ѣздилъ въ Америку, какъ не ради новыхъ формъ жизни, которыхъ нѣтъ ни въ нашемъ отечествѣ, ни въ Европѣ? Кто ему мѣшалъ являть собою примѣръ высокой личной нравственности у себя на родинѣ?



О женщинахъ и о донъ-жуанахъ.

Издравле и по сейчасъ женщина составляетъ для мужчины предметъ или крайняго презрѣнія, ненависти, страха, или-же, наоборотъ, восторженнаго поклоненія. Женщина есть, по словамъ старинныхъ русскихъ книжниковъ, «святымъ оболательница, покоище змино, діаволь цвѣтъ, безъ истлѣнія злоба, спасаемымъ соблазненная, гостинница пагубная, торжище бѣсовское» и т. д., и т. д., еще цѣлые десятки самыхъ ухищренныхъ ругательствъ и обвиненій. А вотъ г. Фофоновъ полагаетъ, что «женщина—отблескъ мерцанія майскаго, лучъ золотой надъ гробницами тлѣнія, женщина—тѣнь изъ селенія райскаго, женщина—счастье, любовь и прощеніе» и еще многое другое, столь же неудобопонятное, но и столь-же лестное. Дѣло не въ томъ, что г. Фофоновъ есть современнѣйшій изъ поэтовъ, а старинные книжники давнымъ-давно покоятся въ «гробницахъ тлѣнія». И теперь можно встрѣтить немало единомышленниковъ этихъ старинныхъ книжниковъ, и въ древнѣйшія времена слагались гимны женщины не хуже тѣхъ, которые поетъ г. Фофоновъ. Всегда такъ было и, пожалуй, еще долго такъ будетъ. Можно, однако, надѣяться, что наступитъ когда-нибудь этой вѣковой безмыслицѣ конецъ, ибо вѣдь это, въ самомъ дѣлѣ, безмыслица. И станетъ, наконецъ, женщина не ангеломъ или демономъ, не божествомъ или животнымъ, а человѣкомъ.

Меня всегда поражала внутренняя противорѣчивость большинства ругательствъ и комплиментовъ, обращенныхъ къ женщиѣ. Старинные книжники дѣлаютъ невольный комплиментъ женщиѣ въ томъ смыслѣ, что признаютъ за ней огромную силу, отъ которой бѣжать пужно. Наоборотъ, любезности, обращенныя къ женщинамъ, сплошь и рядомъ пропитаны оскорбленіемъ. И женщины, къ сожалѣнію, слишкомъ часто преклоняютъ слухъ свой къ этимъ двусмысленнымъ любезностямъ.

Поэтъ пазоветъ женщину розой или лилей, и выходитъ, какъ будто очень хорошо и лестно, а между тѣмъ что-же тутъ лестнаго? Въдѣ это во всякомъ случаѣ разжалованіе изъ человѣковъ въ красивыя растенія. Конечно, поэтъ былъ за тридцать земель отъ мысли нанести оскорбленіе и просто вращался, вмѣстѣ съ своей вдохновительницей, въ мірѣ условныхъ отношеній, условныхъ понятій, условнаго языка, и все эти условности могутъ быть сами по себѣ совершенно безвредны и поэтически милы. Но онѣ знаменуютъ собою нѣкоторый общій порядокъ, чреватый, между прочимъ, и не столь невинными двусмысленностями. Такъ, женщина, одурманенная разнымъ вздоромъ въ родѣ «отблеска мерцанія майскаго» и «тѣни изъ селенія райскаго»,—какой въ самомъ дѣлѣ удивительно безмысленный наборъ словъ!—можетъ чувствовать себя побѣдительницей наканунѣ того, что и она сама, и лицемѣрное общественное мнѣніе считаютъ позоромъ и паденіемъ. Въ чемъ побѣда, если она копчается позоромъ? въ чемъ позоръ, если онъ есть результатъ побѣды?

Я, впрочемъ, не непосредственно объ этихъ деликатныхъ житейскихъ дѣлахъ хочу говорить, а о томъ освѣщеніи, которое дается имъ попытками точной систематизаціи фактовъ. Передо мною одна изъ такихъ попытокъ,—брошюра г. Рейнгардта «Женщина передъ судомъ уголовнымъ и судомъ исторіи». Тема интересная; есть объ чемъ подумать и поговорить.

Брошюра г. Рейнгардта открывается самими, повидимому, непреложными данными и доводами, какіе только имѣются въ распоряженіи человѣческаго ума,—данными числовыми, статистическими: цифра есть, цифра неумолимо точное, безпристрастное, неподкупное. На самомъ дѣлѣ, однако, цифра весьма часто оказывается орудіемъ слишкомъ грубымъ и мертвымъ, чтобы на нее можно было положиться безъ многихъ и многихъ предварительныхъ логическихъ операцій. Такою именно является цифра въ брошюрѣ г. Рейнгардта. Онъ приводитъ, на примѣръ, тотъ статистическій фактъ, что въ Японіи, Индіи, Южной Америкѣ и нѣкоторыхъ частяхъ Сѣверной Америки на 97 мужчинъ, заключенныхъ въ тюрьму, приходится только 3 женщины; въ значительной части Соединенныхъ Штатовъ процентъ женскаго тюремнаго населенія достигаетъ до 10; въ Китаѣ и Европѣ онъ доходитъ до 20; во Франціи приходится около 16 женщинъ на 84 осужденныхъ мужчинъ; въ Туринской тюрьмѣ въ теченіе 14 лѣтъ перебивало 56,294 мужчинъ и только 7,442 женщины, то есть въ 7 разъ меньше. Отсюда выводъ г. Рейнгардта: «женщина въ моральномъ отношеніи несравненно выше мужчины». Такимъ образомъ, устами г. Рейнгардта, сама наука или по крайней мѣрѣ статистика свидѣтельствуетъ свое почтеніе женщинамъ и, если не называетъ при этомъ женщину «отблескомъ мерцанія майскаго» и «тѣнью селенія райскаго», такъ только потому, что эти

восторженные выраженія не идутъ къ ея, пауки, величаво-холодному облику. Г. Рейнгардтъ притягиваетъ, впрочемъ, на защиту своихъ тезисовъ и поэзію, равно какъ и практическую текущую жизнь или по крайней мѣрѣ уголовную практику. Но посмотримъ нѣсколько ближе на приведенныя цифры и на сдѣланный изъ нихъ нашимъ авторомъ выводъ. Казалось-бы, все здѣсь безупречно: цифры, допустимъ, совершенно вѣрны, выводъ очевидно правиленъ. Правильно-ли, однако, мѣрить «моральную возвышенность» мужчинъ и женщинъ процентомъ поставляемаго тѣми и другими «тюремнаго населенія»? Прежде всего есть не мало видовъ преступленій, недоступныхъ для женщинъ не по «моральности» ихъ природы, а по условіямъ ихъ общественнаго положенія. Напримѣръ, всѣ преступленія, связанныя съ отправленіемъ государственной, а отчасти и частной службы, минуютъ женщинъ уже просто потому, что онѣ на государственную службу не допускаются совсѣмъ, а на частную лишь въ сравнительно немногихъ случаяхъ. Женщинъ-дезертировъ, или женщинъ, осужденныхъ за превышеніе или бездѣйствіе власти, дѣйствительно нѣтъ, но, весьма вѣроятно, только потому, что нѣтъ женщинъ-солдатъ и женщинъ-чиновниковъ. Жена, мать, дочь, сестра, любовница дезертира или чиновника, превысившаго власть, оказавшаго бездѣйствіе власти или попавшагося во взяткахъ, казнокрадствѣ, въ многоразличныхъ преступленіяхъ по должности, могутъ быть въ моральномъ отношеніи несколько не выше своего преступнаго мужа, сына и т. д., могутъ быть даже настоящимъ инициаторомъ и виновникомъ преступленія и, однако, не увеличатъ собою «тюремнаго населенія». Это разъ. Далѣе, по нѣкоторымъ преступленіямъ малочисленность женскаго контингента объясняется не какими-нибудь моральными качествами женщинъ, а ихъ физическою слабостью: таковъ, напр., грабежъ. Женщина можетъ направить своего мужа или сына на большую дорогу, но сама на нее не выйдетъ, потому что что же она награвитъ? Уголовная статистика свидѣтельствуетъ, что процентъ женщинъ-убійцъ не великъ, но процентъ специально отравительницъ сравнительно очень великъ. И это понятно, въ виду физической слабости женщинъ, которая не позволяетъ имъ дѣйствовать открытымъ насиліемъ и въ тѣхъ случаяхъ, когда моральное чувство не препятствуетъ подсыпая кому слѣдуетъ мышьяку. Есть, наконецъ, преступленія, участіе въ которыхъ не бросаетъ ни малѣйшей тѣни на моральный характеръ преступника, а иногда даже совсѣмъ напротивъ. Въ бурной европейской жизни часто случается, что то самое, что вчера считалось политическимъ преступленіемъ и, какъ таковое, каралось, сегодня восхваляется, какъ патріотическій или геройскій поступокъ. «Тюремное населеніе» Франціи, напримѣръ, послѣ декабрьскаго переворота и во все время владычества Наполеона III, сильно увеличилось, и если въ этомъ приростѣ женщины не участвовали совсѣмъ

или участвовали очень мало, то это вовсе не говорить о ихъ «моральной возвышенности». Но даже и помимо этихъ случаевъ, пересчитать обитателей тюремъ еще не значить приблизиться къ точнымъ выводамъ относительно чьего бы то ни было моральнаго характера. Есть преступленія несомнѣнныя, признаваемые таковыми «не токмо за страхъ, но и за совѣсть», и которыя, однако, не великій признають свидѣтельствомъ низкаго моральнаго характера.

Любопытно, что самъ г. Рейнгардтъ принадлежитъ къ числу этихъ «не всякихъ» и приводитъ нѣсколько примѣровъ преступленій, не только не вызывающихъ съ его стороны негодованія или осужденія, но напротивъ привлекающихъ къ себѣ все его симпатіи. Правда, эти примѣры относятся исключительно къ женщинѣ, такъ что, снисходительно относясь къ ихъ преступленіямъ, пашъ авторъ не измѣняетъ своей галантности. Онъ начинаетъ съ мнѣической преступницы—Меден. Дама эта убила, какъ извѣстно, изъ ревности Креузу, убила потомъ своихъ дѣтей отъ Язона, но г. Рейнгардтъ галантно винить во всей этой страшной драмѣ Язона, а въ Меденѣ видитъ только «типъ женщины, которая, лишившись семьи, оскорбленная въ самыхъ дорогихъ чувствахъ и потерявъ подъ вліяніемъ страшной ревности моральное равновѣсіе, не знаетъ уже никакого другого чувства, кромѣ мести». О чувствахъ и характерѣ Меден г. Рейнгардтъ говоритъ съ большою симпатіей и уваженіемъ, хотя, по нынѣшнему времени, непременно-бы ей въ тюрьмѣ быть, а, значить, пребываніе въ тюрьмѣ даже за убійство еще не говорить, съ точки зрѣнія самого г. Рейнгардта, о моральной низости. Но Богъ съ ней, съ мнѣической Медей. Замѣчу только, что если собрать различныя сказанія объ этой женщинѣ, то она окажется кровожаднымъ и жестокимъ созданіемъ и помимо убійствъ, вызванныхъ местию за измѣну Язона. Задолго до этой измѣны, въ медовый мѣсяцъ любви, она предала Язону тайну золотого руна, потомъ убила брата своего Абсирта, изрѣзала его трупъ на куски и съ утонченною жестокостью бросала эти куски братнина трупа въ море, чтобы ихъ доставалъ отецъ, преслѣдовавшій ее и Язона. Пѣтъ, нехорошая это была дама, но, повторяю, Богъ съ ней. Обратимся къ одному изъ реальныхъ житейскихъ случаевъ, приводимыхъ г. Рейнгардтомъ.

Въ 1880 г. нѣкая Марія Бьеръ стрѣляла на улицѣ въ Роберта Жансьена и за это судилась. Оказалось, что Жансьень соблазнилъ дѣвушку и потомъ бросилъ. Г. Рейнгардтъ очень бранить Жансьена и съ большимъ сочувствіемъ относится къ Маріи Бьеръ. Не зная дѣла, не берусь и судить объ немъ. Очень можетъ быть, что Жансьень — распутный негодяй, какихъ очень много, а Марія заслуживаетъ полнаго сочувствія. Но, во-первыхъ, это лишній аргументъ противъ отождествленія преступленія съ моральною низостью, а во-вторыхъ, г. Рейнгардтъ приводитъ одно письмо Маріи, «вполнѣ характеризующее состояніе ея

души», которое вызывает и во мнѣ искреннѣйшее сожалѣніе къ Маріи, но нѣсколько болѣе сложное, чѣмъ то, какое одушевляетъ г. Рейнгардта. Марія пишетъ Жансену: «Робертъ! если-бы вы знали всѣ тѣ муки, которыя я испытываю, *не выдавши васъ два дня*, вы-бы пролили потоки слезъ отъ стыда и раскаянія, потому что вѣдь вы не такъ-же злы, какимъ хотите казаться». Далѣе она грозитъ своему возлюбленному самоубійствомъ, «чтобы подвергнуть васъ угроженію совѣсти и чтобы разстрѣлить васъ среди вашихъ наслажденій». Письмо оканчивается требованіемъ: «вернись ко мнѣ, *люби меня*». Да, эта несчастная дѣвушка, дѣйствительно, достойна глубокаго сожалѣнія. Есть безобразная русская поговорка, по всей вѣроятности сочиненная мужчинами: «Люби не люби, да почаще взглядывай». Безобразіе тутъ въ томъ, что для повторяющаго эту поговорку совершенно наплевать на внутренний, душевный міръ его возлюбленной: пожалуй, молъ, не люби, мнѣ это все равно, мнѣ взглядъ нужень, взглядъ, ласка и все прочее, хоть изъ-подъ палки. Я не знаю, кого больше унижаетъ такая любовь: того-ли, кто ее требуетъ и беретъ, или ту, кто ее даетъ. Но какъ ни отвратительны подобныя отношенія, а требованіе Маріи Бьеръ — «вернись ко мнѣ, люби меня» — въ своемъ родѣ, пожалуй, еще хуже. Оно не такъ грубо съ внѣшней стороны и на первый взглядъ, потому что Марія къ чувству взываетъ. Но тѣмъ возмутительнѣе или, въ лучшемъ случаѣ, тѣмъ безумнѣе эта попытка насилія надъ чужой душой, попытка, завѣдомо обреченная на неуспѣхъ и потому способная только мучительно осложнить дѣло. Марія могла требовать, чтобы ея Робертъ являлся къ ней не черезъ два дня, а каждый день. Если-бы онъ это дѣлалъ противъ своего желанія, то хорошаго тутъ ничего-бы не вышло, но по крайней мѣрѣ онъ могъ исполнить это требованіе, равно какъ взять на себя всяческую отвѣтственность за послѣдствія своего сближенія съ Маріей. Онъ могъ-бы даже до гробовой доски донести это ярмо, но любить, когда не любишь... что можетъ быть ужаснѣе и безумнѣе той тиранин, которая заключается въ этомъ, повидимому, столь трогательномъ требованіи? Перенесите это требованіе изъ сферы отношеній между женщиной и женщиной въ другія рамки, въ другую обстановку, и вы навѣрно возмутитесь, но здѣсь васъ подкупаетъ несчастіе Маріи Бьеръ. Да, она по-истинѣ несчастна. Несчастна, во-первыхъ, тѣмъ, что судьба столкнула ее съ распутнымъ негодяемъ, а во-вторыхъ, тѣмъ, что можетъ, угрожая самоубійствомъ или убійствомъ, требовать: *люби меня*...

Чтобы достойно оцѣнить это послѣднее несчастіе, последуемъ дальше за г. Рейнгардтомъ. «Возвышенные женскіе характеры» нашъ авторъ сводитъ къ тремъ типамъ: Пенелопы, Эгерии и Сивиллы. Все это возвышенные характеры, но особенную симпатіей автора пользуется, кажется, типъ Пенелопы. Онъ говоритъ: «Дѣятельность Пенелопы, по-

видимому, ничтожна, неширока, она вся сосредоточилась на интересах семьи, на мелком домашнем хозяйствѣ, но, однако, это та скромная, муравьиная работа, незамѣтная для простого наблюдателя, но представляющаяся грандіозной по своимъ результатамъ. Женщина типа Пенелопы оказала величайшую услугу человечеству: этотъ типъ создалъ семью, создалъ родину, возбудилъ въ нестойкой и безпокойной натурѣ мужчины любовь къ постоянству, сдѣлавъ милымъ домашній очагъ, родную землю». Входя въ подробности, авторъ почему-то совсѣмъ не говоритъ о материнскихъ добродѣтеляхъ и заслугахъ этого типа, но за то высоко цѣнитъ непреоборимую вѣрность Пенелопы мужу своему, Одиссею. Онъ высказываетъ при этомъ мысль о высокомъ нравственномъ значеніи вѣчнаго вдовства, ссылался и на слова Огюста Коита и Вовенарга, и на ветхозавѣтный примѣръ Юдифи, которая осталась до конца дней своихъ вѣрою памяти мужа своего Манассии, хотя жениховъ у нея было можетъ быть не меньше, чѣмъ у Пенелопы. Юдифь, впрочемъ, относится уже къ типу Сивиллы, а не Пенелопы. Заканчивая свой очеркъ типа Пенелопы, авторъ говоритъ много любезностей женщинамъ, которая «прежде мужчины стужала подчинить самые энергическіе инстинкты животной природы требованіямъ нравственнаго идеала», которая «прежде мужчины стала проявлять симпатическія чувства» и т. д. Однако, скромную, хотя и великою ролью Пенелопы г. Рейнгардтъ не ограничиваетъ жизненное поприще благородныхъ женскихъ характеровъ. Они могутъ выражаться еще въ типѣ Эгеріи — мудрой совѣтницы, вдохновительницы мужчины на великіе подвиги, и Сивиллы, которая сама совершаетъ благое, иногда великое дѣло на пользу человечества, независимо отъ мужчины.

Если имя нимфы Эгеріи, вдохновлявшей нѣкогда Нуму Помпилія, можетъ быть совершенно правомѣрно усвоено всякой совѣтницѣ и вдохновительницѣ мужчины, то едва-ли столь-же умѣстно названіе Сивиллы для женщины, дѣйствующей за своей собственной страхъ и счетъ. Повидимому, г. Рейнгардтъ совсѣмъ нечаянно обобщилъ имя миѳической прорицательницы, увлекшись Мишле, у котораго онъ заимствовалъ краснорѣчивую страницу, не позаимствовавшись общимъ поэтическимъ колоритомъ, многое оправдывающимъ. Дѣло, впрочемъ, не въ названіи, а въ томъ, что г. Рейнгардтъ склоненъ находить настоящихъ Сивиллъ преимущественно во времена, отъ насъ болѣе или менѣе отдаленныя: Девора, Юдифь, Иоанна д'Аркъ. Сюда-же онъ причисляетъ, слѣдуя Мишле, и опять-таки, повидимому, совсѣмъ нечаянно (сейчасъ скажу, почему я такъ думаю), средневѣковыхъ «знахарокъ, колдуній, волшебницъ». Всѣ эти фигуры кажутся г. Рейнгардту изъ своей исторической дали прекрасными, возвышенными. Переходя ко временамъ новѣйшимъ, онъ встрѣчаетъ все больше уже не настоящихъ Сивиллъ, а какъ-бы неудачныя пародіи на Сивиллу. Такими представляются ему женщины

французской революціи: г-жа Роланъ, г-жа Сталь, Олимпія де - Гужъ, Теруашъ де-Мерикуръ «и нѣкоторыя другія». По мнѣнію г. Рейнгардта, «въ бурныя общественныя эпохи женщины иногда стремятся выдвинуться впереди политическаго движенія, но попытки ихъ въ большинствѣ случаевъ оказываются неудачными. Увлекаясь зачастую честолюбивыми стремленіями, погружаясь въ міръ мелкихъ интригъ и низкихъ страстей, онѣ падаютъ подъ ударами событій, не оставивъ прочнаго слѣда своей эфемерной дѣятельности; но въ особенности печальна бываетъ участь тѣхъ, которыя, не соразмѣривъ своихъ силъ, не понявъ хорошенько хода событій и руководствуясь только порывами своего сердца, а не разсудка, бросаются въ общественную дѣятельность, когда въ этомъ нѣтъ никакой надобности». Вышеупомянутыя женщины французской революціи «увлеклись дѣломъ, несоотвѣтствующимъ ни роли, ни характеру женщины». «Несравненно симпатичнѣе представляются тѣ изъ женщинъ этой эпохи, которыя не вмѣшивались въ борьбу политическихъ партій, но, посвящая себя семейной жизни, ограничили свою дѣятельность небольшимъ, скромнымъ кругомъ, гдѣ вліяніе ихъ было чрезвычайно сильно и благотворно». Съ особенною любовью останавливается нашъ авторъ на дѣйствительно прекрасномъ образѣ г-жи Кондорсе, которая по справедливости заслуживаетъ имени Эгеріи. Въ общемъ итогѣ «существуетъ громадная разница между мужчиной и женщиной не только въ физическомъ и моральномъ отношеніи, но и въ социальномъ назначеніи того и другого пола. Удѣлъ мужчинъ—тяжелая, физическая работа, борьба съ препятствіями, созданными природою и социальными условіями; удѣлъ женщинъ, по крайней мѣрѣ значительнаго большинства — семейная жизнь, колыбель моральныхъ качествъ».

Чувствуя, должно быть, что всемя вышеприведеннымъ еще не исчерпываются различныя женскіе типы, г. Рейнгардтъ дополняетъ свою коллекцію еще образомъ леди Макбетъ, тоже своего рода Эгеріи, но вдохновляющей своего мужа па злыя дѣла, затѣмъ предѣлательницами или хозяйками знаменитыхъ салоновъ XVIII вѣка (маркиза Ламбертъ, маркиза Тенсенъ, г-жи Жофренъ, Дюдефанъ и проч.), въ которыхъ видитъ явленіе значительное и высокое. Наконецъ, къ брошюрѣ приложена статья «Дѣвичій бунтъ на Уралѣ въ 1839 г.», не имѣющая, впрочемъ, органической связи съ остальнымъ содержаніемъ брошюры.

Г. Рейнгардтъ очень не жалуется Донъ-Жуана, это для него брачное слово. А понимаетъ онъ Донъ-Жуана исключительно въ предѣлахъ обманныхъ «медовыхъ рѣчей», обращаемыхъ къ женщинамъ. Я не буду говорить о томъ, насколько это вульгарное пониманіе узко и односторонне, насколько имъ не обнимается крупная фигура Донъ-Жуана. Но если ужъ г. Рейнгардтъ упорствуетъ въ такомъ толкованіи, то я

скажу, что г. Рейнгардтъ и есть настоящій Донъ-Жуанъ, ибо онъ расточаетъ въ своей брошюрѣ «медовыя рѣчи» въ хвалу и славу женщинъ, и рѣчи тѣ обманныя.

Мы видѣли любезности, которыя г. Рейнгардтъ говоритъ женщинамъ при помощи статистики: женщина въ моральномъ отношеніи несравненно выше мужчины, потому что рѣже въ тюрьмѣ сидитъ. Но мы видѣли также, что выводъ этотъ по малой мѣрѣ грубъ, скороспѣлъ и требуетъ нѣкоторыхъ поправокъ. А вотъ какъ тотъ-же авторъ любезничаетъ при помощи этнографіи и исторіи культуры. Онъ утверждаетъ, что женщина прежде мужчины подчинила свою животную натуру требованіямъ нравственнаго идеала и, не довольствуясь этой голой фразой, приводитъ фактическую иллюстрацію: «уничтоженіе, наиримѣръ, людодѣства въ Полинезій произошло въ повѣйшее время, почти на нашихъ глазахъ, подъ вліяніемъ женщинъ, что даетъ весьма твердое основаніе къ предположенію относительно важной роли ихъ въ прошедшую эпоху относительно прекращенія этого страшнаго обычая, который господствовалъ нѣкогда повсемѣстно». Г. Рейнгардтъ ссылается при этомъ на книгу Летурно «L'évolution de la morale», не облегчая, впрочемъ, читателю дѣло справки и провѣрки указаніемъ на страницы цитируемой книги. Летурно, дѣйствительно, говоритъ о вліяніи женщинъ на ослабленіе людодѣства, но то, что онъ говоритъ, отнюдь не можетъ служить подтвержденіемъ мыслей г. Рейнгардта. Указавъ на то, что въ Новой Зеландіи людодѣство практикуется прекраснымъ поломъ столь-же беззастѣнчиво, какъ и мужчинами, Летурно говоритъ, что въ нѣкоторыхъ другихъ мѣстахъ людодѣство строго запрещено женщинамъ, равно какъ и низшимъ классамъ. Путемъ наследственности инстинктовъ и привычекъ это вынужденное воздержаніе отъ человѣческаго мяса перешло у женщинъ въ отвращеніе. Летурно рѣшительно говоритъ и доказываетъ сопоставленіемъ фактовъ, что тутъ нельзя думать о «болѣе высокомъ нравственномъ уровнѣ женщинъ, ихъ чувствительности, гуманности и т. п.». Онъ продолжаетъ: «Жрецы и высшій классъ запретили женщинамъ канибализмъ. И это не въ виду моральныхъ цѣлей, а просто изъ обжорства (*par simple gourmandise*). Для женщинъ на человѣческое мясо было наложено *табу*, совершенно такъ-же, какъ на свинину, и по той-же причинѣ. Отсюда въ женскомъ мозгу сложилась специальная повадка, вполне аналогичная той, которая не позволяетъ охотничьей собакѣ бросаться на куропатку. Въ принципѣ опредѣляющіе мотивы были одного и того-же рода: для животнаго это былъ страхъ передъ плетью, для полинезійки еще болѣе сильный страхъ, потому что всякое нарушеніе *табу* наказывалось въ Полинезій смертью. Отъ такой строгой дрессировки въ полинезійкѣ сложилось отвращеніе къ человѣческому мясу, а такъ какъ и мужчины наследуютъ въ пзвѣстной мѣрѣ нравственныя черты матерей, то и т. д.» (Летурно, *op. cit.*, 98, 99).

Справедливо разсужденіе Летурно или нѣтъ, но ясно, что г. Рейнгардтъ не имѣлъ никакого права повергать этого почтеннаго ученаго къ погамъ прекрасныхъ дамъ, потому что, по Летурно, женщина не въ силу своей моральной возвышенности отказалась отъ людоедства, а просто ей его, подь страхомъ смертной казни, запретили. Не только, значить, не оправдана ссылка на Летурно, но и общая точка зрѣнія французскаго ученаго стоитъ въ самомъ рѣзкомъ противорѣчій съ точкой зрѣнія г. Рейнгардта. Послѣдній полагаетъ, что женщины, какъ таковой, то есть по самой ея природѣ, присущи извѣстныя нравственныя качества, независимо отъ специальныхъ общественныхъ условій, въ которыхъ она находится. Этой-то интимной природѣ женщины и поетъ г. Рейнгардтъ гимны въ прозѣ: и такая она, и саяка, отблескъ мерцанія майскаго, лучъ золотой изъ селенія райскаго; попадаются, конечно, исключенія, но и то больше въ такихъ случаяхъ мужчина виновать. Летурно, напротивъ того, показываетъ, какъ подь вліяніемъ условій природы и общественной среды нравственный обликъ женщины измѣняется въ весьма широкихъ предѣлахъ. Онъ до такой степени не-любезенъ, что благородное отвращеніе полинезійскихъ женщинъ отъ человѣческаго мяса ставить за одну скобку съ инстинктомъ охотничьей собаки, дѣлающей стойку, и съ ея отвращеніемъ къ дичи. Конечно, это не «медовыя рѣчи» Донъ-Жуана, но въ нихъ, мнѣ кажется, больше не только правды, а и настоящаго уваженія къ женщинамъ, чѣмъ въ медовыхъ рѣчахъ г. Рейнгардта. Съ той точки зрѣнія, на которой стоитъ Летурно въ приведенномъ отрывкѣ, женщина можетъ спускаться въ очень низкіе нравственныя омуты, но можетъ и подниматься на такую высоту, какая даже вовсе не желательна Донъ-Жуанамъ съ медовыми рѣчами. Медовую, но и обманную рѣчь ведетъ г. Рейнгардтъ, когда доказываетъ высокій уровень нравственной природы женщинъ сравнительно малой пропорціей женскаго тюремнаго населенія. Медовую, но опять-же обманную рѣчь ведетъ онъ и тогда, когда говоритъ двусмысленности о Сивиллахъ. Да, это двусмысленности. Пока дѣло идетъ о Деворѣ, Юдифи, Иоаннѣ д'Аркъ, онъ восторгается. Но вѣдь все это такъ давно было, что даже мнѣческимъ быльемъ поросло. Это образы, теряющіеся въ туманной дали вѣковъ, а когда рѣчь заходитъ о новѣйшихъ временахъ, г. Рейнгардтъ находитъ, что женщины этого самаго типа «увлеклись дѣломъ, не соответствующимъ ни роли, ни характеру женщины». Дѣло не въ томъ только, что г-жи Роланъ, Сталь, Олимпія де-Гужъ, Теруанъ де-Мерикуръ запутались въ «мірѣ мелкихъ интригъ и низкихъ страстей», — это вѣдь и съ мужчинами случается, не правда-ли, г. Рейнгардтъ? — нѣтъ, самое дѣло, за которое опъ взялись, не соответствуетъ «ни роли, ни характеру женщины». А Девору и Юдифь совсѣмъ не нужно принимать въ серьезъ, это только красивая иллюстрація къ медовой рѣчи, ни къ чему не обязывающая ни

оратора, ни его аудиторію,—совершенно такъ-же, какъ и медовыя рѣчи Донъ-Жуана. Или вотъ средневѣковыя «знахарки, колдуньи, волшебницы». Я говорилъ, что онѣ попали въ кругъ хвалы г. Рейнгардта печально. Онѣ слѣдоваль въ этомъ отношеніи Мишле. Но Мишле поэтизировалъ колдунью въ сочиненіи, специально посвященномъ этому предмету (*La sorcière*), а нашъ авторъ трактуетъ о «женщинахъ передъ судомъ уголовнымъ и судомъ исторіи» и свободно гуляетъ по всемъ временамъ и народамъ отъ гуманнѣйшей полинізійки и миопической Медине до какой-нибудь Маріи Бьеръ, которая въ лѣто отъ Р. X. 1880 приставляетъ человѣку ножъ къ горлу и кротко говоритъ: «люби меня». Неужто-же на всемъ этомъ огромномъ пространствѣ нѣтъ уже болѣе ничего подобнаго воспѣтымъ Мишле знахаркамъ, колдуньямъ и волшебницамъ? *La sorcière* Мишле есть, съ одной стороны, дѣйствительная протестантка противъ феодальнаго строя, такъ что Мишле приводитъ ее въ связь съ страшными крестьянскими возстаніями, а съ другой стороны—это носительница тайныхъ въ ту пору знаній: женщина-врачъ, акушерка, сестра милосердія. Представляютъ-ли что-нибудь подобное новѣйшія времена, конечно, въ новыхъ формахъ и въ новой обстановкѣ? Разумѣется, по г. Рейнгардтъ въ такихъ случаяхъ восторгается только передъ явленіями, поросшими историческимъ мохомъ. Девора, Юдифь, это превосходно, но если-бы сейчасъ явились подражательницы этихъ героическихъ женщинъ, то нашъ Донъ-Жуанъ сказалъ-бы, что онѣ увлеклись дѣломъ, не соответствующимъ ни роли, ни характеру женщины. О явленіяхъ, составляющихъ продолженіе или возрожденіе того, что Мишле разумѣлъ подъ словомъ *sorcière*, г. Рейнгардтъ не говоритъ ни единого слова, и изъ-подъ обманныхъ медовыхъ рѣчей о Сивиллахъ, дѣйствующихъ за свой собственный страхъ и счетъ помимо мужины, выплываетъ интимная мысль нашего Донъ-Жуана: «существуетъ громадная разница между мужчиной и женщиной... удѣлъ женщинъ—семейная жизнь, колыбель моральныхъ качествъ».

Называя г. Рейнгардта Донъ-Жуаномъ, я, конечно, не думаю приписывать ему тѣ слишкомъ ужъ спеціальныя свойства и дѣла, которыми толпа (въ томъ числѣ и г. Рейнгардтъ) попрекаетъ легендарнаго севильскаго героя. Г. Рейнгардтъ стоитъ, напротивъ, горой за нравственность, за семейный союзъ. Но тѣмъ не менѣе, онъ говоритъ женщинамъ обманныя медовыя рѣчи. Восхваляя сверхъ мѣры и правды нравственную природу женщинъ, онъ, однако, желаетъ, чтобы эта высокая женская нравственность такъ и осталась лежать въ «колыбели моральныхъ качествъ», отнюдь не освѣщая собою сколько-нибудь широкій районъ. Пусть женщина любитъ, пусть любовью поконитъ и вдохновляетъ мужчину, пусть она будетъ непреодолимо вѣрна своему мужу, даже до вѣчнаго вдовства,—таковъ идеаль. Онъ, конечно, прекрасенъ, хотя, можетъ быть, съ нашей, мужской стороны немножко жестоко тре-

бовать любви и непреоборимой вѣрности даже изъ-за гроба. Но такіе гимны представляются мнѣ глубоко-оскорбительными для женщины. Что это за возвышенная нравственность, которая хороша только въ колыбели, а какъ только высунется изъ нея, такъ и гибнетъ въ водоворотѣ «честолюбивыхъ стремленій, мелкихъ интригъ и низкихъ страстей»? Подъ стекляннѣмъ колпакомъ мало-ли что можно сохранить, но эта охрана не дѣлаетъ большой чести охраняемому. Я лучшаго мнѣнія о женщинахъ, хотя и не утверждаю, что онѣ—отблескъ мерцанія майскаго, и не дѣлаю заключенія о высокой женской нравственности изъ того факта, что ихъ въ тюрьмахъ сидитъ меньше, чѣмъ мужчинъ. Я думаю, что женщина—человѣкъ, что ничто человѣческое ей не чуждо и что великій грѣхъ лежитъ на душахъ тѣхъ вывороченныхъ наизнанку Донъ-Жуановъ, которые обманными медовыми рѣчами загоняютъ женщину въ клетку любви. Хорошее дѣло любовь, но есть и другія хорошія дѣла. Не добро человѣку быть одному, но не добро ему также держаться какой-нибудь единой опоры въ жизни. Несчастная Марія Бьеръ и всѣ ей подобныя, къ печальной судьбѣ которыхъ г. Рейнгардтъ относится съ такимъ горячимъ сочувствіемъ, тѣмъ именно и несчастны, что у нихъ въ жизни нѣтъ ничего цѣннаго, кромѣ любви. Оборвалась эта нитка—и все пошло прахомъ: не за что ухватиться, печѣмъ жить, элементы жизни спутываются въ какую-то дикую фантазмагорію, среди которой оказывается возможнымъ нацѣлить дуло револьвера на любимаго человѣка и требовать: люби!

Да, г. Рейнгардтъ, говорить обманныя медовыя рѣчи нехорошо, очень нехорошо!..

О воспитаніи и наслѣдственности.

По полю знанія проносятся иногда дуновения моды. Извѣстныя истины или кажущіяся истины, составляющія послѣднее слово науки, за-слоняются, по крайней мѣрѣ на болѣе или менѣе продолжительное время, всякія попытки иначе истолковать подлежащіе истолкованію факты. Оригинальность забивается куда-то въ темные углы, являются своего рода самоотверженные модники, не хуже тѣхъ, которые терпят мученія отъ остроносыхъ сапоговъ, или перетянутыхъ талій, или другой какой утрировки общепринятаго, господствующаго. Такъ было, напримѣръ, съ дарвинизмомъ. Велико и плодотворно было значеніе этого переворота въ наукѣ. Ученіе Дарвина разлилось по самымъ разнообразнымъ отраслямъ знанія, орошая и обогащая ихъ, подобно тому, какъ разливы Нила орошаютъ и обогащаютъ широкую полосу Египта. Но... не знаю хорошенько, но думаю, однако, что разливы великой африканской рѣки несутъ съ собою и кое-какія бѣды въ родѣ лихорадокъ и разной ненужной и непріятной твари. Во всякомъ случаѣ нѣчто подобное было однимъ изъ результатовъ разлива дарвинизма. Самоотверженные модники, не справлявшіеся ни съ другими теченіями въ наукѣ, ни съ работой человѣческаго духа въ области идеаловъ, и съ странною радостью возводившіе фактъ неустанной, лютой борьбы за существованіе въ вѣковѣчный принципъ, между прочимъ, и человѣческаго общежитія, носили утрированно-остроносые сапоги. Многимъ изъ нихъ было, вѣроятно, больно. Но такъ ужь сила моды,—ничего не подѣлаешь! Въ нѣкоторыхъ истинно-чудовищныхъ практическихъ выводахъ изъ теоріи борьбы за существованіе сказывалось именно какое-то щегольство или франтовство неудобнымъ, даже до мучительства, моднымъ костюмомъ. Наконецъ, мода эта, какъ и всякая мода, пройдя извѣстный циклъ развитія, изжила сама себя и затихла. **Не совсемъ однако.** Теперь уже рѣдко можно

встрѣтить что-нибудь новое въ области безмысленно-жестокихъ практическихъ выводовъ собственно изъ теоріи борьбы. Но одна изъ теоретическихкихъ опоръ Дарвинизма, не имѣ открытая, но имѣ систематизированная и прочно обоснованная, еще недавно составила, да и до сихъ поръ составляетъ источникъ для нѣкотораго мучительства или мученичества моды.

Практическій здравый смыслъ всегда зналъ, что яблочко отъ яблони недалеко падаетъ, что отъ карася не родится поросля, что жвется именно то, что съется, и т. д. Такъ формулировалъ простой здравый смыслъ законъ наслѣдственности, а садоводы, скотоводы, коннозаводчики, псары, голубятники и проч. испоконъ вѣку примѣняли этотъ законъ въ самыхъ широкихъ размѣрахъ и въ самыхъ виртуозныхъ формахъ. Это не мѣшало, однако, существованію иногда смутнаго, а иногда вполне опредѣленнаго убѣжденія, что человѣкъ рождается въ видѣ нѣкоторой бѣлой страницы, на которой можно написать все, что угодно. Съ этой точки зрѣнія, воспитаніе и условія среды цѣликомъ создаютъ человѣка. Мнѣніе это имѣло особенно яркихъ представителей въ прошломъ вѣкѣ, что вполне соответствовало, впрочемъ, бодрому и дѣйственному духу того времени. Казалось, стоило только выработать извѣстный цѣлесообразный планъ воспитанія и общественнаго устройства, чтобы привить людямъ все достоинства. Конечно, и это дѣло нелегкое, но во всякомъ случаѣ это дѣло рукъ человѣческихъ, направляемыхъ сознаниемъ и волею, а не какихъ-нибудь непреоборимыхъ стихійныхъ силъ. Ученіе Дарвина положило, повидимому, конецъ всѣмъ подобнымъ надеждамъ, систематизировавъ всѣмъ извѣстные факты наслѣдственности, дополнивъ ихъ фактами, дотолѣ неизвѣстными или необращавшими на себя вниманія, и сложивъ всю эту громаду фактовъ въ грозную силу. А затѣмъ объявились мученики моды въ остроносыхъ сапогахъ. Все злое, преступное, больное стали ставить на счетъ наслѣдственности, едва-едва, на второмъ планѣ упоминая о вліяніи воспитанія и среды. Явились въ огромномъ количествѣ наслѣдственные декаденты, дегранты, атависты, прирожденные преступники, вырождающіеся и проч. И число ихъ должно все рости и рости, говорятъ намъ. «Не слѣдуетъ думать,—говорить одинъ французскій ученый,—что приливъ полой крови можетъ поднять вырождающуюся семью: при такихъ скрещиваніяхъ не столько выигрываетъ вырождающаяся раса, сколько теряетъ здоровая. Слабый долженъ погибнуть, таковъ фатальный законъ» (Ch. Féré. *Sensation et mouvement*). Любопытно слѣдующее замѣчаніе того-же автора: «Наслѣдственность вырожденія есть нынѣ фактъ вполне установленный, равно какъ и ея прогрессирующая нарощаемость... Но у нѣкоторыхъ вырождающихся нельзя уловить никакихъ слѣдовъ наслѣдственныхъ пороковъ, и въ такихъ случаяхъ надо искать другихъ причинъ... Позволительно думать, что чувственные возбужденія и сильныя повторныя волненія матери

во время беременности опредѣляютъ собою возмущенія въ питаніи плода и въ особенности его нервной системы; эти вырождающіеся не могутъ отличаться отъ вырождающихся наследственныхъ». Это, конечно, совершенно справедливо, но любопытно, что Фере, отправляясь за поисками «другихъ причинъ» вырожденія, находитъ ихъ все-таки близко отъ наследственности и только тутъ. Близкія къ этому положенія и выводы итальянской, такъ-называемой, антропологической, а въ сущности развѣ только антропометрической школы криминалистовъ — достаточно извѣстны. Хотя пѣкоторые представители этой школы и отмѣчаютъ вліяніе воспитанія и соціальныхъ условій на преступность, но центромъ тяжести послѣдней все-таки оказывается наследственная неуравновѣшенность организаціи, съ которою уже ничего не подѣлаешь. Эмиль Зола рисуетъ въ своемъ романѣ челоѵка, повидимому, совершенно нормальнаго, въ которомъ, однако, вдругъ просыпается кровожадный инстинктъ, полученный наследственнымъ путемъ отъ отдаленныхъ предковъ-дикарей, и все усилія воли этого несчастнаго разбиваются о непреоборимый элементъ наследственности: онъ — обреченный, прирожденный преступникъ. *Enfant terrible* итальянскихъ криминалистовъ, Ломброзо, написалъ по этому поводу сочувственное и хвалебное письмо Эмилю Зола, такому-же *enfant terrible* французскихъ романистовъ-натуралистовъ...

Я не буду распространяться о томъ, что доля истины, и весьма значительная, несомнѣнно, заключается во всехъ этихъ безотрадныхъ разсужденіяхъ о грозной мощи стихійнаго элемента наследственности; не буду говорить и о частныхъ преувеличеніяхъ, иногда — просто смѣшныхъ. Вопросъ въ томъ, что-же дѣлать съ этимъ лавнообразнымъ, все нарастающимъ движеніемъ нервной и нравственной неуравновѣшенности, непрастеническаго вырожденія, наследственной склонности къ преступленію? Самая огромность этого явленія, казалось-бы, обязываетъ насъ не къ созерцацію повоявленной бѣды, а къ изысканію средствъ для борьбы съ ней.

Талантливый французскій писатель Гюйо говоритъ въ недавно вышедшемъ посмертномъ сочиненіи — «*Education et hérédité*»: «Многіе современные ученые и философы увѣрены, что воспитаніе радикально-бесильно, когда дѣло идетъ о глубокихъ измѣненіяхъ наследственнаго темперамента и характера. По ихъ мнѣнію, преступники рождаются, какъ и поэты; судьба ребенка предначертана въ утробѣ матери и затѣмъ непреоборимо развертывается въ жизни. Нѣтъ лекарствъ противъ той общей всемъ неуравновѣшеннымъ, сумасшедшимъ, преступникамъ, поэтамъ, визионерамъ, истерическимъ женщинамъ, болѣзни, которую называли непрастеной; расы спускаются по лѣстницѣ жизни и нравственности, но никогда не поднимаются. Неуравновѣшенные навсегда потеряны для челоѵчества; горе ему, если они даютъ потомство болѣе или

менше продолжительное. Семья Юке, имѣвшая предкомъ пьяницу, выставила въ семьдесятъ пять лѣтъ 200 воровъ и убійць, 288 калѣкъ и 90 проститутокъ. Въ древности цѣлыя семьи были объявляемы нечистыми и проклятыми. Древность была права, говорить намъ. Еврейскія проклятія имѣли силу до пятого колѣна; у современной науки есть такія-же проклятія». Гюйо не думаетъ, однако, чтобы можно было доволетствоваться въ этомъ случаѣ проклятiями. Онъ говоритъ: «Между силою, приписываемою нѣкоторыми мыслителями воспитанiю, и тою, которую другiе усваиваютъ наследственности, существуетъ антиномiя, проникающая всю этику и даже политику, потому что политика безсильна, если результаты наследственности неотвратимы. Такимъ образомъ возникаетъ задача, заслуживающая самаго серьезнаго вниманiя».

Прежде чѣмъ слѣдовать за Гюйо въ его попыткѣ свести счеты между наследственностью и воспитанiемъ, вернемся на минуту къ Фере.

Не имѣя возможности объяснить нѣкоторыя занимающiя его патологическiя явленiя пзлюбленною теорiей наследственности, Фере рѣшаетъ, что надо искать «другую причину». Естественно было-бы ожидать, что онъ обратится за поисками въ обширную область условiй воспитанiя и влiянiй общественныхъ. Онъ, однако, даже не пытается заглянуть въ эту область. Онъ открываетъ искомую «другую причину» лишь въ чувственныхъ возбужденiяхъ и сильныхъ волненiяхъ беременной женщины, дурно отзывающихся на развитiи нервной системы плода. А отсюда онъ дѣлаетъ единственный и притомъ чисто отрицательный практическiй выводъ: беременная женщина должна воздерживаться отъ чувственныхъ возбужденiй и сильныхъ волненiй, если не хочетъ увеличить своимъ ребенкомъ число декадентовъ, деградантовъ, вырождающихся и т. д. Какова-бы ни-была степень правильности этого вывода, но его скудость очевидна. Допуская даже, что кромѣ наследственности есть только одинъ источникъ распространенiя въ современномъ обществѣ нравственной и умственной неуравновѣшенности и что источникъ этотъ есть именно тотъ, который указалъ Фере, фактъ указанныхъ отношенiй между беременной женщиной и утробною жизнью младенца несравненно богаче и значительнѣе, чѣмъ сдѣланный изъ него выводъ. Въ самомъ дѣлѣ, если извѣстныя психо-физическiя состоянiя, переживаемыя организмомъ беременной женщины, могутъ дурно отзываться на развитiи младенца, то надо полагать, что возможны и такiя состоянiя, которыя отзываются на младенцѣ, напротивъ того, благотворно. А если такъ, то передъ нами встаетъ задача, практически, можетъ быть, и трудно осуществимая и требующая еще многихъ предварительныхъ изслѣдованiй, но все-таки возможная и допускающая вполнѣ сознательное воздѣйствiе на физическiй и нравственный обликъ младенца, какъ въ отрицательномъ, такъ и въ положительномъ направленiи.

Въ книгѣ Льебó «Le sommeil provoqué et les états analogues» есть

чрезвычайно интересная глава, озаглавленная «Education antérieure», что, въ данномъ случаѣ, по-русски лучше всего было-бы перевести словами «утробное воспитаніе». Здѣсь собрано много фактовъ, свидѣтельствующихъ о томъ, что мысль и душевное настроеніе матери самымъ явственнымъ образомъ отражаются на организмъ младенца. Многое здѣсь довольно сомнительно и требуетъ дальѣйшихъ наблюденій и изслѣдованій, что хорошо понимаетъ и самъ Льеббъ. Но онъ увѣренъ, что, сосредоточивая вниманіе беременной женщины на предметахъ высокихъ и прекрасныхъ,—для чего особенно удобны состояніе гипнотическаго сна и другія подобныя состоянія концентрированнаго вниманія,—«утробное воспитаніе» можно довести до степени настоящаго, планомѣрнаго воспитанія въ полномъ смыслѣ этого слова. Мысль Льеббъ не нова по существу. Практика жизни и здѣсь, какъ во многихъ другихъ случаяхъ, въ зародышевомъ видѣ предвосхитила выводы теоретической мысли. Да и въ этой области Льеббъ не есть какой-нибудь новаторъ. Ново въ данномъ случаѣ только примѣненіе гипнотизма. Что-же касается отношеній «утробнаго воспитанія» къ наследственности, то Льеббъ различаетъ основныя черты, въ которыхъ наследственность царитъ безусловно, передъ которыми утробное воспитаніе безсильно, и черты измѣнимыя, каковы: «вкусы, аппетиты, чувства, страсти, инстинкты, способности, размѣръ и форма органовъ и проч.»

Обратимся теперь къ Гюйо. Еще въ 1883 г., въ письмѣ въ редакцію «Revue philosophique», Гюйо обратилъ вниманіе на сходство между результатами гипнотическихъ внушеній и проявленіями инстинкта и на возможность примѣненія внушеній къ воспитанію, съ дѣлью устраненія дурныхъ инстинктовъ и прививки или укрѣпленія добрыхъ. Въ вышеупомянутомъ посмертномъ сочиненіи Гюйо, вышедшемъ въ настоящемъ году, мысль эта является руководящею. Не слѣдуетъ, однако, думать, чтобы Гюйо рекомендовалъ прямо гипнотизировать ребятъ. То, что называется гипнотизмомъ, есть для него только исходная точка.

Маленькое отступленіе. Въ одномъ старомъ русскомъ переводѣ одной старой, но далеко не устарѣвшей французской книги («Сонъ и сновидѣніе» Морн: имени переводчика не помню, — кажется, Пальховскій) слово suggestion, нынѣ всегда переводимое словомъ «внушеніе», передается словомъ «навожденіе». Мнѣ кажется, что терминъ этотъ не заслуживаетъ забвенія. Не говоря о томъ, что онъ напоминаетъ массу темныхъ явленій, давно подмѣченныхъ народомъ, но только теперь получающихъ рациональное разъясненіе, терминъ этотъ прекрасно передаетъ самую сущность гипнотическихъ явленій: гипнотикъ именно «наводится» чужою волею на извѣстныя мысли, чувства, поступки. А въ нѣкоторыхъ случаяхъ слово «внушеніе» едва-ли даже уместно. Когда гипнотизеръ прямо приказываетъ усыпленному сдѣлать то-то и то-то, онъ пожалуй внушаетъ, но когда онъ, напримѣръ, придаетъ

гипнотику угрожающую позу и тотъ уже самъ собою проникается гнѣвнымъ чувствомъ, онъ, несомнѣнно, только «наводитъ». Путемъ такого навожденія загипнотизированному временно, но иногда на довольно значительный срокъ, прививаются извѣстныя мысли и чувства, совершенно ему чужія. Можно честнаго человѣка заставить украсть, онъ будетъ колебаться, бороться самъ съ собою и, въ концѣ концовъ все-таки украдетъ, повинувшись несознающему имъ долгу. Можно женщину безупречной нравственности, паслѣдственно, черезъ цѣлый рядъ благородныхъ предковъ усвоившую себѣ инстинкты чести и стыда, навести на мысль, что она кокетка. И т. д. Во всѣхъ подобныхъ случаяхъ все, накопленное путемъ паслѣдственности, рѣшительно пасуетъ предъ вторженіемъ совершенно новаго, чужого, видѣннаго со стороны. Правда, эффектъ этотъ достигается временно и притомъ на субъектахъ, болѣе или менѣе исключительныхъ. Но, полагаетъ Гюйо, въ меньшей степени и въ менѣе замѣтныхъ формахъ всѣ люди, даже вполне нормальные, способны поддаваться внушенію или навожденію. Способность эта у нормальныхъ людей и при обыкновенныхъ условіяхъ не такъ рѣзко выражена, какъ, напримѣръ, у истерической женщины, намѣренно обставленной условіями, способствующими наступленію гипнотическихъ эффектовъ. Въ нормальномъ состояніи мы не находимся во власти какого-нибудь опредѣленнаго экспериментатора, но мы окружены цѣлою сѣтью скрещивающихся, иногда другъ другу помогающихъ, иногда взаимно сокращающихся навожденій, истекающихъ изъ общественной среды. «Общественная жизнь есть балансъ взаимныхъ навожденій». Но способность сопротивленія навожденію бываетъ у разныхъ людей очень различна. Есть люди, для которыхъ такое сопротивление просто невозможно и личность которыхъ равняется почти нулю въ суммѣ мотивовъ, опредѣляющихъ ихъ дѣйствія. Разнообразныя формы подражанія, повиновенія, увлеченія примѣромъ, обаянія властной личности,—все это продукты навожденія. И всѣ эти скрещивающіяся и перекрещивающіяся навожденія образуютъ чрезвычайно сложную среду, вліяніе которой не только не всегда совпадаетъ съ вліяніемъ паслѣдственности, но часто прямо ему противоборствуетъ.

Тѣ эффекты внушенія или навожденія, механизмъ которыхъ изучается нынѣ психо-физиологами на гипнотическихъ опытахъ, суть только отдѣльные частные случаи вліянія среды на индивидуума. Эти навожденія могутъ нарушить равновѣсіе организма, но могутъ и возстановить его. Такимъ образомъ вліяніе социальной среды оказывается слишкомъ значительнымъ, чтобы игнорироваться сторонниками исключительнаго вліянія паслѣдственности, толкующими о неизбѣжномъ вырожденіи цѣлыхъ семей, о неизбѣжности паслѣдственныхъ преступленій и пороковъ. Паслѣдственность есть великая сила, но и съ ней считается можно, и она до извѣстной, повидимому, весьма значительной степени

подлежитъ нашему воздѣйствію. Воздѣйствіе это происходитъ и сейчасъ, какъ происходило и вчера, и вѣка тому назадъ, во всякую данную минуту. Но оно должно быть систематизировано и направляться сознательно, въ формѣ планомернаго воспитанія. Гюйо намѣчаетъ въ своей книгѣ нѣкоторыя черты рациональнаго воспитательнаго плана, частію навѣяныя ученіемъ о гипнотизмѣ, а частію совершенно отъ него независимыя. Мы не послѣдуемъ за нимъ и остановимся только на двухъ существенныхъ подробностяхъ.

Нѣтъ ничего легче, какъ упреками, подозрѣніями, бранью, «навести» человѣка не волюгѣ установившагося, а тѣмъ болѣе ребенка, на тѣ именно мысли, чувства и дѣйствія, за которыя его упрекаютъ или бранятъ, въ которыхъ его подозрѣваютъ, первоначально, можетъ быть, совсѣмъ несправедливо. Еще Паскаль сказалъ: «Человѣкъ такъ устроенъ, что если ему постоянно говорить, что онъ глупъ, такъ онъ этому повѣритъ». И не просто только повѣритъ, а какъ-бы и въ самомъ дѣлѣ поглотитъ. Утративъ вѣру въ свои умственные способности, онъ утратитъ и силу проявлять ихъ. Ребенокъ долженъ быть на-противъ «наводимъ» на мысль, что онъ можетъ понять или сдѣлать предлагаемое ему. Съ этой точки зрѣнія теорія неизбежной наследственности грѣха и порока, теорія проклятій, тяготѣющихъ надъ потомками до пятаго колѣна, представляется крайне вредною, ибо она отнимаетъ у людей вѣру въ свои силы, а затѣмъ и дѣйствительно парализуетъ эти силы. Скажите гипнотіку, что онъ не можетъ поднять свою совершенно здоровую руку, и онъ этому до такой степени повѣритъ, что и въ самомъ дѣлѣ окажется безсильнымъ поднять руку. То же самое, только въ менѣе рѣзкой формѣ, происходитъ въ обыденной жизни, при состояній нормальномъ. Предположеніями о злости, лѣности, неспособности ребенка часто создаются настоящая злость, лѣность и неспособность, которыя потомъ ставятся на счетъ фатализму наследственности.

Цѣль воспитанія состоитъ не въ подавленіи воли ребенка волею воспитателя, а на-противъ, въ такомъ ея укрѣпленіи, чтобы она могла противостоять въ случаѣ надобности даже великой силѣ тяготѣнія наследственности. Спрашивается, какъ-же связать это положеніе съ приемами внушенія или навожденія, аналогичными тѣмъ, которые практикуются гипнотизерами? Гипнотизмъ, это вѣдь автоматъ, лишенный собственной воли и покорно поддающійся самой капризной смѣнѣ самыхъ противоположныхъ навожденій. Дѣло, однако, въ томъ, что приемы гипнотизаціи и рациональнаго воспитанія хотя и аналогичны, но отнюдь не тождественны. Воспитатель не эксперименты производитъ съ цѣлью удовлетворенія своей или чужой любознательности или даже просто любопытства, какъ гипнотизеръ. Онъ не усыпляетъ ребенка для полученія мягкаго, податливаго матеріала для опытовъ, а пользуется существую-

щею мягкостью и податливостію, и не перескакиваетъ отъ одного внушенія или навожденія къ другому, противоположному. Онъ держится неуклонно опредѣленной линіи, по крайней мѣрѣ, долженъ держаться, потому что, если онъ будетъ колебаться въ системѣ навожденія или скакать отъ одного къ другому, то въ результатѣ, дѣйствительно, можетъ получиться безвольный автоматъ. Конечно, извѣстная доля автоматизма неизбежна въ исходной точкѣ воспитанія. Ребенку польза, да и не слѣдуетъ объяснять каждое требованіе воспитателя. Ребенокъ управляется примѣромъ, приказаніемъ, навожденіями всякаго рода, но все эти открытія или замаскированныя формы повелительнаго наклоненія могутъ быть расположены такъ, что воля ребенка не подавится, а укрѣпится. Что-же касается до теоретическаго основанія такъ или иначе внушенной морали, то оно явится само собой, когда извѣстный фондъ привычекъ и склонностей прочно заложитъ. Въ этомъ отношеніи опять-таки очень поучительны гипнотическіе опыты. Если вы прикажете гипнотику совершить, послѣ пробужденія, когда онъ уже овладѣетъ всѣми своими способностями, какой-нибудь ни съ чѣмъ несообразный поступокъ, онъ его совершитъ, но придумаетъ для этой несообразности какое-нибудь болѣе или менѣе благовидное, иногда чрезвычайно ухищренное объясненіе. Онъ безсознательно повинется ему самому невѣдомому голосу, а затѣмъ подыскиваетъ мотивы и объясненія своему поступку. Таковы результаты всякаго навожденія, когда наведенный не утратилъ или вновь получилъ способность рассуждать. Не учите правиламъ, которыхъ ребенокъ не пойметъ или не усвоитъ, а учите поступкамъ, дѣлу, и когда извѣстныя, внушенныя ему дѣйствія станутъ привычными, онъ и самъ придумаетъ имъ теоретическое основаніе, какъ моральному долгу. Понятно, однако, что навожденіе воспитателя можетъ враждебно столкнуться съ другими навожденіями, исходящими изъ общественной среды, и тогда неизвѣстно чья возьметъ.

Предоставляя специалистамъ-педагогамъ судить о разныхъ подробностяхъ книги Гюйо, я дѣню въ ней главнымъ образомъ благородное возстаніе противъ мучительской моды теорій наслѣдственности, противъ моднаго стремленія отдать человѣчество во власть слѣпой стихійной силы, которая влечетъ насъ, какъ теченіе рѣки щепку. Да и не насъ собственно, не тѣхъ, кто мѣряетъ носы и уши прирожденныхъ преступниковъ, наслѣдственныхъ алкоголиковъ и проч. и кто пишетъ книжки на ту тему, что «слабый долженъ погибнуть,—таковъ фатальный законъ». Мы-то на берегу сидимъ и спокойно наблюдаемъ, какъ крутится и влечется рѣкой щепка. Безумно не признавать могущество стихійныхъ силъ, но можетъ быть еще безумнѣе не бороться съ ними, ибо, вѣдь, пожалуй и намъ, на берегу сидящимъ, наконецъ, не сдобровать.

О буддизмѣ.

I.

Одинъ разсказъ буддйскаго происхожденія гласитъ, что когда истинная, то-есть буддйская, религiя распространилась по всей Индiи и за ея предѣлами, такъ что не осталось людей, подлежащихъ обращенiю, первосвященникъ рѣшилъ приняться за породу большихъ обезьянъ, называемыхъ «ракча». Къ нимъ были отпращены миссiонеры, которые и обратили множество обезьянъ въ буддизмъ.

Неизвѣстно, какъ идетъ дѣло буддизма у обезьянъ теперь, но оказалось во всякомъ случаѣ, что въ Европѣ есть не мало людей, которые только нынѣ созрѣли для воспринятiя буддйской истины. Наивное хвастовство буддйской сказки не совсѣмъ неосновательно. Правда, гордый своимъ просвѣщенiемъ и всей своей цивилизацiей европеецъ можетъ вволю посмѣяться и надъ почитателями Будды изъ обезьянъ, и надъ невѣжествомъ автора или авторовъ сказки, увѣренныхъ, что буддизмъ давнымъ-давно заполнилъ весь бѣлый свѣтъ. Но буддисты могли-бы отвѣтить французской поговоркой: «Rira bien qui rira le dernier». Пусть, дескать, обезьяны и прочее—вздоръ, но не вздоръ тѣ достоинства и та побѣдительная сила буддизма, которая иллюстрируются наивной фантазiей сказки; ибо въ Азiи насчитывается нынѣ до 400 миллiоновъ буддистовъ, и сама гордая своимъ просвѣщенiемъ и своей цивилизацiей Западная Европа находится наканунѣ обращенiя въ буддизмъ. Конечно, и это будетъ немножко черезъ край хвачено, но достоверно во всякомъ случаѣ, что есть не мало просвѣщенныхъ европейцевъ, или призывающихъ буддизмъ для обновленiя одряхлѣвшей цивилизацiи, или боящихся его грозной силы. Это говорится прямо, въ выраженiяхъ ни мало не двусмысленныхъ. Парижскiй корреспондентъ

«Русскихъ Вѣдомостей» сообщилъ недавно (№ 133, «Буддизмъ въ Парижѣ»), по поводу лекцій о буддизмѣ Леона де-Рони, кое-какіе интересные факты, свидѣтельствующіе о серьезномъ, повидимому, буддистскомъ движеніи въ веселой столицѣ Франціи. Одному изъ сотрудниковъ газеты «Siècle» Рони говорилъ, что возбужденіе это «приведетъ насъ къ изумительнымъ событіямъ. Вы увидите, что черезъ нѣсколько лѣтъ, а можетъ быть и черезъ годъ и даже черезъ полгода, Европѣ придется серьезно счтаться съ этимъ теченіемъ». По нѣкоторымъ свѣдѣніямъ число буддистовъ въ одномъ Парижѣ достигаетъ десятковъ тысячъ, а движеніе захватываетъ не только Францію, но и Англію, Италію, Австрію, Германію. Буддистскіе катехизисы расходятся въ десяткахъ тысячъ экземпляровъ въ переводѣ на разные европейскіе языки. По словамъ Рони, католическая церковь уже озабочивается этимъ движеніемъ, а рвеніе новообращенныхъ все растетъ.

Какъ ни удивительны эти, можетъ быть, нѣсколько преувеличенные, но въ общемъ все-таки достовѣрные факты, они не до такой ужъ степени внезапны и неожиданны, какъ можетъ показаться. Это дуновеніе съ дальняго Востока на дальній Западъ началось съ Шопенгауэра, мрачная философія котораго, пропитанная буддійскими началами, не имѣла большого успѣха при его жизни, но самъ онъ былъ увѣренъ, что рано или поздно она восторжествуетъ. И онъ не совсемъ ошибался. Болѣе позднимъ варіанціямъ на тѣ-же занесенныя съ дальняго Востока темы въ «Философіи безсознательнаго» Гартмана выпалъ на долю и болѣе быстрый, и болѣе шумный успѣхъ. Эти отраженія буддизма въ дискредитированныхъ уже глубинахъ нѣмецкой метафизики подняли въ послѣдніе десятка два лѣтъ интересъ къ ней именно потому, что сами имѣли какой-то притягательный интересъ и какую-то особенную цѣну въ глазахъ мыслящаго европейскаго человѣка. Даже мы, русскіе, были захвачены этимъ увлеченіемъ и за послѣднее время наполнили свой книжный рынокъ переводами, изложеніями, переизложеніями, сокращеніями Шопенгауэра. Французы, никогда особенно не приглядывавшіеся къ нѣмецкой философіи, тоже занялись Шопенгауэромъ. Затѣмъ буддизму протянулъ руку американскій спиритизмъ. Проповѣдью уже прямо буддизма съ чрезвычайнымъ усердіемъ занялось нью-іорское «теософическое Общество», имѣющее значительныя развѣтвленія въ Европѣ и Индіи. Теософы вѣрятъ, что въ Индіи издревле вырабатывались особыя приемы познанаія, тѣ именно приемы созерцанія и сосредоточенія воли, которые практикуются и буддистами и при помощи которыхъ индусскими мудрецами накоплено уже много знаній, пока еще невѣдомыхъ остальному міру. Русская публика отчасти знакома съ этимъ страннымъ теченіемъ по произведеніямъ г-жи Рада-Бай Блаватской (секретаря теософическаго общества), печатавшимся въ «Русскомъ Вѣстникѣ». У насъ это, кажется, единичное явленіе, но въ Европѣ су-

ществует большая литература этого направления, издаются специальные журналы, составляются катехизисы, ведется деятельная и безуспешная пропаганда. Сближение Европы с буддизмом происходит еще и разными другими путями. Недавно вышла в русском переводе поэма английского поэта Эдвина Арнольда «Свѣтъ Азии». Это—биографія Будды и изложеніе его ученія, отличающееся не только большими художественными достоинствами, но и полным, такъ сказать, буддѣйскимъ правобѣріемъ. Посѣтивъ Цейлонъ, одинъ изъ центровъ буддизма, авторъ былъ торжественно встрѣченъ тамошнимъ буддѣйскимъ духовенствомъ и получилъ отъ него привѣтственный и вмѣстѣ благодарственный адресъ, въ которомъ, между прочимъ, говорится: «вы написали поэму, не только ни въ чемъ не разногласящую, но въ буквальномъ смыслѣ согласную съ народными буддѣйскими священными книгами, съ каноническимъ писаніемъ и его комментаріями». Сіамскій король наградилъ Эдвина Арнольда орденомъ Блага Слона, а буддѣйскій первосвященникъ сказалъ поэту: «вы помогли буддистамъ уразумѣть, чѣмъ они еще должны сдѣлаться и что еще совершить, дабы стать на уровень, достойный ихъ религіи». Такимъ образомъ, въ лицѣ Эдвина Арнольда, Европа хотя частью отплатила за то возбужденіе, которое она нынѣ удивительнымъ образомъ получаетъ отъ буддизма. Мимоходомъ сказать, и нѣкоторые наши молодые поэты не разъ вдохновлялись буддѣйскими темами и, можетъ быть, вправѣ ожидать себѣ отъ сіамскаго короля ордена Блага Слона, хоть какой-нибудь не очень высокой степени...

Буддисты немножко поторопились отправлять миссіонеровъ къ обезьянамъ, когда еще и люди не все готовы, или можетъ быть—европейцы немножко поотстали отъ обезьянъ. Но такъ или иначе, а совокупность вышеприведенныхъ фактовъ представляетъ собою явленіе, въ высокой степени интересное. Среди разнородныхъ теченій умственной жизни Европы возникаетъ еще одно, новое, и этому новому ни больше, ни меньше, какъ двѣ съ половиной тысячи лѣтъ, и это столь старое новое, повидимому, рѣшительно не гармонируетъ съ другими, громко звучащими въ жизни Европы струнами. Въ самомъ дѣлѣ, мы видимъ, напримѣръ, что вся Европа, по мѣткому старинному выраженію, оцетинилась штыками; и даже не штыками, потому что, несмотря на все мирныя заявленія и увѣренія государственныхъ людей, очевидно, Европа готовится къ какой-то страшной схваткѣ при помощи небывалыхъ доселѣ орудій взаимнаго истребленія. Умѣстель-ли тутъ буддизмъ съ своею проповѣдью кротости, всеобщаго благоволенія, непротивленія злу?

Европа гордится и справедливо гордится своей наукой, ея неустаннымъ поступательнымъ движеніемъ, открывающимъ все новые горизонты. Причемъ тутъ буддизмъ, застывшій на истинахъ (если это истины), открытыхъ двѣ съ половиной тысячи лѣтъ тому назадъ, въ странѣ замкнутой, никогда не участвовавшей въ общей жизни челове-

чества? Правда, намъ говорятъ о какомъ-то совпаденіи или единеніи буддійскихъ вѣрованій съ послѣдними словами европейской науки. Въ буддійскомъ катехизисѣ, составленномъ однимъ изъ дѣятельнѣйшихъ и вліятельнѣйшихъ теософовъ, Олькотомъ, даже съ нѣскольکو забавною настойчивостью формулируется, въ видѣ вопросовъ и отвѣтовъ, связь между буддійскимъ ученіемъ о послѣдовательныхъ возрожденіяхъ и выработанными европейскою наукою теоріями наслѣдственности, трансформизма, эволюціи. Намъ говорятъ съ другой стороны, что такъ запи- мающія пинѣ нашихъ психо-фізіологовъ явленія гипнотизма, сомнамбулизма и проч. были цѣлые вѣка тому назадъ извѣстны индусскимъ мудрецамъ. Послѣднее весьма вѣроятно, но разница въ томъ, что для европейской науки эти явленія представляютъ предметъ изслѣдованія, тогда какъ буддійскіе мудрецы видѣли и видятъ въ нихъ орудіе познанія истины. Европейская наука изучаетъ міръ грезъ при помощи опыта и наблюденія, индусская-же мудрость намѣренно погружается въ этотъ міръ, уединяетъ себя отъ всякаго опыта и наблюденія, съ цѣлью найти истину. Разница эта слишкомъ велика и существенна какъ съ точки зрѣнія науки, такъ и съ точки зрѣнія буддизма. До та- кой степени велика и существенна, что если-бы вышеупомянутыя совпаденія результатовъ научнаго и буддійскаго мышленія были и не столь натянута и двумысленны, каковы они на самомъ дѣлѣ, такъ и то буддизмъ и наука были-бы далеко не родня другъ другу.

Европа до утомленія и переутомленія гоняется за наслажденіемъ и богатствомъ, буддизмъ проповѣдуетъ отреченіе отъ всѣхъ благъ міра и нищенство, и видитъ иллюзію, обманъ во всякомъ наслажденіи. Европа колышется разными общественными вопросами,—буддизмъ ихъ не знаетъ. Европа шумитъ, движется; буддизмъ рекомендуетъ сидѣть со скрепченными ногами въ полной неподвижности и въ награду за добрыя дѣла и мудрость обѣщаетъ абсолютный покой Nirваны. Представьте себѣ Гладстона, Либкнехта, Бисмарка или Ротшильда, Крушна, или Геккеля, Пастера, Шарко, или Стэнли, Эмша, Джорджа, Эдисона, вообще любого крупнаго современнаго человѣка, отразившаго въ себѣ болѣе или менѣе полно ту или другую сторону типа европейско-американской цивилизаціи, добивающима Nirваны! Европейскій типъ, въ своихъ наиболѣе общихъ чертахъ, можетъ быть лучше всего характеризуется извѣстнымъ изреченіемъ Лессинга: «если-бы Богъ держалъ въ правой рукѣ готовую истину, а въ лѣвой живое стремленіе къ истинѣ и предложилъ мнѣ выборъ, я ухватился-бы за лѣвую руку». Стремленіе, борьба, дѣятельность,—такова, повидимому, атмосфера, которою привыкъ и хочеть дышать человѣкъ европейскаго типа на всѣхъ путяхъ жизни: со- вершаетъ-ли онъ подвиги во имя высокаго идеала или низкое преда- тельство, ищеть-ли онъ счастья въ женской любви или сколачиваетъ копѣйки въ рубли, работаетъ-ли онъ въ тиши библіотеки и лабораторіи

или носится по усыпанному трупами полю сражения. Вездѣ и всегда для него важенъ не только извѣстный результатъ, но и вся та сложная цѣнь раздраженій и ощущеній, которую сопровождается процессъ дѣятельности. И вдругъ — буддизмъ!..

Въ одномъ монгольскомъ буддйскомъ сочиненіи говорится, что «человѣкъ, стяжавшій своею дѣятельностью собраніе добродѣтельныхъ поступковъ, приобрѣтетъ въ будущемъ только высокій родъ (перерожденіе), такъ какъ добродѣтель и плоды ея осуждены все-таки на то, чтобы возвращаться въ матеріальномъ мірѣ; но тотъ, кто будетъ совершать созерцація, стараясь уразумѣть смыслъ основныхъ свойствъ пустоты, несомнѣнно, отрѣшится отъ всего матеріальнаго и приобрѣтетъ святость Будды» (Позднѣвъ, «Очерки быта буддйскихъ монастырей и буддйскаго духовенства въ Монголіи»). Вотъ одно изъ приводимыхъ г. Позднѣвымъ созерцательныхъ упражненій буддйскихъ отшельниковъ. Удалившись въ уединенное мѣсто, подвижникъ усаживается въ священной позѣ, то есть, загнувъ правую ногу и положивъ ее на колѣно лѣвой, а лѣвую на колѣно правой или, если такое положеніе для него трудно, положивъ лѣвую ногу на колѣно правой, а правую загнувъ просто подъ лѣвую. Затѣмъ онъ въ теченіи семи дней старается представлять себѣ живо и раздѣльно образъ Будды во всемъ его величіи и красотѣ. Потомъ онъ сосредоточиваетъ вниманіе исключительно на своемъ лбу, потомъ столь-же исключительно на своемъ сердцѣ, потомъ на пупкѣ, и изъ всѣхъ этихъ частей тѣла послѣдовательно выходятъ въ огромномъ числѣ Будды, одинъ за другимъ, точно въ такомъ видѣ, въ какомъ онъ представлялъ себѣ Будду прежде. Я приведу для образца только одно изъ этихъ видѣній. Утвердивъ мысли и взоры на пупкѣ, отшельникъ скоро замѣчаетъ въ немъ какое-то движеніе. Удвоивъ вниманіе, онъ усматриваетъ на пупкѣ какое-то возвышеніе, подобіе гусиного яйца, чрезвычайной бѣлизны. Вдругъ это возвышеніе превращается въ великолѣпный лотосъ. На этомъ лотосѣ возсѣдаетъ Будда, изъ пупка котораго тоже вырастаетъ лотосъ, а на немъ возсѣдаетъ новый Будда, изъ пупка котораго опять растетъ лотосъ, на немъ опять Будда и т. д. Когда такимъ образомъ лотосы съ Буддами наполнятъ собою даль, представляющуюся въ воображеніи созерцателя, то самый дальнѣйшій Будда входитъ въ пупокъ второго, слѣдующаго за нимъ, и затѣмъ постепенно всѣ они возвращаются одинъ въ другого, пока, наконецъ, и послѣдній изъ нихъ не войдетъ въ пупокъ созерцателя. При дальнѣйшемъ созерцаціи, изъ всѣхъ поръ тѣла подвижника выходятъ лотосы съ буддами и наполняютъ собою все воздушное пространство въ видѣ безконечной гирлянды и потомъ всѣ они возвращаются въ созерцателю черезъ его пупокъ. При этомъ подвижникъ чувствуетъ въ себѣ необыкновенную легкость и удовольствіе.

Упражненіе на этомъ еще не кончается, но, полагаю, съ насъ и

этого довольно, чтобы судить о степени несообразности, представляемой завоеваніемъ Европы буддизмомъ. Правда, монгольскій буддизмъ, повидимому, значительно уклонился отъ первоначальнаго ученія Сакьямуни, сохранившагося въ полной чистотѣ, главнымъ образомъ, на Цейлонѣ, и можетъ быть южнымъ буддистамъ неизвѣстна собственно эта фантастическая гирлянда Буддъ, лотосовъ и пупковъ. Но подобнаго-же рода созерцательныя упражненія практикуются благочестивыми буддистами всѣхъ толковъ и представляются самою сущью ученія. Правда, даѣе, буддизмъ не исчерпывается практикой созерцанія и изученіемъ «смысла основныхъ свойствъ пустоты», но эти вещи играютъ, однако, въ немъ столь важную роль, что безъ нихъ онъ пересталъ-бы быть буддизмомъ. И, казалось-бы, трудно подъискать двѣ болѣе рѣзко враждебныя противоположности, чѣмъ этотъ типъ удалившагося отъ всѣхъ ощущеній и впечатлѣній, отъ всего внѣшняго міра созерцателя, и безпокойная, лихорадочная дѣятельность европейскаго чловѣка. Но фактъ на-лицо, и надо съ нимъ считаться.

Прежде всего замѣтимъ, что различныя, выше бѣгло перечисленныя струны европейской жизни тоже далеко не вполне гармонируютъ между собою. Что въ самомъ дѣлѣ общаго между обуявшимъ нынѣ всю Европу милитаризмомъ и развитіемъ науки и промышленности, по самому существу своему требующихъ мира и спокойствія? И однако, они до поры до времени, хотя и съ большимъ трудомъ, а уживаются все-таки рядомъ. Существуютъ и другія подобныя противорѣчія въ европейской жизни. Почему-же бы не утвердиться и еще одному, новому? Затѣмъ надо-бы еще поточпѣе знать, какіе именно слои европейскаго общества увлекаются буддизмомъ.

Капитанъ одного французскаго военнаго фрегата, вернувшагося изъ плаванія въ китайскихъ водахъ, разсказывалъ Жюзу Рони, что по крайней мѣрѣ треть его экипажа приняла буддизмъ. Но это, повидимому, явленіе исключительное, обусловленное именно пребываніемъ матросовъ въ одномъ изъ центровъ буддизма. Вообще-же говоря, европейскіе сторонники буддизма вербуются изъ другихъ общественныхъ слоевъ. Что касается собственно Парижа, то Рони говорилъ корреспонденту «Русскихъ Вѣдомостей», что увлеченіе замѣчается «преимущественно въ высшихъ аристократическихъ сферахъ общества, въ той фешенебельной части парижскаго общества, которая увлекается и имѣетъ досугъ увлекаться театромъ, искусствомъ, литературой, хотя къ нему не остаются вполне равнодушными и кружки ученые и литературныя, такъ какъ въ числѣ очень горячихъ почитателей буддизма называютъ имена выдающихся представителей науки, литературы, даже одного или двухъ академиковъ».

Соображая разныя обстоятельства, можно думать, что европейскіе адепты буддизма расиредряются по слѣдующимъ разрядамъ. Во-первыхъ,

люди капризной моды, мужчины и женщины: Рони предсказываетъ, что священный цвѣтокъ буддистовъ — лотосъ станетъ въ слѣдующую зиму такимъ-же моднымъ украшеніемъ, какимъ недавно была красная гвоздика. Людей этого сорта, пожалуй, и считать нечего: надѣнуть на шляпу цвѣтокъ лотоса, поставить статуэтку Будды у себя въ кабинетѣ или будуарѣ, да тѣмъ дѣло и кончится въ ожиданіи слѣдующей моды, которая смететъ и лотосы, и статуэтки Будды. Затѣмъ идутъ люди метафизическаго склада ума, жаждущіе познанія въ предѣлахъ опыта и наблюденія. Далѣе—люди, переутомленные погоней за наслажденіями, извѣдавшіе все крѣпкіе и острые запахи, предоставляемые современнымъ строемъ, и уже не находящіе въ нихъ достаточнаго возбужденія. Потому люди, тяготящіе ко всему темному, загадочному, бросающіеся и въ спиритизмъ, и во всякую чертовщину. Есть тутъ наконецъ вѣроятно и люди, искренно и добросовѣстно ищущіе утраченной ими въ водоворотѣ цивилизаціи религіи, въ томъ смыслѣ, какой былъ приданъ этому слову въ одномъ изъ первыхъ «Писемъ о разныхъ разностяхъ»: въ смыслѣ ученія, объединяющаго мысль и чувство, науку и мораль въ ихъ современномъ развитіи и вмѣстѣ съ тѣмъ, всегда и вездѣ направляющаго волю въ извѣстную сторону. Особо, конечно, стоятъ люди, просто заинтересованные буддизмомъ, какъ своего рода научнымъ фактомъ изъ исторіи религіи, или красивою стройностью его логическаго развитія, или смѣлыми полетами заключенной въ немъ метафизической мысли; вообще заинтересованные или любующіеся буддизмомъ со стороны, безъ отдачи себя въ его власть.

Сердцевинную точку буддійскаго ученія составляетъ страданіе. Какъ гласитъ часто приводимый священный текстъ бенаресской рѣчи Будды, «рожденіе есть страданіе, болѣзнь—страданіе, смерть—страданіе, союзъ съ нелюбимымъ — страданіе, разлука съ любимымъ — страданіе, недостигнутое желаніе — страданіе, словомъ все пятеричное стремленіе — страданіе» (пятеричное, сообразно пяти элементамъ, изъ которыхъ, по буддизму, слагается все существованіе человѣка). Если и возможно желаніе, достигнутое при союзѣ съ любимымъ, то въ концѣ-концовъ, тѣмъ или другимъ путемъ—болѣзни, смерти, вскрывается ничтожество и преходящесть наслажденія, на днѣ котораго опять-таки оказывается страданіе. Необходимость, неизбѣжность страданія на всехъ путяхъ жизни обуславливается самою «причинною связью» явленій. И страданія эти не видно ни начала, ни конца. Каждый изъ насъ, я, пишущій эти строки, вы, читающій ихъ, существовалъ мириады лѣтъ тому назадъ въ той или другой живой формѣ и шлъ чашу страданія, и опять и опять возродится послѣ смерти и, значить, опять выпьетъ ту-же чашу. Смерть насъ ни отъ чего не избавитъ, потому что она постигаетъ только ту комбинацію элементовъ, которая сейчасъ составляетъ наше существо, но ея нѣтъ для «кармы»,—нѣсколько темной

сущности или совокупности нашего поведения во все продолжение нашей жизни. Этою «кармою» определяются условия нашего последующаго возрождения: отъ свойствъ нашихъ поступковъ, характера нашего поведения зависитъ, возродимся-ли мы въ видѣ святаго человѣка или какой-нибудь ящерицы, брамина, царя или тигра, зайца. Но мы во всякомъ случаѣ возродимся, наша «карма» переселится въ имѣющее вновь возникнуть существо, ибо всему живому присуща неразумная жажда жизни. «Причинная связь» явленій жизни коренится въ незнаніи.—въ незнаніи тщеты жизни и обманчивости всѣхъ ея красокъ; не зная, человѣкъ отдается мечтамъ, затѣмъ вождѣлѣеть, обрѣтаетъ страданіе, но и за всѣмъ тѣмъ не знаетъ, и опять вождѣлѣеть, возрождается и опять страдаетъ. И такъ вѣчно катилось-бы колесо жизни и страданія, если-бы его не остановилъ Будда. Добрыя дѣла и благоволеніе ко всему живущему отъ святаго человѣка до самой послѣдней мелкой твари, образуя извѣстную карму, могутъ въ слѣдующемъ возрожденіи поднять человѣка на высшую ступень, но сами по себѣ они бессильны изъять насъ изъ-подъ вѣчнаго круговращенія колеса жизни и страданія. Для этого надо познать тщету желаній и обманчивость наслажденій и затѣмъ подавить въ себѣ жажду жизни. Это и сдѣлалъ Будда, достигнувъ такимъ образомъ вождѣленной нирваны, гдѣ нѣтъ ни болѣзни, ни печали, и за которою уже нѣтъ возрожденій, потому что возрожденія обусловлены жаждою жизни. Нирвана не смерть, потому что можетъ быть достигнута за-живо, но и не жизнь, потому что лишена всѣхъ красокъ жизни,—это трудно постигаемое нашимъ умомъ состояніе полного, абсолютнаго покоя.

Будда былъ, по преданію, царскій сынъ. Онъ съ ранняго молодости позналъ всѣ наслажденія, какія восточный деспотъ могъ доставить любимому сыну: дворцы, приспособленные къ жизни въ разные времена года, роскошные сады, драгоценныя одежды, благовонія, золототканныя ковры, рой прислужниковъ, прелестныя танцовщицы, музыкантши и пѣвицы, наконецъ, влюбленная въ него красавица-жена. Онъ изучилъ въ совершенствѣ всѣ воинскія упражненія и не имѣлъ въ нихъ соперниковъ. Въ добавокъ воспитаніе его было расположено такъ, что не только пріятныя ощущенія и впечатлѣнія сыпались на него, какъ изъ рога изобилія, но тщательно были устранены изъ его кругозора даже самыя общія и элементарныя непріятныя вещи: онъ не видалъ болѣзни, старости, уродства, смерти. Поэма Эдвина Арнольда роскошно рисуетъ эту роскошную жизнь, и фигура Будды выходитъ крайне величественною и самоотверженною, когда онъ удаляется отъ всей этой нестрой, шумной, блистающей роскоши, чтобы посвятить себя великому дѣлу. Онъ началъ его съ прямой противоположности тому, что имѣлъ и видѣлъ вокругъ себя въ своихъ палатахъ и садахъ, — съ самаго строгаго аскетизма, до полного изнуренія.

Ничто не пово подь луною,—не было вполнѣ пово и ученіе Будды въ Индіи. Между прочимъ, въ скитальчествахъ своихъ онъ встрѣтилъ людей, не менѣе его боровшихся съ плотью съ цѣлю достиженія мудрости и святости. Самъ Будда отступалъ передъ жестокими формами этой борьбы и отвергъ ихъ, какъ не достигающія цѣли. Въ Индіи и по-сейчасъ есть аскеты самоистязующіеся, юродивые, продѣлывающіе надъ своей ненавистною плотью самыя ужасныя вещи. Они называются «іогами» или «іогинами». Одни изъ нихъ сидятъ, поджавши ноги, и вѣчно молчатъ; другіе ѣдятъ разъ въ день или черезъ день, или черезъ четыре, шесть до четырнадцати дней; третьи спятъ въ мокрой одеждѣ или на колочей травѣ, на камняхъ, на гвоздяхъ и т. д.; четвертые, ставъ на одной ногѣ или вытянувъ одну руку вверхъ, цѣлыми годами смотрятъ на солнце; иные сидятъ среди пяти костровъ, поджариваясь со всѣхъ сторонъ. Были, а можетъ быть, и по-сейчасъ есть фанатики, подвѣшивающіе себя на острыхъ желѣзныхъ крючьяхъ или стоящіе перпендикулярно вверхъ ногами, зарывъ голову въ муравьиную кучу. Извѣстны, по вполнѣ достовѣрнымъ свидѣтельствамъ, случаи добровольнаго погребенія іоговъ живо на нѣсколько недѣль. Чтобы продѣлать этотъ фокусъ, іоги предварительно постепенно, такъ сказать, раздвигаютъ свою способность обходиться безъ пищи, воды, свѣта и воздуха. Кромѣ того, они подвергаются какой-то автогипнозу при помощи полной неподвижности и тысячекратныхъ беззвучныхъ повтореній мистическихъ словъ «омъ», «ламъ», «дамъ» и т. д. Все это производится съ чрезвычайно высокою цѣлю. Слово «іога» значитъ союзъ. Здѣсь разумѣется союзъ личнаго духа съ духомъ вселенной, для достиженія котораго требуется полное отвлеченіе мысли отъ всякаго конкретнаго объекта (принимайте изученіе «основныхъ свойствъ пустоты») и полная власть воли надъ плотью. Велики и результаты достигнутаго этимъ путемъ союза личнаго духа съ душой вселенной: во-первыхъ, божественное знаніе, во-вторыхъ, разныя чудесныя силы. Іоги обладаютъ способностью читать чужія мысли, подниматься на воздухъ, уменьшаться и увеличиваться въ вѣсѣ и размѣрѣ, мгновенно переноситься черезъ отдаленныя пространства и т. п. И г-жа Рада-Бай Блаватская, а съ пей вмѣстѣ и другіе «теософы» всему этому вѣрятъ.

Будда примкнулъ первоначально къ этой школѣ. Онъ уже достигъ извѣстныхъ результатовъ въ дѣлѣ отреченія отъ потребностей питания и дыханія, но изнемогъ, а затѣмъ отвергъ всякія самоистязанія. Но съ тѣмъ болѣшимъ рвеніемъ отдался онъ добровольному удаленію сознанія, спятельному процессу самоуглубленія и отвлеченія отъ всѣхъ впечатлѣній внѣшняго міра. Однажды ночью, сидя неподвижно подъ деревомъ, которое стало съ тѣхъ поръ священнымъ, Будда, наконецъ, прозрѣлъ ту причинную связь, которая начинается незнаніемъ и кон-

чается и опять продолжается страданіемъ. Путь, которымъ Будда дошелъ до познанія истины, путь созерцанія и самоуглубленія, путь отрѣшенія отъ всего внѣшняго міра и вытравленія всякаго конкретного содержанія изъ своего сознанія, не только рекомендуется всѣмъ вѣрующимъ, но практиковался самимъ Буддой и послѣ его просвѣтленія. Мы не будемъ слѣдить за тѣми степенями созерцанія и экстаза, которыя установлены буддійскимъ ученіемъ. Приведемъ только одно изъ благочестивыхъ упражненій. Будда говорилъ ученикамъ: «Монахъ, ученикъ, пребывающій въ лѣсу, или у подножія дерева, или-же въ пустомъ помѣщеніи, опускается со скрещенными ногами, держа туловище прямо, просвѣтляя лицо бдительнымъ размышленіемъ. Онъ вдыхаетъ сознательно и выдыхаетъ сознательно. Когда онъ вдыхаетъ глубоко, онъ знаетъ: «я вдыхаю глубоко». Когда онъ выдыхаетъ глубоко, онъ знаетъ: «я выдыхаю глубоко». Когда онъ вдыхаетъ коротко, онъ знаетъ: «я вдыхаю коротко» и т. д. Будда называетъ это упражненіе превосходнымъ и обильнымъ радостью; оно изгоняетъ зло, поднимающееся въ человѣкѣ. Если учениковъ спросятъ, какъ предписываетъ Будда проводить дождливое время, то они обязаны отвѣчать: «Погруженный въ бдительность за дыханіемъ и выдыханіемъ, друзья, обыкновенно проводилъ Великій дождливое время года» (Ольдепбергъ, «Будда, его жизнь, ученіе и община»). Это упражненіе очень напоминаетъ аутогипнозизацію іоговъ и, безъ сомнѣнія, состоитъ въ прямомъ родствѣ съ нею. Этимъ путемъ достигаютъ іоги и божественной мудрости, и вышеупомянутыхъ чудодѣйственныхъ силъ. Будда, по самымъ свойствамъ своего ученія, чуждаго всякой активности, а можетъ быть и по свойствамъ своего личнаго характера, не былъ склоненъ къ чудодѣйству; однако и онъ, напримѣръ, поднимался на воздухъ. Кромѣ того, онъ обладалъ даромъ испусканія благоволенія. Онъ говорилъ: «Послѣ трепезы, когда я ворочусь со сбора милостыни, я ухожу въ лѣсъ. Тамъ я собираю въ кучу траву и листья, что найду, и опускаюсь на нихъ со скрещенными ногами, съ выпрямленнымъ туловищемъ, окруживъ лицо бдительнымъ размышленіемъ. Въ такомъ положеніи пребываю я, распростирая наполняющую мои помыслы силу благоволенія на извѣстную часть свѣта; точно также дѣйствую я относительно второй, третьей, четвертой, вверхъ, внизъ, поперекъ; во всѣ стороны, по всѣмъ путямъ, на весь существующій міръ распростираю я наполняющую мои помыслы силу благоволенія, широкую, великую, неизмѣримую, которой невѣдома никакая ненависть, которая не посягаетъ ни на какое зло». Эта истекающая изъ Будды сила благоволенія дѣйствуетъ магически на всѣхъ, на кого попадаетъ ея теченіе: она укрощаетъ дикихъ звѣрей, обращаетъ невѣрующихъ на путь истинный.

Что касается прославленной морали буддизма, то она прежде всего

поражает своимъ чисто личнымъ характеромъ и своею исключительною пассивностью. Въ запасѣ у буддизма есть нѣсколько, такъ сказать, моральныхъ фокусовъ, которые могутъ, пожалуй, ослѣпить. Таковъ, напримеръ, приписываемый Буддѣ разсказъ о случаѣ его самопожертвованія въ одномъ изъ прошлыхъ его существованій. Онъ былъ тогда зайцемъ и, желая сдѣлать прохожему брамину (то былъ переодѣтый царь боговъ) подаяніе, «какого еще никогда никто не давалъ», велѣлъ зажечь костеръ и бросился въ него, чтобы накормить брамина собственнымъ жаренымъ мясомъ. Въ другой разъ, въ другомъ воплощеніи, Будда накормилъ своимъ тѣломъ голодную тигрицу. Какіе возвышенные образцы самопожертвованія! Дѣло, можетъ быть, только немного портится на легкомысленный европейскій взглядъ комической фигурой зайца, но это не бѣда, конечно. Бѣда въ томъ, что Буддѣ приписывается желаніе сдѣлать именно моральный фокусъ, нѣчто такое, чего еще никто никогда не дѣлалъ, а непосредственного живого чувства любви къ ближнему тутъ нѣтъ и слѣдовъ. Непосредственное живое чувство пробивается совсѣмъ въ другую сторону. Будда разсказываетъ: «какъ свѣжая вода утоляетъ мучительный жаръ погрузившагося въ нее, доставляя ему прохладу и удовольствіе, такъ и пылающій огонь, въ который я погрузился (въ видѣ зайца), утолил, подобно прохладной водѣ, всѣ мои мученія» (Ольденбергъ, 250). Это своего рода сладострастіе, сладострастіе мученичества, а не любовь къ ближнему. Въ отношеніяхъ къ ближнимъ буддизмъ рекомендуетъ кротость, благоволеніе, непротивленіе злу, благотворительность, но, какъ уже было упомянуто, добрыя дѣла могутъ только поднять человѣка на лѣстницѣ воплощеній; высшая награда и высшее достоинство предоставляются не добродѣтели, въ настоящемъ смыслѣ этого слова, а личной чистотѣ отъ соприкосновенія съ внѣшнимъ міромъ. Ольденбергъ справедливо говоритъ о «холодѣ, какимъ вѣетъ отъ всѣхъ созданій буддійской нравственности. Мудрецъ стоитъ на такой высотѣ, которая недосягаема никакой человѣческой дѣятельности. Онъ не возмущается обидой, какую ему готова причинить грѣшная страсть, но онъ и не страдаетъ отъ этой обиды. Не заботясь о поступкахъ другихъ людей, онъ распространяетъ свое благоволеніе на всѣхъ, на злыхъ, какъ и на добрыхъ». Мимоходомъ сказать, мнѣніе о Буддѣ, какъ о нѣкоторомъ общественномъ реформаторѣ, уничтожившемъ касты или мечтавшемъ о такомъ уничтоженіи, рѣшительно ни на чемъ не основано. Кастовый строй, какъ и все существующее, ниже сферы дѣятельности Будды или, вѣрнѣе сказать, сферы его бездѣятельности, потому что единственное дѣло Будды есть проповѣдь открытыхъ имъ «истинъ», да и то онъ долго колебался,—не уйти-ли ему въ таинственно блаженную область нирваны одному, не открывъ ближнимъ пути къ ней.

Къ русскому переводу «Свѣта Азій» приложенъ разсказъ Эдвина

Арнольда о посѣщеніи имъ цейлонскихъ буддистовъ. Между прочимъ, поэтъ задалъ первосвященнику Сумангалъ такой вопросъ: «Представьте себѣ буддиста, сидящаго подъ кокосовымъ деревомъ, покрытымъ спѣлыми плодами. Буддистъ находится въ глубокомъ размышленіи и скоро уже долженъ достигнуть состоянія Самма-Самбудды, то есть состоянія величайшей святости и мудрости, если только его сознание пребудетъ въ полномъ покоѣ. Въ это время мимо него проходитъ несчастный чловѣкъ, умирающій съ голода и настолько ослабѣвшій, что не можетъ самъ влѣзть на дерево. Долженъ-ли буддистъ бросить свое дѣло, отвернуться отъ почти достигнутой имъ мудрости и полѣзть на дерево, чтобы накормить ближняго, или онъ долженъ оставить умирающаго на произволь судьбы. Сумангала отвѣчалъ: «О, поэтъ, ты неправильно измыслилъ свой рассказъ. Если-бы, дѣйствительно, тотъ буддистъ былъ такъ близокъ къ достиженію Самма-Самбудды, то все земное такъ-же мало могло-бы отражаться въ его сознаніи, такъ-же мало воздѣйствовать на него къ добру или ко злу, какъ не можетъ повліять на наше мнѣніе карканье сидящихъ тамъ, вдали, на деревѣ воронъ».

Посмотримъ-же теперь нѣсколько ближе на тѣхъ европейскихъ людей, которые чего-то ищутъ въ буддизмъ и что-то находятъ въ немъ.

II.

Нетрудно видѣть, что для умовъ метафизическаго склада буддійское ученіе должно представлять нѣчто чрезвычайно привлекательное, и немудрено, что послѣдній метафизикъ дѣйствительно кружнаго роста, Шопенгауэръ, прилѣпился къ буддизму, какъ только познакомился съ нимъ. Здѣсь все родственно чистокровному метафизику: и самый методъ познанія, и характеръ добытой истины, и общій колоритъ настроенія, навѣваемаго системой. Завѣтная мечта всякаго метафизика состоитъ въ томъ, чтобы открыть въ своемъ собственномъ духѣ отраженіе той сокровенной сущности вещей, которая лежитъ гдѣ-то по ту сторону міра явленій, то есть міра наблюденія и опыта. Міръ не таковъ, какимъ онъ представляется ограниченнымъ чловѣческимъ чувствамъ; чувства эти многого не воспринимаютъ вовсе, иное искажаютъ, по иному скользятъ лишь поверхностно. Перескочить черезъ эти преграды, поставляемые самою организаціей чловѣка, проникнуть до таинственнаго корня вещей, встрѣтить тамъ лицомъ къ лицу истину безусловную, безъ всякихъ помутненій и урѣзокъ, и замереть отъ восторга передъ этой божественной истиной, — такова мечта метафизика. Нѣтъ мечты безумнѣе этой. Какъ-бы поэтому ни утѣшался метафизикъ красивою стройностью системы, возведенной имъ изъ глубины собственного духа,

его міросозерцаніе, если только онъ не мелюзга въ умственномъ отношеніи или въ смыслѣ характера, непремѣнно хоть слегка подернуто дымкой грусти и пессимизма. Метафизикъ, будь онъ даже семи пядей во лбу, подобно всякому простому смертному, не можетъ разыскать въ глубинахъ своего духа ничего такого, что не было-бы заложено туда личнымъ или наслѣдственнымъ, сознательнымъ или безсознательнымъ опытомъ и наблюдениемъ. Онъ можетъ быть очень талантливъ въ дѣлѣ развитія и группировки этого матеріала, но матеріалъ этотъ все-таки исключительно опытно-наблюдательнаго происхожденія, — больше ему не откуда взятъ, все равно какъ растенію не откуда, кромѣ земли, добыть свой пластическій матеріалъ. Естественно поэтому, что чѣмъ больше сторонится метафизикъ отъ жизни, тѣмъ сильнѣе диспропорція между его жаждою знанія и достигаемыми имъ результатами, и тѣмъ мрачнѣе, слѣдовательно, должно становиться его міросозерцаніе. Въ буддизмѣ метафизикъ, какъ въ зеркалѣ, видитъ отраженіе этой своей фатальной судьбы. Будда добылъ истину, углубляеъ въ самого себя, отрѣшаясь отъ всѣхъ вѣшнихъ впечатлѣній, отъ всякаго опыта и наблюденія, которыя могутъ только мѣшать таинственной работѣ чистаго духа; и когда онъ проникъ такимъ образомъ за предѣлы обманныхъ свидѣтельствъ человѣческой природы и разорвалъ цѣпь «причинной связи», то во-истину замеръ въ блаженствѣ познанія. Эта-то удовлетворенность, полученная путемъ чистаго самоуглубленія, и соблазнительна. Но добытая Буддой истина мрачнѣе ночи и потому наложила печать скорби на всю систему; удовлетворенность-же Будды или буддиста должна поддерживаться искусственными мѣрами автогипноза и экстаза. Это, конечно, не очень высокая цѣна съ точки зрѣнія метафизическаго паренія, а буддизмъ представляетъ еще то удобство, что въ немъ часто встрѣчается фраза: «этого учитель не открылъ»; такимъ образомъ остается мѣсто и для самостоятельной работы метафизической мысли.

Едва-ли, однако, между нарождающимися адептами буддизма въ Европѣ есть много людей самостоятельной мысли, — что-то не слышать объ нихъ; хотя, вѣроятно, есть люди метафизическаго склада ума, увлекавшіеся Шопенгауэромъ и Гартманомъ, а теперь увлекающіеся индійскимъ первоисточникомъ метафизическаго пессимизма.

Если метафизики мечтаютъ дорыться до недоступнаго человѣку корня вещей и вскрыть тайну безусловной истины, такъ есть, напротивъ, и обожатели тайны, которыхъ хлѣбомъ не корми, только предоставь что-нибудь таинственное. Г-жа Рада-Бай Блаватская обмолвилась однажды прекраснымъ сравненіемъ, которое, какъ и всякое сравненіе, не объясняетъ этого обожанія тайны, но какъ-бы даетъ ему всѣмъ знакомые контуры: «все неизвѣстное, таинственное привлекаетъ насъ какъ пустое пространство и, производя головокруженіе, притяги-

ваетъ къ себѣ подобно безднѣ». Есть извѣстный предѣлъ, извѣстная степень тяготѣнія къ тайнѣ, за которую раскрытіе тайны не только не даетъ удовлетворенія, но, напротивъ того, можетъ только огорчить любителя тайны, ибо чтó-же онъ тогда будетъ любить, къ чему тяготѣть? Вотъ почему спириты, теософы и т. п., постоянно толкуя о наукѣ, о научномъ объясненіи фактовъ, еще не изслѣдованныхъ, но несомнѣнно естественныхъ, тѣмъ не менѣе па дѣлѣ отталкиваютъ всякое научное объясненіе таинственныхъ явленій. «Пещеры и дѣбри Индостана» уже сами по себѣ привлекаютъ ихъ вниманіе своею неизвѣданностью, а когда оказалось, что индусамъ издревле знакомы нѣкоторые приемы того, чтó нынѣ называется гипнотизаціей, что йогн позволяютъ себя заживо хоронить и остаются живы, что индійскіе факиры безболѣзненно рѣжутъ, колютъ и жгутъ себя, укрощаютъ змѣй и проч., то вниманіе обожателей тайны сугубо насторожилось. Правда, всѣ эти явленія получаютъ нынѣ вполне научное объясненіе, па чтó и досадуетъ г-жа Радда-Бай. Но вѣдь еще остаются разсказы о поднятїи индійскихъ подвижниковъ и мудрецовъ на воздухъ, о мгновенномъ перелетанїи ихъ съ мѣста на мѣсто, о необыкновенныхъ ихъ познанїяхъ и столь-же необыкновенномъ могуществѣ, добытыхъ упражненіемъ воли и аскетической практикой. А отсюда недалеко уже и до буддизма.

Въ буддїйскомъ катехизисѣ, составленномъ Олькотомъ, находимъ, между прочимъ, слѣдующіе вопросы и отвѣты:

В. Могутъ-ли наши добрые или худые поступки имѣть непосредственное вліяніе на состояніе, положеніе или форму бытія, ожидающія насъ при нашемъ возрожденїи?

О. Могутъ.

В. Подтверждаютъ-ли положенія современной науки это буддїйское ученіе или противорѣчатъ ему?

О. Истинная наука вполне подтверждаетъ это ученіе причинности. Наука учитъ насъ, что человѣкъ есть результатъ извѣстнаго закона развитїя, указывающаго на переходъ отъ несовершеннаго и болѣе низкаго состоянїя къ болѣе высокому и совершенному.

В. Какъ называется эта научная доктрина?

О. Эволюція?

В. Можете-ли вы указать еще на какое-либо подтвержденіе буддизма наукой?

О. Изъ доктрины Будды мы узнаемъ, что у человѣческаго рода былъ не одинъ прародитель, а также, что нѣкоторые люди обладаютъ больше, нежели другіе, способностью быстро достигать всевѣдѣнія и Нирваны... Точно такимъ образомъ наука учитъ насъ, что изъ милліоновъ существъ, появляющихся на землѣ, нѣкоторые достигаютъ быстрѣе другихъ совершенства, другїя менѣе быстро и, наконецъ, третїи еще медленнѣе. Буддисты говорятъ, что характеръ возрожденія находится въ прямой зависимости отъ Кармы—преобладанія хорошихъ или дурныхъ поступковъ предшествовавшаго существованія. Ученые говорятъ, что новая особь является результатомъ вліяній, окружавшихъ предшествовавшее поколѣніе. Такимъ образомъ есть совпаденіе въ основной мысли между буддизмомъ и наукой.

Такимъ образомъ Будда двѣ тысячи лѣтъ тому назадъ, просто сидя

подъ священнымъ деревомъ, открылъ тѣ самыя истины, которыя стоили европейской наукѣ вѣковой, упорной преемственной работы, горячей борьбы мнѣній и сомнѣній. Въ дѣйствительности, однако, только очень поверхностная или очень предвзятая мысль можетъ находить совпаденіе между буддійскимъ ученіемъ о возрожденіяхъ и доктриною эволюціи, между ученіемъ о Кармѣ, по которому человекъ можетъ возродиться послѣ смерти и въ видѣ бога и въ видѣ ищерицы, съ ученіемъ о наслѣдственности. Но обожателямъ тайны правится соплетать установленныя или устанавливающіяся научныя доктрины съ гораздо менѣ ясными положеніями буддизма. Такъ выходитъ пикантнѣе въ смыслѣ «головокруженія, производимаго таинственнымъ видомъ пустого пространства». Сравнительно недавно кончившаяся эпидемія спиритизма, долго противостоявшая трезвымъ объясненіямъ науки, затѣмъ отношеніе такъ-называемой «большой публики» къ опытамъ чтенія мыслей, гипнотизма, мантевизма и проч., показываютъ, что въ Европѣ еще слишкомъ много обожателей тайны, и нѣтъ мудреца, что они накидываются на буддизмъ.

Но господа теософы идутъ дальше. Олькотъ говоритъ въ предисловіи къ своему катехизису: «Изобилуютъ признаки, дающіе возможность предвидѣть, что изъ всѣхъ религій міра одна предназначена быть такою, о которой всѣхъ болѣе будутъ говорить, какъ о религій будущего, и въ которой откроютъ наименьшій антагонизмъ съ природою и ея законами. Кто дерзнетъ предсказать, что именно эта религій не будетъ буддизмъ». («Новѣйшія движенія въ буддизмѣ» В. Лесевича. «Русская Мысль», 1887, № 8). Я полагаю, что это дерзнетъ предсказать всякій непредубѣжденный человекъ, знающій цѣну словъ «наука», «религій». Возможно, что нѣкоторые изъ европейцевъ, утратившихъ христіанскія вѣрованія и ищущихъ религій въ смыслѣ дѣйствительнаго объединенія науки и морали, остановятъ свое вниманіе и на буддизмѣ, столь громко рекламируемомъ. Но останутся при немъ уже, конечно, не лучшіе, не тѣ, кто дѣйствительно жаждетъ ученія, объединяющаго науку и мораль въ ихъ современномъ развитіи и дающаго силу жить и умирать согласно извѣстнымъ принципамъ. Какъ-бы ни были искусны (а онѣ даже не искусны) натяжки, при помощи которыхъ извѣстная доля содержанія современной науки втискивается въ рамки буддизма, одного пророжденія буддійской истины достаточно для того, чтобы этотъ lux ex oriente, этотъ «свѣтъ Азии» померкъ въ глазахъ европейца, дѣйствительно чтущаго науку: наукѣ нечего дѣлать съ истинами, выисанными въ одну прекрасную ночь подъ священнымъ деревомъ, «въ кельѣхъ подъ елью». А просто такъ панлевать на науку, какъ предлагаютъ нѣкоторые наши новаторы и реформаторы, европейецъ не можетъ, хотя-бы во имя самой высокой морали. Какъ видите, даже обожатели тайны не отрицаютъ науку, а заигрываютъ съ ней. Намъ можно третировать науку, какъ личность, а европейцу этого нельзя,

потому что въ Европѣ наука, во-первыхъ, выстрадана цѣлыми поколѣніями, а во-вторыхъ, свою прикладную часть играть слишкомъ важную роль въ практической жизни.

Когда говорятъ о 400 или даже 500 милліонахъ буддистовъ, что составляетъ чуть-ли не половину населенія земного шара, то упускаютъ обыкновенно изъ виду вопросъ — кто эти почитатели Будды? какія страны завоеваны буддизмомъ? Монголія, Тибетъ, Китай, Сіамъ, Аннамъ, Цейлонъ (въ самой Индіи буддизмъ давно уже уступаетъ мѣсто другимъ вѣроученіямъ),—огромное и густо населенное пространство, о которомъ, однако, можно сказать словами поэта: «безглагольна, недвижима, мертвая страна». Гораздо побольше половины населенія земного шара вѣрять, что солнце ходитъ вокругъ земли, но изъ этого еще не слѣдуетъ, чтобы будущность принадлежала этому предетавленію о взаимныхъ отношеніяхъ земли и солнца. Надо еще замѣтить, что буддизмъ дѣлится на толки, и существуетъ мнѣніе, что буддизмъ тибетскій и буддизмъ цейлонскій или вообще сѣверный и южный до такой степени разнствуютъ другъ отъ друга, что только по традиціонному недоразумѣнію могутъ носить одно и то-же имя буддизма. Во всякомъ случаѣ весь дѣйствительно огромный контингентъ буддистовъ приуроченъ къ довольно опредѣленной замершей ступени цивилизаціи. Чтобы хоть сколько-нибудь распространиться за ея предѣлы, онъ самъ долженъ претерпѣть значительныя измѣненія, а въ частности, что бы соблазнить Европу, онъ долженъ не только приспособиться къ ея наукѣ, но и отказаться отъ своей морали. Но тогда что-же отъ него останется?

Буддійская мораль предписываетъ не то что любовь, а благоволеніе не только къ человѣку, а и ко всему живущему, частью можетъ быть потому, что убьешь зайца, анъ это окажется одно изъ воплощеній Будды! Но любовь любви рознь. Если всякая система морали имѣетъ въ виду личное совершенство и благополучіе адепта, то въ буддизмѣ эта черта выступать уже съ слишкомъ грубою наглядностью, такъ что въ ней тонуть всѣ предписанія относительно обязанностей къ ближнимъ. Въ «безглагольныхъ, недвижимыхъ, мертвыхъ странахъ», не принимающихъ активнаго участія въ международной жизни, прѣющихъ, если можно такъ выразиться, въ собственномъ соку, всѣ общественныя отношенія, то есть отношенія къ ближнимъ въ отдѣльности и ко всей ихъ совокупности, осѣдаютъ чрезвычайно прочно, почти незыблемо. Не является и мысли поколебать ихъ въ ту или другую сторону. Мысль, какъ критическая, такъ и творческая, устремляется главнымъ образомъ лично на самого носителя мысли, потому что это единственный пунктъ, подлежащій воздѣйствию. Лично съ собой моралистъ этихъ мертвыхъ странъ можетъ продѣлывать самыя жестокія вещи, въ видахъ достиженія совершенства и высшаго духовнаго благополучія; но для ближнихъ у него остается только пассивное благоволеніе, или столь-же пас-

сивное непротивленіе злу. Будда, сидя поджавши ноги въ лѣсу, разсыласть свое благоволеніе направо, палѣво, вверхъ, внизъ, и этой мысленной разсылки съ него совершенно достаточно: онъ увѣренъ, что помочь веѣмъ, на кого упалъ лучъ его благоволенія. Что-же касается активной помощи ближнимъ, то она тѣмъ менѣе обязательна для буддиста, чѣмъ выше ступень совершенства, на которую онъ поднялся: мы видѣли, что на вышей ступени впечатлѣніе добра и зла одинаково минуетъ сознаніе буддиста, а потому онъ, имѣя возможность накормить умирающаго съ голода, даже не замѣтитъ его. Правда, мы видѣли также, что, движимый любовью, Будда накормилъ своимъ собственнымъ тѣломъ голоднаго тигра и, изжарившись въ видѣ зайца, угостилъ собою брамина. Много и другихъ подобныхъ разсказовъ есть про Будду, но веѣ эти случан слагаются, во-первыхъ, изъ того-же пассивнаго непротивленія злу, а во-вторыхъ изъ той-же заботы о личномъ благополучіи. Помните: «Какъ свѣжая вода утоляетъ мучительный жаръ погрузившагося въ нее, такъ и пылающій огонь, въ который я (въ видѣ зайца) погрузился, утолилъ веѣ мои мученія». Подобные подвиги, однако, какъ-бы ни было велико сопровождающее ихъ наслажденіе страданія, конечно, не по плечу массѣ. Съ точки зрѣнія буддизма, люди, по своимъ нравственнымъ обязанностямъ, могутъ быть раздѣлены на три разряда. Во-первыхъ, достигшіе высшаго совершенства, заживо погружившіеся въ Нирвану или въ состояніе, близкое къ ней. Для этихъ высшихъ существъ, собственно говоря, не существуетъ никакихъ нравственныхъ обязанностей, ибо съ высоты, до которой они добрались, всякое добро и всякое зло представляется, вульгарно выражаясь, трынъ-травой. Затѣмъ идутъ праведные тоже люди, отшельники, члены монашеской общины, подвизающіеся въ познаніи истины, но еще не достигшіе конца пути. Эти должны сторониться отъ всего житейскаго, жить исключительно подаваніемъ, всемѣрно подавлять всякія свои желанія и потребности, соблюдать, между прочимъ, безусловное цѣломудріе, не противиться злу, кротко переносить обиды и притѣсенія. Все это они могутъ, впрочемъ, продѣлывать въ довольно пріятной обстановкѣ, ибо существуетъ еще третій разрядъ буддистовъ, друзей или почитателей, о которыхъ одинъ священный текетъ выражается такъ: «Дома, жертвуемые общинѣ, мѣста убѣжища и радости, гдѣ можно погрузиться въ самого себя и предаться священному созерцанію,— это превосходный даръ, восхваляемый самимъ Буддою. Поэтому пусть мудрый человѣкъ, разумѣющій свое собственное благо, выстроитъ уютные дома и помѣститъ въ нихъ свѣдущихъ въ ученіи. Да предложитъ онъ радушно имъ, праведнымъ, пищу и питье, одежду и постели». А они за это будутъ поучать «мудраго человѣка» истинамъ о страданіи и избавленіи: можетъ быть, въ одномъ изъ свѣдующихъ воплощеній и ему удастся приблизиться къ Нирванѣ.

Мнѣ кажется, смѣшно даже думать о томъ, чтобы подобная мораль

могла войти въ составъ «будущей религии» Европы, которая, очевидно, съ одной стороны слишкомъ себялюбива и своекорытна, а съ другой, напротивъ, слишкомъ участлива къ дѣламъ ближняго, чтобы сравняться съ Сіамомъ и Аннамомъ, Китаемъ и Монголіей.

Если, однако, дерзкая мысль Олькота о буддизмѣ, какъ о религии будущаго, совершенно неосновательна, то найдется все-таки въ Европѣ, можетъ быть, и не мало людей, которымъ буддизмъ симпатиченъ и помимо тѣхъ моментовъ метафизическаго паренія и обожанія тайны, о которыхъ было говорено выше.

Легенда всегда разукрашиваетъ своего героя, приписывая ему поступки, которыхъ онъ не совершалъ и не могъ совершить, или вводя въ его душу высокіе мотивы, которыхъ онъ можетъ быть и не имѣлъ. Легенда рисуетъ отъѣздъ Будды изъ родительскаго дома яркими красками благородства, великихъ помысловъ, самоотверженія, состраданія ко всему сущему, обреченному на вѣчныя страданія. Все это могло быть и не быть, но по крайней мѣрѣ рядомъ съ этими мотивами не только можно, а, кажется, должно поставить простое пресыщеніе. До двадцати девяти лѣтъ Будда жилъ среди такой роскоши и чувственной нѣги, испыталъ столько наслажденій, что ему на этомъ пути мудро было встрѣтить новое возбужденіе. А между тѣмъ натура уже привыкла къ этому неустанному и блестящему празднику чувствъ, къ этой безконечной цѣпи наслажденій. Поэма Эдвина Арнольда, согласно легендѣ, изображаетъ Будду задумывающимся среди роскоши и нѣги о переполняющемъ міръ страданіи. До какой степени трудно было поэту справиться съ этимъ пунктомъ, видно изъ слѣдующаго. Въ первой части поэмы Будда, между прочими развлеченіями, ѣздитъ на охоту и хотя «часто» давалъ уходить травимому звѣрю, но все-таки, конечно, видалъ раны и смерть: по одному случаю онъ имѣлъ съ своимъ двоюроднымъ братомъ споръ о томъ, кому должна принадлежать подстрѣленная птица,—тому-ли, кто ее хотѣлъ убить и ранилъ, или тому, кто ее спасъ и вылечилъ. Но все это были мимолетныя впечатлѣнія, не оставлявшія глубокаго слѣда въ душѣ царевича. Кругомъ его «все говорило о мирѣ и довольствѣ, царевичъ видѣлъ это и былъ доволенъ. Но вотъ, присмотрѣвшись ближе, онъ замѣтилъ шипы на розахъ жизни. Онъ замѣтилъ... что всюду всякій убиваетъ убійцу и самъ становится жертвой убійцы, что жизнь питается смертью. Подъ красивую внѣшность скрывается всеобщій свирѣпый, мрачный заговоръ взаимнаго убійства, все имъ охвачены, отъ червя до человѣка, который убиваетъ себѣ подобныхъ». Пораженный этимъ открытіемъ, Будда «сѣлъ, скрестивъ ноги такъ, какъ его обыкновенно изображаютъ на священныхъ статуяхъ, и началъ въ первый разъ размышлять о страданіяхъ жизни, объ ихъ источникахъ и о средствахъ помочь имъ». Достигнувъ экстаза, Будда успокоился («Свѣтъ Азіи», стр. 14 и сл.). Во второй книгѣ поэмы Будда женится на кра-

савицъ Яходсаръ и совершенно утопаетъ въ блаженствѣ. Въ третьей книгѣ онъ выѣзжаетъ въ первый разъ изъ своихъ дворцовъ и садовъ въ городъ и встрѣчаетъ дряхлаго, стараго ницаго. Царевичъ спрашиваетъ своего спутника: «Что это за существо, похожее на человѣка, но конечно только похожее? Развѣ когда-нибудь люди рождаются такими? Что значать его слова: «я при смерти»? («Свѣтъ Азіи», 45). Оказывается, что царевичу, уже размышлявшему до экстаза о смерти и страданіяхъ, нужно объяснить, что такое смерть, старость, болѣзнь, страданіе. Подобныхъ наглядныхъ несообразностей поэма избѣжала-бы, если-бы задачей ея не было точное воспроизведеніе легенды. Возможна во всякомъ случаѣ другая поэма на ту-же тему, болѣе согласная съ законами человѣческой природы и, надо думать, съ истиной. Она представитъ Будду пресыщеннымъ всѣмъ окружающимъ его великолѣпіемъ. Всѣ дорожки увеселительныхъ садовъ пехожены, всѣ пѣсни красивыми прислужницами перепѣты, всѣ жены («Свѣтъ Азіи» говоритъ объ одной женѣ Будды, но ихъ было, повидимому, нѣсколько) передѣлованы, и завтра, и послѣ завтра, и до конца дней надо ходить по тѣмъ-же дорожкамъ, слушать тѣ-же пѣсни, вдыхать тѣ-же благовошія, сморгѣть на тѣ-же алмазы и жемчуги. Какая тоска! Будда могъ-бы сказать своей Яходсарѣ тѣ самыя слова, съ которыми Тангейзеръ обращается у Гейне къ Венерѣ:

Frau Venus, meine schöne Frau,
 Von süßem Wein und Küßsen
 Ist meine Seele worden krank,
 Ich schmachte nach Bitternissen.
 Wir haben zu viel gescherzt und gelacht,
 Ich sehne mich nach Thränen,
 Und statt mit Rosen möcht'ich mein Haupt
 Mit spitzigen Dornen krönen.

Тщетно царевичъ ходитъ по своей золотой клѣткѣ, ниша чего-нибудь новаго, что могло-бы порадовать наслажденіемъ его притупившіеся нервы. Можетъ быть, изрѣдка еще вспыхиваетъ чуть тлѣющей огонь, благодаря какой-нибудь комбинаціи наслажденій или искусственной приподнятости ихъ тона, но и эти вспышки наступаютъ все рѣже. Наконецъ вся чаша выпита и, заглядывая въ нее, царевичъ видитъ лишь ся дно, обнаженное отъ искрометной, веселящей влаги. Дальнѣйшія попытки утолить жажду изъ этого опустѣвшего сосуда могутъ только мучительно дразнить воображеніе, не давая никакого удовлетворенія. Является наконецъ мысль разбить эту ненужную, проклятую, дразнящую чашу. Является хула на жизнь. Въ самомъ дѣлѣ, что она дала царевичу къ двадцати девяти годамъ? Чувственные наслаждения, если они смѣняются другъ друга, какъ день и ночь, исчерпываются сравнительно быстро, въ особенноти для натуръ недюжинныхъ, какимъ былъ несомнѣнно Будда. Отъ плоти остается лишь неутоленная и не-

утолимая жажда, да двѣ перспективы: назадъ, въ прошлое, гдѣ видится цѣль наслажденій, потерявшихъ уже цѣну, и впередъ, въ будущее, гдѣ уже ничего цѣннаго не видится. Мрачный взглядъ на жизнь, хула на нее очень естественны при такихъ обстоятельствахъ. Но нуженъ — же какой-нибудь выходъ. Разные бываютъ выходы изъ этого мучительнаго положенія. Буддѣ выходъ былъ показанъ готовыми уже образцами, воспитанными совокупностью географическихъ, климатическихъ, историческихъ и бытовыхъ условий его роскошной и несчастной родины. Наслажденіе стало источникомъ его страданій,—онъ пошелъ искать новыхъ, неизвѣданныхъ наслажденій въ страданіи.

Кромѣ того пути, которымъ Будда пришелъ къ сознанию скорби существованія, есть еще другой путь, ведущій въ тотъ-же мракъ, но изъ совершенно противоположной исходной точки. Постоянныя лишенія, скудость жизни и отсутствіе самыхъ элементарныхъ и законныхъ наслажденій тоже могутъ привести къ хулѣ на жизнь. Въ пессимистическій мракъ люди не только спускаются съ волшебныхъ облаковъ нѣги и роскоши, но и поднимаются въ него изъ глубинъ безразсвѣтной бѣдности и лишеній.

Если я сегодня голоденъ и вчера былъ голоденъ, и завтра и послѣ завтра буду голоденъ; если вдобавокъ я, согласно древнему индійскому вѣрованію, не избавлюсь отъ голода и смерти, потому что въ новомъ возрожденіи мнѣ, можетъ быть, опять придется голодать, то немудрено, что жизнь представится мнѣ нескончаемой вереницей страданій, — она вѣдь и въ самомъ дѣлѣ такова. Единственное средство—пріучиться не ѣсть, вытравить изъ себя чувство голода. Въ «безглагольныхъ, недвижимыхъ, мертвыхъ странахъ», гдѣ все перспективы жизни отличаются мертвенно томительною опредѣленностью, въ частности въ Индіи съ ея кастовымъ строемъ и вѣрою въ вѣчное скитальчество души, задолго до Будды выработался въ народныхъ массахъ самый отчаянный пессимизмъ. Онъ усиленно раздувался и до-буддійской браминской метафизикой. «Пещеры и дѣбри Индостана» были переполнены бѣглецами отъ жизни, и Будда присталъ къ нимъ. Свою несчастную, отъ кажущаго обилія счастья, вѣнчанную розами голову онъ рѣшилъ mit spitzigen Dornen krönen. Такъ какъ разныя алканія его притупленныхъ нервовъ не находили удовлетворенія, оставаясь однако алканіями, то онъ рѣшилъ ихъ уничтожить, прекратить аскетической практикой или борьбой съ потребностями, даже такими элементарными, какъ дыханіе и питаніе. Въ этихъ страданіяхъ онъ искалъ наслажденія, котораго уже не могъ найти въ своихъ дворцахъ и садахъ. Затѣмъ, онъ отвергъ эту уже слишкомъ безнадежную борьбу и остался при цѣломудріи, нищенствѣ и созерцательной жизни, въ каковой и достигъ искомаго блаженства, — блаженства отсутствія желаній.

Мнѣ остается, на этотъ разъ, слишкомъ мало мѣста, чтобы затѣ-

вать разговоръ о томъ крайне сложномъ и, повидимому, парадоксальномъ явленіи, которое можно назвать наслажденіемъ страданія. Сведемъ пока наши концы съ концами, то есть вернемся къ европейцамъ, увлекающимся буддизмомъ.

Весьма и весьма многіе европейскіе «сыны роскоши, прохлады и нѣги» отказались-бы помѣняться своей судьбой и обстановкой съ царевичемъ Сидартхой (свѣтское имя Будды). Царевичъ носилъ изумрудное ожерелье на шеѣ, жемчужину на шлемѣ и т. п. Нынѣшній европеецъ давно предоставилъ эти украшенія женщинамъ; а что касается, наприкладъ, кулинарныхъ пріятностей, то любой нынѣшній ресторанный предоставитъ европейцу вещи позанимательнѣе и поразнообразнѣе, чѣмъ «плоды, омоченные росой, шербетъ, замороженный въ слѣгахъ Гималаевъ, тонкія сахарныя печенія, сладкое кокосовое молоко въ бѣлыхъ кокосовыхъ чашахъ» («Свѣтъ Азии»). Вообще, если отнять у роскоши, окружавшей царевича Сидартху, ея специально азіатскія черты, нисколько не соблазнительныя для европейца, то весьма и весьма многіе европейцы скажутъ объ остальномъ: мнѣ этого мало! Женскія ласки и всѣ эти «прелестныя танцовщицы, кравчія, музыкантши, пѣвныя чернобровыя прислужницы любви» — тоже вѣдь не недоступны современному европейцу.

Дѣло роскоши и всякихъ утѣхъ и само по себѣ далеко подвинулось втеченіе двухъ тысячелѣтій, а кромѣ того, благодаря обширности международныхъ сношеній, современный европеецъ можетъ имѣть въ своемъ распоряженіи такія пріятности, которымъ царевичъ Сидартха даже имени не зналъ. Между тѣмъ природа человѣка осталась та-же самая, съ тою-же способностью переступить за предѣлы нормальныхъ потребностей и съ тою-же возможностью пресыщенія. Уголовная и скандальная хроника европейскихъ странъ полна случаями, свидѣтельствующими о тѣхъ ухищреніяхъ, къ которымъ прибѣгаютъ люди, чтобы достигнуть все убѣгающее отъ нихъ наслажденіе. Но ни возрастающая роскошь, ни утонченности разврата, ни какія-бы то ни было искусственныя возбужденія не въ состояніи вывести человѣка изъ-подъ дѣйствія «основного психофизическаго закона», по которому ощущеніе растетъ, какъ логарифмъ впечатлѣній: впечатлѣнія или раздраженія должны нарастать все быстрѣе и быстрѣе, чтобы ощущеніе держалось хотя бы только на одномъ и томъ-же уровнѣ. А отсюда тоска неудовлетворенности и хула на жизнь, вѣчно дразнящую. А, если-бы можно было вырвать изъ себя съ корнемъ всѣ эти неудовлетворимыя желанія, всю эту постылую жажду жизни!.. Немудрено, что европейскіе «сыны роскоши, прохлады и нѣги» симпатично относятся къ буддизму, или хоть интересуются его обѣщаніями освободить людей отъ желаній. Въ настоящихъ буддистовъ они, конечно, не обратятся, по отчего бы имъ не устроить хорошенькую «келью подъ елью» и не размышлять тамъ о суетѣ мірекой? или отчего бы имъ, вдоволь насладившись жизнью, не

начать проповѣдь отреченія отъ любви? отчего-бы наконецъ имъ, нашедшимъ на днѣ всѣхъ наслажденій страданіе, не поискать, если не для себя, такъ для другихъ, наслажденія въ страданіи?

III.

Въ цитированной уже нами книгѣ г. Позднѣева «Очерки быта буддійскихъ монастырей и буддійскаго духовенства въ Монголіи» есть любопытное описаніе буддійскихъ «бурхановъ», то есть изображеній различныхъ божествъ. Одни изъ этихъ бурхановъ изображаются съ покойными и улыбающимися лицами, въ ознаменованіе того идеальнаго спокойствія, которое достигается упражненіями въ буддійскомъ смыслѣ. Другіе, напротивъ, называемые «докишитами», «соединяютъ въ себѣ все, что можетъ представить безобразнаго и уродливаго человѣческаго фантазія». Докишиты раздѣляются на три группы: «1) докишиты въ сладострастныхъ формахъ, 2) докишиты въ формахъ, которыя монголы называютъ богатырскими, и 3) докишиты въ формахъ ужасныхъ, съ лицами, полными гнѣва, и окруженные принадлежностями смерти, пытки, мученій. Докишитовъ, изображаемыхъ въ формахъ самаго чувственнаго сладострастія, чрезвычайно много». Г. Позднѣевъ входитъ въ нѣкоторыя подробности описанія этихъ докишитовъ, но хотя онъ дѣлаетъ это въ возможно скромныхъ выраженіяхъ, самый сюжетъ таковъ, что я не нахожу удобнымъ приводить здѣсь эти подробности. Съ нашей, европейской точки зрѣнія, это нѣчто до послѣдней степени безстыдное и доступное лишь вполне разнузданному, въ направленіи самаго дикаго сладострастія, воображенію. Докишиты «богатырскіе» отличаются преувеличенными размѣрами зубовъ, ногтей, толщиною рукъ и ногъ или нѣсколькими головами, множествомъ рукъ и проч.; всѣмъ этимъ свидѣлствуется ихъ могущество. Докишиты «ужасные» держатъ въ рукахъ человѣческіе черепа или кости, оружіе, змѣй и проч.; брови ихъ нахмурены, лица искажены злобою.

«Страннымъ,—говоритъ г. Позднѣевъ,—и даже просто непонятнымъ могутъ показаться для человѣка, незнакомаго съ буддизмомъ, эти циничныя и ужасныя формы божествъ: но въ глазахъ буддистовъ все это имѣетъ свой великій смыслъ и свое таинственное значеніе. Такимъ образомъ общее для всѣхъ докишитовъ безобразіе и искаженіе злобою лицъ ихъ служить прямымъ выраженіемъ ихъ отвращенія отъ предметовъ матеріальнаго міра и постояннаго стремленія ихъ подавить матеріальное, грѣховное начало... Изображеніе докишитовъ въ совершенной наготѣ свидѣлствуетъ о полнѣйшемъ удаленіи (свободѣ) ихъ отъ всѣхъ препятствій къ спасенію... Объятіямъ женщинъ придается

иносказательный смысл полнѣйшаго удовлетворенія всѣхъ пожеланій и распространенія великаго блаженства».

Я не думаю, чтобы объясненіе это можно было назвать удовлетворительнымъ. Оно, пожалуй, дѣлаетъ честь умственной изворотливости буддйскихъ начетчиковъ, но оставляетъ явленіе вполнѣ загадочнымъ. Въ самомъ дѣлѣ, какимъ образомъ религія, проповѣдующая кротость, непротивленіе злу, всеобщее благоволеніе, не находитъ для изображенія отвращенія отъ матеріальнаго міра ничего болѣе подходящаго, чѣмъ искаженное злобой лицо божества и орудія пытки, мучительства, казни? Въдь это вопіющая наглядная несообразность! Почему, далѣе, религія, столь высоко цѣнящая цѣломудріе, символами высшаго блаженства и удовлетворенія всѣхъ желаній выбираетъ грубо циническія сцены сладострастія и разврата? Въдь это значитъ, что проповѣдники цѣломудрія и представити себя не могутъ ничего выше, въ смыслѣ блаженства, чѣмъ сладострастіе. А между тѣмъ должны-же какъ-нибудь укладываться въ одно цѣлое эти странныя психологическія противорѣчія. Это загадка, которую объясненіе, приводимое г. Позднѣвымъ, не только не разрѣшаетъ, а, напротивъ того, ставитъ ребромъ, потому что вскрываетъ внутреннюю противорѣчивость явленія. Я, разумѣется, не возьмусь рѣшить эту загадку специально по отношенію къ буддизму (можетъ быть, только монгольскому или вообще сѣверному); но, припомнивъ кое-какіе факты исторіи и текущей жизни, мы можемъ, кажется, по крайней мѣрѣ приблизиться къ пониманію возможности подобныхъ противорѣчій вообще.

Миная чудовищныя культы древняго Египта, Ассиріи, Вавилона, Финикіи, гдѣ самыя страшныя самоистязанія сочетались съ свирѣпою жестокостью, даже до мучительскихъ человѣческихъ жертвоприношеній, и съ оргіями разврата; миная греческія и римскія вакханаліи, въ которыхъ встрѣчаемъ сочетаніе тѣхъ-же трехъ элементовъ, остановимся на средневѣковыхъ самобичевателяхъ или флагеллантахъ. Они появились въ Европѣ еще въ VIII вѣкѣ, когда сложилось ученіе, что грѣхи можно выкупать эквивалентомъ физическаго страданія. Въ XI вѣкѣ появляются точныя расчеты: такое-то количество ударовъ, сопровождаемыхъ пѣніемъ такого-то количества такихъ-то псалмовъ, равняется году искупленія. Въ XIII вѣкѣ, именно въ 1260 г., появилась въ Италіи первая процессія бичующихся: огромная толпа полураздѣтыхъ мужчинъ и женщинъ переходила съ мѣста на мѣсто, распѣвая священныя пѣсни и нанося себѣ кровавые удары. Въ XIV столѣтіи каждое крупное общественное несчастіе вызывало эти коллективные взрывы чувства грѣха и покаянія, а такихъ несчастій было много: чума, голодъ, землетрясенія, появленіе монголовъ. Движеніе охватило огромное пространство: Венгрію, Богемію, Польшу, Швецію, Италію, Францію, Германію. Люди, проникнутое / каждой физическаго страданія во иску-

племіе грѣховъ, цѣлыми толпами жестоко петязали себя ударами узловатыхъ ремешныхъ плетей, въ которыя еще вилетались кусочки заостренного желѣза. XV, XVI и даже XVII столѣтія были еще свидѣтелями этихъ странныхъ процессій, въ которыхъ люди собственной кровью и добровольнымъ мученичествомъ боролись съ вождѣльнїями своей плоти и казнили ее. Нужны-ли, возможны-ли болѣе яркія выраженія побѣды духа надъ плотью? Флагелланты скорбѣли о томъ нечестіи, въ которомъ погрязъ христіанскій міръ; они видѣли кару божію въ разныхъ постигавшихъ Европу бѣдахъ и добровольно налагали на себя кровавое наказаніе во искупленіе грѣховъ. Безъ всякаго сомнѣнія, среди этихъ обезумѣвшихъ людей были и простые обманщики. Въ 1260 году было въ ходу письмо, писанное будто-бы самимъ Христомъ и доставленное чрезъ посредство ангела іерусалимскому патріарху; въ письмѣ этомъ Христосъ, гнѣвно отзываясь о царящемъ среди христіанъ безбожіи и нечестіи, рекомендовалъ самобичеваніе, какъ единственный путь спасенія. Было много и другихъ подобныхъ обмановъ и подлоговъ, но большинство совершенно искренно вѣрило въ необходимость и спасительность самобичеванія, ибо явно близился день конца міра и страшнаго суда; надо было его встрѣтить чистыми отъ всякой скверны.

А между прочимъ вотъ что продѣлывалось флагеллантами. Въ Испаніи въ XVII вѣкѣ самобичеваніе стало дѣломъ моды, флагелланты обучались искусству граціозно петязать себя, носили цвѣта любовницъ на плети, бичевались передъ ихъ окнами; при встрѣчѣ съ красивой женщиной наравили ударить себя такъ, чтобы кровь брызнула на нее, и это считалось галантнымъ поступкомъ. Положимъ, что эти дикія любезности продѣлывались только, кажется, въ странѣ магіилїи и вѣровъ, гитаръ и шнагъ, и притомъ уже на ущербѣ флагеллантскаго движенія. Но и здѣсь любопытно все-таки сочетаніе аскетической практики съ земной любовью, а раньше и во всей Европѣ самобичеваніе сопровождалось ужасами, совершенно лишенными дикихъ формъ испанской галантности или галантныхъ формъ испанской дикости. Удивительнымъ образомъ въ флагеллантѣ, побѣдоносно борющемся съ своей грѣшною плотью, оказывался настоящій «человѣкъ-звѣрь», кровожадный и сладострастный. На почевкахъ, гдѣ флагелланты спали въ повалку, старые и малые, мужчины и женщины, происходили всевозможныя безобразія, а кромѣ того бичующіеся были участниками, а иногда и зачинщиками массовыхъ изобіеній евреевъ и другихъ звѣрствъ въ томъ-же родѣ. Спеціальнїй историкъ аскетизма говоритъ о «формальныхъ преступленіяхъ и то утонченныхъ, то скотски грубыхъ ужасахъ разврата въ флагеллантизмѣ, исторіей развитія которыхъ можїб-бы было наполнить многія страницы, пожалуй цѣлые томы мнѣстическо-уголовной исторїи и статистики» (Zöckler, «Kritische Geschichte der Askese»). Тотъ-же историкъ и по тому-же поводу указываетъ на «сладострастно жестокое наслажденіе,

испытываемое человѣкомъ отъ собственнаго или чужого физическаго страданія». Это чудовищное наслажденіе, доселѣ не имѣющее рачіональнаго объясненія, но эмпирически вполне установленное, хорошо извѣстно психіатрамъ и практическимъ педагогамъ; о немъ, между прочимъ, разсказываетъ по собственному опыту Руссо въ своихъ «Confessions».

О пѣмецкихъ піетистахъ начала сороковыхъ годовъ нашего вѣка Шерръ выражается такъ: «Въ основѣ всѣхъ развѣтвленій піетистическаго направленія, несомнѣнно, лежитъ древняя кровавая теологія поклонниковъ Молоха, дополненная культомъ сладострастія, подобно тому, какъ и у древнихъ финикійцевъ храмъ Астарты стоялъ рядомъ съ храмомъ Молоха. Оттого-то въ ихъ рѣчахъ такъ часто проглядываетъ демонское сладострастіе и кровожадность» («Исторія цивилизаціи въ Германіи»). Шерръ разсказываетъ, между прочимъ, «гнусную трагедію піетизма, разыгранную въ Вильдсбухѣ, въ кантонѣ Цюрихъ, между 1819 и 1843 гг. въ семействѣ зажиточнаго крестьянина Петра и представляющую намъ примѣръ того, какъ религіозность въ умахъ нѣкоторыхъ людей можетъ соединиться съ крайнимъ сластолюбіемъ и жестокостью». Героиня этой трагедіи, Маргарита Петеръ, постоянно металась между крайностями аке-религіознаго энтузіазма и самымъ грязнымъ развратомъ, а кончила тѣмъ, что распяла свою родную сестру и потомъ заставила своихъ безумныхъ родственниковъ распять ее самое.

Изъ мыслителей отмѣтимъ Новалиса («Fragmenten»), Дюринга («Der Werth des Lebens»), съ настойчивостью указывавшихъ на средство лже-религіознаго рвенія, сладострастія и жестокости. Обращаясь къ психіатрамъ, найдемъ у нихъ обильныя указанія на связь между мистическимъ чувствомъ, направленнымъ на изможденіе плоти, съ звѣрскими чертами жестокости и сладострастія (см. наприм. Крафтъ-Эбингъ—«Учебникъ психіатріи», I, 79 и сл., II, 110 и сл.; его-же—«Половая психопатія»; Маудсли—«Физиологія и патологія души», 291; Тарновскій—«Извращеніе полового чувства» и др.). Читатель понимаетъ, почему я избѣгаю приводить фактическія подробности, вполне, конечно, умѣстныя въ специальныхъ сочиненіяхъ, но вовсе не нужны намъ здѣсь и слишкомъ отвратительныя, чтобы пачкаться объ нихъ безъ нужды. Приведу только недавнюю исторію отравительницы Маріи Жаннере (умерла въ 1884 году), свободную отъ скользкихъ, въ смыслѣ изложенія, подробностей и потому не вполне характерную, но все-таки для насъ поучительную. Эта женщина посвятила себя уходу за больными и именно тяжелыми больными, собственно потому, что зрѣлище страданій доставляло ей своеобразное наслажденіе. Она на колѣняхъ просила врачей разрѣшить ей присутствовать при трудныхъ операціяхъ; съ тою-же специальною цѣлью она отравила одного за другимъ девять человѣкъ. Въ тюрьмѣ она очень желала заболѣть какою-нибудь тяжелою болѣзнію, чтобы любоваться въ зеркалѣ на свое искаженное страданіями лицо. Это ужъ совсѣмъ во

вкусъ маркиза де-Сада, утверждавшаго, что сильныя физическія мученія доставляютъ сладострастное наслажденіе, какъ зрителю, такъ и самому мученику. Если скажутъ, что это явленія патологическія, то я отвѣчу, что вѣдь мы и вообще возвращаемся въ данномъ случаѣ въ міръ нездоровыхъ явленій.

Путешественники, присутствовавшіе при празднествахъ, на которыхъ люди доходятъ до мистическаго экстаза, сообщаютъ также не мало сюда относящихся чертъ. Любопытны, напримѣръ, слѣдующія слова Вамбери: «Несмотря на все религиозное значеніе благородной Мекки, она, какъ и другіе священные города, отличается распущенностью и испорченностью нравовъ. Пламенные молитвы чередуются съ безнравственными издѣяніями всякаго рода, и тутъ-же, около самаго храма, происходитъ оргія, превосходящая всякое описаніе» («Очерки и картины восточныхъ нравовъ»). Русселъ («Индія раджей») рассказываетъ о празднествѣ въ честь богини весны, Вассанти, продолжающемся сорокъ дней: «въ это время во всѣхъ классахъ общества царствуетъ разгулъ, полиійшая распущенность и развратъ; это настоящія индійскія сатурналіи». Въмѣстѣ съ тѣмъ еще недавно «въ этотъ день воздвигалось на мраморной площади множество висѣлицъ; охмѣлѣвшіе люди заставляли подвѣшивать себя на крючья, которые вонзались въ ихъ тѣла. Въ такомъ положеніи они описывали круги до тѣхъ поръ, пока не разрывалось, обратившееся въ локуты, мясо, и они не надали замерзть на землю»

Изъ всѣхъ извѣстныхъ мнѣ беллетристовъ ближе всѣхъ подошелъ къ занимающему насъ явленію и глубже всѣхъ могъ-бы въ него проникнуть Достоевскій. Говорю «могъ-бы», потому что, къ сожалѣнію, самъ онъ былъ слишкомъ проникнуть вѣрою въ необходимость, спасительность и именно наслажденіе страданія, чтобы взглянуть на дѣло съ достаточною трезвостью. Припомнимъ хоть Ставрогина въ «Бѣсахъ», который «увѣрялъ, что не знаетъ различія въ красотѣ между какою-нибудь сладострастною звѣрскою штукой и какимъ-угодно подвигомъ, хотя-бы жертвою жизни для человѣчества, что онъ нашелъ въ обоихъ полюсахъ совпаденіе красоты, одинаковость наслажденія». Такъ какъ Ставрोगинъ, на-ряду съ другими дѣйствующими лицами «Бѣсовъ», одолевая кромѣ того мистическими идеями, то мы имѣли-бы въ его лицѣ полное сочетаніе трехъ вышеотмѣченныхъ элементовъ, если-бы Достоевскій могъ съ нимъ справиться. Но Достоевскій именно не могъ, потому что въ немъ самомъ слишкомъ сросся «жестокій талантъ» съ проповѣдью спасительности страданія.

Послѣ всего сказаннаго (а сказано могло-бы быть гораздо больше) не покажутся уже столь странными циническіе и жестокіе облики буддійскихъ божествъ. Въ нихъ, въ этихъ отвратительныхъ образахъ, можетъ быть, невѣдомо для самихъ буддистовъ, воплотилась нѣкоторая сложная психологическая черта, весьма мало еще изученная и даже

мало обращающая на себя вниманія, но гораздо болѣе распространенная, чѣмъ можно-бы было думать. Не въ томъ дѣло, что кроткіе и цѣломудренныя люди молятся кровожаднымъ и сладострастнымъ богамъ, — это было-бы не столь удивительно, — а въ томъ, что люди, исповѣдующіе кротость и всеобщее благоволеніе, изображаютъ отвращеніе отъ грѣха въ видѣ злыхъ лицъ, кровавыхъ сценъ; люди, исповѣдующіе безусловное цѣломудріе, изображаютъ высшее блаженство въ формахъ разнузданнаго сладострастія. Я не знаю, какимъ образомъ «докшиты» проникли въ буддійскій пантеонъ, но знаю, что выразившееся въ нихъ противорѣчіе встрѣчается въ жизни часто.

Спрашивается, какими путями могло сложиться такое чудовищное сочетаніе психологическихъ элементовъ, столь, повидимому, не подходящихъ и трудно соединимыхъ, сложиться не въ одномъ какомъ-нибудь случайномъ, исключительномъ экземплярѣ человѣческой породы, — это былъ-бы только курьезъ. — а въ цѣлыхъ массахъ и въ созданныхъ ими культурахъ. Повидимому, какъ-бы ни были грубы половыя отношенія, но должно-же быть въ нихъ что-нибудь мягкое, любовное. Мы такъ привыкли думать, что именно взаимныя отношенія мужчины и женщины, кладущія основаніе семьѣ, способствовали историческому смягченію нравовъ вообще, народженію или, по крайней мѣрѣ, развитію поэзіи и еще многимъ другимъ хорошимъ, добрымъ вещамъ. И однако, въ какой-то таинственной связи съ этимъ зерномъ поэзіи, добрыхъ нравовъ, рыцарства находятся кровожадность и мучительство. Противорѣчіе окажется еще ярче и глубже, если мы взглянемъ на дѣло съ той точки зрѣнія, которая называлась въ старые годы натуръ-философскою: ласки любви, установленныя природою въ видахъ продолженія рода, ласки любви, началу новой жизни, и убійство, кровавый конецъ жизни, да еще растянутый мучительствомъ, своего рода антиподомъ ласки. Какая-же мрачная сила связала эти два полюса воедино? Историки культуры и антропологи дадутъ намъ, пожалуй, нѣкоторое объясненіе. Они скажутъ, — и справедливо скажутъ, — что любовь была не всегда тѣмъ высокимъ, «любственнымъ» чувствомъ, какимъ мы признаемъ ее нынѣ, послѣ длиннаго ряда вѣковъ общественнаго развитія; что нѣкогда, какъ и по сейчасъ у нѣкоторыхъ дикарей, женщина была не болѣе, какъ самкою, изъ-за обладанія которою у самцовъ происходили кровавыя драки, да и сама она подвергалась насилію, подчасъ столь-же жестокому и кровавому. Нашъ отдаленный предокъ добывалъ женщину арканомъ и дубиною, тащилъ ее въ свой шалашъ или пещеру, какъ илѣяницу, выкраденную или отбитую у враждебнаго рода или племени, съ которыми у него имѣлись старые кровавые счеты. Нѣчто подобное мы вѣдь и теперь можемъ наблюдать, когда какая-нибудь турецкая или иная солдатчина хозяйничаетъ въ чужой странѣ. Такимъ образомъ самое удовлетвореніе того чувства, которое мы нынѣ зовемъ

любовью, было запятнано мстительной злобой, жестокой ненавистью. И если мы нынѣ встрѣчаемъ столь поразительныя для насъ сочетанія любви и жестокости, то это не болѣе, какъ случай атавизма, воскресенія, подъ давленіемъ неизвѣстныхъ намъ условій наслѣдственности, ассоціаціи чувствъ, когда-то вполне естественной. Объясненіе это по всей вѣроятности частію справедливо, но не полно, односторонне и ни въ какомъ случаѣ не обнимаетъ всей интересующей насъ сложной психологической черты. Въ послѣднемъ своемъ романѣ Эмиль Зола приложилъ это объясненіе наглядно. Въ его «человѣкъ-звѣрь» бушуютъ одновременно страстное половое влеченіе и жажда кроваваго убійства; онъ тщетно берется съ самимъ собой, онъ самъ въ полномъ отчаяніи отъ раздражающихъ его явно противорѣчивыхъ чувствъ и не знаетъ, откуда они берутся. Зато авторъ очень хорошо знаетъ откуда: это случай атавизма, внезапнаго пробужденія того древняго сочетанія полового влеченія и кровожадности, которое имѣло въ свое время очень ясныя и определенныя причины, а теперь выскакиваетъ изъ далекаго прошлаго съ неожиданностью водевиальнаго дядюшки изъ Америки, только не съ миллионнымъ, а съ кровавымъ наслѣдствомъ.

Это такъ, и что касается собственно героя романа Зола, то любопытство наше относительно его можетъ быть и удовлетворено такимъ объясненіемъ. Однако, едва-ли не потому только, что герой этотъ есть ходячій тезисъ объ атавизмѣ или манекенъ, выставленный съ спеціальною цѣлью иллюстрировать этотъ тезисъ. Онъ слишкомъ угловатъ, сухъ, подчеркнуть, недостаточно сложенъ, чтобы претендовать на живую типичность и возбуждать глубокой психологической интересъ. Художникъ гораздо болѣе крупный, чѣмъ Зола, Достоевскій неоднократно намѣчалъ ту-же черту гораздо шире и искалъ ей объясненія не въ погребенномъ прошломъ, а въ общихъ свойствахъ человѣческаго духа, доселѣ живущихъ. Такъ, напримѣръ, герой разсказа «Игрокъ» не можетъ рѣшить, дѣйствительно-ли онъ любить любимую женщину или-же, напротивъ того, ненавидитъ ее. «Клянусь,—говоритъ онъ, между прочимъ,—если-бы было возможно медленно погрузить въ ея грудь острый ножъ, то я, мнѣ кажется, схватился-бы за него съ наслажденіемъ. А между тѣмъ, клянусь всею, что есть святого, если-бы на Шлангенбергѣ она сказала мнѣ: «бросьтесь внизъ», то я-бы тотчасъ-же бросился, и даже съ наслажденіемъ». Но Достоевскому, душевныя свойства человѣка таковы, что онъ, во-первыхъ, любитъ мучить другихъ людей, а во-вторыхъ—любитъ самъ страдать, и разными комбинаціями этихъ двухъ основныхъ свойствъ объясняются для Достоевскаго все парадоксальныя случаи въ родѣ любви «игрока» и другіе подобныя, которыми онъ такъ сильно интересовался. Объясненіе это никуда не годится и ровно ничего не объясняетъ, потому что само насквозь пропитано тѣмъ самымъ противорѣчіемъ, которое объяснить желаетъ. Но оно хорошо по край-

ней мѣръ тѣмъ, что не отсылаетъ насъ къ давно прошедшему времени, а ставитъ насъ лицомъ къ лицу съ условіями человѣческаго духа, въ предположеніи сейчасъ дѣйствующими. Своими сближеніями такихъ полюсовъ, какъ наслажденіе и страданіе, любовь и ненависть, Достоевскій ставилъ любопытнѣйшую задачу, хотя и не могъ рѣшить ее, будучи самъ ею придавленъ. При всемъ уваженіи къ ученію о наследственности или даже именно вълѣдствіе этого уваженія, пора бросить манеру искать исключительно въ немъ объясненія для всѣхъ сколько-нибудь загадочныхъ явленій современности или всѣхъ временъ. *Le mort saisit le vif*—это вѣрно, но живое, надо думать, живетъ сколько-нибудь и за свой собственный счетъ. Пусть атавизмъ несомнѣнно проявляется въ томъ или другомъ случаѣ, но желательно знать, вѣтъ-ли и въ современныхъ условіяхъ или во всегдашнихъ свойствахъ души человѣческой чего-нибудь такого, что дѣйствовало-бы рядомъ съ закономъ атавизма и въ томъ-же направленіи, но не изъ далекаго прошлаго и не спорадически, а постоянно. Если окажется, что ничего подобнаго найти нельзя, тогда, дѣлать нечего, мы останемся при одномъ атавизмѣ, но надо-же все-таки искать.

Искать слѣдуетъ тѣмъ болѣе, что парадоксальнымъ сочетаніемъ полового влеченія съ кровожадностью еще не исчерпываются намѣченные нами факты. Противоестественность этого сочетанія еще углубляется тою санкціей, которая дается ему религіознымъ чувствомъ буддистовъ, поскольку оно отразилось въ «докринахъ», религіознымъ чувствомъ древнихъ служителей Молоха. Астарты и проч., средневѣковыхъ флагеллантовъ, нѣмецкихъ піетистовъ первой половины нашего вѣка, разныхъ психіатрическихъ субъектовъ и т. д., и т. д., и т. д. Особенный интересъ представляетъ для насъ въ данномъ случаѣ то обстоятельство, что и буддизмъ и вѣрованія флагеллантовъ, піетистовъ и проч. предписываютъ съ одной стороны кротость, любовь къ ближнему, непротивленіе злу, а съ другой—цѣломудріе и вообще отчаянную борьбу съ требованіями грѣховной плоти. И однако, съ этими вѣрованіями чудно слетаются мысли, чувства и поступки, представляющіе самую рѣзкую противоположность кротости и цѣломудрія. Надо, впрочемъ, оговориться. Въ житейской практикѣ буддизма нѣтъ ничего подобнаго изувѣрствамъ флагеллантовъ или піетистовъ. Г. Позднѣевъ рассказываетъ о нѣкоторыхъ буддійскихъ подвижникахъ, которые оказывались далеко не цѣломудренными, а также и о такихъ, которые были настоящими разбойниками, буквально грабили на большихъ дорогахъ и, надо думать, не отказывались при случаѣ и отъ убійства. Но это возможно всегда и вездѣ, и подобные случаи сами по себѣ не бросаютъ никакой тѣни на ученіе. А мистическихъ взрывовъ разврата и жестокости въ буддизмѣ нѣтъ. Буддисты, какъ мы видѣли, только усваиваютъ своимъ божествамъ формы кровожадности и страдательности. Но зато-же

они отвергают и самоистязанія, ихъ борьба съ грѣховною плотью ограничивается пассивнымъ воздержаніемъ отъ общенія съ вѣдшимъ міромъ: каковое воздержаніе доходитъ иногда, пожалуй, и до пассивной жестокости, потому что, какъ-бы ни сострадалъ будище страждущему міру, но его высшій идеаль состоитъ въ томъ, чтобы даже не замѣчать этихъ страданій. Такъ что и здѣсь есть какое-то соответствіе.

Шерръ утверждаетъ, что въ 99-ти случаяхъ изъ 100 мистическое рвеніе, направленное на тиранство естества, есть или задержанная, или разнузданная чувственность. Всѣ подобныя quasi-математическія формулы, разумѣется, совершенно произвольны, но въ основаніи своемъ мысль Шерра очень вѣрна. Она весьма близка къ сказанному нами въ прошлый разъ о двоякомъ происхожденіи пессимизма: сверху, отъ переудовлетворенія потребностей, и снизу, отъ неудовлетворенія ихъ, отъ хроническаго пресыщенія и хроническаго голоданія. Когда человѣкъ тѣмъ или другимъ изъ этихъ двухъ путей приходитъ къ сознанию горечи жизни, онъ естественно долженъ, въ облегченіе этой горечи, начать борьбу съ своими потребностями, ибо въ нихъ-то и заключается корень всего зла. Онъ даже иногда выдѣляетъ изъ себя эту сторону своей собственной природы и ипостазируетъ ее въ видѣ злого духа, нашептывающаго ему соблазнительныя рѣчи, внушающаго грѣшныя, а въ сущности неудовлетворимыя или трудно удовлетворимыя желанія. Наиболее послѣдовательные изъ тирановъ человѣческаго естества пытаются, какъ мы видѣли, бороться даже съ такими общими и элементарными потребностями, какъ дыханіе и питаніе. Но побѣда здѣсь, конечно, немислима, и подобныя попытки могутъ имѣть значеніе развѣ только въ качествѣ упражненій воли. Болѣе успѣха предвидится въ борьбѣ съ половой страстью, на каковую борьбу и направляется главная струя усилій: дѣвство восхваляется, любовь проклинается, а заодно съ нею иногда и женщина; любовь объявляется въ жару борьбы чѣмъ-то «не естественнымъ», такъ что является даже высокоумѣнная претензія учить естествознанію самую природу; дѣло можетъ доходить, какъ у нашихъ сектантовъ и у нѣкоторыхъ древнихъ, до спеціальнаго самоизуродованія. Сюда-же примыкають бичеванія и другія подобныя самоистязанія. Все это дѣлается съ цѣлью усмирить бултующую плоть, подавить ея алканія и наказать ее за нихъ. Но чѣмъ туже натянута струна, тѣмъ съ большимъ эффектомъ она лопается, когда, наконецъ, переступаетъ предѣлъ возможнаго сопротивленія. Оскорбленная природа жестоко метитъ за себя, вызывая взрывы необузданнаго сладострастія, какъ-бы въ видѣ компенсаціи за нарушенное равновѣсіе. Собственно говоря, такую-же компенсацію представляетъ самое отреченіе отъ любви въ тѣхъ случаяхъ, когда оно слѣдуетъ за излишествомъ, грубостью и извращенностью любовныхъ наслажденій. Уголъ паденія въ точности равенъ углу отраженія не только въ мірѣ физической механики. За

взрывами грѣха естественно слѣдуютъ такіе-же взрывы вянущаго покаянiя, остраго, мучительнаго, а иногда еще осложненнаго злобною ненавистью къ предметамъ и людямъ, соблазнившимъ на грѣхъ. Уже въ тѣхъ пенстовыхъ ругательствахъ, которыя издревле сыплются на женщину, какъ на соблазнительницу и грѣху заводчицу, заключается столько гнѣва и злобы, что отъ нихъ уже совсѣмъ недалеко и до жестокой расправы. Къ этому присоединяется еще темный пока, но несомнѣнно существующiй физиологическiй законъ, связывающiй самонетязанiя съ половою страстью. Жестокость доходитъ до кровожадности, отъ которой не спасаетъ и минорный тонъ ученiй кротости. При существующихъ условiяхъ всеобщее благоволенiе есть или пустое слово, ни къ чему въ дѣйствительности не обязывающее, либо насилiе надъ природою человѣка. Противленiе злу занимаетъ свое опредѣленное мѣсто въ ряду человѣческихъ потребностей, и искусственное подавленiе ея ведетъ къ тому-же треску лопающейся туго-натянутой струны. Такъ какъ эти судорожные скачки съ одного ненормальнаго пути жизни на другой, столь-же ненормальный, происходятъ стихiйно, то есть помимо сознанiя и воли, а иногда даже вопреки волѣ, то захваченный такимъ бурнымъ психическимъ процессомъ субъектъ ищетъ ему объясненiй въ чьей-то высшей волѣ, въ чьемъ-то могущественномъ стороннемъ влiянiи. А увѣренность въ существованiи этого могучаго давленiя даетъ источникъ мистическому чувству, въ волнахъ котораго уже все окончательно спутывается: страданiе и наслажденiе, свое страданiе и чужое, любовь и ненависть, грѣхъ и покаянiе, жажда жизни и боязнь ея, жажда уничтоженiя, смерти и боязнь ея.

Нѣсколько словъ въ скобкахъ. Изучая обширную литературу, историческую и художественную, объ Иоаннѣ Грозномъ, я былъ пораженъ тѣмъ, что художники и тѣ изъ историковъ, которые интересовались Грознымъ не только какъ государственнымъ дѣятелемъ, а и какъ характеромъ, нравственною личностью, хотя по необходимости отмѣчали судорожные скачки его больной души отъ жестокости къ смиренiю, отъ покаянiя къ грѣху, отъ изможденiя плоти къ разнузданности и обратно,—но не сдѣлали именно изъ этой игры стихiйныхъ противорѣчiй центра тяжести своихъ изслѣдованiй и изображенiй. Этого не сдѣлали и К. Аксаковъ и Островскiй, оригинальнѣе и глубже всѣхъ взглянувшiе на нѣкоторыя стороны характера Грознаго. Какое удивительное произведенiе опять-таки могъ-бы написать на эту тему Достоевскiй! Это, впрочемъ, мимоходомъ.

Ученiя, какъ буддизмъ и т. п., систематизирующiя разныя формы отреченiя отъ жизни, собственно говоря, совсѣмъ не заслуживаютъ названiя религiй. Истинная религiя, давая отвѣты на вопросы о бывшемъ, сущемъ и долженствующемъ быть, вмѣстѣ съ тѣмъ повелительно указываетъ человѣку его личную роль въ вѣчной смѣнѣ явленiй, учить

его жить. Допустимъ, что понятія буддизма о міровомъ порядкѣ, о бывшемъ и сущемъ совершенно правильны, какъ хотятъ насъ увѣрить теософы. Но руководства къ жизни онъ во всякомъ случаѣ не даетъ, потому что учить именно не жить, а бѣжать отъ жизни. Въ числѣ разныхъ опредѣленій, какія могутъ быть даны жизни, возможно и такое: жизнь есть возникновеніе и удовлетвореніе потребностей. Сообразно обстоятельствамъ времени и мѣста, потребности измѣняются, какъ въ общей суммѣ, такъ и въ отдѣльныхъ подробностяхъ, и въ напряженности своей. Но въ каждую данную минуту человѣкъ имѣетъ опредѣленную систему потребностей, удовлетвореніемъ которыхъ исчерпывается понятіе жизни, причемъ жизнь можетъ быть, конечно, здоровая и больная, полная и односторонняя, возвышенная и низменная. Въ виду этого человѣкъ можетъ нуждаться въ указаніяхъ авторитетнаго ученія на относительное значеніе и порядокъ удовлетворенія потребностей. Но ученія, предписывающія человѣку такъ или иначе, активно или пассивно, тиранить свое естество отреченіемъ отъ потребностей и карою за ихъ удовлетвореніе, за одни помыслы объ ихъ удовлетвореніи, очевидно сами отказываются отъ руководящей роли. Немудрено поэтому, что люди, исповѣдующіе подобныя ученія, мечутся по волнамъ жизни «безъ кормила и весла» отъ одного берега къ противоположному. Немудрено также, что они боятся жизни. Страшно встрѣтиться лицомъ къ лицу со зломъ и съ добромъ, страшно любить, страшно смотрѣть и слушать, страшно, наконецъ, даже дышать! Страшно смотрѣть на розу, потому что вдругъ явится желаніе сорвать ее, а на ней шипы! Страшно жить, потому что жить безъ желаній нельзя, а всякое желаніе чревата бѣдой и горемъ. Лучше ужь сосредоточиться на уразумѣніи «смысла основныхъ свойствъ пустоты»,—тутъ одна только бѣда грозитъ: мохомъ обростешь. «Уйти отъ грѣха» эти люди могутъ не иначе, какъ уйдя отъ жизни,—слишкомъ ужь они изуродованы предварительнымъ хроническимъ неудовлетвореніемъ или въ особенности переудовлетвореніемъ потребностей. Они боятся,—и, что касается ихъ лично, справедливо боятся, что если они не будутъ строгими искусственными мѣрами держать на уздѣ, напримѣръ, свою потребность питанія, то объѣдятся до полного разстройства пищеварительныхъ органовъ и отвращенія отъ самаго вида пищи. Точно также боятся они, что, отдавшись любви, они тотчасъ-же обратятся въ животныхъ, даже хуже, потому что животное не выбивается изъ предѣловъ своего естества и не знаетъ ни пресыщенія, ни разнузданнаго воображенія. И уже самая эта боязнь свидѣтельствуетъ, что даже подъ самыми елейными формами (иногда, конечно, просто лицемѣрными) тлѣетъ въ нихъ искра, которая можетъ при случаѣ разгорѣться въ цѣлый пожаръ мерзости. Такъ оно и бываетъ въ дѣйствительности.

О трудномъ положеніи русскаго читателя.

Положеніе нынѣшняго русскаго читателя, не просто пробѣгающаго за утреннимъ стаканомъ чая телеграммы и прочія новости дня, да на сонѣ грядущій нѣсколько страницъ переводнаго или оригинальнаго романа, а желающаго сколько-нибудь разобраться въ пестрой массѣ печатнаго матеріала, чрезвычайно затруднительно. Приступая къ чтенію съ дѣялами просвѣщенія своего ума и сердца, онъ вскорѣ замѣчаетъ, что его умъ и сердце не только не просвѣщаются, но обдаются даже вѣющимъ туманомъ. ибо попадаютъ въ область какого-то нравственнаго хаоса, гдѣ добро не отдѣлено отъ зла и ложь отъ правды. Гдѣ-то они тутъ должны быть, эта правда и это добро, но какъ ихъ выцарапать изъ облегающихъ ихъ со всѣхъ сторонъ и перемѣшанныхъ съ ними лжи и зла? Самое простое, конечно, разбираться собственными средствами; но вѣдь это легко сказать, а сдѣлать не всегда легко, и натурально, что большинство читателей ищетъ въ печати нѣкотораго руководства. Ищетъ, но едва-ли въ большомъ изобиліи находятъ.

Въ старые годы, говаривалъ Салтыковъ, было въ ходу хорошее слово «понеже», нынѣ почти вышедшее изъ употребленія. Выходитъ оно изъ употребленія и въ печати. Прежде, утверждая или отрицая что-нибудь, восхваляя одно и порицая другое, литература болѣе или менѣе обстоятельно и по возможности убѣдительно развивала свои тезисы: утверждаю или отрицаю, «понеже» имѣю такіе-то и такіе-то факты; восхваляю или порицаю, «понеже» такія-то качества, въ силу такихъ-то соображеній, похвалыны, а такія-то достойны порицанія. Это бывало длинно и подчасъ можетъ быть утомительно, но зато читатель вводился въ нѣкоторый логическій процессъ, правильность или неправильность котораго могъ самъ провѣрить. Нынѣ-же нѣкоторые писатели, по краткой повелительности своего изложенія и по отсутствію моти-

вовъ, доходить до формы почти декретовъ. Будучи увѣрены въ своей близости къ первоисточнику истины, они требуютъ соответственнаго довѣрія и отъ читателя. Считая себя обладателями основного фонда нравственно-политическихъ, а при случаѣ и всякихъ другихъ аксіомъ, не требующихъ ни провѣрки, ни даже просто опубликованія въ сколько-нибудь вразумительной формѣ, они не утруждаютъ ни себя, ни читателя скучнымъ процессомъ логическаго и фактическаго обоснованія своихъ рѣшеній. И какихъ рѣшеній! Нѣтъ предѣла смѣлости этихъ людей, нѣтъ мѣры ихъ радикализму. Читатель въ одинъ прекрасный день съ изумленіемъ узнаетъ изъ своей газеты, что, напримѣръ, необходимо уничтожить все. Понимаете: все! Въдь это ужасно много, и читатель натурально хотѣлъ-бы знать мотивы столь радикальнаго рѣшенія, а ему никакихъ мотивовъ не даютъ или даютъ мотивы столь краткіе и общіе, что ничего разобрать нельзя. Нельзя-же въ самомъ дѣлѣ считать логически и фактически обоснованнымъ такое предложеніе: надо уничтожить все, потому что все никуда не годится или все преступно. Но не успѣетъ ошеломленный читатель собраться съ мыслями, какъ вдругъ—хлопъ!—новый декретъ: а которое умерло, то все воскресить! И опять никакого снисхожденія къ логической способности читателя, никакого «понеже» или такое «понеже», что лучше-бы его и не было. Иногда эти смѣлые глаголы публицистовъ, обладающихъ основнымъ фондомъ нравственно-политическихъ аксіомъ, спрягаются не въ повелительномъ, а въ изъявительномъ наклоненіи, въ томъ родѣ, какъ декретировала Наполеонъ I: дескать, династія Бурбоновъ перестала царствовать,—и только. Коротко и ясно. Такъ, напримѣръ, «Гражданинъ» объявилъ недавно, что покойный Данилевскій совершенно уничтожилъ Дарвина. Ни доказательствъ, ни разъясненій, ни ссылки на чье-нибудь авторитетное свидѣтельство. Просто былъ Дарвинъ, дѣйствительно былъ и многихъ ученыхъ и неученыхъ людей соблазнилъ, но теперь ужъ это все кончено,—въ этомъ удостовѣряетъ кн. Мещерскій. Авторитетный тонъ, которымъ излагаются подобныя глупости, а иногда не только глупости, едва-ли можетъ способствовать просвѣщенію ума и сердца читателей.

Пріемы эти не новость въ нашей литературѣ—они практиковались давно. Но, во-первыхъ, едва-ли они когда-нибудь достигали такого развитія, какъ нынѣ, а во-вторыхъ, прежде они имѣли свой опредѣленный кругъ, такъ сказать, географическаго распространенія, а нынѣ распространились чуть не по всему лицу литературы русской. Еще не такъ давно можно было слышать жалобы на «кружковщину» въ литературѣ, на партійность, которая все мѣряетъ своимъ собственнымъ аршиномъ и подгоняетъ къ своей узкой тенденціи. Теперь на этотъ счетъ, кажется, свободно стало: кто во что гораздъ. Это называется свободою и широтою мысли. Сомнѣваюсь, чтобы, именно, этому явле-

нію соответствовало столь пышное названіе, но во всякомъ случаѣ читателю отъ этой широты и свободы не легче стало. Прежде читатель зналъ, что въ такомъ-то органѣ печати онъ встрѣтится съ опредѣленнымъ кругомъ идей и симпатій, а въ другомъ—съ другими. Онъ выбиралъ себѣ въ друзья и руководители любой изъ нихъ и зналъ, что не рискуеть встрѣтиться съ внезапностью, которая его можетъ сбить съ толку или поставить въ тупикъ: Катковъ, такъ Катковъ, Салтыковъ, такъ Салтыковъ. А теперь пошла широта мысли, способная обнять обоихъ заразъ, и полная свобода «воспѣть Гарибальди, воспѣть и Франческо». Приведу образчикъ.

Издастся въ Петербургѣ газета «Недѣля». Скромная и въ общемъ почтенная газета, но ее время-отъ-времени точно муха какая укуситъ: «новое слово» ей хочется сказать, совершенно не соображая это новое слово ни съ остальнымъ своимъ содержаніемъ, ни съ прошлыми, тоже «новыми словами», которыя когда-то она говорила, да теперь забыла. Эти недѣльные новыя слова періодически возникаютъ, потомъ куда-то проваливаются, уступая мѣсто другимъ новымъ словамъ, совершенно на предыдущія не похожимъ и — увы! — отнюдь не всегда новымъ. Это у «Недѣли», кажется, приращенный «родъ педуга». Для характеристики теперешняго недѣльнаго новаго слова приведу слѣдующія слова изъ статьи г. Р. Д. о сочиненіяхъ г. Лѣскова. Г. Р. Д. недоволенъ нашей литературной критикой шестидесятыхъ и семидесятыхъ годовъ. Онъ не находитъ въ ней «ничего сколько-нибудь крупнаго, глубокаго, прочнаго», а только «господство минуты, полемическаго задора, наивнаго проповѣдничества и круглага эстетическаго невѣжества». Авторъ снисходительно прибавляетъ: «Было, правда, и тогда нѣсколько критиковъ, не лишенныхъ таланта, но все они, по какой-то странной случайности, умирали въ ранней молодости, не успѣвъ освободиться отъ повального въ то время увлеченія такъ называемымъ отрицательнымъ направленіемъ, которое наполняло ихъ жаждою поскорѣй высказать свои новыя взгляды по разнымъ моднымъ вопросамъ и не внушало имъ никакой любви къ произведеніямъ художественнаго творчества и ни малѣйшаго желанія изучить ихъ и понять свободно, безпристрастно. Высоко-художественныя, полныя глубокаго и самобытнаго содержанія произведенія служили для этихъ критиковъ лишь болѣе или менѣе удобнымъ поводомъ для выраженія ихъ собственныхъ, вообще говоря, мало интересныхъ и незрѣлыхъ мыслей».

Эти свои собственные высоко интересные и вполне зрѣлыя мысли г. Р. Д. размазываетъ и еще, но съ меня довольно и приведеннаго. Я иду далѣе г. Р. Д. Я думаю, что со времени Бѣлинскаго у насъ былъ только одинъ литературный критикъ, Добролюбовъ, но зато, въ противность мнѣнію г. Р. Д., этотъ одинъ дѣйствительно «крупенъ, глубокъ и проченъ». Правда, и Добролюбовъ занимался не исключительно лите-

ратурной критикой. Тѣмъ не менѣе, снисходительно называть Добролюбова «не лишеннымъ таланта», говорить объ его «кругломъ эстетическомъ невѣжествѣ», объ отсутствіи въ немъ «любви къ произведеніямъ художественнаго творчества», объ его «мало интересныхъ и незрѣлыхъ мысляхъ», —я не знаю, мнѣ кажется, всего этого не наговорять даже «Московскія Вѣдомости», «Гражданинъ» и прочія изданія, у которыхъ г. Р. Д. позаимствовалъ свое самоновѣйшее недѣльное слово. Ибо вѣдь не ново это слово, очень не ново, оно давно оплѣшивѣло и все зубы растеряло. Повторяя чужія слова, г. Р. Д., какъ это часто въ подобныхъ случаяхъ бываетъ, еще пересолнилъ то, что было и безъ того достаточно солено. «Круглымъ эстетическимъ невѣждой» Добролюбова никто еще не называлъ. Эта честь принадлежитъ «Недѣлѣ», и да не проститъ ей Аллахъ развязности, съ которою она присоединила эту ругань къ заплесневѣвшимъ толкамъ объ «отрицательномъ направленіи». Да не проститъ, потому что нельзя-же въ самомъ дѣлѣ все прощать и прощать. Конечно, по прошествіи нѣкотораго времени, «Недѣля», по бывшимъ примѣрамъ, сдастъ свое новое слово въ архивъ и, какъ ни въ чемъ ни бывало, провозгласитъ опять что-нибудь новое. Но надо-же хоть сколько-нибудь пожалѣть читателя, котораго категорическій тонъ г. Р. Д. можетъ и огорчить. Замѣьте, что «Недѣля» и не подумала подтвердить свое мнѣніе о кругломъ эстетическомъ невѣжествѣ Добролюбова какими-нибудь доказательствами. Она декретировала это невѣжество безъ всякихъ «понеже», предоставляя читателю самому разбираться въ самоновѣйшемъ недѣльномъ словѣ и не утруждая опубликовать тѣ данныя, на основаніи которыхъ произносится смертный приговоръ знаменитому критику. А вѣдь интересно-бы знать! Я съ своей стороны полагаю, что г. Р. Д. просто ничего не понимаетъ, но по укоролившемуся нынѣ обычаю свободно и гордо выносить свое непониманіе на улицу. Впрочемъ, даже при условіи полного и гордаго непониманія, критика «Недѣли» могли-бы выручить въ настоящемъ случаѣ нѣкоторые побочныя и внѣшнія обстоятельства. Вспомнилъ-бы онъ, напримѣръ, что среди массы журнальной работы Добролюбовъ находилъ время съ любовью переводить Гейне, что онъ и самъ писалъ стихи, конечно, не Пушкинскіе, но одно изъ нихъ («Бюеъ, чтобъ все, чего желалъ такъ жадно») такой художникъ, какъ Тургеневъ, не усомнился вложить въ уста такой художественной натуры, какъ Неждановъ. Это, можетъ быть, удержало-бы развязнаго критика «Недѣли» по крайней мѣрѣ отъ утвержденія, что у Добролюбова не было «никакой любви къ произведеніямъ художественнаго творчества». А отправляясь отсюда, г. Р. Д. усмотрѣлъ-бы, можетъ быть, и въ статьяхъ Добролюбова кое-какіе слѣды любви къ искусству и пониманія его. А подвинувшись еще немного впередъ, г. Р. Д. увидаль-бы наконецъ, что ему надо много и много поучиться у Добролюбова прежде, чѣмъ оповѣщать свои мысли читателямъ «Недѣли».

Но что вы будете дѣлать: теперь торжествуютъ свобода и широта! Свобода ничего не понимать и повторять зады «Московскихъ Вѣдомостей» и «Гражданина». Богъ съ нимъ, съ г. Р. Д.! Меня занимаетъ положеніе читателей «Недѣли», которые когда-то встрѣчали въ «Недѣлѣ» не такіе отзывы о Добролюбовѣ, а нынѣшнее ея на этотъ счетъ умоположеніе привыкли находить въ органахъ, имѣющихъ, повидимому, мало общаго съ «Недѣлей». И я спрашиваю: способны-ли подобныя курбеты просвѣщенію ума и сердца читателей? Не способны-ли они, напротивъ того, повергнуть ихъ во мракъ политическаго недоумѣнія?

«Недѣля» уже довольно давно находится въ интересномъ положеніи куколки, изъ которой вотъ-вотъ вылетитъ какая-то бабочка; какал, какихъ цвѣтовъ и рисунковъ—неизвѣстно. Этимъ интереснымъ положеніемъ объясняются разныя странности, во всякомъ случаѣ для читателя по малой мѣрѣ неудобія. Гораздо, повидимому, лучше положеніе читателей открыто ретроградной или, какъ она сама себя вполне неправильно называетъ, консервативной печати. Тутъ-то уже, кажется, все ясно и всякое слово стоитъ на своемъ мѣстѣ. Однако, увы! Дѣло просвѣщенія умовъ и сердецъ читателей и здѣсь обстоитъ далеко не вполне благополучно. Вы понимаете, что это «увы!» не изъ глубины моего огорченнаго сердца вырвалось, потому что мнѣ нѣтъ никакого дѣла до читателей «консервативной» прессы. Но по человечеству можно и ихъ пожалѣть: можно пожелать, чтобы и они не въ потемкахъ бродили, а ясно создавали, что именно имъ впунается и какія перспективы имъ предстоятъ. Я отнюдь не помышляю о сколько-нибудь полной характеристикѣ «консервативной» печати и хочу обратить ваше вниманіе собственно на одну только, но крайне любопытную сторону дѣла.

Если срубить большое, сильное дерево, то отъ корней его поднимается множество отрпысковъ, которые призваны, такъ сказать, продолжать традиціи покойника, по которымъ это почти никогда не удается, уже просто по одному тому, что ихъ очень много. Они мѣшаютъ другъ другу, каждый изъ нихъ стремится ухватить на свою долю какъ можно больше свѣта, воздуха, влаги изъ того района, которымъ безраздѣльно владѣлъ могущественный покойникъ, и все они слишкомъ слабы, чтобы выдержать эту борьбу за существованіе. Такъ случилось и съ «консервативною» печатью послѣ смерти Каткова. Катковъ былъ талантливымъ и, главное, исключительно сильнымъ, по обстоятельствамъ, человекъ. Онъ давалъ тонъ извѣстной части печати, которая держалась при немъ строжайшей дисциплины. Умеръ онъ, и сразу явилось нѣсколько претендентовъ на эту руководящую роль, но, кромѣ непріятнаго зрѣлища войны за катковское наслѣдство, ничего изъ этого не произошло. Ничего и не произойдетъ. Второго Каткова не будетъ, по крайней мѣрѣ изъ состава нынѣшнихъ претендентовъ, потому что ни одинъ изъ нихъ не захочетъ подчиниться другому и не сумѣетъ

подчинить себѣ другихъ. Такъ всё они и останутся до конца дней своихъ въ видѣ мелкой поросли, какъ-бы они ни старались перегнать и перекричать друга друга въ своемъ «консервативномъ» и «благонамѣренномъ», а въ сущности разрушительномъ и совершенно неблагонамѣренномъ направленіи. Уже самый этотъ разбродъ и разладъ, принимающій подчасъ очень рѣзкія формы (они вѣдь другъ друга «юрдливыми» и т. п. величаютъ), долженъ отозваться на читателяхъ отнюдь не просвѣщеніемъ ума и сердца. Кому вѣрить? за кѣмъ идти? Имѣлъ-ли Катковъ дѣйствительно опредѣленную и ясную программу, это вопросъ, котораго мы теперь касаться не будемъ. Но во всякомъ случаѣ, благодаря его личному подавляющему авторитету, партія имѣла всё вѣншіе признаки единства и опредѣленности. Теперь и здѣсь кто во что гораздъ. Но этого мало. Привыкнувъ идти слѣдомъ за Катковымъ и вдругъ очутившись на всей своей вольной волѣ, претенденты на его наслѣдство сплошь и рядомъ сами не знаютъ куда идти, а не то чтобы другихъ вести. А между тѣмъ положеніе претендентовъ обязываетъ ихъ имѣть свободныя и величественныя манеры, ибо надо-же имъ чѣмъ-нибудь прикрыть свою скудость. Такимъ прикрытіемъ является обыкновенно фраза приблизительно въ старомъ катковскомъ духѣ, по по возможности болѣе хлесткая и рѣзкая, чѣмъ тѣ, которыя говорятъ остальными претендентами, и чѣмъ тѣ, которыя говорились самимъ Катковымъ; вообще усугубленіе приемовъ Каткова. Разсуждая такъ, что масло каши не испортить, они на всякій случай, чтобы не ошибиться, валяютъ его столько, сколько у нихъ находится въ распорядкѣ. Получаются курьезнѣйшіе результаты.

Въ дѣятельности Каткова, какъ извѣстно, занималъ видное мѣсто розыскъ измѣны и замысловъ противъ существующаго строя, противъ «основъ». Теперь не время говорить о характерѣ и значеніи этого розыска вообще, и я замѣчу только, что Катковъ старался быть всегда точнымъ въ своихъ указаніяхъ на лицъ, по его мнѣнію, зломыслящихъ. Онъ былъ даже черезъ-чуръ точенъ въ этихъ указаніяхъ, и это было тѣмъ опаснѣе, что съ его точки зрѣнія зломыслящими были всё несогласно мыслящіе. Онъ чуть не пальцемъ указывалъ на того несогласно мыслящаго Иванова или Сидорова, который, благодаря неслучайному практическому значенію московскаго публициста, тѣмъ самымъ попадалъ въ тяжелое положеніе зломыслящаго. Однако, въ острыхъ случаяхъ, въ военное, такъ сказать, время, Катковъ налагалъ опалу на цѣлыя группы населенія, главнымъ образомъ національныя, и тутъ ужъ, конечно, нечего было искать точности указаній. Но это практиковалось имъ именно только въ острыхъ случаяхъ, которые онъ, впрочемъ, слишкомъ часто создавалъ самъ, и по ничтожнѣйшимъ поводамъ. *Casus belli* или дѣйствительно, съ его точки зрѣнія, былъ на-лицо, или просто сочинялся имъ, но въ этомъ послѣднемъ случаѣ онъ его все-таки

указывалъ, и такъ какъ сочиненія свои онъ создавалъ на темы текущей, живой дѣйствительности минуты, то вся работа получала характеръ какой-то чудовищной наглядности. Читателю (читателю-почитателю, конечно) по крайней мѣрѣ казалось, что его просвѣщаютъ на счетъ грозящихъ отечеству опасностей. Эти военные приемы Каткова претенденты пускаютъ въ ходъ, на всякій случай, и въ мирное время, и при этомъ не сходятъ до предьявленія читателю мотивовъ своихъ походовъ. Да и откуда ихъ взять, мотивы-то: время стоитъ очевидно мирное, а для сочинительства съ характеромъ жизненнаго вѣроподобія претенденты недостаточно талантливы. Они только усердны и вѣрятъ, что масло каши не испортить.

Не такъ давно «Гражданинъ», говоря о покойномъ Чернышевскомъ, писалъ: «Сынъ бѣднаго священника, необыкновенно способный и даровитый, молодой Чернышевскій, кромѣ этихъ дарованій, привезъ съ собою въ Петербургъ цѣлый осадокъ въ душѣ той духовной сажни, которая натянулась въ немъ, какъ роковая принадлежность бурсацкаго развигія, и достаточно было перваго соприкосновенія этого осадка съ тогдашней литературною средой, чтобы эту сажу зажечь и дать его душѣ воспламениться пожаромъ самаго сильнаго либерализма... Оторванный бурсою отъ общенія съ народною почвою и съ исторіей своего народа, опъ»... и т. д. Въ другомъ номерѣ «Гражданинъ» пишетъ: «Семинаристъ ненавидитъ дворянство въ Россіи. Кровь семинариста удивительно самобытна и не поддается перерожденію при сляііи съ другою кровью. Она подобна крови негра, цыгана; черезъ нѣсколько поколѣній кровь семинариста сказывается; оттого ненависть семинариста къ дворянству проходитъ иногда отличительною духовною чертою чрезъ нѣсколько поколѣній». Кн. Мещерскій полагаетъ, что «дворянство не по приказу и не за награду, а по дворянскому долгу чести и любви къ родной землѣ предлагало свою службу престолу и отечеству всею вольною и благородною душою, дворянинъ—съ открытою грудью, а семинаристъ—съ доносомъ, клеветою и навѣтомъ».

Въ литературѣ никто, кажется, своевременно не обратилъ вниманія на эти дивія выходки. Все давно привыкли къ смѣлымъ и свободнымъ прыжкамъ «Гражданина» за предѣлы логики и грамматики, правды, приличія и здраваго смысла, и ни удивить, ни огорчить, ни даже насмѣшить они уже никого не могутъ. Въ литературы нашлось, однако, лицо, которое приняло къ сердцу безшабашныя рѣчи «Гражданина» и глубоко возмутилось. Лицо это—высокопреосвященный Никаноръ, архіепископъ херсонскій и одесскій, посвятившій на отвѣдъ кн. Мещерскому цѣлую краснорѣчивую «бесѣду о значеніи семинарскаго образованія» въ день храмоваго праздника одесской духовной семинаріи. Высокопреосвященный Никаноръ не привыкъ къ нашимъ литературнымъ нравамъ и потому обратилъ вниманіе на рѣчи «Гражданина», а обра-

тивъ вниманіе, не могъ не возмутиться. Дѣйствительно, для свѣжаго человѣка здѣсь все вполнѣ возмутительно и до непонятности дико. Прежде всего, какая цѣль этихъ выходовъ противъ семинаристовъ и столько-же обидныхъ, сколько и несправедливыхъ параллелей между ними и дворянами? Гдѣ casus belli? Что случилось? Ничего, кажется, не случилось. Я сдѣлалъ вышеприведенныя выписки не изъ самаго «Гражданина», а изъ бесѣды высокопреосвященнаго Никанора и, какъ видно изъ ссылокъ, «Гражданинъ» не въ одномъ номерѣ, не одинъ разъ возвращался къ огульной травлѣ семинаристовъ и какой-то ихъ особенной «крови», сохраняющейся, подобно крови «негра и цыгана», въ цѣломъ ряду поколѣній. Дѣло, значить, идетъ даже не о семинарскомъ собственно образованіи, которое «отрываетъ отъ общенія съ народною почвою и съ исторіей своего народа». Нѣтъ, и внукъ, и правнукъ, и праправнукъ семинариста, самъ и близко не подходящий къ семинаріи, переродившійся съ другими сословіями, все-таки остается семинаристомъ по крови. Одинъ изъ этихъ походовъ «Гражданина», повидимому, мотивированъ смертью Чернышевскаго. И я прошу васъ замѣтить, что Катковъ никогда не воспользовался-бы этой смертью для такого похода. Не по благородству души не сдѣлалъ-бы онъ этого, а просто по совершенной ненужности, безцѣльности предпріятія. Во времена «Современника» или во время суда надъ Чернышевскимъ Катковъ, можетъ быть, поговорилъ-бы съ разбѣгу и не такихъ еще вещей. Не поетѣнился-бы и теперь, если-бы это съ его точки зрѣнія оправдывалось какимъ-нибудь острымъ случаемъ и требовалось минутными условіями игры въ политическіе шахматы. Но вѣдь никакого остраго случая нѣтъ, не слышать, чтобы семинаристы въ чемъ-нибудь провинились, а въ какой мѣрѣ условія политической конъюнктуры требуютъ съ точки зрѣнія самого кн. Менцераго похода противъ семинаристовъ, это видно изъ того, что «Гражданинъ» горой стоитъ за церковно-приходскія школы, т. е. за передачу народнаго образованія въ руки людей несправозлостной семинарской крови. Словомъ, ни складу, ни ладу, ни смысла, ни съ «консервативной» и ни съ какой другой точки зрѣнія. А усердіе не по разуму. Немудрено, что высокопреосвященный Никаноръ, въ качествѣ свѣжаго человѣка, недоумѣваетъ и возмущается. Онъ говоритъ:

«Непонятно, почему это, въ какихъ видахъ защитникъ дворянскихъ интересовъ «Гражданинъ» заговорилъ такъ жестоко противъ семинаристовъ именно теперь. Вѣроятно, есть цѣль какая-либо. Не чувствуетъ-ли онъ, что семинаристы стали протискиваться уже въ числѣ довольномъ, уже въ первые ряды государственныхъ чиновъ? Да и то еще сказать, протискиваться туда нельзя. Ихъ приглашаетъ высшая власть, какъ благопотребныхъ государственныхъ дѣятелей. Легко сказать, ворочающій достояніемъ Россіи, а частью и Европы, министръ финансовъ Вышнеградскій—семинаристъ. Не самъ толкался на эту высоту—пригласили. И пойдите-же, семинаристъ, а справляется съ такимъ дѣломъ. Министръ финансовъ Вронченко также

былъ семинаристъ. Во второстепенной сферѣ семинаристовъ пустилъ въ ходъ г-р. Д. А. Толстой, несмотря, что самъ-же не долублювалъ старую семинарскую школу. Окружавшіе его въ синодѣ генералы всѣ принадлежали къ старой семинарской школѣ. Попечителей учебныхъ округовъ онъ поназначилъ также изъ семинаристовъ. Не чувствуетъ-ли «Гражданинъ», что семинаристъ, взявъ ходъ, станетъ сильнымъ совѣстникомъ дворянина на служебномъ поприщѣ? Не мечтаетъ-ли онъ воротить насъ ко временамъ Екатерины II, когда баричи записывались въ гвардіи капитаны уже съ колыбели; когда всѣ прочіе, кромѣ баричей, обречены были тянуть ляжку только рядовыхъ? Сохрани Богъ! Исторія не дѣлаетъ попятныхъ скачковъ. Пусть «Гражданинъ» помнить изреченіе умнаго дворянина-же, что у насъ мужицкое царство, т. е. всенародное, опирающееся на весь народъ царство».

Мнѣ кажется, что дѣло проще, чѣмъ оно представляется высокопреосвященному Никанору, что никакой определенной практической цѣли кн. Мещерскій не имѣлъ. Онъ помнитъ, что дѣло Каткова состояло въ розыскѣ зломыслящихъ людей и, въ качествѣ претендента, желаетъ продолжать это дѣло, а въ качествѣ плохого претендента усердствовать не въ мѣру, исповѣдуя, что масло каши не испортить и что если причислить къ зломыслящимъ цѣлую группу населенія, дѣлое сословіе, такъ дѣло-то вѣрнѣе будетъ. И дѣйствительно вѣрнѣе: если есть среди семинаристовъ хоть одинъ зломыслящій человекъ, такъ ужъ онъ навѣрное заклеименъ въ числѣ всѣхъ прочихъ. Такъ въ военное время неприятель уничтожаетъ цѣлый домъ, изъ одного окна котораго раздался одинокій выстрѣлъ. Но вѣдь то военное время, а у насъ все мирно и въ вопросѣ о церковно-приходскихъ школахъ кн. Мещерскій, повторяю, стоитъ за семинаристовъ. Каково положеніе тѣхъ «консервативныхъ» читателей, которые ищутъ въ «Гражданинѣ» просвѣщенія ума и сердца? Они и раньше, вѣроятно, не совѣмъ ясно себѣ представляли, что собственно «консервируетъ» кн. Мещерскій, и раньше была яма глубока, а теперь и дна не видно! Положеніе читателя тѣмъ печальнѣе, что «Гражданинъ», по обыкновенію, не утруждаетъ ни себя, ни его никакими «понеже».

Мы должны быть очень благодарны высокопреосвященному Никанору за урокъ, данный имъ «Гражданину». Можетъ быть, и сей послѣдній, и прочіе претенденты поймутъ изъ этого, что самое усердіе должно быть заключено въ извѣстные предѣлы, перейдя за которые, оно становится способно лишь на медвѣжьи услуги, а потому и одобренія не вызываетъ. Къ сожалѣнію, въ «бесѣдѣ» высокаго оппонента «Гражданина» не все для насъ ясно, что безъ сомнѣнія обуславливается тѣмъ состояніемъ вполне естественнаго негодованія, въ которомъ оппонентъ находится. Высокопреосвященный Никаноръ, отвергая приписываемую кн. Мещерскимъ семинаристамъ ненависть къ дворянству, утверждаетъ обратный фактъ.—фактъ ненависти дворянъ къ семинаристамъ; по его мнѣнію, это «историческій, коли угодно, даже физиологическій фактъ». Я полагаю, что развитіемъ этого тезиса высокопреосвященный Никаноръ

норъ хотѣлъ только наглядно показать кн. Мещерскому, какъ легко, но зато какъ и рискованно развивать подобныя темы. Между прочимъ, высокопресвященный говоритъ: «Всегда наша (семинарская) школа выучивала правильному логическому мышленію и писанію. Русское правописаніе лучше Пушкина у насъ знаетъ каждый риторъ, т. е. ученикъ низшаго отдѣленія семинаріи, иначе ему и немислимо было оставаться ученикомъ семинаріи». Это только одинъ изъ образчиковъ того, какъ всегда высоко стояло образованіе въ духовныхъ школахъ и какъ сравнительно слабо съ нимъ образованіе свѣтское. Въ свѣтскихъ школахъ всегда учили, говоритъ высокопресвященный Никаноръ, «чему-нибудь и какъ-нибудь» и вышускали людей съ блестящею виѣшнею шлифовкой, но съ малыми знаніями и плохимъ умственнымъ развитіемъ. «Обратно здравому смыслу баричъ-дворянинъ получалъ патентъ на образованность отъ самой колыбели... Этотъ патентъ образованности давали хорошія дворянскія манеры, которыя большинству семинаристовъ не даются цѣлый вѣкъ».

Я не берусь судить объ этихъ и о другихъ, сообщаемыхъ высокопресвященнымъ Никаноромъ, свѣдѣніяхъ о свѣтскомъ и духовномъ образованіи. Затрудняюсь даже рѣшить, серьезно-ли онъ, напримѣръ, утверждаетъ, что семинаристъ младшаго отдѣленія, пишущій по-русски не лучше Пушкина, не можетъ оставаться въ семинаріи. Меня занимаетъ одно недоразумѣніе чисто логическаго свойства.

Въ общемъ итогъ на сторонѣ свѣтскаго, дворянскаго образованія—виѣшній лоскъ и изящныя манеры, а на сторонѣ образованія духовнаго, семинарскаго—серьезныя знанія и высокое умственное развитіе. Я прошу читателя запомнить этотъ общій выводъ.

Высокопресвященный Никаноръ сообщаетъ въ своей бесѣдѣ нѣкоторыя очень любопытныя свѣдѣнія о Чернышевскомъ. Чернышевскій уже въ самой ранней юности «по своему развитію выдвигался изъ ряда вонъ». 16-ти лѣтъ онъ поступилъ въ семинарію. «Начитанность его и научныя познанія уже тогда до того были обширны, что приводили всѣхъ въ изумленіе... Непонятно, какъ мальчикъ въ 16 лѣтъ могъ имѣть такіе обширныя и всестороннія познанія». Это показаніе высокопресвященный Никаноръ беретъ у товарища Чернышевскаго по семинаріи, протоіерея Р. Между прочимъ, Чернышевскій зналъ языки: «латинскій, греческій, еврейскій, сирійскій, французскій, нѣмецкій, англійскій и польскій». Свѣдѣніями своими по иностраннымъ литературамъ онъ поражалъ какъ своихъ сверстниковъ, такъ и профессоровъ. Но «точно таковъ-же былъ онъ и по священному писанію: это была живая библія и сборникъ твореній св. отцовъ». Далѣе, «по воспоминаніямъ сверстника-протоіерея, какъ и по моимъ (говоритъ высокопресвященный Никаноръ), основаннымъ на воспоминаніяхъ саратовцевъ, Чернышевскій былъ въ самой высокой степени мальчикъ благовоспитанный, крайне

деликатный и сдержанный». Не мѣшаетъ, можетъ быть, замѣтить, что, судя по всему, что намъ извѣстно о Чернышевскомъ, его благовопштанность и деликатность никогда не имѣли специально свѣтскаго, салонно-будуарнаго характера. Соображая все это съ характеристикю, которую высокопреосвященный Никаноръ дѣлаетъ свѣтскому, дворянскому, и духовному, семинарскому образованію, можно-бы было ожидать, что онъ сошлетя на высокое умственное развитіе и обширныя познанія юнаго Чернышевскаго, какъ на особенно яркое подтвержденіе этой характеристики: вотъ, дескать, какіе семинаристы бывають!

Къ удивленію, высокопреосвященный Никаноръ изгоняетъ Чернышевскаго изъ сферы семинарскаго образованія. Изгоняетъ не только за его литературную дѣятельность, и не только за то, что онъ въ семинаріи пробылъ всего три года, а въ низшемъ духовномъ училищѣ и совсѣмъ не былъ, но также и за его исключительныя умственныя достоинства. Со стороны человѣка, столь увѣреннаго въ преимуществахъ семинарскаго образованія, это необыкновенно странно, но это такъ. Мы узнаемъ, что Чернышевскій пробылъ въ семинаріи только три года потому, что былъ «развить не по лѣтамъ и образованъ далеко выше семинарскаго курса своихъ сверстниковъ». Узнаемъ, что Чернышевскій «весь, кромѣ рожденія отъ своего отца, принадлежитъ свѣтскому міру, особенно-же по умственному своему развитію». «Воспитаніе Чернышевскаго было совсѣмъ исключительное, дворянское, въ нашей духовной средѣ неслыханное». «Если между духовнымъ юношествомъ бывають люди свѣтскаго образованія и направленія, то Чернышевскій былъ ультра-свѣтскій. По своему развитію онъ выдвигался изъ ряду вонъ».

Попробуйте подвести итоги. Свѣтское или дворянское образованіе сообщаетъ людямъ салонный лоскъ и изящныя манеры, но не даетъ ни солидныхъ познаній, ни высокаго умственнаго развитія. Духовное или семинарское образованіе, напротивъ того, «всегда выучиваетъ правильному логическому мышленію», сообщаетъ и утверждаетъ въ умахъ учениковъ много свѣдѣній (высокопреосвященный Никаноръ особенно напираетъ на знаніе древнихъ языковъ), учить писать по-русски столь правильно, что Пушкинъ можетъ позавидовать семинаристу младшаго отдѣленія, и т. д. Если, однако, молодой Чернышевскій былъ не по лѣтамъ развитъ и образованъ, если онъ, между прочимъ, зналъ древніе языки и библію съ твореніями св. отцовъ такъ, что приводилъ всѣхъ въ изумленіе, то это результатъ дворянскаго, свѣтскаго, даже ультра-свѣтскаго образованія. Духовное или семинарское образованіе не можетъ дать человѣку того огромнаго умственнаго багажа, съ которымъ Чернышевскій вступилъ въ жизнь. Онъ могъ получить его только отъ дворянскаго или свѣтскаго образованія, того самаго свѣтскаго образованія, которое можетъ дать только хорошія манеры, но никакъ не солидныя знанія и высокое умственное развитіе. Эти солидныя знанія и

это умственное развитіе сообщаются только духовнымъ или семинарскимъ образованіемъ, которое, однако, бесцѣльно дать молодому человѣку столько знаній и такое умственное развитіе, какими обладалъ Чернышевскій. Его умственные преимущества уже сами по себѣ свидѣтельствуютъ о томъ, что онъ получилъ дворянское, свѣтское образованіе, которое, впрочемъ и т. д., и т. д.

Во всемъ этомъ, очевидно, есть какія-то обмолвки и недомолвки, какое-то крупное недоразумѣніе, разъяснить которое я не умѣю. Склоненъ думать, что грубыя и безтактныя выходки «Гражданина» слишкомъ взволновали высокопреосвященнаго Никанора. А мы-то какъ обжились съ подобными грубостями и безтактностями! Мы даже не замѣчаемъ ихъ, не замѣчаемъ, что роль «консерваторовъ», «охранителей» давно свелась къ водворенію въ обществѣ всякаго рода смуты въ родѣ взаимнаго натравливанія другъ на друга цѣлыхъ группъ населенія или такого умственного хаоса, въ которомъ не разберешь, гдѣ добро, гдѣ зло, гдѣ ложь, гдѣ правда. Мыѣ нѣтъ никакого дѣла до людей, облыжно и самозванно называющихъ себя «консерваторами». Но все-таки и ихъ поминаю я, говоря: бѣдные, бѣдные русскіе читатели, жаждущіе просвѣщенія своего ума и сердца! Которые не жаждутъ, тѣмъ хорошо: занимательно.

Кое о чемъ.

«Поколѣніе русскихъ дѣателей середины текущаго вѣка постепенно сходитъ со сцены и съ грустью вематривается въ приливающія волны новыхъ людей, шумно занимающихъ центры жизни, ея кормила и рычаги. Эти толпы дѣателей уже дѣйствуютъ и даютъ тонъ жизни; но чѣмъ дальше отодвигается «геронческая эпоха» съ ея завѣтами, тѣмъ больнѣе сжимается сердце у стариковъ! Они не видятъ достойныхъ себѣ преемниковъ. Гдѣ въ пынѣшней молодежи тотъ священный пламень, который согрѣвалъ насъ когда-то?—говорятъ они, — гдѣ безкорыстное влеченье къ свѣту и добру?»

Такъ начинается газета «Недѣля» замѣтку о статьѣ г. Обнинскаго «Откуда идетъ деморализація нашей адвокатуры» («Юридическій Вѣстникъ», сентябрь). «Русскія Вѣдомости» своевременно обратили вниманіе своихъ читателей на эту прекрасную статью. Что касается «Недѣли», то, отдавая должное убѣжденному тону г. Обнинскаго и самому характеру его убѣжденій, почтенная газета не совсѣмъ довольна аргументаціей автора, или, вѣрнѣе, даже не аргументаціей, а маленькими подробностями построения статьи.

Статья г. Обнинскаго мотивирована подлинными словами извѣстной записки совѣта московскихъ присяжныхъ повѣренныхъ: «Уровень опытности и знаній въ массѣ понижается, и чувство чести и долга, понятіе о порядочности, о границахъ дозволеннаго и недозволеннаго, принципы общественнаго служенія забываются». Этотъ печальный, самою адвокатскою корпораціей констатированный фактъ г. Обнинскій комментируетъ, разъясняетъ его причины и слѣдствія. «Недѣля» желаетъ отмѣтить пробѣлы изложенія г. Обнинскаго относительно причинъ деморализаціи. Почтенная газета говоритъ: «Г. Обнинскій указываетъ на школьную реформу во Франціи и горячо рекомендуетъ ея дѣйствитель-

но гуманные, благородные принципы. Но намъ кажется, что не одна школа виновата въ упадкѣ интеллигенціи и не объ одной школѣ должна идти рѣчь». Совершенно справедливо. Но вмѣстѣ съ тѣмъ совершенно непонятно, почему газетѣ «Недѣля» кажется, что она возражаетъ г. Обнинскому, который не объ одной школѣ и говоритъ. Возлагая надежды на воспитаніе, онъ явственно оговаривается: насъ можетъ выручить «только воспитаніе въ широкомъ значеніи слова, т. е. воспитаніе не только школьное, но и общественное». И этимъ убѣжденіемъ проникнута вся статья.

Между прочимъ, г. Обнинскій замѣчаетъ, что если-бы адвокатское сословіе не обладало такими благами, какъ независимость, самоуправленіе и корпоративная организація, то растлѣніе разлилось - бы еще шире и глубже. Теперь-же «глубоко ошибается тотъ, кто придаетъ совѣтскимъ самообвиненіямъ черезчуръ огульное значеніе: немного, пожалуй, а существуютъ еще уцѣлѣвшіе и противоборствующие этому теченію пловцы». Но эти «не порвавшіе своей родственной связи съ наукой и литературой, не продавшіе своего таланта толпѣ» «держатся пока особнякомъ, избѣгаютъ центровъ дѣятельности». Этимъ послѣднимъ обстоятельствомъ «Недѣля» недовольна. Да и кто-же имъ можетъ быть доволенъ! Но едва-ли многіе согласятся съ «Недѣлей», что выходъ изъ этого положенія очень простъ. «Недѣля» говоритъ: «Нашей дѣйствительной интеллигенціи, сохранившейся отъ растлѣнія, пора дѣйствовать, и это единственный практическій выводъ изъ разговоровъ объ упадкѣ нравовъ. Нѣтъ талантовъ и совѣти, — надо ихъ создать, надо ихъ пробудить въ подростяющей молодежи, надо заразить ее вдохновеніемъ и вѣрою... Пусть они (представители «дѣйствительной интеллигенціи, сохранившейся отъ растлѣнія») перемѣнятъ свою бесплодную тактику... Пусть они выходятъ на поверхность жизни и представляютъ за свои идеи».

Чего-же-бы лучше! И главное—просто, необыкновенно просто. Но, должно быть, есть-же достаточно сильныя причины, которыя однимъ помогаютъ, а другимъ мѣшаютъ выходить на поверхность жизни и представлять за свои идеи. Я это заключаю, именно, изъ необыкновенной простоты рецепта «Недѣли»,—онъ такъ простъ, что по всей вѣроятности и раньше приходилъ людямъ въ голову и по возможности практиковался и по возможности сейчасъ практикуется, такъ что якобы практическій рецептъ «Недѣли» есть въ сущности праздное словіе и останется таковымъ впредь до расширенія возможностей.

Однако надо жить и въ предѣлахъ существующихъ возможностей, жить не изо дня въ день, безъ цѣли и смысла, а какъ подобаетъ «дѣйствительной интеллигенціи». Мнѣ хочется поговорить объ одномъ изъ такихъ необходимыхъ условій этой жизни, которыя болѣе или менѣе достижимы при любомъ уровнѣ возможностей. Я разумѣю пра-

вильное отношеніе къ традиціямъ, которое несомнѣнно составляетъ одинъ изъ существенныхъ пунктовъ общественнаго воспитанія. Работа человѣческаго духа преемственна. Какъ-бы ни были велики личныя силы отдѣльнаго человѣка или цѣлой группы людей, но это только проценты съ гряда предъидущихъ поколѣній, капитализированнаго исторіей, — проценты иногда ничтожныя, иногда высокіе, иногда растрачиваемые зря и даже во вредъ человѣчеству, иногда значительно увеличивающіе накопленный втеченіе вѣковъ капиталъ. Какъ-бы высоко ни поднимались шелестящіе наверху вѣкового дуба листья и какъ-бы ни были они ярки своею молодою зеленью, они живутъ лишь пріумноженной работой тѣхъ-же старыхъ корней, передаваемой отъ ствола къ вѣтвямъ, и въ свое время верхнія вѣтви будутъ передавать эту работу еще болѣе молодымъ. И такъ далѣе, доколѣ Богъ дастъ дубу вѣку. Но ростъ человѣческаго сознанія не такъ простъ и прямолинейнъ, какъ ростъ дуба. Я не помню, кто, баронъ Мюнхгаузенъ или Ивашка-дурачекъ, взобравшись на высокой суку, вздумалъ его отрубить отъ ствола. Это могло случиться и съ тѣмъ и съ другимъ, — и съ идеаломъ хвастливаго вранья, и съ идеаломъ глупости. Къ одному изъ этихъ разрядовъ непременно должны относиться люди, отрѣзывающіе себя отъ традицій прошлаго. Вопросъ здѣсь можетъ быть только въ степенни, да еще, пожалуй, въ замѣнѣ глупости и хвастливаго вранья ихъ ближайшими родственниками — невѣжествомъ и самопѣніемъ. Но, во-первыхъ, традиціи традиціямъ рознь, въ традицію стремятся сложиться и доброе и злое, и всякая даже случайная ошибка. Значить, надо выбирать. А, во-вторыхъ, уважать традиціи не значитъ долбить старое только потому, что оно старое. Уваженіе къ традиціямъ утверждаетъ лишь преемственность работы и вовсе не отрицаетъ критической мысли. Критическая мысль должна быть, между прочимъ, направлена именно на розысканіе въ наслѣдіи прошлаго корней настоящаго, причемъ, конечно, окажутся и такія традиціи, отъ которыхъ не только можно, а даже должно себя отрѣзать. У насъ на этотъ счетъ существуютъ двѣ крайности, одинаково безмысленныя и одинаково вносящія смуту въ многотрудное дѣло общественнаго воспитанія: мы или идолопоклонствуемъ передъ традиціей, равняясь усердіемъ тому неумному человѣку, который разбиваетъ себѣ лобъ на молитвѣ, или же не хотимъ знать никакихъ традицій и изъ кожи лѣземъ, чтобы открыть Америку и выдумать порохъ. Приведу пояснительные примѣры.

Путемъ страннаго переплетя чисто случайныхъ причинъ, въ извѣстной части нашей печати сложилась традиція о какой-то логической и исторической связи между классическимъ образованіемъ и политической благонадежностью. Родители попросту скорбятъ о неудобнослышимомъ бремени, лежащемъ на плечахъ ихъ дѣтей, само министерство народнаго просвѣщенія до извѣстной степени внимаешь, наконецъ, голосу

отцовъ и матерей. А извѣстная часть печати все поеть свою скрипучую традиционную пѣню: это «либерализмъ», это подковы подъ «основы» школы и государства. По поводу рѣчи императора Вильгельма о классическомъ образованіи, «Гражданинъ» пришелъ въ ужасъ; онъ увидѣлъ въ этой рѣчи посягательство даже на монархическій принципъ и прочелъ германскому императору комическую лекцію объ уваженіи къ этому принципу. Загѣмъ, полемизируя съ «Новымъ Временемъ», «Гражданинъ» писалъ, что ученикъ классической школы, «никогда ни разумомъ, ни инстинктомъ не будетъ приведенъ жизнью возлюбить пышныхъ политическія бредни наче преданій. Почему? Потому повторю, что его духовная личность развилась, сложилась и окрѣпла подъ влияніемъ ясныхъ мыслей, опредѣленныхъ идеаловъ и цѣльныхъ характеровъ старины. Тогда какъ воспитанникъ реальной школы ничѣмъ въ себѣ не гарантированъ быть сбитымъ въ своихъ убѣжденіяхъ первою встрѣчною логикою газеты или философій современной книги».

Я не знаю, какая школа взростила кн. Мещерскаго. Знаю только, что она не научила его ни писать по-русски, ни логически мыслить и не дала ему никакихъ знаній, если только онъ не растерялъ ихъ на поприщѣ своей литературной дѣятельности. Дѣло, впрочемъ, не въ редакторѣ «Гражданина», а въ защищаемомъ имъ предразсудкѣ, который очень распространенъ и держится, однако, чисто традиціоннымъ путемъ, не подвергаемымъ ни исторической, ни логической провѣркѣ. Какія именно «преданія» языческой, республиканской и федеративной греческой «старинны» желаетъ кн. Мещерскій удержать для христіанской, монархической и централизованной Россіи? Безспорно, что Греція оказала неисчислимыя услуги человѣчеству, и можно благоговѣть передъ ея великими подвигами во всѣхъ отрасляхъ человѣческой дѣятельности, подвигами, доселѣ отзвѣвающимися на мысли и жизни европейскихъ народовъ. Но совершенно въ правахъ той-же греческой «старинны» была, напримѣръ, идеализація омерзительнаго противоестественнаго порока, доселѣ носящаго греческое названіе. Объ этихъ, что-ли, «опредѣленныхъ идеалахъ и цѣльныхъ характерахъ старины» говоритъ кн. Мещерскій? А когда рѣчь заходитъ о цѣности классическаго образованія, какъ нравственно-политическаго оплота противъ «политическихъ бредней», то господа защитники классицизма уже совершенно не вѣдаютъ что творять.

Маленькая историческая справка. Беру первую попавшуюся, книгу по исторіи первой французской революціи — Тэна «*Les origines de la France contemporaine*» и, — послѣ недолгихъ перелистываній, останавливаюсь въ третьемъ томѣ на страницѣ 99 и слѣд. Приводя образчикъ рѣчи, переполненной классическими сравненіями и именами, Тэнъ замѣчаетъ, что даже крупные таланты изъ революціонныхъ дѣятелей безмѣрно уснащали свои рѣчи иллюстраціями изъ греко-римской «ста-

рины». Тэнь прибавляетъ: «они увлекаются своими школьными воспоминаніями, и весь современный міръ представляется имъ сквозь латинскіе отголоски» (*à travers des réminiscences latines*). беру другую книгу, «Исторію французской литературы» Юліана Шмидта и читаю: «Тонъ, господствовавшій въ 1792—1794 гг., образовался подъ влияніемъ школьнаго воспитанія». Затѣмъ Шмидтъ цитируетъ Нодье: «Къ оригинальному языку революціи мы были приготовлены лучше, чѣмъ думаютъ; небольшихъ усилій стоило перейти отъ нашихъ гимназическихъ упражненій къ преніямъ форума. Если-бы предстоило рѣшить: кто болѣе содѣйствовалъ паденію нашихъ старыхъ монархическихъ доктринъ—Вольтеръ или Руссо, то падъ этимъ я еще задумался-бы; но что больше всѣхъ виноваты въ этомъ Ливій и Тацитъ, это я сталъ-бы утверждать положительно». беру еще книгу,—сочиненія Вольней, высоко просвѣщеннаго дѣятеля революціи, отступившаго отъ революціоннаго дѣла, когда оно приняло окончательнo террористическій характеръ. Говоря въ своихъ «*Leçons d'histoire*» о значеніи, такъ сказать, историческихъ вынужденій и приводя въ примѣръ время революціоннаго террора, Вольней пишетъ: «Я разумѣю ту манію греческихъ и римскихъ цитатъ и имитаций, которая въ послѣднее время вскружила намъ головы. Имена, прозвища, одежды, нравы, законы,—все стремилось принять спартанскій или римскій обликъ... Причина этого явленія лежитъ въ системѣ воспитанія, полтора вѣка господствующей въ Европѣ. Столь восхваляемые классическіе поэты, ораторы, историки наполни юношество своими принципами или своими чувствами».

Я могъ-бы еще и еще продолжать цитаты, могъ-бы привести подлинныя рѣчи самыхъ выдающихся революціонныхъ дѣятелей, свидѣтельствующія, помимо даже біографическихъ данныхъ, что большинство ихъ получило классическое образованіе. Но и приведеннаго достаточно, чтобы видѣть всю неосновательность разглагольствовавшей нашихъ удивительныхъ «консерваторовъ» о классицизмѣ, какъ о хранителѣ «преданій». И если люди столь различныхъ убѣжденій, какъ Тэнь, Юліанъ Шмидтъ, Нодье и Вольней, единогласно указываютъ на связь первой французской революціи съ классическимъ образованіемъ (никто, разумѣется, не видитъ въ немъ причину революціи; дѣлаю эту оговорку въ виду господствующихъ нынѣ полемическихъ приемовъ), то откуда-же взялась у насъ противоположная идея? Откуда-бы она ни взялась. но достовѣрно, что она очень быстро приняла характеръ отвердѣлой традиціи и стала повторяться безъ оглядки и провѣрки, какъ одинъ изъ несомнѣнныхъ догматовъ консервативной политической мудрости. Въ таинственную связь классическаго образованія съ политической благонадежностью въ консервативномъ смыслѣ вѣрятъ многіе, вѣрятъ именно въ голую традицію, не пытаясь прослѣдить ея источники и провѣрить ее путемъ логическихъ операций и свидѣтельствъ историческаго опыта. А такъ какъ наши

такъ называемые консерваторы въ числѣ своихъ обязанностей полагаютъ полицейскій сыскъ, то вопліи благонамѣренные родители, лишь жалющіе своихъ дѣтей и желающіе имъ добра, обращаются въ политически-неблагонадежные элементы. И растутъ въ обществѣ изъ безмысленной традиціи смута. Таковы послѣдствія слѣпного усвоенія традиціи.

«Если-бы я былъ призванъ говорить отъ лица нашихъ консерваторовъ, я былъ-бы рѣшительно противъ классическаго образованія, которое не только не помѣшало паденію основъ старой, до-революціонной Франціи, а затѣмъ и принциповъ старой Европы вообще, но даже облегчило это паденіе. Теперь-же я скажу лишь, что наши такъ называемые консерваторы совершенно напрасно придаютъ вопросу о классическомъ образованіи политическое освѣщеніе. Жизнью выдвинуть вопросъ чисто педагогическій, вопросъ объ усвоеніи дѣтьми извѣстныхъ знаній и умственныхъ навыковъ съ возможно меньшимъ обремененіемъ ихъ духа и тѣла. Что-же касается социальныхъ эффектовъ той или другой системы, то они цѣликомъ зависятъ отъ той общественной среды, въ которой эта система практикуется, отъ общаго строя жизни.

Политическая благонадежность въ консервативномъ смыслѣ и классическое образованіе скрутились въ какой-то невозможный Гордиевъ узелъ, благодаря слѣпой вѣрѣ въ традицію. И это дѣло неразумное. Но русская жизнь представляетъ немало образчиковъ и совершенно противоположнаго неразумія. За ними недалеко ходить. Газета «Недѣля», какъ мы видѣли, съ сочувствіемъ относится къ «старикамъ», у которыхъ «больно сжимается сердце», потому что они «не видятъ достойныхъ себѣ преемниковъ». Почтенная газета горячо убѣждаетъ стариковъ «выходить на поверхность жизни и представлять за свои идеи», дабы «создать и пробудить таланты и совѣтъ въ подростяющей молодежи, заразить ее вдохновеніемъ и вѣрою». Нѣкоторая празднословность этого плана не мѣшаетъ, однако, признавать за почтенной газетой заслугу уваженія къ преемственности мысли. Это важно въ особенности у насъ, гдѣ эта преемственность такъ часто обрывается чисто внѣшними, сторонними обстоятельствами. Ну, а что-же дѣлала газета «Недѣля» втеченіе послѣднихъ двухъ, если не трехъ лѣтъ, представляя свои страницы литературнымъ упражненіямъ «новаго литературнаго поколѣнія», рѣшительно отрѣзывавшаго себя отъ никуда негодныхъ «идеаловъ отцовъ и дѣдовъ»? Судя по замѣткѣ о статьѣ г. Обнинскаго, «Недѣля» теперь знаетъ, что она дѣлала: она дѣлала неразумное дѣло. Лучше поздно чѣмъ никогда, конечно...

Между прочимъ, въ программу недѣльнаго «новаго литературнаго поколѣнія» входило (въ виду вышеизложеннаго, я пишу въ прошедшемъ времени) примиреніе съ дѣйствительностью, какова-бы она ни была, и практическое пользованіе жизнью безъ всякихъ такъ называемыхъ завиральныхъ идей. Въ этомъ состоялъ едва-ли не главный

даже пунктъ распри недѣльныхъ «дѣтей», какъ они сами себя величали, съ «отцами», «нашихъ молодыхъ писателей» съ нами, стариками, скорбящими объ отсутствіи въ нихъ молодости. Особенно горько было видѣть именно эту раннюю черствость ума и сердца и плоскость идеаловъ, даже до полного ихъ отсутствія. Къ счастью или несчастью,—не знаю ужъ какъ разсудить,—приглядываясь къ группѣ людей, обобщаемыхъ критикою «Недѣли» въ формулахъ «дѣти», «новое литературное поколѣніе», «наши молодые писатели», убѣждаешься, что не все они такъ ужъ очень молоды и годами. Инымъ лѣтъ по сороку-то вѣрныхъ есть.

Герой повѣсти г. Боборыкина «Поумнѣлъ», напечатанной въ октябрьской и ноябрьской книжкахъ «Русской Мысли», но пока еще не конченной, Александръ Ильичъ Гагаринъ, размышляетъ объ себѣ про себя: «Ему пошелъ сороковой годъ... Но какой это возрастъ для человѣка, такъ хорошо сохранившагося? На видъ онъ въ полномъ смыслѣ молодой мужчина». Дѣйствительно, сорокъ лѣтъ не Богъ знаетъ какіе годы, по все-таки титулъ молодого человѣка, а тѣмъ паче «дитяти» какъ будто ужъ и не къ лицу сорокалѣтнему человѣку. Вспомнимъ, что въ тургеневскихъ «Отцахъ и дѣтяхъ» одному изъ «отцовъ», Николаю Кирсанову, «лѣтъ сорокъ съ небольшимъ». Къ сорока годамъ человѣкъ переживаетъ обыкновенно уже многое и многое. Давайте посмотримъ, что пережили Александръ Ильичъ Гагаринъ.

Въ началѣ повѣсти г. Боборыкина непріятно дѣйствуетъ свойственною этому писателю искусственностью тона и фотографичностью описаній, которыя именно по своей фотографической подробности не даютъ понятія объ описываемомъ. Вотъ, напримѣръ, портретъ Гагарина: «На его лицѣ, блѣдномъ, очень тонкомъ, съ красиво подстриженной черной бородой, раздѣленной на двѣ пряди, и въ темно-сѣрыхъ острыхъ глазахъ не выразилось ничего: ни досады, ни безпокойства. Только на бѣломъ, высокомъ, по сдавленномъ лбу, гдѣ плоскіе, лоснящіеся волосы лежали еще густою прядью, чуть замѣтно обозначилась одна линія, надъ самымъ носомъ, крѣпкимъ, нѣсколько хрящеватымъ, породистымъ. Усы онъ поднималъ надъ волосами бороды и концы ихъ немного торчали». Не смотря на тщательность описанія, вы совсѣмъ не видите этого лица, и нѣсколько хрящеватый, породистый носъ нѣсколько вамъ не помогаетъ. Но по мѣрѣ того, какъ развертывается повѣсть, эти недостатки ступенькаются: то-ли ихъ становится дѣйствительно меньше, то-ли они не замѣчаются изъ-за общаго интереса повѣсти.

Лѣтъ двадцать тому назадъ Гагаринъ увлекался «завиральными» идеями и даже нѣсколько пострадалъ за нихъ. Около того-же времени онъ женился на дѣвушкѣ, раздѣлявшей его образъ мыслей и смотрѣвшей на него, какъ на героя. Она-бы и до сихъ поръ рада смотрѣть на него такъ-же, потому что и до сихъ поръ его любить. Она не за-

мѣчаетъ, что Гаяринъ уже давно не тотъ, что былъ, а онъ достаточно уменъ и сдержанъ, чтобы проходить, какъ онъ выражается, свою «эволюцію» постепенно, безъ рѣзкихъ скачковъ. Онъ воспитывался въ лицей, но въ періодъ своихъ увлеченій называлъ подобныя заведенія «мѣстами систематической порчи», равнымъ образомъ и къ женскимъ институтамъ относился не иначе, какъ съ насмѣлкой. Тѣмъ не менѣе, когда ихъ дѣти подросли, онъ отдалъ сына въ лицей, дочь въ Смольный, и сдѣлалъ это такъ, что Антонина Сергѣевна (жена) не подчеркнула для себя противорѣчія старыхъ словъ съ новымъ дѣломъ. Она только тогда замѣтила, что мужъ «поумнѣлъ», когда онъ почти завершилъ свою «эволюцію», когда, давно уже заметя слѣды грѣховъ своей юности, онъ рѣшается баллотироваться въ губернскіе предводители дворянства и рекомендуетъ ей, своей жепѣ, не принимать нѣкоторыхъ знакомыхъ, которые могутъ компрометтировать его политическую благонадежность и предстоящую карьеру. Между супругами происходитъ сцена, въ которой она, кроткая и любящая, бросаетъ ему въ лицо слова: «отступникъ! ренегатъ! бездушный лицемеръ!». Но онъ своею холодною и благовоспитанною сдержанностью доводитъ ее до того, что она проситъ у него прощенья за эту выходку и рѣшается молча присутствовать при его дальнѣйшей «эволюціи». Это ей тяжело достается. Ей тяжело слышать и похвалы «эволюціи», и разныя на этотъ счетъ колкости. Самъ Гаяринъ переноситъ все это презрительно холодно. Мало того. Въ Петербургѣ Гаяринъ встрѣчается, между прочимъ, съ другимъ ренегатомъ, Вершининымъ. И въ лицѣ этого человѣка Гаяринъ видитъ лишь «вѣбкій примѣръ того, какъ дорожатъ спосебными людьми, когда они возмутятся за умъ». А между тѣмъ на Вершинина смотрятъ все-таки только «какъ на разночинца, продавагося за дорогую плату».

Повѣсть г. Боборыкина еще не кончена, и вѣроятно многіе читатели съ нетерпѣніемъ ждутъ ея конца. Фигура Гаярина задумана и до сихъ поръ сдѣлана очень хорошо. Авторъ не усугубляетъ его положенія лишними отрицательными чертами. Гаяринъ уменъ, энергиченъ, до послѣдней степени приличенъ; онъ, съ точки зрѣнія ходячей морали, безупречный мужъ. И все это еще болѣе отгѣняетъ его «эволюцію» и драму, совершающуюся въ душѣ его жены. Въ чемъ-же заключается эта драма и почему Антонинѣ Сергѣевнѣ такъ глубоко оскорбительно, что ея мужъ «поумнѣлъ»?

Покойный Салтыковъ неоднократно печатно утверждалъ, что на могилѣ ренегата непременно долженъ быть водруженъ осиновый колъ. Какъ общее правило, такое посрамленіе могилы ренегата рѣшительно несправедливо. Если ренегатъ отступился отъ лжи и прилѣпился къ истинѣ, такъ за что-же его осиновымъ коломъ къ землѣ пригвождать? Хорошо было говорить Салтыкову, сразу выступившему на тотъ путь, который онъ до конца дней своихъ считалъ путемъ истины. Но не

всѣмъ-же выпадаетъ на долю такое счастье; потому что это въ самомъ дѣлѣ большое счастье. Благо всякому, знающему, что въ прошломъ у него нѣтъ ничего такого, отъ чего нужно-бы было теперь со стыдомъ или омерзениемъ отворачиваться, при воспоминаніи объ чемъ приходилось-бы краснѣть. Но, какъ всему человѣчеству истина дается цѣною многихъ и многихъ заблужденій, изъ-за которыхъ льются иногда цѣлые потоки слезъ и крови, такъ и каждому отдѣльному человѣку, по крайней мѣрѣ, простительно заблуждаться и потомъ, сознавъ свои заблужденія, отступать отъ нихъ. Хуже-бы было, если-бы онъ, сознавъ заблужденіе, все-таки остался при немъ, а вѣдь тогда онъ не былъ-бы ренегатомъ. Онъ былъ-бы лицемеръ, но тѣмъ или другимъ соображеніямъ не желающій открывать свои карты, для чего-то носящій маску. И если человѣкъ добросовѣстно искалъ истины и такъ-же искренно примкнулъ къ своему новому убѣжденію, какъ искренно держался прежняго,—кто рѣшится прибавить осиноый колъ къ тѣмъ мукамъ стыда за свое прошлое, которыя такой несчастный человѣкъ долженъ испытывать?

А между тѣмъ, большинство читателей навѣрное повторяло за Салтыковымъ: да, осиноый колъ! Такое всеобщее презрѣніе къ ренегатамъ объясняется не самымъ фактомъ отступничества, а той неприглядной обстановкой и тѣми измѣнными формами, въ которыхъ оно въ большинствѣ случаевъ совершается. Самый обыкновенный случай тотъ, что человѣкъ не измѣняетъ свои убѣжденія, а просто продаетъ ихъ, если не за деньги, такъ за положеніе, за спокойствіе и т. п. Привлекательнаго въ этомъ, конечно, мало, и не мудрено, что сами покупщики презрительно относятся къ такому товару. Но бываетъ еще и такъ, что ренегатъ, вмѣсто того чтобы откровенно признаться въ своей слабости и затѣмъ стыдливо затеряться въ толпѣ, занимаетъ виновствующее положеніе и цинически оплевываетъ все, чему поклонялся. Цинизмъ состоитъ тутъ опять-таки не въ томъ, что человѣкъ громко и горячо отстаиваетъ свои новыя убѣжденія и столь-же горячо и громко порицаетъ свои прошлыя заблужденія. Это — законнѣйшее право всякаго человѣка, имѣющаго какія-бы то ни было убѣжденія, но, во-первыхъ, дѣйствительно имѣющаго, а не торгующаго ими, а во-вторыхъ, тутъ есть одинъ приемъ, по которому можно почти безошибочно отличить ренегата, въ презрительномъ смыслѣ этого слова, даже въ томъ случаѣ, когда прямыхъ и ясныхъ доказательствъ его нравственной измѣнности на-лицо нѣтъ.

Исторія русской литературы имѣетъ въ запасѣ истиннаго мученика своихъ убѣжденій, которому случалось измѣнять ихъ, но которому, однако, благодарное потомство воздвигнетъ, вѣроятно, не въ далекомъ будущемъ монументъ, а не осиноый колъ. По поводу книжки г. Минскаго, я уже вспоминалъ этого человѣка, и именно съ этой стороны. Я

говору о Бѣлинскомъ, о «неистовомъ Виссаріонѣ», съ страшною душевною болью вспоминавшемъ о своихъ прошлыхъ заблужденіяхъ. Въ фактахъ этого рода, извѣстныхъ изъ переписки Бѣлинскаго и воспоминаній о немъ, особенно бросается въ глаза слѣдующее обстоятельство. Бѣлинскій говоритъ: «я писалъ мерзости, гнусности, чушь» и т. п., и нигдѣ не подмѣтите вы у него и слѣдовъ жалкой, плаксивой и предательской ноты: меня или насъ соблазнили, увлекли такіе-то и такіе-то преступные люди. Эта черта дорогого стоитъ. Вы видите передъ собою мужественнаго человѣка, который принимаетъ на себя полную отвѣтственность за то, что онъ говорилъ, писалъ или дѣлалъ, а не сваливаетъ ее на другихъ. Цинизмъ настоящихъ, заслуживающихъ презрѣнія ренегатовъ состоитъ именно въ томъ, что они стараются по-возможности облить себя лично, представляясь жертвами и умалчивая о томъ, сколько жертвъ они сами создали, сколько ихъ людей они сами склонили къ тому, что они нынѣ объявляютъ заблужденіемъ.

Этой послѣдней ступени Гаяринъ еще не достигъ въ своей эволюціи. Дойди онъ до нея, и драма, происходящая въ душѣ Антонины Сергѣевны, можетъ быть, кончилась-бы,—она-бы просто отвернулась отъ него. Но Гаяринъ, несмотря на весь свой цинизмъ, еще гордо носитъ свою красивую голову, и Антонина Сергѣевна, любящая и помнящая бывшее, трепетно присматривается—нѣтъ-ли, чего-нибудь законнаго въ этой гордости, нѣтъ-ли ошибки въ ея діагнозѣ? Бѣдная женщина!—ошибки нѣтъ.

О г. Потапенкѣ.

Передо мной лежатъ два только что вышедшіе томика повѣстей и рассказовъ И. Н. Потапенка. По поводу этихъ томиковъ я прежде всего подумалъ, что господа писатели нынѣ немножко слишкомъ торопятся издавать сборники своихъ произведеній. Сборникъ, — это вѣдь нѣкоторый итогъ, а чтобы стоило подводить итоги, нужно достаточное число слагаемыхъ, или-же эти слагаемые должны быть въ какомъ-нибудь отношеніи особенно значительны. Понятно желаніе авторовъ предъявить свое произведеніе публикѣ въ цѣльномъ видѣ, если оно предварительно частями печаталось въ журналѣ или газетѣ. Понятно также появленіе въ отдѣльномъ изданіи цѣлой серіи однородныхъ въ какомъ-нибудь отношеніи произведеній: писатель билъ въ нихъ въ одну интересующую его точку и, естественно, рассчитываетъ на усугубленное впечатлѣніе. Если-же такого объединяющаго пункта въ сборникѣ нѣтъ, то объединителемъ является личность самого автора, а право занимать читателей своею личностью должно быть заработано.

Передо мной лежатъ еще двѣ беллетристическія новинки: «Записки юнкера» П. Райскаго и второй томикъ «Потревоженныхъ тѣней» Сергѣя Атавы. «Записки юнкера» печатались клочками въ одной петербургской газетѣ, кажется, мало читаемой. Тамъ онѣ совершенно пропадали, не производя въ обрывочномъ видѣ никакого впечатлѣнія. Въ отдѣльномъ-же изданіи, собранныя во-едино, онѣ производятъ, напротивъ, чрезвычайно сильное впечатлѣніе. Это — дневникъ молодого человѣка, воспитывавшагося въ одномъ блестящемъ петербургскомъ военномъ училищѣ. Форма дневника, вообще говори, довольно скучна; авторъ, повидимому, не обладаетъ большою литературною опытностью; образъ героя рассказа, какъ личности, какъ характера, довольно смутенъ. И тѣмъ не менѣе трудно оторваться отъ этой картины нравовъ, постепенно доводящихъ

юношу, можетъ быть, вовсе не дурного по природнымъ задаткамъ, до послѣднихъ предѣловъ подростости. И вы ясно видите цѣль автора и понимаете, что цѣль эта не была-бы достигнута, если-бы «Записки юнкера» остались погребенными въ разрозненныхъ газетныхъ листахъ.

«Потревоженные тѣни» г. Атавы посвящены воспоминаніямъ о крѣпостномъ бытѣ. Послѣ «Осудѣнія», это, безъ сомнѣнія, лучшее, что написалъ г. Атава, несмотря на то, что съ внѣшней стороны «Потревоженные тѣни» написаны крайне небрежно. Во второй томъ вошли три разсказа, изъ которыхъ особенно удаченъ второй, озаглавленный «Тетенька Клавдія Васильевна» (героиня — нѣчто вродѣ Іудушки Головлева въ юбкѣ). Но дѣло не въ этомъ одномъ или въ какомъ другомъ разсказѣ, а во всей совокупности ихъ, представляющей вполне однородную по содержанию и манерѣ письма серію, въ которой всѣ части исполняютъ другъ-друга и способствуютъ общему впечатлѣнію.

Отнюдь нельзя того-же сказать о сборникѣ повѣстей и разсказовъ г. Потапенка. Въ него вошли восемь беллетристическихъ вещей, очень различныхъ по содержанию, по замыслу, по формѣ, и на первый взглядъ рѣшительно невозможно сказать, что именно связало ихъ въ эти два хорошенькіе томика. Если-бы такой сборникъ выпустилъ кто-нибудь изъ писателей, къ которымъ читатель уже приглядѣлся, котораго онъ такъ или иначе оцѣнилъ, то этотъ вопросъ не пришелъ-бы намъ въ голову: впечатлѣніе отъ сборника, хотя-бы и смутное само по себѣ, естественно примкнуло-бы къ тому представленію о литературной фizioноміи автора, которое уже у насъ составилось. Но г. Потапенка мы, можно сказать, совсѣмъ не знаемъ. Мы неизвѣстно, когда началъ писать г. Потапенко. Думаю, однако, что не ошибусь, сказавъ, что онъ только въ нынѣшнемъ году привлекъ къ себѣ вниманіе читателей напечатанною въ «Вѣстникѣ Европы» повѣстью «На дѣйствительной службѣ». Велѣдъ затѣмъ г. Потапенко напечаталъ въ томъ-же «Вѣстникѣ Европы» очеркъ «Секретарь его превосходительства» и въ «Сѣверномъ Вѣстникѣ» повѣсть «Здравыя понятія» (собственно не повѣсть, а «записки благоразумнаго человѣка»). Теперь онъ издаетъ сборникъ, въ который, кромѣ упомянутыхъ, вошли еще и другіе разсказы, по-видимому, болѣе ранняго происхожденія, но въ свое время мало или вовсе не обратившіе на себя вниманія. Надо еще замѣтить, что «На дѣйствительной службѣ», «Секретарь его превосходительства» и «Здравыя понятія» слѣдовали другъ за другомъ съ необыкновенною быстротою. Можетъ быть, эта быстрота свидѣтельствуетъ о плодовитости автора, какой онъ, однако, прежде не обнаруживалъ, и три упомянутыя, довольно большія произведенія напечатаны въ томъ самомъ хронологическомъ порядкѣ, въ которомъ они написаны. Но возможно и такъ, что успѣхъ повѣсти «На дѣйствительной службѣ» побудилъ автора вынуть изъ своего портфеля вещи, написанныя гораздо раньше, или по

крайней мѣрѣ паскоро написать вещи, давно задуманныя. А это отягчаетъ возможность судить о ходѣ развитія его мысли и таланта, значить и объ томъ, чего отъ него въ будущемъ ждать можно. Несмотря, однако, на эту безпомощность критики въ данномъ случаѣ, г. Потапенко, несомнѣнно, писатель талантливый, и я хотѣлъ-бы сдѣлать, что могу, для выясненія его литературной физиономіи. Уже одно то цѣнно, что г. Потапенко избѣгаетъ шаблоновъ и избитыхъ дорогъ. Замыселъ его повѣстей и рассказовъ всегда болѣе или менѣе оригиналенъ и смѣлъ. Его интересуютъ явленія, мимо которыхъ другіе наши беллетристы проходятъ равнодушно, совсѣмъ ихъ не замѣчая, и очень мало интересуютъ вещи, набившія читателю оскомину въ трудахъ нашихъ безчисленныхъ романистовъ и рассказчиковъ. Къ сожалѣнію, однако, г. Потапенко не всегда удачно справляется съ своими сюжетами.

Въ повѣсти «Здравыя понятія» герой, отъ лица котораго ведется рассказъ. «благоразумный человѣкъ», какъ онъ себя называетъ, а въ сущности просто негодяй, задумываютъ слѣдующій хитросплетенный планъ. Онъ любитъ дѣвушку, Надю Турчанинову, она его тоже любитъ; но оба они не богаты (хотя и отнюдь не бѣдны), а негодяй прощителевъ, необыкновенно, невѣроятно прощителевъ. И такъ какъ вокругъ него авторъ расположилъ людей въ такой-же мѣрѣ лишенныхъ прощительности, то негодяй и можетъ водить ихъ за носъ, сколько автору угодно. Негодяй отлично понимаетъ Надю Турчанинову. Она начинена «принципами», она, по выраженію ея брата, «горячо стремится къ честному труженическому удѣлу, къ скромному служенію ближнему». Но негодяй знаетъ, что это все пустяки, что въ глубинѣ Надиной души заложено страстное желаніе пожить, что называется, хорошо; только она, придавленная своими принципами, не сознаетъ этого. Негодяй предлагаетъ ей выйти замужъ за влюбленного въ нее старика-милліонера Масловитаго. Дѣвушка естественно огорчается такимъ проектомъ любимаго человѣка и недоумѣваетъ: какъ такъ продать себя постылому старику?! Но негодяй прощителевъ. Онъ понимаетъ, что «необходимъ сильный эффектъ, необходимо взбѣсить ее, вывести изъ себя, страшно поссорить съ прошлымъ. Это послужитъ для нея извиненіемъ въ ея собственныхъ глазахъ: ей будетъ казаться, что она метитъ за оскорбленное самолюбіе, и такимъ образомъ суровый принципъ будетъ обойденъ, обманутъ». Чтобы достигнуть этого, негодяй самъ внезапно женится на иѣкоей Ольгѣ Олениной, которая его давно любитъ, но къ которой онъ былъ до тѣхъ поръ вполне равнодушенъ. Узнавъ объ этой свадьбѣ, Надя Турчанинова, какъ и ожидалъ негодяй, съ досады и горя выходитъ за старика Масловитаго. Спрашивается, зачѣмъ-же все это нужно негодяю? А вотъ зачѣмъ. Такъ какъ онъ очень прощителевъ, то провидитъ близкую смерть старика Масловитаго и хохоточной Ольги, и какъ только они умрутъ, такъ онъ и женится на любимой имъ и любящей

его Надѣ и получить съ ней вмѣстѣ милліоны Масловитаго. По шучьему велѣнью, по негодяеву прошенью, все именно такъ и происходитъ: черезъ два года Масловитый и Ольга одновременно умирають, и негодяй соединяется узами брака съ Надей и ея милліонами. Я передаю лишь наиболѣе общія, важнѣйшія очертанія повѣсти, не входя въ подробности, сплошь состоящія изъ проявленій необычайной проицательности негодяя и столь-же необычайной глупости окружающихъ. Только въ самомъ концѣ повѣсти Ольга, уже умирающая, повидимому, ни съ того, ни съ сего беретъ съ негодяя клятву, что онъ, послѣ ея и Масловитаго смерти, не женится на Надѣ. Эту предсмертную проицательность негодяй готовъ облечь въ формы почти сверхъестественнаго. Онъ говоритъ: «Неужели она читаетъ въ душѣ моей? Вѣдь, есть въ природѣ тайны, которыхъ я не знаю, и тотъ, чье тѣло испытываетъ послѣднія усилія борьбы, а душа уже на половину въ другомъ мірѣ, быть можетъ, видитъ мои мысли». Негодяй сейчасъ-же, впрочемъ, убѣждается, что умирающая жена не читаетъ въ его душѣ. А вотъ онъ такъ всю жизнь читаетъ въ чужихъ душахъ и ни разу не промахивается...

Въ одномъ мѣстѣ негодяй говоритъ Ольгѣ, что «если-бы люди могли всегда составлять строго математическую пропорцію между своими цѣлями и своими силами, то не было-бы слезъ на землѣ». Онъ прибавляетъ: «Въ моей жизни, въ самомъ дѣлѣ, математика играла важную роль». Онъ правъ. Математика играетъ въ его жизни столь невѣроятно важную роль, что повѣсть г. Потапенки лишается всякой жизненности и превращается въ геометрическое построеніе, поражающее своею мертвенною симметричностью. Надя Турчанинова, негодяева невѣста, живетъ вдвоемъ съ незначительной старухой-матерью; Ольга Оленина, другая негодяева невѣста, живетъ вдвоемъ съ незначительной старухой-теткой. У Нади Турчаниновой есть отсутствующій братъ, молодой человѣкъ, начиненный и начинающій сестру «идеями» и принципами, и у Ольги Олениной есть такой-же отсутствующій братъ, молодой человѣкъ, начиненный и начинающій сестру идеями и принципами. О одновременной смерти Ольги и Масловитаго я уже упоминалъ. Опоздай кто-нибудь изъ нихъ умереть хоть на одинъ годъ, и негодяй очутился-бы въ затруднительномъ положеніи. Но г. Потапенко вводитъ насъ въ область математической симметріи, гдѣ все правильно, все подлежитъ точному измѣренію и гдѣ поэтому не можетъ быть ничего неожиданнаго или непредвидѣннаго. Въ дѣйствительной жизни, въ той, которая кругомъ насъ и въ насъ самихъ кипитъ, есть всевозможныя шероховатости, неправильности, трудности, а въ области параллельныхъ линій, равностороннихъ треугольниковъ, квадратовъ и проч. все идетъ какъ по маслу, ибо эти геометрическія фигуры такъ и предполагаются неосложненными ничѣмъ постороннимъ. Послушайте, наиримѣръ, какъ у г. Потапенки люди женятся. Нѣкій Кремчатовъ рассказываетъ:

— Просто, знаете, я вчера часа въ три этакъ случайно зашелъ къ своей невѣстѣ, вижу, она одна; мнѣ и пришла фантазія: дай, думаю, женись... Ну и женился!

— То есть, въ какомъ-же смыслѣ?

— Въ обыкновенномъ... Пошли въ церковь и обвѣнчались.

Оказалось, положимъ, что это Кремчатовъ навралъ. Но вотъ старуха Турчанинова уже не вретъ, когда рассказываетъ о свадьбѣ своей дочери:

— Въ тотъ-же день, какъ она встала съ постели (въ скобкахъ: и на другой день послѣ того, какъ согласилась выйти за Масловитаго), Масловитый пришелъ такъ часовъ въ пять, а она ему: здѣсь, говоритъ, вашъ экипажъ? Ладно. Мама, позовите доктора Аларчина, а вы еще кого-нибудь. Сядемъ въ экипажъ, поѣдемъ въ Акуловку—тутъ въ двѣнадцати верстахъ, и обвѣнчаемся. Иванъ Евсѣичъ потерялся, но возражать не рѣшился. Такъ и поѣхали.

Самъ негодяй-герой женится въ первый разъ такъ. На другой день послѣ объясненія съ Ольгой они вмѣстѣ идутъ къ Кремчатову съ просьбой взять на себя хлопоты по устройству вѣнчальнаго обряда. Въ тотъ-же день Кремчатовъ все устраиваетъ и въ тотъ-же день происходитъ вѣнчаніе. У Кремчатова они были въ одиннадцать часовъ утра, а послѣ вѣнца происходилъ еще веселый свадебный обѣдъ. Значить, всѣ обязательныя по церковному уставу приготовленія къ браку были кончены въ нѣсколько часовъ. На приготовленія ко второму браку негодяй-герой употребилъ, почему-то, гораздо больше времени: «Мы обвѣнчались черезъ два дня послѣ того, какъ я сдѣлалъ свое шуточное предложеніе». Это, конечно, гораздо дольше, чѣмъ при первомъ бракѣ, но все-таки, сошлюсь на всѣхъ женатыхъ мужчинъ и замужнихъ женщинъ, необыкновенно быстро, столь необыкновенно быстро, что пожалуй такъ и не бываетъ въ дѣйствительной жизни, гдѣ не все и не всегда идетъ, какъ по маслу. А тутъ, что ни свадьба, то галопомъ: сегодня объяснились, завтра или много послѣ завтра повѣнчались...

Въ «Здравыхъ понятіяхъ» нѣтъ ни одного живого лица,—все какія-то маріонетки, механически движущіяся по произволу автора, не представляющія никакого интереса. Произволь авторъ есть дѣло, конечно, неизбѣжное, но талантливые беллетристы умѣютъ расположить своихъ дѣйствующихъ лицъ и ихъ взаимныя отношенія такъ, что получается художественное отраженіе подлинной жизни во всей ея на первый взглядъ капризной сложности. При этомъ авторскій произволь утопаетъ въ художественной правдѣ. Г.-же Поталенко не только не сумѣлъ укрыть свой произволь, но еще усугубилъ его, такъ сказать, передѣлавъ его своему герою. Г. Поталенко надѣлалъ маріонетокъ, придѣлалъ къ нимъ шточки и далъ эти шточки своему герою: дергайте, моль, Андрей Николаевичъ, сколько хотите и какъ хотите,—маріонетки будутъ прыгать и падать, жить и умирать согласно вашему желанію.

Если-бы г. Потапенко написал только «Здравыя понятія», то объ немъ не стоило-бы и говорить: это произведеніе по-истинѣ ниже всякой критики. И тѣмъ удивительнѣе мертвенная сухость этой повѣсти, что та-же рука написала такую прекрасную вещь, какъ «На дѣйствительной службѣ». Нѣкоторая неукрытость авторскаго произвола есть и здѣсь, какъ, впрочемъ, и во всѣхъ остальныхъ произведеніяхъ г. Потапенка. Но, въ противоположность «Здравымъ понятіямъ», въ повѣсти «На дѣйствительной службѣ» передъ читателемъ проходитъ цѣлый рядъ разнообразныхъ живыхъ лицъ, тонко очерченныхъ, законченныхъ, способныхъ заинтересовать васъ своими печальми и радостями, хотя между этими печальми есть и комическія, между этими радостями есть и ничтожныя. Цѣлая маленькая коллекція настоящихъ живыхъ людей и живыхъ отношеній между ними.

Спрашивается, какъ-же связать такую мастерскую, такую тонкую работу, какъ «На дѣйствительной службѣ», съ такой топорной работой, какъ «Здравыя понятія»? Мнѣ лично пріятно-бы было разрѣшить этотъ вопросъ въ томъ смыслѣ, что «Здравыя понятія» есть очень раннее произведеніе г. Потапенка, которое онъ, въ качествѣ неудачной пробы пера, оставилъ-было въ своемъ письменномъ столѣ на память о грѣхахъ юности, а теперь по какимъ-нибудь совершенно постороннимъ соображеніямъ напечаталъ. Жаль, конечно, что въ литературное дѣло замѣшиваются постороннія соображенія, но пріятно было-бы все-таки думать, что «Здравыя понятія» не предвѣстникъ будущаго, а отголосокъ невозвратнаго прошлаго. Да вѣдь мало-ли что пріятно думать! За немѣніемъ данныхъ, приходится сознаться, что я не умѣю рѣшить поставленный вопросъ. Надо замѣтить, что всѣ остальные произведенія г. Потапенка (вошедшія въ сборникъ, другихъ я не знаю) по ихъ художественной цѣнности могутъ быть расположены между упомянутыми двумя повѣстями. Нѣтъ ни одного, столь плохого, какъ «Здравыя понятія», но также ни одного такого, которое можно-бы было поставить наравнѣ съ «На дѣйствительной службѣ». Такъ что есть, повидимому, для нашего автора какой-то средній уровень, выше котораго онъ разъ поднялся и ниже котораго онъ разъ спустился. Будемъ надѣяться, что спустился онъ случайно и что подниматься ему предстоитъ еще много разъ.

Если я не умѣю связать двѣ крайнія точки творчества г. Потапенка въ ихъ художественномъ значеніи, то можно все-таки попытаться связать ихъ въ другомъ отношеніи,—въ отношеніи нравственныхъ интересовъ автора и идей, имъ руководящихъ. Чтѣ преимущественно занимаетъ г. Потапенка? гдѣ, если можно употребить здѣсь этотъ терминъ, его *locus minoris resistentiae*? наиболѣе чувствительный и отзывчивый пунктъ, къ которому стекаются и около котораго группируются получаемыя имъ впечатлѣнія, чтобы сложиться тамъ въ мысли, чувства,

образы, картины? Но нынѣшнему времени немножко рискованно задавать себѣ этотъ вопросъ. Нынѣшніе писатели порываютъ обойтись безъ такого центрального пункта и съ безразличнымъ спокойствіемъ воспроизводятъ все, что имъ попадается на глаза: Фому и Ерему, слона и букашку, благоуханіе розы и безобразіе подлости. Пропсходитъ это прямо потому, что, въ соотвѣтствіе общему строю нашей нынѣшней жизни, господа беллетристы утратили способность различать важное и неважное и сильно чувствовать разницу между добромъ и зломъ. Хорошаго въ этомъ, конечно, ничего нѣтъ, но, какъ и всегда бываетъ въ подобныхъ случаяхъ, *post factum* явилась теорія, оправдывающая эту слабость и возводящая ее въ принципъ. Принципъ этотъ получилъ громкое названіе «пантеизма»: дескать, съ высшей точки зрѣнія, удаленной отъ ничтожныхъ и переходящихъ тревогъ дня, все въ природѣ одинаково цѣнно, и нѣтъ въ ней ни добра, ни зла, и не дѣло художника какъ-нибудь сортировать явленія жизни: онъ не долженъ давать ни одному изъ нихъ предпочтенія. Повторяю, теорія эта только возводитъ въ принципъ фактъ, уже существующій. Дѣйствительность опередила теорію и послѣдняя лишь «реабилитируетъ» первую. Къ счастью, въ этой непріятной дѣйствительности есть пріятныя исключенія. Къ числу ихъ принадлежатъ и г. Потапенко. Какъ ни разнообразно содержаніе его сборника, по это не безразличное воспроизведеніе Фомы и Еремы. Далеко не все, что раздражаетъ барабанную перепонку и сѣтчатую оболочку глаза г. Потапенка, становится предметомъ его художественнаго вниманія. Онъ сортируетъ свой матеріалъ ошущеній и впечатлѣній и сознательно комбинируетъ его. Мысль въ каждомъ изъ его произведеній ясна, опредѣленна, сосредоточена иногда даже въ излишествѣ. Но даже нѣкоторое излишество этого рода можно поставить въ заслугу молодому писателю нашего времени, когда все, подобно древнему велерѣчивому Баяну, норовятъ растекаться мыслию по древу, сѣрымъ волкомъ по землѣ, такъ что ихъ и не поймешь. Посмотримъ-же, что интересуетъ и волнуетъ г. Потапенка.

«Здравія понятія» представляютъ собою автобіографію негодяя, который, однако, считаетъ себя отнюдь не негодяемъ, а «благоразумнымъ человѣкомъ», и исполнѣ собою доволепъ. Это та самая задача, которую съ такимъ блескомъ выполнила покойная Заіончковская въ своей лучшей повѣсти «Первая борьба». Задача чрезвычайно трудная, потому что автору приходится все время стоять на завѣдомо чуждой ему точкѣ зрѣнія и не просто оправдывать, а идеализировать мысли, чувства и поступки негодяя. Г. Потапенку не удалось выполнить эту задачу, хотя его негодій и торжествуетъ во всѣхъ своихъ планахъ и предпріятіяхъ. Въ повѣсти «На дѣйствительной службѣ» нашъ авторъ задался цѣлью, въ нѣкоторомъ смыслѣ противоположную: здѣсь торжествуетъ не негодій, а, напротивъ, честный, добрый и самоотверженный человѣкъ. Эта

задача въ своемъ родѣ, пожалуй, еще труднѣе. Если вообще положительный типъ дѣло не легкое, потому что изображеніе его представляетъ много соблазновъ впасть въ слащавость, ходульность и резонерство, то торжествующій положительный типъ вдвойнѣ труднѣе. Увы! дѣла на нашей грѣшной землѣ рѣдко складываются такъ, что воинствующій положительный типъ торжествуетъ. Положительный типъ, это вѣдь тотъ, котораго hat man von je gekreuzigt und verbannt. Бываютъ, конечно, исключенія, иначе бѣлый свѣтъ давно пересталъ-бы быть бѣлымъ. Бываютъ времена, когда торжество положительнаго типа сравнительно облегчается... Впрочемъ, положительныхъ типовъ можетъ быть столько-же, сколько существуетъ разныхъ точекъ зрѣнія на вещи. Одно время у насъ развелось много романистовъ (существуютъ они, кажется, и теперь, но я ихъ давно не читаю), которымъ положительный типъ представлялся въ видѣ благороднаго, великодушнаго, умнѣйшаго красавца князя Аполлона Бельведерскаго или графа Антиноя Свѣтозарова-Святогорова. Этотъ графъ Антиной былъ осыпанъ всеми дарами природы и, сверхъ того, танцевалъ лучше балетмейстера, укрощалъ дикихъ коней и поражалъ направо и налево сонмы звѣробразныхъ людей, наряженныхъ нигилистами. Этому-то положительному типу немудрено торжествовать: «станетъ на горы — горы трещать!» Но герой г. Потапенка совсѣмъ другого пошиба. Это молодой священникъ, отказавшійся отъ блестящей карьеры, чтобы отдаться въ родномъ селѣ дѣятельному служенію ближнему.

Я не буду разсказывать содержаніе «На дѣйствительной службѣ.» Во-первыхъ, это заняло бы много мѣста; во-вторыхъ, читатель вѣроятно уже знакомъ съ этою вещью, а незнакомъ—такъ пусть познакомится. Онъ получитъ много художественнаго наслажденія, и не одного художественнаго. Я остановлюсь только на одномъ обстоятельствѣ. Слишкомъ ужъ везетъ герою повѣсти г. Потапенка, отцу Кириллу; до такой степени везетъ, что значительная часть его торжества основана на случайностяхъ, -совсѣмъ отъ него независящихъ. О. Кириллъ исполняетъ церковныя требы либо даромъ, либо за то, что дадутъ. Другой священникъ и прочій причтъ недовольны такимъ сокращеніемъ доходовъ, ѣдутъ къ архіерею жаловаться, что имъ и семьямъ прямо голодать приходится. Но архіерей (истинно мастерски написанная фигура, совсѣмъ живой)—горячій покровитель о. Кирилла. Онъ говоритъ одному изъ жалобщиковъ, о. Родіону: «Тебя я понимаю, отецъ Манускриптовъ, понимаю, ибо самъ я грѣшникъ. Но надо и его умѣть понять. Удалились мы съ тобой отъ апостольскаго житія, а онъ, этотъ юный пастырь, приблизиться къ нему хочетъ. Ну, разсуди, съ духовной точки зрѣнія, худо-ли онъ поступаетъ? Нѣтъ, не худо, а хорошо». И т. д. Между прочимъ, архіерей спрашиваетъ жалобщика, не внушаетъ-ли о. Кириллъ прихожанамъ «чего-либо такого смутнаго, напримѣръ, противнаго вла-

ствямъ предерживающимъ». — «Нѣтъ, ваше преосвященство, нѣтъ! — поспѣшно и даже съ жаромъ отвѣтили о. Родіонъ: — этого грѣха на душу свою не приму. Чего нѣтъ, о томъ прямо и говорю: нѣтъ!»

Уже изъ этого діалога видно, что бабушка ворожила о. Кириллу. У него есть сильный покровитель, что вѣдь не всегда случается съ положительнымъ типомъ. Далѣе, о. Родіонъ, при всей своей злобѣ на о. Кирилла и при всемъ своемъ желаніи спихнуть его съ мѣста, «поспѣшно и даже съ жаромъ» уклоняется отъ возможности сдѣлать ложный доносъ политическаго свойства. Ложный политическій доносъ у насъ вовсе не рѣдкость, какъ объ этомъ свидѣтельствуетъ даже юридическая хроника. У насъ это очень удобное средство если не прямо погубить врага, то хоть насолить ему, бросить на него тѣнь, и торжество о. Кирилла было бы, конечно, очень омрачено, если бы «поспѣшность и даже жаръ» о. Родіона направились въ эту сторону. Тѣмъ болѣе, что и архіерей, при всемъ своемъ расположеніи къ о. Кириллу, имѣеть какія-то смутныя основанія подозрѣвать въ немъ присутствіе «духа возмущенія». Безкорыстіе о. Кирилла тяжело отзывается и на его собственномъ бюджетѣ; но онъ этого не замѣчаетъ, не только потому, что онъ весь охваченъ своей идеей, а и потому еще, что изъ-яны хозяйства пополняются изъ тайнаго для него источника. Жена о. Кирилла женщина простая, глуповатая, не понимаетъ цѣлей и плановъ своего мужа, но вмѣстѣ съ тѣмъ она настолько исключительно хорошій человекъ, что, тайкомъ отъ о. Кирилла, растрчиваетъ на хозяйство свое маленькое приданое. Эта высокая черта деликатной преданности встрѣчается, конечно, не часто. Наконецъ, у о. Кирилла есть сосѣдка, бойкая помѣщица, по первому его слову назначающая причту жалованье отъ себя и затѣмъ способствующая торжеству героя и деньгами, и личнымъ участіемъ.

Таковы нѣкоторыя совершенно особыя условія, при которыхъ торжествуетъ о. Кириллъ. Разное можно бы было по этому поводу сказать, но я обращусь къ г. Потапенку. Что общаго между «Здравыми понятіями» и «На дѣйствительной службѣ», столь разнотвующими не только въ художественномъ отношеніи, но и по характеру своихъ героев? Это общее выражено, мнѣ кажется, словами героя «Здравыхъ понятій»: «если бы люди могли составлять строго математическую пропорцію между своими цѣлями и своими силами, то не было бы слезъ на землѣ». Пропорціональность или непропорціональность поставленныхъ цѣлей съ имѣющимися силами, — вотъ что, мнѣ кажется, преимущественно занимаетъ г. Потапенка въ житейской трагикомедіи. Мотивъ этотъ проходитъ почти черезъ весь сборникъ. Герои «Здравыхъ понятій» и о. Кириллъ соразмѣрили свои силы съ своими цѣлями и восторжествовали. Въ «Святомъ искусствѣ» нѣкій Степовицкій, случайно написавъ удачную повесть, вообразилъ себя призваннымъ лите-

раторомъ, бросилъ службу въ провинціи, переѣхалъ съ семьей въ Петербургъ съ цѣлью блестящей литературной карьеры и провалился, — диспропорція силъ и цѣлей. Въ «Секретарѣ его превосходительства» Николай Алексѣевичъ Поганкинъ, человѣкъ самъ по себѣ не дурной и не глупый, двѣнадцать лѣтъ околачивается около пустаго мѣста, чтобы достигнуть «ступени, дающей самостоятельность», и проваливается. Онъ внезапно умираетъ, сраженный непріятными вѣстями, но и безъ нихъ онъ, очевидно, такъ или иначе надорвался бы, потому что, добиваясь самостоятельнаго положенія, онъ именно къ самостоятельности-то и неспособенъ. Въ «Проклятой славѣ» надрывается и кончаетъ самоубійствомъ мальчикъ-скрипачъ, котораго неразумный, хотя и любящій отецъ тянетъ къ непосильной для него «проклятой славѣ». Въ остальныхъ трехъ разказахъ этотъ мотивъ звучитъ не такъ ярко, но усмотрѣть его все-таки можно. Вездѣ дѣйствующія лица ставятъ себѣ извѣстныя цѣли, крупныя или мелкія, хорошія или дурныя, и вездѣ успѣхъ или неуспѣхъ, но задачѣ автора, зависить отъ расчета пущенныхъ въ ходъ силъ. Говорю «по задачѣ автора», потому что на дѣлѣ, какъ мы уже приводили тому примѣры, на помощь или во вредъ героямъ г. Потапенка слишкомъ часто являются чисто случайныя, постороннія обстоятельства. Куда бы ни обращался г. Потапенко, — къ сѣрой-ли сермяжной массѣ или къ міру праздної роскоши, къ средѣ-ли духовенства или къ литературной, артистической, чиновничьей средѣ, — всюду его занимаютъ радость и гордость успѣха, ужасъ и горе неудачи. Все остальное — аксессуары, обстановка, иногда набросанная съ поразительною небрежностью, а иногда съ замѣчательною художественною тонкостью. Самыя цѣли, къ которымъ стремятся дѣйствующія лица г. Потапенка, представляютъ для него второй вопросъ. Его занимаетъ торжествующая или гибнущая сила сама-по-себѣ, процессъ достиженія или недостиженія цѣли.

Успѣхъ или неуспѣхъ въ жизни, какъ результатъ вѣрнаго или невѣрнаго расчета, — силь, есть, конечно, очень большая тема, которой г. Потапенку, пожалуй, на весь его вѣкъ хватитъ. Безчисленныя житейскія драмы, протекajúщія изъ того, что люди задаются непосильными для нихъ цѣлями, и можетъ быть, вся практическая житейская мудрость сводятся въ концѣ концовъ къ умѣнью согласовать свои цѣли съ своими силами. Какъ-бы ни была обширна портретная галерея удачниковъ и неудачниковъ, она можетъ быть безконечно разнообразна по характеру героевъ, но ихъ средѣ, по трагическимъ, а если угодно, то и комическимъ эффектамъ веѣхъ струнъ человѣческой души. Но не кажется-ли вамъ, что такая задача слишкомъ уже абстрактна и формальна? что поставляемая себѣ человѣкомъ цѣли и сами по себѣ заслуживаютъ вниманія, независимо отъ того, достигнуты онѣ или нѣтъ? Я не хочу этимъ сказать, что г. Потапенко совсѣмъ не цѣнитъ и не

сортируетъ цѣлей и плановъ своихъ героевъ. Нѣтъ, онъ явно сочувствуетъ добрымъ цѣлямъ, но въ кругѣ его умственныхъ интересовъ они стоятъ все-таки на второмъ планѣ, и оттого не совсѣмъ ясны его собственные цѣли.

Степовицкій (герой повѣсти «Святое искусство») проникнуть цѣлью добиться славы и матеріальнаго обезпеченія, цѣною пріятнаго и, какъ онъ думаетъ, легкаго литературнаго труда. Г. Потапенко до такой степени заинтересовался этою цѣлью своего героя и его послѣдующимъ крушеніемъ, что ничего не сообщил намъ о содержаніи литературныхъ плановъ Степовицкаго, о томъ, что именно хотѣлъ онъ повѣдать міру, чему поучать насъ, читателей, какому Богу поклоняться, и чѣмъ и во имя чего бороться. Для специалиста, интересующагося самымъ процессомъ успѣха или неуспѣха, все это вопросы второстепенные, но для насъ, читателей, они-то именно и важны. Что намъ за дѣло до славы и матеріальнаго довольства какого-то Степовицкаго? Господь съ нимъ! Есть чисто личный успѣхъ, есть и такой, который связанъ съ торжествомъ «забытыхъ словъ».

Я искренно, отъ души желаю г. Потапенку этого второго успѣха.



Объ одномъ соціологическомъ вопросѣ.

Г. Южакъ издалъ книжку подъ заглавіемъ «Соціологическіе этюды». Это — исправленное и дополненное изданіе статей, печатавшихся подъ тѣмъ-же общимъ заглавіемъ въ 1872—73 гг. въ журналѣ «Знаніе». Такъ и на оберткѣ напечатано: «изданіе пересмотрѣнное и дополненное». Дополненіе состоитъ изъ двухъ новыхъ главъ и нѣсколькихъ подстрочныхъ примѣчаній. Что-же касается пересмотра, то... право, затрудняюсь сказать, есть-ли онъ. На стр. 242 читатель найдетъ примѣчаніе, начинающееся словами: «Англійскій писатель Фродъ недавно доказывалъ» и т. д., и кончающееся ссылкой на «Знаніе» 1873 г. То, что было недавнимъ дѣломъ въ 1873 г., можетъ вѣдь перестать быть таковымъ-же въ 1891 году. Это, конечно, просто недосмотръ, который можно-бы было оставить безъ вниманія, еслибы опъ не былъ характеренъ для всей книги. Съ 1872—73 гг. о предметахъ, затронутыхъ въ «Соціологическихъ этюдахъ», написано разными авторами такъ много, что «изданіе пересмотрѣнное и дополненное» должно быть весьма существенно пересмотрѣно и дополнено. Г.-же Южакъ оставилъ свое изложеніе, можно сказать, безъ всякаго измѣненія, а указаній на позднѣйшую литературу я нашелъ у него всего три, и то просто указаній, даже упоминаній, и притомъ отнюдь не все по вопросамъ первостепенной важности для «соціологическихъ этюдовъ». На стр. 121 г. Южакъ дополняетъ старое примѣчаніе «указаніемъ на интересные данныя, заключающіяся въ книгѣ г. Кулишера «Очерки сравнительной этнографіи». На стр. 165, въ примѣчаніи-же, г. Южакъ «указываетъ мимоходомъ на любопытную книжку» г. Яковскаго «*Нуртһе cinétique de la gravitation universelle*» и т. д. На стр. 167 авторъ замѣчаетъ, что списокъ самостоятельныхъ писателей по вопросу о законахъ народонаселенія «необходимо дополнить Джорджемъ». И только.

Я думаю, что для восемнадцати лѣтъ, протекших со времени перваго появленія «Соціологическихъ этюдовъ», это немножко мало. До такой степени мало, что, пожалуй, лучше-бы и совсѣмъ не дѣлать этихъ слишкомъ немногихъ указаній и открыто отказаться отъ титула «пересмотрѣннаго и дополненнаго» изданія. Я забылъ, впрочемъ, упомянуть, что г. Южаковъ неоднократно ссылается еще на одно произведеніе повѣйшей литературы,—на свою собственную статью «Нравственное начало въ общественной борьбѣ», напечатанную въ «Сѣверномъ Вѣстникѣ» за 1888 г.

Къ «Соціологическимъ этюдамъ», вообще очень интереснымъ и поучительнымъ, г. Южаковъ счелъ нужнымъ сдѣлать два приложения. Онъ приложилъ, во-первыхъ, одну свою старую полемическую статью «Субъективный методъ въ соціологін», во-вторыхъ алфавитный указатель содержанія книги и встрѣчающихся въ ней собственныхъ именъ. Это послѣднее приложение, рѣдко у насъ практикуемое, очень полезно. Не могу того-же сказать о первомъ приложеніи, если только позволительно мнѣ имѣть объ этомъ сужденіе. Дѣлаю эту оговорку потому, что статья «Субъективный методъ въ соціологін» цѣлкомъ посвящена полемикѣ со мной и съ г. Миртовымъ. Согласно общей, мало пересмотрѣнной и мало дополненной фізіономіи «Соціологическихъ этюдовъ», г. Южаковъ не находитъ нужнымъ просвѣтить своихъ читателей на счетъ своихъ мыслей о томъ, что писалось о субъективномъ методѣ послѣ 1873 г.,—ну, напримѣръ, г. Карѣевымъ или, съ противоположной стороны, г. Слонимскимъ. Мало того, на эту самую полемическую статью г. Южакова были въ свое время сдѣланы возраженія г. П. М. въ «Знаніи» и мною въ «Отечественныхъ Запискахъ». Но г. Южаковъ даже не упоминаетъ объ этихъ возраженіяхъ, очевидно, считая весь полемическій эпизодъ законченнымъ тою точкою, которую онъ поставилъ въ концѣ своей статьи 1873 г. Я-бы ничего не могъ сказать противъ этого, если-бы г. Южаковъ просто перепечаталъ свои старыя статьи: такъ какъ онъ на упомянутыя возраженія не отвѣчалъ, то на нѣтъ и суда нѣтъ. Но въ изданіи пересмотрѣнномъ и дополненномъ можно было-бы сдѣлать и въ самомъ дѣлѣ какія-нибудь дополненія. А то можно-бы было, пожалуй, и совсѣмъ не перепечатывать статью «Субъективный методъ», не имѣющую прямого отношенія къ остальному содержанію книги и потому отнесенную авторомъ въ «приложенія».

Я далека отъ мысли возобновлять старую полемику, да и не нужно мнѣ это. Мнѣ достаточно указать на № 1 «Знанія» за 1874 г., гдѣ напечатана статья г. П. М. «О методѣ въ соціологін», и на 3-й томъ моихъ сочиненій, гдѣ мой отвѣтъ г. Южакову уже давно имѣется. Долженъ однако предупредить читателя, который заинтересуется этою полемикою. И въ статьѣ г. П. М., и въ моихъ статьяхъ онъ найдетъ нѣкоторыя размышленія о неладности, напримѣръ, слѣдующаго сообра-

жея г. Южакова: «Собственно говоря, нѣтъ ни объективнаго, ни субъективнаго метода, а есть одинъ—истинный». Тщетно будетъ, однако, искать этой фразы читатель въ дополненномъ изданіи «Соціологическихъ этюдовъ»: ея тамъ нѣтъ. Но изъ этого не слѣдуетъ, чтобы мы съ г. П. М. оклеветали г. Южакова, съ пагостію приписали ему слова, которыхъ онъ не говорилъ: они были, но въ дополненномъ изданіи авторъ ихъ вычеркнулъ и хорошо, конечно, сдѣлалъ. Найдутся и еще подобныя исключенія отдѣльныхъ фразъ и цѣлыхъ абзацевъ: не найдется только ключа къ нимъ, то-есть какого-нибудь объясненія со стороны автора.

Повторяю, я отнюдь не думаю полемизировать съ г. Южаковымъ. Я хочу только рекомендовать его книжку всѣмъ интересующимся затронутыми въ ней вопросами, и затѣмъ записать нѣсколько мыслей, которые книжка во мнѣ возбудила, совершенно независимо отъ того, будутъ-ли имѣть эти мысли полемическій обликъ или нѣтъ.

Въ первомъ своемъ этюдѣ г. Южаковъ возстаетъ, между прочимъ, противъ такъ называемой органической теоріи общества, въ чемъ я ему глубоко сочувствую. Сочувствіе это я выразилъ тотчасъ по появленіи «Соціологическихъ этюдовъ», но тогда-же замѣтилъ, что аргументація почтеннаго автора кажется мнѣ не вполне удовлетворительною. Продолжаю думать то-же самое и нынѣ. Г. Южаковъ говоритъ: «Въ организмѣ его составныя части, его органы, единицы агрегата лишены всей совокупности жизненныхъ отправленій, дифференцированы физиологически и интегрированы въ одно механически неразрывное цѣлое; разрушеніе этой связи прекращаетъ жизненный процессъ. Въ обществѣ, его слагаемая, единицы агрегата, обладаютъ всею полнотою жизненныхъ отправленій, физиологически однородны и не связаны механически; распаденіе агрегата не влечетъ прекращенія жизненнаго процесса въ его единицахъ. Дифференцированію въ обществѣ могутъ подвергнуться только процессы служебные, отправленія, служащія для жизни, но не сами жизненные процессы. Въ этомъ заключается разница между обществомъ и организмомъ: оба принадлежатъ къ категоріи живыхъ агрегатовъ и, какъ таковыя, имѣютъ много общаго, отличающаго ихъ отъ агрегатовъ неорганическихъ, но въ предѣлахъ жизни они представляютъ скорѣе двѣ противоположности: въ одномъ отправленія строго дифференцированныхъ частей служатъ развитію цѣлаго, отъ такого соподчиненія зависитъ возростаніе и умноженіе жизни; въ другомъ, напротивъ, отправленія цѣлаго, распределенныя между его единицами, служатъ для развитія этихъ единицъ... Общество и организмъ—это два полюса въ цѣпи живыхъ формъ».

Такъ какъ г. Южаковъ игнорируетъ литературу вопроса по эту сторону 1873 г., то и я не буду останавливаться на тѣхъ позднѣйшихъ спеціальныхъ изслѣдованіяхъ, которыя можно резюмировать формулою: всякій организмъ есть общество, всякое общество есть организмъ. Имѣя

въ виду лишь собственные мысли г. Южакова, я думаю, что съ той объективной точки зрѣнія, на которой онъ стоитъ, все вышеприведенное можетъ быть подвержено большому сомнѣнью. Невѣрно, что разрушеніе связи между частями организма всегда ведетъ къ прекращенію жизненнаго процесса: есть растительные и животные организмы, которые можно раздробить, разорвать на нѣсколько частей, и результатомъ этой операціи будетъ не прекращеніе жизненнаго процесса, а, напротивъ, возсозданіе нѣсколькихъ жизненныхъ процессовъ. Да и вообще размноженіе, въ особенности въ низшихъ формахъ, можетъ быть разсматриваемо, какъ разрушеніе связи между единицами агрегата. Невѣрно и обратное положеніе автора, по которому распаденіе общества не влечетъ за собою прекращенія жизненнаго процесса въ его единицахъ. Пусть пчелиное общество распадется на матокъ, рабочихъ пчелъ и трутней, и все они перемерутъ. Щедринскіе генералы, вырванные изъ общества, пошли на необитаемомъ островѣ мужика, а если-бы не эта счастливая случайность, процессъ генеральской жизни прекратился-бы. Наблюденія Губера надъ муравьями предвосхитили эту фантазію сатирика. Невѣрно, что въ обществѣ составляющія его единицы непременно физиологически однородны; это не вѣрно даже относительно основныхъ жизненныхъ функцій, каково размноженіе: рабочіе муравьи и пчелы бесполо. Въ человѣческомъ обществѣ такой рѣзкой физиологической неоднородности единицъ нѣтъ, но есть ея задатки, въ видѣ мальтузианской идеи неразмножающихся рабочихъ, въ видѣ католическаго духовенства, въ видѣ старыхъ дѣвъ. Невѣрно, наконецъ, что въ обществѣ дѣло служитъ составляющимъ его индивидуальнымъ единицамъ, тогда какъ въ организмѣ, наоборотъ, отправленія частей служатъ жизни цѣлаго. Объ этомъ сейчасъ нѣсколько подробнѣе.

Все это я говорю отнюдь не въ защиту органической теоріи, а лишь для того, чтобы показать, что критическіе приемы и точка зрѣнія г. Южакова недостаточны для опроверженія этой теоріи. Противъ окончательныхъ выводовъ и общаго характера книжки г. Южакова я могъ-бы, по существу, возразить лишь очень немного. Поэтому - то, между прочимъ, мнѣ и представляется не особенно нужною приложенная имъ къ книжкѣ старая полемическая статья. А впрочемъ, это его дѣло. Въ послѣдующихъ этюдахъ г. Южаковъ говоритъ о половомъ, естественномъ, историческомъ и искусственномъ подборѣ въ обществѣ. Я предложу читателямъ нѣкоторые соображенія на ту-же тему, но безъ всякаго отношенія, положительнаго или отрицательнаго, къ воззрѣніямъ г. Южакова.

Недавно вышла книжка любопытнаго нѣмецкаго писателя Карла Дю-Преля «*Studien aus dem Gebiete der Geheimwissenschaften*». Это уже не первое сочиненіе Дю-Преля въ этомъ родѣ. Направленіе мысли, къ которому принадлежатъ Дю-Прель, можно-бы было назвать научно-мистическимъ. Оно за послѣднее время получаетъ въ Европѣ довольно зна-

чительное развитіе. Задача его состоитъ въ томъ, чтобы ввести въ сферу научнаго изслѣдованія нѣкоторыя таинственныя, то-есть весьма мало или вовсе не объясненныя психо-физическія явленія. Этому можно-бы было, конечно, только радоваться, если-бы упомянутое направленіе не мѣняло былей съ небывшими и не обнаруживало-бы временами легко-вѣрія, по-истинѣ поразительнаго. Дю-Прель въ своей новой книгѣ проводитъ, между прочимъ, параллель между средневѣковыми вѣдмами и нынѣшними медумами. И въ тѣхъ, и въ другихъ онъ находитъ особыя «мистическія» способности. Онъ рѣшительно отвергаетъ то объясненіе, по которому вѣдмы исчезли, благодаря распространенію просвѣщенія: тутъ, дескать, просто дѣйствовалъ искусственный подборъ. По расчету Сольдана, за все время преслѣдованія вѣдмъ, ихъ было сожжено и инымъ образомъ казнено 9¹/₂ миллионъ. А такъ какъ мистическія или медумическія способности вообще довольно рѣдки, то и немудрено, что таинственныя явленія вѣдовства, наконецъ, прекратились; прекратились не въ качествѣ будто-бы субъективнаго заблужденія, разсѣяннаго поступательнымъ ходомъ просвѣщенія, а въ качествѣ несомнѣннаго объективнаго факта. Съ тѣхъ поръ прошло лѣтъ полтора, и за это время въ человѣчествѣ успѣли вновь народиться и развиваться мистическія способности, чѣмъ и объясняется нынѣшнее сравнительное обиліе медумовъ. Дю-Прель ничего не говоритъ о наслѣдственности мистическихъ способностей. Онъ провидитъ въ будущемъ людей, весьма отличныхъ отъ нынѣшнихъ, но приписываетъ эти грядущія измѣненія воспитанію. Но если-бы мы ввели въ свое разсужденіе еще вліяніе наслѣдственности и если-бы онъ говорилъ при этомъ не о мистическихъ способностяхъ, а просто объ извѣстныхъ формахъ нервнаго разстройства, то мы имѣли-бы довольно вѣроподобный образчикъ искусственнаго подбора въ обществѣ. Однако, именно только вѣроподобный. Препматриваясь ближе къ разсужденію Дю-Преля даже въ такомъ исправленномъ и дополненномъ видѣ, мы замѣтимъ, что хотя вѣдмы и истреблялись путемъ прямого насилія, по зрѣлище жестокихъ казней и ужасъ ожиданія преслѣдованій должны были порождать новыя разстройства, которыми съ избыткомъ компенсировалась эта жатва смерти. Далѣе, что-бы ни говорилъ Дю-Прель, но поступательный ходъ просвѣщенія и гуманности несомнѣнно способствовали прекращенію жестокаго предрасудка, обращавшаго несчастныхъ истеричекъ въ служительницъ сатаны.

Изъ всего этого слѣдуетъ, однако, не то, что искусственный подборъ не дѣйствуетъ въ обществѣ, а лишь то, что въ крайне сложной сѣти явленій общественной жизни возможны встрѣчныя и другъ друга уравнивающія теченія. Главнѣйшія изъ этихъ теченій опредѣляются взаимными отношеніями личности и общества, не самаго только принципа общественности или коопераціи въ обширномъ смыслѣ слова, а и той общественной формы,

въ которой волею судебъ приходится жить личности. Невѣрно, какъ я уже сказалъ, что въ обществѣ цѣлое служитъ составляющимъ его единицамъ, то-есть личности. Это — практическая задача, извѣстный общественный идеалъ, признаваемый одними, отвергаемый другими. Въ дѣйствительной-же жизни, фактически, общество сплошь и рядомъ не только не служитъ составляющимъ его единицамъ, но, наоборотъ, ихъ заставляетъ играть служебную роль. Напримѣръ, то военно-финансовое напряженіе, въ которомъ изнываетъ теперь вся Западная Европа, отнюдь не согласуется съ интересами единицъ, составляющихъ европейскія общества. Напротивъ, эти единицы отрываются отъ производительнаго труда и обременяются налогами единственно *ad majorem gloriam* извѣстной общественной формы. Случай это весьма обыкновенный. Само собою разумѣется, что во всѣхъ подобныхъ случаяхъ нѣкоторыя единицы или нѣкоторыя группы ихъ извлекаютъ свои выгоды изъ даннаго порядка вещей. Но и они являются, все-таки, подчиненными органами общественного блага, функционирующаго съ самостоятельными атрибутами, каковы «національное могущество», «народное просвѣщеніе», «народное богатство» и т. п., изъ которыхъ вовсе не слѣдуетъ, чтобы и входящая въ составъ общества единицы были въ массѣ могущественны. Въ этомъ отношеніи возможны самыя разнообразныя комбинаціи, такъ что даже одна и та-же общественная форма можетъ служить личности въ одномъ отношеніи и заставлять ее себѣ служить въ другомъ. Напримѣръ: Англія, какъ политическая организація, до извѣстной, весьма значительной степени служитъ интересамъ личности, и каждый британскій подданный, куда-бы его ни забросила судьба, можетъ чувствовать себя могущественнымъ, ибо за нимъ стоитъ могущество всей британской державы. Но не таковъ экономическій строй той-же Англіи: не англійское національное богатство служитъ интересамъ англійскаго рабочаго или земледѣльца, а, напротивъ, весь трудъ этихъ послѣднихъ уходитъ на созданіе колоссальнаго національнаго богатства, отъ котораго имъ перепадаетъ лишь крохи.

Всякая общественная форма борется за существованіе. Борется не только въ качествѣ общества, но и въ качествѣ извѣстной именно общественной формы; и не только съ другими обществами, но и съ входящими въ ея составъ единицами.

Глава «о развитіи умственныхъ и нравственныхъ способностей въ первобытныя и образованныя времена» въ знаменитой книгѣ Дарвина «Происхожденіе человѣка и половой подборъ» оставляетъ въ читателѣ впечатлѣніе крайней неудовлетворенности. Нужно, впрочемъ, замѣтить, что въ этой главѣ очень мало лично дарвиновскаго. Онъ самъ говоритъ, что большинство его замѣчаній о вліяніи естественнаго подбора на цивилизованныя націи заимствованы имъ у Уоллеса, Гальтона и Грега. Между прочимъ, <http://rcin.org.pl> Дарвинъ углубляется тѣмъ, что «преступни-

говъ убиваютъ или заключаютъ въ тюрьмы на долгое время, такъ что они не могутъ свободно передавать по наслѣдству свои дурныя качества». А нѣсколькими страницами дальше читаемъ: «Инквизиція выбирала съ особенною заботливостью наиболѣе свободомыслящихъ и смѣлыхъ людей для того, чтобы сжигать ихъ или бросать въ тюрьмы. Въ одной Испаніи лучшіе изъ людей,—тѣ которые сомнѣвались и спрашивали,—а безъ сомнѣній не можетъ быть прогресса,—были уничтожаемы втеченіе трехъ столѣтій среднимъ числомъ по тысячѣ въ годъ». Эти двѣ цитаты представляютъ собою не противорѣчіе, а лишь нѣкоторую неясность мысли. Сложность общественной жизни вполне допускаетъ чередованіе и даже одновременное существованіе явленій противорѣчивыхъ, которыя историку или социологу и приходится констатировать. Но надо хоть сколько-нибудь оріентироваться въ этихъ житейскихъ противорѣчіяхъ, какъ-нибудь группировать ихъ и объяснять. Въ данномъ случаѣ сдѣлать это не трудно. Прежде всего, въ указанныхъ случаяхъ очевидно нѣтъ никакого естественнаго подбора: здѣсь общество или полномочные его органы поступаютъ совершенно такъ-же, какъ сельскій хозяинъ или скотопромышленникъ, искусственно отбирающій экземпляры въ виду своихъ специальныхъ цѣлей. Затѣмъ, есть преступленія противъ общества, противъ самыхъ основъ его, безъ которыхъ ни одно общество существовать не можетъ, и есть преступленія противъ данной только формы общества. Очевидна огромная разница между этими двумя разрядами преступленій, а слѣдовательно и между воздѣйствіями на нихъ и между общественными послѣдствіями этихъ воздѣйствій.

Средневѣковая феодально-католическая организація, имѣя своимъ полномочнымъ органомъ инквизицію, казнила и велчески преслѣдовала вѣдьмъ, еретиковъ, евреевъ, мавровъ, вообще всѣхъ, съ католическими принципами несогласно мыслящихъ. О вѣдьмахъ или по-просту нервныхъ больныхъ говорено выше. Что-же касается остальныхъ, то въ числѣ ихъ, конечно, было не мало тѣхъ лучшихъ людей, о которыхъ говоритъ Дарвинъ. Достаточно вспомнить сожженнаго инквизиціей Джордано Бруно, на которомъ какъ-бы воочию осуществились сказки о феяхъ, принесшихъ къ колыбели младенца всѣ дары природы: умъ, талантъ, красоту, смѣлость, энергію. Все дѣло испортила злая фея, принесшая и свой губительный даръ—неумѣнье приспособиться къ требованіямъ данной общественной формы. Понятно, что не все такіе исключительные баловни природы погибали на кострахъ инквизиціи и задыхались въ ея тюрьмахъ. Однако извѣстныя высокія умственные и нравственныя качества были для еретика необходимы, чтобы вызвать преслѣдованіе и казнь. Нуженъ былъ умъ, чтобы придти къ самостоятельнымъ выводамъ, нуженъ былъ характеръ, чтобы поддержать выводы ума и не отречься отъ нихъ. Иесли-бы тысячи этихъ дарови-

тыхъ и стойкихъ людей остались живы и передали свои высокія качества многочисленному потомству, то дальнѣйшая исторія Европы имѣла-бы, вѣроятно, совершенно другой обликъ.

Самъ по себѣ, фактъ самозащиты каждой общественной формы, какова-бы она ни была, совершенно понятенъ: она борется за свое существованіе, какъ и все на свѣтѣ. Но общественныя формы слишкомъ часто переступаютъ естественныя предѣлы самозащиты. Онѣ, на-примѣръ, не только всячески гонятъ неприспособленныхъ и не желающихъ или не могущихъ служить имъ, но еще клеветуютъ на гонимыхъ, что уже составляетъ излишнюю роскошь. Такъ, древній Римъ не только истреблялъ христіанъ тысячами, но и объявлялъ ихъ врагами человѣчества и основныхъ началъ всякаго общества. На дѣлѣ, однако, распространеніе христіанства несло, какъ извѣстно, новыя и болѣе прочныя устои общественнаго зданія, хотя римская общественная организація и имѣла свои резоны быть недовольной. Практическіе результаты борьбы, разумѣется, ни мало не измѣняются собственно римскою клеветою. Но, съ точки зрѣнія подбора и его послѣдствій, огромная разница между преслѣдованіемъ враговъ общества и преслѣдованіемъ враговъ данной общественной формы. Въ этомъ послѣднемъ случаѣ на убой идутъ часто лучшія силы страны, о чемъ иногда очень скоро приходится пожалѣть той самой общественной формѣ, которая ихъ истребила. Преслѣдованіе гугенотовъ стоило Франціи около милліона энергическихъ, трудолюбивыхъ, уметвенно одаренныхъ людей, сожженныхъ, зарѣзанныхъ, изгнанныхъ и бѣжавшихъ въ другія страны. Потеря эта, однако, еще отнюдь не выражается достаточно, кажется, крупною цифрою «милліона». Въ такихъ случаяхъ борьба идетъ уже не только съ идеями, почему-нибудь признаваемыми вредными, а съ людьми, существами, облечеными въ плоть и кровь, способными плодиться и множиться и передавать тѣ или другія свои качества потомству. И еще надо имѣть въ виду, что, истребляя даровитыхъ и стойкихъ, общественная форма уже тѣмъ самымъ косвенно оказываетъ покровительство бездарности и правственной дряблости. А между тѣмъ общественной формѣ, боровшейся съ гугенотами, достаточно было сдѣлать лишь маленькую уступку въ сторону вѣротерпимости, даже не измѣняя своихъ существенныхъ чертъ, чтобы эти милліоны казенныхъ, изгнанныхъ, бѣжавшихъ и перодившихся жили на счастіе и славу Франціи. Что касается перодившихся, то въ данномъ случаѣ они унаслѣдовали-бы, надо думать, вѣрованія своихъ отцевъ; точнѣе сказать, не унаслѣдовали-бы, а воспитались-бы въ протестантизмѣ, ибо въ настоящемъ смыслѣ слова, органически наслѣдуются не идеи или вѣрованія, а физическія, умственныя и нравственныя качества. Здоровые-же, стойкіе и даровитые люди нужны всякой общественной формѣ, задача которой состоитъ поэтому отнюдь не въ томъ, чтобы гнать извѣстныя качества въ

самомъ ихъ корнѣ, а въ томъ, чтобы утилизировать ихъ въ нужномъ ей направлеиіи. Ради этого общественная форма, въ своихъ собственныхъ интересахъ, могла-бы поступиться многимъ. Но въ человѣческихъ дѣлахъ расчетъ выгоды и невыгоды часто затемняется не только чисто логическими ошибками, а и случайностями личнаго темперамента, каприза, слѣпотаго упрямства, вообще неразуміемъ сердца, если позволительно такъ выразиться. Оттого-то и случается такъ часто въ исторіи, что извѣстная общественная форма, преслѣдуя несогласно мыслящихъ, истребляетъ мыслящихъ вообще, а немыслящимъ предоставляетъ все поле дѣйствія и въ минуту опасности сама остается безъ достаточно стойкихъ и надежныхъ защитниковъ, — желая сохранить все, остается ни при чемъ; снявши всѣ сливки, по необходимости должна довольствоваться снятымъ молокомъ. Не всегда, разумѣется, въ подобныхъ случаяхъ пускается въ ходъ искусственный подборъ въ такихъ грандіозныхъ размѣрахъ и кровавыхъ формахъ, какъ при борьбѣ древняго Рима съ христіанами или католической Франціи съ гугенотами. Такъ, Франція Наполеона III, не гнушаясь и этими средствами, хотя по необходимости въ меньшихъ размѣрахъ, разными другими путями, прямо и косвенно покровительствовала бездарности, тупости, низкопоклонству, трусости— и кончила Седаномъ.

Таковы нѣкоторые изъ результатовъ борьбы за существованіе и подбора въ обществѣ. Изъ нихъ явствуетъ, мнѣ кажется, что въ обществѣ не всегда агрегаты служатъ составляющимъ его единицамъ, а, напротивъ, весьма часто предоставляетъ имъ служебную роль.



Памяти Григорія Захаровича Елисеева.

Трудно говорить о человѣкѣ, котораго знаешь хорошо, но котораго твои собесѣдники или слушатели почти не знаютъ. Въ такомъ именно положеніи нахожусь я, собираясь писать о только-что почившемъ Григоріѣ Захаровичѣ Елисеевѣ. Изъ нынѣшнихъ не только читателей, а и писателей его мало кто знаетъ. Да и въ самомъ разгарѣ его литературной дѣятельности, во времена «Современника» и потомъ «Отечественныхъ Записокъ», собственно читающая публика его почти не знала, хотя онъ обладалъ всею, что требуется для обширной извѣстности: выдающимся умомъ, крупнымъ литературнымъ талантомъ, знаніемъ жизни, опредѣленностью убѣжденій и взглядовъ на жизнь. Несмотря на все эти данныя, Елисеевъ упорно отказывался отъ извѣстности. Статьи его въ «Современникѣ» и въ «Отечественныхъ Запискахъ» составили-бы нѣсколько увѣсистыхъ томовъ, но лишь очень и очень немногія изъ этихъ статей,—быть можетъ, пять или шесть,—подписаны его фамиліей или псевдонимомъ «Грыцко». Остальныя анонимы. Елисеевъ не былъ дилетантомъ литературы, удѣляющимъ ей свои досуги отъ какихъ-нибудь другихъ занятій. Съ 1858 г., когда появилась его первая статья въ «Современникѣ», по 1881 г., когда онъ, вслѣдствіе тяжкой болѣзни, долженъ былъ оставить занятія и уѣхать за-границу, онъ работалъ постоянно, изъ мѣсяца въ мѣсяць, и въ качествѣ писателя, и въ качествѣ вліятельнаго члена редакцій двухъ въ свое время наиболѣе распространенныхъ журналовъ. Но и послѣ 1881 г. Елисеевъ духомъ жилъ въ литературѣ и, все таки, работалъ, какъ только ходъ болѣзни давалъ хотя какую-нибудь возможность работать. До закрытія въ 1884 г. «Отечественныхъ записокъ», онъ еще успѣлъ помѣстить тамъ статью, а въ 1891-мъ году напечатана его статья въ «Вѣстникѣ Европы». Сверхъ того послѣ него остались рукописи, которыя,

какъ можно догадываться, должны представлять высокій интересъ. Во времена «Современника», гдѣ онъ постоянно велъ «внутреннее обозрѣніе», писалъ отдѣльныя статьи и участвовалъ въ редактированіи журнала, Елисеевъ находилъ еще возможнымъ писать въ «Искрѣ», редактировать газету «Вѣкъ» и потомъ «Очерки». Газеты эти, по разнымъ причинамъ, вскорѣ прекратились, по журналы, въ которыхъ Елисеевъ не просто принималъ участіе, а игралъ одну изъ руководящихъ ролей, пользовались обширнымъ и прочнымъ успѣхомъ, и успѣхомъ этимъ они были въ значительной степени обязаны ему. Тѣмъ не менѣе, въ результатѣ этой многолѣтней, многотрудной и успѣшной литературной дѣятельности, Елисеевъ публикѣ почти не извѣстенъ. Многіе черпавшіе изъ его статей свѣтлыя мысли или находившіе въ нихъ отзвукъ своимъ лучшимъ чувствамъ, такъ, можетъ быть, и до конца дней своихъ не узнали имени того, кто имъ свѣтилъ, кто грѣлъ ихъ. Это было-бы трагично, если-бы не собственное желаніе Елисеева остаться анонимомъ. растворить свое личное *я* въ общежурнальномъ *мы*.

Но если публика не знала Елисеева, то мы, писатели, знали его очень хорошо. Я думаю, что не ошибусь, сказавъ, что покойный пользовался уваженіемъ рѣшительно всѣхъ литературныхъ кружковъ и партій. Всѣ знали цѣну его спокойному, умному, вѣскому слову: по къ этому уваженію въ однихъ прибавлялось болѣе нѣжное чувство искренней и глубокой любви, въ другихъ — безпильная злоба. Изыскивались разные побочные пути для того, чтобы бросить камень въ этого человѣка, анонимнаго, но вліятельнаго. Не стоить поминать эти поджоки, по одишь изъ нихъ я, все-таки, помяну, ради біографическаго значенія.

Покойникъ былъ, какъ онъ самъ выражался, «происхожденія клерикальнаго». Какъ и гдѣ протекали его дѣтство и отрочество, я въ точности не знаю. Знаю только, что онъ родился въ Сибири. Въ сороковыхъ годахъ онъ слушалъ лекціи въ московской духовной академіи (его магистерскій дипломъ, выданный этою академіей, помѣченъ 30-мъ января 1846 г.). Затѣмъ онъ былъ профессоромъ казанской духовной академіи, откуда перешелъ на гражданскую службу въ Сибирь, а въ 1 58 г. пріѣхалъ въ Петербургъ и весь и навсегда отдался литературѣ. Нѣкто розыскалъ старое сочиненіе Елисеева, церковно-духовнаго содержания (если не ошибаюсь, это было житіе одного изъ мѣстно-чтимыхъ святыхъ подвижниковъ), съ посвященіемъ какому-то архіепископу или епископу. Розыскалъ и распечаталъ посвященіе съ глумленіемъ надъ его слогомъ: дескать, вотъ что и какъ радикальный писатель Елисеевъ въ старыя годы писалъ. Этотъ дрянной зарядъ пропалъ совершенно даромъ: въ добропорядочныхъ литературныхъ кругахъ, гдѣ Елисеева знали и читали, онъ возбудилъ лишь презрительную улыбку, въ публикѣ имя Елисеева было неизвѣстно, а самъ онъ могъ съ спокойною совѣстью отвѣтить, что, будучи ученикомъ и затѣмъ профессоромъ духовной академіи

онъ занимался предметами, которыми нынѣ уже болѣе не занимается, и употреблялъ приемы изложенія, въ то время и въ той средѣ общепринятыя. Авторъ вылазки и самъ, конечно, это очень хорошо понималъ,—ему нуженъ былъ лишь извѣстный эффектъ, волюнѣ, впрочемъ, неудавшійся.

Если безспорное и чрезвычайно большое, хотя и анонимное, вліяніе Елисеева въ литературномъ мірѣ было для иныхъ неприятно, то другіе просто признавали его, какъ фактъ, и подчинялись ему тѣмъ охотнѣе, что покойникъ ничѣмъ вышнимъ не давалъ чувствовать свое значеніе. А въ пасъ, тогда еще молодыхъ сотрудникахъ «Отечественныхъ Записокъ» (о «Современникѣ» я ничего не знаю), Елисеевъ имѣлъ преданнѣйшихъ друзей, почитателей и, я готовъ сказать, сыновей. Было нѣчто именно отцовское въ его ласково-насмѣшливой манерѣ говорить съ нами въ дѣлахъ обиденныхъ и въ той серьезной и любящей заботливости, которую онъ проявлялъ, когда рѣчь шла о нашихъ литературныхъ планахъ. И къ этой роли отца такъ шла его наружность патріарха: эти длинные сѣдые волосы, длинная сѣдая борода, сѣдые нависшія брови.

Вспоминаю такой случай. Елисеевъ всегда мечталъ о газетѣ, несмотря на несчастную судьбу «Вѣка» и «Очерковъ». Вскорѣ послѣ моего вступленія въ «Отечественныя Записки», у него опять возникла эта мысль. Газета должна была идти параллельно съ журналомъ и отвѣчать, въ его духѣ и направленіи, на текущіе вопросы дня, трудно уловимые въ ежемѣсячномъ толстомъ журналѣ. Представлялся случай на выгодныхъ условіяхъ приобрести газету; возникъ вопросъ объ отвѣтственномъ редакторѣ. Я предложилъ себя, такъ какъ для утверженія меня редакторомъ не могло быть тогда никакихъ препятствій. Но скептическій Григорій Захаровичъ отклонилъ мое предложеніе, говоря: «мало-ли что можетъ случиться, а вы человекъ молодой, пожалуй еще генераломъ будете,—зачѣмъ-же закрывать себѣ будущее?» Я очень хорошо зналъ, что мнѣ генераломъ не быть; мнѣ даже обидно было предположеніе Елисеева, что я могу когда-нибудь промѣнять литературу на другое поприще, гдѣ меня можетъ ждать генеральскій чинъ. Но добродушный и ласково-бережный тонъ старика смягчалъ обиду...

Третьяго руководителя «Отечественныхъ Записокъ» хорошу я: Некрасовъ, потомъ Салтыковъ, теперь Елисеевъ. И каждое изъ этихъ именъ будить во мнѣ мои лучшія воспоминанія, и точно часть самаго себя хорошу я съ ними. Еще недавно я приглашалъ читателей «Русскихъ Вѣдомостей» чтить память незабвеннаго сатирика. Но слава Салтыкова была громка, его имя и само-по-себѣ ярко горѣло въ сознаніи читающаго люда. Объ Елисеевѣ надо разсказывать. Скажутъ: *своихъ* расхваливаемъ! Да, своихъ. Но не потому, что они свои, а напротивъ потому они и своими стали, что здѣсь именно сосредоточился тотъ свѣтъ, который мнѣ и по сейчасъ во тьмѣ свѣтитъ. Если симпатинъ,

какъ и антипатіи, часто возникаютъ вполне безотчетно, то крѣпнуть или слабѣютъ онѣ подѣ давленіемъ общаго міросозерцанія съ одной стороны, подѣ давленіемъ фактовъ опыта и наблюденія съ другой...

Елисеевъ былъ «происхожденія клерикальнаго». Онъ самъ такъ говорилъ. Но онъ-же говорилъ съ гордостью: «Мой дѣдъ землю пахалъ». Его отецъ былъ священникомъ, а дѣдъ попомаремъ при сельской церкви въ далекомъ углу Сибири и, конечно, самымъ заправскимъ образомъ землю пахалъ. Всяко бываетъ съ людьми, выплывшими со дна житейскаго моря на его сверкающую поверхность, гдѣ столько красивыхъ соблазновъ. Лишь немногіе въ полной мѣрѣ хранятъ память о той всяческой, вещественной и невещественной, скудости, изъ которой они вышли. Елисеевъ былъ изъ числа этихъ немногихъ. Я не зналъ человѣка болѣе неуклонныхъ демократическихъ не только принциповъ, но самыхъ инстинктовъ. Это не значитъ, чтобы онъ ходилъ въ грязной рубахѣ или въ какомъ-нибудь якобы народномъ, а въ сущности маскарадномъ костюмѣ. Нѣтъ, ничѣмъ внѣшнимъ онъ не отличался отъ людей среды, въ которой ему довелось жить. Но мысль о сѣрой трудовой народной массѣ никогда не покидала его. Эта мысль окрашивала собою все «Отечественныя Записки»; но то, что въ насъ остальныхъ было плодомъ теоретическихъ выкладокъ ума или порывовъ сердца, или, наконецъ, художественной потребности, быть можетъ, въ одномъ Елисеевѣ истекало непосредственно изъ всего его правдивнаго существа. Мы, остальные, могли отклоняться—кто въ сферу философскихъ отвлеченностей, кто въ область чистой науки или искусства или личной морали, и Елисеевъ подозрительно высматривалъ изъ-подъ своихъ нависшихъ бровей,—что-то мы принесемъ изъ этихъ далекихъ экскурсій. И радовался, и гордился «Отечественными Записками», когда мы въ концѣ-концовъ приносили именно то, что нужно было. Предоставляя другимъ попытки философскаго обоснованія, научнаго оправданія, историческаго развитія, художественнаго объективированія демократическаго принципа въ отдаленнѣйшихъ его развѣтвленіяхъ, самъ онъ почти не отходилъ отъ непосредственнаго практическаго корня вопроса. «Когда благоденствовалъ русскій мужикъ и когда начались его бѣдствія?» «Крестьянскій вопросъ», «Крестьянская реформа», «Производительныя силы Россіи»—вотъ заглавія нѣкоторыхъ статей Елисеева, и таково-же содержаніе большинства его «внутреннихъ обзорнѣй». Я этимъ не хочу сказать, что Елисеевъ ни о чемъ, кромѣ крестьянъ, не писалъ. Напротивъ, какъ настоящій, обреченный журналистъ, зависящій не отъ себя, а отъ требованій минуты, онъ писалъ объ очень разнообразныхъ вещахъ, но всегда и вездѣ чувствовалась въ его писаніяхъ одна и та-же подкладка. Писалъ онъ, напримеръ, о женскомъ образованіи, и конечно, высоко цѣнилъ его, какъ нѣчто самоудовлѣющее, а все-таки выходило при этомъ, что «женщины—

самый способный въ настоящее время дѣятель для распространенія и упроченія грамотности въ народѣ» (эта фраза стоитъ въ оглавленіи одного изъ его «внутреннихъ обзорѣній»). Писалъ о послѣдней турецкой войнѣ и выражалъ полное сочувствіе славянамъ, но въ то-же время оглавленіе его внутренняго обзорѣнія гласило: «Расхищеніе земскихъ сундуковъ въ пользу славянъ.—Усердіе неправдиковъ и становыхъ въ собираніи пожертвованій для славянъ.—Позволительно-ли и даже нужно-ли раздавать земскія деньги славянамъ?» и т. д. Писалъ объ общихъ экономическихъ вопросахъ, и всякій, прочтя его статью вродѣ «Плутократія и ея основы» или «Храмъ современнаго счастья», увидитъ въ нихъ все того-же неотлучнаго стража интересовъ народа. И никакое красивое опереніе, никакая блистающая либерализмомъ доктрина не могли закрыть несоотвѣтственную сущность отъ его пронизательнаго взора, направлявшагося непосредственнымъ чувствомъ чело-вѣка народа. Онъ былъ какъ-бы самъ народъ, собственными усиліями пробивавшійся къ свѣту и достигшій верховъ самосознанія. Надо помнить при этомъ, что онъ былъ не только писатель, а и руководитель двухъ журналовъ, что, слѣдовательно, отъ него въ значительной степени зависѣлъ выборъ статей, предлагавшихся публикѣ. И если сѣрый русскій мужикъ до сихъ поръ не совѣмъ еще вымеръ въ русской литературѣ, то въ этомъ отношеніи многое должно быть поставлено на счетъ покойнику, съ плюсомъ или съ минусомъ, это какъ кому угодно.

Были, разумѣется, предметы, представившіеся Елисееву настолько значительными сами по себѣ, что онъ интересовался ими независимо отъ корня вещей (корень вещей лежалъ для него въ мужикѣ). Къ числу этихъ значительныхъ предметовъ принадлежала литература. Покойникъ легко могъ установить связь между литературой и мужикомъ и дѣйствительно отмѣчалъ ее, но все-таки литература и сама по себѣ представляла для него нѣчто въ высокой степени цѣнное. Онъ часто писалъ объ ея высокомъ назначеніи и прискорбномъ положеніи, о красотѣ ея свободы, о величій ея роли, о практической неумѣлости ея представителей, о ничтожествѣ ея дѣйствительной роли въ русской жизни. И здѣсь, мнѣ кажется, надо искать причины той безвѣстности, на которую такъ упорно обрекалъ себя покойникъ.

Я всемъ рекомендовалъ-бы читать и перечитывать статьи Елисеева, отнюдь не минуя его «внутреннихъ обзорѣній», въ которыхъ, повидимому, лишь бѣгло отмѣчались текущія явленія жизни. Но теперь я обращаю особенное вниманіе читателей на «внутреннее обзорѣніе» въ въ № 5-мъ «Отечественныхъ Записокъ» за 1876 г. Рѣчь здѣсь идетъ о популярности вообще, о томъ, что такое популярность въ Россіи въ частности, о томъ, наконецъ, что иногда заключается въ «надгробномъ рыданіи» и въ рѣчахъ на могклахъ русскихъ общественныхъ дѣятелей. Мотивировано это маленькое разсужденіе посмертными восхваленіями

Юрія Самарина, Лсонтьева, Погодина и Шапова (Шаповъ былъ ученикомъ Елисеева; ученикъ и учитель были преисполнены взаимнаго уваженія).

Маленькое отступленіе. Похороны Елисеева произвели на меня подавляющее впечатлѣніе. Проводить въ послѣдній земной пріютъ чловѣка, такъ много потрудившагося «на пользу и радость пошехонцевъ» (выраженіе Щедрина), собралось чловѣкъ полтора. Вѣнки были лишь отъ сотрудниковъ «Отечественныхъ Записокъ», отъ редакціи «Вѣстника Европы», отъ редакціи «Сѣвернаго Вѣстника», отъ «друзей», отъ «литературнаго фонда», отъ «женщинъ-врачей», отъ трехъ высшихъ учебныхъ заведеній, «отъ женщинъ». Въ маленькой кучкѣ провожающихъ я напрасно искалъ нѣкоторыхъ литераторовъ, которымъ обязательно было-бы тутъ быть, и нѣкоторыхъ вѣн-литературныхъ друзей покойнаго. Ни одной рѣчи на могилѣ... И хорошо. Меня побуждали сказать чтѣ-нибудь, мнѣ говорили, что это моя обязанность, какъ ближайшаго изъ оставшихся въ живыхъ сотрудниковъ покойнаго. И я хотѣлъ говорить. Мнѣ нечего было-бы сказать тѣмъ, кто зналъ Елисеева. Они не хуже меня знали, что мы зарыли въ землю благороднѣйшее сердце и свѣтлую голову, истиннаго «друга народа», какъ было написано на лентахъ вѣнка «отъ друзей». Но немногочисленная молодежь, присутствовавшая на похоронахъ, не знала покойника. Она пришла по довѣрію къ титулу руководителя двухъ давно не существующихъ журналовъ. И благо ей за это довѣріе. Въ благодарность я хотѣлъ разъяснить ей, почему она не знала покойника и почему она должна его знать. Быть можетъ, рѣчь моя оборвалась-бы надгробнымъ рыданіемъ, но кончилъ-бы я ее не въ минорномъ тонѣ. Напротивъ, я сказалъ бы: да здравствуетъ покойникъ! да живетъ его духъ въ душахъ вашихъ многая, многая лѣта! Слова просились на языкъ, но я не сказалъ ихъ, потому что наканунѣ, мысленно, одинъ на одинъ поминая покойника, перечиталъ вышеупомянутое его «внутреннее обозрѣніе». Тамъ напечатаны скептическія слова о надгробныхъ рѣчахъ вообще, и хотя я чувствовалъ, что моя рѣчь не была-бы тою шаблонною и лживою хвалою, которая претила покойнику, но все-таки мнѣ точно слышался его голосъ—не говори!

Свои скептическія мысли о надгробныхъ рѣчахъ Елисеевъ иллюстрировалъ извѣстнымъ стихотвореніемъ Добролюбова:

«Пускай умру—печали мало.
Одно страшить мой умъ больно;
Чтобы и смерть не разыграла
Печальной шутки надо мной»...

Стихотвореніе кончается такъ:

«...Боюсь,
Чтобъ все, чего желалъ такъ жадно

И такъ напрасно я живой,
Не улыбнулось мнѣ отъ радно
Надъ гробовой моей доской».

Елисеевъ примѣнялъ это стихотвореніе къ несчастной судьбѣ Шапова. Къ самому Елисееву оно не примѣнимо. Смерть не разыграла надъ нимъ печальной шутки: полтораста человѣкъ, десять вѣнковъ, пи одной рѣчи, три-четыре мертвыхъ некролога. И хорошо. Зачѣмъ общество, не знающее и не желающее знать своихъ лучшихъ людей, будетъ еще оскорблять ихъ живо-блистательными похоропами? Хочу вѣрить и вѣрю, что кто былъ на похоронахъ Елисеева, тотъ душой былъ, кто плакалъ—тотъ плакалъ постоянными слезами. Да и какая въ самомъ дѣлѣ корысть проводить въ страну небытія анонимнаго писателя, да еще такого, самое направленіе котораго находится не въ авантажъ?! Ничего тутъ лестнаго нѣтъ...

Но вѣдь не судьбой—же былъ обреченъ Елисеевъ на анонимное существованіе. Не могъ—же онъ не понимать, что читающему люду нужно имя, нуженъ извѣстный конкретный образъ, къ которому текли бы его симпатіи. Покойникъ отлично понималъ это. Но онъ выступалъ на литературное поприще не юношей, котораго могутъ манить розовыя мечты о славѣ, какъ таковой, о славѣ для славы. А отъ славы, какъ орудія воздѣйствія на общество, онъ требовалъ, по нашимъ дѣламъ, слишкомъ многого. То есть онъ ничего не требовалъ, но понималъ «настоящую популярность» единственно вотъ въ какомъ смыслѣ: «стать во главѣ болѣе или менѣе значительной части общества, дѣйствовать вмѣстѣ съ нимъ для извѣстной цѣли, сообща устраняя препятствія, лежащія на пути къ ней, и сообща изобрѣтая и употребляя тѣ или другія средства для достиженія ея» (я цитирую все то-же «внутреннее обозрѣніе»). Чувствовалъ-ли Елисеевъ въ себѣ достаточныя для такой популярности силы или нѣтъ (я увѣренъ, что нѣтъ: онъ былъ слишкомъ скромнаго мнѣнія о себѣ), но онъ видѣлъ практическую невозможность ея у насъ, гдѣ возможна популярность лишь «мѣстная, сословная и кружковая». А изъ-за этого не стоить огорождать...

Елисеевъ ошибался: очень стоить, какъ показываетъ судьба его собственныхъ писаній. Все въ томъ-же «внутреннемъ обозрѣніи» онъ говоритъ о средѣ, которая можетъ утѣшить русскаго писателя въ его скорбяхъ и въ его безпомощности: «это—молодые умы и сердца, разсѣянные по всему лицу огромной русской земли, которые страстно ловятъ каждое его слово, всасываютъ въ себя его идеи, вводятъ въ свою жизнь и дѣятельность проповѣдуемыя имъ принципы, приготовляясь быть дѣятелями въ будущемъ». Анонимъ можетъ, конечно, завоевать себѣ эту среду, пока онъ пишетъ. Но продолжительное и прочное воздѣйствіе на читателей—для него, по крайней мѣрѣ, затруднительно,

если не невозможно. Писанія Елисеева по сейчасъ въ высокой степени цѣнны, благодаря проникающей ихъ основной руководящей идѣ. Многое и многое могли-бы почерпнуть изъ нихъ даже не только молодые умы и сердца, но, вслѣдствіе ихъ анонимности, ихъ трудно даже розыскать. Люди, чтущіе память этого ветерана русской литературы и имѣющіе возможность собрать и издать его сочиненія, должны поправить эту ошибку. Это будетъ дорогое приобрѣтеніе для русской литературы. Въ изданіе должны войти не только отдѣльныя, законченныя статьи покойника, но непременно и его «внутреннія обзорнія», въ своемъ родѣ образцовыя. Не бѣда, что они трактуютъ о вещахъ, уже минувшихъ. Во-первыхъ, отнюдь не всѣ эти вещи такъ ужъ совсѣмъ миновали, а во-вторыхъ, не миновала и не можетъ миновать та точка зрѣнія, на которой неуклонно стоялъ покойникъ. Перепробованная на множествѣ житейскихъ явленій, которыя вѣдь повторяются, хотя и въ новой обстановкѣ, она получаетъ высокое значеніе. Пройтись по исторіи русской жизни за три десятилѣтія съ надежнымъ руководителемъ, который никогда не сбивался съ разъ намѣченной дороги, полезно вообще, а колеблющимся умамъ, какихъ нынѣ много, тѣмъ болѣе. Миръ праху Елисеева, но да не будетъ мира его духу!..

О новыхъ мозговыхъ линияхъ.

Съ нынѣшняго года ежемѣсячныя приложенія къ газетѣ «Недѣля» или такъ называемыя «Книжки Недѣли» преобразились, расширили свою программу. Изъ объясненія редакціи не вполне ясно видно, въ чемъ именно заключается расширеніе программы, но, кажется, оно будетъ состоять главнымъ образомъ въ томъ, что къ беллетристическому матеріалу, составлявшему до сихъ поръ исключительное содержаніе «Книжекъ Недѣли», будетъ прибавленъ отдѣлъ литературно-критическій. Хорошее дѣло. Къ сожалѣнію, первый номеръ страдаетъ нѣкоторою случайностію состава.

На первомъ мѣстѣ стоитъ статья г. Янжула «Искусство писательства». Это—сообщеніе о книгѣ подъ тѣмъ-же заглавіемъ англійскаго писателя Бентона. Бентонъ обратился къ нѣсколькимъ стамъ литераторовъ и ученыхъ съ вопросами объ «искусствѣ писательства», разумѣя преимущественно выработку стиля, хорошаго языка. 176 литераторовъ и ученыхъ откликнулось; отвѣты ихъ и составляютъ книгу Бентона. Общихъ выводовъ самъ Бентонъ не даетъ, «ограничившись двумя-тремя неважными обобщеніями, брошенными мимоходомъ». Самъ же г. Янжулъ, приведя нѣкоторые изъ отвѣтовъ, дѣлаетъ слѣдующія заключенія, поучительныя для молодыхъ, начинающихъ авторовъ: 1) Хорошій стиль есть прежде всего природный даръ. 2) Хорошій стиль вырабатывается упорнымъ и непрестаннымъ трудомъ. 3) Повидимому, образованныя матери въ гораздо большей степени, чѣмъ отцы, имѣютъ вліяніе на выработку литературныхъ талантовъ въ подростающемъ поколѣніи. 4) Молодымъ русскимъ писателямъ слѣдуетъ работать надъ своимъ стилемъ.

Если эти выводы покажутся вамъ нѣсколько скудными, то имѣйте въ виду, что «искусство писательства» есть для г. Янжула совер-

иненно постороннее вѣдомство. Весьма извѣстный въ качествѣ профессора финансоваго права и фабричнаго инспектора, г. Янжулъ никогда не былъ внимателемъ даже къ своему собственному стилю. Очевидно, что онъ такъ-же случайно заинтересовался книжкой Бентона, какъ случайно напечатала его статью «Недѣля».

Есть еще въ первомъ номерѣ обновленной ежемѣсячной «Недѣли» рассказъ Г. Н. Успенскаго «Тягота». Но этотъ самый рассказъ былъ уже напечатанъ и затѣмъ перепечатанъ въ третьемъ томѣ сочиненій Успенскаго, вышедшемъ одновременно съ первой книжкой «Недѣли»; только тамъ онъ озаглавленъ «Намятливый». Если не предположить, что «Недѣля» хочетъ перепечатывать у себя всего Успенскаго, то «Тягота» является опять-таки чистою случайностью.

Остальная беллетристика ни мало не выразительна, а по стихотворной части я нашла, между прочимъ, слѣдующее:

О, нашъ патерь тихъ и кротокъ!
Лишь порой, кораллы четокъ
Втиснувъ бѣшено въ ладонь,
Онъ бросаетъ на красотокъ
Взоръ горячій какъ огонь.

Затѣмъ идетъ и дальнѣйшее обличеніе католическаго патера, который, давъ обѣтъ безбрачія и цѣломудрія, на дѣлѣ однако пріятно проводить время и съ «синьорами въ туманѣ кружевъ», и съ «крестьянскими смуглыми женами». Кончается стихотвореніе такъ:

О, нашъ патерь тихъ и кротокъ!
Лишь порой изъ-за рѣшетокъ
Сакристїи золотой
Что-то шепчетъ горячо такъ
Итальянкѣ молодой.

Въ Италїи подобныхъ стихотвореній, должно быть, много пишется, и тамъ они не составляютъ, конечно, продуктовъ чисто случайнаго вдохновенія...

Но въ обновленномъ журналѣ интереснѣе всего именно новинка, въ данномъ случаѣ литературно-критическій отдѣлъ. Есть по этой части въ первой книжкѣ «Недѣли» и руководящая статья «Бесѣды о литературѣ». Авторъ, скрывающійся подъ цифрой 1 (единица), какъ сообщаетъ частью онъ самъ, частью редакция, уже велъ въ «Недѣлѣ» литературныя обзрѣнія пять лѣтъ тому назадъ. Въ его первой, по возобновленіи, бесѣдѣ есть чрезвычайно странные и очень рискованные намеки и недомолвки, которыхъ, однако, я теперь касаться не буду. Я отмѣчу только одну черту. За послѣдніе годы «Недѣля», устами своихъ критиковъ и публицистовъ, проповѣдывала «новое слово». Проповѣдь шла отъ имени «дѣтей», «новаго литературнаго поколѣнія» и была очень задорна по формѣ, хотя очень смирна по

существо. «Дѣти» внезапно объявили войну «отцамъ», изъ которыхъ добрая половина поконится въ могилахъ, а иные хотя и живы, но находятся не удѣлъ. Суть проповѣди состоитъ въ «реабилитациі дѣйствительности»: какова бы она ни была, съ ней надо мириться; художники должны созерцать и воспроизводить явленія жизни безъ всякой ихъ квалификаціи по категоріямъ добра и зла; критика должна созерцать этихъ художниковъ и любоваться красотами ихъ произведеній; публицистика должна опять-таки любоваться «свѣтлыми явленіями», а все «новое литературное поколѣніе» должно быть вполне довольно собою и вѣрить, что все обетонтъ благополучно, ибо маленькія непріятности не мѣшаютъ большимъ удовольствіямъ. А такъ какъ «отцы» не понимали этой здравой философіи, то имъ и была объявлена война, и даже тѣни ихъ вызывались изъ гробовъ для посрамленія, потому что живучи славные покойники и въ истинно молодыхъ сердцахъ доселѣ бьется пульсъ старой жизни. Я былъ увѣренъ, однако, и предсказывалъ въ этихъ-же письмахъ, что «новое слово» «Недѣля» въ непродолжительномъ времени лопнетъ, какъ мыльный пузырь, чтобы уступить мѣсто какому-нибудь новѣйшему курбету,—безъ этого «Недѣля» не можетъ. Въ чемъ состоитъ этотъ новѣйшій курбетъ, пока еще не видно. Какая-то война продолжается или вновь возникаетъ, по уже не отъ имени дѣтей и новаго литературнаго поколѣнія. О законности самодовольства и реабилитации дѣйствительности нѣтъ и помину. Современная беллетристика объявляется крайне слабою, и многимъ «молодымъ талантамъ» предлагается совѣзмъ бросить литературу. Современная критика уличается въ ничтожество, и для своего предшественника, г. Дистерло, главнаго провозвѣстника «новаго слова», г. Единица не дѣлаетъ исключенія. Вся современная русская жизнь для теперешняго критика «Недѣли» «сливается во что-то сѣрое, неопредѣленное и безформенное... люди заняты мелкими заботами о хлѣбѣ насущномъ, о барышахъ, о жалованьѣхъ и пенсіяхъ». Наше время можетъ быть названо «тридцатыми годами-bis»: «дѣлечное время, занятое мелочными заботами текущей минуты, не дающъ поводовъ къ поднятію духа, къ пафосу, къ вдохновенію». Настоящая минута характеризуется «омертвеніемъ общественной мысли, праздною болтовней, пасквилями и паденіемъ изящной литературы»...

Ну, вотъ и слава Богу! Не за то, конечно, слава Богу, что измелчала русская жизнь и переполнилась разнообразною гадостью русская литература, а за то, что однимъ нехорошимъ и неумнымъ «новымъ словомъ» меньше стало (какъ-бы только его не замѣнило новѣйшее!) и «Недѣля» благосклонно согласилась называть черное чернымъ. Можетъ быть, «Недѣля» даже преувеличиваетъ размѣръ и колоритъ «мрачныхъ явленій», какъ недавно (конечно, г. Гайдебуровъ съ тѣхъ поръ не износилъ пары саногъ) преувеличивала размѣръ и колоритъ

явленій «свѣтлыхъ». А впрочемъ, «все образуется», какъ утѣшаетъ себя Облонскій въ романѣ гр. Толстого. Съ теперешней точки зрѣнія «Недѣля» всему даже чрезвычайно легко «образоваться». Почтенный органъ приписываетъ значительную часть нашихъ бѣдъ неумѣию, лѣности, вообще ничтожеству нашей литературной критики. Если отъ такой явственной и простой причины бѣда происходитъ, то и лечение явственно и просто: нужна хорошая критика и, конечно, г. Единица намъ ее предоставитъ. «Недѣля» знаетъ еще средство, тоже очень простое. Въ концѣ-концовъ г. Единица «и отъ литературы, и отъ жизни впереди идетъ очень многого. И это многое можетъ быть сказано въ двухъ строкахъ. *Съ одной стороны* (курсивъ «Недѣли») долженъ появиться человѣкъ, который протянетъ руку. Но и *съ другой стороны*, и въ то же время, долженъ явиться такой-же человѣкъ. Иначе все пойдетъ по-старому». И только. Откровенно признаюсь, я этого не понимаю, но если все дѣло въ двухъ человѣкахъ, такъ дѣло должно быть очень просто.

Я вообще многого не понимаю въ нынѣшней литературѣ, въ чемъ, конечно, очень виноватъ. И прежде всего не понимаю того «дѣтскаго» зуда, который одолеваетъ нѣкоторыхъ нашихъ молодыхъ писателей. Я вспоминаю свои молодые годы. Когда я вступалъ на литературное поприще, я не топоричился противъ «отцовъ» и нашелъ возможнымъ прямо и просто дѣлать свое дѣло вмѣстѣ съ Некрасовымъ, Щедринымъ, Елисеевымъ, людьми лѣтъ на двадцать старше меня. Я не думалъ о новомъ словѣ; просто слово просилось на бумагу, а тамъ пусть уже другіе разбираютъ, новое оно или старое. Я очень хорошо понималъ, что не всѣ «отцы» могутъ быть довольны моимъ словомъ, но извѣстная ихъ группа, и притомъ, смѣю сказать, лучшая, приняла его. Я знаю, что бываетъ иногда и иначе, что поколѣнія «дѣтей» вынуждено бываетъ рѣзко отграничить себя отъ поколѣнія «отцовъ», и думаю, что дѣти нынѣшнихъ «дѣтей» (увы! и они станутъ въ свое время «отцами») почувтятся именно въ такомъ прискорбномъ положеніи. Отчего и не быть «новому слову»,—не на мѣстѣ-же вѣчно стоять,—но, во-первыхъ, новое не значить еще хорошее, во-вторыхъ, новое только тогда прочно, когда коренится въ старомъ, въ-третьихъ, наконецъ, надо-же, чтобы оно въ самомъ дѣлѣ было, это новое слово, а не то, что, какъ «Недѣля», напримѣръ, помахала какимъ-то якобы новымъ флагомъ, да и спрятала его въ карманъ. Но «Недѣля» еще что! Она, по крайней мѣрѣ, ясно изложила свое якобы новое. Нынѣ случается и такъ, что люди изо-всѣхъ силъ тпцатся сказать «новое слово» и, можетъ быть, именно по этому самому ничего путнаго сказать не могутъ, ни новаго, ни стараго, а только хитро подмигиваютъ, да таинственно головою помахиваютъ.

Недавно критикъ «Сѣвернаго Вѣстника», г. А. Вольнскій, сдѣ-

далъ мнѣ честь, занявшись моею писательскою физиономіей въ своихъ «Литературныхъ замѣткахъ». Я чрезвычайно польщенъ тѣми многочисленными любезностями, которыя мнѣ говоритъ г. Волинскій, но тѣмъ не менѣе во всемъ этомъ есть нѣчто столь двуличное, что я охотно отказался-бы росписаться въ подученіи, если-бы дѣло шло только обо мнѣ. Себя я, конечно, оставляю совѣмъ въ сторонѣ. Если устранить разныя двусмысленности г. Волинскаго, то суть его замѣтки сведется къ тому, что литературное поколѣніе, къ которому принадлежу я, отжило свой вѣкъ и должно уступить свое мѣсто гг. Волинскимъ, имѣющимъ сказать «новое слово». Ахъ, Боже мой, да вѣдь мы, кажется, и безъ того уступаемъ,—вольно или невольно, это другой вопросъ. Никто вѣдь изъ насъ не препятствуетъ г. Волинскому излагать свое новое слово. Я, по крайней мѣрѣ, даже не безъ интереса жду этого изложенія, только вотъ никакъ дожидаться не могу. Г. Волинскій поступаетъ чрезвычайно хитроуплетенно. Онъ говоритъ:

«Времена мѣняются. Современная жизнь течетъ подъ инымъ освѣщеніемъ. «Догорѣли огни, облетѣли цвѣты». Силой обстоятельствъ возникъ цѣлый рядъ вопросовъ и запросовъ, на которые нѣтъ отвѣта въ талантливейшихъ произведеніяхъ бывшихъ авторитетовъ. Время обнажило новый уголъ души, открыло новую мозговую линію, которой нужны жизнь, свѣтъ, яркія впечатлѣнія, свѣжія краски. Лучшіе идеалы прежняго остались во всей своей силѣ, по крайней мѣрѣ въ сознаніи честныхъ людей; прибавилась только новая черточка, сложилась только новая душевная складка, которую нельзя игнорировать безнаказанно... Впрочемъ, не будемъ увлекаться въ сторону».

Какъ въ сторону, почтеннѣйшій?! Да вѣдь въ этомъ-то и дѣло все, въ этомъ «обнаженномъ новомъ углѣ души», въ этой «новой мозговой линіи» и какъ вы еще тамъ свою новинку называете, не указывая, однако, въ чемъ она состоитъ. Разъяснивъ намъ эту штуку, вы не только не уклонитесь въ сторону, а напротивъ, приблизитесь къ существу дѣла. Это вы обязаны сдѣлать по отношенію къ своимъ читателямъ, которыхъ приглашаете незнамо куда, незнамо зачѣмъ. Это вы обязаны сдѣлать и по отношенію къ намъ, которымъ вы опять-таки незнамо за что грозите казнью («пельзя игнорировать безнаказанно»). «Догорѣли огни»,—вы говорите. Пожалуйте-же копѣчку на погорѣлое мѣсто, вы, богатый «новымъ словомъ» г. Волинскій! Позвольте намъ, малымъ и прогорѣлымъ, занять хоть послѣднія мѣста въ тѣхъ блестящихъ рядахъ, во главѣ конхъ величественно красуется, потрясая новымъ знаменемъ, г. Волинскій. Это, кажется, не невозможно. Вы находите, что «лучшіе идеалы прежняго остались во всей своей силѣ». Значитъ, потщившись уразумѣть «новую мозговую линію», и мы можемъ на что-нибудь еще пригодиться. Откройте-же свой секретъ, иначе можно подумать, что у васъ его вовсе нѣтъ и что вы просто одолеваете «дѣтскій зудъ»..

Въ другомъ мѣстѣ тѣхъ-же «Литературныхъ замѣтокъ» г. Волинскій, сдѣлавъ выписку изъ одной моей старой статьи (сейчасъ скажу какую), пишетъ, что тутъ есть «строчки, съ которыми почти безсознательно, инстинктивно ведетъ какую-то тихую, робкую борьбу что-то внутри читателя, *современнаго* (курсивъ г. Волинскаго) читателя... Вотъ пунктъ, противъ котораго невольно бунтуетъ наша мысль». Было бы можетъ быть лучше, если-бы г. Волинскій изложилъ свой протестъ отъ своего собственнаго имени, предоставивъ современникамъ за нимъ слѣдовать или не слѣдовать. Но если онъ такъ подчеркивающе говорить отъ лица *современнаго* читателя, то я спрашиваю: кто помазалъ его? кто уполномочилъ? Конечно, человѣкъ, глубоко изучившій все теченія современной жизни, можетъ *иногда* и самъ взять такое полномочіе. Но изъ нѣкоторыхъ статей г. Волинскаго, которыя мнѣ удалось прочесть, я заключаю о чрезвычайно даже рѣдкомъ въ писателѣ незнакомствѣ его съ теченіями русской жизни. Да это видно, впрочемъ, уже изъ того, что онъ *теперь* беретъ говорить отъ лица современнаго читателя. Современный читатель въ нѣсколько мѣсяцевъ расхвоталъ десять тысячъ экземпляровъ сочиненій Гл. Успенскаго. Тотъ-же современный читатель разобралъ по подпискѣ шесть тысячъ экземпляровъ дорогаго изданія сочиненій Щедрина, о которыхъ глашатаи «новаго закоулка сердца» или «новой мозговой линіи» молчатъ, какъ умолчали и о сочиненіяхъ Гл. Успенскаго. Эти тысячи и десятки тысячъ современныхъ читателей навѣрное не уполномочили-бы г. Волинскаго говорить отъ ихъ имени. Есть и еще тысячи, читающіе Толстого. Есть и еще десятки тысячъ, глотающіе иллюстрированныя изданія, и свои современные читатели у «Московскихъ Вѣдомостей» и «Гражданина», и опять-же десятки тысячъ современниковъ у «Новаго Времени», и еще разныя. Но собственныхъ г. Волинскаго современниковъ я не знаю.

Бывшая «Недѣля» тоже представительствовала идеи современныхъ читателей, и я сначала подумалъ, не перекочевало-ли недѣльное «новое слово» въ «Литературныя замѣтки» г. Волинскаго. Но нѣтъ. То новое слово рѣшительно изгоняло публицистику изъ области литературной критики, а г. Волинскій столь-же рѣшительно утверждаетъ: «Публицистическій элементъ не можетъ и не долженъ отсутствовать ни въ какой критической работѣ». Ахъ, какъ трудно разобраться въ этихъ новыхъ мозговыхъ линіяхъ! Одинъ одно, другой другое, а между тѣмъ и одинъ, и другой требуютъ себѣ титуловъ новаго и современнаго, и оба необыкновенно довольны собой...

Но обратимся къ тому пункту, противъ котораго бунтуетъ мысль современнаго, по г. Волинскому, читателя. Это единственное во всей статьѣ и потому очень для насъ драгоценное указаніе на «новую мозговую линію». Г. Волинскій беретъ одну мою старую замѣтку, по поводу похоронъ В. Курочкина, выписываетъ изъ нея нѣсколько полемич-

ческихъ, по адресу нынѣ тоже умершаго Полетики, строкъ, а затѣмъ пишутъ: «Г. Полетика говорить: талантъ есть даръ Божій; г. Михайловскій говорить: одно дѣло талантъ, другое — даръ Божій. Кто правъ и кто ошибается? Покойный Полетика говорилъ сущую правду». Можетъ быть, но г. Волинскій утверждаетъ сущую неправду, и такъ какъ онъ имѣлъ неосторожность тутъ-же привести мои подлинныя слова, то всякій можетъ въ этомъ убѣдиться. Вотъ эти подлинныя слова: «Талантъ отчасти опредѣляетъ родъ дѣятельности человѣка, заставляетъ одного говорить рѣчи, другого пѣть пѣсни, третьяго писать картины. Но не талантомъ опредѣляется *содержаніе* рѣчей, пѣсенъ и картинъ: не онъ толкаетъ людей къ тому или другому идеалу, не онъ ведетъ ихъ по жизненнымъ путямъ, усыяннымъ то терніемъ, то розами безъ шиповъ. И если-бы къ моей гортани былъ привѣшенъ языкъ г. Полетики, я говорилъ-бы на могилѣ Курочкина не о талантѣ покойника, а о той *нравственной искрѣ Божіей*, которая дѣйствительно толкала его на тернистый путь жизни изо дня въ день и за которую онъ дѣйствительно заплатилъ скорбями». И т. д. Вы видите, что г. Волинскому угодно было вмѣсто «нравственной искры Божіей» подставить «даръ Божій» и затѣмъ оперировать уже надъ этимъ не моимъ, а навязаннымъ мнѣ выраженіемъ. Такая система постройки возраженій очень, конечно, удобна, но я не поздравляю тѣхъ, кто къ ней прибѣгаетъ. Далѣе г. Волинскій говорить уже объ «искрѣ Божіей», но вездѣ тщательно вычеркиваетъ эпитетъ «нравственная», тогда какъ въ немъ именно и дѣло. «Искра Божія» не есть какой-нибудь опредѣленный научный терминъ, смыслъ котораго всегда себѣ равенъ. Въ повѣсти г. Потапенка «Святое искусство» рецензентъ Кульчинъ строитъ цѣлое «журнальное обзорѣніе», и очень неглупое, на опредѣленіи разницы между «искрой Божіей» и талантомъ, но это опредѣленіе не имѣетъ ничего общаго съ мыслью, выраженною мною въ цитированной г. Волинскимъ замѣткѣ о похоронахъ Курочкина. Г. Волинскій предлагаетъ опять третье значеніе «искры Божіей», отождествляя ее съ талантомъ. Онъ въ своемъ правѣ, какъ въ своемъ правѣ и Кульчинъ, и я. Но г. Волинскій не вправѣ судить меня судомъ, которому я не подсуденъ. Если я оговорилъ, что я разумѣю подъ искрой Божіей, а я оговорилъ эпитетомъ «нравственная», такъ нельзя-же мнѣ подсовывать то, что разумѣетъ подъ этимъ словомъ г. Волинскій. Это элементарное правило критики. Нарушеніе его можетъ повести очень далеко. Можно даже себѣ представить, напримѣръ, такую критику, ну, хоть романа г. Гончарова «Обломовъ»: «Наша новая мозговая линія инстинктивно бунтуетъ противъ того освѣщенія, которое авторъ придаетъ характеру героя. Мы знаемъ г. Обломова за чрезвычайно дѣятельнаго офицера: мы еще очень недавно пили съ нимъ чай, причемъ онъ былъ не въ халатѣ, а въ присвоенной его полку уланской формѣ. Мы удивляемся, наконецъ,

что авторъ, превосходный талантъ котораго находилъ всегда въ *старыхъ* (но не въ *новыхъ*, не въ *современныхъ*) переулкахъ нашего сердца живѣйшій откликъ, называетъ г. Обломова Ильей Ильичемъ, тогда какъ онъ Иванъ Ивановичъ». Г. Гончаровъ могъ-бы на это возразить критику только одно: вашъ знакомый Обломовъ можетъ быть дѣйствительно очень дѣятельный уланскій офицеръ и зовутъ его Иванъ Ивановичъ, но я не про него разсказываю, а про другого, который вамъ незнакомъ.

На этомъ г. Гончаровъ и кончилъ-бы. Но я этимъ кончить не могу, потому что чрезвычайно заинтересованъ современниками г. Волынского и ихъ новою мозговою линіей.

Если читатель даже не особенно внимательно пробѣжитъ сдѣланную г. Волынскимъ выписку изъ моей замѣтки по поводу похоропъ Курочкина, то увидитъ, что тамъ изложена очень простая мысль: не талантомъ опредѣляется *содержаніе* литературнаго произведенія, какъ и вообще всякаго продукта человѣческой дѣятельности; талантъ можетъ быть направленъ и на доброе, и на безразличное, и на злое дѣло. Современники г. Волынского «бунтуютъ» противъ этого элементарнаго тезиса, они не понимаютъ его. Они не знаютъ разницы между талантливимъ адвокатомъ, успѣшно обѣляющимъ завѣдомо неправое дѣло, и другимъ талантливимъ адвокатомъ, защищающимъ правое дѣло. А если такъ, то гдѣ-же новая мозговая линія? Напротивъ, мнѣ кажется, нѣсколько старыхъ мозговыхъ линій исчезли, стерлись...

Эхъ, господа, господа! Литература — огромное и страшно отвѣтственное дѣло. Нѣтъ вещи, требующей болѣе осторожнаго къ себѣ отношенія, чѣмъ печатное слово. Возьмите гр. Л. Толстого. Это — краса и гордость русской литературы, алмазъ многоцѣнный. А посмотрите на результаты его неосторожнаго обращенія со словомъ. Давно-ли онъ доказывалъ, что единственное назначеніе женщины — рожать дѣтей, а теперь доказываетъ, что единственное назначеніе женщины — быть дѣвственницей. Ему ничего: подумалъ, потомъ передумалъ, а вѣдь къ его словамъ «современный читатель» прислушивается, прислушивается иногда даже до одуренія. Недавно въ «Смоленскомъ Вѣстникѣ» была описана встрѣча съ «толстовцами» и приведенъ, между прочимъ, слѣдующій разговоръ:

«— Судьба вашей колоніи мнѣ кажется незавидной; кто будетъ продолжать ваше дѣло? Къ продолженію рода вы, кажется, не расположены.

— Цѣль человѣческой жизни — не продолженіе рода, а жизнь въ Богѣ.

— Да вѣдь брака вы не отрицаете?

— Нѣтъ, не отрицаю.

— Но если у васъ будутъ дѣти, — конечно, не бросите-же вы ихъ на произволъ судьбы и займетесь ихъ воспитаніемъ?

— Дѣти — людч, ближніе мои; любя ближняго, не можешь не дать ему слова жизни.

— Это такъ. Но поймутъ-ли дѣти ваши новое ученіе, если не будутъ такъ-же развиты, какъ и вы?

— Разумнѣе жизни достуно каждому человѣку. Если человѣкъ возлюбить ближняго своего, какъ самого себя, то все остальное ему приложится.

— Возьмемъ примѣръ. Вы—отецъ семейства, вамъ неизвѣстны результаты человѣческой мысли, вы не обладаете знаніемъ въ лучшемъ и широкѣмъ смыслѣ, но вы любите ближняго своего, любите и дѣтей своихъ; не можете-ли здѣсь случиться такого казуса: не смотря на то, что любите своихъ дѣтей, вы даете имъ воспитаніе вредное ихъ физическому и нравственному здоровью, потому что не знаете, какъ нужно воспитывать дѣтей?

— Этого не можетъ быть: кто любитъ ближняго своего, тотъ не дастъ ему, вмѣсто хлѣба, камень.

— Если вы найдете лишнимъ объяснять дѣтямъ, что такое, напримѣръ, громъ и молнія, то они дадутъ этимъ явленіямъ свои объясненія; а ихъ объясненія могутъ постепенно привести и къ поклоненію Перуну.

— Только человѣкъ, возлюбившій ближняго своего, можетъ исполнить законъ жизни; вся суть въ этомъ, а не въ томъ, какъ или отчего громъ и молнія».

Когда я прочиталъ эти поразительныя строки, мнѣ стало жутко,— жутко за этихъ «толстовцевъ», жутко за дѣтей ихъ, жутко, наконецъ, за самого гр. Толстого: за толстовцевъ, вытравившихъ у себя всё «мозговья линія», кромѣ одной, хотя вѣроятно виолнѣ «современной»; за дѣтей ихъ, еще въ утробѣ матери сознательно обреченныхъ своими родителями на невѣжество и кабалу, потому что они, конечно, будутъ въ кабалѣ у тѣхъ, кто знаетъ «какъ и отчего громъ и молнія»; за гр. Толстого, слово котораго отразится на судьбахъ этихъ несчастныхъ дѣтей...

«Недѣля», г. Волынскій и еще какіе есть, это, конечно, не гр. Толстому въ версту; но и на нихъ лежитъ отвѣтственность, пропорціональная ихъ росту. Вѣдь и проповѣдь реабилитаціи дѣйствительности, свѣтлыхъ явленій и безпечальнаго созерцанія могла кое-кого соблазнить. И теперь, когда «Недѣля» вывернула всю свою проповѣдь на-изнанку, я, пародируя г. Фета, невольно думаю:

И тебѣ не стыдно?

И тебѣ не страшно?

Не въ томъ дѣло, что «Недѣля» измѣнила теперь свои взгляды и сожгла то, чему поклонялась, поклонилась тому, что сжигала: глупости и слѣдуетъ сжигать, и чѣмъ скорѣе, тѣмъ лучше. А такъ какъ авторитетъ «Недѣли» немножко поменьше авторитета гр. Толстого, то и драма этого переворота, надо думать, не особенно тяжело отразится на читателяхъ. Но велика-ли, мала-ли принятая каждымъ изъ насъ на себя тягота, а надо ее нести добросовѣстно. Надломъ идеаловъ и вѣрованій есть обыкновенное въ исторіи явленіе. Но онъ не каждыя десять минутъ происходитъ и даже не каждыя десять лѣтъ, какъ у насъ почему-то думаютъ. Это процессъ Божьяго и священныя и трудныя, и имен-

но поэтому здѣсь вполнѣ неумѣстенъ дѣтскій зудъ, легкомысленная жажда сказать новое слово, хотя-бы за душой ровно ничего не было. Говорите просто свое слово, и если оно новое, такъ не безпокойтесь,— исторія его новымъ и назоветъ.

У г. Волынскаго, онъ говоритъ, есть тоже свои «современные читатели». Можетъ быть. Но въ такомъ случаѣ ему особенно надлежитъ помнить изреченіе Гоголя (старая мозговая линія!): со словомъ надо обращаться честно. Пока г. Волынскій еще не сказалъ ничего удобопонятнаго, потому что всѣ эти вновь открытыя мозговья линіи и вновь обнаженные углы души, все это только безсодержательныя слова и вдобавокъ неуклюжія. Но это-то и не хорошо. Говорите старое, говорите новое, но говорите такъ, чтобы васъ хоть понять можно было и чтобы видно было, что вы сами понимаете то, что говорите. А то «новая мозговая линія!» Шутка сказать...

О живой старинѣ.

Этнографическое отдѣленіе географическаго общества предприняло новое періодическое изданіе по своей спеціальности. Новый журналъ носитъ красивое и характерное названіе: «Живая Старина». Первый выпускъ его уже вышелъ, второй былъ обѣщанъ къ концу ноября или къ началу декабря, но что-то сильно запоздалъ, а всѣхъ ихъ обѣщано четыре въ академическій 1890—91 годъ.

Я не знаю, какъ смотреть на содержаніе перваго выпуска «Живой Старины» специалисты. Надо замѣтить, что «Записки Императорскаго русскаго географическаго общества по отдѣленію этнографіи»—идутъ и будутъ идти сами собой, а «Живая Старина» желаетъ помѣщать «преимущественно небольшія статьи и записки, доставляемыя или давно уже доставленныя въ географическое общество, а такъ же извлеченія изъ хранящихся въ ученомъ его архивѣ матеріаловъ». Кромѣ того, редакція заявляетъ, что въ первомъ выпускѣ она «не успѣла отдѣлать критики, библіографіи и смѣси обставить такъ, какъ-бы желала и какъ надѣется повести ихъ въ слѣдующихъ книжкахъ». Все это, вмѣстѣ взятое, заставляеть думать, что по крайней мѣрѣ первый выпускъ «Живой Старины» — не особенно удовлетворитъ специалистовъ. Ну, а на насъ, профановъ, ученый журналъ имѣеть полное право махнуть рукою.

Читаемъ мы, напримѣръ, очеркъ г. Бондаренка: «Повѣрья крестьянъ Тамбовской губерніи»—и узнаемъ, между прочимъ, слѣдующее: «Кукушка считается оракуломъ: она можетъ предсказать, сколько кому лѣтъ жить. Желаящій узнать это нарочно спрашиваетъ въ лѣсу: «кукушка, кукушка, сколько мнѣ лѣтъ жить?» Сколько разъ она прокукуетъ, столько лѣтъ остается житья на бѣломъ свѣтѣ». Изъ той-же статьи узнаемъ, что въ Тамбовской губ. покровителемъ коровъ считается св. Власій, лошадей—Фролъ и Іавръ, пчелъ—св. Зосима и Сав-

ватій. Не берусь судить о цѣнности этихъ сообщеній съ точки зрѣнiя ученыхъ специалистовъ, но намъ, профанамъ, и предсказывающая кулушка и проч., были вполне извѣстны до 1890 года, когда мы прочитали объ этомъ на страницахъ ученаго журнала; намъ было извѣстно даже, что повѣрiя эти существуютъ не въ одной Тамбовской губернiи. Читаемъ далѣе замѣтку г. А. Соболевскаго: «Къ исторiи народныхъ праздниковъ въ Великой Руси». Замѣтка напечатана въ отдѣлѣ «Исслѣдованiй, наблюденiй, разсужденiй». Между тѣмъ, подъ длиннымъ заглавiемъ замѣтки, подписанной именемъ г. Соболевскаго, скрывается коротенькая перепечатка отрывка изъ челобитной XVII вѣка, каковая челобитная напечатана въ книгѣ г. Каптерева «Патрiархъ Никонъ и его противники». Можетъ быть, оно такъ и слѣдуетъ въ ученomъ журналѣ, но я, собственно, не вижу надобности перепечатывать въ сыромъ видѣ въ 1890 г. то, что было напечатано въ общедоступной книгѣ въ 1887 г. Вотъ начало довольно, повидному, большого описанiя Якутской области, которое, однако, ничего новаго не прибавляетъ къ нашимъ свѣдѣнiямъ объ этомъ далекомъ неурюжномъ уголкѣ нашего обширнаго отечества. Вотъ замѣтка объ именахъ «Груша» и «Дуня». Авторъ полагаетъ, что имена эти не всегда были уменьшительными отъ Аграфены и Авдотьи, а представляли нѣкогда самостоятельныя славянскiя имена...

Я отнюдь не хочу сказать, что въ «Живой Старинѣ» нѣтъ ничего, кромѣ подобныхъ сообщенiй. Но, въ общемъ,—это все-таки безпорядочный складъ этнографическаго (и не всегда этнографическаго) сырья, въ которомъ болѣе или менѣе значительное безъ всякаго плана или системы перемѣшано съ неизмѣющимъ ровно никакого значенiя. Случайность состава перваго выпуска такова, что по отдѣлу славянской этнографiи въ немъ имѣются только старья (1840 г.) путевыя письма и замѣтки Срезневскаго о сербо-лужичанахъ. Вышеупомянутая перепечатка отрывка изъ челобитной XVII вѣка помѣщена въ отдѣлѣ «Исслѣдованiй, наблюденiй и разсужденiй», а совершенно аналогичная по содержанiю перепечатка синодскаго постановленiя XVIII вѣка отнесена въ отдѣлъ «Памятниковъ языка и народнои словесности». Естественно было-бы искать объяснительнаго ключа ко всему этому во вступительной статьѣ редактора, г. В. Ламанскаго. Но, что касается собственно программы журнала, то вступительная статья даетъ лишь самыя общiя обѣщанiя вродѣ научной трезвости и т. п. Зато статья много толкуетъ о предметахъ, имѣющихъ весьма отдаленное отношенiе къ цѣлямъ «Живой Старины».

Въ декабрѣ 1889 г. четыре члена географическаго общества внесли, черезъ солидарнаго съ ними предѣдателя этнографическаго отдѣленiя, г. Ламанскаго, предложенiе объ изданiи «Живой Старины». Въ запискѣ этой констатировать, между прочимъ, печальный фактъ недостатка у

географическаго общества средствъ на предположенное изданіе, вслѣдствіе чего оказалась необходимою частная подписка. Къ первому выпуску «Живой Старины» приложенъ списокъ подписчиковъ, изъ котораго видно, что нужная, по опредѣленію четырехъ авторовъ записки, на изданіе сумма покрыта даже съ нѣкоторымъ избыткомъ. Но заботы о средствахъ продолжаютъ волновать редакцію, внушая ей мысли и слова, которыхъ, откровенно говоря, лучше-бы не слышать при возникновеніи научнаго предпріятія. Уже въ запискѣ четырехъ членовъ географическаго общества прозвучала мимоходомъ слѣдующая не совсѣмъ пріятная нота: «У насъ въ Россіи уже довольно много жертвуютъ на цѣли благотворительныя, на школы, на университетскія стипендіи, — на послѣднія въ нѣкоторыхъ университетахъ, напр. въ Петербургѣ. Москвѣ, можетъ быть, даже больше, чѣмъ пужно», а, дескать, на ученныя изданія жертвуютъ мало. Во вступительной статьѣ г. Ламанскаго эта непріятная нота разрастается до громкаго и обширнаго разговора о непроизводительности расходовъ на общіе литературно-научно-политическіе журналы энциклопедическаго характера и о необходимости направить эту трату на изданія спеціальныя, въ частности — на «Живую Старину». Г. Ламанскимъ «всегда овладѣваетъ грустное чувство, когда онъ читаетъ объявленіе о какомъ-нибудь новомъ ежемѣсячномъ литературно-научномъ журналѣ съ подписною платою отъ 10 до 12 руб. и болѣе, или о переходѣ стараго прогорѣвшаго журнала съ его долгами къ новому издателю». Г. Ламанскому кажется, что «современныя нужды русской литературы и образованности прежде всего требуютъ освобожденія значительной части капитала, поглощаемаго теперь издаваемъ ежемѣсячныхъ литературно-научныхъ журналовъ, на другія, болѣе нужныя и желательныя изданія». Какъ хотите, а это не хорошо звучитъ, какимъ-то ужъ слишкомъ откровеннымъ духомъ конкуренціи, едва-ли приличествующимъ научному изданію, непригляднымъ и, въ концѣ концовъ, осмѣливаюсь думать, неразумнымъ. Давно и справедливо сказано: «Дай Богъ побольше журналовъ, плодятъ читателей они», въ томъ числѣ и читателей спеціальныхъ журналовъ, если, разумѣется, журналы вообще, и спеціальныя въ особенности умѣютъ пріохотить публику къ чтенію.

Г. Ламанскій не совершенно отрицаетъ заслуги нашихъ такъ называемыхъ «толстыхъ журналовъ» въ прошломъ. Главнымъ образомъ, впрочемъ, онъ видитъ эти заслуги въ томъ, что почти всѣ лучшія беллетристическія и поэтическія произведенія за послѣднія пятьдесятъ лѣтъ появлялись первоначально въ журналахъ. Но здѣсь-же, по мнѣнію г. Ламанскаго, и Ахиллесова пята журналистики. Такъ какъ, разсуждаетъ почтенный славистъ, разбросанныя по журналамъ произведенія нашихъ любимыхъ беллетристовъ, равно какъ и выдающіяся статьи по части критики, науки, философіи вошли впоследствии въ

собрания сочиненій ихъ авторовъ и такъ какъ сочиненія эти имѣются теперь во всѣхъ бібліотекахъ, то старые журналы представляютъ собою никому ненужный хламъ, за безцѣноку сбываемый букинистамъ. Ну, такъ что-же? можно-бы было спросить г. Ламанскаго. Въ чемъ тутъ аргументъ противъ научно-литературныхъ журналовъ и за изданія спеціальныя, если ужъ нужно противопоставлять эти два нисколько другъ другу не мѣшающіе типа изданій? Во-первыхъ, надо надѣяться, что исторія русской литературы не прекратила своего теченія, и не видно, почему-бы нашимъ будущимъ любимымъ писателямъ не появляться предварительно въ журналахъ. Можетъ быть, это и совсѣмъ не нужно, но если г. Ламанскій ставитъ журналамъ въ заслугу то обстоятельство, что они знакомили публику съ начинающими дарованіями и завосбывали имъ извѣстность, то можно ожидать такой-же заслуги и отъ настоящихъ и будущихъ журналовъ. Во-вторыхъ, печальна, конечно, участь старыхъ журналовъ, сбываемыхъ букинистамъ, но вѣдь эта участь грозитъ и спеціальнымъ изданіямъ, и даже въ гораздо большей степени. Вообще удѣлъ всего земного смерть, и тутъ уже намъ съ г. Ламанскимъ ничего не подѣлать. Недалеко ходить: г. Ламанскій говоритъ, что «прекрасный во многихъ отношеніяхъ» географическій словарь г. Семенова и этнографическая карта Россіи Келлена уже устарѣли и требуютъ разныхъ поправокъ и обширныхъ дополненій... Когда эти почтенные труды явятся въ новомъ, исправленномъ и дополненномъ видѣ, то старыя изданія отправятся, вѣроятно, къ букинистамъ, но изъ этого ровню ничего не слѣдуетъ, потому что оба труда сдѣлали свое образовательное дѣло.

Вообще, логика г. Ламанскаго отличается нѣкоторыми странностями. Такъ онъ жалуется, что статьи «извѣстныхъ ученыхъ», то-есть специалистовъ, плохо читаются въ литературно-политическихъ журналахъ; «въ иныхъ мѣстностяхъ онѣ такъ и называются нечитательными». Я думаю, что это не совсѣмъ вѣрно, но если г. Ламанскій правъ, то указанный имъ фактъ, конечно, очень печаленъ. Однако, поставить его на счетъ литературно-политическимъ журналамъ довольно, кажется, мудро, и если выдѣлить «нечитательныя» статьи въ особые спеціальныя сборники, то собственно отъ этого перемѣщенія онѣ едва-ли станутъ «читательными».

Г. Ламанскій утверждаетъ, что наши литературно-научно-политическіе журналы, «обыкновенно наскоро составленные, поглощаютъ слишкомъ много денегъ, труда и времени у капиталистовъ-предприимчивелей и у публики, и труда и времени у многихъ иначе полезныхъ литературныхъ работниковъ». Я недоумѣваю—чему удивляться въ этомъ тезисѣ, незнакомству-ли г. Ламанскаго съ дѣломъ, о которомъ онъ говоритъ, или нелогичности построенія. Капиталисты, какъ капиталисты, то-есть если они вмѣстѣ съ тѣмъ не редакторы и не сотрудники жур-

нала, времени и труда на это не тратить, а если это дѣло поглощаетъ даже слишкомъ много времени и труда «полезныхъ литературныхъ работниковъ», то, значить, книжки журналовъ не такъ ужъ наскоро составляются. Промахи и ошибки возможны во всякомъ дѣлѣ, но изъ этого только и слѣдуетъ, что надо стараться ихъ избѣгать. Въдъ вотъ и первый выпускъ «Живой Старины» составленъ, по собственному признанію г. Ламанскаго, не вполне удовлетворительно, хотя для приговора къ нему времени было больше, чѣмъ достаточно. Въ самой вступительной статьѣ г. Ламанскаго имѣются не только странныя разсужденія (это, пожалуй, какъ кому покажется), а и невѣрныя фактическія показанія. Такъ, г. Ламанскій говоритъ, между прочимъ: «Въ Тиролѣ («Ober-und Unter-Ammergau») ежегодно даваемыя представленія религіознаго содержанія, съ участіемъ крестьянъ, приносятся въ нынѣшніе годы свыше 300,000 марокъ валового и свыше 150,000 м. чистаго дохода». Сколько мнѣ извѣстно, въ Унтеръ-Аммергау никакихъ представлений религіознаго содержанія не бываетъ; и Унтеръ и Оберъ-Аммергау находятся не въ Тиролѣ, а въ Баваріи; знаменитыя Оберъ-Аммергаускія Passions Spiele происходятъ не ежегодно, а разъ въ десять лѣтъ (послѣднія происходили въ истекшемъ 1890 г.). Г. Ламанскій ошибся, вѣроятно, отъ поспѣшности. Конечно, желательно, чтобы такихъ ошибокъ въ специально этнографическомъ изданіи не было, но изъ этого еще не можетъ произтечь пожеланіе, чтобы самой «Живой Старины» или другихъ подобныхъ изданій совсѣмъ не было.

Поспѣшность г. Ламанскаго при составленіи перваго выпуска «Живой Старины» была столь велика, что онъ, очевидно, не успѣлъ даже посоветоваться съ А. Н. Пыпинымъ, имя котораго значится въ числѣ принимающихъ «ближайшее участіе въ редакціи» новаго періодическаго этнографическаго изданія. А между тѣмъ совѣты г. Пыпина были-бы крайне полезны г. Ламанскому. Г. Пыпинъ есть извѣстный ученый и вмѣстѣ съ тѣмъ онъ принималъ и принимаетъ близкое участіе въ такихъ распространенныхъ энциклопедическихъ журналахъ, какъ «Современникъ» и «Вѣстникъ Европы». Уже самый этотъ фактъ совмѣстительства ученой специальности съ дѣятельнымъ участіемъ въ общей журналистикѣ поучителенъ для г. Ламанскаго. А если-бы почтенный редакторъ «Живой Старины», прежде чѣмъ печатать свою вступительную статью, подвергъ ее просмотру г. Пыпина, то въ ней навѣрное не было-бы многихъ изъ тѣхъ странностей, которыя отнюдь не способствуютъ ея украшенію. Г. Ламанскій даетъ журналистамъ разные совѣты и указанія, которыхъ, однако, ни одинъ сколько-нибудь опытный журналистъ не приметъ не только къ исполненію, а и къ свѣдѣнію. Объ нихъ не стоило-бы даже упоминать, если-бы не одна подробность, часто всплывающая наверхъ, когда заходитъ рѣчь о русской журналистикѣ. Говорить, что въ Европѣ нѣтъ такихъ руководящихъ энци

клопедическихъ журналовъ, какіе играли столь важную роль въ исторіи нашего просвѣщенія, и что поэтому и у насъ они должны съ теченіемъ времени исчезнуть. Г. Ламанскій полагаетъ, что время для этого уже наступило. Неможно можетъ быть странно слышать именно отъ г. Ламанскаго это требованіе, чтобы мы скорѣе отказались отъ «самобытной» черты и усвоили себѣ европейскій обликъ. Да и вообще ссылка на Европу не имѣетъ въ данномъ случаѣ никакого значенія: пусть-бы у нихъ на этотъ счетъ по своему, а у насъ по своему. Но самая ссылка на Европу крайне поверхностна. Г. Ламанскій, рекомендуя нашимъ энциклопедическимъ журналамъ, если не совсѣмъ исчезнуть, то по крайней мѣрѣ, сократиться въ числѣ и въ объемѣ, указываетъ на то, что европейскіе журналы гораздо тоньше нашихъ. Это характерно для г. Ламанскаго. Беру «Revue des deux mondes», «Nouvelle Revue», «Deutsche Rundschau» и вижу, что книжки этихъ журналовъ дѣйствительно гораздо тоньше «Вѣстника Европы» или «Русской Мысли». Но г. Ламанскій упустилъ изъ виду, что означенные иностранные журналы выходятъ по два раза въ мѣсяцъ, а наши по одному, такъ что въ мѣсяцъ иностранные журналы даютъ своимъ читателямъ не только не меньше, а скорѣе больше матеріала. Повторяю, эта мелочь характерна для той поверхностной легкости, съ которою почтенный редакторъ «Живой Старины» судить и рядить о желательномъ будущемъ русской журналистики. Но суть дѣла, конечно, не въ подобныхъ мелочахъ. Европейскіе энциклопедическіе журналы, дѣйствительно, не имѣютъ того руковолящаго значенія, какое имѣли и имѣютъ или могутъ имѣть наши «толстые» ежемѣсячники. Но это зависитъ отъ разницы въ условіяхъ нашей и европейской жизни, и пока эти условія остаются безъ измѣненій, нельзя ожидать, чтобы измѣнился ихъ прямой продуктъ. Не говоря о колоссальномъ развитіи книжнаго и газетнаго дѣла въ Европѣ, не говоря о томъ, что тамъ могутъ безпрепятственно появляться въ огромномъ количествѣ брошюры въ размѣрѣ нашей средней журнальной статьи,—европейская мысль имѣетъ и кромѣ печати разные пути для своей формировки.

У себя въ кабинетѣ, въ полчасовой бесѣдѣ за стаканомъ чаю, г. Пыпинъ растолковалъ-бы все это г. Ламанскому гораздо лучше, чѣмъ это могу сдѣлать я. А главное, г. Пыпинъ разъяснилъ-бы ему неприглядность его предпринимательскихъ пріемовъ. Онъ сказалъ-бы ему примѣрно слѣдующее:

«Намъ, людямъ науки, надлежитъ бороться съ тьмой невѣжества, а не съ тѣми, кто, подобно намъ, хотя и нѣсколько иными путями, жаждетъ вносить свѣтъ въ эту тьму. Безспорно, что въ нашихъ такъ называемыхъ толстыхъ журналахъ не все обстоитъ вполне благополучно, но вѣдь и специальная наша литература не безупречна. Будемъ стараться, чтобы она стала на приличествующую ей высоту и завое-

вала себѣ читателей. Но высота эта, повѣрьте, не достигнется забываніемъ покупателей: у насъ, дескать, товаръ лучше, къ намъ пожалуйте! Это не подъемъ науки на высоту, а сверженіе ея съ высоты, и злѣйшій врагъ науки не подказалъ-бы вамъ мысли, болѣе печальной, чѣмъ этотъ гостинодворскій пріемъ. И потомъ, Владиміръ Ивановичъ (я все предполагаю, что съ г. Ламанскимъ говоритъ г. Пыпинъ у себя въ кабинетѣ), вы поступаете просто неразсчетливо. Во-первыхъ, васъ никто не послушаетея, и не только потому, что вы плохо аргументируете, а и потому еще, что въ публикѣ, очевидно, есть настоящая потребность въ толстыхъ журналахъ, хотя, можетъ быть, и дурно удовлетворяемая. Это разъ. А во-вторыхъ, толстые журналы намъ не конкуренты, а пособники. Вотъ вы говорили, что наши статьи называютъ «нечитабельными». Такъ вѣдь въ энциклопедическомъ-то журналѣ, среди разнаго другого матеріала, возбуждающаго и удовлетворяющаго любознательность публики, ихъ все-таки можетъ быть многіе прочтутъ, а изданія спеціальныя, сами знаете, идутъ совсѣмъ плохо. Да и помню нашего участія, сами по себѣ, толстые журналы готовятъ намъ читателей и сотрудниковъ. Бойкій народъ попадаетея между этими журналистами, бойкій и талантливый, умѣющій заинтересовать, увлечь читателя. Въ объявленіи о подпискѣ на «Живую Старину» говорите о сравнительно новыхъ, а послѣднее время объявившихся членахъ-сотрудникахъ географическаго общества. Указываются цѣлыя группы ихъ: «значительно возросло число крестьянъ въ рядахъ членовъ-сотрудниковъ общества. Рядомъ съ этимъ замѣчается и другое отрадное явленіе. Съ возвышеніемъ и распространеніемъ женскаго образованія стали являться все чаще русскія образованныя женщины, съ любовью изучающія этнографію... Наконецъ, усиленіе въ учащейся, особенно въ высшихъ заведеніяхъ, молодежи, любви къ пароду, стремленія къ сближенію съ нимъ и къ живому его изученію сулятъ и, несомнѣнно, принесутъ въ ближайшемъ будущемъ много добра русской литературѣ по народовѣдѣнію». Все это очень вѣрно, по какъ вы думаете, кто больше всего способствовалъ возникновенію и упроченію этихъ благопріятныхъ для науки теченій? Толстые журналы. И не будь ихъ, мы съ вами еще долго сидѣли-бы какъ раки на мели. По вашему разсчету, Россія истратила въ послѣднія пятьдесятъ лѣтъ на ежемѣсячные энциклопедическіе журналы «никакъ не менѣе 6—8 милліоновъ рублей», каковой «капиталъ слѣшкомъ несоразмѣренъ съ принесенною ими пользою русской литературѣ и образованности». Принимая въ соображеніе траты Россіи вообще за пятьдесятъ лѣтъ, цифра 6—8 милліоновъ окажется вовсе не страшною, а пользу, принесенную журналами не только русской литературѣ и образованности, а русской жизни вообще, цифрами не выразить. Припомните гейнсовское сравненіе поэта съ виноградной лозой: изъ винограда надавили вина, и тѣ-же учить веселія и

грустные мысли, возникающія въ головахъ, въ которыхъ это вино теперь бродить. Такъ-же и съ журналистикой. Дѣло отнюдь не только въ тѣхъ произведеніяхъ любимыхъ писателей, которыя перешли изъ журналовъ въ собранія сочиненій и красуются теперь на библиотечныхъ полкахъ самостоятельно. Вы знаете,—дорого яичко въ Христовъ день, и эти самыя произведенія, появляясь впервые въ журналѣ и отвѣчая на запросы данной минуты, вызываютъ совѣтъ не тѣ эффекты, что въ собраніяхъ сочиненій. Одно дѣло собраніе сочиненій, напримѣръ, Щедрина и другое дѣло тѣ-же статьи того-же Щедрина въ журналѣ, гдѣ онѣ вызывали въ душѣ читателя искры совѣсти и чести по горячимъ слѣдамъ какого-нибудь общественнаго явленія. Не считать этихъ искръ, не учесть ихъ доли въ ходѣ развитія всей русской жизни. Нельзя отнестись къ живому дѣлу съ архивной точки зрѣнія: нельзя, по выраженію, кажется, очень уважаемаго вами поэта, все, чего «ни взвѣсить, ни смѣрять» то и «похерить». Бросьте-же свою затѣю, почтеннѣйшій Владиміръ Ивановичъ, и напишите другую вступительную статью, безъ этого неосмотрительнаго и ничѣмъ не вызываемаго манифеста объ объявленіи войны съ толстыми журналами. Оно-же и по отношенію ко мнѣ какъ будто не совѣтъ прилично: числюсь я въ составѣ редакціи «Живой Старины», а вѣдь я старый журналистъ и, какъ вамъ извѣстно, посейчасъ принимаю дѣятельное участіе въ толстомъ журналѣ, который только что отпраздновалъ свой двадцатипятилѣтній юбилей. Неужто-же я всѣ эти двадцать пять лѣтъ и раньше, въ «Современникѣ», около пустаго и ненужнаго дѣла околичивался? Оставьте эту незнакомую вамъ матерію и давайте-ка лучше потщательнѣе составлять книжки «Живой Старины». А то правдо не хорошо: редакторъ—извѣстный славистъ, а для перваго выпуска не нашлось по славянской этнографіи ничего, кромѣ старыхъ путевыхъ замѣтокъ Срезневскаго. Оишь-же этотъ Оберъ-Амергау...

Такъ сказалъ-бы г. Ламанскому г. Пышинъ, въ качествѣ, съ одной стороны, извѣстнаго ученаго, а съ другой—опытнаго журналиста.

Г. Ламанскому не нравится и форма, и общій характеръ нашихъ энциклопедическихъ журналовъ. Что касается формы, то какъ-бы ни былъ краснорѣчивъ и убѣдительно почтенный редакторъ «Живой Старины», какъ-бы ни были блестящи его проекты реформы,—эти проекты, я увѣренъ, останутся втунѣ. Форма толстаго ежемѣсячнаго журнала слишкомъ вошла въ наши привычки. Другое дѣло характеръ журналовъ. «У насъ въ литературѣ,—говоритъ г. Ламанскій,—къ сожалѣнію, давно принято обращать вниманіе, при оцѣнкѣ общественныхъ явленій и дѣятелей, не столько на ихъ характеръ, способности и знанія, сколько на такъ называемое ихъ направленіе». Конструкція этой фразы не совѣтъ удачна и свидѣтельствуетъ все о той-же прискорбной поснѣжности, съ которою писалъ г. Ламанскій. Оцѣнивать собственно обще-

ственные явления по ихъ способностямъ и знаніямъ нельзя, потому что имъ таковыхъ и не полагается. Если-же предположить, что въ приведенной фразѣ атрибуты способностей и знаній относятся лишь къ «дѣятелямъ», а на долю «общественныхъ явленій» остается атрибутъ «характера», то въѣдъ это, кажется, только и можетъ значить что «направленіе». Въ чемъ, въ самомъ дѣлѣ, можетъ состоять характеръ общественнаго явленія, если не въ направленіи его къ добру или худу съ извѣстной точки зрѣнія? Я, впрочемъ, не стану доискивать смысла логически и грамматически смутной фразы г. Ламанскаго. Я ее привелъ только для того, чтобы читатель видѣлъ, что именно не правится редактору «Живой Старины» въ общемъ характерѣ нашихъ энциклопедическихъ журналовъ. Не правится ему именно существованіе въ нихъ характера, направленія, совѣмъ даже независимо отъ того, хорошо оно или дурно. Въ этомъ смыслѣ весьма возможно, что пѣсенка нашихъ энциклопедическихъ журналовъ будетъ въ непродолжительномъ времени спѣта, что они утратятъ свое бывшее руководящее значеніе и превратятся въ безхарактерные сборники болѣе или менѣе занимательнаго матеріала для чтенія. Это будетъ смерть журнала. Но смерть можетъ быть естественная и неестественная, преждевременная. Если русская общественная жизнь разовьется до размѣровъ европейской общественной жизни, если руководящее значеніе нашихъ журналовъ упразднится потому, что откроются и разовьются какіе-нибудь иные пути для руководящей мысли, то смерть журнала будетъ, можетъ быть, естественною: онъ не нуженъ станетъ и просто сдастъ свои функціи другимъ органамъ. Но если онъ умретъ теперь, то это будетъ смерть преждевременная и, пожалуй, даже самоубійство.

Я оговорился, что и въ первомъ случаѣ смерть журнала только *можетъ быть* слѣдуетъ признать естественною. И дѣйствительно, еще вопросъ,—почему-бы энциклопедическому журналу съ руководящимъ значеніемъ не жить и въ Европѣ съ ея многосложною, многоразвѣтвленною умственною жизнью. Я, по крайней мѣрѣ, нисколько не удивляюсь, если такіе журналы тамъ возникнутъ и будутъ имѣть большой успѣхъ.

Что такое ежемѣсячный энциклопедическій журналъ? Нѣсколько человекѣвъ, въ числѣ которыхъ могутъ быть и ученые специалисты по разнымъ отраслямъ, группируются для совокупной и разносторонней разработки и распространенія извѣстнаго міросозерцанія. Съ точки зрѣнія этого міросозерцанія они ежемѣсячно освѣщаютъ явленія общественной жизни, явленія въ области науки и искусства, распредѣляя между собою занятія сообразно своимъ способностямъ и знаніямъ, внося при этомъ и собственные вклады въ сокровищницу отечественной науки и искусства, знакомя съ таковыми-же иностранными продуктами въ переводахъ, компіляцияхъ или извлеченіяхъ. Что во всемъ этомъ худого

и почему главный нервъ такого изданія, его руководящее направленіе, подлежитъ уничтоженію? Возьму примѣръ, удобный по прикосновенности г. Ламанскаго къ славянофильству, — «Русскую Бесѣду». Это былъ образцовый въ своемъ родѣ журналъ, правда, не ежемѣсячный, въ которомъ каждая статья была строго выдержана въ славянофильскомъ направленіи. Худо-ли это было? Нѣтъ, это было очень хорошо, даже съ точки зрѣнія людей, отрицательно относившихся къ славянофильству.

Разъ извѣстное направленіе существуетъ, — пусть оно высказывается вполне и основательно, пусть оно провѣряетъ себя на текущихъ практическихъ вопросахъ и на высотахъ теорій, пусть звучитъ въ поэзіи и въ прозѣ. А для этого лучшей формы, чѣмъ энциклопедическій журналъ, пожалуй, и не придумаешь.

О нѣкоторыхъ явленіяхъ французской жизни.

Меня спрашиваютъ, — намѣренъ-ли я отвѣчать на выходки нѣкоторыхъ петербургскихъ изданій по поводу послѣднихъ моихъ «Писемъ о разныхъ разностяхъ»? Не намѣренъ. Во-первыхъ, на всякое чиханіе не наздравствуешься, а во-вторыхъ, полемика имѣетъ смыслъ только до тѣхъ поръ, пока она способствуетъ выясненію какого-нибудь опредѣленнаго спорнаго пункта. Въ воспоминашяхъ г. Фета приведено, между прочимъ, письмо Тургенева, въ которомъ ихъ пререканія характеризуются въ слѣдующей шуточной формѣ: «Я, напримѣръ, начинаю такъ: «эта лошадь бѣлая»... «Какъ? восклицаете вы съ негодованіемъ: вы рѣшаетесь утверждать, что этотъ поросенокъ зеленый!» — «Но и у птицъ бываютъ носы»... замѣчаю я убѣдительнымъ тономъ. — «Никогда! подхватываете вы, — на спинѣ да, но въ воздухѣ ни подъ какимъ видомъ!» Такъ пререкаться можно, конечно, безъ конца, но за-то и безъ пользы и безъ удовольствія, доставляемаго выясненіемъ истины. Я почему-то издревле пользуюсь нерасположеніемъ весьма многихъ моихъ собратовъ по перу. Время отъ времени высказываютъ какіе-то люди и говорятъ какія-то слова, имѣющія цѣлью стереть меня въ порошокъ. Иногда это дѣлается съ мѣста въ карьеръ, а иногда походъ открывается робко, двусмысленными любезностями. Въ силу этого чрезвычайно, разумѣется, прискорбнаго для меня обстоятельства, — какъ хотите, а страшно быть стертымъ въ порошокъ, — мнѣ приходилось участвовать во множествѣ полемическихъ схватокъ, и я выработалъ себѣ вполне опредѣленную въ этомъ отношеніи тактику. Разъ навсегда разъясню ее моимъ благосклоннымъ читателямъ. Есть полемисты, имѣющіе въ виду не третьихъ лицъ, присутствующихъ при спорѣ, не читателей, а лично и исключительно своего противника. Всѣ ихъ усилія направлены на то, чтобы нанести именно ему обиду и неприятность, для

чего пускаются въ ходъ и намеки тонкіе на то, чего не вѣдаетъ никто, и вообще всякіе печистые приемы. Такихъ я стараюсь не читать совсѣмъ; говорю «стараюсь», потому что случается ошибаться и лишь по прочтеніи статьи убѣдиться въ истинныхъ намѣреніяхъ автора. Не говоря о томъ, что такое чтеніе скучно и непріятно, я считаю себя вправѣ лишить подобныхъ полемистовъ намѣченнаго ими злобнаго удовольствія: они хотятъ уязвить меня, а я-то ихъ и не читаю, и сдѣловательно весь ихъ зарядъ пропадаетъ даромъ. Но не всегда злое намѣреніе является въ столь ужь обнаженномъ видѣ. Оно осложняется разговорами, предназначенными для объясненія того или другого пункта читателямъ. Въ такихъ случаяхъ я охотно, иногда, можетъ быть, даже слишкомъ охотно, поднимаю брошенную мнѣ перчатку, стараюсь вести полемику до ея естественнаго предѣла, до выясненія спорнаго пункта, и затѣмъ предо ставляю полемическое поле своему противнику, негоняясь за тѣмъ, чтобы послѣднее слово осталось непременно за мною. Читатель понялъ въ чемъ дѣло, и этого довольно. Я могу, разумѣется, ошибаться и признавать спорный пунктъ выясненнымъ, когда до этого еще далеко, или, наоборотъ, продолжать полемику, когда дѣло уже вполне ясно, но это ужь свойство всякихъ человѣческихъ дѣлъ. Есть, однако, одинъ признакъ, по которому, по крайней мѣрѣ въ нѣкоторыхъ случаяхъ, всякій даже совершенно посторонній человѣкъ можетъ судить, что споръ собственно кончился. Если вы вполне ясно и опредѣленно ставите тезисъ: «эта лошадь бѣлая», а вамъ съ горячностью и озлобленіемъ *отвѣчаютъ*: «Какъ? Вы рѣшаетесь утверждать, что этотъ поросенокъ зеленый?!», то несомнѣнно одно изъ двухъ,—или вашъ противникъ не понимаетъ и не способенъ понять, о чемъ собственно рѣчь идетъ, или же онъ понялъ, призналъ справедливость вашего тезиса, но не хочетъ въ этомъ признаться и сознательно говоритъ не идущія къ дѣлу слова. И въ томъ, и въ другомъ случаѣ дальнѣйшій съ нимъ разговоръ не нуженъ, ибо за всѣми зелеными поросятами не угоняешься. Отдаю ихъ на судъ читателей.

Не видя такимъ образомъ надобности возвращаться къ «новой мозговой линіи» и къ флюгерству въ литературѣ, я хотѣлъ-бы напомнить читателю, напротивъ, первыя «Письма о разныхъ разностяхъ», тѣ именно, которыми я въ прошломъ году началъ свои бесѣды съ читателями «Русскихъ Вѣдомостей». Рѣчь шла о новыхъ влѣніяхъ во французской литературѣ и жизни, по скольку они выразились въ романѣ Поля Бурже «Le disciple», въ драмѣ Альфонса Додэ «La lutte pour la vie» и еще кое въ чемъ. Мнѣ казалось, что усталая отъ позорнаго Наполеоноваго режима, отъ прусскаго разгрома и внутренней кровавой распри Франція начинаетъ отдыхать, возрождаться къ новой жизни. Признаковъ этого возрожденія нельзя пока искать во виѣшней политической жизни, но они уже до извѣстной степени уловлены въ области идей. Въ драмѣ

Додэ, въ романѣ Бурже, въ его-же критическихъ опытахъ отразилось глубокое недовольство тѣмъ нравственнымъ и политическимъ индифферентизмомъ, въ которомъ даже съ нѣкоторою гордостью какъ-бы застыла французская мысль въ лицѣ талантливѣйшихъ своихъ представителей, какъ Тэнъ, Ренанъ, Золя и проч., и подъ якобы научно-философскимъ покровомъ котораго ютятся безобразнѣйшія проявленія разнузданнаго эгоизма. Вся новѣйшая исторія Франціи способствовала тому, чтобы разумъ, теоретическая мысль, знаніе отлучались отъ нравственнаго чувства, практической дѣятельности, и чтобы въ этой пропасти погибли все животворящіе идеалы. Бурже и Додэ снова констатировали фактъ разслабленности и разнузданности современнаго французскаго общества, яркими красками воспроизвели этотъ фактъ въ художественныхъ образахъ, но лишь очень робко и въ общихъ, довольно блѣдныхъ, колеблющихся чертахъ указали выходъ. Тѣмъ не менѣе, этотъ протестъ противъ нравственно-политическаго индифферентизма, это не совсѣмъ выясненное требованіе объединенія науки и нравственности и оплодотворенія ихъ дѣйственной энергіей показалось мнѣ глубоко знаменательнымъ. Не преувеличивая значенія упомянутыхъ литературныхъ произведеній, позволительно было, однако, думать, что самая одновременность ихъ появленія свидѣтельствуетъ о приближающемся серьезномъ и глубокомъ поворотѣ въ духовной жизни Франціи. Я нашелъ подтвержденіе и развитіе этой мысли въ прекрасной статьѣ г. Д—ова «Современная французская молодежь», напечатанной въ февральской книжкѣ «Русской Мысли». Я не хочу отвлекать вниманіе читателя отъ этой интересной статьи пересказомъ ея, — пусть онъ познакомится съ нею непосредственно. Я хотѣлъ-бы лишь сказать нѣсколько словъ по поводу ея, или даже вѣрнѣе въ тонъ ея.

Я былъ на представленіи драмы Сарду «Термидоръ». Читателямъ, конечно, извѣстно содержаніе этой драмы, извѣстенъ и скандалъ, произведенный ея постановкой въ Парижѣ. Очень плохо знакомый съ условіями сцены, значить, очень въ этомъ отношеніи нетребовательный, я былъ тѣмъ не менѣе пораженъ вопіющими художественными промахами драмы. Лабюссьеръ, напримѣръ, громовымъ голосомъ говорить на улицѣ о деспотизмѣ Робеспьера, который, дескать, никому громко говорить не даетъ. Это произвело - бы даже комическое впечатлѣніе, если-бы не утомительность длиннѣйшаго Лабюссьерова монолога, во время котораго его собесѣдникъ, Марсіаль, находится въ необыкновенно затруднительномъ положеніи, потому что долженъ слишкомъ долго молчать. Умолкаетъ Лабюссьеръ, и такимъ-же длиннѣйшимъ монологомъ раздражается Марсіаль. Грубо трагическіе эффекты, вродѣ одновременнаго пѣнія монахинь, идущихъ на казнь, и пѣнія карманьолы; грубо комическіе эффекты, вродѣ восклицанія: «это нахаль!—значить изъ нашихъ!» Безъ сомнѣнія, именно эти длиннѣйшіе, но задорные монологи

политическаго характера и эти грубые эффекты и вызвали скандалъ въ Парижѣ. Сарду постарался усвоить Марсіалу фізіономію честнаго, некрепняго республиканца, лишь возмущеннаго крайностями террора; но этого оказалось слишкомъ мало для удовлетворенія сторонниковъ республики и столь-же недостаточно для умаленія радости ея враговъ. Это наглядно показываетъ, какъ еще «старыя раны горять» на тѣлѣ современной Франціи. Прибавьте къ этому скандалъ по поводу пребыванія вдовствующей германской императрицы въ Парижѣ, по поводу приглашенія французскихъ художниковъ на берлинскую выставку, прибавьте двусмысленныя, до горечи обидныя варіаціи на тему франко-русскихъ симпатій, не останавливающіяся передъ чествованіемъ какого-нибудь Ашинова,—и вы поймете, какъ трудно можетъ совершаться спокойная, органическая работа духа въ современной Франціи. И однако, она совершается.

Мотивируя свой выборъ темы, г. Д—овъ пишетъ: «Обыкновенно говорятъ,—и говорятъ совершенно справедливо,—что на молодежи покоятся все надежды страны. Смѣло можно утверждать, что какова сегодняшняя молодежь, таковъ въ значительной степени будетъ, по своему умственному и нравственному содержанию, и завтрашній день. Сегодня представители ея толпятся въ стѣнахъ университетовъ, поглощены профессорскими лекціями, учебниками, книгами, работаютъ въ кабинетахъ, лабораторіяхъ, библіотекахъ, живутъ болѣе или менѣе замкнуто и обособленно въ своей товарищеской средѣ; но завтра они сойдутъ со школьной скамьи, выступятъ активными гражданами на общественную арену, смѣнятъ собою теперешнихъ дѣятелей, предъявятъ къ жизни свои требованія, внесутъ въ эту жизнь свое внутреннее содержаніе, будутъ задавать тонъ въ политикѣ, въ сферѣ социальныхъ отношеній, въ литературѣ, въ наукѣ, въ искусствѣ. Они разсѣются по всемъ областямъ мысли и практической дѣятельности, на все наложатъ рѣзкую печать своего гения, явятся въ роли руководителей общественнаго мнѣнія, будутъ «дѣлать исторію». Въ виду всего этого, права ихъ на наше вниманіе не могутъ подлежать ни малѣйшему сомнѣнію».

Это—сама истина, къ сожалѣнію, однако, слишкомъ часто забываемая, хотя все повторяютъ слова: «на молодежи покоятся надежды страны», — надежды и опасенія, слѣдовало-бы прибавить. Забывается эта истина и профессиональными руководителями молодежи, и литературой, и вообще людьми, призванными или, взявшимися обесудждать судьбы своей родины; забывается, наконецъ, самую молодежь. И это горше всего. Можетъ быть много горя, или наоборотъ, много радости сбавилось-бы у того или другого наблюдателя жизни, того или другого современнаго дѣятеля, если-бы онъ вглядывался ближе въ нарождающіяся среди молодежи умственные теченія. Сбавится горя, если эти теченія могутъ, по его мнѣнію, исправить изъяны сегодняшняго дня; сбавится радости,

если, напротивъ, его идеалы должны завтра враждебно столкнуться съ напыломъ свѣжихъ, молодыхъ силъ. Но, по крайней мѣрѣ, рядомъ съ этой послѣдней бѣдой для мыслящаго и чувствующаго наблюдателя стоитъ другая, — когда молодежь сама забываетъ о томъ, что она завтра станетъ историческимъ факторомъ.

Можетъ показаться, что это еще вопросъ, что бываютъ иногда такія умышленныя теченія, которыя хуже всякаго пустого мѣста. Образчиками представителей подобныхъ теченій могутъ служить нѣкоторыя шедринскія фигуры въ «Благонамѣренныхъ рѣчахъ» и «Ташкентцахъ приговорительнаго класса». Это молодые люди, программа жизни которыхъ исчерпывается словами: nous aimons, nous follichonons, nous vivons sec, и которые, однако, готовятся къ борьбѣ съ какими-то врагами отечества и порядка. Они, повидимому, отнюдь не забываютъ о предстоящей имъ по выходѣ изъ учебнаго заведенія роли историческаго фактора, по, конечно, лучше бы было, еслибы они объ этой роли совсѣмъ не думали. Это пожалуй вѣрно, но отсюда не слѣдуетъ, чтобы подобная подготовка къ завтрашней исторической роли была хуже или лучше пустого мѣста, — она именно и есть пустое мѣсто. Эти молодые люди знаютъ, что извѣстная общественная роль имъ обезпечена, но они вовсе къ ней и не готовятся и не видятъ въ ней ничего историческаго. Она есть для нихъ только готовая рама, въ которую вставлена все та-же программа: nous aimons, nous follichonons, nous vivons sec. Я, впрочемъ, не объ нашихъ собственно дѣлахъ хочу говорить, и возвращеніе къ Франціи тѣмъ удобнѣе, что въ семьяхъ упомянутыхъ шедринскихъ молодыхъ людей, какъ вѣроятно помнитъ читатель, страннымъ образомъ процвѣтаютъ традиции бонапартистской Франціи: тамъ поклоняются Наполеону III, вздыхаютъ о Морни и Персињи, приходятъ въ восторгъ при полученіи извѣстія о бѣгствѣ Базена.

Двадцать лѣтъ наполеоновскаго режима останутся навсегда однимъ изъ поучительнѣйшихъ въ исторіи эпизодовъ, — лишь стало-бы охоты учиться. Поучительно сопоставленіе позорнаго начала въ декабрьскую ночь 1851 года съ позорнымъ концомъ при Сдеанѣ въ 1871 году. Поучительно другое многое, поучительна и судьба молодежи за этотъ періодъ. Всѣмъ ходомъ жизни такъ тщательно выпалывалась пшеница и взращивались плевелы, что для молодежи не осталось, наконецъ, ничего питательнаго. Разумѣю, конечно, духовную пищу, потому что для «брюшныхъ аппетитовъ», какъ выражается г. Д—овъ, открылись, напротивъ, необозримыя перспективы. И жизнь, какъ это всегда бываетъ, пошла по линіи наименьшаго сопротивленія. Всенародно совершившееся декабрьское злодѣяніе, уже само по себѣ, самымъ фактомъ своего успѣшнаго осуществленія, ошеломило однихъ и повліяло развращающимъ образомъ на другихъ. Разбойнически придавленные честь

и совѣсть замерли, а затѣмъ изъ-подъ придавившей ихъ ниты полилось столько соблазнительнаго вишняго блеска, что не одна Франція была ослѣплена. Но, конечно, Франціи пришлось горше всего. Въ странѣ экономически бѣдной и вообще скудной красками жизни, соблазнъ не могъ-бы достигнуть такихъ размѣровъ. А здѣсь контрастъ былъ уже слишкомъ, подавляюще силенъ. Съ одной стороны какія-то оборванные и оплеванные знамена идеаловъ, подъ сѣнію которыхъ живетея голодно, холодно и небезопасно, а съ другой—удешевленное конкуренціей веселье, ядовитые, но яркіе и душистые цвѣты легкой жизни, женскія ласки, утѣхи, власть, роскошь. Молодежи намѣренно настезь отворались ворота въ этотъ головокружительный міръ и въ то-же время захлопывались двери въ міръ идеаловъ, и она шла въ отворенныя ворота. Ни ея руководители, ни сама она не думали о завтрашнемъ днѣ, и этотъ завтрашній день засталъ всѣхъ врасплохъ въ 1871 г. Только тутъ оказалось, что пустое мѣсто не можетъ оказать надлежащаго сопротивленія даже прусскимъ уланамъ, только тутъ выяснилась огромность ошибки всѣхъ предшествовавшихъ двадцати лѣтъ. Но подобныя ошибки нелегко исправляются. Если ходъ и результаты войны способствовали отрезвленію, то ни они, ни тѣмъ менѣе послѣдовавшая затѣмъ кровавая внутренняя распря не могли сразу придать надлежащее освѣщеніе всѣмъ элементамъ общественной жизни. Своею неожиданностью и своимъ кровавымъ отблескомъ, они, по крайней мѣрѣ временно, должны были внести и дѣйствительно внесли только отрицательныя черты, только нѣкоторую растерянность въ общественное сознаніе. Лишь съ теченіемъ времени, постепенно, да и то перебиваемые тревогами вродѣ вспышекъ буланжизма и т. п., могли сложиться ростки новой жизни. И вотъ они складываются.

Безъ сомнѣнія, наполеоновскій режимъ не совершенно подавилъ французскій геній. Своимъ чередомъ шло специальное научное производство, хотя и здѣсь чувствовалось изорное давленіе общаго порядка. Заинтересованный читатель можетъ обратиться къ остроумнымъ и гнѣвнымъ памфлетамъ Виктора Менье, собраннымъ въ книжкѣ «Scènes et types du monde savant» (1889 г.). Менье считаетъ, впрочемъ, началомъ паденія французской науки царствованіе Наполеона I, а при Наполеонѣ III лишь завершилось дѣло холопскаго угодничества, индифферентизма, трусости и жадности ея представителей. Менье слѣдитъ за симптомами этого паденія по разнымъ отраслямъ специальной науки, преимущественно естествознанія. Какъ-бы, однако, ни были выразительны эти симптомы, изъясны въ фізіономіи специальныхъ отраслей знанія по самому существу дѣла не могутъ оказывать слишкомъ быстро и значительнаго вліянія на общественное сознаніе. Хотя и здѣсь, напримѣръ, такой фактъ, что французская академія «провалила» кандидатуру Дарвина, причѣмъ говорились истинно компрометирующія науку рѣчи, долженъ былъ внести

большую смуту въ уметвенныя теченія. Безъ сравненія большіи вредъ вносили остроумные, но легковѣсныя и прямо продажныя публицисты, ловкіе романисты-порнографы, искусные фальсификаторы исторіи, шарлатанскіе примирители непримиримаго въ области философіи. Но оставимъ въ сторонѣ всю эту дребедень, страшную въ своей совокупности, но мимолетную. Остановимся лишь на такихъ явленіяхъ уметвенной жизни, которыя отмѣчены печатью серьезной, добросовѣстной мысли и недюжиннаго таланта. Въ наполеоновское время были и подобныя явленія, не считая, разумѣется, открыто оппозиціонныхъ писателей. На это именно время выпадаетъ расцвѣтъ такихъ крупныхъ дѣятелей слова, какъ Тэнъ и Ренанъ; въ это-же время начала складываться та беллетристическая школа, которая усвоила себѣ кличку «натурализма».

Претензія этой школы въ той формѣ, въ какой ихъ выразилъ ея глава, Эмиль Зола, очень комичны; всѣ эти разговоры о «научномъ методѣ въ романѣ», объ «анатомическомъ анализѣ» и т. п. построены на забавномъ недоразумѣніи. Но нѣкоторые изъ послѣдователей натурализма, въ особенности самъ Зола, несомнѣнно люди недюжиннаго таланта. И эти-то таланты, подъ вліяніемъ мертвящихъ условій своего времени, ухватились за односторонне понятую и въ этомъ одностороннемъ видѣ, въ свою очередь, мертвящую идею «детерминизма». Все совершается по извѣстнымъ законамъ, все съ одинаковою необходимостью занимаетъ свое мѣсто въ цѣли причинъ и слѣдствій, а потому нѣтъ резона чему-нибудь радоваться и о чемъ-нибудь печаловаться, нѣтъ почвы и для нравственнаго суда. Мнѣ такъ часто случалось возвращаться къ этому умо-заключенію, что я не считаю нужнымъ говорить о немъ теперь по существу. Скажу лишь, что Зола ухватился за него съ страннымъ веселіемъ и комическою гордостью человѣка, вновь открывшаго Америку. А въ какомъ-нибудь Ренанѣ, несравненно болѣе знакомомъ съ исходными точками, приемами и результатами науки, этотъ тезисъ отразился, напротивъ, нѣкоторымъ меланхолическимъ скептицизмомъ. Стоя исключительно на точкѣ зрѣнія причинной связи явленій, нельзя отличить добро отъ зла, ибо и то и другое одинаково имѣютъ свои причины и, слѣдовательно, одинаково законны. Такимъ образомъ наука, теоретическая мысль становится въ печальное противорѣчіе съ непосредственнымъ нравственнымъ чувствомъ, которое остается безъ кормила и весла. Мало того: теоретическая мысль можетъ, а при извѣстныхъ условіяхъ даже должна усомниться въ самой себѣ, потому что вѣдь и ея формы и проявленія суть слѣдствія извѣстныхъ причинъ; все относительно, такъ что истинное сегодня и въ такомъ-то мѣстѣ можетъ оказаться завтра и въ другомъ мѣстѣ ложнымъ. Какъ-же вѣрить даже въ то, во что вѣришь? Какъ отрицать даже то, что отрицаешь? Какъ, наконецъ, сомнѣваться даже въ томъ, въ чемъ сомнѣваешься? Эта ультраскептическая точка зрѣнія сама-по-себѣ вовсе не вытекаетъ изъ правильной постановки

дѣла, но правильная-то постановка и затруднялась всёми строемъ французской жизни. Правильная постановка всякаго человѣческаго дѣла возможна лишь тогда, когда въ ней участвуетъ весь человѣкъ, во всей своей цѣлостности, въ гармоническомъ сочетаніи разума, чувства и воли. Разладъ разума и чувства исчезаетъ самъ собой, какъ только является опредѣленная и достаточно широкая цѣль жизни, то есть точка приложенія для воли, для дѣятельности. Человѣкъ самъ становится въ этомъ случаѣ въ цѣпь причинной связи явленій, становится въ качествѣ самостоятельной причины ожидаемыхъ и желаемыхъ слѣдствій. Въ сущности, каждый поступаетъ такъ въ своихъ личныхъ практическихъ дѣлахъ и не обуреваемъ при этомъ никакими разладами и сомнѣніями. Но для тѣхъ, кто живетъ не единымъ хлѣбомъ, и для данной страны въ совокупности, общественный идеалъ, познанный мыслью, согрѣтый чувствомъ и призывающій къ дѣятельности, есть единственное спасеніе отъ блѣдной немочи скептицизма, равно какъ и отъ другихъ духовныхъ золъ. А между тѣмъ всё общественные идеалы были поруганы и ослеваны новѣйшею исторіею Франціи. И ни въ какой другой странѣ это крушеніе не могло-бы произвести столь удручающихъ эффектовъ, именно потому, что Франція прежде такъ много вѣрила, такъ сильно надѣялась, такъ многого, казалось, достигла. И когда въ результатъ оказалось такъ мало, явились доктрины, проникнутыя шаткими, блѣдными, немощными элементами, а эти доктрины, въ свою очередь, должны были разлагающимъ образомъ дѣйствовать на мыслящую молодежь. Поль Бурже попытался дать художественную картину этого разлагающаго вліянія въ романѣ «Le disciple» и критическую его оцѣнку въ предисловіи къ роману и въ «Essais de psychologie contemporaine». Но Бурже самъ воспитался въ смутныя времена, его собственная душа раздражается внутренними противорѣчіями, которыя поэтому иногда кажутся ему непреодолимыми, неизбежными. Высшій пунктъ, до котораго онъ дошелъ въ своемъ раздумьѣ, выразился въ совѣтѣ, съ которымъ онъ обращается, въ предисловіи къ своему роману, къ современному французскому молодому человѣку: «Воспитывай въ себѣ двѣ великія добродѣтели, двѣ силы, виѣ которыхъ все гниль и агонія,—любовь и энергію воли». Совѣтъ, безспорно, прекрасный, но слишкомъ ужъ общій, потому что безпредметная любовь и безцѣльное напряженіе воли никого ни отъ чего вылечить не могутъ. Это рецепты, по которымъ нельзя ничего получить изъ аптеки. Воспитывать въ себѣ любовь и энергію воли можно только практически, и нужно, слѣдовательно, напередъ что-нибудь полюбить и знать, куда слѣдуетъ направлять энергію. Но хорошо, конечно, и то, что Бурже вооружается противъ разслабленнаго и разслабляющаго скептицизма и рекомендуетъ современной французской молодежи готовиться къ роли самостоятельнаго историческаго фактора. Чтобы стать таковымъ, нельзя ограничивать свой кругозоръ голымъ детерминизмомъ,

нельзя смотрѣть на себя лишь какъ на неизбѣжное, пассивное слѣдствіе извѣстныхъ причинъ; надо, напротивъ, поставить себѣ цѣль и самому активно вмѣшаться въ историческій ходъ вещей, въ качествѣ самостоятельной причины желаемыхъ и ожидаемыхъ слѣдствій.

Повидимому, французская мысль, отдохнувъ отъ смутнаго времени, тянущагося слишкомъ долго, работаетъ нынѣ именно въ этомъ направленіи. Изъ представителей этого направленія особенно значительны Гюйо и Фулье. Въ «Письмахъ о разныхъ разностяхъ» мнѣ уже случалось говорить объ одномъ изъ сочиненій Гюйо — «Education et hérédité». Оно любопытно, если читатель припомнитъ, именно какъ энергическій, бодрый протестъ противъ голаго детерминизма. Вопли признавая силу наследственности, какъ причины, опредѣляющей характеръ грядущихъ поколѣній, Гюйо настаиваетъ, однако, на томъ, что этой стихійной силѣ можетъ и должна быть противопоставлена цѣлесообразная дѣятельность чловѣка въ формѣ воспитанія, притомъ въ гораздо большей степени, чѣмъ это обыкновенно думаютъ. Велика сила наследственности, иногда благотельной — иногда зловредной, но не слѣдуетъ отдаваться ей пассивно, а надо, напротивъ, активно, сообразно извѣстному плану, или пользоваться ею, или противоборетвовать ей. Въ другихъ сочиненіяхъ Гюйо господствуетъ тотъ же тонъ, но ярче, опредѣленнѣе, полнѣе отразился онъ въ ученіи Фулье объ «идеяхъ-силахъ» (*idées-forces*), пока еще незавершенныхъ (вышелъ «*L'évolutionnisme des idées-forces*» и ожидается двухтомная «*Psychologie des idées-forces*»). Фулье возстаетъ противъ представленія о чловѣкѣ, какъ о какомъ-то автоматѣ, пассивномъ игралщѣ вишнихъ причинъ, и ищетъ философскаго обоснованія для активнаго воздѣйствія на грядущія событія. Достоинъ вниманія, что оба названные писатели далеки отъ отжившихъ теософическихъ и метафизическихъ построеній, они стараются держаться исключительно почвы науки. И еще достоинъ вниманія, что философія для нихъ какъ-бы сливается съ социологіей и это придаетъ ихъ философскимъ концепціямъ чрезвычайно оригинальную, жизненную физиономію. Они не ставятъ такого тесиса, но, помимо содержания, характерны уже заглавія нѣкоторыхъ сочиненій: «*L'art au point de vue sociologique*», «*L'irreligion de l'avenir. Etude de sociologie*», «*La science sociale contemporaine*» и т. д.

Такое направленіе умовъ отражается и въ средѣ учащейся молодежи. Г. Д — овъ приводитъ чрезвычайно любопытные въ этомъ отношеніи факты. Онъ сообщаетъ содержаніе лекціи или, по нашему, реферата нѣкоего Беранже, студента словеснаго факультета; рефератъ былъ прочитанъ въ январѣ прошлаго года въ присутствіи по меньшей мѣрѣ пятиеотъ товарищей и озаглавленъ: «*La jeunesse intellectuelle et le roman français contemporain*». Говоря отъ имени интеллигентной молодежи, Беранже замѣчаетъ, между прочимъ, что «пробужденіе *sociologique* духа (курсивъ французскаго подлинника или г. Д — ова)

даетъ о себѣ знать съ каждымъ днемъ все сильнѣе и сильнѣе, и полное торжество этого направленія умовъ есть только вопросъ времени». И далѣе: «Новая генерация будетъ, прежде всего, *соціальною (sociale)*, другими словами она будетъ проявлять въ искусствѣ и политикѣ, въ дѣйствіяхъ и мысли, свое тяготѣніе къ новому обществу, свою вѣру въ науку и демократію». «*Знаніе и народъ*—вотъ тѣ два магическія слова, которыми резюмируются смыслъ и цѣль личной жизни, которыя ясно выражаютъ искомую истину, даютъ ключъ къ жизненной загадкѣ и указываютъ на источникъ живой воды». Къ этому надо еще прибавить республиканскій духъ, твердое намѣреніе отстаивать тотъ политическій свободный строй жизни, котораго уже достигла Франція.

Рядомъ съ этимъ умственнымъ теченіемъ въ средѣ учащейся парижской молодежи г. Д—овъ отмѣчаетъ и другія теченія, съ нимъ совпадающія. Въ цѣломъ получается чрезвычайно свѣтлая картина, дающая всѣ основанія думать, что время духовнаго возрожденія Франціи, дѣйствительно, не далеко.



О Лермонтовѣ.

Мы начинаемъ готовиться къ 15-му іюля, ко дню смерти Лермонтова. Въ этотъ день истекаетъ установленный закономъ пятидесятилѣтній срокъ права наслѣдниковъ на литературную собственность покойнаго поэта. Поэтому разные двусмысленныя періодическія изданія, щеголяющія олеографическими, календарными и т. п. преміями, обѣщаютъ своимъ подписчикамъ въ этомъ году, кромѣ календарей и олеографій, еще и сочиненія Лермонтова, «роскошныя», «роскошно изданныя», «роскошно иллюстрированныя» и т. д. Книгопродавческая фирма Глазунова, которой до 15-го іюля принадлежитъ монополія изданія сочиненій Лермонтова, торопится снять послѣднія сливки и, забѣгая конкуренціи впередъ, выпустила дешевое изданіе. Готовится, впрочемъ, какъ слышно, и нѣсколько серьезныхъ новыхъ изданій, съ біографіями покойника и новыми критическими статьями. Въ «Русской Мысли» появилась любопытная статья «Лермонтовъ на Кавказскихъ водахъ» г. Филиппова, дополненная его-же замѣткой въ «Русскихъ Вѣдомостяхъ» — «Еще о Лермонтовѣ». Въ той-же «Русской Мысли» печатается статья г. Острогорскаго «Мотивы лермонтовской поэзіи». Г. Андреевскій выпустилъ книжку, подъ заглавіемъ «Литературныя чтенія», въ которой есть, между прочимъ, этюдъ о Лермонтовѣ.

Боюсь однако, что 15-е іюля пройдетъ такъ-же, какъ тянутся и прочіе современные дни, то есть немножко, признаться сказать, сѣро и скучно. Именно скучно, а не грустно, что было-бы вполнѣ естественно въ день смерти великаго поэта, болѣе даже великаго, чѣмъ сколько онъ успѣлъ фактически обнародовать въ свою короткую жизнь. Впрочемъ, поживемъ—увидимъ. Хорошо во всякомъ случаѣ уже и то, что безчисленные подписчики двусмысленныхъ періодическихъ изданій получаютъ въ настоящемъ году въ премію не одни олеографіи и кален-

дари, а и сочиненія Лермонтова. Хорошо и то, что умные люди уже теперь, загодя, говорят о Лермонтовѣ, приговоря публику къ воспринятію Лермонтова въ премію или за рубль серебромъ. Подъ умными людьми разумѣю ближайшимъ образомъ гг. Острогорскаго и Андреевскаго, изъ чего не слѣдуетъ, однако, чтобы статьи этихъ писателей о Лермонтовѣ представляли что-нибудь однородное, что-нибудь общее между собой. Напротивъ,—во взглядахъ гг. Острогорскаго и Андреевскаго нѣтъ рѣшительно ничего общаго. Именно поэтому ихъ любопытно сравнить.

Статья г. Острогорскаго еще не кончена въ ту минуту, когда я пишу эти строки, но его точка зрѣнія уже вполне ясна. Совершенно устраняя мысль о раздражительномъ характерѣ поэзіи Лермонтова (хотя и признавая извѣстную долю вліянія на него Байрона), г. Острогорскій ищетъ объясненія этой поэзіи въ трехъ моментахъ: въ исключительной натурѣ Лермонтова, въ особенностяхъ условій его воспитанія и домашней обстановки, наконецъ въ особенностяхъ того періода русской жизни, въ который довелось жить и творить Лермонтову. Значеніе этого послѣдняго момента г. Андреевскій рѣшительно отрицаетъ и ищетъ объясненія лермонтовской поэзіи въ нѣкоторыхъ общихъ и всегдашнихъ условіяхъ человѣческой природы, своеобразно отраженныхъ исключительною личностію Лермонтова. Повидимому, нѣчто общее у обоихъ критиковъ, значить, все-таки есть: оба говорятъ объ исключительной личности поэта. Но это только повидимому. Г. Острогорскій понимаетъ подъ этой исключительностію просто раннюю воспримчивость и чуткость, гениальность, подернутую, въ противоположность сангвинику Пушкину, флеромъ меланхолии. Г-нъ-же Андреевскій разумѣетъ нѣчто гораздо болѣе мудреное. Онъ говоритъ: «Нѣтъ другого поэта, который-бы такъ явно считалъ небо своею родиной и землю своимъ изгнаніемъ». «Это былъ человѣкъ гордый и въ то-же время огорченный своимъ божественнымъ происхожденіемъ, съ глубокимъ сознаніемъ котораго ему приходилось странствовать по землѣ, гдѣ все казалось ему такъ доступнымъ для его ума и такъ гадкимъ для его сердца». Г. Острогорскій остаивается на печальныхъ общественныхъ условіяхъ, влившихъ мракъ и горечь въ душу впечатлительнаго юноши и вмѣстѣ съ тѣмъ толкавшихъ его самого въ сторону «гусарскихъ интересовъ». Г.-же Андреевскій, имѣя въ виду не г. Острогорскаго, потому что его книжка появилась раньше статьи послѣдняго, а кого-то другого, пишетъ: «Еще недавно было высказано, что въ поэзіи Лермонтова слышится слезы тяжелой обиды и что это будто-бы объясняется тѣмъ, что не было еще временъ, въ которыя все завѣтное, чѣмъ наиболѣе дорожили русскіе люди, съ такою безцеремонностію приносилось-бы въ жертву идеѣ холоднаго, бездушнаго формализма, какъ это было въ эпоху Лермонтова; и что Лермонтовъ славенъ имен-

по тѣмъ, что онъ по истинѣ гениально выразилъ всю ту скорбь, какою были перенесены его современники! Можно-ли болѣе фальшиво объявить источникъ скорби Лермонтова?! Точно и въ самомъ дѣлѣ послѣ николаевской эпохи, въ періодъ реформъ, Лермонтовъ чувствовалъ — бы себя какъ рыба въ водѣ! Точно послѣ освобожденія крестьянъ и въ особенности въ шестидесятые годы открылась дѣйствительная возможность «вѣчно любить» одну и ту-же женщину? Или совсѣмъ искоренилась «месть враговъ и клевета друзей»? Или «сладкій педугъ страстей» превратился въ безконечное блаженство, не «исчезающее при словѣ разсудка»? Или «радость и горе» людей, отходя въ прошлое, перестали для нихъ становиться «ничтожными»?... И почему этими вѣковѣчными противорѣчіями жизни могли страдать только современники Лермонтова, въ эпоху формализма? Современный Лермонтову формализмъ не вызвалъ у него ни одного звука протеста». Приведа затѣмъ лермонтовскій вопросъ—«придетъ-ли вѣстникъ избавленья открыть мнѣ жизни назначенье, цѣль упованій и страстей?»—г. Андреевскій побѣдоносно заявляетъ: «Ни въ какую эпоху не получилъ-бы онъ отвѣтовъ на эти вопросы».

Совершенно справедливо: ни въ какую эпоху нѣтъ отвѣтовъ на эти праздные вопросы. Но не въ этомъ и дѣло, а въ томъ—какія эпохи окрашиваются возникновеніемъ подобныхъ вопросовъ? Въ какія эпохи они могутъ заполнить духовные интересы людей большихъ и искреннихъ и дать пищу для бездѣльнаго кокетничанья міровой скорбью людямъ маленькимъ и неискреннимъ? Пронія г. Андреевскаго бьетъ совершенно мимо цѣли. Безъ сомнѣнія «въ эпоху реформъ» Лермонтовъ не плавалъ-бы какъ рыба въ водѣ и освобожденіе крестьянъ не предоставило-бы ему возможности вѣчно любить одну и ту-же женщину. Но, какъ отмѣчаетъ въ той-же книжкѣ самъ г. Андреевскій, Некрасовъ, поэтъ вполне земной и никогда не задававшійся вопросами о «жизни назначеній, о цѣли упованій и страстей», тоже не какъ рыба въ водѣ плавалъ въ эпоху реформъ. Что будете дѣлать! Большіе люди всегда очень требовательны и нелегко превращаются въ весело плавающихъ рыбъ,—все-то имъ мало! Что касается до возможности или невозможности вѣчно любить одну и ту-же женщину, то самъ по себѣ этотъ деликатный вопросъ не имѣетъ ровно никакого отношенія къ освобожденію крестьянъ. Я рѣшаюсь, однако, утверждать, что въ «эпоху реформъ» людей мучительно задумывающихся надъ этимъ вопросомъ и скорбящихъ о невозможности вѣчной любви, бываетъ меньше, чѣмъ въ эпохи реакцій. Мимоходомъ сказать, въ знаменитомъ стихотвореніи, на которое здѣсь намекаетъ г. Андреевскій, ничего собственно не говорится специально о любви въ женщинѣ: «Любить, по кого-же? На-время не стоитъ труда, а вѣчно любить невозможно». Я думаю, что безотрадный смыслъ этихъ строкъ гораздо шире и глубже, чѣмъ тотъ, ко-

торый ему приписывается г. Андреевскимъ. Но въ данномъ случаѣ это для насъ, пожалуй, безразлично.

Что такое «эпохи реформъ»? что такое «эпохи реакціи»? Г. Андреевскій смѣется надъ ними, но крайней мѣрѣ надъ ихъ чередованіемъ, какъ источникомъ вліянія на поэтовъ и поэзію. Г. Острогорскій, признавая, напротивъ, это вліяніе, сравниваетъ чередующіяся эпохи съ морскими приливами и отливами. Я-бы ничего не имѣлъ противъ этого, очень, впрочемъ, не новаго сравненія, если-бы оно не намекало на обязательность чередованія, въ такой-же мѣрѣ непреклонную, какая существуетъ, вѣдѣствіе космическихъ причинъ, для морскихъ приливовъ и отливовъ. Быть можетъ, и историческія событія зависятъ отъ космическихъ причинъ, но мы этой зависимости въ подробностяхъ теоретически не знаемъ и практически принимать въ соображеніе не можемъ. Я знаю, что отдѣльный человѣкъ нуждается въ отдыхѣ послѣ дѣятельности, во снѣ послѣ бодрствованія, но, кромѣ ничего не говорящей аналогіи, не вижу поводовъ для признанія «акцій и реакцій» обязательными для общества. Какъ-бы то ни было, но фактически приливы и отливы въ общественной жизни существуютъ. Въ эпохи приливовъ передъ людьми носится извѣстный болѣе или менѣе достижимый и болѣе или менѣе высокій идеалъ. Онъ руководитъ мыслями, чувствами, поступками людей и, въ мѣру своей возвышенности и достижимости, захватываетъ собою тайники ихъ души, наполняетъ ихъ собою. Приподнятый наличностью или предстояніемъ великаго дѣла духъ весь отдается этому дѣлу и примыкаетъ къ общей работѣ человѣчества, исчезающей въ перспективѣ прошедшихъ вѣковъ съ одной стороны, въ перспективѣ будущихъ вѣковъ съ другой. Предлежащее земное дѣло, озаренное блескомъ идеала, представляется человѣку столь значительнымъ, что скорбнымъ мыслямъ о тщетѣ всего земного здѣсь не можетъ быть мѣста. Это не значить, чтобы человѣкъ при этомъ какъ рыба въ водѣ плавалъ, чтобы у него не было скорбныхъ мыслей вообще, никакихъ; напротивъ, онѣ вполнѣ возможны, по это, навѣрное, не будутъ мысли о тщетѣ всего земного. Пока человѣкъ не любитъ, онъ можетъ скорбѣть о невозможности вѣчной любви; но если любовь, настоящая любовь его охватила, самый вопросъ о вѣчности или невѣчности любви отступаетъ,—человѣкъ просто любитъ. Какъ сказалъ въ свѣтлую минуту Баратынскій,

Не вѣчный для временъ, я вѣченъ для себя:
 Не одному-ль воображенью
 Гроза ихъ что-то говорить?
 Мгновенье миѣ принадлежитъ,
 Какъ я принадлежу мгновенью.

Г. Андреевскій приводитъ эти стихи въ этюдѣ о Баратынскомъ, но они ему не нравятся. Его прельщаетъ въ Баратынскомъ главная струя

его поэзии—«преходимость всего земного, жажда вѣры, вѣчный разладъ разума и чувства и, какъ послѣдствіе этого непримиримаго разлада, глубокая печаль». Какъ видите, это та самая черта, которую г. Андреевскій усвоиваетъ и Лермонтову, въ качествѣ наиболѣе характерной для его поэзии и наиболѣе привлекательной. Она можетъ, конечно, прельщать лично г. Андреевскаго, можетъ быть имъ пропагандируема, какъ нѣчто высокое или красивое, но почтенный критикъ дѣлаетъ нѣчто большее, на что, пожалуй, уже и не имѣетъ права. Онъ утверждаетъ, что разладъ разума и чувства составляетъ постоянное, всегдашнее условіе человѣческой природы; что мучительныя думы о тщетѣ всего земного, о невозможности вѣчно любить и т. п. приеуци человѣку всегда и при всѣхъ обстоятельствахъ; только, дескать, въ чуткихъ, пронизательныхъ и глубокихъ натурахъ вродѣ Лермонтова (а пожалуй, и Баратынскаго) онѣ достигаютъ особенной, наглядной напряженности и, такъ сказать, самосознанія. Лермонтовъ лишь мучительно ясно пошмалъ и гениально выразилъ то положеніе между небомъ и землей, на которое всегда и всѣ люди обречены, но котораго простые смертные не чувствуютъ, благодаря либо слѣпой вѣрѣ, либо столь-же слѣпому увлеченію маленькими, переходящими земными дѣлами. Поэтому-то и смѣшины г. Андреевскому предположенія или увѣренія, что въ иное время иными были-бы и характеръ и содержаніе поэзии Лермонтова.

Прежде всего фактически невѣрно утвержденіе г. Андреевскаго, что современные Лермонтову общественные порядки «не вызвали у него ни одного звука протеста». 16—17-лѣтнимъ мальчикомъ Лермонтовъ написалъ драмы «Menschen und Leidenschaften», «Странный человѣкъ» беззаглавную, неоконченную повѣсть, называемую обыкновенно «Горбунъ», изъ которыхъ видно, какъ глубоко и болѣзненно возмались въ это великое юное сердце впечатлѣнія окружающей жизни, въ томъ числѣ и впечатлѣнія крѣпостного права. Въ этомъ отношеніи особенно замѣчательна повѣсть «Горбунъ». Это дѣтское по формѣ, но отнюдь не дѣтское по мысли произведеніе написано на сюжетъ изъ исторіи Пугачевщины (за нѣсколько лѣтъ до «Капитанской дочки» и «Исторіи Пугачевского бунта» Пушкина). Дѣтски напыщеннымъ языкомъ, съ дѣтски трескучими эффектами, но мужественно рѣзко и страстно изображены здѣсь ужасы крѣпостного права и ужасы возстанія и мести рабовъ. Говоря объ этихъ юношескихъ произведеніяхъ Лермонтова, г. Острогорскій справедливо отмѣчаетъ въ нихъ одну общую имъ любопытную черту: «противопоставленіе пошлой или безобразной жизни — личности протестующей, никогда съ этой жизнью не мирящейся и этимъ протпворѣчимъ съ своими нравственными требованіями страдающей». Перечисливъ затѣмъ героевъ Лермонтова, г. Острогорскій замѣчаетъ: «Во всѣхъ этихъ лицахъ несомнѣнно отразился тотъ-же протестующій, очень еще немногочисленный, но ослѣпительный русскій интеллигентъ, который

выступилъ у Грибоѣдова въ Чацкомъ во имя благороднаго заступничества за права человѣка». И далѣе: «у Лермонтова, который былъ и по натурѣ, и по обстоятельствамъ жизни самъ протестантомъ durch und durch, этотъ интеллигентъ долженъ былъ выступать, и въ самомъ дѣлѣ выступалъ, всего ярче и рѣзче. Это прямо обозначалось въ указанныхъ юношескихъ произведеніяхъ».

Передъ Лермонтовымъ всегда носился не вполне опредѣленный, но могучій и именно протестующій образъ, въ которомъ, въ какъ зеркалѣ, отражался его собственный духъ. Герой «Горбуна», Вадимъ,—тотъ-же Демонъ. Но, перенесенный въ опредѣленную, реальную житейскую обстановку, онъ выразительнѣе въ смыслѣ характеристики Лермонтова, несмотря на дѣтскую искусственность фабулы. Задача жизни Вадима—месть, личная, но естественно сливающаяся съ местию возставшихъ рабовъ. «Вадимъ имѣлъ несчастную душу, надъ которой иногда единая мысль могла приобрести неограниченную власть. Онъ долженъ былъ-бы родиться всемогущимъ или вовсе не родиться». Душой Вадима овладѣла месть, ради которой онъ готовъ на все, но личный характеръ этой мести лежитъ на ней пятномъ. Самъ онъ, или Лермонтовъ, или оба они вмѣстѣ жалѣютъ, что онъ не родился «напрямѣрь въ Греціи, когда турки угнетали потомковъ Леонида». Тогда великія душевныя силы Вадима нашли - бы себѣ достойное приложеніе. Очевидно, Лермонтовъ не раздѣлялъ мнѣнія г. Андреевскаго о безразличіи всякаго рода эпохъ для людей великихъ душевныхъ силъ. Главное, что цѣнить Лермонтовъ въ своемъ Вадимѣ, это—его непоколебимая воля; «непоколебимая желѣзная воля составляла все существо его, она не знала ни преградъ, ни остановокъ, стремясь къ своей цѣли». По этому поводу юноша Лермонтовъ предается слѣдующимъ размышленіямъ: «Воля заключаетъ въ себѣ всю душу, хотѣть значить — ненавидѣть, любить, сожалѣть, радоваться, жить; однимъ словомъ, воля есть нравственная сила каждаго существа, свободное стремленіе къ созданію или разрушенію чего-нибудь, отпечатокъ божества, творческая власть, которая изъ ничего создаетъ чудеса... О, если-бы волю мойпо было разложить на цифры и выразить въ углахъ и градусахъ,—какъ всемогущи и всезнающи были-бы мы!» Въ томъ - же «Горбунѣ» Лермонтовъ по другому поводу презрительно грустно замѣчаетъ, что «теперь жизнь молодыхъ людей болѣе мысль, чѣмъ дѣйствіе; герои въ пѣть, а наблюдателей черезчуръ много».

Какова-бы ни была безотносительная цѣнность юношеской философіи Лермонтова, по странно видѣть, что въ этюдѣ г. Андреевскаго много говорится о разладѣ разума и чувства въ Лермонтовѣ и пѣть ни слова о третьемъ элементѣ духа, о волѣ, которой поэтъ придавалъ такое первенствующее значеніе. Если-бы почтенный критикъ обратилъ вниманіе на эту сторону дѣла, поэзія и личная судьба Лермонтова освѣтилась-бы ему можетъ быть совсѣмъ иначе.

Надѣливъ горбуна Вадима духовными чертами Демона,—нечеловѣческой мощью и единовременнымъ родствомъ съ землею, съ небомъ и съ адомъ,—Лермонтовъ далъ ему реальную, земную цѣль въ жизни. Онъ скорбитъ, что цѣль эта недостаточно благородна, но она есть во всякомъ случаѣ, она овладѣла всѣмъ существомъ Вадима и наполнила его жизнь. Передъ огромными силами самого Лермонтова такой цѣли не стояло. Его воля, этому «свободному стремленію къ созданію или разрушенію чего-нибудь, отпечатку божества, творческой власти», не къ чему было прилѣпиться. Не могъ-же онъ, въ самомъ дѣлѣ, видѣть цѣль жизни въ томъ, чтобы въ превосходныхъ стихахъ колыхаться между небомъ и землею для удовольствія г. Андреевскаго и другихъ! Припомните знаменитую «Думу»: «Печально я гляжу на *наше поколѣнье...* *Въ бездѣйствіи* состарится оно... И жизнь ужъ насъ томить, какъ ровный путь *безъ цѣли...* Къ добру и злу постыдно равнодушны, въ началѣ поприща мы вянемъ *безъ борьбы*». Припомните «Монологъ»: «Къ чему глубокиа познаныя, жажда славы, талантъ и пылкая любовь свободы, *когда мы ихъ употребить не можемъ*». Правда, въ началѣ «Монолога» стоитъ строчка, сама по себѣ поддающаяся толкованію г. Андреевскаго: «Повѣрь, ничтожество есть благо въ здѣшнемъ свѣтѣ». Но какъ разъ влѣдъ за этой строкой, презрительно зачеркивающей все земное, идетъ и ограничительное объясненіе: ничтожество есть благо тогда, «когда мы употребить не можемъ» свои знанія, таланты и «пылкую любовь свободы». Что-же касается столь обаятельнаго для г. Андреевскаго паренія къ небесамъ и скорби о ничтожествѣ всего земного, то въ сценѣ «Журналистъ, читатель и писатель» поэтъ презрительно говоритъ: «Всѣ въ небеса неслись душою, зывали съ тайною мольбою къ Н. Н. невѣдомой красѣ,—и страшно надоѣли всѣ».

Я отнюдь не хочу сказать, чтобы Лермонтову были совершенно чужды гордыя попытки подняться въ сферу вѣчнаго и безконечнаго, передъ которою грязно или ничтожно все земное. Собственно самыхъ этихъ попытокъ мы не видимъ въ произведеніяхъ Лермонтова, но на-лицо ихъ результатъ: растопленные солнцемъ восковыя скрѣпы крыльевъ Дедала, печаль о невозможности для земнороднаго вырваться изъ предѣловъ земли. Скажу болѣе, Лермонтову не чужда была и та черта, которую отмѣчаетъ въ только-что упомянутой сценѣ журналистъ: «Порой влюбляется онъ страстно въ свою нарядную печаль». Но вѣдь мало-ли что предѣлывалъ Лермонтовъ. Извѣстно, какъ растрчивалъ онъ свои исключительно-огромныя силы въ житейскихъ отношеніяхъ. Не буду говорить теперь объ этомъ предметѣ, котораго уже однажды коснулся въ статьѣ «Дамскія воспоминашя о великихъ людяхъ» («Сочиненія», т. VI). Г. Андреевскій не хочетъ знать этой стороны дѣла. Онъ говоритъ: «У насъ любили загадывать, что-бы могло выйти изъ необъятныхъ силъ, скрытыхъ въ Лермонтовѣ, Огидриныхъ, болѣе благопріят-

ныхъ для него обстоятельствахъ. При этомъ выводили на справку его безнабашную жизнь и укоряли великосвѣтское общество. Пора-бы бросить это гадашье. Изъ Лермонтова вышель одинъ изъ великихъ поэтовъ міра: какой еще болѣе высокой роли, какой еще болѣе могучей дѣятельности отъ него требуютъ?!»

Отъ покойниковъ ничего не требуютъ. Но позвольте-же намъ поскорѣе объ участи великаго поэта, позвольте сочувствовать его скорби, потому что, вѣдь, и онъ скорбѣлъ. Г. Андреевскій самъ знаетъ это, какъ знаетъ и г. Острогорскій. Но г. Андреевскій полагаетъ, что скорбь Лермонтова была неисцѣлима никакими земнымъ средствами, потому что ему была ясна безцѣльность и ничтожество всего земного, великаго и малаго. Г. Острогорскій, напротивъ, думаетъ, что въ иную пору, при иныхъ условіяхъ, Лермонтовъ нашель-бы для себя достойную цѣль на землѣ. И мнѣ кажется, что г. Острогорскій совершенно правъ. Въ лирическихъ стихотвореніяхъ Лермонтова всякое можно найти. Оскорбленный неприможностью своихъ огромныхъ силъ, онъ иногда дѣйствительно издѣвался надъ всѣмъ земнымъ и порывался въ какой-то совсѣмъ иной міръ. Но и здѣсь, какъ видно изъ приведенныхъ примѣровъ «Думы» и «Монологъ», онъ неоднократно и ясно исповѣдывалъ свою жажду земной дѣятельности, борьбы, приложенія своихъ талантовъ и «пылкой любви свободы». Еще яснѣе это въ драмахъ и повѣстяхъ Лермонтова, въ которыхъ онъ всегда объектировалъ, подъ разнымъ освѣщеніемъ, свои собственныя мысли и чувства. Наплась-же земная цѣль для демоническаго Вадима, и даже не одна, а двѣ цѣли: одна реальная, личная месть, совпавшая съ местию возставшихъ рабовъ, и другая возможная—освобожденіе угнетенныхъ турками грековъ.

Г. Андреевскому кажется, что, усваивая Лермонтову положеніе внѣ категорій времени и пространства, онъ поднимаетъ поэта ужасно высоко, и что, наоборотъ, тѣ, кто скорбитъ о томъ, что обстоятельства не дали развернуться поэту во всю его мощь, ужасно унижаютъ его. И въ самомъ дѣлѣ, это вѣдь такъ возвышенно и красиво—колыхаться между небомъ и землей въ «нарядной печали» по вѣчности, въ тоскѣ отъ разлада между разумомъ и чувствомъ! Красиво, можетъ быть, но не возвышенно уже потому, что тамъ, гдѣ нѣтъ ни пространства, ни времени, нѣтъ и высокаго и низкаго, нѣтъ величины вообще. Высылая человѣка за предѣлы условій времени и пространства, мы тѣмъ самымъ совлекаемъ съ него вѣнецъ величія. Рѣшительно ничего возвышеннаго нѣтъ въ томъ, что человѣкъ, рисуясь разладомъ между разумомъ и чувствомъ, презрительно относится не къ тѣмъ или другимъ житейскимъ мелочамъ, а къ жизни вообще. Это просто условно красивая поза, въ которую любятъ становиться мелкотравчатые бездѣляники всегда, и въ которую въ исключительно тяжелыхъ условіяхъ становятся и крупные люди. Но не въ разладѣ разума и чувства состояла

бѣда Лермонтова или по крайней мѣрѣ разладъ этотъ игралъ лишь вторую, производную роль въ его скорби. Самый этотъ разладъ былъ слѣдствіемъ того, что первенствующій, по мнѣнію Лермонтова, элементъ духа, за отсутствіемъ точки приложенія, въ немъ бездѣйствовалъ. Припомните еще разъ Лермонтовское опредѣленіе воли: «Воля есть нравственная сила каждаго существа, свободное стремленіе къ созданію или разрушенію чего-нибудь, отпечатокъ божества, творческая власть». Лишь тогда человѣкъ можетъ проявить всю мѣру силъ своихъ, когда живетъ все существо его, когда его воля, возбуждаемая чувствомъ и руководимая разумомъ, направлена къ опредѣленной цѣли. И Лермонтовъ правъ, ставя волю такъ высоко. Если-бы его собственная воля имѣла опредѣленную точку приложенія, его разумъ и чувство не были бы въ разладѣ и онъ явился-бы передъ исторіей во весь свой дѣйствительно огромный ростъ. Какъ-бы ни восхищались мы звуками его лиры, но для него самого, въ его собственномъ сознаніи, это былъ лишь «жаръ души, растроченный въ пустынь». Есть поэты, напоминающіе собою сказочнаго мужичка съ ноготокъ, а бородка съ локотокъ, у которыхъ, иначе говоря, на рубашъ амбиціи, да на грошъ амуниціи. Тѣхъ не жаль, конечно, когда они, кокетливо драпируясь плащомъ разлада между разумомъ и чувствомъ, объявляютъ небо болѣе пристойнымъ для нихъ жилищемъ, чѣмъ комъ грязи, называемый землей. А если и жаль, такъ развѣ только въ томъ смыслѣ, въ какомъ жаль худосочныхъ институтокъ, ньющихъ укусу и глотающихъ всякую псевдобоваримую штучку, чтобы приобрѣсти интересную блѣдность лица. Такіе поэты, во-первыхъ, повѣрьте, чрезвычайно довольны сами собой и вовсе не испытываютъ тѣхъ мученій, которыя ими болѣе или менѣе красиво воспѣваются. А во-вторыхъ, признай они землю своимъ отечествомъ, своей родиной и могилой, отъ нихъ все равно на землѣ никому не станетъ ни теплѣе, ни холоднѣе. Ну, а Лермонтовъ другое дѣло. Какъ ни толкуйте, что въ сравненіи съ вѣчностью земной позоръ и горе все едино, что земная радость и счастье, а все-таки обидно, что жаръ такой души растратился въ пустынь. Обидно за великаго носителя этого жара души, обидно и за насъ.

О гр. Львѣ Толстомъ и о наркотикахъ.

Читая книжку г. Андреевскаго, о которой я говорилъ въ предыдущемъ письмѣ, я остановился на одной, вскользь брошенной авторомъ мысли, которая показалась мнѣ очень значительной. Я хотѣлъ съ нею именно начать настоящее письмо. Но, пересматривая для этого книжку вторично, я не нашелъ той значительной мысли. Фразу, соблазнившую меня, нашелъ, но въ ней нѣтъ того значительнаго смысла, который я въ ней вычиталъ, оказывается, по ошибкѣ. Говоря о «Братьяхъ Карамазовыхъ» Достоевскаго, г. Андреевскій замѣчаетъ, что слово «карамазовщина» «должно было-бы сдѣлаться всемірнымъ терминомъ для нашей эпохи. Подъ нимъ разумѣется высшій животный эгоизмъ, изгоняющій все трогательное, милое, поэтическое, этическое, самоотверженное и возвышенное ради всего осязательнаго, питательнаго и лакомаго. Вонзившись въ самую суть этой черты времени, Достоевскій отмѣтилъ ее неизгладимой царапиной львиного когтя. Не съ той-ли-же въ сущности «карамазовщиной» имѣетъ дѣло Эмиль Зола?.. Не съ той-же-ли «карамазовщиной» борется Левъ Толстой, отдавшій проповѣди почти невыполнимаго первобытнаго христіанскаго самопожертвованія?»

Вотъ эта послѣдняя фраза, на-счетъ гр. Толстого, и соблазнила меня. При первомъ чтеніи мнѣ показалось, что г. Андреевскій утверждаетъ, что гр. Толстой борется съ «карамазовщиной», въ немъ самомъ, въ гр. Толстомъ, сидящей. Это была-бы мысль, можетъ быть, нѣсколько парадоксальная, но защитимая и во всякомъ случаѣ интересная, отмѣчающая трагическую черту жизни великаго писателя. Оказывается, что гр. Толстой борется съ карамазовщиной, вокругъ него разлитой. Это—истина безспорная, но вѣдь такой борьбой занимались все моралисты и проповѣдники непоконя вѣка, изъ рядовъ которыхъ, слѣдовательно, эта черта ни мало не выдвигаетъ гр. Толстого. Черта

эта, какъ указываеь самъ г. Андреевскій, есть даже въ такомъ ординарномъ характерѣ и заурядномъ мыслителѣ, хотя и талантливомъ беллетристѣ, какъ Эмиль Зола. Да и какой-же писатель не борется въ мѣру его силъ и въ свойственныхъ ему формахъ изложенія съ животнымъ эгоизмомъ? Есть, правда, писатели, кладущіе эгоизмъ въ основу всей этики, но они отнюдь не изгоняютъ «все трогательное, этическое, возвышенное» и т. д., а лишь теоретически выводятъ эти категоріи изъ грубаго начала эгоизма. О предпочтеніи-же «лакомаго» возвышенному при этомъ нѣтъ и не можетъ быть рѣчи. Есть другіе писатели, полною рукою сыплющіе сѣмена животнаго эгоизма, но и они прикрываютъ свою позорную дѣятельность флагами, если не всегда «самоотверженнаго и возвышеннаго» (а бываетъ и это), то по крайней мѣрѣ «милаго и поэтическаго» или патріотическаго или еще какъ-нибудь. Формально, на словахъ, и они борются съ карамазовщиной, иногда чрезвычайно краснорѣчиво. Такимъ образомъ борьба съ карамазовщиной есть дѣло слишкомъ общее, чтобы имъ можно было характеризовать дѣятельность какого-нибудь писателя. Правда, г. Андреевскій индивидуализируетъ гр. Толстого указаніемъ на его «проповѣдь почти невыполнимаго первобытнаго христіанскаго самопожертвованія». Однако, это совсѣмъ невѣрная характеристика. Собственно самопожертвованія гр. Толстой нигдѣ не проповѣдуетъ. Любовь къ ближнему, непротивленіе злу, трудовой хлѣбъ, простота жизни, вредъ и безразличность роскоши, — вотъ обычныя темы проповѣдей гр. Толстого. Темы эти не противорѣчатъ идеѣ самопожертвованія, но и отнюдь не необходимо съ нею связаны. Въ общемъ гр. Толстой хочетъ научить насъ вовсе не подвигу самопожертвованія, а, напротивъ того, личному благополучію. Конечно, это рекомендуемое гр. Толстымъ личное благополучіе не имѣетъ ничего общаго съ карамазовщиной въ смыслѣ животнаго эгоизма или предпочтенія витательнаго и лакомаго возвышенному. Но это все-таки не проповѣдь самопожертвованія.

Гр. Толстой не оставляетъ своихъ читателей и почитателей надолго безъ новинокъ. Въ февральской книжкѣ лондонскаго журнала «Contemporary Review» появилась его статья «О винѣ и табакѣ», переводъ которой я нашелъ въ одной петербургской газетѣ. Попробуемъ на этомъ новѣйшемъ произведеніи нашего знаменитаго писателя прослѣдить его отношеніе къ карамазовщинѣ.

Пьянство, куреніе табаку, употребленіе гашина, опиума, морфія и проч. вредны. Это всѣ знаютъ. Омраченіе сознанія, достигаемое этими разнообразными способами, часто ведетъ за собой поступки легкомысленные или даже безнравственные, или вообще такіе, въ которыхъ приходится потомъ раскаиваться. Это тоже всѣ знаютъ. И однако, люди продолжаютъ одурять себя. Отчего это зависитъ? Гр. Толстой отказывается признать удовлетворительными общіяе отвѣты людей, которыхъ

спрашиваютъ, зачѣмъ они пьютъ или курятъ. «Пьемъ или куримъ, потому что все пьютъ и курятъ, потому что это приятно. потому что вино, опиумъ, табакъ разгоняютъ мрачныя мысли» и т. п. Это всепустяки. Привычка одурять себя наркотиками коренится гораздо глубже. И вотъ какъ разсуждаетъ гр. Толстой для извлеченія этого глубокаго корня.

Человѣкъ состоитъ изъ двухъ совершенно раздѣльныхъ существъ. Одно изъ нихъ «слабое и чувственное, другое одаренное зрѣніемъ и духовное». Первое есть ни что иное какъ машина, подлежащимъ образомъ заведенная на извѣстный періодъ времени. Второе-же «само ничего не дѣлаетъ, но только взвѣшиваетъ и оцѣниваетъ поведеніе чувственнаго существа, дѣятельно способствуя ему, если одобряетъ его поступки, и оставаясь въ сторонѣ, если не одобряетъ ихъ». Не совѣмъ, впрочемъ,—въ сторонѣ. Проявленіе духовнаго существа называется въ обыденной рѣчи совѣстью. Совѣсть отмѣчаетъ каждое разногласіе между чувственнымъ и духовнымъ существомъ. И такъ какъ эта отмѣтка неприятна, то люди стремятся или привести свои поступки въ согласіе съ предписаніями совѣсти, или-же утаить отъ самихъ себя отмѣтку совѣсти съ цѣлью продолжать жить, какъ жилось. Утаить отъ себя укоризненную отмѣтку совѣсти можно двояко. Можно просто развлекаться разными заботами и забавами. Такъ и поступаютъ люди «съ грубымъ или ограниченнымъ нравственнымъ чувствомъ». «У людей-же съ чувствительной нравственной организаціей такихъ механическихъ средствъ рѣдко бываетъ достаточно». Этого рода люди прибѣгаютъ къ непосредственному помраченію совѣсти при помощи наркотическихъ веществъ. Извѣстно, что трезвый человѣкъ совѣстится совершить многое изъ того, что легко, безъ зазрѣнія совѣсти продѣлываетъ онъ-же въ пьяномъ видѣ. «Девять десятыхъ изъ всего числа преступленій, пятнающихъ человѣчество», совершаются въ пьяномъ видѣ. Люди хорошо знаютъ способность алкоголя заглушать голосъ совѣсти и, задумавъ дурное дѣло, нарочно напиваются, чтобы привести его въ исполненіе. И другихъ напиваютъ, когда желаютъ «заставить ихъ совершить поступокъ, противный внушеніямъ ихъ совѣсти. На войнѣ солдатъ всегда подпиваютъ прежде, чѣмъ посылаютъ ихъ въ рукопашный бой. Во время штурма Севастополя все французскіе солдаты были совершенно пьяны». Такимъ образомъ, пьянство, какъ средство для омраченія совѣсти, хорошо знакомо людямъ. Но почему-то думаютъ, что употребленіе алкоголя въ умѣренныхъ дозахъ не производитъ того-же эффекта. Это—заблужденіе. Привычка предаваться возбуждающимъ средствамъ «въ большихъ или малыхъ дозахъ, періодически или-же постоянно, въ низшихъ или въ высшихъ слояхъ общества, всегда вызывается одной и той-же причиной, а именно необходимостью заглушить голосъ совѣсти, чтобы имѣть возможность не замѣчать разлада между настоящей жизнью и требованіями совѣсти».

Причины и эффекты куренія табаку гр. Толстой совершенно приравни-

ваетъ причинамъ и эффектамъ пьянства. Онъ подтверждаетъ это своимъ опытомъ. Теперь онъ бросилъ курить, но, когда курилъ, то, подобно всѣмъ курильщикамъ, утверждалъ, что куреніе помогаетъ ему излагать свои мысли на бумагѣ. Теперь онъ видитъ, что это пустяки. «Это значитъ,—говоритъ онъ,—вамъ нечего сказать или что мысли, которыя вы пытаетесь выразить, еще не созрѣли въ вашемъ сознаніи, онѣ только смутно зарождаются передъ вами, и живой критикъ внутри васъ самихъ, неотуманенный табачнымъ дымомъ, говоритъ вамъ это». Куреніемъ вы заглушаете голосъ этого внутренняго критика. «То, что казалось мелкимъ, негоднымъ, покуда мозгъ вашъ былъ еще свѣжъ и ясенъ, представляется вамъ великимъ, неподобнымъ; то, что поражало васъ своею неясностью, теперь уже не таково; вы относитесь слегка къ возраженіямъ, которыя могутъ вамъ встрѣтиться, продолжаете писать и къ радости своей убѣждаетесь, что можете писать быстро и много». То-же самое замѣчаль или, вѣрнѣе, теперь замѣчаетъ за собой гр. Толстой относительно разговоровъ и всякихъ житейскихъ дѣлъ: когда онъ курилъ, онъ при помощи папирасы не разрешалъ разныхъ встрѣчавшихся ему затрудненій, а обходилъ ихъ, одурманивая свою совѣсть. Вообще между привязанностью къ куренію и образомъ жизни есть прямая связь и взаимная зависимость. «Люди, предающіеся куренію, могутъ бросить его въ тотъ моментъ, когда они достигаютъ болѣе высокаго нравственнаго уровня». Наоборотъ, «куртизанки и психопатки курятъ все безъ исключенія», игроки почти все курильщики и т. д.

Я не буду останавливаться на всѣхъ сторонахъ диссертациі гр. Толстого. Не буду распространяться, напримѣръ, о грубости расчлененія человѣка на два отдѣльные существа, чувственное и духовное, о рискованности соображеній относительно умѣреннаго и неумѣреннаго употребленія вина, относительно одинаковости дѣйствія табака и алкоголя и проч. Сосредоточимся на главной мысли гр. Толстого—объ омраченіи совѣсти наркотиками.

Доказывая вредъ и безнравственность пьянства, гр. Толстой, конечно, борется съ карамазовщиной. Но борьба эта крайне своеобразна и отличительную черту ея составляетъ отнюдь не призывъ къ самопожертвованію. Объ немъ и помину нѣтъ, вся проповѣдь построена на началѣ личнаго благополучія, достигаемаго умѣреніемъ потребностей и спокойствіемъ совѣсти. Но и въ этомъ отношеніи гр. Толстой сходится съ весьма и весьма многими моралистами и проповѣдниками. Отличительная черта проповѣди гр. Толстого лежитъ не въ ней самой, не въ ея существенномъ содержаніи, а въ кое-какихъ подробностяхъ аргументаціи и въ одномъ любопытномъ приѣмѣ. Гр. Толстой есть человѣкъ необыкновенно развитой личной жизни. Еще въ то время, когда онъ занимался исключительно беллетристикою, онъ часто поэтическими образами иллюстрировалъ и комментировалъ движенія своей

собственной души, состоянія своего собственного сознанія. Таковы, не говоря уже о «Дѣтствѣ и отрочествѣ», князь Неклюдовъ въ «Утрѣ помѣщика», Оленинъ въ «Казакахъ», Левинъ въ «Аннѣ Карениной» и др. Статьи гр. Толстого о народномъ образованіи не оставляютъ мѣста никакимъ сомнѣніямъ въ этомъ отношеніи, такъ какъ въ нихъ прямо отъ лица автора высказывается многое изъ того, что объективировано въ герояхъ его повѣстей. Оглядываясь на эти старыя повѣсти и старыя статьи, мы видимъ, что гр. Толстого давно уже мучить мысль объ искусственности жизни такъ называемаго образованнаго общества. Испивъ чашу этой жизни до дна, гр. Толстой пожелалъ наполнить ее новымъ содержаніемъ. Главными условіями этого новаго содержанія должны были быть, во-первыхъ, успокоеніе совѣсти, оскорбленной прошлою грѣховною жизнью, во-вторыхъ, умѣреніе потребностей или пожалуй даже отбѣченіе тѣхъ изъ нихъ, удовлетвореніе которыхъ ведетъ къ грѣху и, слѣдовательно, опять къ ущемленію совѣсти. Значить, спокойная совѣсть, какъ цѣль, умѣреніе потребностей, какъ средство; однако не единственное средство. Цѣлью умозаключеній, напоминать которую было-бы здѣсь не у мѣста, гр. Толстой пришелъ къ мысли объ обязательности служенія народу и лично для себя выбралъ форму служенія педагогическаго. Все это онъ самъ изложилъ въ своихъ замѣчательныхъ педагогическихъ статьяхъ въ два приѣма—сначала въ «Ясной Полянѣ», потомъ въ «Отечественныхъ Запискахъ». Къ подвигу самопожертвованія гр. Толстой и тутъ никого не звалъ. Напротивъ, онъ манилъ людей прелестью счастья, испытаннаго имъ при служеніи народу, въ связи съ здоровою, умѣренною деревенскою жизнью. Манилъ на основаніи своего собственного опыта. Съ тѣхъ поръ служеніе народу постепенно отступало на задній планъ, но зато тѣмъ сильнѣе выдвигалось другое средство для достиженія здороваго духа въ здоровомъ тѣлѣ,—умѣреніе потребностей. Сдѣлавъ какой-нибудь шагъ въ этомъ направленіи, гр. Толстой, начиная съ «Иповѣди», немедленно сообщаетъ публикѣ благотворные результаты своего личнаго опыта и подыскиваетъ имъ теоретическія основанія. Такимъ образомъ мы послѣдовательно узнали, какъ онъ не только отрекся отъ роскоши въ обыденномъ смыслѣ слова, но и урѣзалъ или хочетъ урѣзать свою потребность художественнаго творчества и познанія, потребность участія въ общественной жизни противасіемъ злу, потребность физической любви. Теперь узнаемъ про новую побѣду его надъ самимъ собой: «достигнувъ болѣе высокаго нравственнаго уровня», онъ отказался отъ употребленія вина и табаку. Въ статьѣ, посвященной этому предмету, въ числѣ наркотиковъ не упоминаются чай и кофе. Это значить, что гр. Толстой ихъ еще употребляетъ. Если онъ отъ нихъ когда-нибудь откажется, что будетъ исполнѣнъ послѣдовательно, то мы получимъ новую статью на этотъ сюжетъ. Такимъ образомъ проповѣдь гр. Толстого есть всегда вмѣстѣ съ тѣмъ

его личная исповѣдь; въ этомъ именно состоитъ отличительная черта его борьбы съ карамазовщиной, придающая его писаніямъ такой жизненный характеръ, но и отражающаяся на нихъ нѣкоторою смутностью мысли.

Страшная исповѣдь!—скажетъ, можетъ быть, читатель; съ исповѣдью мы привыкли соединять понятіе о покаяніи, а тутъ человѣкъ разсказываетъ лишь о томъ, какъ онъ достигаетъ все высшаго и высшаго «нравственнаго уровня». Но дѣло въ томъ, что, дѣлая шагъ вверхъ по этой лѣстницѣ, гр. Толстой дѣйствительно кается въ своихъ предъидущихъ шагахъ. Такъ, всё свои прежнія беллетристическія произведенія, которыя, конечно, навсегда останутся украшеніемъ не только русской, а и всемірной литературы, гр. Толстой въ одинъ прекрасный день объявилъ празднословіемъ и преступнымъ потворствомъ лжи. Такъ, въ другой прекрасный день онъ объявилъ свою дѣятельность на поприщѣ пароднаго образованія плодомъ гордости и самолюбія. Такъ и теперь, отказавшись отъ табаку, онъ готовъ забраковать все имъ написанное въ то время, когда онъ былъ курильщикомъ. Къ сожалѣнію, автобіографическія показанія гр. Толстого всегда отличаются нѣкоторою неполнотою. Мы знаемъ, что онъ бросилъ курить и нынѣ пишетъ уже съ вполне ясною совѣстью, незатуманенною табачнымъ дымомъ, но когда именно совершился этотъ переворотъ и, слѣдовательно, какія именно свои произведенія онъ признаетъ теперь удовлетворительными, — не знаемъ. Это, впрочемъ, пожалуй, и не особенно важно. Что-бы ни говорилъ самъ гр. Толстой, но мы, его читатели, всегда предпочтемъ, напримѣръ, «Войну и миръ» статьѣ о вредѣ табака и вина. Хотя тогда онъ курилъ, а теперь бросилъ курить. Мало того: если мы согласимся съ мнѣніемъ гр. Толстого о дѣйстви табака, то можетъ закрасѣться сомнѣніе — да, полно, бросилъ-ли онъ курить? Писатель-курильщикъ, какъ мы видѣли, «относится слегка къ возраженіямъ, которыя могутъ ему встрѣтиться». Мнѣ кажется, что именно съ такимъ легкимъ отношеніемъ къ возможнымъ возраженіямъ написана вся статья о винѣ и табакѣ. Но если гр. Толстой говоритъ, что онъ пересталъ курить, значитъ, оно такъ и есть, и бѣда его на этотъ разъ не въ затемненной табачнымъ дымомъ совѣсти.

Бѣда, можетъ-быть, все въ томъ-же своеобразномъ осложненіи проповѣди исповѣдью. Вся диссертация гр. Толстого поражаетъ свою прямолинейностью и односторонностью. Убѣдившись, что отреченіе отъ куренія связано съ подъемомъ на высшій нравственный уровень, и натурально этимъ обрадованный, гр. Толстой даже и представитъ себѣ не можетъ, чтобы къ употребленію наркотиковъ могъ приводить людей какой-нибудь другой психической процессъ, кромѣ того, который онъ, гр. Толстой, наблюлъ въ себѣ самомъ (допустимъ, что это самонаблюденіе вполне вѣрно и точно). Между тѣмъ, этихъ процессовъ довольно много.

Извѣстно, что въ древности, да и нынѣ у многихъ народовъ, разные наркотики употребляются съ мистически - религіозными цѣлями. Употребленіе ихъ коренится въ вѣрованіи, раздѣляемомъ и гр. Толстымъ, что въ человѣкѣ сидятъ два отдѣльныхъ существа, чувственное и духовное; а затѣмъ наркотическія вещества, прекращая нормальный ходъ дѣятельности чувственного человѣка, освобождаютъ духовный элементъ, который духовными очами видитъ прошедшее и будущее, близкое и далекое. Гр. Толстой скажетъ, пожалуй, что разные лже-пророки и лже-провидцы вообще, прибѣгавшіе и прибѣгающіе для одуренія себя къ наркотикамъ, суть обманщики, которые, дескать, непременно должны предварительно заглушить свою совѣсть. Обманщики, дѣйствительно, были и есть среди лже-пророковъ и лже-провидцевъ; но, во-первыхъ, это, надо полагать, люди безсовѣтные, которымъ, стало-быть, печего и заглушать въ себѣ, а во-вторыхъ, рядомъ съ ними, несомнѣнно, были и есть люди, покрепнѣйшимъ образомъ убѣжденные въ томъ, что на нихъ сходить или въ нихъ освобождается какой-то духъ. Въ такихъ случаяхъ не только наркотики не для заглушенія совѣсти употребляются, а, напротивъ, совѣсть повелительно приказываетъ при извѣстныхъ условіяхъ наркотизироваться. Это признается священной обязанностью. И несмотря на всю нелѣпость вѣрованія, лежащаго въ основаніи этой религіозной практики, она имѣетъ за себя извѣстныя фактическія оправданія. Есть степень опьяненія, при которой относительно подавлены сознание и воля, но зато окрылена фантазія и, такъ сказать, открыты кладовыя бессознательнаго опыта, изъ которыхъ фантазія черпаетъ матеріалы для разныхъ, иногда причудливыхъ, а иногда поразительно вѣрныхъ дѣйствительности комбинацій.

Нѣтъ никакого сомнѣнія и въ томъ, что употребленію наркотическихъ веществъ силою и рядомъ предаются отнюдь не тѣ «люди съ чувствительной нравственной организаціей», которыхъ особенно имѣетъ въ виду гр. Толстой. Опьяненіе само по себѣ составляетъ извѣстное наслажденіе, преимущественно для грубыхъ натуръ, ни въ какомъ заглушеніи совѣсти не нуждающихся. Объ этомъ даже странно какъ-то говорить. Возьмемъ лучше случаи, повидимому, очень подходящіе къ толкованію гр. Толстого. Припомните конецъ монолога Мармеладова въ «Преступленіи и наказаніи». Прійдетъ, говорить Мармеладовъ, день судный и разсудитъ Господь всѣхъ. «И когда уже кончить надъ всѣми, тогда возглаголетъ и намъ: выходите, скажетъ, и вы! выходите пьяненькіе, выходите слабенькіе, выходите соромники! И мы выйдемъ всѣ, не стыдясь, и станемъ. И скажетъ: свищи вы! образа звѣринаго и печати его; но прийдите и вы! И возглаголятъ премудрые, возглаголятъ разумные: Господи, но что сихъ приємлени? И скажетъ: потому ихъ приємлю, премудрые, потому приємлю, разумные, что ни единый изъ нихъ самъ не считалъ себя достойнымъ сего. И простретъ къ намъ

рудѣ свои, и мы припадемъ... и заплачемъ... и все поймемъ!.. и все поймутъ!..»

Мармеладовъ есть человѣкъ съ очень чувствительной нравственной организаціей и вмѣстѣ съ тѣмъ горькій пьяница, то есть, повидимому, самая подходящая иллюстрація къ разсужденію гр. Толстого. На самомъ дѣлѣ, однако, жестокій талантъ Достоевскаго изобразилъ здѣсь драму чрезвычайно сложную и рѣшительно не вмѣщающуюся въ предлагаемыя гр. Толстымъ рамки. Не одна совѣсть щемитъ Мармеладова, какъ это видно уже изъ его твердой увѣренности, что Господь не отринетъ его въ судный день, не одна совѣсть, а и обида. И не для заглушенія сложной внутренней боли пьянствуетъ онъ, а наоборотъ, для обостренія ея. Онъ говоритъ кабатчику: «Думаешь-ли ты, продавецъ, что этотъ полуштофъ твой мнѣ въ сласть пошелъ? Скорби, скорби некаль я на днѣ его, скорби и слезъ, и вкусилъ, и обрѣлъ».

Но Мармеладовъ, какъ и большинство дѣйствующихъ лицъ въ произведеніяхъ Достоевскаго, можетъ показаться чѣмъ-то искусственнымъ или по крайней мѣрѣ неключительнымъ въ своей мучительной сложности. Обратимся къ примѣру, приводимому самимъ гр. Толстымъ: солдаты, передъ рукопашной битвой, всегда напиваются; при штурмѣ Севастополя всѣ французскіе солдаты были совершенно пьяны. Спрашивается, съ которой стороны этотъ фактъ можетъ служить подтвержденіемъ тезиса гр. Толстого о пьянствѣ, какъ средствѣ заглушить голосъ совѣсти? Французскіе солдаты, иди на штурмъ Севастополя, готовились къ дѣлу, за которое имъ нечего было угрызаться совѣстью, они исполняли свой солдатскій долгъ, какъ исполняли его и русскіе солдаты, отбивавшіе приступы; совѣсть имъ приказывала дѣлать именно то, что они дѣлали, и однако они предварительно напились или ихъ напоили. Судя по нѣкоторымъ прежнимъ писаніямъ гр. Толстого, можно думать, что онъ возразилъ-бы на это слѣдующее: солдаты идутъ убивать людей, а совѣсть всегда протестуетъ противъ убійства. какими-бы условіями оно ни было обставлено, этого-то червяка и нужно заморить въ солдатахъ опьяненіемъ. Увы! это не совсѣмъ справедливо, даже совсѣмъ несправедливо, какъ видно уже изъ того, что гр. Толстой говоритъ лишь о рукопашной схваткѣ. Стрѣлковъ, должно быть, не напиваются, а вѣдь они тоже людей убиваютъ. Если и дѣйствительно заглушается въ этомъ случаѣ голосъ протестующей противъ убійства совѣсти, то опьяненіе играетъ при этомъ развѣ лишь послѣднюю, грубую роль. Ставъ на точку зрѣнія самого гр. Толстого, пришлось-бы признать, что протестующій противъ убійства голосъ совѣсти заглушается въ данномъ случаѣ всѣми тѣми психическими наслоеніями, которыя называются дисциплиной, долгомъ, военною честью, патриотизмомъ и т. д. Я знаю, что гр. Толстой не отступилъ-бы передъ этимъ выводомъ, не испугался-бы его, но долженъ-же онъ признать, что кромѣ наркоти-

ковъ, есть множество другихъ, чисто психическихъ вліяній на совѣсть. Кто-же не знаетъ объ опьяненіи любви, объ экстазѣ патриотизма, объ увлеченіи примѣромъ, объ опьяненіи славы и т. п. Съ другой стороны, если посмотрѣть на штурмующихъ Севастополь пьяныхъ французскихъ солдатъ просто, безъ излишнихъ изворотовъ мысли, то, кажется, и сомнѣваться нельзя, что они напились или ихъ напоили для временнаго подъема энергіи и для заглушенія страха, а отнюдь не совѣсти.

Существуютъ, конечно, случаи, когда наркотики употребляются дѣйствительно для заглушенія голоса совѣсти. Но сказать, что употребленіе наркотическихъ веществъ *«всегда вызывается одной и той-же причиною»*, а именно желаніемъ заглушить «вопіющій разладъ между настоящею жизнью и требованіями совѣсти», сказать это—значить чрезвычайно легко относиться къ возможнымъ возраженіямъ. Оставимъ въ сторонѣ случаи наркотизаціи съ мистическими дѣлами, ради доставляемаго ею наслажденія и т. п. Съюзимъ вопросъ до тѣхъ предѣловъ, которые намѣчаетъ гр. Толстой, сосредоточимся лишь на тѣхъ случаяхъ, когда наркотики употребляются для заглушенія разлада между обстоятельствами жизни и требованіями внутренняго голоса. И все-таки этотъ внутренній голосъ нельзя сводить къ одной совѣсти, къ одному чувству виноватости. Въ медицинѣ наркотическія вещества употребляются для достиженія анестезіи и аналгезіи, то-есть притупленія чувствительности вообще или ощущенія боли въ частности. Въ жизни паркозомъ достигается психическая аналгезія. Весьма вѣроятно, что всякая душевная боль, въ концѣ-концовъ, сводится къ мучительному разладу между требованіями сознанія и обстоятельствами жизни. Сюда подходит и ущемленная совѣсть, какъ выраженіе разлада между сознаніемъ челоуѣка и его собственнымъ поступкомъ, сознаніемъ не одобряемымъ. Но это частный случай, рядомъ съ которымъ возможны и дѣйствительно существуютъ другіе частные случаи. Во французскихъ солдатахъ, штурмовавшихъ Севастополь, заглушенію подлежалъ разладъ между чувствомъ самосохраненія, привязанности къ жизни, и предстоящимъ опаснымъ дѣломъ. Въ безчисленномъ множествѣ другихъ случаевъ сознаніе протестуетъ противъ дѣйствительности опять-таки не въ формѣ ущемленной совѣсти, а въ формѣ жгучей обиды, оскорбленной чести. И всякій разъ, какъ сознаніе челоуѣка становится въ противорѣчіе съ обстоятельствами его жизни, открывается опасность наркоза со всей прелестью даваемого имъ забвенія и со всеми его вредными послѣдствіями. А затѣмъ ветунасть въ свои права привычка.

И такъ, источники пристрастія къ наркотикамъ многообразны и разнообразны. Если гр. Толстой не замѣтилъ этого многообразія и до поразительности опростилъ чрезвычайно сложный вопросъ, то это объясняется его склонностью соединять проповѣдь со своею личною исповѣдью: онъ не хочетъ знать иныхъ путей, кромѣ тѣхъ, которыми самъ

прошелъ. Не будь этой его особенности, онъ могъ-бы столь-же горячо возставать противъ пьянства, которое есть, конечно, порокъ и несчастье; но онъ увидѣлъ-бы, что пьянствуютъ не только сознательно виноватые, а и безъ вины виноватые, и совсѣмъ не виноватые, и наконецъ такіе, передъ которыми другіе виноваты.



Объ Іудѣ предателѣ и о XIX передвижной выставкѣ.

Іуда Искаріотъ затмилъ собою всѣхъ предателей, историческихъ и легендарныхъ, дѣйствительно осквернившихъ когда-либо своимъ существованіемъ землю и созданныхъ или подкрашенныхъ воображеніемъ и стоустою молвою. Это позорное безсмертіе досталось Іудѣ, конечно, не за самый фактъ предательства, который слишкомъ не рѣдокъ, чтобы не найти себѣ многихъ историческихъ или легендарныхъ воплощеній, однаково выразительныхъ. Предатели всегда были и посейчасъ между нами ходятъ. Іуда обезсмертилъ себя прежде всего не самымъ фактомъ предательства, а его объектомъ: онъ предалъ Мессію, надежду и Верховнаго Учителя милліоновъ исповѣдующихъ христіанское ученіе. Исторія пригвоздила предателя, въ лицѣ Іуды Искаріота, такъ высоко, что онъ видѣнъ всему человѣчеству, даже за предѣлами среды вѣрующей христіанъ. Предатели всегда были и посейчасъ между нами ходятъ, это вѣрно. Но, во-первыхъ, они не составляютъ всенароднаго позорища, а во-вторыхъ, они ходятъ, а не висятъ. Ученые толкователи св. писанія и историки христіанства задумываются надъ мотивами поступка Іуды, надъ самою обстановкой предательства. Они говорятъ, напримѣръ, что тридцать сребрениковъ,—средняя цѣна одного раба по еврейскому закону,—слишкомъ незначительная цифра, чтобы предатель соблазнился именно деньгами. Они удивляются дагѣе, что Іуда долженъ былъ подлымъ поцѣлуемъ указать преслѣдователямъ личность Христа, котораго всѣ и безъ того достаточно знали и который съ справедливымъ и горькимъ упрекомъ сказалъ обступившей его толпѣ: «Какъ будто на разбойника вышли вы съ мечами и колыями взять Меня; каждый день съ вами сидѣлъ Я, уча въ храмѣ, и вы не брали Меня». Но каковы-бы ни были эти вымыслы относительно мотивовъ и обстановки Іудина дѣла, Іуда безсмертенъ именно въ очертаніяхъ евангельскаго разсказа.

Предатель изъ корыстныхъ цѣлей, въ чемъ-бы онъ ни состояли, изгрызенный потомъ совѣстью до самоубійства, — этотъ образъ пужень людямъ во всей его полнотѣ. Нѣтъ дѣла гнуснѣ предательства, потому что въ него приходятъ многообразныя черты подлости. Предатель одинаково презирается и простыми, и мудрствующими умами, и тѣми, кого онъ предаль, и тѣми, кому онъ ихъ предаль. Но обстоятельства все-таки часто складываются такъ, что общее презрѣнiе не казнить предателя явно, и самъ онъ не сознаетъ своей низости и благоденствуетъ. Такимъ пеходомъ человѣческая мысль и человѣческое чувство не могутъ удовлетвориться. Это не пеходъ, не конечный пунктъ исторiи предательства, не точка, а развѣ многоточiе, за которымъ должна слѣдовать по крайней мѣрѣ работа воображенiя, если ужъ замерла дѣйствительность. Неужели-же предатель такъ никогда и не сознаетъ своей гнусности? Очень можетъ быть и очень часто такъ и бываетъ. Но такая исторiя предательства не станетъ популярною, потому что это логически не полная исторiя, какой-то отрывокъ, на которомъ возмущенное предательствомъ чувство не можетъ остановиться. Оно подсказываетъ продолженiе исторiи предателя, то именно продолженiе, о которомъ повѣствуетъ евангелiе, — угрызения совѣсти, мучительныя до того, что и жизнь становится не мила Иудѣ. Вотъ почему образъ Иуды такъ понятенъ и такъ много говоритъ сердцу не только христіанъ. Подлужыческая древность, еще только что пепытавшая дуповенiе христіанства, очень быстро сроднилась съ этимъ образомъ и подсунула ему свою осину, о которой уже раньше ходила дурная слава. Уже Добрыня вѣшалъ убитаго имъ Змѣя Горынища на осину, уже злымъ вѣдмамъ и колдунамъ вбивали осиновые колья въ спину, и рядомъ съ Змѣемъ Горынищемъ народная легенда предложила повѣситься Иудѣ, и содрогаются съ тѣхъ поръ шеты осины, какъ содрогалась совѣсть предателя.

Были въ разныя времена попытки подставить Иудѣ другой пьеде-сталь. Такъ, запутанная мысль гностиковъ создала секту, поклонявшуюся предателю Иудѣ, наравнѣ съ ветхозавѣтнымъ змѣемъ-искусителемъ, убійцей Авеля Каиномъ и другими представителями зла въ ветхомъ и новомъ завѣтѣ. Запутанная мысль останавливалась и на томъ обстоятельстве, что, не соверши Иуда своего предательства, не проплль-бы своей драгоцѣнной крови Христосъ для искупленiя человѣчества. Переходя къ повѣйшему времени, можно указать романъ одного французскаго писателя (Петручелли де-ла-Гаттина), напечатанный въ формѣ мемуаровъ Иуды, въ которомъ предатель является фанатическимъ политическимъ дѣятелемъ, педовольнымъ тѣмъ, что Христосъ думаетъ лишь о небесномъ, а не о земномъ царствѣ. Но все подобныя созданиа ухищренной мысли меркли передъ простотою и законченностью евангельскаго разсказа, который оставался въ общемъ сознании непоколебленнымъ.

Съ другой стороны, не пускали корией и такія поправки, въ которыхъ негодующая мысль требовала для предателя болѣе сильной казни. чѣмъ какая ему назначена евангелиемъ. Такъ, въ первые вѣка христіанства существовала легенда, что Іудѣ не удалось повѣситься, что его попытку самоубійства во-время замѣтили и спасли его, что онъ потомъ еще довольно долго жилъ, страшно растолстѣлъ и едва могъ двигаться, что, наконецъ, однажды на него наѣхалъ экипажъ и раздавилъ его толстое брюхо. Салтыковъ въ своей удивительной сказкѣ «Христова ночь» тоже надбавилъ казни предателю. Вы помните тѣ страшныя слова проклятія, которыми Христосъ въ этой сказкѣ осудилъ Іуду на безсмертіе въ томъ именно видѣ, въ какомъ онъ цѣловалъ предаваемого. «О предатель! ты думалъ, что вольною смертію избавился отъ давившей тебя измѣны; ты скоро созналъ свой позоръ и поспѣшилъ окончить расчеты съ постыдною жизнью!.. Единый мигъ.—сказалъ ты себѣ,—и душа моя погрузится въ безразсвѣтный мракъ, а сердце перестанетъ быть доступнымъ угрызениямъ совѣсти. Но да не будетъ такъ. Сойди съ древа, предатель! да возвратится тебѣ выклеванная очи твои, да закроются гнойныя раны... Ты будешь жаждать—и тебѣ подадутъ сосудъ, наполненный кровью преданнаго тобою. Ты будешь плакать—и слезы твои превратятся въ потоки огненные, будутъ жечь твои щеки и покрывать ихъ струями. Камни, по которымъ ты пойдешь, будутъ вопіять: «предатель, будь проклятъ!» Люди на торжищахъ разступятся передъ тобою и на всѣхъ лицахъ ты прочтешь: «предатель, будь проклятъ!» Ты будешь искать смерти и на сушѣ, и на водахъ—и вездѣ смерть отвратится отъ тебя и пропишитъ: «предатель, будь проклятъ!..»

Это почти музыка, мрачнѣе погребальнаго звона. Но не смотря на то, что сказка Щедрина даетъ, повидимому, болѣе удовлетвореніе негодующему чувству, несмотря на ея художественную силу и высшую художественную правду. потому что вѣдь Іуда, въ самомъ дѣлѣ, безсмертенъ,—онъ безсмертенъ все-таки въ очертаніяхъ евангельскаго разказа.

Все это я думалъ по поводу картины г. Ге на передвижной выставкѣ. Подъ картиной написано: «Совѣсть (Іуда)». При лунномъ свѣтѣ «кремнистый путь блеститъ». Вправо отъ зрителя видна группа людей, удаляющихся изъ рамы картины, это—уводить Христа. Влѣво стоитъ Іуда и смотритъ взадъ удаляющимся. Онъ завернулся въ какой-то плащъ, стоитъ къ зрителямъ почти спиной, такъ что еле видна часть его лица, да и то слабо, благодаря полумраку. Почему это «совѣсть»? Угрызенія совѣсти, этотъ драгоцѣннѣйшій для насъ моментъ во всей исторіи Іуды, примиряющій насъ если не съ самимъ предателемъ,—это невозможно,—то съ человѣческой природой, въ достоинствѣ которой мы готовы были усомниться или даже отчаяться,—этотъ моментъ художникъ отваживается изобразить спиной предателя! Благодаря плащу, со-

всѣмъ окутывающему Іуду, и полумраку, вы развѣ только догадываться можете, что руки предателя, кажется, стиснуты, и если это полусудорожное движеніе, мало замѣтное, принять за выраженіе душевнаго волненія, то имъ и исчерпывается изображеніе совѣсти. Закройте правую сторону картины, сотрите подиесь, и иной подумаетъ, что передъ нимъ просто человѣкъ, которому вздумалось выкупаться въ лунную ночь и который теперь дрожитъ отъ холода и кутается въ какую-то хламиду. А между тѣмъ это Іуда, тотъ самый Іуда, страшная исторія котораго занимаетъ умы милліоновъ людей вирожденіе цѣлаго ряда вѣковъ. Замыселъ картины г. Ге очень смѣлъ, но смѣлость не всегда города беретъ. Чтобы достойно оцѣнить отвагу г. Ге, пройдитесь по выставкѣ немножко дольше и посмотрите на небольшую картинку г. Максимова «Любитель старины». Среди развалинъ, полузаросшихъ зеленью, сидитъ человѣкъ спиной къ зрителямъ. Можетъ быть это и въ самомъ дѣлѣ любитель старины, а можетъ быть просто случайно человѣкъ забрелъ въ развалины и приѣхавъ отдохнуть или набросать эскизъ развалинъ въ свою записную книжку, все-таки стариной, какъ стариной, не интересуясь. Страпная мысль показать намъ этого человѣка съ затылка и скрыть его лицо, на которомъ написанъ восторгъ любителя, сосредоточенное вниманіе, просто усталость, вообще то именно, что можетъ насъ заинтересовать и чего съ затылка никакъ не увидишь. Но такъ какъ неизвѣстный «любитель» самъ-по-себѣ нисколько не интересуется, то, пожалуй, и Богъ съ нимъ. Художникъ предлагаетъ намъ всмотрѣться въ затылокъ любителя старины, а мы не внемлемъ предложенію художника, но и не претендуемъ на это. Но, когда тотъ-же приѣмъ прилагается къ изображенію Іуды Искариота, мы не можемъ равнодушно позать плечами и пройти мимо. Слишкомъ ужъ велика претензія, слишкомъ смѣлъ замыселъ и, не говоря о прочемъ, слишкомъ трусливо исполненіе. Я сейчасъ вернусь къ этой трусости, господствующей на нынѣшней выставкѣ вообще.

Допустимъ, что «совѣсть» выражается не спиной Іуды, а всей его позой. Допустимъ, что удаляющаяся вправо толпа свидѣтельствуетъ, что сейчасъ тутъ, на этомъ мѣстѣ, гдѣ стоитъ Іуда, совершилось что-то значительное. Но и за всѣмъ тѣмъ поза Іуды, особенно въ полумракѣ, настолько не выразительна, что прочитать въ ней спеціальныя угрызения совѣсти никоимъ образомъ нельзя. Нѣкто замѣтилъ, что это можетъ быть совсѣмъ не Іуда, а, напримѣръ, проказенный, удаленный, въ силу его болѣзни, отъ людскаго сообщества и съ ужасомъ думаящій, что вотъ уйдетъ сейчасъ эта толпа изъ рамокъ картины, и онъ останется совсѣмъ одинъ. Можетъ быть. Можетъ быть, еще и разныя другія толкованія можно подвести подъ картину, съ тѣмъ только условіемъ, чтобы въ толкованія эти входилъ мотивъ одиночества. Эта сторона дѣла явственно подчеркнута. Но это не одиночество Іуды.

Говоря о прошлогодней передвижной выставкѣ въ «Письмахъ о разныхъ разностяхъ», я отмѣтилъ преобладаніе мотива одиночества, развитиіе и въ обиліи пейзажей, и въ обиліи картинъ, въ самый сюжетъ которыхъ входитъ одиночество, настоящее или предстоящее въ недалекомъ будущемъ, и въ картинахъ на темы распадающихся или не могущихъ сложиться общественныхъ союзовъ, и въ отсутствіи портретовъ общественныхъ дѣятелей. Въ общихъ чертахъ мы видимъ то-же самое и на нынѣшней выставкѣ. Пейзажей очень много и между ними можетъ быть наиболѣе выдающійся представленъ г. Шишкинымъ; написанъ онъ на Лермонтовскую тему: «На сѣверѣ дикомъ стоитъ одиноко на голой вершинѣ сосна». Одинокихъ людей тоже много. Кромѣ вышеупомянутыхъ «Иуды» г. Ге и «Любителя старины» г. Максимова, есть «Лиза» г. Загорскаго, на мотивъ изъ «Дворянскаго гнѣзда» Тургенева: Лиза сидитъ одна въ кельѣ. Есть «Тайная молитва» г. Богданова-Вѣльскаго: тотъ самый чудный мальчикъ, который фигурировалъ на прошлогодней выставкѣ въ картинѣ г. Богданова-Вѣльскаго. «Будущій иннокъ». теперь стоитъ колѣнопреклоненный въ лѣсу на «тайной молитвѣ». Того-же художника «Безпріютные»: въ перелѣскѣ, лежа навзничъ, умираетъ или изнываетъ отъ злой лихорадки старикъ-ниціи, а возлѣ него сидитъ все тотъ-же мальчикъ и съ безпомощной тоской смотритъ на своего спутника. «Въ теплыхъ краяхъ» г. Ярошенко: дама, очевидно, обреченная на курсъ леченія гдѣ-нибудь на водахъ, одиноко сидитъ въ яркой обстановкѣ, рѣзко контрастирующей съ болѣзненнымъ видомъ дамы. Того-же художника «Проводилъ»: старикъ стоитъ на платформѣ желѣзно-дорожной станціи и смотритъ влѣдъ удаляющемуся поѣзду, — старикъ остался одинокъ. «Идеальность» бар. Клодта: одинокій художникъ трудится надъ картиной въ какой-то мансардѣ съ низкими окнами и потолкомъ. И т. д., и т. д. Я не отчетъ о выставкѣ пишу и не считаю себя призваннымъ не только судить о собранныхъ на ней художественныхъ красотахъ, по даже перечислять все, въ какомъ-нибудь отношеніи выдающееся. Я говорю лишь объ общемъ впечатлѣніи, производимомъ нынѣшнею выставкою, я думаю, не на одного меня. Впечатлѣніе это можно, кажется, передать словомъ скудость. Прежде всего, какъ и на прошлогодней выставкѣ, скудость самой жизни, отразившейся въ выставленныхъ картинахъ. Но на этотъ разъ бросается въ глаза еще какая-то скудость искусства.

Гербомъ или символомъ для значительной части нынѣшней выставки могла-бы служить «Сосна» г. Шишкина:

На сѣверѣ дикомъ стоитъ одиноко
 На голой вершинѣ сосна,
 И дремлетъ, качаясь, и снѣгомъ сыпучимъ
 Одѣта, какъ ризой, она.
 И снится ей все, что въ пустынѣ далекой.

Въ томъ краѣ, гдѣ солнца восходь,
Одна и грустна на утесѣ горючемъ
Прекрасная пальма растеть.

Одиночество безпросвѣтное, одиночество на яву и даже во снѣ. Насмотрѣвшись на вѣхъ этихъ «проводившихъ», удалившихся отъ міра въ тѣсѣ или отъ шумнаго свѣта въ «теплые края» или отъ собственной совѣсти па осипу, на вѣхъ «безпріютныхъ» и одинокихъ, съ нѣкоторымъ удивленіемъ остававшаяся передъ огромнымъ полотномъ г. Сурикова: «Взятіе снѣжнаго городка (Старинная казачья игра въ Сибири на масленицѣ)». Такъ все здѣсь ярко, пестро, шумно, такъ много народу, такой сосредоточенно удалой видъ имѣеть этотъ конный казакъ, на всемъ скаку разбивающій кулакомъ снѣжную стѣнку. Какъ попала сюда эта ватага веселыхъ, разряженныхъ людей? Зачѣмъ они здѣсь, въ этомъ царствѣ одинокой сосны, которая и во снѣ-то видитъ лишь столь-же одинокую пальму? Есть, конечно, на бѣломъ свѣтѣ и шумное веселье, и яркія одежды, но ихъ какъ-то странно видѣть на выставкѣ, какъ-бы посвященной воспроизведенію тоски или ужаса или муки одиночества.

Вотъ еще картина—«Печальная перспектива» г. Бухгольца. На кровати лежитъ исхудалый, явно приговоренный къ смерти человѣкъ. Возлѣ, слегка отъ него отвернувшись, сидитъ тоскующая въ виду явно «печальной перспективы» женщина, и возлѣ нея дѣвочка. Но для двухъ маленькихъ ребятишекъ, играющихъ на полу, печальная перспектива не существуетъ: въ невѣдѣніи своемъ они весело смѣются, тогда какъ завтра-же они могутъ очутиться въ положеніи вродѣ тѣхъ «безпріютныхъ», которыхъ нарисовалъ г. Богдановъ-Бѣльскій. Умирающій больной и скорбящая женщина производятъ впечатлѣніе, но дѣти, играющія на полу, и написаны, сколько я могу понимать, плохо, и непріятно поражаютъ утрированностью веселаго выраженія лицъ. Это уже слишкомъ беззаботно, да и едва-ли ребятамъ позволять такъ шумѣть у постели умирающаго. Г. Бухголецъ пересолитъ. Но зато это едва-ли не единственный пересоль мимики на всей выставкѣ. Напротивъ, въ мимикѣ замѣчается почти вездѣ обидный недосоль, а отсюда неопредѣленность, неясность, скудость. Скудная, одинокая жизнь вдобавокъ еще скудно или, пожалуй, скупо выражена.

Я не думаю, чтобы это можно было объяснить недостаткомъ талантности въ художникахъ. Такой, напримѣръ, художникъ, какъ г. Ярошенко, конечно, съумѣлъ-бы, если-бы захотѣлъ, подчеркнуть скорбь или раздумье или какое другое душевное состояніе старика, только что кого-то проводившаго. Но онъ не захотѣлъ придать этому образу излишнюю, по его мнѣнію, выразительность, побоялся власть въ живописную риторику и сосредоточилъ выраженіе драмы разлуки не въ лицѣ или позѣ старика, а во виѣшней обстановкѣ: поѣздъ ушелъ, старикъ остался одинъ, вамъ предоставляется самимъ сообразить, что

старикѣ тяжело. А старикъ самъ по себѣ, выдѣленный изъ этой подчёркивающей обстановки, слишкомъ не выразителенъ. Можетъ быть, это просто задумчивый отъ природы человѣкъ гуляетъ по платформѣ. Или вотъ, папримѣръ, «Идеалистъ» бар. Клодта. Почему это идеалистъ? Только потому, что онъ живетъ на чердакѣ. Онъ рисуетъ картину, но содержаніе ея намъ неизвѣстно и, значитъ, о какомъ-нибудь идеальномъ направленіи этого художника въ искусствѣ мы судить не можемъ. Лицо у него самое будничное, ординарное, слѣда какихъ-нибудь идеальныхъ восторговъ или помысловъ на немъ нѣтъ. Спора бѣтъ, «идеалистамъ» часто приходится жить на чердакахъ и мыслью витать въ небесахъ среди удручающей скудной обстановки. Но не единственная-же это и даже не безусловно необходимая черта «идеализма» въ искусствѣ. Это во - первыхъ, а во - вторыхъ, на чердакахъ живутъ не только художники-идеалисты, а и просто бездарные маляры, произведенія которыхъ не выглядываютъ изъ мастерскихъ и которымъ лучше было-бы попытать свои способности на какомъ-нибудь совѣтѣ иномъ поприщѣ. Можетъ быть, избображенный бар. Клодтомъ художникъ именно и есть такая бездарность. Можетъ быть, онъ совѣтъ не объ идеалахъ какихъ-нибудь думаетъ, а, напротивъ, о томъ, чтобы попикиантѣе нарисовать голую нимфу и продать ее холостому купеческому сынку; но его и на это не хватаетъ, а потому и съ чердака онъ никакъ не можетъ, при всемъ своемъ желаніи, перебраться въ квартиру получше.

Въ прошломъ году я очень восхищался картинкой г. Богданова-Бѣльскаго «Будущій нюкъ». Этотъ вдумчивый мальчикъ, мечтавшій, подъ рѣчи захожаго странника, объ удаленіи отъ грѣховнаго міра, на нынѣшней выставкѣ достигъ своей завѣтной цѣли, — онъ «на тайной молитвѣ» въ лѣсу. Естественно было-бы встрѣтить на его лицѣ восторгъ достигнутой цѣли, экстазъ молитвы, слезы умиленія, — но — увы! — это все тотъ-же проплогодній мальчикъ, прямо перенесенный изъ избы въ лѣсъ, такъ что онъ и перемѣнить выраженіе своего лица не успѣлъ. О перемѣнѣ въ судьбѣ мальчика и во всей его духовной жизни вы узнаете опять-таки не по лицу его, не по этому, какъ давно и справедливо сказапо, «зеркалу души», а по обстановкѣ: былъ въ избѣ, — перешелъ въ лѣсъ. На другой картинѣ г. Богданова-Бѣльскаго, «Безпріютные», все тотъ-же мальчикъ сидитъ возлѣ умирающаго старика-нищаго. Взглядъ мальчика, устремленный на умирающаго, такъ-же задумчивъ и сосредоточенъ, но на этотъ разъ художникъ внесъ въ лицо своего любимца выразительныя черты спеціальной для даннаго случая безпомощной скорби, а такъ какъ и старикъ очень выразителенъ, то эта картина составляетъ едва-ли не самый выдающійся нумеръ на выставкѣ. Мнѣ кажется, что и написана она превосходно, но объ этой сторонѣ дѣла я не берусь судить, — я пишу съ точки зрѣнія профана въ технику.

Я думаю, что въ «Безпріютныхъ» г. Богдановъ-Бѣльскій уловилъ

тотъ *modus in rebus*, отъ котораго одинаково далеки и г. Бухгольцъ съ своими слишкомъ уже громко и выразительно смѣющимися ребятиами въ одну сторону, и большинство картинъ нынѣшней выставки въ другую. Перебираю всю выставку въ своей памяти и, за исключеніемъ слегка подернутаго взгляда «безпріютнаго» мальчика на картинѣ г. Богданова - Вѣльскаго, не могу припомнить ни одной слезы. Винавать, вспомнить. Есть очень миленькая картинка г. Коровина «Отдули»: обиженный товарищами мальчишка реветъ. Но онъ именно реветъ, а не плачетъ и, конечно, черезъ минуту забудетъ свое огорченіе. А между тѣмъ, сколько поводовъ плакать горючими, страшными слезами для всѣхъ этихъ одинокихъ людей. Вотъ старикъ кого - то «проводить», можетъ быть, кого-нибудь дорогого и близкаго и, можетъ быть, на вѣчную разлуку, а что тамъ, вдали ждетъ этого уѣхавшаго, — лишенія, опасности, и старикъ будетъ въ своемъ печальномъ одиночествѣ тревожиться постоянною мыслью объ этихъ опасностяхъ. Вотъ дама, оставившая дома, можетъ быть, много страховъ и сомнѣній и, можетъ быть, прѣхавшая умирать въ роскошную природу «теплыхъ краевъ». Вотъ «идеалистъ», переживающій въ своемъ убогомъ чердакѣ скорби и радости всего міра. Вотъ «печальная перспектива». Вотъ картина г. Ницуса «Передъ отъѣздомъ на родину»: молодой человѣкъ отпилъ чай, уложилъ свой скудный багажъ и сидитъ въ ожиданіи чего - то, очевидно, очень грустнаго. Что его гонитъ: «судьбы-ли рѣшеніе? или на немъ тяготитъ преступленіе?» Вотъ «Старинная пѣсенка» г. Малышева: сѣдой старикъ, опутивъ голову, слушаетъ, какъ играетъ на рояли молодая дѣвушка; можетъ быть, старинная пѣсенка напоминаетъ старику зарытое въ могилѣ счастье или инымъ путемъ разбитыя золотыя мечты молодости. Вотъ Лиза изъ «Дворянскаго гнѣзда» съ разбитою жизнью. Вотъ, наконецъ, самъ Іуда, только что предавшій своего Христа и чувствующій первую схватку совѣсти. И — ни одной слезы! Согласитесь, что это странно до поразительности. Не сосны-же мы въ самомъ дѣлѣ, которымъ, какъ-бы опѣ ни были несчастны на яву и во снѣ, печѣмъ плакать. Осина, за цѣмъ-нѣмъ слезъ, по крайней мѣрѣ, задрожала, когда на ней повѣсился Іуда, и тѣмъ выразила свою скорби или негодованіе. А наши художники, выбирая горькіе сюжеты, порываютъ довести выразительность ихъ до минимума. Въ «зеркалѣ души» они хотятъ отразить какъ можно меньше, предпочитая яркой мимикѣ подогнанную къ обстоятельствамъ мертвую обстановку. Мало того, что они скупы на выразительность лица, они порываютъ еще по возможности закрыть, отвернуть въ сторону, закутать лицо. Г. Максимовъ, напримѣръ, прямо и просто отвернулъ отъ насъ «зеркало души» своего любителя старины. Г. Малышевъ такъ низко наклонилъ голову старика, слушающаго старинную пѣсню, что его лица совсѣмъ не видно. Г. Ге закрылъ лицо Іуды и ночнымъ мракомъ и позой.

Все это вмѣстѣ взятое дѣласть выставку блѣдной, скудной, и невольно задаешься вопросомъ: да отчего-же это такъ, таланта что-ли не хватаетъ у гг. художниковъ? Въ такомъ случаѣ имъ-бы ужь лучше и не браться за исполненіе сюжетовъ, которые имъ не подъ-силу, или по крайней мѣрѣ сбавлять тонъ подписей подъ своими картинами. Писать, напримѣръ, не «идеалистъ», а «бѣдный художникъ»; не «проводиль», а «проводиль до ближайшей станціи»; не «совѣсть (Иуда)», а хоть просто «Иуда». Но бѣда, очевидно, не въ недостаткѣ таланта, потому что мы имѣемъ передъ собою не плохую передачу извѣстныхъ душевныхъ состояній, а намѣренное уклоненіе отъ выразительности. Въ основѣ этого уклоненія есть, я думаю, здоровое начало, то самое, которое и всегда болѣе или менѣе заявляло себя, если не на академическихъ выставкахъ, то на передвижныхъ,—простота, трезвость, избѣганіе утрировки и кричащихъ эффектовъ. Это прекрасный принципъ, но вѣдь въ самомъ дѣлѣ *est modus in rebus*. Нынѣшняя выставка явственно показываетъ, что принципомъ простоты и трезвости можно также злоупотреблять, какъ и противоположнымъ принципомъ риторическаго преувеличенія дѣйствительности. Господа художники ужь слишкомъ трусятъ сантиментальности, яркаго выраженія страданій, яркой выразительности вообще. Они боятся пересола и впадаютъ въ недосоль, всячески сглаживая центръ тяжести всей картины, самаго ея смысла, на фізіономіяхъ дѣйствующихъ лицъ и перенося его по возможности на обстановку. Если эта манера утвердится окончательно, такъ, конечно, нашимъ художникамъ лучше не браться за трогательные сюжеты. Трогательный сюжетъ, нетрогательно выполненный,—кому это нужно? Спокойными, умѣренными, сдержанными чертами надо и соответственныя вещи рисовать, и тогда не будетъ разлада между задачей и исполненіемъ. И никто не станетъ съ недоумѣніемъ спрашивать: да почему-же это «идеалистъ»? гдѣ-же тутъ «совѣсть»?

Я возвращаюсь съ этимъ вопросомъ къ картинѣ г. Ге. Художникъ взялъ темой міровую легенду, страшную, раздирающую. Изъ всего евангельскаго разсказа онъ выбралъ самый интересный, но и самый трудный, чисто психологическій моментъ: не поступки Иуды, начинающіе и кончающіе исторію предательства, не полученіе цѣны крови Христа, не подлѣйшій изъ поцѣлуевъ въ исторіи, не самоубійство,—а «совѣсть». Смѣлость огромная, но при исполненіи г. Ге струсилъ и нарисовалъ чуть-что не пустое мѣсто. Не забудьте, что Иуда не нашъ сѣверный предатель, который, можетъ быть, дѣйствительно съ мрачнымъ спокойствіемъ пойдетъ къ осинѣ, когда его изгрызетъ совѣсть. Иуда—еврей, человѣкъ отъ природы склонный къ усиленной жестикуляціи во всѣхъ выходящихъ изъ ряда случаевъ жизни, радостныхъ и горестныхъ. Мы знаемъ, какъ торжествующій Давидъ скакалъ и игралъ во время богослуженія, знаемъ изъ Библии, что горе вообще и раскаяніе въ част-

ности выражалось у евреевъ воплями, раздираніемъ одеждъ, посыланіемъ головы пылью, воздыманіемъ рукъ къ небу и тому подобными яркими штрихами страстнаго чувства. И, конечно, Іуда, сознавъ ужасъ своего преступленія, долженъ былъ продѣлать надъ собой все эти неистовства прежде чѣмъ повѣситься. Онъ долженъ былъ именно рвать на себѣ волосы, драть одежды, проклинать себя, стукаться головой объ землю и, только увидавъ, что все это не можетъ заглушить воплей возмущенной совѣсти, удавиться. Правда, евангеліе ничего объ этомъ не говоритъ, но уже тотъ фактъ, что Іуда пошелъ къ подкупившимъ его и «бросилъ передъ ними полученныя имъ деньги», свидѣтельствуетъ о бурномъ волненіи чувства, выражавшемся соответственной жестикulyацией. А г. Ге, при всей смѣлости замысла, побоялся не только нарисовать такую страшную картину, но даже показать намъ «зеркало души» предателя», а самого его сдѣлалъ неподвижнымъ. Одно изъ двухъ: или художникъ не чувствовалъ въ себѣ силы нарисовать лицо раскаявашагося предателя своего Господа,—и мы поняли-бы эту скромность, потому что задача въ самомъ дѣлѣ изъ ряду вонъ трудная, но тогда не слѣдовало-бы и браться за нее; или-же, изъ боязни пересола, художникъ намѣренно ослабилъ краски, и въ такомъ случаѣ опять-же слѣдовало-бы предоставить смѣлую тему другимъ, менѣе боязливымъ художникамъ. Какъ вы ни вематривайтесь въ картину г. Ге, «совѣсти» вы въ ней не найдете. Если это предатель, то не грызомый совѣстью Іуда, а какой-нибудь другой, чья совѣсть, можетъ быть, очень удобно заглушается даже масляничными блинами, по рецепту гр. Толстого. Конечно, есть и такіе предатели, и даже очень много ихъ, и отчего-бы ихъ и не рисовать, но подписывать подъ ними громкія слова вроде «совѣсть», «Іуда» не приходится; «мерзавецъ обыкновенный»,—вотъ все, что можно подписать подъ такимъ изображеніемъ. Г. Ге ихъ рисовать не хочетъ, а Іуду, это воплощеніе сознавшей и казнившей себя ненарѣченной подлости,—не можетъ или боится, но все-таки отваживается при помощи художественныхъ уловокъ вроде ночного мрака и закутанной фигуры, имѣющихъ цѣлью ослабить выразительность вообще, выразительность «зеркала души» въ особенности.

Недостатокъ этотъ особенно бросается въ глаза въ картинѣ г. Ге, благодаря тому, что контрастъ между огромностью задачи и убавленностью, преуменьшеніемъ исполненія слишкомъ ужъ великъ. Но болѣе или менѣе недостатокъ этотъ проникаетъ всю нынѣшнюю передвижную выставку, составляетъ, за малыми исключеніями, самую ея характеристическую общую черту. Скупы стали господа-художники, непомѣрно скупы на выразительность. Избѣгая преувеличеній, они впадаютъ въ преуменьшеніе, и это печально.

Памяти Николая Васильевича Шелгунова.

«Похоронъ много, крестинъ нѣтъ». Такъ състрилъ кто-то на похоропахъ Елисеева. Острота удачная, хорошо характеризующая, по крайней мѣрѣ, одну сторону положенія дѣлъ въ современной нашей литературѣ. Одна за другой, съ трагическою быстротою, убываютъ старыя крупныя литературныя силы, и что-то не видать имъ на смѣну новыхъ. Разумѣется, не вѣчно будетъ такъ тянуться. Гдѣ-нибудь подростаютъ новыя силы и въ свое время яркимъ блескомъ озарятъ сиротѣющую литературу. Но когда-то еще это будетъ, а пока литература только сиротѣетъ, — похоронъ много, крестинъ нѣтъ. И вотъ еще похороны...

Не прошло еще, кажется, и двухъ мѣсяцевъ съ тѣхъ поръ, какъ вышли сочиненія Шелгунова съ моимъ предисловіемъ, въ которомъ я старался выяснить значеніе его, какъ писателя. Мнѣ нечего прибавить къ тому, что тамъ сказано, но при жизни Шелгунова я не могъ говорить о немъ, какъ о человѣкѣ; смерть развязываетъ мнѣ въ этомъ отношеніи руки.

Хорошенько не помню, когда я познакомился съ Шелгуновымъ. Это было, должно быть, лѣтъ пятнадцать тому назадъ, въ одинъ изъ его пріѣздовъ, кажется, изъ Калуги, гдѣ онъ тогда постоянно жилъ, въ Петербургъ. Намъ познакомили на какомъ-то литературномъ вечерѣ, потомъ онъ былъ у меня, потомъ скоро уѣхалъ. Въ этотъ разъ мы далеко не сошлись. Впоследствии онъ рассказывалъ мнѣ, что я произвелъ на него впечатлѣніе человѣка холоднаго, сухого, «головного», какъ онъ выражался. Онъ-же, каюсь, показался мнѣ просто неинтереснымъ, я обратилъ на него мало вниманія. Но когда Шелгуновъ поселился въ Петербургѣ и мы стали чаще встрѣчаться, наши отношенія быстро приняли дружескій характеръ. Въ концѣ 1882 г. намъ пришлось ѣхать вмѣстѣ въ Выборгъ, гдѣ мы вмѣстѣ-же и поселились. Мы про-

жили на одной квартирѣ, помнится, съ полгода, послѣ чего Шелгуновъ получилъ разрѣшеніе поселиться въ Царскомъ Селѣ, а потомъ и въ Петербургѣ. Скоро ему пришлось опять уѣхать, на этотъ разъ въ деревню, въ Смоленскую губернію. Оттуда онъ пріѣзжалъ изрѣдка въ Петербургъ по дѣламъ или для совѣщаній съ врачами, потому что уже давно прихварывалъ. Тутъ его и смерть настигла.

Если-бы я и раньше не успѣлъ приглядѣться къ Шелгунову, то одного совмѣстнаго житья въ Выборгѣ было-бы достаточно, чтобы проникнуться глубочайшимъ уваженіемъ и любовью къ этому человѣку. Я былъ такъ счастливъ, что встрѣчалъ въ жизни не мало истинно прекрасныхъ людей, но одно изъ первыхъ мѣстъ въ этой дорогой для меня портретной галлерей принадлежитъ Шелгунову. Не знаю, сумѣю ли я выразить словами его удивительную душевную красоту.

Шелгуновъ говаривалъ, что есть особенные люди, совмѣщающіе въ себѣ черты мужского и женскаго характера, и что это-то и есть настоящіе люди. Въ самомъ Шелгуновѣ, дѣйствительно, совмѣщались лучшія стороны мужского и женскаго типа. Судьба не баловала его, и мужественнѣе, чѣмъ онъ, нельзя было, я думаю, переносить ея иногда жесточайшіе удары. Закалится-ли онъ въ житейскихъ буряхъ, которыхъ ему пришлось вынести такъ много и такихъ разнообразныхъ, или ужъ такимъ уродился, но всякую свою личную бѣду онъ встрѣчалъ, не моргнувъ глазомъ. Прибавьте къ этому истинно женскую нѣжность сердца не просто добраго, а ласковаго, участливаго, тонко деликатнаго, и въ цѣломъ получится нѣчто столь-же рѣдкое, какъ и привлекательное, настоящій, цѣльный человѣкъ. Сочетаніе мужественной силы и женской нѣжности придавало какое-то особенное изящество всему обиходу Шелгунова, удерживая его отъ уклопеній какъ въ сторону грубости, которая иногда свойственна силѣ, такъ и въ сторону слабости, которая часто сливается съ нѣжностью. Я не былъ при Шелгуновѣ въ 1887 г., когда надъ нимъ стряслась послѣдняя и горшая бѣда, тяжелое семейное горе... Но потомъ мнѣ часто случалось бесѣдовать съ нимъ на эту печальную тему, и прямо говорю: прекраснѣе того зрѣлища, которое представляла собою въ эти минуты его душа, я ничего въ жизни не видалъ. Именно потому, что сочетаніе мужественнаго характера и нѣжнаго сердца особенно ярко выступало въ этомъ случаѣ. Но оно явственно сквозило и въ мелочахъ повседневной жизни. Мужественность и нѣжность въ немъ постоянно точно контролировали другъ друга, и я помню, что въ первое время нашего выборгскаго сожительства это меня даже стѣсняло. Надо сказать, что въ Выборгѣ ему пришлось ѣхать собственнo изъ-за меня, и мнѣ было передъ нимъ очень стыдно. Мнѣ было бы легче, если бы онъ хоть пожаловался на судьбу, которая послѣ долготѣхъ мятарствъ сдѣлала его совершенно безвиннымъ участникомъ моей бѣды. Но не только ни единой такой жалобы не слыхалъ я отъ

него хотя-бы въ намекѣ, а еще онъ-же утѣшалъ меня, придумывалъ отвлеченія и развлеченія. Это было до-нельзя трогательно, но вмѣстѣ съ тѣмъ и мучительно для меня, пока мы не «притерлись» другъ къ другу, какъ онъ выражался, пока я не понялъ, что это ужъ такой особенный человѣкъ, который не къ одному ко мнѣ такъ относится и котораго надо брать такимъ, какъ онъ есть.

Еще-бы не брать! Если-бы такихъ много было, мы бы въ раю жили. Не умъ и не талантъ Шелгунова были въ немъ особенно характерны, а полнота, многосторонность и уравновѣшенность души, которая зависѣла, можетъ быть, отъ того-же сочетанія лучшихъ чертъ мужского и женскаго типа. Это особенно сказалось во время его болѣзни. Умеръ онъ отъ воспаленія въ легкихъ, случайно схваченнаго на прогулкѣ за недѣлю до смерти. Но коренною его болѣзнию, которая все равно скоро доконала-бы его, былъ ракъ въ почкахъ. Онъ таялъ, какъ свѣчка, но какъ свѣчка-же и горѣлъ, и свѣтилъ ровнымъ свѣтомъ вплоть до конца. Прошлымъ лѣтомъ онъ ѣздилъ на Кавказъ, частію лечился, частію повидаться съ сыномъ. На возвратномъ пути въ Смоленскую губернію онъ заѣхалъ ко мнѣ въ Клинскій уѣздъ, гдѣ я жилъ на дачѣ. Увидѣвъ его, я изумился и испугался. Примѣрно за годъ, что мы не видались, онъ страшно исхудалъ и поблѣднѣлъ. Что-то мертвенное уже и тогда лежало на его лицѣ. Но это былъ все-тотъ-же мужественно-нѣжный Николай Васильевичъ, бодрый духомъ, полный общественныхъ интересовъ, занятый планами литературныхъ работъ. Тогда готовилось изданіе его сочиненій, и это его особенно занимало. Такъ какъ за годъ я успѣлъ немножко отвыкнуть отъ его обращенія, то онъ не замедлил меня скопфузить. Все мое участіе въ дѣлѣ изданія его сочиненій состояло въ томъ, что я по его просьбѣ сообщилъ эту мысль издателю, Ф. Ө. Павленкову, и затѣмъ передалъ Шелгунову благопріятный отвѣтъ, выраженный въ чрезвычайно симпатичной формѣ, да еще взялся написать предисловіе, что для меня самого составляло удовольствіе. Но Шелгунову всегда казалось, что онъ получаетъ слишкомъ много, а даетъ слишкомъ мало. «Чѣмъ я тебя отблагодарю?» Этотъ вопросъ мнѣ часто случалось отъ него слышать, и всегда онъ меня сначала конфузилъ, а потомъ смѣшилъ, потому что, при всемъ моемъ желаніи, мнѣ въ дѣйствительности ни разу не случалось оказать ему сколько-нибудь серьезную услугу. Бывало, просидишь у него, у больного, вечеръ, просидишь съ истиннымъ удовольствіемъ, а онъ—«чѣмъ я тебя отблагодарю?» Принесешь ему растегай въ 30 копѣекъ, о которомъ онъ наканунѣ говорилъ, — «чѣмъ я тебя отблагодарю»? И это была не фраза, — онъ дѣйствительно чувствовалъ себя обязаннымъ благодарностью и за ваше собственное удовольствіе или за растегай обдавалъ васъ нѣжностью. Въ послѣднее время онъ бывалъ ипогда очень раздражителенъ, вслѣдствіе сильнаго истощенія и періодическихъ жесто-

кихъ болѣй въ желудкѣ. Разъ, на какое-то мое невѣрное, по его мнѣнію, замѣчаніе о ходѣ его болѣзни, онъ сердито отвѣтилъ, что ему лучше знать, какъ онъ себя чувствуетъ, и что, дескать, коль ты чего не знаешь, такъ не надо и говорить. Черезъ какихъ-нибудь пять минутъ онъ просилъ у меня прощенья. «Да за что, голубчикъ Николай Васильевичъ?»—«Я тебѣ нагрубилъ»...

Написавши это, я подумалъ, что рисую передъ читателемъ что-то слащавое, приторное. Но ничего подобнаго не было въ дѣйствительности. Эта нѣжность и деликатность, которая въ моей передачѣ можетъ показаться утрированной и которая была-бы такою въ другомъ, въ Шелгуновѣ умѣрялась и уравновѣшивалась мужественной силой. Болѣзнь его была ужасно мучительна. Съѣвъ что-нибудь, онъ по простествію нѣкотораго времени чувствовалъ страшныя боли, которыя прекращались лишь выполаскиваніемъ желудка, то есть выведеніемъ изъ него только-что принятой пищи. Такимъ образомъ онъ постоянно либо былъ голоденъ, либо страдалъ отъ боли, и если-бы не случайное воспаленіе легкихъ, ему грозила-бы голодная смерть со всеми ея ужасами. Недѣли за три до смерти онъ взвѣшивался на вѣсахъ, и оказалось, что за время своего пребыванія въ Петербургѣ, около двухъ мѣсяцевъ, онъ, и безъ того уже исхудалый, потерялъ одинъ пудъ 8 фунтовъ. Тѣмъ не менѣе посторонніе люди находили иногда, что, хоть онъ очень похудалъ и измѣнился, но, повидимому, совсѣмъ здоровъ. Я самъ, бывая у него очень часто, видя его въ хорошія и въ дурныя минуты, зная отъ лечившаго его проф. В. А. Манассейна, равно какъ и приглашавшихся иногда другихъ врачей, весь ходъ его болѣзни, подчасъ диву давался. Онъ былъ веселъ, спокоенъ, читалъ, писалъ, а когда не могъ отъ физической слабости писать—диктовалъ, строилъ планы на будущее. Его умственная жизнь сохранилась во всей полнотѣ и силѣ, до самаго конца властно управляя изможденной плотью. Кто повѣритъ, что его статья въ только что вышедшемъ апрѣльскомъ номерѣ «Русской Мысли» продиктована (уже не написана) 66-лѣтнимъ старикомъ, умирающимъ голодною смертью?! Это молодой человѣкъ писалъ, полный жизни, полный вѣры въ жизнь. А это еще не послѣдняя его статья. Онъ уже началъ диктовать свои очередныя «Очерки русской жизни» для майской книжки журнала и довольно далеко подвинулъ ихъ впередъ.

Много уроковъ преподавалъ Шелгуновъ читателямъ за свою долгую литературную дѣятельность. Но цѣннѣе ихъ всѣхъ тотъ, который преподавалъ самую его жизнь, всю жизнь, а пожалуй и смерть. Говорятъ, что жаръ души, великодушныя идеалы, широкіе горизонты, готовность жертвовать собой, что все это атрибуты только молодости. Говорятъ, что житейскій опытъ подавляетъ и долженъ подавлять все это, клеймить собственные молодые порывы именемъ «завиральныхъ идей», подмѣниваетъ идеальныя стремленія другими, такъ называемыми

практическими, которыя въ сущности всё сводятся къ наживѣ и карьерѣ. Правду говорятъ: такъ бываетъ. Но неправда, что такъ всегда бываетъ, и вѣщная неправда, что такъ должно быть, что это какой-то естественный законъ роста. Гробъ Шелгунова провожала тысячная толпа, состоявшая, главнымъ образомъ, изъ молодежи, восторженно и умиленно настроенной. Глядя на эту толпу, я думалъ: что эти молодыя лица когда-нибудь избородятся морщинами, что эти русыя и черныя головы когда-нибудь посѣдѣютъ, это вѣрно; но чтобы всё эти молодыя сердца очерствѣли и молодые умы заплеснѣвѣли, это по крайней мѣрѣ не обязательно. Вѣдь вотъ умеръ-же человекъ «со знаменемъ въ рукѣ», какъ значилось на лентахъ одного изъ вѣнковъ, положенныхъ на гробъ Шелгунова. И въ этомъ великій урокъ. Ни годы, ни невзгоды не побѣдили Шелгунова, житейскій опытъ не состарилъ его души... Тысячи народу перебивали на квартирѣ Шелгунова, чтобы поклониться его праху, и всё видѣли, гдѣ онъ жилъ и умеръ: въ маленькихъ, низенькихъ комнатахъ на второмъ дворѣ. Опъ самъ очень точно описалъ это помѣщеніе въ апрѣльскихъ «Очеркахъ русской жизни», говоря о «картинѣ первыхъ, вторыхъ и третьихъ дворовъ (въ Петербургѣ), то есть узкихъ, глубокихъ колодезь, съ выгребными ямами на днѣ, съ неподвижнымъ, отравленнымъ воздухомъ, съ грязными, холодными, крутыми лѣстницами... Квартиры въ этихъ колодцахъ полусвѣтлыя, небольшія, затхлыя, въ которыя не проникаютъ ни воздухъ, ни солнце». И среди этой жалкой обстановки, среди жестокихъ физическихъ мукъ онъ только и мечталъ о дальнѣйшей литературной дѣятельности. О смерти онъ, можно сказать, до послѣднихъ минутъ не думалъ. Онъ не зналъ, что его точитъ неизлечимая болѣзнь, вѣрилъ, что скоро поправится, и если говорилъ о своей смерти, то такъ-же мимоходомъ, къ слову, какъ вѣзмъ и здоровымъ случается говорить. Онъ думалъ, что для него только еще наступаетъ періодъ настоящей старости, и за какую-нибудь недѣлю до смерти говорилъ, что устроить свою старость «по-молодому»,—подлинное его выраженіе. Это значило, что опъ будетъ работать усиленнѣе, чѣмъ когда-нибудь, соединивъ въ работѣ житейскій опытъ старости съ горячностью молодости. Зрѣлый возрастъ нехорошъ,—говорилъ опъ,—много соблазновъ, много чисто личной жизни. Въ старости ничего этого нѣтъ, надо только ее устроить по-молодому. Старый, больной, немощій, опъ чувствовалъ себя молодымъ, здоровымъ, богатымъ. Да онъ и былъ такимъ, только всё эти эпитеты надо перенести въ сферу духовной жизни. По случаю своей тяжкой болѣзни, слухи о которой давно ходили, онъ получилъ множество адресовъ. Ни у одного богача не найдется столько льстецовъ, а это были вдобавокъ и не льстецы. Какого богача провожаютъ тысячи на кладбище? Какому богачу поеть вѣчную память стоголосый хоръ добровольныхъ пѣвчихъ? И много-ли найдется молодыхъ и здоровыхъ людей, которые могли-бы написать такую статью,

какую къ обыкновену сроку доставилъ умирающій Шелгуновъ для журнала, въ которомъ онъ работалъ? Правда, похоронить его было не на что. Но частныя лица говорили мнѣ, что хорошо-бы похоронить Шелгунова на счетъ друзей и почитателей. Редакція «Русской Мысли» прислала деньги на вѣнокъ и на похороны, но такъ какъ честь похоропъ уже принялъ на себя литературный фондъ, то я предложилъ редакціи обратиться остатокъ отъ присланной суммы на постановку памятника на могилѣ Шелгунова и получилъ ея согласіе. Конечно, этихъ денегъ мало, но надо думать, что не замедлятъ и другія пожертвованія.

Право, какъ сообразишь все это, то поневоѣ подумаешь, что измѣна идеаламъ добра и правды просто-таки невыгодна, что жить и умереть такъ, какъ жилъ и умеръ Шелгуновъ, даже прямой расчетъ. И въ писаніяхъ своихъ, и въ разговорѣ Шелгуновъ часто употреблялъ немножко неуклюжее слово «ячество». Это не эгоизмъ самъ-по-себѣ: какъ и все теоретики шестидесятыхъ годовъ, Шелгуновъ, — впрочемъ, менѣе послѣдовательно, чѣмъ другіе, — стоялъ за эгоизмъ, какъ за единственный принципъ, къ которому въ послѣднемъ счетѣ сводятся все основанія нравственности, подъ условіемъ извѣстной широты личныхъ горизонтовъ, способныхъ обнять и чужіе интересы, какъ свои собственные. «Ячество» есть эгоизмъ узкаго и односторонняго человѣка, который дальше своего носа ничего не видитъ, которому этотъ непомѣрно длинный носъ заслоняетъ собою весь міръ. Значительная часть всей литературной дѣятельности Шелгунова можетъ быть сведена къ борьбѣ съ этимъ «ячествомъ». Его-же подавлялъ онъ и въ себѣ, если только ему нужно было что-нибудь въ этомъ родѣ подавлять въ себѣ. И вотъ плоды...

Многочисленные сочувственные адреса, — естественные цвѣты и плоды, выросшіе изъ сѣмянъ, имъ самимъ посѣянныхъ, — чрезвычайно поднимали духъ Шелгунова и много помогали ему бороться съ недугомъ и самою смертью. Я не фразу пишу, а записываю мнѣніе врачей. Не надо было, впрочемъ, быть специалистомъ, чтобы понимать, что въ маленькой, темной комнатѣ на заднемъ дворѣ огромнаго дома на Воскресенскомъ проспектѣ сильный духъ борется съ изможденною плотью, борется и побѣждаетъ, потому что Николаій Васильевичъ и умеръ непобѣжденнымъ. Несмотря, однако, на бодрящее впечатлѣніе, которое производили на него сочувственные адреса и письма, онъ зорко слѣдилъ за тѣмъ, чтобы не «возгордиться». «Вижу, — говорилъ онъ, — что прожилъ не даромъ и еще хочу жить не даромъ, много жить; одного боюсь: какъ-бы не возгордиться. Я ужъ и теперь замѣчаю, что сталъ что-то больно увѣренно и властно говорить». Скромность его была поразительна, доходя даже до наивности. Сначала онъ былъ изумленъ и сконфуженъ адресами и письмами, а между тѣмъ читатели уже давно привыкли съ нетерпѣніемъ ждать его статей въ «Русской Мысли» и искать въ

нихъ руководящаго отклика на свои сомнѣнія. Исключительно блестящіе таланты, рядомъ съ которыми Шелгунову приходилось работать въ старые годы,—Чернышевскій, Добролюбовъ, потомъ Писаревъ,—заслонили его. И едва-ли много найдется людей, которые принимали-бы выпавшую имъ на долю вторую роль съ такимъ спокойнымъ достоинствомъ, съ такимъ искреннимъ и открытымъ уваженіемъ къ первымъ нумерамъ, какъ Шелгуновъ. Однако и тогда его имя было однимъ изъ самыхъ замѣтныхъ и почтенныхъ въ литературѣ. А съ тѣхъ поръ и обликъ литературы значительно измѣнился, да и самъ Шелгуновъ выросъ. Онъ совсѣмъ бросилъ компилятивную и популяризирующую работу, которая у него отнимала прежде много времени, и сосредоточился на руководящей публицистикѣ. Для него наступила вторая молодость. Его «Очерки русской жизни», полные свѣта и тепла, читались съ жадностью. Въ нихъ опы, въ необыкновенно живой формѣ, боролся на старости лѣтъ за идеалы своей молодости. Эта борьба составляетъ одну изъ лучшихъ страницъ во всей современной русской литературѣ. Въ ней уже сказалась та «старость по-молодому», о которой Шелгуновъ мечталъ лишь какъ о будущемъ: молодая вѣра, молодая надежда, молодая любовь, умудренный житейскимъ опытомъ, или пожалуй наоборотъ—житейскій опытъ, согрѣтый молодымъ энтузіазмомъ и энергіей.

Необыкновенная душевная красота Шелгунова окружала его какимъ-то сіяніемъ даже въ такихъ случаяхъ, которые, казалось-бы, ничѣмъ нельзя скрасить. Возьмите, напримѣръ, положеніе хронически голоднаго человѣка, въ которомъ находился Шелгуновъ въ послѣднее время. Ъсть хочется, а съѣсть что-нибудь—начинаются боли; для прекращенія боли вышолощетъ желудокъ и опять голоденъ. Казалось-бы, воркотня, стоны, жалобы—вотъ чего надо исключительно ждать отъ человѣка, осужденнаго вертѣться въ этомъ страшномъ колесѣ. Бѣдному Николаю Васильевичу и приходилось иногда ворчать, стонать и жаловаться. Но его изящная, тонкая нервная организація и тутъ находила выходы или обходы. Первый обходъ состоялъ въ томъ, чтобы заглушать боль или голодь работой или разговоромъ на тему, способную сильно заинтересовать. Миѣ не разъ случалось заставить Шелгунова въ трудномъ положеніи: лежитъ пластомъ, бонется пошевелиться, чтобы не начались боли, еле говорить можетъ. Слабымъ голосомъ объявляетъ: «говори сегодня ты, я не могу, я слушать буду». Такъ какъ я хорошо зналъ, чѣмъ можно его заинтересовать, то миѣ не трудно было выбрать подходящую тему. Смотришь, Николай Васильевичъ понемножку говорить начинаетъ, поворачивается, садится и черезъ какую-нибудь четверть часа совсѣмъ другой человѣкъ сталъ. Это было поразительно. Другой обходъ состоялъ въ томъ, чтобы «ѣсть нервами». Когда онъ былъ настолько крѣпокъ, что могъ выходить, онъ просилъ иногда сводить его въ трактиръ. Не всегда онъ чувствовалъ себя хорошо въ такихъ случаяхъ,

но иногда приходилось удивляться и его аппетиту, и его бодрому расположению духа. Сказалъ я ему однажды, что дома ему лучше обѣдать, потому что дома и провизія и приготовленіе достовѣрнѣе, чѣмъ въ трактирѣ, а у него желудокъ плохъ. «Въ томъ-то и дѣло, что желудокъ плохъ,—отвѣчалъ онъ,—и желудокъ, и кишки, какъ безсильныя тряпки. Я теперь не желудкомъ ѣмъ, а глазами, ушами, нервами, воображеніемъ,—миѣ нужно, чтобы кругомъ оживленіе было, чтобы людей много было, чтобы музыка играла». И затѣмъ пошли нѣжныя, ласковыя слова, какъ только онъ умѣлъ ихъ говорить, въ благодарность за то, что пообѣдалъ съ нимъ въ трактирѣ.

Такъ боролся Шелгуновъ съ недугомъ и смертию... Вѣчная тебѣ память, милый, дорогой Николай Васильевичъ! Вѣчная память мужественному, вѣчная память нѣжному, вѣчная память человѣку!

Опять объ отцахъ и дѣтяхъ.

«Обломки разбитаго корабля. Сцены у мировыхъ судей шестидесятихъ годовъ», — какъ понимать это заглавіе недавно вышедшей книжки г. Никитина? Считаетъ-ли г. Никитинъ разбитымъ кораблемъ судебную реформу 1864 г., въ частности институтъ мировыхъ судей, а можетъ быть всю эпоху шестидесятихъ годовъ? Или-же, напротивъ того, «разбитый корабль» есть въ данномъ случаѣ символическое обозначеніе тѣхъ формъ жизни, которыя были упразднены эпохою реформъ? Можно толковать и такъ, и этакъ, потому что г. Никитинъ не объясняетъ своего заглавія, а содержаніе книжки, да и логика жизни допускаютъ оба толкованія. И эта возможность двойственного толкованія очень характерна для переживаемаго нами времени. Мы находимся на нѣкоторомъ распутіи и не только въ заглавіи книжки г. Никитина, а и въ самой жизни едва-ли можемъ съ безповоротною рѣшительностью указать, что именно заслуживаетъ названія разбитаго корабля. Прислушайтесь къ рѣчамъ нашихъ рыцарей попятнаго движенія. Среди звуковъ торжества и ликованія, вы часто услышите минорныя ноты, вздохи по невозвратно прошедшему, скорби о настоящемъ, опасенія за будущее. Они какъ будто очень довольны положеніемъ вещей, а какъ будто и совсѣмъ недовольны. И они съ своей точки зрѣнія правы и въ томъ, и въ другомъ случаѣ. Они могутъ, конечно, найти немало поводовъ для ликованія, если имѣть въ виду судьбу того или другаго учрежденія, получившаго свое начало въ шестидесятихъ годахъ; но если «посмотрѣть да посравнить вѣкъ нынѣшній и вѣкъ минувшій» въ цѣломъ и за болѣе продолжительный періодъ, то окажутся умѣстными и минорныя ноты.

Въ книжкѣ г. Никитина напечатаны 82 «сцены у мировыхъ судей» изъ двухъ слишкомъ тысячъ, записанныхъ и большею частію на-

печатанныхъ составителемъ въ разныхъ газетахъ четверть вѣка тому назадъ. Какая-нибудь неполная сотня сценъ — не Богъ знаетъ какой матеріалъ для характеристики «разбитаго корабля», что-бы мы подъ разбитымъ кораблемъ ни разумѣли. Можно найти много и много книгъ, безъ сравненія болѣе значительныхъ въ этомъ отношеніи. Но эти сценки, снятыя живьемъ съ патуры, безъ всякой системы и задней мысли, изображающія разные повседневные житейскіе случаи, имѣютъ тоже свою цѣну. Онѣ наглядно показываютъ, съ какимъ матеріаломъ приходилось имѣть на первыхъ порахъ дѣло мировому суду и какое воспитательное значеніе онъ могъ имѣть въ ряду другихъ факторовъ жизни. Въ предисловіи г. Никитинъ напоминаетъ тотъ необыкновенно живой интересъ, съ которымъ самая разнообразная публика посѣщала камеры мировыхъ судей и затѣмъ читала и обсуждала «сцены у мировыхъ судей», почти ежедневно печатавшіяся въ газетахъ. Немудрено: и сущность, и самыя формы новаго суда открывали невиданные горизонты, которыми, какъ это и всегда бываетъ съ новыми горизонтами, одни были довольны, другіе недовольны. Остановимся на недовольныхъ. Они любопытны, какъ предшественники нынѣшнихъ хулителей судебной реформы и вообще начинавшаго шестидесятихъ годовъ.

Контръ-адмиралъ Арбузовъ заказывалъ дважды платье портному Соколову. Во второй разъ Соколовъ послалъ ему, по недосугу, брюки съ другимъ портнымъ, не подмастерьемъ своимъ (онъ работалъ одинъ), а штучникомъ, Волковымъ. Адмиралъ Арбузовъ, узнавъ такимъ образомъ Волкова, сталъ заказывать платье уже непосредственно ему, а не Соколову, а когда Волковъ его надулъ на 18 руб. съ копѣйками и скрылся, онъ пожелалъ взыскать эти деньги съ Соколова. Мировой судья постановилъ въ негѣ адмиралу Арбузову съ Соколова отказать. Дѣло само по себѣ очень простое, но оно любопытно по обстановкѣ. Адмиралъ остался недоволенъ не только рѣшеніемъ судьи, но и его поведеніемъ во время суда. Онъ подалъ въ мировой сѣздѣ жалобу, которая началась такъ:

«По прошенію моему въ 16-й участокъ мировому судѣ, 24-го мая приглашенъ былъ въ судъ, куда иридя, взомель за перегородку, видя дверцы отворенными, заднія банки все полныя, въ передней банкѣ занятой подошелъ къ судѣ, чтобы спросить поближе у письмоводителя, здѣсь-ли отвѣтчикъ, но, еще не получивъ отвѣта, былъ пораженъ грознымъ возгласомъ: «Ваше превосходительство, садитесь за *рѣшетку*». Подобная фраза въ народѣ имѣетъ значеніе мѣста для арестантовъ, что и произвело улыбку удовольствія на отвѣтчикѣ и другихъ, ему подобныхъ. Эта дерзость, грубость, невѣжество до того поразили меня, что я, шатаясь отъ неожиданности оскорбленія, выпелъ за перегородку, а не рѣшетку, свойственную тюремъ-мамъ и острогамъ; по выходѣ сядяція лица, сочувствуя моему положенію, вѣжливо предложили мѣсто, гдѣ, опомнясь, спросилъ, обращаясь къ обществу, что значитъ посадить за рѣшетку, тогда судья напомнилъ молчаніе. Услыша по очереди призывы г. судьи: «г. Арбузовъ и г. Соколовъ», кс-

нечто, по идѣ социализма или непонятнаго *этицизма*, часто повторяемой отъ многихъ неучей мышления, какъ будто ведущихъ къ прогрессивности, что, къ сожалѣнію, отъ непониманія сущности ведетъ наше должное развитіе къ ущербу съ понятіемъ о ложномъ, мнимомъ равенствѣ состояній или закона, часто слышанныхъ, къ сожалѣнію, отъ многихъ мировыхъ судей, при народномъ собраніи разбирательства исковъ, въ чемъ мое опредѣленіе подвергаю рѣшенію судей, какъ здраво мыслящихъ по непреложнымъ законамъ природы».

И т. д., и т. д., еще много подобнаго-же краснорѣчія, въ которомъ даже ки. Мецкерскій долженъ, кажется, уступить пальму первенства адмиралу Арбузову. Мировой съѣздъ постановилъ прошеніе Арбузова по дѣлу его съ Соколовымъ оставить безъ послѣдствій, а за оскорбительныя выраженія, употребленныя какъ противъ мирового судьи 16-го участка, такъ и прогивъ всего мирового института,—передать прошеніе прокурорскому надзору для преслѣдованія Арбузова уголовнымъ порядкомъ.

Аналогично дѣло генералъ-лейтенанта Симборскаго съ мѣщаниномъ Лопатинымъ, надѣлавшее въ свое время много шума. Пересказывать его не стоить. Отмѣтимъ только, что рѣшеніе мирового судьи было встрѣчено аплодисментами и одобрительными возгласами многочисленной публики, такъ что судья долженъ былъ остановить эти знаки одобренія звонкомъ и пояснить, что въ судѣ не допускаются выраженія одобренія или порицанія. Тѣмъ не менѣе, генералъ Симборскій, оскорбительными выраженіями о мировомъ судѣ, довелъ мировой съѣздъ до постановленія о передачѣ его апелляціоннаго отзыва прокурорскому надзору для уголовного преслѣдованія.

Купецъ Екимовъ тоже недоволенъ мировымъ судомъ. Онъ, вмѣстѣ съ сыномъ, ни за что, ни про что избилъ двухъ служившихъ у него въ лавкѣ деревенскихъ мальчиковъ. Купецъ Екимовъ во время разбирательства держитъ себя чрезвычайно развязно, ругаетъ мальчиковъ-истцовъ «погашцами», «ворамп». Судья его бѣсновливаетъ, онъ не ушмается. Наконецъ, происходитъ такой діалогъ между судьей и Екимовымъ: «Повторяю, не смѣйте такъ выражаться, не то я васъ оштрафую.—Кого? меня-то? Я самъ членъ Думы и также знаю, что можно и что нѣтъ. Пугать насъ нечего, сами все разумѣемъ.—Штрафую васъ 2-мя рублями и, если вы еще станете такъ вести себя, я васъ удалю изъ присутствія.—Штрафуйте себѣ, коли охота, а только этимъ ворамъ не слѣдъ потачку давать: вы, гг. судьи, и то ужъ весь народъ избавляли за годъ-то.—Извольте выйти изъ присутствія.—И выйдемъ, благо и стоять-то тутъ понапрасну намъ некогда: въ Думу надо. Прощайте, ухожу.—Совеѣмъ уходить не смѣйте: вы обвиняемый, должны быть на-лицо въ судѣ. Въ другой комнатѣ подождите, пока я васъ позову». Судья присуждаетъ отца и сына Екимовыхъ къ уплатѣ избитымъ мальчикамъ по 35 р. каждому. «Екимовъ-отецъ злобно сверкаетъ глазами и весь дрожитъ отъ ярости».

Недоволенъ неизвѣстный, то-есть не названный по фамилии статскій совѣтникъ. Онъ явился въ камеру мирового судьи единственно затѣмъ, чтобы возвратить повѣстку, которою вызывался въ судъ его сынъ, и объяснить, что сынъ его не явится; потому что, говорить онъ, «благовоспитанному молодому человѣку, только что вступающему въ жизнь, ходить по судамъ не подобасть, да-съ, не подоба-есть... мало прилично»... Дальнѣйшее изложеніе мыслей статскаго совѣтника идетъ все crescendo, такъ что судья велитъ, наконецъ, его вывести и штрафуетъ.

Недовольна барыня, привлеченная своей горничной къ суду за оскорбленіе. Она уже тѣмъ недовольна, что ей, «принадлежащей къ вышему кругу, гдѣ привыкли понимать и выражаться по-французски такъ-же легко, какъ и по-русски», судья рекомендуетъ оставить французскій языкъ. А въ концѣ судоговоренія она «предпочитаетъ жаловаться на униженіе насъ ради нихъ... на пограніе нашего дворянскаго достоинства въ угоду чери».

Недоволенъ сапожнйй мастеръ Филипскій, который по недѣлямъ держалъ своего одиннадцатилѣтняго ученика *на цѣпи*. Не отрицая факта, онъ находилъ, что имѣетъ право держать своихъ учениковъ на цѣпи въ видахъ ихъ исправленія, а потому жаловался въ сѣздъ на приговоръ судьи (арестъ на мѣсяць). Сѣздъ посмотрѣлъ, однако, на дѣло строже, чѣмъ судья, и передалъ дѣло Филипскаго прокурорскому надзору.

Недоволенъ купеческій сынъ Михѣевъ. Онъ шутку шутилъ съ пьянымъ крестьяниномъ Бородинымъ: науськалъ его пробѣжаться по улицѣ, въ 25-ти градусный морозъ, нагишомъ, а самъ тѣмъ временемъ спрятавъ его платье, такъ что Бородинъ отморозилъ себѣ ноги и проболѣлъ пять недѣль. Мировой судья приговорилъ Бородина къ аресту за безобразіе, а Михѣева за подстрекательство къ аресту-же и къ уплатѣ Бородину 15 рублей. Михѣевъ остался недоволенъ, но удовлетворенія не получилъ.

Недоволенъ купецъ Денисовъ, который только всего и сдѣлалъ, что насыпалъ ремесленнику Федюлову нюхательнаго табаку и въ носъ, и въ глаза, всю фізіономію, словомъ, обсыпалъ, а его за это судья приговорилъ къ уплатѣ 50 рублей въ пользу потерпѣвшаго. Впрочемъ, купецъ Денисовъ только поторговался, а не подавалъ жалобы на рѣшеніе мирового судьи.

Фигурируютъ въ книжкѣ г. Никитина еще разныя другія недовольныя, но это все варіаціи на одну и ту-же тему. Если подвести итогъ всеѣмъ недовольствамъ, то окажется слѣдующее. По мнѣнію недовольныхъ, есть особая порода людей, надъ которыми можно всячески издѣваться: бить, нюхательнымъ табакомъ обсыпать, морозить, сажать на цѣпи и проч. И есть другая порода людей, къ которымъ слѣдуетъ относиться съ утонченнѣйшею деликатностью. Такъ, кромѣ вышеприведенныхъ примѣровъ, отставной полковникъ Д—въ, судившійся за из-

біеніе чловѣка, требоваль, чтобы этотъ чловѣкъ говорилъ ему не «нѣтъ», а «никакъ нѣтъ-съ», «точно такъ-съ» и т. п. Такъ, штабсъ-капитанъ Тр—скій, судившійся за избіеніе дѣвушки, негодовалъ на самомъ судѣ за то, что свидѣтель-дворникъ называетъ его въ третьемъ лицѣ «онъ»: «онъ долженъ говорить *они*, а не *онъ*, я это за дерзость считаю», объяснилъ Тр—скій. И т. д.

Не совсѣмъ, впрочемъ, вѣрно, что это двѣ разныя породы людей, или, по крайней мѣрѣ, трудно установить между ними границы. Тотъ самый сапожникъ Филипскій, который считалъ себя въ правѣ держать мальчика на цѣпи, какъ волченка или собаку, будучи помѣщенъ за одну «рѣшетку» или перегородку съ адмираломъ Арбузовымъ, вызваль-бы вѣроятно со стороны послѣдняго потокъ краснорѣчія на тему объ «ангелизмѣ». А неизвѣстный статскій совѣтникъ посмотрѣлъ-бы какъ на позоръ для своего сына, если-бы ему пришлось стоять рядомъ съ великолѣпнымъ купцомъ Екимовымъ, который, въ свою очередь, не можетъ даже на судѣ обойтись безъ сквернословія по адресу избитыхъ имъ «поганцевъ», «мужлаковъ», «мошенниковъ». Очень великолѣпенъ этотъ купецъ Екимовъ и очень презираетъ «мужлаковъ», но и его, въ свой чередъ, презираетъ неизвѣстный статскій совѣтникъ, а надъ статскимъ совѣтникомъ опять адмиралъ Арбузовъ или генералъ Симборскій высятся.

Спрашивается, разбить-ли этотъ корабль, одна половина груза котораго состоитъ изъ рублевой амбиціи при грошовой амуниціи, а другая—изъ жесточайшаго издѣвательства надъ чловѣческой личностью? Думаю, что во всякомъ случаѣ въ немъ пробиты такія бреши, которыя починить невозможно. И еще спрашивается: неужели-же амбиція Екимова или Арбузова и жестокое издѣвательство надъ всѣми, кто по своей слабости не можетъ оказать сопротивленія, неужели это и есть тотъ перлъ многоцѣнный, объ утратѣ котораго скорбятъ и старики, злобно брюзжащіе на эпоху реформъ, и молодые люди, торжественно отказывающіеся отъ «наслѣдства шестидесятихъ годовъ»? И да, и нѣтъ, хотя на вопросъ, поставленный столь обнаженно, конечно, никто не откликнется въ положительномъ смыслѣ: все-таки стыдно. Книжка г. Никитина, по самой задачѣ своей, то-есть въ виду предѣловъ компетенціи мирового суда, рисуетъ только одну сторону нашего дореформеннаго быта. Въ немъ, въ этомъ быту, не одинъ только этотъ перлъ сохранялся вѣками, о! далеко не одинъ. Но несомнѣнно, что сторона жизни, такъ безобразно выглядывающая изъ книжки г. Никитина, играла въ свое время существенную и многоопредѣляющую роль. Несомнѣнно также, что усилія брюзжащихъ и отказывающихся клонятся къ возстановленію именно этой стороны жизни. Клопаются, но въ концѣ-концовъ потерпятъ, я полагаю, фіаско, не смотря на временные успѣхи. Спора нѣтъ, и теперь, какъ и всегда, возможны всякія

безобразія, но та наивность, съ которою выступали на сцену Арбузовы и Екимовы, полагать надо, утрачена навсегда. Что ужъ, кажется, можетъ быть наивнѣе «Гражданина»? Онъ, повидимому вполне усвоилъ программу мадамъ Самъ-пью-чая въ опереткѣ «Чайный цвѣтокъ»: «бить и драть». Однако и онъ, подобно Адаму, вкусившему отъ плода древа познанія добра и зла, до извѣстной степени стыдится своей наготы. Онъ долженъ облекать свою программу,—если только можно серьезно говорить о его программѣ,—въ полуграмотныя риторическія украшенія, болѣе или менѣе газирующія суть дѣла. Стыдливость его, конечно, относительна и на иной взглядъ можетъ показаться полнымъ безстыдствомъ. Но куда-же, все-таки, ему до хрустальной ясности и простоты Екимова: «поганцевъ мужлаковъ надо бить», или во-истину барственаго презрѣнія Арбузова къ грамматикѣ: «по идеѣ непонятнаго англизма, часто повторяемой отъ многихъ неучей мыслиныя, какъ будто ведущихъ къ прогрессивности». А вѣдь еще «Гражданинъ» больше всѣхъ старается.

Къ этимъ старателямъ изъ стариковъ присоединяются молодые люди, «отказывающіеся отъ наслѣдства». Началась эта унія въ «Недѣль», но распространяется и далѣе. Недавно въ «Московскихъ Вѣдомостяхъ» были напечатаны двѣ статьи г. Розанова: «Почему мы отказываемся отъ наслѣдства?» и «Въ чемъ главный недостатокъ наслѣдства 60—70 годовъ?» Какъ отвѣчаетъ на поставленные имъ вопросы г. Розановъ, этого я въ подробностяхъ, по многимъ соображеніямъ, касаться не буду. Но меня поразила неумѣстность еще одного вопроса, съ которымъ авторъ обращается къ своимъ противникамъ. Онъ спрашиваетъ: «Въ сферѣ нравственной—относиться ко всѣмъ равно, ни въ какомъ человѣкѣ не переставать видѣть человѣка—не есть-ли для насъ долгъ?» Да, долгъ, но откуда, какъ не изъ наслѣдства шестидесятихъ годовъ, вы это узнали? Вы видите, что Екимовы и Арбузовы такого долга не знали. Мировымъ судьямъ шестидесятихъ годовъ приходилось быть не только судьями, а и проповѣдниками элементарныхъ моральныхъ истинъ, общая черта которыхъ въ томъ именно и состоитъ, что нужно относиться ко всѣмъ равно и ни въ какомъ человѣкѣ не переставать видѣть человѣка. Разумѣется, эти истины не въ шестидесятихъ годахъ открыты, но только въ шестидесятихъ годахъ онѣ могли войти въ нашъ повседневный обиходъ, и это совершилось не безъ борьбы, какъ видно даже изъ книжки г. Никитина, не говоря о другихъ свидѣтельствахъ борьбы. Неумѣстность вопроса г. Розанова наводитъ на мысль, что гг. уніаты сами хорошенько не знаютъ, противъ чего они протестуютъ и отъ какого наслѣдства отказываются. Въ первой своей статьѣ г. Розановъ затрогиваетъ событія огромнаго трагизма и огромной важности, о которыхъ надо говорить много и на-чистоту или совсѣмъ не говорить, и тутъ же рядомъ разсказываетъ не совсѣмъ ясные

анекдоты о какихъ-то глупо-либеральничаящихъ профессорахъ, которыхъ ему и его товарищамъ пришлось слушать. Это и есть отвѣтъ на вопросъ: отчего «мы» (то-есть гг. униаты) отказываемся отъ наслѣдства? Если авторъ дѣйствительно былъ такъ несчастливъ на профессоровъ, такъ это все-таки не имѣетъ никакого отношенія къ наслѣдству шестидесятыхъ годовъ: глупые люди всегда и вездѣ возможны; я имѣю дерзость думать, что они есть даже въ рядахъ униатовъ. Во второй статьѣ, очень туманной, г. Розановъ развиваетъ ту мысль, что мы, старшее поколѣнiе, поняли такое сложное существо, какъ человѣкъ, «плоско, бѣдно, грубо». Онъ не подкрѣпляетъ, однако, эту свою мысль ни единымъ фактическимъ доказательствомъ, ни единой цитатой, ни единымъ даже анекдотомъ. Такъ писать очень легко, но убѣдить кого-нибудь и въ чемъ-нибудь подобнымъ писанiемъ трудновато. Я могу и сейчасъ, пожалуй, написать о какой-нибудь, напримѣръ, лондонской картинной галлерей, которой я никогда не видалъ, что тамъ искусство представлено бѣдно, плоско, грубо, и затѣмъ перейти къ доказательствамъ, что сама-по-себѣ область искусства богата и возвышенна. То же самое я могу продѣлать съ датской литературой, съ испанской промышленностью, словомъ, съ любую группою явленiй, мнѣ мало извѣстную. И я склоненъ думать, что г. Розанову весьма мало извѣстно то наслѣдство, отъ котораго онъ столь торжественно отказывается. Было бы неумѣстно распространяться объ этомъ по поводу такой книжки, какъ «Спены у мировыхъ судей шестидесятыхъ годовъ», однако, и она можетъ указать забывшимъ и никогда не знавшимъ, «отжившимъ и нежившимъ» — гдѣ слѣдуетъ искать наслѣдства шестидесятыхъ годовъ. Голословному-же мнѣнiю г. Розанова я могу противопоставить столь-же голословное: Никогда у насъ человѣкъ не понимался такъ возвышенно и тонко, какъ въ тѣ принопамятные годы. Были, разумѣется, увлеченiя и ошибки. Но если принять въ соображенiе непроглядность той тьмы, въ которую тогда вносила свѣтъ, и упорство того сопротивленiя, которое естественно оказывала тьма, то, право, можно-бы черезъ двадцать-то или тридцать лѣтъ быть пооснисходительнѣе.

Пооснисходительнѣе... Разъ это слово сорвалось съ пера, такъ пусть оно и остается. Но собственно о снисхожденiи не должно-бы быть и рѣчи. Если брюзжащiе старики имѣютъ свои резоны ликовать, то молодые униаты, отказывающiеся отъ наслѣдства, совершенно напрасно считаютъ себя господами положенiя. Это чистѣйшая иллюзiя, основанная на смѣшенiи разныхъ сторонъ жизни и на необыкновенномъ самоудовольствѣ маленькой кучки униатовъ, которые дальше своего носа ничего не видятъ. Напримѣръ г. Дистерло въ «Недѣлѣ» разразилъ Добролюбова, обличивъ незрѣлость его мысли и его эстетическое невѣжество. Г. Дистерло, вѣроятно, очень доволенъ по этому случаю собою, а можетъ быть, и около него есть горсточка людей, внимающихъ, разпя

ротъ, его глаголамъ: дескать, «новое слово» сказано. Но вѣдь никто-же, ни даже, я думаю, самъ г. Дистерло не рѣшится утверждать, что онъ замѣнилъ собою Добролюбова, что его, г. Дистерло, критическія упражненія читаются съ такою-же алчностью, съ какою не только въ свое время, а и теперь читаются статьи Добролюбова. Не разбить въ сущности этотъ корабль и что-то не видать ничего на смѣну ему. Или вотъ г. Розановъ въ «Московскихъ Вѣдомостяхъ», рассказавъ подозрительные анекдоты о своихъ профессорахъ, спрашиваетъ: «какъ-же, зная униженіе науки ея служителями, не попытаться вырвать у нихъ по землѣ волокущееся знамя и понести его хоть какъ-нибудь самому?» Вырвать знамя науки изъ недостойныхъ рукъ и понести его самому, это — подвигъ, столь-же благородный, какъ и картинный. Но я что-то не слыхалъ о такомъ подвигѣ и впервые узнаю, что г. Розановъ несетъ знамя науки съ тѣмъ достоинствомъ, какое подобаетъ знаменосцу. Я готовъ, конечно, признать, что это зависитъ лишь отъ моего невѣжества и что лично г. Розановъ оказалъ дѣйствительно большія услуги наукѣ,—расширилъ ея предѣлы, очистилъ ее отъ постороннихъ примѣсей, внесъ ея свѣтъ въ самые мрачные закоулки мысли и жизни. Но, вѣдь, одна засточка весны не дѣлаетъ, а вообще говоря, тѣ «мы», которые гордо и презрительно отказываются отъ наслѣдства, не очень яркими звѣздами горятъ на небосклонѣ науки. Вообще, на какомъ поприщѣ блистаютъ эти «мы», отказывающіеся отъ наслѣдства? гдѣ они проявляютъ свои силы и таланты? Я вижу только людей съ большими претензіями и жалкими ресурсами, которые кричатъ: побѣдохомъ! посрамахомъ! Но я не вижу, чтобы они, дѣйствительно, кого-нибудь побѣдили и посрамили. Г. Розановъ отмѣчаетъ тотъ фактъ, что выдающіеся люди старшихъ поколѣній отходятъ въ міръ небытія со скорбными думами о результатахъ своей дѣятельности. Онъ говоритъ: «Старики, которые такъ много трудились на нивѣ въ знойные и холодные дни, руки которыхъ устали и болѣе неспособны къ труду, видятъ, что свою жатву, надежду столькихъ лѣтъ, имъ остается только унести съ собою въ могилу». Да, въ горькія минуты старые работники такъ думаютъ, и вотъ почему, напримѣръ, Салтыковъ уже мертвѣющею рукою писалъ «Забытыя слова». И есть резоны для такихъ скорбныхъ думъ. Но, глядя на вещи со стороны, можно и не преувеличивать поводовъ для скорби. Умеръ Салтыковъ, и гдѣ, въ какомъ уголкѣ Россіи не отозвалась эта смерть сердечною болью? гдѣ, въ какомъ уголкѣ Россіи не стали читать и перечитывать его сочиненія съ большею еще внимательностью, чѣмъ читали при его жизни, и уже конечно съ большею, чѣмъ когда-нибудь читали или будутъ читать произведенія «молодыхъ силъ» вродѣ гг. Дистерло или Розанова. Нѣтъ, не разбить этотъ корабль. Если, по обстоятельствамъ, гг. Дистерло или Розановъ могутъ излагать свои мысли съ большею ясностью, чѣмъ тѣ, кто отъ

наслѣдства не отказывается, то вѣдь это не побѣда, это только обстоятельство времени. Устройте такъ, чтобы смерть Салтыкова прошла незамѣтно, чтобы сочиненія его не раскупались десятками тысячъ экземпляровъ, это будетъ побѣда настоящая, а не бахвальство. И замѣчательно, что господа уніаты не идутъ дальше отказа отъ наслѣдства, а своего добра, родового или благопріобрѣтеннаго, не обнаруживаютъ, хотя имѣютъ полную возможность это сдѣлать. Покойный Шелгуновъ привелъ въ одной изъ послѣднихъ своихъ статей отрывки изъ письма какого-то необыкновенно наглаго человѣка, который писалъ ему: «шире дорогу! — восьмидесятникъ идетъ!» Да идите же наконецъ, господа, идите такъ, чтобы видно было, что вы несете. А то вѣдь это только одни разговоры, будто идете, зная вырвали и сами понесли и разное прочее славословіе по собственному адресу, безъ всякаго, однако, практическаго подтвержденія. Пожалуйте, — дорога вамъ и въ самомъ дѣлѣ широка. Дайте посмотрѣть на васъ, сосчитать васъ, дайте оцѣнить ваши таланты и силы, столь тщательно вами скрываемые, что можно подумать, что у васъ ихъ совсѣмъ нѣтъ.

Возвращаясь къ книжкѣ г. Никитина, повторяю, что, при всей простотѣ и непритязательности своего содержанія, она заслуживаетъ всякаго вниманія. Въ ней нѣтъ никакихъ отвлеченныхъ разсужденій, въ которыхъ можно-бы было запутаться, нѣтъ вымысла, который можетъ быть заподозрѣнъ въ произвольности или тенденціозности. Это просто рядъ маленькихъ подлинныхъ житейскихъ картинокъ, наглядно освѣжающихъ въ памяти читателя наше недавнее прошлое. Пересматривая эти картинки, можетъ быть, и кто-нибудь изъ великолѣпныхъ «мы» призадумается—отказываться-ли отъ наслѣдства и даже возможно ли отъ него въ самомъ-то дѣлѣ, а не только на словахъ, отказаться.

Изъ литературныхъ воспоминаній и текущей жизни.

I.

Смерть Елисеева не идетъ у меня изъ головы. Ничего въ ней нѣтъ удивительнаго или необычайнаго: Елисееву было семьдесятъ лѣтъ, а это возрастъ вообще значительный, а для русскаго писателя и подавно. Въ нынѣшнемъ году вышли «Критическіе опыты» Валеріана Майкова, на котораго возлагались когда-то большія надежды, въ которомъ многіе видѣли преемника Бѣлинскаго. Я не думаю, чтобы эти надежды могли быть осуществлены Майковымъ вполне, но это былъ, во всякомъ случаѣ, очень даровитый и трудолюбивый юноша, который, однако, такъ юношей и умеръ. Онъ умеръ въ 1847 г., двадцати трехъ лѣтъ, проработавъ на литературномъ поприщѣ меньше полтора года. Начиная съ Лермонтова, продолжая Добролюбовымъ, Писаревымъ, кончая Гаршинымъ, Надеиномъ, мы уже какъ-то привыкли къ раннимъ смертямъ даровитыхъ литературныхъ дѣятелей. Что-же можетъ быть поразительнаго въ смерти больного семидесятилѣтняго старика, давно и спокойно готовившагося къ неизбежному концу? И, все-таки, эта смерть неустанно гвоздитъ мой мозгъ, будя въ немъ цѣлый рой воспоминаній. Можетъ быть, тутъ виновато то обстоятельство, что я теперь занимаюсь разборкою бумагъ Елисеева, въ которыхъ значительное мѣсто занимаютъ литературныя воспоминанія; можетъ быть, особенности моихъ личныхъ отношеній къ покойному играютъ тутъ роль; можетъ быть, наконецъ, и безъ того пришла пора оглянуться на прошлое, и смерть Елисеева была только окончательнымъ толчкомъ въ этомъ направленіи. Какъ-бы то ни было, но и Елисеевъ, и всѣ «Отечественныя Записки», и все, что предшествовало въ моей жизни «Отечественнымъ Запискамъ», — все это просится на бумагу. И я не вижу причины держать себя въ

этомъ отношеніи на привязи. Мнѣ кажется даже, что въ настоящее время особенно полезно вспомнить и напомнить кое-что изъ прошлаго. За тридцать лѣтъ исключительнаго и постояннаго пребыванія въ литературной средѣ я ее узналъ вдоль и поперекъ, въ ея достоинствахъ, какъ и въ ея слабостяхъ, въ ея вершинахъ, составляющихъ гордость Россіи, и въ ея низменностяхъ, въ счастья и въ несчастья. Всего этого рассказать теперь нельзя по многимъ причинамъ, понятнымъ для каждаго читателя, но то, что можно, постараюсь рассказать правдиво.

Ручаюсь за правдивость, но не ручаюсь за послѣдовательность и аккуратность. Оставляя за собою право (которое можетъ при случаѣ обратиться даже въ обязанность) оборвать воспоминанія на любомъ моментѣ, потому-ли, что онъ мнѣ покажется щекотливымъ, или просто потому, что надобѣтъ вспоминать, я заранѣе выговариваю себѣ и другое право. Едва-ли я въ состояніи буду ограничиться буквально воспоминаніями. Читатель долженъ заранѣе примириться съ разными возможными перерывами и отступленіями въ сторону текущей минуты или какихъ-нибудь теоретическихъ соображеній. У всякаго писателя есть своя фізіономія, которую поздно, да и нѣтъ надобности передѣлывать, когда приходишь до воспоминаній.

Для меня лично «литературныя воспоминанія»—плеоназмъ. Иныхъ воспоминаній, кромѣ литературныхъ, я-бы и не могъ предложить читателямъ, потому что вся моя жизнь протекла въ литературѣ. Конечно, и у меня, какъ у всякаго, были внѣ-литературныя связи и отношенія, но я не полагаю ихъ интересными для читателей. Говоря, что жизнь моя вся протекла въ литературѣ, я разумѣю жизнь профессиональную, жизнь труда. Я никогда не служилъ ни на государственной, ни на частной службѣ, никогда не носилъ мундира, кромѣ школьнаго, никогда не занимался торговлею, хозяйственными дѣлами и т. п.; я даже почти никогда не занимался педагогическою дѣятельностью, которая, въ формѣ даванія частныхъ уроковъ, можно сказать, обязательна для бѣдныхъ молодыхъ людей, -пріѣзжающихъ въ столицы учиться или пробивать себѣ жизненный путь. Говорю «почти», потому что однажды въ трудныя времена давалъ уроки русскаго языка взрослому нѣмцу и съ тѣхъ поръ закаялся. Начавъ писать на школьной скамьѣ, я затѣмъ уже не переставалъ быть литераторомъ и только литераторомъ, за исключеніемъ, помнится, двухъ лѣтъ, когда, еще не оперившись въ литературномъ смыслѣ, снискивалъ себѣ пропитаніе чтеніемъ корректуръ. Значить, и тутъ былъ, все-таки, около литературы.

Да не подумаетъ читатель, что я вижу въ этомъ какую-нибудь заслугу или особенное достоинство. Я просто предъявляю фактъ, имѣющій свои очень дурныя стороны, между прочимъ, ту обидную практическую безпомощность, которою почти всегда отличаются люди, съ молодыхъ лѣтъ исключительно отдавшіеся литературѣ. Бываютъ, правда,

рѣзкія исключенія, какъ, напримѣръ, Некрасовъ, но это именно исключенія. Не желаю я, однако, внушить читателю и ту мысль, что, оставаясь всю жизнь въ литературѣ, я приносилъ или приношу какую-нибудь жертву. Советѣмъ даже напротивъ. Много горестныхъ волненій выпадаетъ на долю русскаго писателя, въ особенности журналиста, много обидныхъ внезапностей и тяжелыхъ разочарованій; въ самой жизни его много, повидному, фатальной нескладницы. Но если-бы мнѣ теперь надлежало начинать съ начала, я все-таки выбралъ-бы литературу. И даже не *все-таки*, а *тѣмъ болѣе*. «Въ тѣ дни, когда мнѣ были новы все впечатлѣнья бытія», я пошелъ въ литературу просто по безсознательному влеченію, почти по инстинкту, хотя, конечно, роль писателя рисовалась и сознанію въ неясномъ, но прекрасномъ ореолѣ. Теперь я знаю, чего стоить этотъ ореолъ и какъ тернистъ жизненный путь писателя. Кромѣ того, и влеченіе къ литературной работѣ утратило свою первоначальную свѣжесть. Но за всеѣмъ тѣмъ для меня не существуетъ дѣла, которое давало-бы столько наслажденія и въ своемъ началѣ, при возникновеніи извѣстныхъ мыслей и чувствъ, зовущихъ къ письменному столу, и въ самомъ процессѣ своемъ и, наконецъ, въ своемъ результатѣ—въ общеніи съ читателемъ. Кто развѣ глотнулъ изъ этой чаши, того развѣ какія-нибудь исключительныя обстоятельства могутъ оторвать отъ нея. Въ этомъ заключается, между прочимъ, причина многихъ драмъ, совершающихся въ литературной средѣ. Молодой человѣкъ, случайно написавшій удачную вещь, затѣмъ недурную вторую, пожалуй, третью, но уложившій въ нихъ все, что у него было за душой, лишь съ большимъ трудомъ убѣждается, что онъ попалъ на эту дорогу случайно, по ошибкѣ. А ошибки тутъ могутъ выйти разныя. Есть умные и знающіе люди, совершенно, однако, лишенные собственно литературнаго таланта, дара письменнаго изложенія; и это бываетъ при наличности другихъ, очень, повидному, сродныхъ талантовъ, напримѣръ, ораторскаго. Но, кромѣ таланта, писателю нужна еще способность приходить въ извѣстное настроеніе, которое случайно можетъ посѣтить каждаго человѣка, но лишь въ призванныхъ или, пожалуй, обреченныхъ достигаетъ достаточной напряженности и прочности и обращается въ нѣчто привычное. Сюда надо еще ввести игру сомолюбія, которое, вообще говоря, послѣ людей эстрады и сцены, наиболѣе развито у литераторовъ, и это лежитъ въ самыхъ условіяхъ ихъ профессіи. Изъ всеѣхъ этихъ обстоятельствъ могутъ выходить чрезвычайно разнообразныя комбинаціи, способныя ввести неопытнаго молодого человѣка въ ошибку насчетъ своихъ силъ, способностей, даже склонностей, а сладкой отравы онъ уже попробовалъ. Онъ заставляетъ себя работать, насилуетъ себя; колеблется вверхъ и внизъ волнами надежды и разочарованія; переживаетъ минуты страшнаго нервнаго напряженія и затѣмъ реакціи: ничетъ-выхода и забвенія въ разгулѣ, столь

вообще свойственномъ русскому человѣку; ищетъ и, разумѣется, находитъ завистниковъ, враговъ, хотя въ дѣйствительности ихъ, можетъ быть, и въ поминѣ пѣтъ; становится, наконецъ, самъ завистникомъ и врагомъ,—врагомъ подчасъ не Ивана или Петра, а цѣлаго направленія, котораго прежде держался и которое теперь впововато тѣмъ, что не утилизируетъ его дарованій; чувствуя нравственную низменность этого мотива, опъ еще пуще грызетъ себя. А оторваться, все-таки, не можетъ. Все это, въ различныхъ сочетаніяхъ и въ различной послѣдовательности, встрѣчается, конечно, не у насъ только. Въ европейской литературѣ есть чрезвычайно яркія художественныя воспроизведенія этой житейской драмы. Такова, напримѣръ, исторія Люсьена Шардона въ «*Illusions perdues*» Вальзака или Октава въ «*Le Dieu Octave*» Гальта. Сравнительно съ нашими подобными драмами, исторія Люсьена и Октава осложнены тою непосредственно-практическою политическою ролью, которую можетъ играть европейскій писатель и которая, еще обостря жажду, обостряетъ въ такой-же мѣрѣ и горечь неудовлетворенія. У насъ все это проще, проще, мельче по фабулѣ и обстановкѣ, но въ своемъ родѣ не менѣе мучительно для дѣйствующихъ лицъ. Въ повѣсти г. Потапенко «Святое искусство» и въ недавно вышедшей повѣсти г. Влад. Немировича-Данченко «На литературныхъ хлѣбахъ» предѣлы этой русской драмы далеко не исчерпаны, но нѣкоторые ея моменты хорошо памѣчены. Герои обѣихъ повѣстей—молодые люди, не лишены не то что таланта, а способности письменнo излагать несложные факты и мысли; но имъ этого мало, они мѣтятъ выше и, несмотря на все разочарованія, не могутъ бросить перо. Само собою разумѣется, что отъ подобныхъ и даже гораздо болѣе страшныхъ драмъ не гарантированъ и старій человѣкъ, хотя-бы уже потому, что немолодой человѣкъ можетъ оказаться въ положеніи начинающаго писателя. Въ январьскомъ номерѣ журнала «Артистъ» напечатано начало разсказа г. Садовскаго «Высокое призваніе». Немолодой уже учитель математики, Струевъ, поощряемый лестью, совершенно, впрочемъ, искреннею, приятелей, задумываетъ написать комедію. Грубоватый юморъ г. Садовскаго слишкомъ уже подчеркиваетъ ожидающую несчастнаго неудачу и долженствующую послѣдовать за подъемомъ «высокаго призванія» горечь разочарованія. Да и вообще это случай слишкомъ элементарный. Гораздо глубже и страшнѣе драмы, часто пересѣкающія тернистый путь писателя бывалаго, уже издавнаго вида. Въ упомянутой повѣсти г. Влад. Немировича-Данченко чуть-чуть намѣчена подобная драма въ лицѣ Тростникова. Оскудѣтъ нервно-мозговая лабораторія, гдѣ изъ впечатлѣній, чувствъ, мыслей создается специальное настроеніе, зовущее къ письменному столу; ослабѣтъ способность къ работѣ въ чисто-механическомъ смыслѣ; оборвется какимъ-нибудь постороннимъ, виѣшнимъ обстоятельствомъ или собственнымъ разочарованіемъ писателя его при-

вычная уже связь съ читателемъ,—и человекъ такъ несчастливъ, какъ трудно и представить людямъ, не испытавшимъ или близко не видавшимъ этого. Несчастіе его тѣмъ ужаснѣе, что опъ, все-таки, пригвожденъ къ кресту своего писательства, съ котораго ему не сойти никуда и никогда. Все это я говорю, разумѣется, о литературныхъ работникахъ или намѣреющихся быть таковыми, а не о диллетантахъ литературы, удѣляющихъ ей часы своихъ досуговъ отъ иныхъ, административныхъ, хозяйственныхъ и т. п. заботъ. Тѣ совсѣмъ особая статья. Ди и то, чтó сказано, связано пока вскользь, къ слову. О драмахъ, совершающихся въ литературной средѣ, мнѣ еще, вѣроятно, придется говорить въ подробности.

Здѣсь прибавлю только одно. Матеріальное положеніе русскаго писателя чрезвычайно шатко. Г. Щегловъ во второмъ томѣ своей «Исторіи социальныхъ системъ» говоритъ о большихъ состояніяхъ, наживаемыхъ у насъ литературой, о каретахъ и лакеяхъ. Спора нѣтъ, это бываетъ, но большія состоянія наживаются, все-таки, не литературой въ собственномъ смыслѣ слова, а издательствомъ. Большинство-же литературныхъ работниковъ, если они не имѣютъ наследственнаго состоянія, какъ, напримеръ, Салтыковъ или Тургеневъ, подъ конецъ жизни терпятъ всѣческія лишенія и сплошь и рядомъ умираютъ нищими, съ горчайшими думами о судьбѣ своихъ семей, если таковыя есть. Этого не избѣгаютъ даже крупнѣйшіе таланты, новидному, особенно благопріятно поставленные. Достоевскій лишь за нѣсколько лѣтъ до смерти поправился, а до тѣхъ поръ бился, какъ рыба объ ледь, попадая временами въ унижайшія положенія. Заичковскую (В. Крестовскій-псевдонимъ) не на что было похоронить. Если Елисеевъ могъ завѣщать литературному фонду значительную сумму, то лишь благодаря счастливой случайности,—на одинъ изъ принадлежавшихъ ему билетовъ внутренняго съ выигрышами займа выпалъ крупный выигрышъ. Бѣлинскій писалъ одному знакомому: «Я ѣхалъ за границу съ тяжелымъ и грустнымъ убѣжденіемъ, что попріще мое кончилось, что я сдѣлалъ все, чтó дано было мнѣ сдѣлать, что я выписался и... сталъ похожъ на выжатый и вымоченный въ чаѣ лимонъ. Каково мнѣ было такъ думать, можете судить сами: тутъ дѣло шло не объ одномъ самолюбіи, но и о голодной смерти съ семействомъ». Это-ли еще не драма?!

Но, конечно, ни о какихъ такихъ драмахъ я не помышлялъ, когда весною 1860 года съ трепетнымъ сердцемъ и маленькою рукописью въ карманѣ пробирался на Петербургскую сторону, въ редакцію «Разсвѣта», «журнала для взрослыхъ дѣвицъ», издававшегося артиллерійскимъ офицеромъ Кремнинымъ. Почему артиллерійскій офицеръ издавалъ журналъ для взрослыхъ дѣвицъ и почему я, 18—19-ти лѣтній кадетъ Горнаго корпуса, отправился въ этотъ журналъ съ своимъ первымъ литературнымъ произведеніемъ, этого сразу не поймешь. Мнѣ

впослѣдствіи «Разсвѣтъ» никогда не попадался подъ руку, но смутно помнится, что это былъ журналъ по-своему интересный и живой, хотя просуществовать оный недолго, не больше трехъ лѣтъ. Въ немъ пробоваши свое перо нѣкоторые выдавшіяся впослѣдствіи литературныя силы. Тамъ началъ свою краткую, но блестящую карьеру покойный Писаревъ. Если не ошибаюсь, тамъ писалъ и А. М. Скабичевскій. Одинъ мой товарищъ по Горному корпусу, нѣкій Штильке, практической человѣкъ, нынѣ уже умершій, смастерилъ компиляцію о «кофе», спесъ ее Кремпину, и тотъ напечаталъ. Другой мой товарищъ, К. А. Скальковскій, нынѣ большой чиновникъ, всемірный путешественникъ и балетоманъ, напечаталъ въ «Разсвѣтъ» какую-то историческую статью. Такимъ образомъ, собственно мнѣ дорога была какъ-бы уже проложена, а, слѣдовательно, и мой выборъ «Разсвѣта» можно объявить чисто механически. Но нельзя, я думаю, такъ просто объяснить самую тему моей первой статьи. Тогда въ «Современникъ» появился отрывокъ изъ романа Гончарова «Обрывъ», озаглавленный «Софья Николаевна Бѣловодова». Этотъ-то отрывокъ и вдохновилъ меня на критическую замѣтку. Замѣтки этой я не помню. Помню только, что она была не подписана; помню почему-то, что Райскій въ ней сравнивался съ гуслими-самогудами; помню, наконецъ, одно замѣчаніе Кремпина о неловкости и ненужности употребленнаго мною выраженія «пахотинщина» (Софья Николаевна Бѣловодова была, какъ извѣстно, урожденная Пахотина); но осталось-ли это дѣйствительно ненужное и неуклюжее слово, очевидно, навѣянное «обломовщиной», или его Кремпинъ вымаралъ,—не помню. А, главное, не помню общей мысли и содержанія статейки. Во всякомъ случаѣ, она была вызвана женскою фигурой. Въ то-же время я замышлялъ статьи о нѣкоторыхъ другихъ женскихъ фигурахъ, историческихъ и поэтическихъ, чего, впрочемъ, въ исполненіе не привелъ. Статью мою Кремпинъ нашелъ «весьма удовлетворительною» и торжественно вручилъ мнѣ за нее 13 рублей. «По разсчету выходитъ 12 р. 90 к.,—сказалъ онъ,—но ужъ такъ, для круглаго числа». Несмотря, однако, на этотъ добавочный гривенникъ и на снисходительное одобреніе артиллерійскаго редактора журнала для взрослыхъ дѣвицъ, статейка была, должно быть, очень курьезная. Дѣло въ томъ, что я тогда женщинъ не только не зналъ, а почти что и не встрѣчалъ. Оторвавшись волею судьбы съ 14-ти лѣтъ отъ всякой семейной обстановки, заключенный въ четырехъ стѣнахъ закрытаго заведенія и долго не имѣя въ Петербургѣ никакихъ знакомыхъ, я только передъ самымъ своимъ выходомъ изъ корпуса, можно сказать, увидаль женщинъ. Отсюда слѣдуетъ заключить, что въ статейку о Софьѣ Николаевнѣ Бѣловодовой едва-ли вложено особенно глубокое пониманіе, хотя тогда я, разумѣется, былъ совершенно иного мнѣнія объ этомъ своемъ первенцѣ. А, между тѣмъ, немного позже я еще и еще обра-

шлася (между прочимъ, помнится, въ «Современномъ Словѣ» Писаревскаго) къ разговору о женщинахъ и даже прямо о женскомъ вопросѣ.

Этой кажущейся несообразности есть двѣ причины. Одна изъ нихъ обуславливается обстоятельствами времени. Это—та самая, по которой и артиллерійскій офицеръ Кремпинъ сталъ издавать журналъ для взрослыхъ дѣвицъ. Есть общественные вопросы, очень сложные въ своихъ подробностяхъ и развѣтвленіяхъ, но теоретически легко формулируемые, по крайней мѣрѣ, въ своихъ исходныхъ точкахъ. Къ числу ихъ принадлежитъ и такъ называемый женскій вопросъ. Основныя его положенія такъ просты и ясны, что имъ, собственно говоря, могутъ быть противопоставлены только лицемѣріе, предразсудки и насиліе. Немудрено поэтому, что женскій вопросъ получилъ у насъ чрезвычайную популярность въ концѣ пятидесятихъ и въ началѣ шестидесятихъ годовъ, когда результаты крымской войны вызвали въ общественномъ сознаніи шумную волну борьбы съ лицемѣріемъ, предразсудками и насиліемъ вообще. Онъ не былъ, конечно, ни самымъ значительнымъ, ни самымъ острымъ изъ множества возникшихъ тогда общественныхъ вопросовъ, но онъ былъ самымъ общедоступнымъ. Въ сущности, онъ вовсе не такъ простъ, какъ кажется или какъ казалось тогда, но его первые элементы поражаютъ извѣстнымъ образомъ настроенные молодые умы и молодья или помолодѣвшія общества своею простотой и ясностью. Женщина хочетъ и можетъ учиться, работать, участвовать въ жизни общества, свободно выбирать себѣ семейную и всякую другую житейскую обстановку,—словомъ, женщина хочетъ и можетъ быть человѣкомъ. Чтобы понять это и проникнуться этимъ, не требуется ни специальныхъ знаній, ни житейской опытности, ни вообще какой-нибудь подготовленности. Достаточно логической способности и добрыхъ чувствъ, которыя могутъ быть и у артиллерійскаго офицера, и у полузрелого горнаго кадета. Въ приподнятомъ тонѣ всей тогдашней общественной атмосферы женскому вопросу естественно было стать пробнымъ камнемъ для приложенія молодыхъ силъ, тѣмъ болѣе, что онъ былъ тогда новинкой. Для теперешняго хорошо настроеннаго юноши это—пройденная ступень, изъза которой онъ не станетъ очень огорчаться: несмотря ни на что, жизнь, все-таки, многое отвоевала. Но тогда именно на этой почвѣ были всего удобнѣе первыя стычки съ насиліемъ и своекорыстіемъ, а, стало быть, и первые проблески идеаловъ справедливости и свободы.

18—19-ти-лѣтняго юношу могло толкать въ эту сторону еще одно обстоятельство. Гр. А. Толстой съ безпощадною и, можетъ быть, даже чрезмѣрною откровенностью разсказалъ въ «Крейцеровой сонатѣ» про тѣ мерзостныя формы, подъ которыми, въ большинствѣ случаевъ, молодые люди практически узнаютъ такъ называемую любовь. Горькая правда, но правда все, что сказалъ объ этомъ гр. Толстой съ фактической стороны: грубо, грязно, омерзительно. Однако, это, во-первыхъ,

не полная правда, а, во - вторыхъ, изъ нея слѣдуютъ совсѣмъ не тѣ выводы, которые дѣлаетъ гр. Толстой. Впрочемъ, о выводахъ гр. Толстого какъ-то даже странно говорить. Только упорное холопство передъ именами можетъ искать и находить здѣсь какую - то глубину и высшую правду. Какъ-бы то ни было, но и послѣ «Крепцеровой сонаты» любовь остается. все-таки, закономъ природы, писаннымъ для дураковъ и умниковъ, для холоповъ и баръ, и вопросъ не въ томъ, чтобы обойти его, а чтобы физиологическіе корни любви и ея психологическіе цвѣты не были оторваны другъ отъ друга. Благодаря безобразному строю нашей жизни вообще, благодаря въ особенности условіямъ воспитанія нашего юношества, эта физиологія и эта психологія живутъ сплоснь и рядомъ врознь. Самый обыкловенный случай тотъ, что дѣвушка носится въ эфирныхъ волнахъ сентиментальнаго идеализма, иногда подлиннаго, а иногда лицемѣрнаго, а ея будущій мужъ купается въ это время въ грязи. Но, въ большинствѣ случаевъ, въ то - же самое время и въ его душѣ цвѣтутъ цвѣты, и только дальпѣйшее теченіе жизни окончательно опредѣляетъ характеръ его отношеній къ женщинѣ. Въ тотъ критическій моментъ развитія, когда физиологическая основа любви заявляетъ о себѣ съ непреодолимою настойчивостью, смутнымъ, но отнюдь не грязнымъ тяготѣніемъ къ женщинѣ проникается и душа юноши. Эта цѣльность настроенія, охватывающаго всего человѣка заразъ, подъ вплипомъ среды иногда очень быстро нарушается, иногда навсегда, иногда временно, но она, все-таки, есть, по крайней мѣрѣ, въ видѣ задатковъ. Въ это время пишутся проникнутые голубоглазымъ идеализмомъ стихи «къ ней», гдѣ воспѣваются разныя «ся» блестящія качества, хотя никакой «ся» на дѣлѣ нѣтъ, или-же блестящія атрибуты торопливо нацѣпляются на первую попавшуюся женскую фигуру, къ которой они, можетъ быть, идутъ какъ къ коровѣ сѣдо. «Ея» нѣтъ, но есть смутное представленіе о чемъ-то сложно- и жизненно-прекрасномъ, чему хочется такъ или иначе послужить, помочь, зацѣпить. Я не рожденъ поэтомъ и писалъ не стихи «къ ней», существующей или не существующей, а статьи о женщинахъ, которыхъ совсѣмъ не зналъ.

Итакъ, первый шагъ сдѣланъ: первая статья напечатана. Тридцать лѣтъ тому назадъ это было. Тридцать лѣтъ! Ахъ, какъ это ужасно много и какъ трудно сѣдой головѣ, выдавшей всякіе виды, переживать золотые дни молодости! Помню, что весна была, солнце светило и грѣло, помню грязь и колеблющиеся деревянные троттуары тогдашней Петербургской стороны. Но не могу возстановить въ своей памяти то настроеніе, въ которомъ находился въ этотъ торжественный моментъ. Сотни печатныхъ листовъ, написанныхъ мною въ тридцать лѣтъ, завалили его своею тяжелою грудой. Тринадцать рублей перваго гонорара—зловѣщая «чертова дюжина» какъ-бы предрекала, что не

все розы будутъ на моемъ литературномъ пути, но настроеніе, все-таки, должно быть, было подѣ стать неснѣ,—ликующее и, вмѣстѣ съ тѣмъ, нѣсколько стыдливое. Всякая первая въ своемъ родѣ удача въ жизни сопровождается стыдливимъ чувствомъ, если, разумѣется, чело-вѣкъ вообще къ нему способенъ. Я не мало видалъ и такихъ людей, которые непосредственно послѣ первой удачи чуть не на аршинъ вы-растаютъ, такъ что имъ даже очень трудно нагнуться, чтобы подать два пальца неудачливому простому смертному. Повидимому, я былъ не таковъ, потому что поконфузился подписать подѣ статейкой фамилію или даже инициалы и о торжествѣ своемъ сообщилъ лишь очень немногимъ товарищамъ, а изъ немногочисленныхъ виѣкорпусныхъ зна-комыхъ рѣшительно никому.

Страннымъ образомъ я въ это время не думалъ сдѣлаться ли-тераторомъ по профессіи. Меня манило другое. Къ сочинительству я чувствовалъ склонность съ ранняго дѣтства. И въ гимназіи, и потомъ въ Горномъ институтѣ я отличался «сочиненіями» на заданныя или самостоятельно выбранныя темы, каковыя сочиненія писалъ не только для себя, а и для другихъ. Изъ этого выходили иногда забавныя не-доразумѣнія, но расположеніемъ учителей русскаго языка я всегда и неизмѣнно пользовался, не смотря на свое легкомысленное поведеніе. Помянемъ кетати добрымъ словомъ, кажется, исчезающей, если не исчез-нувшій типъ учителя русскаго языка, который, благоговѣя передъ ли-тературой и иногда робко тая въ самомъ себѣ мечты о литературной дѣятельности, съ особеннымъ вниманіемъ относился къ зачаточнымъ проблескамъ литературнаго дарованія въ своихъ ученикахъ. Тѣмъ не менѣе, въ то время, когда моя статейка о Софѣ Николаевнѣ Бѣ-ловодовой увидала свѣтъ, я не о литературной профессіи мечталъ, а объ адвокатекѣ. Горный институтъ или Горный корпусъ (оффи-ціально онъ назывался институтъ корпуса горныхъ инженеровъ) былъ тогда закрытымъ заведеніемъ, въ которое, однако, проникали разныя вѣянія изъ взбудораженнаго уже совершившимися и предстоящими ре-формами общества. Я былъ особенно заинтересованъ судебною рефор-мой, о которой, впрочемъ, долженъ признаться, имѣлъ довольно смутное понятіе. Это не мѣшало мнѣ мысленно говорить блестящія рѣчи въ качествѣ «защитника вдовъ и сиротъ». Читатель, вспомните свою мо-лодость и не будьте слишкомъ строги къ легкомысленнымъ мечтамъ 18—19-ти-лѣтняго мальчика. Почему я воображалъ себя ораторомъ, я не знаю. Можетъ быть, тутъ были виноваты маленькіе разговорные успѣхи въ кругу товарищей, а можетъ быть, нѣкоторая способность и въ самомъ дѣлѣ была, да атрофировалась отъ неупотребленія. Каве-линь гдѣ-то говорить о «дурной привычкѣ думать съ перомъ въ ру-кахъ». Эта дурная привычка, кажется, неизбѣжна для призваннаго или обреченнаго литератора. Когда такой обреченный литераторъ чувствуетъ

позывъ писать, это еще не значить, что у него готовъ планъ работы. Бываетъ и такъ, но, можетъ быть, въ большинствѣ случаевъ бываетъ совсѣмъ иначе. Просто какое-нибудь впечатлѣніе или кака-я-нибудь только мелькнувшая мысль всколыхиваетъ кладовую безсознательнаго, гдѣ, невѣдомо для самого писателя, покоятся результаты предъидущаго опыта, наблюденія, чтенія, всей прошлой жизни. Уже въ процессѣ работы эти продукты безсознательной душевной дѣятельности выступаютъ на порогъ сознанія и комбинируются въ цѣпи логическихъ умозаключеній или въ опредѣленные образы и картины. Да и въ тѣхъ случаяхъ, когда общій планъ выработанъ заранѣе, въ процессѣ письменной работы является множество непредвидѣнныхъ подробностей и поправокъ. Съ теченіемъ времени процессъ работы такъ прочно ассоціируется съ процессомъ самой мысли, что дѣйствительно становится труднымъ думать безъ пера въ рукахъ. Этимъ объясняется застѣчивость многихъ талантливыхъ писателей въ обществѣ, ихъ ненаходчивость въ разговорѣ, отсутствіе въ нихъ, за рѣдкими исключеніями, ораторской способности. Когда, какъ можно ожидать, фонографъ вытѣснитъ письменный столъ и письменныя принадлежности, литературный персоналъ будетъ, навѣрное, очень отличаться отъ нынѣшняго.

Какъ-бы то ни было, я мечталъ объ адвокатурѣ и всего меньше прельщался предстоящею мнѣ карьерой горнаго инженера. А тутъ произошли еще школьные безпорядки, въ результатѣ которыхъ мнѣ было такъ настоятельно любезно предложено подать прошеніе объ увольненіи изъ корпуса, что я не могъ отказаться. Я уѣхалъ въ провинцію къ роднымъ все съ тою-же тайною мечтой объ адвокатурѣ и съ намѣреніемъ поступить на юридическій факультетъ петербургскаго университета, тогда вслѣдствіе студенческихъ безпорядковъ закрытаго. Когда я вернулся въ Петербургъ, открытъ былъ только первый курсъ. Не держа экзамена и не записываясь вольнымъ слушателемъ, я попробовалъ было ходить на лекціи контрабандой (тогда это было возможно), но скоро пересталъ, рѣшивъ, что проживу и безъ диплома, да и мечту объ адвокатурѣ бросилъ.

Литературные враги не разъ попрекали меня тѣмъ, что я нигдѣ не кончилъ курса (попрекали, какъ это всегда бываетъ, больше такіе господа, которые сами развѣ только гимназію кончили и затѣмъ, почивъ на этихъ лаврахъ, самостоятельно уже ничему не учились). Люди же благорасположенные какъ-бы конфузились за меня. Однажды нѣкоторый библиографъ пришелъ ко мнѣ за біографическими свѣдѣніями для какого-то словаря. Сообщаю, между прочимъ, что учился въ костромской гимназіи, изъ четвертаго класса которой перешелъ въ Горный институтъ, гдѣ, однако, курса не кончилъ, и болѣе ни въ какомъ учебномъ заведеніи не былъ. «Ну, этого я не напишу»,—сказалъ любезный библиографъ.—«Отчего?»—«Ну, все-таки, знаете...»—«Но, вѣдь,

изъ пѣсни слова не выкинешь, а это біографическій фактъ. Фактъ для меня, разумѣется, не совѣтъ удобный, но постыднаго въ немъ, я думаю, ничего нѣтъ; тѣмъ болѣе, что, вѣдь, и Бѣлинскаго дразнили «педоучкой», и Некрасовъ нигдѣ не окончилъ курса, и я знаю много балбесовъ, правильно окончившихъ надлежащія курсы и снабженныхъ соответственными дипломами. Надо замѣтить, что въ мое время Горный корпусъ состоялъ изъ пяти приготовительныхъ и трехъ специальныхъ классовъ. Я вышелъ изъ корпуса, сдавъ экзаменъ въ 3-й специальный, то есть послѣдній классъ. Поэтому въ выданномъ мнѣ аттестатѣ значается успѣхи въ такихъ наукахъ, какихъ господа, дразнящіе меня неокончаніемъ курса, можетъ быть, даже и не слыхивали. Разумѣется, я все эти специальныя знанія давно растерялъ, но это произошло-бы и въ томъ случаѣ, если-бы я благополучно дотянулъ школу до конца, какъ это бывасть со всеми, кто покидаетъ специальность, къ которой онъ готовился. А то, что и въ этихъ случаяхъ можетъ дать систематическое школьное ученіе, — извѣстную умственную дисциплину, — я получилъ. Нѣсколько мѣсяцевъ, которые мнѣ оставалось дотянуть для полученія диплома на чинъ горнаго инженеръ-поручика, въ этомъ отношеніи много не прибавили-бы.

Мечтая о карьерѣ адвоката, я съ жаромъ, хотя безъ всякаго порядка, читалъ разныя юридическія сочиненія. Въ томъ числѣ былъ учебникъ уголовного права г. Спасовича. Въ этомъ сочиненіи есть краткій обзоръ различныхъ философскихъ системъ въ ихъ отношеніи къ криминалистикѣ. Я въ особенности поразился знаменитою триадою Гегеля, въ силу которой наказаніе такъ граціозно становится примиреніемъ противорѣчія между правомъ и преступленіемъ. Извѣстна соблазнительность трехчленной формулы Гегеля въ ея разнообразнѣйшихъ приложеніяхъ (въ свое время я разекажу, какъ соблазнялся ею, уже будучи извѣстнымъ ученымъ, покойный Н. И. Зиберъ). Неудивительно, что я былъ плѣненъ ею въ учебникѣ г. Спасовича. Неудивительно, что затѣмъ потянуло и къ Гегелю, и ко многому другому. Языки, нѣмецкій и французскій, я, къ счастью, недурно зналъ съ дѣтства. Открылось, можно сказать, необозримое поле для чтенія, тѣмъ болѣе необозримое, что я глоталъ матеріалъ для чтенія безъ всякаго руководительства со стороны. Уголовное право и вообще юриспруденція постепенно ступенькивались, блѣднѣли. А когда въ случайномъ спорѣ о томъ-же Гегелѣ мнѣ былъ указанъ Прудонъ, какъ своеобразный примѣнитель гегелянской діалектики, и я прочиталъ его «*Contradictions économiques*», — юриспруденція и совѣтъ распрощалась со мной. Дальній отголосокъ интереса къ криминалистикѣ сказался лишь въ статьѣ по поводу сборника Любавскаго «Русскіе уголовные процессы», напечатанной въ 1869 г. въ «Отечественныхъ Запискахъ» и перепечатанной въ «Сочиненіяхъ» подъ заглавіемъ «Преступленіе и наказаніе».

Разъ подвернулось подъ перо упоминаніе объ этой едва-ли не первой моей значительнаго размѣра статьѣ, мнѣ хочется сказать слѣдующее. Я былъ такъ счастливъ, что крутыхъ переломовъ въ моемъ міросозерцаніи съ тѣхъ поръ, какъ я выступилъ на литературное поприще, не было. Подобные переломы, для искреннихъ натуръ тяжелые вообще, для писателя отягчаются еще мучительнымъ сознаніемъ, что, дескать, не только самъ заблуждался, а еще публично проповѣдывалъ заблужденіе, распространялъ его. Я не испытывалъ этихъ мученій. Кромѣ какихъ-нибудь мелочей, которыя мнѣ сейчасъ даже въ голову не приходятъ, мнѣ не отъ чего отречься въ своей литературной дѣятельности. Изъ этого не слѣдуетъ, однако, чтобы я явился въ литературу совѣмъ готовый, «подобно Минервѣ изъ головы Юпитера», какъ пронизировалъ когда-то на мой счетъ г. Чуйко, или, что то-же, былъ виолнѣ «неподвиженъ», какъ двусмысленно любезничалъ недавно г. Вольтерскій. Разумѣется, я не сразу подошелъ къ правдѣ, какою она мнѣ въ настоящую минуту представляется, но я не уклонялся съ дороги къ ней. Въ частности, мнѣ не отъ чего отпираться и въ упомянутой статьѣ «Преступленіе и наказаніе». Но, конечно, многое я сказалъ-бы теперь не такъ, какъ тогда, и не только въ смыслѣ стиля, изъ котораго уже давно выдохся юношескій эфазъ.

Между прочимъ, въ упомянутой статьѣ говорится: «Видъ наказанія ипогда не только не производитъ желаемаго устрашающаго и опозоривающаго дѣйствія, но, напротивъ, какъ будто натапливаетъ наподражааніе палачу, вызываетъ непреодолимую жажду крови. *Уровень нашихъ психологическихъ познаній не захватываетъ этихъ явленій*, хотя тамъ и сямъ можно встрѣтить намеки на попытки ихъ объясненія... (слѣдуютъ указанія на Адама Смита, Кетле, Миттермайера). А, между тѣмъ, явленія этого порядка аналогичны, *можетъ быть*, даже съ такимъ обыденнымъ фактомъ, какъ зѣвота при видѣ зѣвающихъ. Есть много фактовъ, *ничего не дающихъ для положительнаго вывода*, но очень ясно намекающихъ на возможность широкаго отрицательнаго обобщенія» и т. д. Много лѣтъ спустя изъ этой робко высказанной мысли выросла статья «Герои и толпа». Другой примѣръ, въ извѣстномъ смыслѣ, противоположный. Въ той-же статьѣ о преступленіи и наказаніи развивается старое положеніе: «понять—значить простить», и доказывается, что мѣрило духовной высоты человѣка есть степень его способности прощать, то есть понимать. Мысль эта высказывается категорически, рѣшительно,—столь рѣшительно, что теперь у меня не хватило-бы уже этой юной рѣшительности. Понять—значить простить, да: но горькій житейскій опытъ и многолѣтнія житейскія наблюденія приводятъ къ заключенію, что есть мерзости, которыхъ именно нравственно развитая личность не можетъ понять, не можетъ, значить, и простить.

Это, впрочемъ, пока мимоходомъ.

II.

Время отъ времени, но очень изрѣдка, я пописывалъ статьи, которыхъ уже не помню,—между прочимъ, въ одной еженедѣльной газетѣ (если не ошибаюсь, она называлась «Якорь»), редакторомъ которой былъ Шульгинъ, впоследствии отвѣтственный редакторъ Благосвѣтловскаго «Дѣла». Упоминаю объ этомъ потому, что, на основаніи знакомства съ Шульгинымъ, я было пробовалъ потомъ работать въ «Дѣлѣ», но неудачно, о чемъ расскажу. Такъ шло дѣло примѣрно до 1865 г., когда я черезъ одного своего бывшего товарища познакомился съ интересными людьми и окончательно и сознательно вступилъ на литературное поприще.

Одинъ изъ этихъ новыхъ знакомыхъ былъ Николай Степановичъ Курочкинъ, братъ извѣстнаго переводчика Беранже и редактора «Искры». Въ этой семьѣ таланты распределялись точно по лѣтницѣ. Старшій братъ, Владиміръ, не обладалъ, кажется, никакими дарованіями, служилъ въ военной службѣ, содержалъ потомъ книжный магазинъ, потомъ литографію и, кажется, согрѣшилъ однажды переводнымъ водевилемъ. Младшій—Василій, редакторъ «Искры» и переводчикъ Беранже, былъ, напротивъ, чрезвычайно талантливъ, гораздо даже талантливѣе, чѣмъ можно судить по его литературному наслѣдству. Середину между ними занималъ средній и по возрасту братъ, мой новый знакомый, Николай Степановичъ. Врачъ по образованію и, такъ сказать, официальной профессіи, онъ давно бросилъ медицину, охотно смѣялся надъ нею, самъ лечилъ себя то рѣдечнымъ сокомъ, то крупинками Маттеи, то еще Богъ знаетъ чѣмъ. Поэтъ если не по призванію, то по смертной охотѣ, онъ писалъ, однако, довольно плохіе стихи. Но, вмѣстѣ съ тѣмъ, это былъ умный, въ особенности остроумный, разносторонне начитанный человѣкъ, необыкновенно преданный литературѣ и ея интересамъ. Въ свое время онъ мечталъ, вѣроятно, о большой роли въ литературѣ, и маленькая горечь несбывшихся упованій сквозила ипогда въ его разговорѣ. Но онъ былъ слишкомъ добродушенъ и слишкомъ лѣнтя и циникъ, чтобы содержать себя въ постоянномъ огорченіи. Лысый и толстый, онъ напоминалъ Силена, только съ чрезвычайно правильными и красивыми чертами лица. Много ѣлъ, много пилъ, много спалъ: могъ цѣлыми днями сидѣть невымытый, въ распахнутомъ на жирной груди халатѣ, какъ-то особенно поджавъ подъ себя обѣ ноги, на манеръ Будды; при этомъ онъ крутилъ одну за другой толстыя папирсы и неустанно говорилъ, забавно картавя и мѣшая серьезныя рѣчи съ разнымъ болѣе или менѣе остроумнымъ вздоромъ. Только разговаривать онъ и не лѣнился. Впрочемъ, лѣнь овладала имъ постепенно, и въ то время, когда я съ нимъ познакомился, онъ былъ сравнительно очень бодръ и дѣятельнъ. Старшій Курочкинъ, Владиміръ, купилъ тогда книжный ма-

газинъ Сеньковского, а вмѣстѣ съ нимъ журнальчикъ «Книжный Вѣстникъ», издававшійся тѣмъ-же Сеньковскимъ, и предложилъ Николаю Степановичу редактировать его. Николай Степановичъ набиралъ сотрудниковъ; въ качествѣ такового меня и познакомилъ съ нимъ мой бывшій товарищъ, знавшій мои литературныя склонности. Особенныхъ хлопотъ по набору сотрудниковъ, впрочемъ, не было. «Книжный Вѣстникъ» былъ ничтожный журнальчикъ, выходившій два раза въ мѣсяцъ маленькими тетрадами въ листъ или два печатныхъ. При Сеньковскомъ онъ состоялъ изъ перечня вышедшихъ за двѣ недѣли новыхъ книгъ, изъ которыхъ о нѣкоторыхъ давались коротенькіе, въ нѣсколько строкъ, отзывы. Но Курочкинъ мечталъ о расширеніи журнала и о превращеніи его въ серьезный специально-критическій органъ. Однако, все это было еще впереди, въ болѣе или менѣе отдаленномъ будущемъ, потому что средства издателя были очень скромны. Къ нѣсколькимъ библиографическимъ замѣткамъ, принесеннымъ мною для пробы, Курочкинъ отнесся чрезвычайно благосклонно и горячо убѣждалъ меня работать, работать и работать для литературы. Я не особенно нуждался въ этихъ увѣщаніяхъ, но, все-таки, всегда съ благодарностью вспоминаю Курочкина за оказанный имъ мнѣ пріемъ и за все его дальнѣйшее отношеніе ко мнѣ. Почитаю его своимъ литературнымъ крестнымъ отцомъ. Онъ же меня впоследствии и въ «Отечественныя Записки» ввелъ, и хотя я очень быстро занялъ въ этомъ журналѣ положеніе, гораздо болѣе вліятельное, чѣмъ то, какимъ пользовался онъ, старый литературный неудачникъ, но въ его отношеніяхъ къ моимъ сравнительно быстрымъ успѣхамъ никогда не было и тѣни завистливаго недоброжелательства. Несмотря на свою слабость ко всякаго рода матеріальнымъ благамъ, для достиженія которыхъ онъ, впрочемъ, не ударилъ-бы лишній разъ палецъ о палецъ, онъ дѣйствительно и неподкупно любилъ литературу.

На первый разъ штатъ сотрудниковъ «Книжнаго Вѣстника», кромѣ самого Курочкина и меня, составилъ изъ Стойковича, старика библиотекаря въ Публичной библіотекѣ, оставшагося намъ въ наслѣдство отъ Сеньковского, затѣмъ Зайцева, извѣстнаго критика «Русскаго Слова», и нѣкоего Николая Дмитриевича Ножина. Это былъ совсѣмъ молодой еще человекъ брызжущаго ума, сверкающей фантазій, огромныхъ способностей къ труду и обширныхъ знаній (по биологіи). Я его изобразилъ впоследствии, подъ именемъ Бухарцева, въ своихъ полубеллетристическихъ очеркахъ «Въ перемежку». Это изображеніе очень точно, за исключеніемъ, конечно, отношеній Бухарцева-Ножина къ сочиненной фабулѣ очерковъ. Курочкинъ, знавшій Ножина раньше, благоговѣлъ передъ нимъ. Желаящіе познакомиться съ Ножинымъ благоволятъ обратиться къ упомянутымъ очеркамъ.

Стали мы работать въ «Книжномъ Вѣстникѣ» съ чрезвычайнымъ усердіемъ,—по крайней мѣрѣ, мы съ Ножинымъ,—Зайцевъ былъ слиш-

комъ занять въ «Русскомъ Словѣ», Курочкинъ, все-таки, подѣливался, а Стойковичъ не въ счетъ шелъ. Познакомился еще я въ это время съ другимъ сотрудникомъ «Русскаго Слова», Соколовымъ, авторомъ «Отщепенцевъ», который нѣсколько презрительно отослался къ нашей вознѣ съ «Книжнымъ Вѣстникомъ». Все шло какъ слѣдуетъ, по въ самомъ концѣ марта 1866 года Ножинъ опасно заболѣлъ, говорили, тифомъ. Заболѣлъ онъ на квартирѣ у Курочкина, откуда его пришлось отправить въ больницу, и тамъ его быстро скрутило: 3-го апрѣля онъ умеръ. На другой день, 4-го апрѣля, всю Россію веполошилъ каракозевскій выстрѣлъ. 6-го апрѣля мы хоронили Ножина, даже въ умѣ не имѣя, чтобы онъ могъ состоять въ какомъ-нибудь отношеніи къ злощастному выстрѣлу. Я и до сихъ поръ не знаю, какое это было отношеніе и даже было-ли какое-нибудь. Въ одномъ изъ первыхъ официальныхъ сообщеній слѣдственной комиссіи имя Ножина упоминалось, но всего одинъ разъ; никого изъ прикосновенныхъ къ дѣлу я никогда у Ножина не видалъ, даже фамилій ихъ отъ него хотя-бы случайно не слыхалъ, равно какъ не слыхалъ отъ него никакихъ разговоровъ, которые намекали-бы на какое-нибудь его участіе въ подобномъ дѣлѣ.

Трудно описать впечатлѣніе, произведенное этимъ первымъ покушеніемъ на жизнь Императора Александра II, да это и не входитъ въ мой планъ. Скажу только, что въ это трудное время далеко не все органы печати вели себя удовлетворительно. Казалось-бы, назначеніе такого человѣка, какъ графъ Муравьевъ, предѣвателемъ слѣдственной комиссіи и предоставленіе ему чрезвычайныхъ полномочій достаточно гарантировали энергію слѣдствія и кары виновныхъ. Но пѣкоторые органы печати сами взяли на себя роль слѣдователей и производили вянущую смуту въ обществѣ, розыскивая виновныхъ направо и налево и даже тамъ, гдѣ ихъ, очевидно, быть не могло. Я написалъ по этому поводу статью «4-е апрѣля и русская журналистика» и понесъ ее Курочкину. Я засталъ его въ сграшномъ волненіи. Когда я сообщилъ ему названіе моей статьи, онъ только руками замахалъ; но, выслушавъ статью, нашелъ, что ее не только можно, но и должно напечатать, или, принимая въ соображеніе тревожность минуты, пожалуй, наоборотъ, не только должно, а и можно. Статья эта, впрочемъ, такъ и не увидѣла свѣта. Черезъ нѣсколько дней Курочкинъ былъ арестованъ, Зайцевъ также. Я былъ лишь призываемъ къ допросу; спрашивали о Ножинѣ, я сказалъ все, что зналъ, но оказалось, что интереснаго для слѣдствія я ничего не зналъ.

Только черезъ четыре мѣсяца выяснились недоразумѣнія, вѣдствіе которыхъ были арестованы Курочкинъ и Зайцевъ, и они получили свободу. Все это время нашъ бѣдный «Книжный Вѣстникъ» оставался на моемъ попеченіи. Какъ ни щитоженъ былъ нашъ журналчикъ, но мы

возглажали на него большія надежды въ будущемъ, и, оставшись у кормила этой малой ладьи, я выбивался изо-всѣхъ своихъ юныхъ силъ, чтобы поднять журналъ. Положеніе было тѣмъ болѣе трудное, что я не могъ относиться такъ спсиходительно, какъ Курочкинъ, къ водянистымъ и пустословнымъ рецензіямъ единственнаго оставагося мнѣ въ наслѣдство сотрудника, Стойковича. Я обратился за помощью къ В. А. Манассину, тогда еще студенту медико-хирургической академіи, но уже извѣстному своими работами въ «Архивъ судебной медицины и общественной гігіены», и къ своему бывшему товарищу по Горному корпусу Н. Г. Дебольскому, нынѣ извѣстному педагогу. Специально-литературныхъ знакомствъ я не имѣлъ. Когда черезъ четыре мѣсяца Курочкинъ вышелъ на свободу, онъ очень одобрительно отнесся къ моему веденію журнала, но тутъ-же передалъ мнѣ претензію издателя, который находилъ, что обиліемъ и пространностью рецензій я уже слишкомъ вышелъ изъ предположенныхъ границъ изданія. Онъ былъ съ своей точки зрѣнія правъ, но и я съ своей стороны могъ претендовать на издателя. Работая изо всѣхъ силъ, я былъ очень доволенъ и самою работой, и ея полною самостоятельностью, тою руководящею ролью, которая выпала на мою долю хотя-бы и въ маленькомъ дѣлѣ. Какъ-бы, однако, даже ни преувеличенно-высоко цѣнилъ я это свое положеніе, а пить-ѣсть, одѣваться-обуваться, все-таки, надо было. Издатель, конечно, понималъ это, но не особенно горячо принималъ къ сердцу, а, впрочемъ, и его собственные дѣла шли изъ рукъ вонъ плохо. Я жилъ тогда въ меблированной комнатѣ, въ мансардѣ дома Китнера, у Вознесенскаго моста, въ настоящей, типической мансардѣ, какихъ въ Петербургѣ немного. Платилъ за комнату, помнится, рублей двѣнадцать и тутъ-же обѣдалъ за девять рублей въ мѣсяцъ. По этимъ цифрамъ можно судить и объ остальномъ бюджетѣ. Какъ нищій испанскій гидальго, гордо драпирующійся въ дырявый плащъ, я, полный своего редакторскаго достоинства, каждый день шагалъ въ продранныхъ сапогахъ на Невскій проспектъ, въ книжный магазинъ издателя, и сплошь и рядомъ на просьбу о заработанныхъ деньгахъ получалъ предложеніе посидѣть въ магазинѣ,—не навернется-ли, дескать, покупатель: все, что при васъ наторгуемъ, наше будетъ. Увы! покупатели приходили рѣдко и покупали мало...

Тѣмъ не менѣе, когда черезъ нѣсколько времени, вслѣдствіе плохихъ дѣлъ, закрылся книжный магазинъ Владиміра Курочкина и прекратился «Книжный Вѣстникъ», я былъ, разумѣется, глубоко огорченъ. Я уже настолько вошелъ во вкусъ литературной работы, что жить безъ нея не могъ, а работать негдѣ было. «Современникъ» и «Русское Слово» не существовали. Курочкинъ попробовалъ издать колоссальный альманахъ «Невскій Сборникъ», куда попала и моя статья, но дальше одного выпуска это предпріятіе не пошло. Появились объявленія объ изданіи

поваго журнала «Дѣло» подъ редакціей Шульгина, и я, памятуя свое знакомство съ Шульгинымъ по «Якорю» (?), отправился къ нему, захвативъ съ собою «Книжный Вѣстникъ», какъ образчикъ моей работы. Шульгинъ разъяснилъ мнѣ, что онъ лишь отвѣтственный редакторъ. а ведется «Дѣло» Благосвѣтловымъ, которому онъ и передастъ мои статьи. Познакомившись съ ними, Благосвѣтловъ встрѣтилъ меня чрезвычайно любезно, но мы очень скоро разошлись, даже не разошлись, а разошлись. Я слишкомъ мало зналъ Благосвѣтлова, чтобы составить о немъ достаточно полное и опредѣленное мнѣніе. Кратковременныя наши отношенія выяснили мнѣ только одну сторону его характера, — какую-то необыкновенную грубость, аляповатость всего, что онъ говорилъ и дѣлалъ. Аляповаты были его любезности, аляповаты были, если не образъ мыслей его, то, по крайней мѣрѣ, способъ ихъ выраженія, но всего, конечно, аляповатѣе были его ядовитости, съ которыми мнѣ пришлось очень скоро познакомиться. Мы уговорились, что я буду писать въ «Дѣлѣ» литературное обозрѣніе и возьму на себя всю библиографію. Въ одно изъ моихъ посѣщеній Благосвѣтлова, я засталъ у него молодого человѣка съ огромнымъ лбомъ, живыми глазами, быстрыми рѣчами, быстрыми движеніями. Это былъ Д. И. Писаревъ, котораго я видѣлъ тутъ въ первый и въ послѣдній разъ. Входя въ кабинетъ, я еще слышалъ конецъ какого-то запальчиваго разговора. «Ты погоди, что ты ультиматумы-то ставишь?» — говорилъ Благосвѣтловъ. — «Ты знаешь, что я всегда такъ», — рѣзко отвѣчалъ Писаревъ. Разговоръ былъ прерванъ моимъ появленіемъ. Когда Благосвѣтловъ назвалъ меня Писареву, тотъ, пожимая мнѣ руку, быстро спросилъ: «Переводчикъ Шекспира?» Онъ принялъ меня за моего почти однофамильца, Д. Л. Михаловскаго, извѣстнаго поэта. Я говорю: «Нѣтъ». — «Такъ кто-же вы?» — «Никто». — «Какъ Одиссей?» Вмѣшался Благосвѣтловъ и сталъ говорить въ похвалу мнѣ столь аляповатыя слова, что я затрудняюсь ихъ приводить. Можетъ быть, сверхъ своей аляповатости во всемъ, Благосвѣтловъ имѣлъ въ данномъ случаѣ еще специальную цѣль. Какъ я узналъ впоследствии, между Благосвѣтловымъ и Писаревымъ происходили въ это время очень острые недоразумѣнія, къ составу которыхъ относился, вѣроятно, и «ультиматумъ» Писарева. Писаревъ уходилъ изъ «Дѣла» и дѣйствительно скоро ушелъ, о чемъ имѣется обстоятельный рассказъ въ воспоминаніяхъ Н. В. Шелгунова. Весьма возможно, что, не въ мѣру восхваляя меня, начинающаго, совершенно неизвѣстнаго писателя, и пророча мнѣ, въ присутствіи Писарева, блестящую будущность, Благосвѣтловъ имѣлъ въ виду повліять на Писарева въ нужную ему, Благосвѣтлову, сторону, или, по крайней мѣрѣ, сорвать зло: дескать, и безъ тебя найдутся талантливые сотрудники. Сколько я понимаю Благосвѣтлова, это на него похоже. Если, однако, у него и было подобное, хотя и бессознательное побужденіе, то на Писарева его слова, во

всякомъ случаѣ, не произвели предполагаемаго впечатлѣнія. Онъ, видимо, былъ очень занятъ какимъ-то своимъ дѣломъ и, съ любопытствомъ посмотрѣвъ на меня, безъ особенной горячности, но очень добродушно, пожелалъ мнѣ успѣха; затѣмъ, заявивъ Благосвѣтлову, что будетъ ждать его отвѣта въ такой-то срокъ, ушелъ. Больше я съ нимъ не встрѣчался. Въ началѣ 1868 г. онъ помѣстилъ нѣсколько статей въ возрожденныхъ «Отечественныхъ Запискахъ», по меня тогда еще тамъ не было, а въ июль 1868 г. Писарева не стало.

Не помню навѣрное, была-ли напечатана хоть одна моя статья въ «Дѣлѣ»; во всякомъ случаѣ, если и была, то именно только одна, и безъ подписи. Не помню также, въ чемъ состояло недоразумѣніе, по поводу котораго я написалъ Благосвѣтлову письмо и получилъ отъ него отвѣтъ якобы ядовитый, а въ сущности грубости необычайной. Мнѣ оставалось только кратко увѣдомить его, что не нахожу возможнымъ продолжать работу въ его журналѣ. Позже мы у кого-то встрѣтились, и онъ началъ разговоръ на ту тему, что «вы человѣкъ горячій, я человѣкъ горячій» и т. д. Помнится, что и свиданіе это было не совсѣмъ случайно, что насъ сводили по его желанію на нейтральной почвѣ, но, во всякомъ случаѣ, соглашенія не произошло. Благосвѣтловъ навсегда остался въ моей памяти одною изъ самыхъ несимпатичныхъ фигуръ въ литературѣ (разумѣю литературный персоналъ, мнѣ извѣстный; есть литературныя сферы, съ которыми я никогда даже не сталкивался). Его всесторонняя аляповатость слишкомъ была въ глаза даже такому молодому человѣку, какимъ я былъ тогда, а его достоинствъ я за кратковременностью знакомства разглядѣть не успѣлъ. Надѣюсь, что они были, эти достоинства, но, признаюсь, мой личный опытъ не даетъ мнѣ возможности понять, какъ могли съ нимъ долго ладить нѣкоторые изъ сотрудниковъ «Русскаго Слова» и «Дѣла», люди тонко-деликатные и, вмѣстѣ съ тѣмъ, полные чувства собственнаго достоинства. Дѣло не въ томъ, что онъ загребалъ жаръ чужими руками и нажилъ большое состояніе трудами даровитыхъ и убѣжденныхъ сотрудниковъ, дожившихъ или доживающихъ свой вѣкъ почти въ нищетѣ. Это обыкновенная предпринимательская исторія, да и Благосвѣтловъ, все-таки, несъ много черной работы по веденію журнала. Изъ воспоминаній Н. В. Шелгунова и изъ его-же біографическаго очерка, приложеннаго къ сочиненіямъ Благосвѣтлова, видно, что Благосвѣтловъ работалъ страшно много надъ чтеніемъ и выправкой рукописей, надъ корректурами, сношеніями съ цензурнымъ вѣдомствомъ и т. д. Очевидно, это былъ человѣкъ чрезвычайно энергическій, быть можетъ, въ немъ были и другія привлекательныя стороны, но я успѣлъ узнать его только съ той стороны, которую и повторительно не умѣю иначе назвать, какъ аляповатостью.

Я долженъ предупредить читателя, что, помимо отдаленности времени, о которомъ идетъ рѣчь, у меня вообще очень плохая память на

цифры. Не ручаюсь поэтому за хронологическую точность и последовательность моего рассказа. Помнится, лѣто 1867 г. досталось мнѣ особенно тяжело. Курочкинъ жилъ тогда на дачѣ на Черной рѣчкѣ, а мнѣ уступилъ мезонинъ въ двѣ комнаты. На томъ-же дворѣ занималъ маленькую дачу Н. А. Демертъ, впоследствии (съ 1869 по 1874 г.) писавшій внутреннее обозрѣніе въ «Отечественныхъ Запискахъ», а тогда еще только намѣревавшійся стать постояннымъ литературнымъ работникомъ. У Демерты, недавно пріѣхавшаго въ Петербургъ, водились деньги, конечно, небольшія; у Курочкина ихъ было гораздо меньше, а у меня совсѣмъ не было, и если-бы не Курочкинъ, мнѣ приходилось-бы частенько голодать въ буквальномъ смыслѣ слова. Но и у всѣхъ дѣла были плохи, такъ что, когда однажды къ намъ явился П. А. Гайдебуровъ съ предложеніемъ принять участіе въ газетѣ «Гласный Судъ», мы ухватились за это предложеніе руками и ногами. Но прежде чѣмъ разказать объ этомъ водевильномъ эпизодѣ, я припомню кое-что изъ временипровожденія на Черной рѣчкѣ.

Извѣстна слабость многихъ русскихъ писателей (теперь это, кажется, уже выводится) къ хмѣльнымъ напиткамъ. Это, впрочемъ, слабость русскихъ людей вообще, и недаромъ Некрасовъ хотѣлъ кончить свою поэму «Кому на Руси жить хорошо» иронически-скорбнымъ отвѣтомъ: «хмѣлю». Недавно гр. Л. Толстой старался убѣдить человѣчество или, по крайней мѣрѣ, Европу въ томъ, что пьянствуютъ люди только виноватые, и, притомъ, именно затѣмъ. чтобы заглушить чувство виноватости и угрызения совѣсти. Я уже въ другомъ мѣстѣ говорилъ о странной аргументаціи гр. Толстого. Здѣсь скажу только, что я видѣлъ много пьянствующихъ людей, между которыми, дѣйствительно, были и такіе, что пили для заглушенія совѣсти, но большинство надо разверстать по разнымъ другимъ категоріямъ. Позволю себѣ остановиться на нѣсколькихъ пьянствующихъ литераторахъ, съ которыми я познакомился въ 1867 г. Говорить о нихъ можно безъ обиняковъ, такъ какъ всѣ они уже покойники.

Начну съ Демерты. Ему было лѣтъ тридцать съ чѣмъ-нибудь, когда мы познакомились. Изъ его прошлаго я знаю только, что онъ былъ кандидатъ Казанскаго университета, служилъ мировымъ посредникомъ, былъ предѣвателемъ, кажется, чистопольской земскою управы, по давно тяготѣлъ къ литературѣ, на которой и осѣлъ, наконецъ. Его близкое практическое знакомство съ крестьянскимъ и земскимъ дѣломъ опредѣлило и характеръ его литературной работы. Его внутреннія обозрѣнія (они назывались «Наши общественныя дѣла») въ «Отечественныхъ Запискахъ» много уступали такимъ-же обозрѣніямъ Елисеева, который взялъ на себя этотъ отдѣлъ въ 1875 г.; Елисеевъ былъ несравненно шире, разностороннѣе, глубже. Но и Демертовскія обозрѣнія, отличавшіяся своеобразнымъ, хотя и грубымъ юморомъ, имѣли свою

очень большую цѣну; они пользовались большим успѣхомъ и доставили Демерту массу корреспондентовъ со всѣхъ концовъ Россіи. Но въ то время, о которомъ я теперь говорю, Демертъ былъ еще новичокъ въ литературѣ, хотя небольшія его статьи уже печатались въ «Современникѣ», «Искрѣ», «С.-Петербургскихъ Вѣдомостяхъ». Когда пристрастился Демертъ къ хмѣльному дѣлу и были-ли этому несчастію какія-нибудь опредѣленные, уловимыя причины, я не знаю. Знаю только, что несчастіе это все разrostалось и кончилось психическимъ разстройствомъ. Нѣкоторымъ причинамъ и поводамъ этого разростанія я быть, можно сказать, свидѣтелемъ. Демертъ имѣлъ удивительно нѣжное сердце, жаждавшее привѣта и ласки и всегда готовое на нихъ откликнуться. Я видѣлъ его отношеніе къ нѣкоторымъ родственникамъ, зналъ его горе по поводу быстро слѣдовавшихъ другъ за другомъ смерти брата, самоубійства племянника, смерти матери. Я, наконецъ, очень близко видѣлъ одинъ его неудачный романъ. Къ несчастію, нѣжное сердце Демерта было облечено въ непривлекательную для женщины тѣлесную форму. Носатое, изрытое оспой лицо его, съ узенькими глазами, широкими скулами, рѣдкою бородею, было очень некрасиво. Оно было подъ стать его неуклюжей, медвѣжьей фигурѣ, его грубому, басистому голоеу, его очень ужъ псевдетскимъ манерамъ. На бѣду, судьба послала ему въ сосѣдки по мебелированнымъ комнатамъ молодую дѣвушку, которая съумѣла разглядѣть подъ этою грубою внѣшностью нѣжную душу, тяготившуюся одиночествомъ, искавщую ласки. Говорю—«на бѣду», потому что изъ этого, въ самомъ дѣлѣ, бѣда вышла. По молодому-ли легкомыслію, или по какимъ-нибудь опредѣленнымъ, никакому оправданію не подлежащимъ побужденіямъ, дѣвушка играла съ Демертомъ, какъ кошка съ мышкой. Да, этотъ большой, сильный, широкоплечій человекъ съ громовымъ басомъ исполнялъ роль мышки. Такъ, напр., измученный игрой, Демертъ переѣхалъ въ другія мебелированныя комнаты, по-просту бѣжалъ, чтобы не терзаться ежедневными встрѣчами, но черезъ нѣсколько дней героиня его романа переѣхала велѣдъ за нимъ и опять стала его сосѣдкой, все такой-же, то подающей надежды, то отталкивающей. Во времена надеждъ Демертъ не пилъ, какъ-то весь подбирался, даже надѣвалъ перчатки и гофрированныя рубашки, что было очень забавно, а во времена окончательнаго разочарованія и соотвѣтственной муки пилъ мрачно, дико, страшно. Въ такія времена онъ любилъ пѣть, подъ аккомпаниментъ гармоники, горькія сиротскія волжскія пѣсни (онъ былъ казанскій или нижегородскій уроженецъ), разрышавшіяся иногда слезами, а иногда страшно руганью по неизвѣстному, неопредѣленному адресу, или-же пропадалъ цѣлыми днями въ разныхъ труппахъ. Этотъ неудачный романъ Демерта относится къ 1871 или 1872 г., но у него подобныхъ романовъ было, вѣроятно, нѣсколько въ жизни; не буквально такихъ, конечно, но и въ то время,

когда мы съ нимъ познакомились, на немъ лежала печать сиротливаго одиночества и душевной безпріютности. Домовитый, даже до скупости (когда не загуливалъ), онъ и кромѣ нѣжнаго сердца имѣлъ всѣ задатки и великую охоту стать настоящимъ семьяниномъ. Слѣбая судьба рѣшила иначе, и въ этомъ-то разладѣ между дѣйствительностью и внутренними позывами, конечно, и лежала причина пристрастія Демерта къ хмѣльному напитокку. Не хорошее это дѣло, безспорно, но осудить покойника я не могу, виноватости его не вижу: не для заглушенія совѣсти онъ пилъ, а для забвенія обиды и горя.

Въ качествѣ стараго литератора, Курочкинъ имѣлъ многія литературныя связи и знакомства. У насъ на Черной рѣчкѣ бывали Василій Курочкинъ, Мишаевъ, Іакинфъ Шишкинъ, забытый нынѣ, но не лишенный дарованія поэтъ Кроль, старый беллетристъ Толбинъ, одну повесть котораго еще Бѣлинскій похвалилъ, какъ подтрунивали его пріятели, и другіе. Всѣ поименованные теперь уже покоятся въ землѣ, и всѣ основательно выжили. Насколько я могъ ко всѣмъ къ нимъ присмотрѣться, они, будучи очень разными людьми въ разныхъ отношеніяхъ, имѣли, однако, одну общую отрицательную черту — безхарактерность, слабость воли. Мнѣ кажется, что черта эта встрѣчается и должна встрѣчаться вообще очень часто въ средѣ русскихъ литераторовъ. Сила характера можетъ, конечно, получиться по наслѣдству, какъ и безхарактерность, но и сила, и слабость подлежатъ также воспитанію. Воспитывается-же сила характера дѣятельностью, настоящею дѣятельностью, то-есть такою, плоды которой очевидны для самого дѣятеля. Русскіе писатели очень рѣдко находятся въ такомъ положеніи, а потому, вообще говоря, довольно быстро утрачиваютъ энергію, и, въ частности, энергію сопротивленія разнымъ соблазнамъ. Мысль, слово, дѣло — такова тройственная формула полной жизни писателя, изъ которой нельзя безнаказанно вынуть ни одного звена. Бѣда не въ препятствіяхъ, борьба съ которыми только закаляетъ характеръ, если, конечно, они не чрезмѣрны, а въ большей или меньшей возможности самой борьбы. Если мысль встрѣчаетъ непреодолимая препятствія для своего выраженія въ словѣ, а недосказанное слово не можетъ въ свою очередь претвориться въ дѣло, то равновѣсіе жизни нарушено и, вмѣстѣ съ тѣмъ, ослабляется энергія. Талантъ самъ по себѣ въ этомъ отношеніи спасеніемъ быть не можетъ. Талантъ вообще часто находится въ антагонизмѣ съ волей, какъ можно судить по судьбѣ многихъ высокодаровитыхъ европейскихъ поэтовъ, мыслителей, музыкантовъ, кончавшихъ самоубійствомъ, сумасшествіемъ или пьянствомъ. Но и помимо того, чѣмъ ярче мысль или чувство, тѣмъ сильнѣе тяготѣніе ихъ къ словесному выраженію, а чѣмъ талантливѣе слово, тѣмъ обязательнѣе для него претвореніе въ дѣло, воплощеніе. Писатель, даже чрезвычайно талантливый, обреченный остановиться на средней ступени этой лѣстницы,

на словѣ, да еще сказанномъ вполголоса, à la longue, въ большинствѣ случаевъ, долженъ ослабѣть духомъ. Бываютъ, конечно, блестящія исключенія. Бываютъ отъ природы счастливо уравновѣшанныя душевныя организаціи, которымъ живущая въ нихъ сила подсказываетъ, что не нынче, такъ завтра, не современники, такъ потомки претворять ихъ слово въ дѣло. Такимъ образомъ, тройственная формула нормальной жизни писателя не нарушается, а только растягивается, захватывая болѣе или менѣе отдаленное будущее. Есть горечь въ этомъ положеніи, но норма, все-таки, не разрушена. Бываютъ и другія положенія, для иллюстраціи которыхъ возьму крайній примѣръ. Репортеръ отмѣчаетъ въ своей газетѣ нечистоту какой-нибудь Загразелной улицы и на другой день читаетъ распоряженіе по полиціи, свидѣтельствующее о томъ, что его обличеніе замѣчено, принято къ свѣдѣнію и къ исполненію. Опъ удовлетворенъ, именно потому, что тройственная формула пройдена имъ полностью: мысль нашла себѣ выраженіе въ словѣ, слово претворилось въ дѣло. Конечно, репортеръ не есть литераторъ въ настоящемъ смыслѣ слова; опъ нѣчто вродѣ литературнаго чиновника. Но подобные чиновники могутъ состоять и въ гораздо высшихъ чинахъ, быть даже «нашими уважаемыми» или «нашими извѣстными писателями», оставаясь, все-таки, чиновниками по своему темпераменту и по своему отношенію къ дѣлу.

Вышепоименованные наши гости на Черной рѣчкѣ не были писателями настолько значительными, чтобы утѣшаться въ невзгодахъ настоящаго твердою вѣрой въ будущее, но не были и литературными чиновниками. Всѣ они были настоящіе, «кровные», какъ выражался Салтыковъ, литераторы, хотя и весьма различныхъ степеней дарованія; всѣ претерпѣли или претерпѣвали разныя литературныя неудачи, а на этомъ общемъ фонѣ жизнь вышла для каждаго изъ нихъ еще спеціальныя узоры разнообразныхъ житейскихъ драмъ; всѣ были слабы характеромъ и всѣ шли.

Въ наше время полной распущенности, въ смыслѣ общественной дѣятельности, время позорнаго индифферентизма, предательскихъ сдѣлокъ, легкомысленныхъ скачковъ съ одного берега на другой, время забвенія лучшихъ завитовъ прошлаго и страшнаго суда будущаго, очень высоко цѣнятся пѣкоторые элементарныя правила личной нравственности,—до такой степени преувеличенно-высоко, что даже подозрительно. Дальше всѣхъ въ этомъ направленіи шагнулъ гр. Л. Толстой, разгромившій не только половыя излишества или не освященные закономъ любовныя связи, но объявившій даже самую любовь дѣломъ безнравственнымъ и, что особенно курьезно, неестественнымъ. Вслѣдъ затѣмъ гр. Толстой усвоилъ употребленіе табаку и вина исключительно людямъ, нуждающимся въ заглушеніи совѣсти и, слѣдовательно, совершившимъ болѣе или менѣе тяжкіе проступки или даже преступ-

ленія; безпириветвеннымъ при этомъ признается не только какое-нибудь безобразное пьянство, но и каждая выкуренная папироска и каждая передобѣденная рюмка водки, столь привычная воплиѣ благонамѣреннымъ и добродѣтельнымъ обывателямъ. Я не сомнѣваюсь въ полной искренности гр. Толстого, не сомнѣваюсь, что онъ лично бросилъ всѣ тѣ занятія, которыя признаетъ нынѣ безпириветвенными. Но, признаюсь, очень сомнѣваюсь въ цѣломудріи и трезвости того общества, среди котораго возможны такія преувеличенно-правственныя проповѣди и которое имъ аплодируетъ. Какъ-то я прочиталъ въ «Сѣверномъ Вѣстникѣ» критическій разборъ одного романа. Строгий критикъ осуждаетъ разныя пикантныя и фривольныя подробности романа, и въ числѣ этихъ пикантностей и фривольностей отмѣчаетъ «маленькую ножку». Онъ неоднократно пускаетъ въ ходъ эту улыку, печатаетъ эту безпириветвенную «маленькую ножку» и въ кавычкахъ, и курсивомъ: дескать, вотъ до какихъ Геркулесовыхъ столбовъ дошелъ безпириветвенный авторъ, — маленькую ножку не стыдится изображать! Если-бы я собственными глазами не читалъ этого, то не повѣрилъ-бы, какъ не повѣрилъ-бы многому изъ того, что пинѣ печатается. Бѣдный Пушкинъ! Онъ такъ любилъ маленькія ножки, и какъ-же сурово обошлись-бы съ нимъ за это современные критики-моралисты! Я не говорю, напри-мѣръ, о какой-нибудь «Пѣсни-пѣсеней», гдѣ ужъ не о ножкахъ рѣчь идетъ, и которая, однако, живетъ вѣка и, я боюсь, переживетъ даже цѣломудріе «Сѣвернаго Вѣстника». Опять-таки я готовъ вѣрить, что строгій критикъ «Сѣвернаго Вѣстника» безусловно цѣломудренъ и искренно возмущенъ маленькими ножками; готовъ, пожалуй, допустить, что онъ не желаетъ видѣть маленькія ножки не только въ литературѣ, а и въ жизни, ни на яву, ни даже во снѣ. Но мнѣ очень подозрительно цѣломудріе того общества, которое выдвигаетъ изъ себя критиковъ столь преувеличенно-цѣломудренныхъ, что даже ужъ и не умно. Конечно, общество не отвѣтственно за всякую глупость, которую бряплетъ тотъ или другой писатель, тотъ или другой журналъ. Но строгій критикъ «Сѣвернаго Вѣстника» — не единственный преувеличенно-моральный человекъ современности. Нельзя, разумѣется, сказать, чтобы имя ему было легіонъ, но, все-таки, это граничащее съ нелѣпностью хватаніе черезъ край въ дѣлѣ личной морали чрезвычайно характерно для переживаемаго нами историческаго момента.

У насъ нашлись даже органы печати, которые злорадно отнеслись къ совѣмъ-бы ужъ, кажется, чужой намъ исторіи Паррелля и О'Ши. За моремъ Паррелль живетъ, мужественный, искусный, неустанный борецъ за интересы ирландскаго народа. Только-бы любоваться на эту блестящую фигуру, только-бы глазомъ на ней отдыхать отъ политической мелочи. Но вотъ на этой фигурѣ появляется темное пятно. Гнусная политическая интрига устраиваетъ Парреллю всемірный скау-

даль, знаменитое своимъ лицемѣремъ англійское общество гонить его съ политической арены, на которой онъ совершилъ столько трудныхъ подвиговъ. И у насъ нашлись люди, которые злорадно кричали за море: «что?! досталось за прекрасные глаза мистрись О'Ши?! И по дѣломъ! Не грѣши!» Вотъ мы до какой степени нравственны. Пылкій Парнелль могъ-бы сказать, да, вѣроятно, и говорилъ своимъ англійскимъ обличителямъ: «Да лжете-же вы, лицемѣры! Какіе ужасы подлинной, чудовищной безправственности вы еще недавно замалчивали въ своей средѣ? Вы сами знаете, что тутъ было и растлѣніе малолѣтнихъ, и противоестественные пороки. Это вы заминаете, а изъ моихъ отношеній къ О'Ши, до которыхъ вамъ какъ до звѣзды небесной далеко, скандалъ устраиваете...»

Изъ-за моря домой, отъ крупнаго историческаго къ малому житейскому. Я достовѣрно знаю слѣдующій недавній, возмутительный случай, который охотно разскажалъ-бы съ именами дѣйствующихъ лицъ, если-бы имѣлъ на то разрѣшеніе потерпѣвшихъ. Въ одномъ медвѣжьемъ углу цѣлымъ обществомъ было нанесено публичное оскорбленіе одной весьма извѣстной и въ высшей степени почтенной женщины, единственно за то, что она проживала въ этомъ медвѣжьемъ углу безъ мужа. Фактъ этого дикаго проявленія медвѣжьинской стыдливости и нравственности можетъ показаться невѣроятнымъ, но онъ несомнѣнелъ. Думаете-ли вы, однако, что эта *mitosa rudica*, это медвѣжинское общество въ самомъ дѣлѣ столь стыдливо и нравственно? Я не думаю, а знаю, что тутъ нѣтъ ничего, кромѣ безстыднаго лицемѣрія и безпричинно-злой интриги. Надо надѣяться, что медвѣжинскія дамы, тоже участвовавшія въ оскорбленіи, живутъ всегда при мужьяхъ, равно какъ и мужья ихъ живутъ при женахъ. Это дѣлаетъ имъ честь. Но почему-же они, все-таки, смѣютъ оскорблять уважаемаго и ни въ чемъ передъ ними неповиннаго человѣка?

Что смѣть, чего не смѣть современный русскій человѣкъ? Вопросъ любопытный. Я прочиталъ недавно въ журналѣ «Артистъ» драму г. Ракшанина «Порывъ». Это одна изъ тѣхъ многочисленныхъ пьесъ, которыя пишутся исключительно для сцены, съ расчетомъ на спеціальныя сценическіе эффекты, на исполненіе такой-то роли такимъ-то актеромъ Иваномъ Ивановичемъ, который хорошо руки въ карманахъ держитъ, или такой-то актрисой Марьей Ивановной, которая хорошо въ обморокъ падаетъ. Литературныхъ требованій подобнымъ пьесамъ ставить нельзя, потому что онѣ совѣтъ и не литература. Но въ драмѣ «Порывъ», все-таки, отразилась, мнѣ кажется, одна любопытная черта современной морали. Герой драмы, Томплингъ, помѣщикъ, прекрасный человѣкъ и очень любить свою жену. Но съ нимъ случилась грѣхъ, онъ увлекся сосѣдкой вдовой Бецкой и встрѣтилъ съ ея стороны взаимность. Этотъ эпизодъ происходитъ еще до подпятія занавѣса. Мы при-

существуемъ уже при душевныхъ мукахъ, которыми Томилинь расплачивается за свой «порывъ». Онъ любить свою жену и, горько раскаиваясь въ своей связи съ Бецкой, всячески старается отъ нея отдѣлаться, но Бецкая его любить и отпустить не хочетъ. Она, несмотря ни на что, увѣрена, что и Томилинь ее любитъ, а только труситъ ходячей морали. Она говоритъ ему: «Ясно я вижу, что происходитъ въ тебѣ: ты привыкъ къ такому миру, къ такому покою, что тебѣ страшно подумать о рѣзкомъ шагѣ... Ты дрожишь передъ нимъ и готовъ на всякую жертву, лишь-бы не нарушить установленной формы». Можетъ быть, Бецкая и не совсѣмъ не права, потому что въ интимномъ разговорѣ съ однимъ пріятелемъ Томилинь намекаетъ на какую-то разницу между страстью, которую онъ, повидимому, питаетъ, все-таки, къ Бецкой, и любовью, которую онъ чувствуетъ къ женѣ. Какъ-бы то ни было, онъ непремѣнно хочетъ покончить съ Бецкой, для чего, между прочимъ, ему нужно вернуть свои письма къ ней, ибо какая-нибудь случайность или злая мысль самой Бецкой можетъ подsunуть эти компрометирующія письма женѣ. Пріятель рекомендуетъ ему очень простое средство развязать этотъ мучительный узелъ,—разказать все женѣ. Безъ сомнѣнія, это былъ-бы очень тяжелый шагъ, но онъ облегчилъ-бы совѣтъ Томилаина и, вмѣстѣ съ тѣмъ, развязалъ-бы его съ Бецкой. Но Томилинь боится этого шага и кончаетъ тѣмъ, что убиваетъ Бецкую. Такимъ образомъ, Бецкая, въ концѣ-концовъ, все-таки, права, утверждая, что Томилинь «готовъ на всякую жертву, лишь-бы не нарушить установленной формы». Онъ не смѣетъ признаться женѣ въ нарушеніи супружеской вѣрности, а убить человѣка, да еще любимаго (хотя-бы и въ формѣ «порыва»), смѣетъ. Эта самая черта поразила меня въ процессѣ Бартенева: въ виду предразсудка относительно браковъ съ актрисами, Бартеневъ не смѣлъ просить у отца позволенія жениться на Висновекѣ, не смѣлъ также обойтись въ этомъ дѣлѣ безъ отцовскаго позволенія, а убить Висновскую посмѣлъ. Мнѣ кажется, что это совпаденіе мотивовъ немудрой литературной драмы и кровавой житейской, въ связи со всѣмъ прочимъ, что мы видимъ, слышимъ и читаемъ, свидѣтельствуетъ о глубокой извращенности моральнаго чувства. Апологеты современности увѣряютъ насъ, что мы, утомявшись будто-бы чрезмѣрнымъ вниманіемъ къ общественнымъ интересамъ, успѣнно занимаемся нынѣ выработкою идеаловъ личной нравственности, въ доказательство чего приводится успѣхъ проповѣди гр. Толстого и т. п. Неправда это. Проповѣдь неестественности любви, ужасъ передъ изображеніемъ маленькихъ ножекъ въ романѣ и т. п.—слишкомъ преувеличенно-моральны, чтобы отразиться въ жизни реальною моралью и вообще чѣмъ-нибудь, кромѣ лицемерія. Въ дѣйствительности мы видимъ не торжество личной нравственности, а просто въявь развѣтывается топъ фараона: топця коро-

вы пожирають тучныхъ, мелочи выдвигаются на первый планъ, «установившіяся формы», осыняя собою лицемѣріе, требуютъ себѣ буквально человѣческихъ жертвъ. Господа современные моралисты! помолитесь за упокой души рабы Божіей Висновской, рабы Божіей Вецкой и иныхъ, имена-же ихъ Ты, Господи, вѣси. Помолитесь и за здравіе живыхъ, оскорбленныхъ и оскорбляемыхъ въ моментъ вяющаго расцвѣта идеаловъ личной нравственности...

Простите это длинное отступленіе, читатель. Я васъ предупредить на этотъ счетъ. Да и теперь мы, все-таки, не сразу вернемся къ лѣту 1867 года на Черной рѣчкѣ. Намъ нужно еще пройти подъ нѣкоторую, отнюдь не триумфальною аркою, которую воздвигла для русскихъ литераторовъ «Недѣля».

Одинъ изъ литературныхъ обозрѣвателей «Недѣли», г. Единица, воспользовался исторіей Париелля-О'Ши, чтобы бросить какой-то темный намекъ - упрекъ какимъ-то русскимъ писателямъ. Тутъ-же онъ выражаетъ недоумѣніе по поводу того, что о писателяхъ не принято говорить: снисли, пняествовалъ и т. п., а говорится: страдалъ извѣстною русскою слабостью, пзвѣстнымъ недугомъ. Г. Единица желаетъ, чтобы пороки и безнравственность русскихъ писателей предъявлялись публикѣ безъ вуаля. Такъ ужъ нынѣ все строго пошло по части нравственности. Какъ и въ предъидущихъ случаяхъ, я охотно готовъ признать, что въ прошломъ г. Единицы и всего персонала «Недѣли» нѣтъ ни едиааго грѣха вродѣ того, который такъ тяжело отозвался на Париеллѣ. Готовъ признать также, что хоть они «немножко и деруть, но въ ротъ хмѣльного не берутъ». Честь имъ и слава! Пусть они въ этихъ отношеніяхъ бѣлае снѣга альпійскихъ вершинъ, голубѣе небесной лазури. И, все-таки, мнѣ кажется, что размышленія г. Единицы немножко неумѣстны. У русскихъ людей есть обычай, при встрѣчѣ съ похоронами, креститься или, по крайней мѣрѣ, снимать шапку. Въ силу этого обычая вы снимаете шапку даже передъ такимъ покойникомъ, которому при жизни, можетъ быть, ни за что не поклонились-бы; тѣмъ болѣе, если почившій оказалъ обществу какія-нибудь услуги. Поэтому - то, можетъ быть, мы и говоримъ, что Полежаевъ, Помяловскій, Щаповъ, Рѣшетниковъ, Мей, Аполлоиъ Григорьевъ и, къ сожалѣнію, еще многіе, многіе другіе «страдали извѣстною русскою слабостью», очень хорошо зная, что это псевдошимъ пьяпства. И потомъ вопросъ: что лучше или, пожалуй, что хуже: страдать-ли извѣстною русскою слабостью, какъ только что поименованные писатели, или систематически, втеченіе многихъ лѣтъ сбивать съ толку читателей разными «новыми словами» и потомъ спокойно, убирать ихъ въ карманъ, какъ это случается съ «Недѣлей»? Я очень хорошо понимаю красоту соединенія общественной, политической нравственности съ безупречною личною чистотой. Но если ужъ выбирать, то я не выбралъ-бы тѣхъ музыкантовъ, которые «въ ротъ хмѣль-

ного не берутъ». Потому что, видите-ли, сбивать съ толку читателей глубоко безнравственно и даже преступно. И если фараонъ не удивлялся своему сну, такъ только потому, что во снѣ мы вообще ничему не удивляемся. Въ дѣйствительности-же, ни съ чѣмъ не сообразно, чтобы корова корову ѣла, да еще тощая тучную.

Теперь на Черную рѣчку.

Изъ всѣхъ нашихъ гостей самымъ замѣчательнымъ былъ, конечно, Василій Степановичъ Курочкинъ. Я никогда не имѣлъ съ нимъ дѣловыхъ сношеній, такъ какъ въ его газетѣ «Искра» никогда не писалъ, а въ центрѣ моей работы, въ «Отечественныхъ Запискахъ» онъ участвовалъ лишь случайно, переводными и оригинальными стихотвореніями и, помнится, двумя-тремя театральными хрониками. Я видѣлъ его, значить, не въ рабочіе будни, а въ дни праздниковъ или вольной и невольной праздности. И дни эти, не въ обиду будь сказано строгому г. Единицѣ, нерѣдко отдавались извѣстной русской слабости. По тогдашней моей молодости, я считалъ Василя Степановича очень веселымъ человекомъ. Можетъ быть, вино дѣйствовало на него иногда и угнетающимъ образомъ, но я его такимъ не видалъ. На моихъ глазахъ вино только усиливало его добродушную веселость и остроуміе, онъ сыпалъ каламбурами, остротами, экспромптами, смѣшилъ другихъ и самъ хохоталъ. А между тѣмъ, какъ я оцѣнилъ впоследствии, съ этимъ смѣхомъ сочеталось глубокое и постоянное горе, даже не одно, а, по крайней мѣрѣ, два горя. Я отнюдь не хочу сводить все дѣло къ этимъ горямъ,—привычка омрачать сознание и волю выпомъ, конечно, очень дурная привычка, и, какъ таковую, я охотно отдаю ее на растерзаніе моралистовъ и въ Курочкинѣ: не могу, однако, не отмѣтить тѣхъ прискорбныхъ обстоятельствъ, которыя если не вызвали, то усилили въ немъ пагубную привычку.

Я не увѣренъ, что «Искра» въ 1867 г. существовала, по если и существовала, то во всякомъ случаѣ влачила мрачные, унылые дни. И это послѣ блестящаго успѣха въ началѣ шестидесятыхъ годовъ. Въ одной изъ не вполне отдѣланныхъ рукописей Елисеева я нашелъ слѣдующія черты успѣха «Искры», которыя и привожу, какъ свидѣтельство современника, ибо самъ по наслыжкѣ знаю объ этомъ успѣхѣ. Замѣчу только, что Елисеевъ пишетъ нижеслѣдующее просто къ слову, мимоходомъ, и, конечно, сказалъ-бы гораздо больше, если-бы имѣлъ въ виду характеристику дѣятельности В. С. Курочкина.

Въ «Искрѣ»,—пишетъ Елисеевъ,—«кромѣ безчисленныхъ обличительныхъ корреспонденцій во всѣхъ родахъ, и въ прозѣ, и въ стихахъ, и въ разсказахъ, замѣткахъ, подписанныхъ обыкновенно псевдонимами, существовалъ еще особый отдѣлъ «Намъ пишутъ», составлявшійся по корреспонденціямъ, получаемымъ изъ различныхъ мѣстъ Россіи. Цензура не позволяла называть обличаемыхъ по имени, ни даже назы-

вать тѣ города, гдѣ они живутъ и гдѣ происходятъ обличаемыя дѣйствія. Поэтому образовался цѣлый словарь городовъ съ условными названіями: Краснорѣцкѣ, Кутерма, Лиліенградъ, Тмутаракань, Златогорскѣ. Чернилинѣ, Бѣлокаменскѣ и т. д., съ условными именами дѣйствующихъ въ нихъ героевъ, въ особенности если они занимали въ нихъ выдающійся постъ по своему общественному положенію. Въ провинціи каждый городъ, о которомъ шла рѣчь, немедленно узнавала свой псевдонимъ, такъ какъ описываемое то или другое совершившееся въ немъ безобразіе было, конечно, извѣстно цѣлому городу, а вмѣстѣ съ тѣмъ, разумѣется, узнавалось и лицо, о которомъ шла рѣчь. Въ Петербургѣ, Москвѣ и другихъ большихъ городахъ цѣль гласности такимъ путемъ не могла достигаться, — развѣ въ исключительныхъ случаяхъ, когда какой-нибудь крупный скандалъ дѣлался извѣстнымъ всему городу. Тогда дѣлу гласности помогали иногда отчасти рисунки «Искры». покойный Степановъ, прекрасный рисовальщикъ, давалъ изображаемымъ на этихъ рисункахъ лицамъ такое сходство съ подлинными, что цензура нерѣдко приказывала или сбривать бакенбарды съ изображеннаго лица, или поставить его не en face, а въ профиль, чтобы не такъ рѣзко бросалось въ глаза сходство. Кромѣ того, у «Искры», вѣроятно, благодаря рисункамъ, появились совершенно неизвѣстные редакціи добровольные *словесные* сотрудники въ пользу гласности. Въ 1859 г. мнѣ нѣсколько разъ случалось обѣдать въ одномъ небольшомъ табльдотѣ на Морской, гдѣ собралось до пятнадцати и болѣе человекъ, все люда интеллигентнаго, — чиновниковъ, моряковъ и т. п. И при мнѣ, въ день выхода «Искры» или на другой, являлся молодой человекъ изъ служащихъ, обѣдавшій постоянно тутъ и, повидимому, знакомый со всѣми, вынималъ вышедшій № «Искры» изъ кармана и начиналъ излагать чуть не цѣлую лекцію объ этомъ номерѣ, объяснялъ рисунки — кого они изображаютъ, по какому поводу они явились, говорили о статьяхъ, о затрудненіяхъ, которыя встрѣтились въ цензурѣ, и т. д., и т. д. Всѣ присутствующіе слушали внимательно, дѣлали возраженія, требовали поясненій. Онъ отвѣчалъ на всѣ вопросы и возраженія, давалъ требуемыя поясненія; повидимому, онъ былъ au-courantъ всего, что дѣлалось въ «Искрѣ». Я былъ убѣжденъ, что этотъ человекъ участвуетъ въ «Искрѣ», стоитъ близко къ редакціи и что его обѣденные разговоры дѣлаются съ вѣдома редакціи для вящаго распространенія журнала. Оказалось, совсѣмъ нѣтъ. Впослѣдствіи я довольно близко познакомился съ редакторомъ «Искры», В. С. Курочкинымъ, былъ иногда на его журфиксахъ, и здѣсь познакомился и съ другимъ редакторомъ «Искры», Степановымъ, но ни тотъ, ни другой не имѣли никакого свѣдѣнія о неизвѣстныхъ добровольцахъ, дѣйствовавшихъ въ ихъ пользу; оба они увѣряли меня, что у нихъ не было и въ мысли пользоваться подобнаго рода пропагандой для распространенія «Искры», которая и безъ того шла очень шибко».

Повторяю, Елисеєвъ нишетъ это мимоходомъ, къ слову, имѣя въ виду совѣзмъ особья цѣли, сообразно которымъ выдвигаетъ только одну сторону дѣла. Но и этого достаточно, чтобы видѣть, какую роль играла въ свое время «Искра», а, слѣдовательно, и ся главный руководитель. То было время обличительнаго жара, обуявшаго русское общество послѣ крымской войны. Не мало комическихъ штриховъ испещряетъ эту картину повальнаго обличенія, по изъ-за нихъ нельзя проглядѣть благородное чувство негодованія на всякій противузаконный поступокъ, на всякое насиліе надъ слабымъ, на всякое проявленіе высокоумнаго невѣжества, халатнаго отношенія къ обязанностямъ, «радѣнія родному человѣку», всяческаго издѣвательства надъ правдой, честью, совѣстью. Центромъ всѣхъ этихъ обличеній стала «Искра»; общество, освѣженное приближающимися вѣяніемъ реформъ, откликнулось и создало для В. С. Курочкина или, пожалуй, вѣрнѣе, онъ самъ создалъ себѣ положеніе совершенно исключительное. Это былъ какъ-бы предсѣдатель суда общественнаго мнѣнія по множеству дѣлъ, часто очень мелкихъ и вполне личнаго характера, но иногда и крупныхъ и, во всякомъ случаѣ, захватывавшихъ, въ своей совокупности, всю грамотную Россію. Положеніе высокое, трудное и отвѣтственное. Многие и многие боялись «Искры», многие и многие возлагали на нее надежды. Тройственная формула писательской дѣятельности, — мысль, слово, дѣло, — если не всегда и не вполне осуществлялась для Курочкина, то была, все-таки, близка и возможна. Надо замѣтить, что тогда провинціальная печать не существовала и, значить, тѣ факты всероссійской жизни, которые нынѣ черпаются столичными газетами и журналами изъ провинціальной прессы, «Искрѣ» приходилось получать изъ первыхъ рукъ; это создавало особенно живое общеніе между редакціей газеты и читателями, которые были или могли стать въ любую минуту также и сотрудниками. Человѣкъ жизни, Курочкинъ отдался этому живому дѣлу вполне. Человѣкъ большого таланта, онъ съ веселіемъ размѣнялъ этотъ талантъ на мелочь и распустилъ свою личность въ обьемъ составѣ своей газеты.

Еще не такъ давно, въ книжкѣ о Щедринѣ и потомъ въ предисловіи къ сочиненіямъ Шелгунова, я говорилъ о тѣхъ большихъ, хотя и невидныхъ публнкѣ трудахъ и жертвахъ, которыя приносятся писателями-журналистами вообще, писателями-редакторами въ особенности. Получая номеръ журнала или газеты, публика не подозрѣваетъ, какая масса труда вложена въ организацію и веденіе дѣла, ибо трудъ этотъ оставилъ по себѣ лишь духовный, невидный слѣдъ. Еще меньше можетъ оцѣнить публика ту жертву, которую приноситъ даровитый писатель, отрекаясь отъ спокойной одиночной работы, налагая на себя бремя черной работы невиднаго руководительства, растворяясь при случаѣ въ анонимъ и псевдонимъ, уступая свою мысль другому, болѣе свободному или въ данную минуту болѣе для исполненія пригодному и т. п. Все

это припялъ Курочкинъ въ полномъ размѣрѣ. Конечно, жертвы эти искупались тѣмъ наслажденіемъ, которое онъ испытывалъ въ качествѣ одного изъ живыхъ центровъ литературы, въ качествѣ руководителя живого дѣла. Но тѣмъ горше было его существованіе, когда это живое дѣло пошатнулось, а затѣмъ и совсѣмъ пало. Попробовавъ сладкаго, не захочешь горькаго, а если ужъ неизбежно приходится его глотать, такъ оно кажется даже выше мѣры горькимъ. Привычная, обратившаяся уже въ потребность непосредственная связь съ читателями, благодаря постороннимъ обстоятельствамъ, расшаталась и, наконецъ, совсѣмъ оборвалась. По пословицѣ «изъ поповъ въ дьякона», Курочкинъ кончилъ фельетонистомъ въ газетѣ Полетики «Молва». Все это шло съ извѣстною постепенностью, «Искра» еще существовала довольно долго (съ перерывами), но уже давно утратила свое исключительное положеніе литературно-судебной инстанціи. И Курочкинъ топилъ свое горе въ винѣ.

Было у него и другое горе. Оно лежало въ условіяхъ его семейной жизни. Я позволилъ себѣ уже столько отступленій, что откладываю до другого раза то новое отступленіе, которое теперь просится подъ перо. Разумію бесѣду о причинахъ и слѣдствіяхъ несчастныхъ браковъ, очень часто встрѣчающихся въ литературной средѣ. Довольствуюсь пока голою отмѣткой несчастія Курочкина и слѣдующимъ фактомъ. Въ противоположность благодушному веселью Курочкина, выпившій Минаевъ производилъ на меня крайне непріятное впечатлѣніе. Чѣмъ-то грубымъ, плоскимъ и, вмѣстѣ съ тѣмъ, разнузданнымъ вѣяло отъ него, по крайней мѣрѣ, на меня. Это впечатлѣніе я получилъ въ 1867 г. и долго отъ него не избавлялся, такъ что даже избѣгалъ Минаева. Лѣтъ, должно быть, за пять до его смерти, послѣ долгаго перерыва, я случайно столкнулся съ нимъ въ Москвѣ, въ вокзалѣ Николаевской желѣзной дороги. Онъ былъ съ какою-то незнакомою мнѣ дамой. Первымъ моимъ движеніемъ было уклониться отъ встрѣчи, но онъ увидалъ меня и намъ пришлось даже ѣхать въ одномъ купе: онъ ѣхалъ въ Петербургъ, я — по дорогѣ въ Петербургъ. Съ первыхъ-же словъ, которыми мы обмѣнялись, я почувствовалъ, что это не тотъ Минаевъ, что онъ точно вымытъ или «выстиранъ», какъ выразился ѣхавшій съ нами-же Г. П. Успенскій. Перемяна была необыкновенно рѣзкая, я такой больше не видалъ, и ключъ къ ней оказался очень простой: измѣненіе условій семейной жизни. Послѣ этой поѣздки я довольно близко сошелся съ Минаевымъ, бывалъ у него, одно время мы даже жили стѣна объ стѣну, и я имѣлъ много случаевъ убѣдиться, какая благородная душа, какое нѣжное сердце систематически, втеченіе многихъ лѣтъ заливалось виномъ. Я тщетно искалъ хоть слѣдовъ того грубаго, разнузданнаго человѣка, который былъ мнѣ такъ антипатиченъ въ началѣ нашего знакомства. Шить попрежнему онъ пересталъ, но иногда, чрезвычайно рѣдко, ему слу-

чалось, по старой памяти и попавъ въ старую обстановку, выпить лишнее; однако, и тутъ душа его оставалась просвѣтленной и умягченной, и прежній Минаевъ былъ емъ поросль. О, если-бы женщины всегда могли соображать, какой свѣтъ, но за то и какой мракъ могутъ онѣ вносить въ жизнь человѣка и, можетъ быть, въ особенности русскаго писателя! По вышеизложеннымъ причинамъ, которыя, впрочемъ, читателю предоставляется развить самому, въ персоналѣ русской литературы очень рѣдки сильные характеры, способные не сгибаться подъ тяжестью посланнаго имъ судьбой креста. Прибавьте еще къ этому усиленную нервность, по самой природѣ вещей свойственную литераторамъ, и вы поймете, какъ много значать въ судьбѣ русскаго писателя семейныя условія.

Послѣдніе годы жизни Минаева озарились нѣкоторымъ мягкимъ свѣтомъ, но въ смыслѣ воздѣйствія на его литературную дѣятельность это озареніе уже запоздало: какъ писатель, онъ уже сложился безповоротно. А, между тѣмъ, кое-что въ его литературной фізіономіи подлежало-бы измѣненію. Человѣкъ безпорно очень талантливый, онъ, прежде всего, необыкновенно разбрасывался. Разбрасывался отнюдь не такъ, какъ Курочкинъ, который, дробя свои недюжинныя силы, сосредоточивалъ ихъ, все-таки, на своемъ журналѣ. Я не знаю, что стало-бы съ Курочкинымъ, если-бы у него не было журнала, хотя уже его исключительная любовь къ Бералже свидѣтельствуетъ, что онъ выбралъ-бы себѣ опредѣленное русло въ литературѣ. Минаевъ-же ни на чемъ не останавливался достаточно вдумчиво и продолжительно,—онъ скользилъ по явленіямъ литературы и жизни. Вдобавокъ, онъ былъ виртуозъ слова,—каламбуръ, игра словъ, трудная и какая-нибудь особенно фокусная риема всегда соблазняли его, настолько соблазняли, что заслонили собою подчасъ мысль. Впрочемъ, на этотъ счетъ о Минаевѣ говорилось такъ много, что я предпочитаю остановиться. Думаю, что безпорядочная жизнь много способствовала этой разбросанности и этой чрезмерной склонности къ разнообразной, виртуозной и мелкой игрѣ словами.

Ни В. С. Курочкинъ, ни Минаевъ не представляли для меня загадки. По своей молодой неопытности, я ошибался, видя въ В. С. Курочкинѣ какое-то ходячее заразительное веселье и не умѣя проникнуть дальше коры грубой распущенности, которая облегла душу Минаева. Но такъ или иначе, а мнѣ казалось, что я ихъ понимаю. Совсѣмъ другое дѣло Кроль и Толбинъ. Это были типичные представители какой-то совсѣмъ другой эпохи, другого, чуждаго и непонятнаго мнѣ духовнаго склада. Типъ этотъ живо возсталъ въ моей памяти недавно, при чтеніи воспоминаній г. Фета. Я приведу нѣсколько отрывковъ изъ этихъ воспоминаій, которыя поясняютъ мое тогдашнее недоумѣніе.

Разсказывая объ одномъ семействѣ, въ которомъ было двѣ дочери, г. Фетъ говоритъ: «О меньшей, если не говорить объ ея черныхъ во-

лосахъ, широко выведенныхъ бровяхъ и замѣчательно черныхъ и блестящихъ глазахъ, сказать болѣе нечего; но старшая, блондинка, была явленіемъ далеко не дюжиннымъ. Уже одно ея появленіе въ дверяхъ невольно кидалось въ глаза. Она не входила, а, такъ сказать, шествовала въ комнату, строго сохраняя щегольскую кавалерійскую выправку: корпусъ назадъ, затылокъ назадъ» (*Воспоминанія*, I, 3).

Въ январѣ 1858 г. Кокоревъ давалъ въ Москвѣ обѣдъ, на который, въ числѣ другихъ московскихъ литераторовъ, получилъ приглашеніе и г. Фетъ. За обѣдомъ Кокоревъ сказалъ рѣчь, въ которой повторилъ сказанное имъ уже раньше въ купеческомъ клубѣ, а именно «о добровольной помощи со стороны купечества къ выкупу крестьянскихъ усадебъ». Г. Фетъ рассказываетъ: «Помню, съ какимъ воодушевленіемъ подошелъ ко мнѣ М. Н. Катковъ и сказалъ: «вотъ бы вамъ вашимъ перомъ иллюстрировать это событіе». Я не отвѣчалъ ни слова, не чувствуя въ себѣ никакихъ силъ иллюстрировать какія-бы то ни было событія. Я никогда не могъ понять, чтобы искусство интересовалось чѣмъ-либо помимо красоты. Тѣмъ не менѣе, за столами, покрытыми драгоценнымъ стариннымъ серебромъ: ковшами, сулеями, братинами и т. д., съ великимъ сочувствіемъ находилсъ наиболѣе выдававшіеся въ литературѣ славянофилы» (I, 225).

«Я не встрѣчалъ человѣка, въ которомъ-бы стремленіе къ земнымъ наслажденіямъ высказывалось съ такою беззавѣтною откровенностью, какъ у Боткина (Василія). Можно было-бы подумать, что онъ древній грекъ, заставившій Шиллера въ своемъ гимнѣ «Боги Греціи» воскликнуть:

Было лишь прекрасное священо,
Наслажденья не стыдился богъ...

«Но нигдѣ стремленіе это не проявлялось въ такой полнотѣ, какъ въ клубѣ передъ превосходною закуской. «Вѣдь, это все прекрасно!—восклицалъ съ сверкающими глазами Боткинъ.—Вѣдь, это надо все съѣсть!» (II, 24).»

«Неудивительно, что въ домѣ гр. А. К. Толстого, посѣщаемомъ не профессиональными, а вполне свободными художниками, штукатурная стѣна вдоль лѣтницы во второй этажъ была заброшена мнѳологическими рисунками чернымъ карандашомъ. Графъ самъ былъ превосходный гастропомъ, и я замѣчалъ, какъ Боткинъ преимущественно передъ всѣми наслаждался превосходными кушаньями на лондонскихъ серебряныхъ блюдахъ и подъ такими-же художественными крышками» (II, 26).

Я могъ-бы сдѣлать еще много подобныхъ выписокъ изъ воспоминаній г. Фета, но полагаю, что и приведеннаго достаточно, чтобы повергнуть, по крайней мѣрѣ, нѣкоторыхъ читателей въ недоумѣніе. Что это такое? Что это за удивительный переплетъ чистаго искусства, поклоненія красотѣ съ сладострастіемъ обжорства и оцѣнку женщины съ точки зрѣнія «щеголь-

скої кавалерійскої виправки: корнусь назадъ, затылокъ назадъ»? «Было лишь прекрасное священно... особенно въ клубѣ передъ превосходною закускою». «Не какіе-нибудь профессиональные художники, а настоящие, свободные служители вѣчнаго искусства рисовали картины гр. Толстому... да онъ и самъ былъ превосходный гастрономъ». Поразительно здѣсь не то, что люди любятъ хорошо поѣсть и, въ то-же время, любить и цѣнять хорошія картины или вообще почитаютъ искусство,— поразительно то, что все это соплетается для нихъ органически, принципиально, такъ что слова «священная» и «закуска», «das ewig weibliche» и «кавалерійская виправка», «Шекспиръ» и «стерляжья уха» могутъ совершенно спокойно уживаться въ мозгу и на бумагѣ рядомъ, пополняя другъ друга. Вотъ эта самая черта поражала меня и въ Кроль и Толбинъ. Потомъ, когда я пожилъ на свѣтѣ, повидаль всякіе виды и вдумался въ доктрину святого чистаго искусства, я пересталъ удивляться. Я понялъ цѣльность, законченность того типа, который такъ часто мелькаетъ на страницахъ воспоминаній г. Фета. Но тогда недоумѣніе мое было тѣмъ сильнѣе, что Кроль и Толбинъ не представляли собою столь законченнаго типа. Дѣло не въ томъ, что г. Феть, В. Боткинъ и проч. приправляютъ свои бесѣды шампанскимъ и стерляжьей ухой, а Кроль и Толбинъ не отказывались отъ водки съ колбасой и пива,—это просто дѣло средствъ; хотя и то надо, все-таки, сказать, что серебряныя блюда и грифели какъ-то больше гармонируютъ съ помѣсью «священнаго» и «закусочнаго». Затѣмъ, сколько я помню, Толбинъ былъ просто, что называется, добрый малый, безъ всякаго опредѣленнаго образа мыслей, а Кроль грѣшилъ подчасъ нѣкоторымъ либерализмомъ. Это тоже не дѣло, тоже портитъ типъ. Г. Феть и многіе его собесѣдники гораздо цѣльнѣе, послѣдовательнѣе. Воспоминанія г. Фета, интересныя если не сплошь, то во многіхъ своихъ подробностяхъ, особенно цѣнны по тому документальному матеріалу, который въ нихъ въ изобиліи вложенъ. Письма Тургенева, гр. Л. Толстого, Боткина очень многое характеризуютъ и освѣщаютъ. Вотъ отрывки изъ писемъ Тургенева:

«Я говорю, что художество такое великое дѣло, что дѣлаго чело-вѣка едва на него хватаетъ со всѣми его способностями, между прочимъ, и съ умомъ; вы поражаете умъ остракизмомъ и видите въ произведеніяхъ художества только бессознательный лепетъ спящаго» (I, 391).

«Вѣроятно, по прочтеніи моеи новой повѣсти, которая едва-ли вамъ понравится, вы и ея недостатки припишете уму. Дался вамъ этотъ гонимый заяцъ. Смотрите! (Въ подлинномъ письмѣ нарисованъ заяцъ, на спинѣ котораго написано: *умъ* — и настигающая его борзая собака, съ лицомъ бородатаго челоуѣка и съ надписью на спинѣ: *Феть*)» (I, 393).

«Вы—закоренѣлый и остервенѣлый крѣпостникъ, консерваторъ и поручикъ стариннаго закала» (I, 404).

«Моя претензія на васъ состоитъ въ томъ, что вы все еще съ прежнимъ, носящимъ уже всѣ признаки собачьей старости упорствомъ нападаете на то, что вы величаете «разсудительствомъ», но что, въ сущности, ничто иное, какъ человѣческая мысль и человѣческое знаніе» (II, 94).

Надо замѣтить, что Тургеневъ былъ очень расположенъ лично къ г. Фету и все, только что приведенное, входитъ въ составъ вполне дружеской переписки. Тѣмъ, разумѣется, цѣннѣе въ данномъ случаѣ характеристика Тургенева. Если вы прибавите ее къ «священной закускѣ» и «кавалерійской выправкѣ», то получите чрезвычайно яркій типъ, которымъ ^{еще} можно, пожалуй, даже любоваться, какъ можно любоваться закояченнымъ художественнымъ воспроизведеніемъ хотя бы непріятнаго сюжета. Это не помѣшаетъ вамъ, конечно, отвернуться отъ самого сюжета при встрѣчѣ съ нимъ въ жизни. Такъ-бы я и поступилъ даже въ своей ранней молодости, если-бы Кроль и Толбинъ совмѣщали въ себѣ всѣ элементы типа. Но этого не было, и я рѣшительно недоумѣвалъ. Однажды мнѣ пришлось, впрочемъ, настоятельно предложить Кролю удалиться изъ моего мезонина, — до такой степени ошеломилъ онъ меня какимъ-то чудовищнымъ сплетеніемъ эстетическихъ идеаловъ съ чѣмъ-то совершенно уже некрасивымъ въ этическомъ смыслѣ. Потому я имѣлъ много случаевъ убѣдиться, что хотя этика и эстетика весьма близкіе родственники, но между ними часто разыгрывается исторія Каина и Авеля. Въ этомъ, конечно, и заключается истинная причина того односторонняго и преувеличеннаго гоненія, которое нѣкоторыя пылкія молодыя головы воздвигли въ шестидесятыхъ годахъ на эстетику. Какъ-бы односторонно и преувеличенно ни было это гоненіе, оно имѣло свои жизненные основанія; въ особенности, если къ этикѣ прибавить еще политику. И было въ немъ несомнѣнное зерно правды. Его можно формулировать вопросомъ: Каинъ! гдѣ братъ твой Абель?

III.

Продолжаю вспоминать.

Я былъ молодъ, здоровъ, силенъ, одинокъ, а извѣстно, что одна голова не бѣдна, а и бѣдна, такъ одна. И, все-таки, туго приходилось лѣтомъ 1867 года,—туго и отъ невольнаго, вынужденнаго бездѣлья, когда только что попробовалъ сладкаго яда литературной работы, туго и прямо отъ матеріальныхъ лишеній. Для воспроизведенія нашей «богемской» жизни на Черной рѣчкѣ нужно-бы было перо Мюрге. Уже кое-

что изъ мебели Н. С. Курочкина пошло на растопку плиты... Уже не разъ кухарка на вопросъ: «Въ долгъ, что-ли, въ лавочкѣ-то взять?» получала веселый отвѣтъ: «Да, да, въ долгъ, долгъ прежде всего». Уже не разъ веселое богемское житье, при которомъ, возставъ отъ сна, не знаешь, будешь-ли сегодня сытъ, или пѣтъ, ставовилось въ тягость. Въ особенности Курочкину, который былъ и старше, и избалованнѣе, и требовательнѣе меня. И вотъ въ одинъ прекрасный день явился вѣстникъ избавленія. Это былъ П. А. Гайдебуровъ, нынѣшній редакторъ-издатель «Недѣли». Онъ пріѣхалъ приглашать Курочкина въ ежедневную «судебно-политическую» газету «Гласный Судъ», издателемъ и отвѣтственнымъ редакторомъ которой былъ нѣкто Артоболевскій. По профессіи Артоболевскій былъ не литераторъ, а стенографъ, и, притомъ, человекъ малообразованный. «Гласный Судъ» опъ предпринялъ въ 1866 году, я полагаю, просто съ спекулятивными цѣлями, въ расчетѣ на заголовокъ: повый судъ былъ тогда дѣйствительно новинкой. Сверхъ того, Артоболевскій издавалъ «Самоучитель Стенографіи», выходившій еженедѣльно. Первый годъ газета, то есть собственно подписка на нее, шла, кажется, бойко, но уже на слѣдующій годъ выяснилось, что на одной спекуляціи въ литературномъ дѣлѣ далеко не уѣдешь. Какъ и когда попалъ въ «Гласный Судъ» г. Гайдебуровъ, я не знаю. Знаю только, что лѣтомъ 1867 года онъ пріѣхалъ къ Курочкину съ просьбой о сотрудничествѣ. Курочкинъ взялъ на себя отдѣлъ иностранной политики и рекомендовалъ г. Гайдебурову меня для критическаго отдѣла и, помнится, Демерта для внутреннихъ извѣстій. Въ этомъ послѣднемъ я не увѣренъ. Домовитый, хозяйственный Демертъ не выдержалъ нашего слишкомъ уже цыганскаго житья и лѣтомъ-же 1867 г. уѣхалъ въ провинцію на службу или искать службы. Но я не помню, уѣхали ли онъ до или послѣ неудачной пробы съ «Гласнымъ Судомъ». Если послѣ, то, по всей вѣроятности, и онъ участвовалъ въ этой «судебно-политической» газетѣ, въ сущности, впрочемъ, издававшейся по обыкновенной программѣ ежедневныхъ газетъ. Но за то я хорошо помню себя и Курочкина за работой въ «Гласномъ Судѣ». Курочкинъ, по своимъ обязанностямъ завѣдующаго отдѣломъ иностранной политики, долженъ былъ ѣздить въ городъ, въ редакцію, каждый день, я-же лишь время отъ времени. Помню, какъ мы, окончивъ дѣла въ редакціи, отправлялись, съ спокойствіемъ людей вполне обезпеченныхъ, трапезовать въ греческую кухмистерскую «Афина», на углу Троицкаго переулка и Невскаго. Не знаю, существуютъ-ли подобныя благодѣтельныя учрежденія теперь. Въ «Афинѣ» можно было копѣекъ за тридцать набѣться разной дряни до хорошаго разстройства желудка, а истративши рубль, самъ Лукуллъ остался-бы много доволенъ, особенно если-бы зналъ, какъ знали, благодаря «Гласному Суду», мы, что и завтра, и послѣ завтра разстройство желудка вполне обезпечено. Не житье, а масляница. Од-

нако, и этой масляницѣ пришелъ конецъ и наступилъ настоящей великій постъ. Дѣла Артоболевскаго шли все на убыль. Однажды онъ предложилъ намъ сбавку гонорара, причемъ выдалъ какія-то расчетныя или памятные книжки, по которымъ впоследствии, когда дѣла поправятся, мы могли дополучить свой заработокъ. Но дѣла не поправлялись и, какъ очень скоро съ очевидностью выяснилось, не могутъ поправиться. Прекратился-ли, за истощеніемъ средствъ издателя, «Гласный Судъ», или мы не дождались этого конца, не помню. Произошла трогательная сцена разставанія, причемъ Артоболевскій, въ благодарность за сотрудничество, предложилъ намъ подарокъ — «Самоучитель Стенографіи». Онъ великодушно отдавалъ это еженедѣльное изданіе въ наше полное распоряженіе. Подписчиковъ у «Самоучителя» было, правда, очень мало, но Артоболевскій указалъ намъ другую выгоду: такъ какъ значительная часть «Самоучителя» печаталась не обыкновеннымъ шрифтомъ, а стенографическими знаками, то подъ прикрытіемъ ихъ мы могли совершенно свободно излагать свои мысли, — цензура ничего не пойметъ. Это была блестящая мысль, достойная стенографическаго гения Артоболевскаго, но при осуществленіи ея предстояло то маленькое неудобство, что и читатель ничего не пойметъ. Эта маленькая тучка на открывавшемся передъ нами широкомъ горизонтѣ заставила насъ отказаться отъ подарка.

Скоро сказка сказывается, да не скоро дѣло дѣлается. На этотъ разъ, однако, дѣло дѣлалось почти такъ-же скоро, какъ идетъ мой рассказъ. Если мнѣ не измѣняетъ память, то двумя фельетонами и одною передовою статьей исчерпывается мое сотрудничество въ «Гласномъ Судѣ».

Приближалась и приблизилась осень, впереди была зима, а зимой бываетъ ужасно холодно въ лѣтнемъ пальто. Тутъ подошли и еще нѣкоторые обстоятельства, и я рѣшилъ уѣхать изъ Петербурга къ роднымъ, въ деревню. Не смотря на все невзгоды, у меня ни разу даже не мелькнула мысль измѣнить литературу для какой-нибудь другой дѣятельности. Очевидно, я былъ въ этомъ отношеніи уже конченный человѣкъ. Въ самомъ водоворотѣ цыганской жизни мнѣ удавалось, все-таки, работать, приготовляясь къ исполненію обширныхъ литературныхъ плановъ. Въ деревню я повезъ съ собой таковыхъ два.

Еще подъ вліяніемъ Ножица и отчасти подъ его руководствомъ, я заинтересовался вопросомъ о границахъ біологіи и соціологіи и возможностью ихъ сближенія. Ножинъ былъ мало свѣдущъ въ общественныхъ наукахъ, но въ области біологіи онъ, навѣрное, очень быстро занялъ бы одно изъ самыхъ видныхъ мѣстъ, если-бы его не подкосила ранняя смерть. Опъ много работалъ самостоятельно, между прочимъ, надъ исторіей развитія низшихъ морскихъ животныхъ, и одна такая специальная работа, — результатъ его личныхъ наблюденій на берегу Средиземнаго моря, — напечатанная въ бюллетеняхъ нашей академіи наукъ,

обратила на себя вниманіе и въ Европѣ. Но узкая спеціальность не удовлетворяла его, онъ рвался въ даль и въ ширь. Онъ былъ ярый дарвинистъ въ біологіи и столь-же ярый противникъ дарвинизма въ социологіи. Дарвина онъ называлъ «гениальнымъ буржуа-натуралштомъ». Не могу достаточно высоко оцѣнить пользу, доставленную мнѣ общеніемъ съ кругомъ идей Ножина, но въ нихъ было, все-таки, много смутнаго, частью потому, что они въ самомъ Ножинѣ еще только развивались, частью по малому его знакомству съ областью общественнаго знанія. Я подучилъ отъ Ножина собственно только толчокъ въ известномъ направленіи, но толчокъ сильный, рѣшительный и благотворный. Не помышляя о спеціальныхъ занятіяхъ біологіей, я, однако, много читалъ по указанію Ножина и какъ-бы по его завѣщанію. Эта новая струя чтенія бросала своеобразный и чрезвычайно меня занимавшій отблескъ на тотъ значительный, хотя и безпорядочный, а частью и просто негодный матеріалъ, фактическій и идейный, которымъ я занаясь раньше. Постепенно, сначала въ очень смутныхъ очертаніяхъ, скорѣе угадываемыхъ, чѣмъ сознаваемыхъ, складывался планъ обширной социологической работы. Появившіеся въ 1866 г. по-русски первые томы сочиненій Спенсера придали нѣсколько болѣе опредѣленные контуры одной части этого смутнаго плана,—теоріи прогресса. Рѣзкая противоположность идей и пріемовъ Спенсера всему тому, до чего я мысленно не то что доработался, а дорабатывался, уяснила мнѣ многое. Однако, и эта часть общаго плана была еще далеко не ясна, когда я уѣзжалъ въ 1867 году изъ Петербурга. Тѣмъ болѣе, что въ то-же самое время меня преслѣдовалъ еще другой литературный планъ—романъ. Изъ этого романа, никогда не конченнаго, я впоследствии, въ 1876—77 гг., выбралъ значительную часть матеріала для полубеллетристическихъ, полупублицистическихъ очерковъ «Въ пережку». Перепечатывая эти очерки въ IV томѣ своихъ сочиненій рядомъ со статьей «Что такое прогрессъ?» я писалъ въ предисловіи: «Несмотря на то, что обѣ эти вещи писаны въ разное время, несмотря, далѣе, на разницу формы, читатель, надѣюсь, усмотритъ ихъ внутреннее единство и, слѣдовательно, оправдастъ такое на первый взглядъ странное сосѣдство». Съ тѣхъ поръ я имѣлъ случай убѣдиться, что внутреннее единство обѣихъ половинъ IV тома не такъ ужъ ясно для многихъ читателей, какъ я предполагалъ. Но для меня-то оно тѣмъ яснѣе, что хотя обѣ эти половины писались въ разное время, но обдумывались или зарождались какъ разъ одновременно. Убѣдившись въ слабости своего художественнаго дарованія, я бросилъ романъ (хотя позже, въ восьмидесятыхъ годахъ, меня опять потянуло къ беллетристикѣ), но въ 1867 г. онъ меня очень занималъ. Онъ настолько подвинулся впередъ, что, вернувшись въ 1868 году въ Петербургъ, я уже могъ подумывать о томъ, куда-бы его пристроить.

Въ 1868 г. въ петербургской журналистикѣ, послѣ полуторагодового затишья, наступило значительное оживленіе. Некрасовъ взялъ въ аренду «Отечественныя Записки» и совершенно ихъ преобразилъ. Книгопродавецъ и книгоиздатель Тиблепъ открылъ новый ежемѣсячный журналъ «Современное Обозрѣніе». Появилась «Недѣля», издававшаяся Генкселемъ и редактировавшаяся П. Θ. Конради. Н. С. Курочкинъ, приглашенный Некрасовымъ для завѣдыванія бібліографическимъ отдѣломъ въ «Отечественныхъ Запискахъ», усиленно тянулъ меня въ этотъ журналъ, но я упорно отказывался. Громкое, дорогое намъ, тогдашней, да, надѣюсь, и теперешней молодежи имя Некрасова очень потускнѣло со времени закрытія «Современника». Надо замѣтить, что уже въ 1864 г. «Современникъ» сталъ терять свой престижъ, равнаго которому дотолѣ не было во всей исторіи русской журналистики. Нечего и говорить о насъ, тогдашней молодежи,—мы уивались «Современникомъ». Но и гораздо болѣе солидныя и значительныя сферы испытывали на себѣ его обаяніе. Есть два рода, два характера литературной дѣятельности. Одни писатели думаютъ вліять непосредственно на ходъ государственной жизни въ ея механикѣ сегодняшняго дня. Другіе рассчитываютъ вліять лишь на общественное мнѣніе, воспитывать въ обществѣ извѣстное настроеніе, извѣстные идеалы, подлежащіе практическому осуществленію, можетъ быть, завтра, а, можетъ быть, черезъ много лѣтъ. Нѣтъ принципиальныхъ основаній для разлученія этихъ двухъ видовъ литературной дѣятельности, но жизнь то разлучаетъ ихъ, то дозволяетъ имъ сливаться въ одно теченіе. Въ Европѣ, гдѣ представители общественнаго мнѣнія могутъ быть, вмѣстѣ съ тѣмъ, и официальными руководителями практической жизни, упомянутое различіе двухъ видовъ литературной дѣятельности весьма слабо. Оно опредѣляется, можетъ быть, исключительно личными вкусами и темпераментами самихъ писателей. Одинъ болѣе склоненъ къ разработкѣ общихъ идеаловъ, озаряющихъ жизнь въ ея цѣломъ и отражающихся на умственномъ и нравственномъ настроеніи всей массы общества; другой, напротивъ, по своему темпераменту, привычкамъ, воспитанію, предпочитаетъ оказывать непосредственное давленіе на людей, стоящихъ у власти. Но ничто, кромѣ личныхъ склонностей, не мѣшаетъ имъ въ любой моментъ помѣняться ролями или совмѣстить ихъ въ одномъ лицѣ. У насъ дѣло происходитъ нѣсколько иначе. Вѣликій, наиримѣръ, имѣвшій огромное вліяніе на общество и воспитавшій не одно поколѣніе, не былъ даже и послѣднею снпцей въ официальной колесницѣ русской жизни. Блестящимъ и едва-ли повторимымъ, по крайней мѣрѣ, въ ближайшемъ будущемъ, образчикомъ литературной дѣятельности противоположнаго характера можетъ служить Катковъ. Однако, и у насъ, въ нѣкоторые приподнятые моменты жизни, возможно до извѣстной степени сочетаніе обоихъ характеровъ дѣятельности (я говорю о харак-

терѣ, а не о направленіи дѣятельности). Таково именно было положеніе «Современника». Это, впрочемъ, мимоходомъ.

Для насъ, молодыхъ читателей и почитателей, уже смерть Добролюбова и удаленіе Чернышевскаго произвели непоправимый изъянъ въ физиономіи «Современника». А рядомъ съ этими тяжкими потерями въ составѣ «Современника» поднималось значеніе «Русскаго Слова», въ особенноти Писарева. И когда «Современникъ», устами М. А. Антоновича, завелъ длинную и грубую полемику съ «Русскимъ Словомъ», престижъ «Современника» и еще поблекъ. Русскій читатель любитъ присутствовать при полемическихъ схваткахъ, но есть предѣлы и содержанія, и формы полемики, перейдя за которые даже такой даровитый писатель, какъ г. Антоновичъ, можетъ лишь уронить свое дѣло. Такъ и случилось. Охлажденіе къ «Современнику» вообще осложнилось еще слухами о неблаговидномъ поведеніи Некрасова въ трудное время 1866 года, — слухами, вызвавшими извѣстное посланіе «неизвѣстнаго друга», озаглавленное «Не можетъ быть»:

«Мнѣ говорятъ: твой чудный голосъ — ложь;
Прельщаешь ты притворною слезою,
И словомъ лишь толпу къ добру влечешь,
А самъ, какъ змѣй, смѣешься надъ толпою».

И т. д. Извѣстную степень справедливости дурныхъ слуховъ всенародно призналъ нѣсколько позже самъ Некрасовъ въ своемъ отвѣтѣ «неизвѣстному другу»:

«Не торговалъ я лирой, но, бывало,
Когда грозилъ неутолимый рокъ,
У лиры звукъ невѣрный исторгала
Моя рука...»

И далѣе:

«Я призванъ былъ воспѣть твои страданья,
Терпѣньемъ изумляющій народъ!
И бросить хотъ единый лучъ сознанья
На путь, которымъ Богъ тебя ведетъ;
Но, жизнь любя, къ ея минутнымъ благамъ
Прикованный привычкою и средой,
Я къ цѣли шелъ колеблющимся шагомъ,
Я для нея не жертвовалъ собой».

Враги, которыхъ всегда много у всякаго виднаго литературнаго дѣятеля, ликовали, друзья и сторонники отшатнулись или сконфузились. Мнѣ, горячему почитателю поэта, самому случалось слышать злорадные возгласы: «Ну, что вашъ Некрасовъ? Хорошъ?!» Нехорошъ, конечно, но какъ-же горько и обидно было признать это... Оскорбленіе, нанесенное моею юной душѣ Некрасовымъ, было слишкомъ велико, и немудрено, что я упирался идти въ «Отечественныя Записки». Тогда въ литературныхъ кружкахъ много говорили, между прочимъ, и о противуестественности союза Некрасова съ Краевскимъ, который тянулъ въ

старыхъ «Отечественныхъ Запискахъ» совсѣмъ неподходящую ноту. Но это меня не смущало. Я зналъ отъ Н. С. Курочкина, что никакого союза тутъ нѣтъ, а есть простая денежная сдѣлка, въ силу которой Краевскій отдавалъ на извѣстный срокъ и за извѣстную ежегодную плату свой журналъ Некрасову, обязуясь не вмѣшиваться въ литературную сторону дѣла. Дѣла «Отечественныхъ Записокъ» при Краевскомъ шли все хуже и хуже. Ни борьба г. Страхова съ «Западомъ» и съ «нигилистами», ни другіе перлы не спасали журналъ отъ очевиднаго паденія. И даже послѣ 1866 г. Краевскій не могъ-бы повторить фразу Скалозуба: «Довольно счастливъ я въ товарищахъ своихъ, — тѣ, смотришь, умерли, другіе перебиты». Прекращеніе «Современника» и «Русскаго Слова», благодаря которому сильно очистилось поле конкуренціи, не улучшило дѣлъ «Отечественныхъ Записокъ». Пришелъ Некрасовъ и предложилъ Краевскому выгодныя условія. Краевскій, человекъ, собственно говоря, совершенно чуждый литературѣ, хотя и нажившій на ней каменные палаты, согласился отдать свой журналъ представителямъ враждебнаго ему направленія (если позволительно говорить о направленіи Краевскаго). Эта сдѣлка бросаетъ тѣнь ужь, конечно, не на Некрасова, хотя враги Некрасова пробовали экслоатировать и этотъ фактъ. Меня онъ, повторяю, не смущалъ. Но смущала сама личность Некрасова, котораго я когда-то такъ горячо, хотя и заочно любилъ, которымъ зачитывался до слезъ. Напрасно добрѣйшій Н. С. Курочкинъ соблазнялъ меня перспективой возрожденія «Современника»; напрасно указывалъ, что если въ новыхъ «Отечественныхъ Запискахъ» не будетъ такихъ сотрудниковъ «Современника», какъ гг. Антоповичъ и Жуковскій, то будутъ Салтыковъ и Елисеевъ, имена которыхъ достаточно гарантируютъ направленіе журнала; напрасно объяснялъ поведеніе Некрасова въ 1866 г. исключительностью обстоятельствъ. Самымъ тяжелымъ для меня былъ тотъ аргументъ *ad hominem*, который, наконецъ, пустилъ въ ходъ Курочкинъ. Онъ спрашивалъ: если онъ, Курочкинъ, старый, опытный, никогда себѣ не пѣмѣнявшій писатель, находитъ возможнымъ работать у Некрасова, то неужели-же мнѣ, писателю начинающему и еще ничѣмъ себя не заявившему, это постыдно? И неужели я, хорошо его знающій, имѣю къ нему такъ мало довѣрія? Я могъ-бы на это, конечно, многое возразить, но не возразилъ ничего. Курочкинъ былъ моимъ литературнымъ крестнымъ отцомъ, онъ пріютилъ и кормилъ меня въ трудное время, никогда ничѣмъ не давая мнѣ почувствовать, что дѣлаетъ одолженіе. Но и помимо этихъ личныхъ отношеній я, не смотря на все его слабости и смѣшныя стороны, искренно уважалъ его, какъ человѣка. Естественно, что у меня не повертывался языкъ возражать на его *argumentum ad hominem*. Мы порѣшили на томъ, что я попробую работать въ отдѣлѣ библиографіи, которымъ онъ завѣдуетъ, а что будетъ дальше—посмотримъ.

Оставались еще «Современное Обозрѣніе» и «Недѣля». Послѣ нѣкоторыхъ колебаній, навѣянныхъ одной нелѣпою фразой въ объявленіяхъ объ изданіи «Современнаго Обозрѣнія», я отправился весной все того-же 1868 г. въ редакцію этого журнала съ первою частью своего романа (онъ назывался «Борьба») и со статьей публицистическаго характера «Письма о русской интеллигенціи».

Всегданняя моя бѣда, какъ писателя, состояла и доселѣ состоитъ въ томъ, что я никогда не могъ оградить свой сюжетъ отъ вторженій текущей жизни съ ея пестрымъ шумомъ сегодняшняго дня. Я не увѣренъ, впрочемъ, что это дѣйствительно бѣда, потому что если это обстоятельство мѣшало цѣльности и сосредоточенности работы, то взамѣнъ придавало ей, можетъ быть, извѣстную жизненность. Можетъ быть, далѣе, это совсѣмъ не моя личная особенность, а общая, воспитанная обстоятельствами времени и мѣста, черта всей той литературной среды, въ которой окончательно сложилась моя литературная физиономія. По крайней мѣрѣ, въ «Отечественныхъ Запискахъ» семидесятыхъ годовъ подобрался все люди, въ писаніяхъ которыхъ всегда громко билась безпокойная жилка публициста, то есть болѣе или менѣе страстнаго докладчика по дѣламъ сегодняшняго дня. Не говоря объ Елисеевѣ или Демертѣ, которыхъ обязанность именно и состояла въ освѣщеніи текущихъ событій, черта эта отразилась и въ Некрасовѣ, и въ особенности въ Салтыковѣ и Г. И. Успенскомъ. Что касается меня лично, то когда г. Слонимскій озаглавилъ одну изъ своихъ, направленныхъ противъ меня, статей «Мнимая социологія», онъ обнаружилъ лишь свое незнакомство съ дѣломъ, о которомъ взялся говорить. Но если-бы онъ написалъ «Публицистическая социологія», то каково-бы ни было содержаніе этой статьи, а заглавіе было-бы и довольно правдиво, и съ извѣстной точки зрѣнія, достаточно обидно. Я-бы, впрочемъ, не обидѣлся: еже писахъ—писахъ. Когда чисто теоретическая статья, уже изрѣзанная разными публицистическими отступленіями, все-таки, не вмѣщала въ себѣ всего, что меня оскорбляло или радовало въ текущей жизни, я начиналъ, рядомъ съ ней, другія статьи, уже прямо публицистическія, и часто не доводилъ своего теоретическаго плана до конца. Такъ было еще и въ тѣ времена, когда я отправился въ редакцію «Современнаго Обозрѣнія». Въ головѣ у меня былъ планъ статьи о прогрессѣ, на бумагѣ—первая часть романа, но въ то-же время непреодолимо хотѣлось говорить о сегодняшнемъ днѣ. Принесенныя мною въ «Современное Обозрѣніе» «Письма о русской интеллигенціи» (боюсь, что не совсѣмъ точно помню заглавіе) должны были служить началомъ цѣлой серии статей и печататься ежемѣсячно.

Редакторъ-издатель «Современнаго Обозрѣнія» Тибленъ, отставной кавалерійскій офицеръ, немножко через-чуръ развязный, но человѣкъ образованный, издавшій передъ тѣмъ нѣсколько хорошихъ переводныхъ

книгъ, между прочимъ, первые томы сочиненій Спенсера, принялъ меня очень любезно, и сталъ вдвое любезнѣе, когда прочиталъ мои рукописи. Надо замѣтить, что «Современное Обзорѣнiе» началось при участіи нѣкоторыхъ бывшихъ сотрудниковъ «Современника»—гг. Пышина и Жуковского, отдѣлившихся отъ Некрасова, Салтыкова и Елисеева. Но гг. Пылинъ и Жуковскій участвовали лишь въ редактированіи программы и перваго номера журнала. Во всякомъ случаѣ, къ тому времени, когда я пришелъ въ «Современное Обзорѣнiе», Тибленъ хозяйничалъ тамъ одинъ. Опъ рѣшилъ начать печатать «Письма» съ іюня, а романъ съ іюля,—съ тѣмъ, чтобы къ августу я приготовилъ вторую часть. Вышла іюньская книжка, печаталась іюльская. Я продолжалъ писать романъ и «Письма». Однажды Тибленъ вручилъ мнѣ чистый оттискъ моего романа и пригласилъ къ себѣ на дачу, гдѣ-то на Невѣ, и довольно далеко. Мы ѣхали на пароходѣ. День былъ солнечный, тихій, Нева такая ласковая, нощь парохода такъ красиво и сильно рѣзала синюю воду и на душѣ у меня соловьи пѣли. Немудрено: въ карманѣ моего пальто лежалъ сброшюрованный печатный оттискъ, на первой страницѣ котораго красовались слова: «Борьба. Романъ. Часть первая». Кончены все мытарства! Я у пристани! Какъ только кончу романъ, примусь за статью о прогрессѣ, а «Письма» пойдутъ своимъ чередомъ, а изъ-за статьи о прогрессѣ уже виднѣются неясныя контуры другихъ работъ...

Одно меня немножко смущало. Статья о прогрессѣ складывалась въ формѣ критическаго разбора перваго тома сочиненій Спенсера, причемъ мнѣ пришлось-бы очень мало въ чемъ согласиться со Спенсеромъ и очень много въ чемъ рѣшительно не согласиться. А между тѣмъ Тибленъ былъ не только издателемъ русскаго перевода Спенсера, но частью и переводчикомъ и вдобавокъ горячимъ поклонникомъ. Въ 1866 г., когда Тибленъ задумалъ изданіе сочиненій Спенсера въ семи томахъ (это изданіе не было кончено), знаменитый нынѣ англійскій мыслитель былъ весьма мало извѣстенъ на европейскомъ континентѣ,—не существовало ни французскаго, ни нѣмецкаго перевода ни одного изъ его сочиненій. Тибленъ такъ сказать, опередилъ Европу. Да и самъ Тибленъ, издавая для пробы опыты Спенсера о «Классификаціи наукъ», считалъ, какъ видно изъ предисловія, Спенсера «недавно умершимъ». Между тѣмъ, въ томъ-же предисловіи находимъ слѣдующее пророчество: «Спенсеръ займетъ, вѣроятно, въ современной рациональной философіи такое-же мѣсто, какое заняли Бокль въ философіи исторіи и Дарвинъ въ философіи естествознанія». Вотъ это глубокое уваженіе Тиблена къ Спенсеру и смущало меня: я боялся, что онъ не допуститъ въ своемъ журналѣ отрицательнаго отношенія ко многимъ основнымъ мыслямъ излюбленнаго имъ англійскаго писателя. Но и эта черная точка на моемъ веселомъ горизонтѣ была, все-таки, не очень страшна, въ

виду нѣкоторыхъ своеобразныхъ взглядовъ Тиблена на права и обязанности редактора журнала. Онъ рассказывалъ мнѣ однажды, какъ поступилъ со статьей, которую въ общемъ не одобрялъ и авторъ которой доставилъ ее безъ своей подписи. Тиблень ему сказалъ: «Нѣтъ, батюшка, я не могу вамъ позволить трепать восемнадцать вѣсковъ философіи отъ имени редакціи; выставляйте свое имя подъ статьей, иначе не напечатаю». Причемъ тутъ восемнадцать вѣсковъ философіи, я ужъ не помню, но этотъ прецедентъ давалъ мнѣ надежду, что и статья о Спенсерѣ пройдетъ.

Мы провели на дачѣ Тиблена весь вечеръ вмѣстѣ, благодушно и весело бесѣдуя. Я и ночевать у него остался. Прощаясь со мною на другой день, Тиблень просилъ меня торопиться съ работой къ августу, спрашивалъ, не нужно-ли мнѣ денегъ впередъ и т. п. Никоимъ образомъ не могъ я думать, что вижу его въ послѣдній разъ и что черезъ какую-нибудь недѣлю всѣ мои розовыя мечты о концѣ мытарствъ и надежной пристани и проч. разсыплются прахомъ. Зайдя черезъ недѣлю въ редакцію «Современнаго Обозрѣнія», я услышалъ die traurige Mähг, что Тиблень бѣжалъ отъ долговъ за границу и бросилъ журналъ на произволъ судьбы... Бѣдному малому, какъ я потомъ слышалъ, очень плохо приходилось за границей. Да простятся-же ему мои разбитыя мечты!

Такъ и не увидалъ свѣтъ произведенія, на первой страницѣ котораго значилось: «Борьба. Романъ. Часть первая», — июльская книжка «Современнаго Обозрѣнія» не вышла. Впослѣдствіи я былъ очень радъ гибели «Борьбы», въ достоинствахъ которой очень сомнѣваюсь. Готовъ былъ не только простить, даже благодарить Тиблена за сюрпризъ. Но тогда этотъ сюрпризъ просто ошеломилъ меня. Опять скитальчество! Курочкинъ возобновилъ свои настоянія, да и самъ я уже съ нѣкоторою завистью поглядывалъ на книжки «Отечественныхъ Записокъ», завоевывавшихъ все больше и больше симпатій въ обществѣ, да и во мнѣ самомъ. Однако, мысль все еще упрямилась. Отдѣлавшись опять отъ Курочкина обѣщаніемъ писать въ его библиографическомъ отдѣлѣ, я попробовалъ работать въ «Недѣлѣ», но тамъ что-то очень скоро не поладилось, не помню уже почему. Кажется, меня задѣло за живое какое-то замѣчаніе Н. Ѳ. Копради, который очень мало понималъ въ дѣлѣ литературы и, будучи практическимъ врачомъ по профессіи, попалъ въ редакторы случайно, просто по знакомству съ издателемъ, Генкелемъ. Пошелъ я къ Курочкину славаться. Я могъ предложить «Отечественнымъ Запискамъ» остатки отъ крушенія «Современнаго Обозрѣнія»: «Борьбу» и статью о Кельсіевѣ, первоначально написанную въ видѣ одного изъ «Писемъ о русской интеллигенціи». Курочкинъ обѣщалъ поговорить съ Некрасовымъ, но съ своей стороны, какъ личное свое мнѣніе, выразилъ, что писать романы совсѣмъ не мое дѣло. Мнѣ пока-

залось, что онъ въ этотъ разъ былъ со мной холоднѣе обыкновеннаго. Можетъ быть, мнѣ это именно только показалось, потому что собственная моя совѣсть могла подсказывать Курочкину укорительную мысль: «Что?! брыкался, брыкался, да и сдался?!»

Мнѣ помнится, что этотъ день моей сдачи былъ и днемъ моей первой встрѣчи съ Гл. И. Успенскимъ. Я уходилъ отъ Курочкина. На лѣстницѣ, этажемъ ниже, стоялъ у дверей молодой человекъ съ неправильнымъ, но чрезвычайно оригинальнымъ лицомъ, на которомъ вниманіе не могло не остановиться. Къ удивленію моему, молодой человекъ обратился ко мнѣ съ вопросомъ: «Вы Михайловскій?»—«Да.»—«Я Успенскій. Зайдемте ко мнѣ, я вотъ тутъ живу». Оказалось, что мы стоимъ какъ разъ у дверей квартиры Успенскаго. Онъ меня зналъ по наслышкѣ отъ Курочкина и отъ другихъ, я его зналъ, какъ автора «Нравовъ Растеряевой улицы» въ «Современникѣ» и рассказовъ «Будка» и «Остановка», только что напечатанныхъ въ 1868 г. въ «Отечественныхъ Запискахъ». По понятнымъ причинамъ, мнѣ не придется распространяться въ своихъ воспоминаніяхъ о Гл. И. Успенскомъ. Но именно поэтому мнѣ и хочется помянуть наше первое знакомство. Онъ былъ тогда холостъ и жилъ вполнѣ необыкновенно. Квартира его состояла изъ одной комнаты и кухни. Въ кухнѣ, которая, разумѣется, никогда не исполняла своего specialнаго назначенія, онъ устроилъ себѣ спальню, а комната изображала собою кабинетъ, салонъ, пріемную и все прочее. Прислуги не было. Разная хозяйственная утварь если и была, то въ весьма незначительномъ количествѣ. Зато была половая щетка, и когда нуженъ былъ самоваръ или что-нибудь въ этомъ родѣ, Глѣбъ Ивановичъ стучалъ этою щеткой въ потолокъ. Это былъ условный знакъ, по которому изъ квартиры Курочкина являлась его кухарка, хорошо извѣстная многимъ писателямъ, ворчливая, но добродушная, иконописнаго вида старуха, Аксинья Васильевна. Кухня-спальня отапливалась плитой, а въ салонѣ было какое-то особенное отопленіе безъ тонки изнутри комнаты и требовавшее аккуратнаго открыванія и закрыванія какихъ-то душиковъ или заслонокъ. А такъ какъ хозяинъ не отличался аккуратностью, то въ салонѣ было очень сыро и скверно. Это не мѣшало хозяину блистать заразительнымъ весельемъ и неподражаемымъ мастерствомъ рассказовъ...

Не знаю, что говорилъ обо мнѣ Курочкинъ Некрасову, но, должно быть, что-нибудь очень лестное. Сужу по тому, что мою «Борьбу» не просто взяли для прочтенія, а предложили мнѣ прочитать ее самому въ присутствіи всей редакціи. Такъ обыкновенно не дѣлается, и я былъ сконфуженъ. Конфузъ мой достигъ высшаго предѣла, когда я въ назначенный день и часъ пріѣхалъ вмѣстѣ съ Курочкинымъ въ редакцію «Отечественныхъ Записокъ» и увидалъ тамъ Некрасова, Салтыкова, Елисеева и, помнится, еще многихъ. Какъ будто и А. М. Скабичевскій

туть былъ, и красивое, точно точеное, но, какъ маска, мертвенное лицо Слѣпцова помнится. Но въ этомъ я не увѣренъ. Вѣдшею обходительностью редакція «Отечественныхъ Записокъ» пикогда не отличалась, даже въ тѣхъ случаяхъ, когда по существу была вполне доброжелательна. Въ данномъ-же случаѣ смущеніе мое было тѣмъ сильнѣе, что, когда мы усѣлись за большой столъ, покрытый зеленымъ сукномъ, возлѣ меня оказался Салтыковъ и сталъ смотрѣть въ тетрадь, по которой я читалъ, своимъ яко-бы суровыми, слегка выпученными глазами, время отъ времени покряхтывая громкимъ басомъ: э—гм! Какъ близки и понятны стали мнѣ потомъ эти яко-бы суровые глаза и какъ они меня смущали тогда! Между прочимъ, дойдя до одной главы, я почему-то вдругъ туть-же сообразилъ, что она неудачна и требуетъ тѣхъ-то и такихъ-то передѣлокъ. Я хотѣлъ ее пропустить и это было тѣмъ удобнѣе, что она была вводная. Я уже перевернулъ двѣ-три страницы, ища слѣдующей главы, но Салтыковъ меня остановилъ: «Что-же вы пропускаете?»—«Да туть передѣлать надо».—«Нѣтъ, ужъ читайте все подрядъ!»

Чтеніе кончилось. Прочиталъ я только первую часть, такъ какъ изъ остального были лишь наброски, и я даже не захватилъ ихъ съ собой. Наступило молчаніе. Прервалъ его Салтыковъ сердитымъ басомъ: «Надо кончать! А то что-же такъ-то, безъ хвоста!» Некрасовъ сказалъ то-же самое, но гораздо любезнѣе. Елисеевъ сидѣлъ молча, насупившись, поглаживая правою рукой лѣвый усь и, повидному, совсѣмъ о моей «Борьбѣ» не думая. Курочкинъ отвелъ Некрасова въ сторону и что-то пошепталъ ему, послѣ чего Некрасовъ подошелъ ко мнѣ съ вопросомъ, не нужно-ли мнѣ денегъ. Деньги были очень пужны, но я сконфузился и отказался. Выходя вмѣстѣ со мной изъ редакціи, Курочкинъ меня очень бранилъ за этотъ отказъ, а о романѣ выразился такъ: «Бойко написано, бойко прочитано, впечатлѣніе получилось недурное, а въ сущности, бросьте-ка вы этотъ романъ, право, не ваше дѣло!» Я и самъ въ эту именно минуту почувствовалъ, что надо бросить, и что это не мое дѣло. Нѣсколько позже, пуждаясь въ беллетристическомъ матеріалѣ, Некрасовъ напомнилъ мнѣ о романѣ, но я отвѣтилъ, что рѣшительно не могу его кончить, не пишется. Онъ просилъ меня, по крайней мѣрѣ, выдѣлать изъ «Борьбы» одинъ эпизодъ,—онъ указывалъ, какой именно,—и обработать его въ рассказъ, но я и этого не могъ сдѣлать, будучи увлеченъ совсѣмъ другими работами.

Несмотря на всѣ предыдущія мытарства, несмотря на только что пережитую бѣду съ «Современнымъ Обзорѣніемъ» и неудачную пробу съ «Недѣлей», несмотря, наконецъ, на то, что я въ самый вечеръ торжественнаго чтенія «Борьбы» рѣшилъ, что кончать ее не буду,—мнѣ именно въ этотъ-же вечеръ стало ясно, что я дѣйствительно у пристани. Конечно, великое дѣло молодость, легко оправляющаяся отъ по-

громовъ и легко окрыляемая надеждой. Но на этотъ разъ дѣло было, я полагаю, не въ одной молодости. Я въ первый разъ подошелъ къ вершинамъ русской литературы, настоящимъ, несомнѣннымъ, общепризнаннымъ. Бурная жизнь Некрасова создала ему много недоброжелателей. Литературная и въ особенности редакторская его дѣятельность тоже много этому способствовала. Но какъ-бы далеко ни шло въ нѣкоторыхъ сферахъ отрицаніе не только личныхъ достоинствъ Некрасова, а и достоинствъ его поэзіи, переть исторіи уже давно отмѣтилъ его, какъ достояніе даже отдаленнаго будущаго, а въ настоящемъ вся грамотная Россія зачитывалась его стихами. Салтыковъ также давно занималъ положеніе перваго въ своемъ родѣ человѣка. Елисеевъ былъ неизвѣстенъ въ большой публикѣ, но въ литературныхъ кружкахъ его цѣнили очень высоко, а мы, тогдашняя молодежь, не зная его лично, хорошо знали его «Внутреннія обозрѣнія» въ «Современникѣ». А изъ-за этихъ трехъ выглядывали еще образы Добролюбова, Чернышевскаго, Бѣлинскаго, какъ-бы передавшихъ имъ свой авторитетъ. Далѣе, всѣ трое, независимо отъ своихъ собственно литературныхъ талантовъ, были опытные и горячо преданные своему дѣлу журналисты, убѣжденные въ возвышенности задачъ журналистики. Немудрено, что отъ этихъ людей и отъ руководимаго ими дѣла вѣяло спокойною, сознающею себя силой. Приминая къ нимъ, вы чувствовали, что вступате на какую-то, хорошую или худую,—это какъ кто посмотритъ, но во всякомъ случаѣ, прочную, смѣю сказать, историческую дорогу. Эта дорога, съ одной стороны, уходила въ даль прошедшаго, гдѣ была пробита не однимъ поколѣніемъ тружениковъ и страстотерпцевъ мысли, а съ другою—разстиралась въ перспективу будущаго. Велики и ярки были таланты Салтыкова и Некрасова, крупную литературную силу представлялъ собою и Елисеевъ, но ихъ личныя силы удвоивались тѣмъ историческимъ путемъ, на которомъ они стояли. Отнюдь не связанные преданіемъ въ томъ смыслѣ, чтобы не смѣть сдѣлать ни едишаго шага за свой собственный страхъ и счетъ, они, кромѣ силы личнаго убѣжденія, еще въ своихъ связяхъ съ прошлымъ черпали увѣренность въ правотѣ своего дѣла. Чѣмъ глубже коренится идея въ прошломъ, тѣмъ спокойнѣе выноситъ она всякія бури и невзгоды, все равно какъ дерево съ глубоко сидящими корнями. Спокойная, увѣренная въ себѣ сила чувствовалась во всемъ обиходѣ редакціи «Отечественныхъ Записокъ» и давала себя знать при первомъ, даже самомъ поверхностномъ сближеніи съ нею. Я разумѣю, конечно, не спокойствіе личныхъ характеровъ. Изъ всѣхъ трехъ ровно спокоенъ былъ только Елисеевъ. Некрасовъ былъ скорѣе замѣнутъ и скрытенъ, чѣмъ спокоенъ, и я расскажу ниже случай, когда онъ былъ совсѣмъ выбитъ изъ сѣдла. А Салтыковъ былъ весь нервы и постоянное волненіе. Но всѣ эти индивидуальныя особенности ничѣмъ не отражались на общемъ литературномъ дѣлѣ, которое стояло не на темпераментахъ

и характерахъ, а на убѣжденіяхъ. Эти-то убѣжденія, прочныя и самыя по себѣ, еще упрочивались сознаниемъ преемственной связи съ рядомъ предшествовавшихъ работниковъ.

Меня всегда удивляли и, признаюсь, сердили тѣ странные люди, которые время отъ времени выскакиваютъ въ литературѣ съ «новыми словами», точно балаганный Петрушка изъ-за ширмы: выскочить, выкрикнуть и опять за ширмы впредь до новѣйшаго слова. Конечно, новыя слова необходимы. Но, во-первыхъ, они говорятся гораздо рѣже, чѣмъ думаютъ люди съ легкой мыслью и легкимъ сердцемъ: во-вторыхъ, люди съ легкой мыслью и легкимъ сердцемъ для провозглашенія ихъ отнюдь не годятся: въ-третьихъ, наконецъ, только то новое слово значительно и прочно, которое не отрѣзываетъ себя отъ прошлаго. Въ наукѣ, въ тѣхъ рѣдкихъ случаяхъ, когда дѣйствительно говорится новое слово, одна изъ задачъ авторовъ новаго слова состоитъ въ томъ, чтобы примкнуть къ одному изъ существующихъ уже теченій, найти себѣ опору и оправданіе въ цѣломъ рядѣ предшествовавшихъ опытовъ, наблюденій, выводовъ. При этомъ о *новомъ* словѣ собственно даже не думаютъ, оно является само собой. Иначе и быть не можетъ, потому что люди науки обращаются, прежде всего, къ людямъ науки-же, и спеціалисты все равно дознаютъ мѣсто новаго слова въ литературѣ предмета и опредѣляютъ цѣну его. Въ публицистикѣ, критикѣ и т. п. отрасляхъ словесности, имѣющихъ дѣло непосредственно съ массой читателей, такого неукоснительнаго контрольнаго аппарата нѣтъ. Поэтому выходитъ, напримѣръ, слѣдующее. Среди множества курьезовъ, вычитанныхъ мною въ «Литературныхъ замѣткахъ» г. Вольнскаго въ «Сѣверномъ Вѣстникѣ», есть такой: «различныя письма одного и того-же корреспондента писаны не въ одномъ и томъ-же стилѣ—*идѣ мягкимъ гусинымъ перомъ, идѣ нѣсколько развязнымъ, размашистымъ языкомъ*». Конечно, lapsus'ы возможны всякіе, но я могъ бы привести множество подобныхъ удивительныхъ изреченій г. Вольнскаго, только нѣтъ охоты, да и надобности возиться. Вы видите, что этому человѣку, хотя-бы только для того, чтобы стать удобопонятнымъ, чтобы стать писателемъ, надо прежде про себя, въ тиши своего кабинета рѣшнить, чѣмъ ему лучше писать—гусинымъ перомъ или размашистымъ языкомъ. А онъ уже озабоченъ открытіемъ «новой мозговой линіи». Одна «Недѣля» столько па своемъ вѣку наоткрыла этихъ новыхъ мозговыхъ линій, что и не перечестъ. Этотъ типъ открывателей новыхъ мозговыхъ линій очень любопытенъ: въ свое время я съ нѣкоторою подробностью войду въ его психологію. Типъ этотъ существуетъ не только у насъ, а и въ Европѣ, но тамъ онъ не можетъ причинить большого вреда, потому что тамъ лишь въ очень рѣдкихъ случаяхъ постороннія обстоятельства обрываютъ спокойный ходъ преемственного развитія идей и, слѣдовательно, шарлатанскія «новыя слова» не

встрѣчаютъ, по крайней мѣрѣ, поддержки во ви́шнихъ условіяхъ жизни.

Возвращаясь къ «Отечественнымъ Запискамъ», скажу, что, за вычетомъ горькихъ сомнѣній о личномъ характерѣ Некрасова, я былъ счастливъ примкнуть къ живымъ преданіямъ дѣйствительно новаго слова, сказаннаго самою жизнью въ эпоху пятидесятихъ и шестидесятихъ годовъ.

Такъ какъ «Борьбу» свою я сразу исполнилъ и окончательно забросилъ, то первоначально мнѣ приходилось имѣть дѣло, главнымъ образомъ, съ Елисеевымъ, который въ беллетристическій отдѣлъ не мѣшался, но за то тѣмъ большее вліяніе имѣлъ на прочіе отдѣлы. Да и впоследствии я ближе, родяще всѣхъ въ редакціи чувствовалъ себя именно съ нимъ. Странно сказать, но изъ всѣхъ трехъ стариковъ редакціи я былъ, что называется, «знакомъ» только съ Елисеевымъ, и это за все время существованія «Отечественныхъ Записокъ». Приходилось, разумѣется, очень часто видаться и съ Некрасовымъ, и съ Салтыковымъ, но, за весьма рѣдкими исключеніями, это были свиданія по дѣлу. Складъ жизни Некрасова такъ-же рѣзко отличался отъ склада жизни Салтыкова, какъ и сами они рѣзко различались другъ отъ друга. Но для меня и съ тѣмъ, и съ другимъ одинаково невозможны были товарищескія, пріятельскія отношенія, ви́шнимъ образомъ выражающіяся тѣмъ, что люди другъ къ другу ходятъ чайку попить, поболтать и т. п. Впоследствии, уже по закрытіи «Отечественныхъ Записокъ», Салтыковъ писалъ мнѣ однажды: «Вы были для меня однимъ изъ симпатичнѣйшихъ и любимѣйшихъ людей, хотя разность лѣтъ и моя болѣзнь препятствовали мнѣ ближе сойтись съ вами». Но Михаилъ Евграфовичъ ошибался,—не въ разности лѣтъ и не въ его болѣзни дѣло было, по крайней мѣрѣ, не только въ нихъ. Елисеевъ былъ даже старше его и тоже человѣкъ хворый, но это не мѣшало намъ съ нимъ быть въ короткихъ пріятельскихъ отношеніяхъ. Глубоко уважая и любя Салтыкова не только какъ литературнаго дѣятеля, но и какъ человѣка: будучи очень близокъ съ нимъ въ сферѣ идей и общественныхъ симпатій и антипатій, я, однако, даже и представить себѣ не могу, какъ-бы мы съ нимъ другъ къ другу, напримѣръ, «въ гости» ходили. Слишкомъ ужъ велика разница была въ нашихъ привычкахъ, обстановкѣ, во всемъ складѣ жизни. Безъ дѣла я бывалъ у Салтыкова только во время его болѣзни. Еще меньше житейскихъ точекъ соприкосновенія было у меня съ Некрасовымъ, который жилъ баринкомъ, имѣлъ обширный кругъ разнообразныхъ и нѣсколько для меня не занимательныхъ знакомствъ, шибко игралъ въ карты, устраивалъ себѣ грандіозныя охотничьи предпріятія, а я, не говоря о прочемъ, не беру картъ въ руки и терпѣть не могу охоты. Съ Елисеевымъ-же у меня было много общаго въ привычкахъ и образѣ жизни, да и просто какъ-то по душѣ мы другъ другу при-

шлись. Въ концѣ 1873 или въ началѣ 1874 г. одинъ безконечнопри-
 скорбный для меня случай чисто-приватнаго характера и, притомъ, не
 имѣвшій никакого отношенія лично къ Елисееву, оборвалъ нашу дру-
 жескую близость. Мы стали встрѣчаться только въ редакціонные дни.
 Но на общемъ дѣлѣ это отозвалось такъ-же мало, какъ и отсутствіе лич-
 ной близости съ Некрасовымъ и Салтыковымъ. Упомянутый случай обо-
 звалъ нашу дружбу, такъ сказать, формально, нисколько не повліявъ на
 наши взаимныя чувства, но въ послѣдніе годы, за отсутствіемъ «Оте-
 чественныхъ Записокъ», и, слѣдовательно, сборнаго пункта, мы встрѣ-
 чались уже только случайно, у больного Салтыкова или на улицѣ. Въ
 1890-мъ году, возмущенный удивительною затѣей отпраздновать юби-
 лей свободы русской печати, Елисеевъ, уже очень слабый, попросилъ
 меня зайти къ нему поговорить объ этомъ дѣлѣ, и я пришелъ. Затѣмъ
 я увидалъ его уже покойникомъ. Но объ Елисеевѣ потомъ. Теперь начну
 съ Некрасова.

IV.

Недавно въ «Московскихъ Вѣдомостяхъ» я прочиталъ замѣтку подъ
 громкимъ заглавіемъ: «Развѣнчаннй Некрасовъ». Вотъ она:

«Извѣстно, что роль «мученика» была одною изъ благодарнѣйшихъ
 ролей въ либеральной комедіи, вошедшей въ моду съ начала шестиде-
 сятыхъ годовъ. Провинціальныя «*pauvres diables*», молодые, восторжен-
 ные, наивные, увлекающіеся, съ сердечнымъ трепетомъ слушали сто-
 личныхъ «апостоловъ», въ предположеніи, что они за меньшую братію
 полагаютъ душу свою. Провинціальныя молодые энтузіасты рисковали
 всею изъ-за этой проповѣди, предполагая, что все это святая истина,
 что сами проповѣдники суть апостолы, люди идеи, а не наживы. И
 какъ стадо овецъ, молодежь шла на этотъ призывъ, не пада ничего.

«Но время раскрываетъ все. Любимымъ апостоломъ либерализма и
 до сихъ поръ считается «нашъ гениальный поэтъ» Н. Некрасовъ. Для
 поддержанія его престижа, печать упорно поддерживала мнѣніе, будто
 Некрасовъ былъ «мученикъ идеи», будто онъ началъ свою карьеру въ
 трущобахъ, и потому именно радѣлъ о меньшей братіи, что лично ис-
 пыталъ все стадіи нужды и нищеты. Никто не смѣлъ и подумать о
 томъ, что «пѣть» о нуждахъ меньшей братіи было... просто *выгодно*».

Далѣе авторъ замѣтки приводитъ выдержку изъ статьи г. Глинки
 въ «Историческомъ Вѣстникѣ». Г. Глинка, помянувъ извѣстные свѣ-
 дѣнія о бѣдности или даже прямо нищетѣ Некрасова въ ранней моло-
 дости, говоритъ: «не рѣшаясь опровергать такую яркую картину, я
 хочу разсказать лишь о моемъ случайномъ знакомствѣ съ Некрасо-

вымъ». Оказывается, что Некрасовъ бывалъ у отца г. Глипки, потомъ жилъ нѣкоторое время съ его братомъ и «въ это время,—говорить г. Глипка,—могу удостовѣрить, ни въ чемъ особенно не нуждался». Какъ видите, сообщеніе г. Глипки ни малѣйше не опровергаетъ общепзвѣстныхъ фактовъ крайней бѣдности юнаго Некрасова. Г. Глипка впервые увидалъ Некрасова у своего отца, который, въ свою очередь, познакомился съ поэтомъ у Полевого. Чтб было съ Некрасовымъ до этой встрѣчи, г. Глипка не знаетъ и потому весьма основательно «не рѣшается опровергать яркую картину» нищеты Некрасова, имѣющуюся во всѣхъ біографіяхъ поэта. Но «Московскія Вѣдомости» непостижимымъ образомъ усматриваютъ въ разсказѣ г. Глипки какое-то опроверженіе, разоблаченіе, даже «развѣнчаніе», и чему-то очень радуются. Я сейчасъ вернусь къ этой радости, а теперь обращу вниманіе чатателей на печатающіяся въ газетѣ «Русская Жизнь» воспоминанія В. А. Панаева, человѣка очень близкаго Некрасову. Г. Панаевъ встрѣтился въ первый разъ съ Некрасовымъ у нѣкоего художника Даненберга. Даненбергъ и Некрасовъ жили въ одной комнатѣ, питались щами, узнавали время по солнцу, имѣли одни общіе сапоги и одно общее верхнее платье. такъ что выходили со двора поочередно. Но все это было еще роскошью въ сравненіи съ тою нищетой, отъ которой избавилъ Некрасова Даненбергъ. Передъ этимъ будущій знаменитый поэтъ жилъ въ подвальной комнатѣ съ окнами на улицу и долженъ былъ писать, лежа на полу, такъ что проходившіе по троттуару часто останавливались посмотреть на оригинально примостившагося юнаго писателя. Все имущество его состояло изъ коврика и подушки, даже верхняго платья не было, питался онъ чернымъ хлѣбомъ и рисковалъ быть выгнаннымъ на улицу.

Ничего этого не было, по мнѣнію «Московскихъ Вѣдомостей», и именно потому не было, что г. Глипка видѣлъ Некрасова въ другое время въ другомъ положеніи! А такъ какъ ничего этого не было, то Некрасовъ «пѣлъ о нуждахъ меньшей братіи» не по внутреннему убѣжденію, а потому, что это было «выгодно»! Логика изумительная, выводы артистически лишены всякаго смысла... Для полноты надо замѣтить, что г. Глипка приводитъ слѣдующее, по мнѣнію «Московскихъ Вѣдомостей», «весьма характерное свѣдѣніе изъ біографіи знаменитаго поэта»: «Помню еще, что въ 1848 г. въ литературныхъ кружкахъ говорили, будто Некрасовъ скупалъ оставшіеся экземпляры сочиненій Гоголя, стоившіе по 8 руб. за экземпляръ, и продавалъ ихъ по 25 руб.» «Московскія Вѣдомости» радостно спрашиваютъ по этому поводу: «*Не очевидно-ли* отсюда, насколько сильно Некрасовъ радѣлъ о просвѣщеніи меньшей братіи, изъ-за «невѣжества» которой онъ пролилъ столько крокодиловыхъ слезъ?!» Ну, еще-бы не очевидно! Если въ 1848 г. «говорили, будто», то вполне очевидно, что это «весьма характерное свѣдѣніе изъ біографіи». Счастливые люди эти господа «Московскихъ

Вѣдомостей». Они въ Аркадіи родились и посейчасъ живутъ въ ней безвыѣздно, невинно играя на свирѣли, слушая соловьиныя пѣсни и украшая бѣленькихъ барашковъ розовенькими ленточками. Имъ не знакомы ни «зависть тайная», ни «злорада открытая», ни «друзей клевета ядовитая». Въ невинности своей они вѣрятъ всему, когда имъ «говорить, будто», потому что если и про нихъ самихъ «говорять, будто», то все это такъ и есть: бѣленькіе барашки, свирѣль, трели соловья... Такіе ангелочки! Если, однако, это идиллическое незнакомство съ плодами древа познанія добра и зла украшаетъ ихъ добродѣтелью, то, съ другой стороны, лишаетъ здраваго смысла. Даже допуская достовѣрность сплетни о скупкѣ и перепродажѣ сочиненій Гоголя, только невинные жители Аркадіи могутъ приплести сюда «просвѣщеніе меньшей братіи», потому что, вѣдь, и восьмирублевое изданіе Гоголя отнюдь не для невѣжественной меньшей братіи предназначалось. Но это безразлично для невинныхъ обитателей Аркадіи: имъ бы только наговорить на тему о «развѣнчанномъ Некрасовѣ» побольше словъ, хотя-бы и вполне безсмысленныхъ. Пробѣгая газетные столбцы, читатель не въ каждую-же замѣтку вчитывается и вдумывается. Отсутствіе какой-бы то ни было логической связи между послылками и выводами можетъ остаться незамѣченнымъ, а впечатлѣніе получило: «развѣнчанный Некрасовъ». По крайней мѣрѣ, на это разсчитываютъ добродѣтельные аркадскіе люди, хотя, къ счастью, результатъ этотъ не всегда ими достигается. Я очень прошу читателя, хотя-бы не ради Некрасова, а для образчика этого рода литературныхъ упражненій, внимательно прочитавъ замѣтку «Развѣнчанный Некрасовъ».

Въ то время, когда Некрасовъ бѣдствовалъ, его никто не зналъ, и, значитъ, никакимъ «апостоломъ» онъ быть не могъ. А въ то время, когда тысячи и тысячи сердець откликались на его стихи, онъ былъ богатъ и никогда бѣднякомъ не прикидывался. Если впоследствии Некрасовъ вспоминалъ о своей бывшей бѣдности и если говорили о ней его биографы, то «мученикомъ идеи» ни самъ онъ, никто другой его не рисовалъ. Тѣмъ не менѣе, достовѣрно, что онъ началъ свою литературную карьеру въ нищетѣ, и весьма вѣроятно, что онъ отчасти «потому именно радѣлъ о меньшей братіи, что лично испыталъ всѣ стадіи нужды и нищеты». Чтобы радѣть о меньшей братіи, нѣтъ никакой надобности непременно самому проходить школу нищеты, — великодушныя идеи доступны и баловнямъ судьбы отъ рожденія, — но у Некрасова эти идеи сплелись съ личными впечатлѣніями нищеты, и это просто фактъ, который никто никогда не думалъ ставить ему въ заслугу. Гдѣ, отъ кого слышали эти сыны Аркадіи, что Некрасовъ голодалъ ради идеи? Голодалъ потому, что безъ работы сидѣлъ. Всѣ такъ и пошмаютъ, такъ что съ этой стороны и повода для «развѣнчанія» не было. Но выводитъ изъ этого заключеніе, что Некрасовъ «пѣлъ»

въ извѣстномъ тонѣ только потому, что это было «выгодно», значить—мѣрять людей аршиномъ, можетъ быть, и очень употребительнымъ въ Аркадіи, но отнюдь не непреложнымъ. Это даже фактически ни съ чѣмъ несообразно, потому что въ сороковыхъ годахъ стать на ту дорогу, на которую сталъ Некрасовъ, было вовсе невыгодно. Но что до всего этого за дѣло сынамъ Аркадіи, когда вся ихъ задача состоитъ въ томъ, чтобы наскоро набросать какъ можно больше тѣней на Некрасова, и когда, ослѣпленные злобой, они готовы противорѣчить и самимъ себѣ, и несомнѣннымъ фактамъ! Потому что надо, наконецъ, правду сказать, итъ болѣе злобныхъ людей, какъ эти добродѣтельные сыны Аркадіи. И знаете что?—это еще хорошо, если они руководятся въ данномъ случаѣ настоящею, искреннею злобой. Представьте себѣ человѣка, который когда-то получилъ отъ стиховъ Некрасова толчокъ въ извѣстную сторону и который потомъ, подъ давленіемъ жизни, искренно разочаровался въ золотыхъ снахъ своей молодости. Я могу себѣ представить, что при извѣстныхъ условіяхъ этотъ человѣкъ крайне враждебно относится къ своему бывшему кумиру и радъ сорвать злобу развѣнчаніемъ его. Это дѣло житейское. Очень, конечно, нехорошо, если человѣкъ при этомъ ослѣпляется злобой до забвенія предписаній здраваго смысла, логики и приличія. Очень скверно, но искренность злобнаго чувства, ничего не оправдывая, по крайней мѣрѣ, объясняетъ. Такого человѣка даже пожалѣть можно: бѣдный, молъ, бѣдный! до того озлобился, что ослѣпъ,—въ отворенную дверь свирѣпо ломится, грозно сжатымъ кулакомъ въ пустое мѣсто тычетъ, самъ себѣ ногу отдалить... Возможно еще болѣе некрасивое правдивое положеніе. Нѣкоторая часть нашей печати считаетъ себя представительницею и стражею «консерватизма». Ничего она не «консервируетъ», а, напротивъ, склонна очень многое, созданное жизнью и мыслью, разрушать. «Благонамѣренною» она также себя почитаетъ, тогда какъ намѣренія ея частью именно не благія, а прямо злыя, а частью состоятъ просто въ томъ, чтобы ножить въ свое удовольствіе, независимо отъ какихъ-бы то ни было идей. Завтра выйдетъ новый фасонъ идей и она спокойно перекроитъ ихъ. Немудрено поэтому, что иногда она даже не воодушевляется злобой, а напускаетъ ее на себя, притворяется. Это ужъ самое послѣднее дѣло...

«Развѣнчать» Некрасова дѣло не хитрое. Для этого не требуется быть ни «консерваторомъ», ни злопомъ. Какъ человѣкъ, Некрасовъ давно развѣнчанъ, и такъ развѣнчанъ, что дѣтски-смѣшными кажутся попытки ухватиться за рассказъ г. Глинки о томъ, что въ такомъ-то году поэтъ ни въ чемъ не нуждался, а въ такомъ-то про него «говорили, будто». Я уже говорилъ о той тѣни, которая четверть вѣка тому назадъ пала на личность поэта и затуманила ее въ глазахъ самыхъ горячихъ поклонниковъ. И одна-ли она лежитъ пятномъ на его памяти! Но люди, сколько-

нибудь вдумчивые, непохожіе на добродѣтельныхъ и невинныхъ сыновъ Аркадіи, не довольствуются простымъ развѣнчаніемъ. Не хитро его совершить, да не умно на немъ опочить. Уже вышеупомянутой «неизвѣстный другъ» писалъ Некрасову въ 1866 г.:

«Мнѣ говорятъ, что ты душой суровъ,
 Что лишь въ словахъ твоихъ есть чувства пламень,
 Что ты жестокъ, что стихъ твой весь любовь,
 А сердце холодно, какъ камень!
 Но отчего-жь весь міръ сильнѣй любитъ
 Мнѣ хочется, стихи твои читая?
 И въ нихъ обманъ, а не душа живая?
 Не можетъ быть!»

Да, не можетъ быть! Пустопорожніе волтижеры, съ легкостью перескакивающіе съ одного берега на другой, натурально должны мѣрять всѣхъ на свой аршинъ, ибо никакая другая мѣра вещей имъ недоступна. Но надо еще, кромѣ того, не имѣть ни малѣйшаго понятія о поэзии, о процессѣ творчества, чтобы утверждать, что можно писать такіе стихи, какъ некрасовскіе, всю жизнь неискренно и ради выгоды. Такое утверждение могутъ подсказать только убогая мысль и пустое сердце. Понятны еще всякія увлеченія въ жару полемики, но Некрасовъ умеръ безъ малаго пятнадцать лѣтъ назадъ, для него наступила исторія. Крайняя сложность богато одаренной «музы мести и печали» слишкомъ очевидна, чтобы ее можно было характеризовать грубыми одноцвѣтными чертами. И вотъ почему въ то самое время, когда заноздалые старатели радостно розыскиваютъ разные вздорные и непровѣренные пустяки, якобы біографическаго характера, люди, чтущіе память поэта, не боятся разсказывать подлинныя и дѣйствительно мрачныя подробности его жизни.

Напомню для примѣра разсказанный въ воспоминаніяхъ г-жи Головачевой-Панаевой случай самоубійства Піотровскаго. Слишкомъ извѣстно, что Некрасовъ былъ страстный игрокъ. Какъ у всякаго игрока, у него были разныя суетвѣрныя примѣты. Молодой сотрудникъ «Современника» Піотровскій взялъ у него однажды впередъ, въ счетъ тонорара, 200 руб., и въ тотъ-же вечеръ Некрасовъ сильно проигрался. Черезъ недѣлю Піотровскій прислалъ ему письмо съ новою просьбой о 300 руб., объясняя при этомъ, что если онъ денегъ не получитъ, то пуститъ себѣ пулю въ лобъ. Некрасовъ долженъ былъ въ этотъ вечеръ опять играть и, памятуя, что послѣ предъидущей выдачи Піотровскому онъ проигрался, что и раньше были такія-же совпаденія, отказалъ. А Піотровскій дѣйствительно въ тотъ-же день застрѣлился. Можно себѣ представить душевное состояніе Некрасова... Но г-жа Головачева-Панаева одна знала истинную причину самоубійства Піотровскаго, остальные знакомые и сотрудники приписали волненіе Некрасова простой первности. Г-жа Головачева, съ уваженіемъ относящаяся къ

памяти поэта, могла-бы и сейчас не включать этого ужаснаго эпизода въ свои воспоминанія. Но она не сочла пужнымъ скрывать его, именно потому, что крупная и уже историческая фигура Некрасова не подлежитъ упрощенной операци развѣнчанія. Съ формальной точки зрѣнія Некрасовъ отнюдь не былъ виноватъ въ самоубійствѣ Пютровскаго. Выдавать Пютровскому или кому другому деньги по всякому требованію онъ вовсе не былъ обязанъ, да и не имѣлъ - бы возможности. Но всѣ подобныя, вполне здравыя разсужденія не могли, разумѣется, заглушить голоса ущемленной совѣсти въ самомъ Некрасовѣ: какъ-никакъ, а изъ-за него погибла молодая, богатая надеждами жизнь. Да и намъ, третьимъ лицамъ, невольнымъ зрителямъ этой драмы, Некрасовъ не въ орсолѣ рисуется. Не въ томъ дѣло, что онъ не исполнилъ просьбы Пютровскаго, — послѣдовавшее за тѣмъ несчастіе могло быть именно только несчастною случайностью и для Некрасова, все равно какъ если-бы онъ, напримѣръ, печально застрѣлилъ Пютровскаго на охотѣ: вѣчно преслѣдовала-бы его тѣнь убитаго, однако, у насъ не повернулся-бы языкъ осудить его. Въ данномъ случаѣ память Некрасова омрачается не самымъ фактомъ, а подробностями: Пютровскій погибъ собственно изъ-за неприглядной игроккой страсти, ослѣпляющей разумъ, подавляющей волю и ставящей игрока въ рядъ рискованнѣйшихъ положеній. Въ жизни Некрасова эта несчастная страсть играла огромную роль. Онъ много проигрывалъ, много выигрывалъ, а, главное, много душевныхъ силъ тратилъ на это странное, но, должно быть, очень увлекательное дѣло. Я помню, какъ однажды въ редакціонный день мы собрались, по обыкновенію, часу во второмъ въ квартирѣ Некрасова, а хозяинъ все не выходилъ. Я думалъ, что онъ спитъ, — вставалъ онъ вообще поздно. Но вотъ является Некрасовъ не изъ внутреннихъ комнатъ, а изъ входной двери, съ шапкой въ рукахъ, свѣжій, веселый. «Откуда это, Николай Алексѣвичъ?» Оказалось, что Николай Алексѣвичъ на этотъ разъ даже не ложился, а всю ночь и все утро игралъ въ карты и былъ въ выигрышѣ. При проигрышѣ онъ становился угрюмъ и мраченъ. Обидно было знать все это, обидно и сейчасъ вспомнить. Тѣмъ не менѣе, я вполне увѣренъ, что собственно жадности къ деньгамъ тутъ не было. Разумѣется, кто играетъ, тотъ хочетъ выиграть. И когда Некрасовъ еще только выбивался изъ бѣдности, выигрышъ, по всей вѣроятности, составлялъ его главную цѣль при игрѣ. Но постепенно этотъ моментъ такъ осложнялся жаждою спеціальныхъ волненій, даваемыхъ игрой, что подъ конецъ и совѣмъ въ нихъ утонулъ. Известно пророчество Бѣлинскаго: «Некрасовъ наживетъ себѣ капитадецъ». Онъ его дѣйствительно нажилъ, а съ другой стороны, пожалуй, что и не нажилъ. Жилъ онъ въ то время, когда я съ нимъ познакомился, бариномъ, ни въ чемъ себѣ не отказывая, но послѣ его смерти денегъ не оказалось совѣмъ. Я самъ читалъ его завѣщаніе, въ которомъ прямо говорилось, что ни-

какихъ денежныхъ капиталовъ у него нѣтъ, а есть такое-то и такое-то движимое и недвижимое имущество, которое такъ-то и такъ-то распределяется между наследниками. Знаю я также, что незадолго до смерти онъ взялъ на прожитіе и леченіе изъ конторы «Отечественныхъ Записокъ» 1000 руб. впередъ (деньги эти его сестра, благоговѣнно чтившая его память, потомъ возвратила въ контору). Вдову его я видалъ еще довольно долго спустя послѣ его смерти и знаю, что на оставшіяся у нея средства она могла жить лишь очень скромно, хотя, конечно, не нуждаясь въ помощи литературнаго фонда.

Что-же касается часто повторяемаго пустопорожними, а иногда просто презрѣнными людьми мнѣнія, будто Некрасовъ ради выгоды писалъ и издавалъ журналъ въ извѣстномъ тонѣ, то это мнѣніе не имѣетъ никакого смысла. Истиннѣ «не торговалъ онъ душой». Некрасовъ былъ, прежде всего, необыкновенно уменъ. Для меня нѣтъ никакого сомнѣнія въ томъ, что на любомъ поприщѣ, которое онъ избралъ-бы для себя, онъ былъ-бы однимъ изъ первыхъ людей, уже въ силу своего ума. Онъ былъ-бы, если-бы захотѣлъ, блестящимъ генераломъ, выдающимся ученымъ, богатѣйшимъ купцомъ. Это мое личное мнѣніе, которое, я думаю, однако, не удивитъ никого изъ знавшихъ Некрасова. Онъ выбралъ литературу, потому что любилъ ее; въ литературѣ онъ выбралъ извѣстное направленіе, потому что вѣрилъ въ него. Нищета и униженія, претерпѣнныя имъ въ ранней молодости, озлобили, очерствили его. Какъ онъ самъ говорилъ, онъ «покаялся не умереть на чердакѣ» и, можетъ быть, не разъ въ жизни прибѣгалъ къ средствамъ, къ которымъ позволительно относиться съ брезгливостью. Надо, однако, сказать, что ничего такого ужаснаго, что рѣзко выдѣлялось-бы на общемъ фонѣ нашихъ тогдашнихъ нравовъ, онъ не совершалъ, онъ только не отказывался быть съ волками по-волчьи. И какъ-бы ни пригнула его судьба къ землѣ, въ немъ никогда не исчезали желаніе и способность искать глазами небо. Благодаря своей практической ловкости, благодаря умѣнно цѣнить даровитыхъ людей и вѣрить имъ, онъ поставилъ «Современникъ» и потомъ «Отечественныя Записки» блестяще. Но, по крайней мѣрѣ, въ извѣстной степени онъ могъ-бы сдѣлать то-же самое и съ журналомъ совершенно другого направленія. Хорошо-же шелъ, напримѣръ, «Голосъ», дополнившій своими доходами то огромное наследство, которое осталось послѣ Краевского. Однако, Некрасовъ издавалъ не «Голосъ, а «Отечественныя Записки». Барыши-же его съ «Отечественныхъ Записокъ» были относительно вовсе не велики. Во-первыхъ, онъ платилъ значительную и съ увеличеніемъ числа подписчиковъ все увеличивавшуюся аренду Краевскому. Во-вторыхъ, онъ самъ добровольно предложилъ своимъ ближайшимъ сотрудникам и редакторамъ, Салтыкову и Елисееву, долю участія въ доходахъ изданія, на равныхъ съ нимъ правахъ. Это случай небывалый въ русской журналистикѣ, и никто, можетъ быть, даже

не замѣтилъ-бы, если-бы Некрасовъ, подобно другимъ издателямъ, клалъ весь доходъ полностью въ свой карманъ. Тѣмъ болѣе, что онъ всегда могъ-бы сослаться на положеніе «Отечественныхъ Записокъ»: ихъ бюджетъ и безъ того былъ обремененъ арендною платой, которая не лежала на другихъ журналахъ и газетахъ.

Я, однако, отнюдь не думаю объять или возвеличивать Некрасова, какъ человѣка. Я хочу лишь подчеркнуть сложность его натуры, не поддающейся слишкомъ ужъ простому «развѣичанію».

Въ книжкѣ г. Андреевскаго «Литературныя чтенія» я нашелъ о Некрасовѣ слѣдующія умныя слова, съ которыми отнюдь не могу вполне согласиться, но которыя хорошо намѣчаютъ сложность натуры поэта. Г. Андреевскій не весьма симпатично относится къ самому типу некрасовской поэзіи и находитъ въ ней много грубаго и дѣланнаго. Но онъ не аркадскій сынъ. Онъ говоритъ:

«Видна-ли любовь Некрасова къ народу въ его произведеніяхъ? На этотъ вопросъ не можетъ быть иного отвѣта, кромѣ утвердительнаго. Эта любовь,—не только къ народу, но и ко всѣмъ обездоленнымъ и голодающимъ,—течетъ у Некрасова лавою по всѣмъ его произведеніямъ. Она имѣетъ всѣ оттѣнки: раздирающей душу скорби («Морозъ»), смѣлой защиты передъ сильными міра («Парадный подъѣздъ»), доброй ласки отца («Крестьянскія дѣти»), горячей защиты публициста («Плачь дѣтей», «Желѣзная дорога»), вдохновеннаго увлеченія поэта («Коробейники», «Зеленый шумъ») и т. д., и т. д. Какой-же источникъ этой любви? Намъ кажется, здѣсь вляли два фактора: во-первыхъ, эпоха общей влюбленности въ крестьянскую массу; во-вторыхъ, событія въ личной жизни поэта... Проницательный Некрасовъ не заносился въ облака, но общее тяготѣніе къ народу, съ которымъ онъ бокъ-о-бокъ выстрадалъ голодь, было ему на руку. Изъ жизни этого народа онъ сталъ брать темы для своихъ потрясающихъ картинъ. Онъ увидѣлъ свой успѣхъ: эта работа его увлекла. По натурѣ сдержанный и крутой, почти не отзывчивый на чувство прекраснаго, человѣкъ сильный и глубокій, но изуродованный и огорченный жизнью, Некрасовъ нуждался въ отмщеніи за обиды судьбы, и онъ полюбилъ метить самодовольнымъ за несчастныхъ. Граница между искреннимъ и искусственнымъ у него потерялась. Часто онъ любилъ только «мечту свою», часто обливался слезами надъ «вымысломъ». Но онъ чувствовалъ себя хозяиномъ скорбящаго народнаго царства, этихъ необозримо богатыхъ владѣній для извлеченія изъ нихъ въ каждую минуту чего-нибудь ужаснаго для «сильныхъ міра». «Народъ безмолствовалъ», но это только придавало еще болѣе трагическій оттѣнокъ пѣснямъ Некрасова. Онъ увлекался своею миссіей, облагораживался въ ней, возвышался до голоса истиннаго гражданина, видѣлъ въ ней свою славу, свое искупленіе за какой-то грѣхъ, на который содержится горькіе, сдержанные

намеки въ его поэзіи. Втеченіе многихъ лѣтъ на глазахъ цѣлой Россіи развертывался этотъ романъ Некрасова съ народомъ. Поэзія была уже не только въ томъ, что онъ писалъ, но въ самой его роли, въ этой исторіи нераздѣленной, болѣзненной любви Некрасова къ народу. Такъ что, когда онъ умеръ, то его, издавна уже избалованнаго богатствомъ, несмѣтная толпа хоронила со слезами, какъ страдальца за народъ и убогихъ».

Въ этихъ послѣднихъ словахъ заключается указаніе на чрезвычайную любопытную черту всей судьбы Некрасова. Стоустая молва и печатныя инсинуаціи давно уже довели до всеобщаго свѣдѣнія, что пѣвецъ скорбящихъ и обездоленныхъ—богатый человекъ, что муза мести и печали обставилась довольно комфортабельно. Никто не сомнѣвался въ томъ, что Некрасовъ не «мученикъ идеи» въ смыслѣ какихъ-нибудь матеріальныхъ лишеній, хотя въ свое время и вынесъ горькую, унижительную нищету. И, однако, надъ гробомъ его оплакивали именно «страдальца за народъ и убогихъ» и никакія усилія добродѣтельныхъ сыновъ Аркадіи не сотрутъ этого образа ни въ общемъ сознаніи, ни со страницъ исторіи русской литературы. Дѣло въ томъ, что мыслью Некрасовъ несомнѣнно искренно страдалъ за всѣхъ обездоленныхъ, за всѣхъ неправо униженныхъ и оскорбленныхъ, и именно въ силу этой искренности «весь міръ сильнѣй любить вамъ хочется, стихи его читая». И если личная жизнь Некрасова не совпадала съ тономъ его произведеній, то пусть бросаютъ въ него за это камнями тѣ, кто чувствуетъ себя въ этомъ отношеніи вполне безгрѣшнымъ. Это разъ. А, во-вторыхъ, никто лучше самого Некрасова не признавалъ неприглядности этого разлада, и обстоятельство это вносило въ его душу новый источникъ страданій, воспѣтый имъ тоже такими стихами, что «имъ безъ волненія внимать невозможно».

У.

Обращаюсь къ личнымъ своимъ воспоминаніямъ.

Первою моею статьей въ «Отечественныхъ Запискахъ» была «Жертва старой русской исторіи», напечатанная въ декабрѣ 1868 года. Это была передѣлка приготовленнаго для іюльской книжки «Современнаго Обзорнія» второго «Письма о русской интеллигенціи». Рѣчь тутъ шла о Кельсиевѣ, который незадолго передъ тѣмъ вернулся въ Россію, выпустилъ двѣ книжки: «Пережитое и передуманное» и «Галичина и Молдавія» и въ нихъ съ необыкновенною, почти наивною развязностью отрекался отъ всего своего пропалаго. Положеніе Кельсиева, какъ и всякаго респекта, было въ Петербургѣ незавидное.

Въ кругу своихъ новыхъ единомышленниковъ онъ былъ еще совсѣмъ чужой и встрѣтилъ тамъ, вѣроятно, много для себя обиднаго подл личною любезности, а къ старымъ знакомымъ ему, конечно, лучше было-бы совсѣмъ не являться. Но былъ-ли онъ отъ природы безтактенъ или сбить съ толку новостью своего положенія, только онъ не воздержался отъ нѣкоторыхъ ненужныхъ визитовъ. Я сидѣлъ однажды у Н. С. Курочкина, когда къ нему пришелъ незнакомый мнѣ высокій, худой брюнетъ съ развязными и, вмѣстѣ съ тѣмъ, какъ-бы растерянными манерами. Замѣтивъ, при входѣ этого незнакомца, странное, недоумѣвающее выраженіе лица Курочкина и догадываясь о щекотливости предстоящей бесѣды между ними, я ушелъ въ третью комнату. Незнакомецъ сидѣлъ въ кабинетѣ, должно быть, съ полчаса. Мнѣ было видно, какъ онъ потомъ проходилъ въ переднюю. Онъ былъ красенъ, какъ ракъ. По дорогѣ онъ неловкимъ движеніемъ задѣлъ стулъ, уронилъ его и, поднимая, съ напряженною, неловкою улыбкой попробовалъ пошутить: «Александръ Македонскій былъ великій герой, но зачѣмъ-же стулья ломать?!». Курочкинъ, тоже видимо взволнованный, объяснилъ мнѣ по уходѣ незнакомца, что это былъ Кельсиевъ...

На мою статью о Кельсиевѣ обрушился въ «Недѣлѣ» покойный Минаевъ. Онъ находилъ, что я слишкомъ мягко и серьезно отнесся къ этому человѣку, что съ ренегатами надо поступать гораздо круче, не вдаваясь въ логическія и психологическія тонкости, что этакъ можно, пожалуй, дойти и до оправданія ренегатства. Выразилъ все это Минаевъ довольно грубо, и Некрасовъ счелъ нужнымъ меня, необстрѣленного еще новичка, утѣшить или ободрить. Онъ убѣждалъ меня не смущаться подобными выходками, говорилъ, что если Минаевъ нашелъ мою статью слишкомъ мягкой и серьезною, то, съ другой стороны, и Кельсиеву этотъ приемъ покажется гораздо обиднѣе, чѣмъ голыя наемъники и ругань; что, судя по строю моихъ мыслей и манерѣ писанія, я долженъ и на будущее время приготовиться къ нападкамъ съ самыхъ различныхъ сторонъ, но что это не бѣда,—надо, не смущаясь, вести свою линію.

Къ начинающимъ писателямъ Некрасовъ относился съ большимъ вниманіемъ, охотно давая имъ разные совѣты. Нельзя было, при этомъ, не любоваться его умомъ. Онъ отлично зналъ пробѣлы своего образованія и никогда не старался ихъ скрыть. Но даже по поводу статей о совершенно незнакомыхъ ему предметахъ у него находилось умное слово, заимствованное изъ его огромной житейской и журнальной опытности. Но разговорчивъ онъ не былъ, и когда молодой сотрудникъ сколько-нибудь опережалъ, онъ предоставлялъ его самому себѣ и лишь въ крайне рѣдкихъ случаяхъ выражалъ свое удовольствіе. Благодаря безусловному довѣрію Некрасова къ своимъ главнымъ сотрудникамъ и соредакторамъ, редакціонныя дѣла «Отечественныхъ Записокъ» шли

точно сами собою, точно никто ничего и не дѣлалъ, тогда какъ, въ дѣйствительности, всё много работали. Какія-нибудь пререканія были величайшею рѣдкостью. Тотъ-же порядокъ былъ и потомъ, когда послѣ смерти Некрасова отвѣтственнымъ редакторомъ сталъ Салтыковъ. Только Салтыковъ, въ силу своей крайней экспансивности, не могъ удерживать въ себѣ ни одной мысли, ни одного чувства, тогда какъ Некрасовъ, напротивъ, былъ до такой степени замкнутъ и скрытенъ, что иной разъ и догадаться было невозможно, что онъ думаетъ. Со мною былъ слѣдующій характерный въ этомъ отношеніи для Некрасова случай. Дѣло было въ 1874 г., когда я былъ уже вполне своимъ членомъ въ редакціи «Отечественныхъ Записокъ». Однажды студентъ, помнится, института путей сообщенія, по фамиліи Шмаковъ, принесъ мнѣ тетрадку своихъ стихотвореній. Они показались мнѣ пригодными для печати и я передалъ ихъ Некрасову, но безъ всякой, съ своей стороны, рекомендаціи: посмотрите, молъ. Черезъ нѣсколько дней получаю отъ Некрасова записку: «Вашъ поэтъ Шмаковъ вытолкнулъ меня изъ постоянно гнуснаго настроенія, въ которомъ я, чортъ знаетъ отъ чего, нахожусь уже давно,—у него есть талантъ и онъ непременно будетъ хорошимъ поэтомъ, если будетъ строго работать и овладѣетъ вполне формой, безъ которой нѣтъ поэта. Если онъ здѣсь, то не скажете-ли ему, чтобы зашелъ ко мнѣ». Молодой поэтъ былъ у Некрасова, три или четыре его, дѣйствительно, педурныхъ стихотворенія были напечатаны въ томъ-же 1874 г. въ «Отечественныхъ Запискахъ», но затѣмъ онъ куда-то исчезъ и что-то я не знаю теперь такого поэта. Некрасовъ больше о немъ не вспоминалъ. Много времени спусти, уже не задолго до своей смерти, Некрасовъ признался мнѣ въ случайномъ разговорѣ о стихахъ, что сначала онъ считалъ Шмакова псевдонимомъ, подъ которымъ укрылся я, конфузясь своихъ стихотворныхъ опытовъ, и что онъ былъ очень разочарованъ, увидавъ настоящаго, живого Шмакова. Почему онъ думалъ, что это мои стихи и что я хитрю, выдавая ихъ за чужіе, я не знаю. На мой вопросъ объ этомъ онъ отвѣтилъ только: «такъ мнѣ показалось». Но и его предположеніе на счетъ моей хитрости, и его долгое молчаніе кажутся мнѣ очень для него характерными.

Конечно, это случай мелкій, но вообще въ Некрасовѣ было что-то загадочное, невысказанное, затаенное отъ всѣхъ постороннихъ взглядовъ. Тѣмъ поразительнѣе были случаи, когда это затаенное рвалось наружу и, все-таки, не могло вырваться вполне.

Въ 1869 г. появилась брошюра гг. Антоновича и Жуковскаго «Матеріалы для характеристики современной литературы», въ которой заключались крайне ядовитыя нападки на Некрасова, на Елисеева, на «Отечественныя Записки». Она состояла изъ двухъ частей: изъ «Литературнаго объясненія гг. Н. А. Некрасовымъ», написаннаго г. Анто-

новичемъ, и изъ статьи г. Жуковскаго «Содержаніе и программа «Отечественныхъ Записокъ» за прошлый годъ.» И самая эта брошюра, и, тѣмъ болѣе, ея интимная подкладка представляютъ собою нѣчто совсѣмъ чужое большинству нынѣшнихъ читателей. Я и самъ узналъ эту прискорбную исторію во всѣхъ ея подробностяхъ только теперь, разбирая бумаги Елисеева. Покойный Григорій Захаровичъ, видимо, придавалъ ей большое автобиографическое значеніе, и потому я, можетъ быть, расскажу ее его собственными словами, когда дѣло дойдетъ до воспоминаній о немъ. Теперь скажу только, что брошюра гг. Антоновича и Жуковскаго содержитъ въ себѣ много злобно выраженныхъ неприятныхъ намековъ и предположеній насчетъ Некрасова, Елисеева и «Отечественныхъ Записокъ». Значительная часть этихъ намековъ и предположеній давно, такъ сказать, ликвидирована самою жизнью. Авторы брошюры предсказывали рѣшительное отклоненіе «Отечественныхъ Записокъ» отъ того направленія, котораго Некрасовъ, Салтыковъ и Елисеевъ держались прежде въ «Современникѣ», а этого, какъ извѣстно, не случилось (Салтыковъ въ брошюрѣ не поминался по имени, ему предоставлялось узнать себя въ общей формулѣ «разной шушеры и шелухи изъ «Современника»). Авторы брошюры потратили много остроумія насчетъ объединенія Некрасова и Краевскаго, слитія ихъ въ одну литературную фирму, а такого объединенія и слитія никогда не было. Но «Отечественныя Записки» были еще тогда вновь; за одинъ годъ существованія онѣ успѣли, конечно, выясниться, не настолько, однако, чтобы для нихъ были вполне безразличны нападки бывшихъ сотрудниковъ «Современника». Притомъ-же, въ брошюрѣ заключалась крупица истины, хотя и вполне безтактно выраженной; и это было тѣмъ неприятнѣе, что крупица истины находилась въ связи съ обстоятельствами, бросившими на Некрасова такую тѣнь въ 1866 году. Никогда, ни до, ни послѣ этой брошюры, Некрасовъ не былъ «развѣнчанъ» такъ грубо, такъ открыто и безпощадно,—и къ-мъ-же?—не какимъ-нибудь отпѣтымъ проходимцемъ, а «своими», людьми, объявлявшими себя истинными хранителями лучшихъ литературныхъ преданій. А за одно съ Некрасовымъ призывался къ отвѣту и весь журналъ, въ лицѣ, впрочемъ, главнымъ образомъ, Елисеева. Немудрено, что, придя въ ближайшій редакціонный день въ редакцію, я засталъ тамъ переполохъ. Салтыковъ рвалъ и металъ, направляя по адресу авторовъ брошюры совершенно нецензурные эпитеты. Елисеевъ сидѣлъ молча, поглаживая правою рукою лѣвый усъ (его обыкновенный жестъ въ задумчивости), и думалъ, очевидно, невеселую думу. Я знаю теперь эту думу: онъ ничего подобнаго не ожидалъ, если не отъ г. Жуковскаго, то отъ г. Антоновича, и былъ тѣмъ болѣе оскорбленъ въ своихъ лучшихъ чувствахъ, что имѣлъ о Некрасовѣ свое особое мнѣніе. Самъ Некрасовъ произвелъ на меня истинно удручающее впечатлѣніе, и я,

пользуясь тѣмъ, что не былъ еще тогда членомъ редакціи и, значить, не обязанъ былъ сидѣть въ ней, скоро ушелъ. Тяжело было смотрѣть на этого человѣка. Онъ прямо-таки заболѣлъ и какъ теперь вижу его вдругъ осунувшюся, точно постарѣвшюю фигуру въ халатѣ. Но самое поразительное состояло въ томъ, что онъ, какъ-то странно заикаясь и запинаясь, пробовалъ что-то объяснить, что-то возразить на обвиненія брошюры и не могъ: не то онъ признавалъ справедливость обвиненій и каялся, не то имѣлъ многое возразить, но, по закоренѣлой привычкѣ таить все въ себѣ, не умѣлъ. Это просто невыносимое зрѣлище я видѣлъ еще разъ потомъ, въ трагической обстановкѣ предсмертныхъ разсчетовъ Некрасова съ жизнью...

Крупная истина, заключающаяся въ брошюрѣ, лучше всего выражена въ слѣдующихъ словахъ г. Антоновича, обращенныхъ непосредственно къ Некрасову: «Современникъ» закрыть; для предотвращенія этого оказались безсильными все ваше искусство, все ваши отреченія и вся ваша литература на обѣдѣ; ваши громомовды и циты, купленные цѣною стодѣсятыхъ моральныхъ и неморальныхъ жертвъ съ вашей стороны и удовлетворительно защищавшіе васъ въ обыкновенное время, при обыкновенной непогодѣ, не могли защитить вашу журналъ при необыкновенно сильной, экстраординарной грозѣ».

Это все вѣрно. Вѣрно, что для защиты своего дѣла Некрасовъ втѣченіе многихъ лѣтъ приносилъ обильныя моральныя и неморальныя жертвы; вѣрно, что онъ былъ въ этомъ отношеніи очень искусенъ; вѣрно, наконецъ, что въ 1866 г., въ моментъ экстраординарной грозы, все искусство и все жертвоприношенія Некрасова не спасли дѣла. Но на всѣхъ этихъ несомнѣнно вѣрныхъ данныхъ можетъ быть построено не обвиненіе Некрасова, не развѣнчаніе его, а, напротивъ, его апологія. Такую именно апологію я нашелъ въ одной рукописной замѣткѣ Елисеева, не подлежащей, къ сожалѣнію, опубликованію. Вотъ отрывокъ: «Некрасовъ не пошелъ-бы ни на смерть, ни на страданія за дѣло новой идеи, которое онъ несъ на себѣ... Это былъ, если угодно, герой, но герой-рабъ, который поставилъ себѣ цѣлью добиться во что-бы-то ни стало свободы, упорно преслѣдуетъ эту цѣль, по временамъ, примѣняясь къ обстоятельствамъ, дѣлаетъ уступки, но на своемъ главномъ пути постоянно держитъ ее въ умѣ; онъ понимаетъ, что такимъ только образомъ можетъ ее добиться, а, кромѣ того, понимаетъ, что въ той средѣ, которая его окружаетъ, не найдется такихъ людей, какъ онъ; хотя, быть можетъ, есть не мало лицъ изъ тронутыхъ новою идеей, которыя гораздо выше, то-есть самоотверженнѣе и чище, лицъ, которыя готовы пожертвовать за нее жизнью, но не найдется такихъ героев-рабовъ, которые-бы такъ упорно шли въ теченіе десятковъ лѣтъ шагъ за шагомъ по тому тернистому пути, по которому идетъ онъ, подвергаясь изо дня въ день разнымъ мелкимъ мученіямъ и перенося сдѣлки

со своею совѣстью. Герой-рабъ могъ писать, что его рука иногда «у лиры звукъ невѣрный исторгала», что, «жизнь любя, къ ея минутнымъ благамъ прикованъ онъ привычкою и средой», что онъ «къ цѣли шель колеблющимся шагомъ и для нея не жертвовалъ собой». Но дѣйствительный герой, герой въ современномъ значеніи этого слова, не могъ ни дѣйствовать, ни писать. Мы, однако, не должны забывать, что каждый герой долженъ оцѣниваться по условіямъ времени и цѣлямъ. Для каждаго времени является свой «мужъ потребенъ». Герой тотъ, кто понялъ условія битвы и выигралъ побѣду. Хорошъ и тотъ герой, который умираетъ за свое дѣло, такъ сказать, мгновенно, всецѣло, публично запечатлѣвая передъ всѣми своею смертию свои убѣжденія. Хорошъ и другого рода герой, герой-рабъ, который умираетъ за свое дѣло втеченіе десятковъ лѣтъ, умираетъ, такъ сказать, по частямъ, медленною смертию, въ ежедневныхъ мелкихъ попыткахъ отъ мелкихъ гоненій и стѣсненій, отъ сдѣлокъ съ своею совѣстью, умираетъ никѣмъ не признанный въ своемъ геройствѣ и даже подъ общимъ тяжелымъ обвиненіемъ или подозрѣніемъ отъ толпы въ измѣнѣ дѣду».

Поведеніе Некрасова въ 1866 году Елисеевъ считаетъ сознательнымъ жертвоприношеніемъ... Я не иду такъ далеко, я думаю, что Некрасовъ тогда просто растерялся, испуганный надвигавшеюся грозой, тѣмъ болѣе страшной, что неизвѣстно было, какъ и куда она направитъ свои удары. Испугался онъ, можетъ быть, частью и за журналъ, но главнымъ образомъ, я думаю, за себя лично. Такъ и самъ Некрасовъ понималъ дѣло. Однако, нарисованный Елисеевымъ трагическій образъ героя-раба въ общемъ вѣренъ дѣйствительности, да ему и не противорѣчитъ испугъ въ трудную минуту. Только для ясности этого образа надо подчеркнуть нѣкоторыя его непривлекательныя стороны.

Некрасовъ былъ человекъ вполне убѣжденный, то есть искренно вѣрилъ въ справедливость тѣхъ принциповъ, которые исповѣдывалъ въ своей поэтической и журнальной дѣятельности. Подробности идей, развиваемыхъ въ его журналахъ, а иной разъ даже самыя идеи могли быть ему въ томъ или другомъ случаѣ чужды, вслѣдствіе пробѣловъ въ его образованіи, которое онъ, рано брошенный въ водоворотъ практической жизни, никогда не успѣлъ пополнить. Но не говоря уже о томъ, что въ практическихъ вопросахъ, обескуражившихъ въ его журналахъ, онъ ориентировался превосходно, потому что зналъ науку жизни, рѣдкій умъ и рѣдкое чутье дѣлали его отнюдь не чужимъ и относительно чисто-теоретическихъ вопросовъ. Онъ и здѣсь понималъ или чувствовалъ добро и зло съ точки зрѣнія своихъ общихъ убѣжденій, потому что сидѣли они въ немъ крѣпко. Въ выработкѣ этихъ убѣжденій играли значительную роль испытанія его несчастной юности. Они очень рано начались, эти испытанія.

Я не біографію Некрасова пишу, да въ общихъ чертахъ она и до-

вольно извѣстна. Но не могу отказать себѣ въ удовольствіи привести одно воспоминаніе Достоевскаго. Въ «Дневникѣ писателя» за 1877 г. писалъ онъ о началѣ своего знакомства съ Некрасовымъ въ 1845 г.: «Тогда было между нами нѣсколько мгновеній, въ которыя разъ навсегда обрисовался передо мною этотъ загадочный человѣкъ самую существенную и самую затаенную стороною своего духа. Это именно, какъ мнѣ разомъ почувствовалось тогда, было раненое въ самомъ началѣ жизни сердце, и эта-то никогда не зажившая рана его была началомъ и источникомъ всей страстной, страдальческой поэзіи его на всю потомъ жизнь». Не буду, впрочемъ, продолжать выписку. Достоевскій говоритъ здѣсь о впечатлѣніяхъ самаго ранняго дѣтства, которыя ему сообщалъ самъ Некрасовъ,—о любимой матери-страдалицѣ, къ которой онъ такъ часто обращался въ своихъ стихахъ. Затѣмъ слѣдовали впечатлѣнія жестокихъ сценъ старо-помѣщичьей деревенской жизни, затѣмъ личныя испытанія голода, холода и униженій петербургскаго пролетарія. Впечатлѣнія эти были столь сильны, что Некрасовъ никогда не измѣнялъ голоднымъ, холоднымъ и униженнымъ ни въ своей поэзіи, ни въ своей журнальной дѣятельности. Никогда. Сюда выпадалъ центръ тяжести и его собственной поэзіи, и тѣхъ идей, теорій, образовъ, картинъ, которые развивались и рисовались людьми, втеченіе десятковъ лѣтъ около него группировавшимися. Но въ тѣхъ-же горькихъ впечатлѣніяхъ пролетарія лежало зерно другой стороны его развитія. Оскорбленный голодомъ, холодомъ и униженіями, онъ «покаялся не умереть на чердакѣ». Страшная клятва! Никто не обязанъ умирать на чердакѣ, никто не имѣетъ права осуждать человѣка, не желающаго чердачной жизни и смерти, да никто ея и не желаетъ. Но для юноши, при условіи нѣкотораго энтузіазма, пожалуй, естественнѣе была-бы противоположная клятва: клянусь жить на чердакѣ, пока есть голодные и холодные! Правда, что такого рода энтузіазмъ обыкновенно довольно быстро выдыхается, но самъ по себѣ онъ, во всякомъ случаѣ, больше подходитъ юному пѣвцу голодныхъ и холодныхъ. А когда перспектива жизни и смерти въ палатахъ становится съ ранней молодости задачей жизни, въ особенности, когда въ эту перспективу напряженно вглядывается человѣкъ умный, ловкій и упорный,—бѣда близка: край нравственной пропасти подъ самыми ногами. Некрасовъ и ходилъ всю жизнь по краю пропасти. «Сколько разъ я надъ бездною стоялъ... снова падалъ и ввѣсе упалъ»,—говоритъ онъ самъ. Но, какъ пѣвецъ голодныхъ и холодныхъ, онъ никогда не падалъ; даже тогда, когда извлекалъ изъ своей лиры «невѣрные» звуки. Оригинально сплетались въ немъ эти двѣ стороны его жизни, исходившія изъ общаго корня—тяжелыхъ впечатлѣній ранней юности. Мало-ли путей ему предстало для приведенія въ исполненіе своей клятвы, однако, онъ выбралъ совершенно опредѣленный путь, съ котораго не сходилъ всю жизнь. Даже въ минуту крайняго

раздраженія и вполнѣ безцеремоннаго отношенія къ Некрасову г. Антоновичъ долженъ былъ признать, что Некрасовъ приносилъ «моральныя и неморальныя жертвы» для спасенія не только себя, а и своего журнала. И мы, всѣ сотрудники его двухъ журналовъ, пользовавшіеся плодами его жертвоприношеній, а за нами и всѣ наши читатели, едва-ли имѣемъ моральное право издѣваться надъ этими жертвами, какъ-бы брезгливо мы къ нимъ ни относились. Но мы можемъ, все-таки, признать, что отъ практики этихъ жертвоприношеній къ Некрасову прилипло много нечистаго. И онъ это самъ зналъ, и въ этомъ состоялъ грагизмъ его двойственнаго существованія, разрѣшавшійся покаянными воплями («Рыцарь на часъ», «Ликуеть врагъ», «Умру я скоро» и проч.).

Некрасова часто упрекали (между прочимъ, и въ упомянутой брошюрѣ), напримѣръ, за излишнюю разносторонность знакомствъ. Онъ дѣйствительно являлся съ самыми разнообразными сферами, въ томъ числѣ и съ такими, которыя могли имѣть развѣ только отрицательное отношеніе къ «Современнику» и «Отечественнымъ Запискамъ». Опъ, безспорно, находилъ въ этихъ знакомствахъ удовольствованіе своимъ избалованнымъ вкусомъ богатаго барина и крупнаго игрока, что, пожалуй, было и не къ лицу редактору такихъ журналовъ. Но здѣсь-же онъ находилъ для этихъ журналовъ тѣ «щиты и громоотводы», о которыхъ говоритъ г. Антоновичъ. Онъ полагалъ, впрочемъ, что литератору, какъ литератору, необходимо все знать и видѣть.

Въ началѣ семидесятыхъ годовъ въ Петербургѣ существовало какое-то гастрономическое общество. Оно устраивало обѣды, куда знатоки гастрономическаго дѣла, люди, конечно, богатые и избалованные, а также извѣстные столичные рестораторы поставляли—кто одно блюдо изъ своей кухни, кто другое, кто одно вино изъ своего погреба, кто другое. Все это серьезнѣйшимъ образомъ смаковалось и сообща обсуживалось; ставились даже баллы за кушанья и вина. Бывалъ на этихъ обѣдахъ и Некрасовъ. И не только самъ бывалъ, а и другихъ тащилъ, между прочимъ, и меня, который, вѣроятно, по своему гастрономическому невѣжеству, не могъ видѣть въ этомъ учрежденіи ничего, кромѣ до уродливости странной формы разврата. Когда я выразилъ Некрасову свое мнѣніе на этотъ счетъ, онъ со мной согласился, но привелъ три резона, по которымъ онъ на эти обѣды ходитъ: во-первыхъ, тамъ можно дѣйствительно вкусно поѣсть; во-вторыхъ, литератору нужно знать и тѣ сферы, въ которыхъ такими дѣлами занимаются; въ-третьихъ, это одинъ изъ способовъ поддерживать знакомство съ разными нужными людьми. Въ гастрономическое общество я не попалъ, но въ балетъ меня однажды Некрасовъ затащилъ-таки, и это единственный разъ въ жизни, что я былъ въ балетѣ. Боюсь, что читатель заподозритъ меня по этому поводу въ похвальбѣ тѣмъ, что французы называютъ

rigiderie. Отнюдь нѣтъ, не въ суровой добродѣтели тутъ дѣло, а просто въ томъ, что условныя, размѣренныя движенія танцовщицъ и танцовщиковъ показались мнѣ некрасивыми и невыносимо скучными. Но рѣчь не обо мнѣ, а о Некрасовѣ. Балетъ привлекалъ его тѣми-же тремя сторонами: это красиво, это надо знать, это почва для сближенія съ пужными людьми. Если кто вздумаетъ придратъся къ этому расположенію аргументовъ, къ тому, что на первомъ планѣ стоятъ вкусная ѣда и красота балета, то это будетъ тщетная придирка. Я отнюдь не увѣренъ, что Некрасовъ располагалъ свои три резона именно въ такомъ порядкѣ. Онъ, впрочемъ, никогда не прикидывался презирающимъ «минутныя блага жизни».

Въ числѣ другихъ видовъ общенія съ пужными людьми у Некрасова бывали, если не ошибаюсь, еженедѣльно спеціальныя собранія, на одномъ изъ которыхъ былъ и я. Это было некрасивое зрѣлище. Изъ ненужныхъ людей, кромѣ меня, былъ только Салтыковъ. Остальные все нужные. Правда, это были *dii minores* Олимпа нужныхъ людей, но, все-таки, значительные, почтенные люди. Некрасовъ накормилъ насъ хорошимъ обѣдомъ, напоилъ хорошимъ виномъ, потомъ сѣли играть въ карты на нѣсколькихъ столахъ. Игра была небольшая, не некрасовская. Некрасовъ былъ очень милъ и любезенъ, но его тактъ избавлялъ его отъ какихъ-нибудь заискивающихъ формъ любезности. И, все-таки, мнѣ было какъ-то не по себѣ, какъ-то чуждо и жутко, точно я въ дурномъ дѣлѣ участвовалъ. Между прочимъ, игралъ въ карты и Салтыковъ, но обыкновенно, раздражаясь на неудачный ходъ партнера, на плохія карты и проч. За его спиной сталъ одинъ изъ неигравшихъ гостей, значительный сѣдобородый старецъ, и посоветовалъ ему какой-то ходъ: Салтыковъ проворчалъ что-то вродѣ: «Ну, да! совѣтчики!» Однако, послушался. Но когда ходъ оказался неудачнымъ, Салтыковъ грубо выбранилъ совѣтчика и безцеремонно потребовалъ, чтобы онъ отошелъ отъ его стула и не совался въ игру. Эта вспышка, очевидно, портила политичную музыку Некрасова, но мнѣ, признаюсь, Михаилъ Евграфовичъ былъ въ эту минуту необыкновенно милъ и дорогъ. Я больше не бывалъ на этихъ собраніяхъ, и не только потому, что мнѣ на нихъ дѣлать нечего было, такъ какъ въ карты я не играю, — просто почти безсознательное чувство безгливости протестовало.

Скажутъ, можетъ быть, что вотъ не подеремонился-же Салтыковъ съ нужнымъ человѣкомъ, а, вѣдь, и онъ, послѣ смерти Некрасова, тянулъ лямку отвѣтственнаго редактора. Дѣйствительно, поштика Салтыкова, какъ редактора, рѣзко отличалась отъ некрасовской. Но не надо забывать, что, ко времени редакторства Салтыкова, литература была уже далеко не такъ поставлена, какъ въ ту мрачную пору, когда Некрасовъ началъ свою журнальную дѣятельность и получилъ свое воспитаніе, какъ редакторъ-издатель; да и всероссійскіе нравы

измѣнились. Литература наша, къ сожалѣнію, и доселѣ не пользуется довѣріемъ правительства въ той степени, въ какой это было-бы желательнѣе намъ, писателямъ, да и не только намъ. Но каковы-бы ни были претерпѣваемыя ею неудобства и невзгоды, ихъ и сравнить нельзя съ прежнимъ положеніемъ вещей, когда самое существованіе литературы было едва терпимо. Въ наше время «щиты и громоотводы», для сооруженія которыхъ Некрасовъ приносилъ столько моральныхъ и неморальныхъ жертвъ, утратили свое значеніе; они частью не нужны, частью невозможны; но тогда нужна была необыкновенная изворотливость, чтобы провести корабль литературы среди безчисленныхъ подводныхъ и надводныхъ скалъ. И Некрасовъ велъ его, провозя на немъ грузъ высоко-художественныхъ произведеній, составляющихъ нынѣ общепризнанную гордость литературы, и свѣтлыхъ мыслей, постепенно ставшихъ общимъ достояніемъ и частью вошедшихъ въ самую жизнь. Въ этомъ состоитъ его незабвенная заслуга, цѣна которой, быть можетъ, даже превосходитъ цѣну его собственной поэзіи. Но практика постоянной изворотливости, практика постоянного исканія или сооруженія щитовъ и громоотводовъ не можетъ служить къ украшенію личнаго характера практиканта. Она непременно должна положить на него болѣе или менѣе густыя тѣни, причувъ его ко всякаго рода компромиссамъ, житейскимъ противорѣчіямъ и непослѣдовательностямъ, сдѣлаемъ съ своею совѣстью. Это и случилось съ Некрасовымъ. А онъ былъ къ этому и безъ того слишкомъ подготовленъ основнымъ противорѣчіемъ его жизни, — противорѣчіемъ между клятвою не умереть на чердакѣ и искреннимъ сочувствіемъ къ обитателямъ чердаковъ, ко всемъ голоднымъ, холоднымъ и обездоленнымъ. Все это сидѣлось въ Некрасовѣ въ одинъ запутанный пестрый клубокъ, многосложность и пестрота котораго тяжелѣе всего отзывалась на немъ самомъ. Поверхностные и пустопорожные люди думаютъ, что жизнь Некрасова была, за вычетомъ горечи молодыхъ годовъ, какимъ-то сплошнымъ праздникомъ. Это — глубокая ошибка. Вѣрно, что онъ сладко ѣлъ и мягко спалъ, но, тѣмъ не менѣе, не спалъ онъ, когда писалъ:

«Что враги?! Пусть клеветуютъ язвительнѣй,
Я пощады у нихъ не прошу,
Не придумать имъ казни мучительнѣй
Той, которую въ сердцѣ ношу!»...

Казнь, посимая имъ въ сердцѣ, была тѣмъ мучительнѣе, что въ странномъ клубкѣ его жизни черныя, бѣлыя и цвѣтныя нити переплетались тѣснѣйшимъ образомъ. Онъ сознавалъ искренность своей поэзіи, но сознавалъ и разладъ ея съ собственной его жизнью; разладъ этотъ имѣлъ, однако, въ его глазахъ извѣстное оправданіе въ обстоятельствахъ его молодости и въ той трудной роли литературнаго кормчаго, которая выпала на его долю, — онъ сознавалъ, что какой-нибудь Бѣлинскій

съ своей хрустальной нравственною чистотой не смогъ-бы сдѣлать для литературы то, что сдѣлалъ онъ своими компромиссами и уступками совѣсти; но сознавалъ онъ также, что къ нему пришло много грязи на этой трудной житейской дорогѣ. Сознавая все это по частямъ, онъ не могъ, однако, разобраться въ цѣломъ этой смѣси добра и зла, вины и заслуги, и еще менѣе, конечно, могъ растолковать ее кому-нибудь другому даже въ тѣхъ случаяхъ, когда растолковать хотѣлось: многое грязное подлежало здѣсь обѣленію, многое доброе было загрязнено. Отсюда пасмурная замкнутость, переходившая иногда въ дѣловитую жесткость...

Еще немножко личныхъ воспоминаній...

Финансовыя мои обстоятельства поправились въ «Отечественныхъ Запискахъ». Я много работалъ и достаточно зарабатывалъ. Но частью потому, что дѣла мои были очень разстроены предыдущими невзгодами, частью по всегдшнему моему неумѣнью какъ слѣдуетъ обращаться съ деньгами, на мнѣ скоро оказался довольно значительный долгъ конторѣ «Отечественныхъ Записокъ». На бѣду, весной 1870 г. мнѣ понадобились экстренныя средства на отправку одного близкаго мнѣ большого человѣка за границу. Я изложилъ Некрасову исключительность обстоятельствъ, но онъ очень сухо отказалъ въ деньгахъ, указавъ на мой долгъ. Я понималъ, что онъ правъ, но, все-таки, съ горькимъ и обиднымъ чувствомъ вернулся домой, а тутъ еще надо было статью дописывать. Дописалъ, сдалъ въ редакцію и уѣхалъ на нѣсколько дней изъ Петербурга искать денегъ, потому что состоятельныхъ знакомыхъ у меня въ Петербургѣ не было. Однако, и поѣздка оказалась неудачною. Вернувшись и раздумывая, какъ быть, получаю отъ Некрасова приглашительную записку. Застаю его за корректурой моей статьи. Онъ заговорилъ со мной тѣмъ-же сухимъ, дѣловымъ, сумрачнымъ тономъ, но уже другими словами: «Вы просили денегъ, сколько вамъ надо?»— «Столько-то».— «Такъ я вамъ дамъ записку въ контору, вы намъ человѣкъ нужный». Хотя слова эти выводили меня изъ труднаго положенія, въ благополучномъ выходѣ изъ котораго я уже отчаялся, они, все-таки, оставили во мнѣ тяжелое впечатлѣніе. Опять-таки Некрасовъ былъ несомнѣнно правъ: если-бъ я не былъ нуженъ журналу, такъ не зачѣмъ мнѣ и льготы оказывать, а коли нуженъ, такъ надо обратить вниманіе. Но какъ-то ужъ очень это жестко и обнаженно вышло...

Не всегда, однако, Некрасовъ былъ такъ жестокъ и сухъ. Мнѣ кажется, что на него дѣйствовала въ этомъ отношеніи петербургская жизнь, въ особенности ея петербургская жизнь—шумная, пестрая, но нескладная. Лѣтомъ сердце его, вѣроятно, размягчалось и уста разверзались для мягкихъ и ласковыхъ словъ. Сужу такъ частью по его писаніямъ, а частью по собственному опыту, очень, впрочемъ, незначительному. Однажды я былъ у него на дачѣ, въ Чудовѣ, а въ другой

разъ столкнулся съ нимъ за границей, въ Киссингенѣ. Онъ былъ тамъ съ женой и сестрой, подобрались и еще знакомые, въ томъ числѣ Елисеевъ съ женой. Киссингенъ, хотя и имѣлъ честь лечитъ своими водами такихъ высокопоставленныхъ особъ, какъ императоръ Вильгельмъ I и Бисмаркъ, есть одинъ изъ самыхъ мирныхъ курортовъ. Развлеченія своимъ многочисленнымъ и разноязычнымъ гостямъ онъ предоставляетъ самыя скромныя: ѣда самая умѣренно-нѣмецкая, въ гастрософическомъ смыслѣ оставляющая многого желать; музыка ниже посредственной; скромныя ассамблеи въ «ротондѣ», гдѣ подь звуки той-же музыки, а то и рояля, танцуютъ нѣмчики съ нѣмочками; игорныхъ учреждений никакихъ; театра нѣтъ,—по крайней мѣрѣ, нѣтъ постоянной труппы, а наѣзжаютъ третъестепенные актеры. Можетъ быть, во время пребыванія особъ, вродѣ Вильгельма и Бисмарка, все это измѣняется, но я видѣлъ Киссингенъ такимъ два раза, въ 1871 г. и въ 1873 г., когда столкнулся тамъ съ Некрасовымъ. И Некрасовъ, видимо, отмикалъ, если можно такъ выразиться, въ этой простой обстановкѣ.

Верстахъ въ двухъ отъ Киссингена есть развалины древняго замка Боденлаубе. Преданіе гласитъ, что замокъ этотъ былъ построенъ знаменитымъ миннезингеромъ XIII вѣка, поэтомъ-рыцаремъ Отто фонъ-Боденлаубе. Теперь въ этихъ живописно заросшихъ зеленью развалинахъ ютится элементарный ресторанчикъ, гдѣ можно получить яйца въ смятку, кофе, молоко, дешевое вино. Однажды мы сидѣли тамъ съ Некрасовымъ. Онъ разговорился, рассказывалъ про Бѣлинскаго, Чернышевскаго, Добролюбова, отзываясь о нихъ почти восторженно. Преданіе о рыцарѣ-поэтѣ, въ развалинахъ замка котораго мы теперь пьемъ скверный нѣмецкій кофе, навело разговоръ на поэзію вообще, потомъ на поэзію Некрасова. Онъ говорилъ грустно и задумчиво и какъ-то вдругъ сталъ не то оправдываться, не то казнить себя. Миѣ живо припомнился тотъ Некрасовъ, котораго я видѣлъ въ 1869 г. послѣ брошюры гг. Антоновича и Жуковскаго. Не было того остраго волненія, но та-же затрудненная, смущенная, сбивчивая рѣчь человѣка, который хочетъ сказать очень много, но не можетъ... Я очень хорошо помню, что ни единымъ нескромнымъ вопросомъ не вызывалъ его на откровенность. Онъ самъ началъ, а я даже не поддерживалъ этого щекотливаго разговора. Миѣ было неловко.

Но уже не неловко, а прямо жутко и страшно было слушать эти обрывистыя, затрудненные откровенныя рѣчи, когда Некрасовъ умиралъ. Умиралъ онъ долго и мучительно; несмотря на все свое самообладаніе, временами стоналъ, прямо кричалъ и плакалъ. Но въ свѣтлые промежутки неустанно думалъ и говорилъ о литературѣ. Поводовъ для этого было много. Онъ самъ писалъ или диктовалъ послѣднія изъ своихъ «послѣднихъ пѣсенъ». Онъ получалъ со всѣхъ концовъ Россіи множество писемъ, адресовъ, телеграммъ отъ почитателей, скорбѣвшихъ о

тяжкихъ страданійхъ любимаго поэта. Посѣщали его, конечно, главнымъ образомъ, литераторы. Посѣтилъ его и Тургеневъ, когда-то закадычный другъ, а потомъ врагъ, много несправедливаго о немъ сказавшій и отрицавшій даже его поэтической талантъ. Это посѣщеніе, послѣ многихъ лѣтъ враждебныхъ отношеній и разлуки, разумѣется, окончательно убѣдило-бы страдальца въ близости конца, если-бъ онъ и безъ того не былъ въ этомъ увѣренъ. Я не присутствовалъ при этомъ свиданіи. Говорили послѣ, что оба бывшіе друга молча прослезились... Въ такомъ-то состояніи умирающій, худой какъ скелеть, Некрасовъ и со мной, и со многими другими заводилъ свои затрудненныя оправдательно-покаянныя рѣчи, перемежаясь еще вдобавокъ стопами и криками. Очевидно, было страстное желаніе выложить всю душу, уже сле державшуюся въ больномъ, изможденномъ тѣлѣ; страстное, послѣднее въ жизни желаніе раскрыть тайну этой жизни, можетъ быть даже не намъ, слушателямъ этой единственной въ своемъ родѣ исповѣди, а самому себѣ. Но умирающій не находилъ словъ для выраженія «той казни мучительной, которую въ сердцѣ носилъ». Онъ то хватался за какой-нибудь отдѣльный эпизодъ своей жизни, то пробовалъ подвести ей общій итогъ, зашнчался и опять начиналъ. Въ сравненіи съ этою страшною сценою — ничто, дѣтскія игрушки — тѣ щеголеватыя публичныя исповѣди, авторы которыхъ самодовольно заявляютъ, что они отрясли прахъ прошлаго отъ ногъ своихъ и достигли высшей ступени нравственнаго сознанія. Некрасовъ чувствовалъ и понималъ, что въ его прошломъ есть большая заслуга, отъ которой отречься не приходится. Но она трагически-фатально забрызгалась грязью, и передъ зіяющею пропастью смерти Некрасовъ не могъ ни другимъ разсказать, ни самому себѣ уяснить эту смѣсь добра и зла. Онъ старался, не могъ и мучился... Дѣло происходило въ той самой комнатѣ, въ которой поэтъ вспоминалъ своихъ «унесенныхъ борьбой» друзей:

«Пѣсни вѣшія ихъ не допѣты.
 Пали жертвою злобы, измѣнъ
 Въ цвѣтѣ лѣтъ; на меня ихъ портреты
 Укоризненно смотрять со стѣнъ...»

Я не видалъ болѣе тяжелой работы совѣсти, да не дай Богъ и видѣть. А, между тѣмъ, такъ-ли уже, въ самомъ дѣлѣ, велики вины Некрасова? И не искуплены-ли онъ благою стороною его дѣятельности и этою страшною, несказанною мукою совѣсти? Поэтъ молилъ: «прости меня, о родина! прости!» Благодарная родина давно простила. Но есть неумолимые, которые не прощаютъ и непремѣнно желаютъ «развѣнчать» Некрасова. Должно быть, ихъ собственная совѣсть чиста, какъ зеркало, въ которое они могутъ спокойно любоваться на свои добродѣтели и гражданскіе подвиги. Должно быть, ихъ головы увѣнчаны безспорными лаврами... Да, эта совѣсть, очевидно, спокойна; да, оспаривать

эти лавры немного найдется охотниковъ. Пусть... Но мы, грѣшные, не послѣдуемъ за ними. Мы скажемъ: насъ прости, тѣнь поэта! свою родину прости,—ту родину, грѣхами которой ты самъ зараился и для просвѣтлѣнія которой сдѣлалъ такъ много...

VI.

Въ воспоминаніяхъ г. Фета есть слѣдующій эпизодъ. Г. Фетъ встрѣтился однажды у Тургенева съ Салтыковымъ. Салтыковъ, по увѣренію маститаго пѣвца соловья и розы, «сталъ бойко расхваливать Тургеневу успѣхъ недавно возникшихъ фаланстеровъ, гдѣ мужчины и женщины въ свободномъ сожителствѣ приносятъ результаты трудовъ своихъ въ общій складъ, причѣмъ каждый и каждая имѣютъ право, входя въ комнату другого, читать его книги, письма и брать его вещи и деньги. «Ну, а какая-же участь ожидаетъ дѣтей?» — спросилъ Тургеневъ своимъ кисло-сладкимъ фальцетомъ. — «Дѣтей не полагается», — отвѣчалъ Щедринъ».

Надо замѣтить, что г. Фетъ имѣлъ свои причины до такой степени не любить или бояться Салтыкова, что при входѣ послѣдняго «схватилъ огромный листъ «Голоса» и усеяся въ углу комнаты въ вольтеровское кресло, совершенно укрывшись за газетой». Какія именно обстоятельства побудили изыщаннаго поэта поступить столь невѣжливо по отношенію не только къ Салтыкову, а и къ Тургеневу, какъ хозяйну, онъ не объясняетъ. Онъ говоритъ только, что не хотѣлъ «возобновлять знакомство» съ сатирикомъ, а почему не хотѣлъ и какъ произошло первое знакомство — не сообщаетъ. Можно догадаться, что невоздержанный на языкъ, экспансивный Салтыковъ позволилъ себѣ откровенно высказаться въ поэтическихъ или прозаическихъ произведеніяхъ г. Фета. Послѣдніе, то есть прозаическіе опыты г. Фета, печатавшіеся въ «Русскомъ Вѣстникѣ», отличались крайнею озлобленностью противъ порядка вещей, наступившаго послѣ 19-го февраля 1861 г., и Салтыковъ въ свое время не оставилъ ихъ безъ своего печатнаго клейма. Какъ-бы то ни было, нельзя не пожалѣть, что г. Фетъ такъ невѣжливо удался въ уголь и закрылся газетой при входѣ Салтыкова къ Тургеневу. Безъ сомнѣнія, этотъ «огромный листъ» помѣшалъ маститому поэту не только видѣть Салтыкова, а и слышать его рѣчи. Иначе я не могу себѣ объяснить рѣзкое противорѣчіе разказа г. Фета со всѣмъ, что мнѣ извѣстно о Салтыковѣ, а зналъ я его двадцать лѣтъ.

Когда у Салтыкова родился первый ребенокъ, суровый сатирикъ до забавности сіялъ радостью и счастьемъ. Даже самыя дорогіе для него

въ жизни интересы, литературные, на время какъ-бы отступили на второй планъ. Въ наши понедѣльники (редакціонный день «Отечественныхъ Записокъ»), благодаря экспансивности Салтыкова, ворвалась новая и шумная струя. Со свойственнымъ ему оригинальнымъ юморомъ онъ рассказывалъ о своемъ сынѣ, о томъ, что онъ дѣлаетъ теперь (не особенно великія дѣла, какъ догадывается читатель) и чѣмъ онъ будетъ впослѣдствіи (непремѣнно писателемъ). Это было забавно и, вмѣстѣ съ тѣмъ, трогательно. Нельзя было не заражаться весельемъ этого человѣка съ нахмуреннымъ лбомъ, грубымъ голосомъ и упорными глазами, къ которому веселье, казалось - бы, такъ не шло и который такъ рѣдко веселился. И не скоро привыкъ Салтыковъ къ новому счастью, тѣмъ болѣе, что года черезъ два оно подновилося рожденіемъ дочери. А потомъ начались заботы, хлопоты и опасенія. Помню, напримѣръ, негодованіе, съ которымъ Салтыковъ рассказывалъ о непосильно-трудныхъ задачахъ, задаваемыхъ сыну въ гимназіи: «Я сегодня до трехъ часовъ ночи надъ этими проклятыми задачами сидѣлъ, — какъ-же мальцу-то съ ними возиться?!» — сердито говорилъ онъ. Очень возможно, что мальцу рѣшить эти задачи было даже легче, чѣмъ старику, давно отвыкшему отъ школьныхъ пріемовъ; но дѣло не въ этомъ, а въ трогательномъ образѣ этого суроваго старика, по горло заваленнаго своими собственными дѣлами и урынающаго у своей недолгой ночи часы для помощи сыну.

Мнѣ, впрочемъ, незачѣмъ прибѣгать къ личнымъ воспоминаніямъ, чтобы убѣдить читателей, что бѣдный г. Феть ничего не разсмотрѣлъ и не разслышалъ въ своемъ углу изъ-за огромнаго листа «Голоса». Да, истинно бѣдный г. Феть, потому что газетный листъ скрылъ отъ него или даже прямо извратилъ одну изъ тѣхъ любопытныхъ и умиленныхъ картинъ душевной жизни, какія всегда полезно знать поэту, а, впрочемъ, и прозаику. Въ «Матеріалахъ для біографіи М. Е. Салтыкова», приложенныхъ къ первому тому сочиненій покойнаго сатирика, приведены его письма къ 7—9-ти лѣтнимъ дѣтямъ, сообщенъ фактъ писанія имъ для нихъ сказокъ и не приведены, къ сожалѣнію, эти сказки. Но и писемъ достаточно, чтобы видѣть, какъ трогательно-нѣжно относился Салтыковъ къ своимъ дѣтямъ и до какой степени невозможно послышавшійся г. Фету изъ-за газетнаго листа грубый и нелѣпый отвѣтъ: «дѣтей не полагаются». А любовь Салтыкова къ дѣтямъ была еще и шире, и глубже той, кака явствуетъ изъ «Матеріаловъ для біографіи». Въ своей книжкѣ «Щедринъ», въ особенности въ главѣ «Вѣра въ будущее», я уже указалъ на ту великую роль, которую Салтыковъ отводитъ родительской любви. Для него нѣтъ драмы страшнѣе разлада между отцами и дѣтьми, нѣтъ стимула пробужденія чести и совѣсти сильнѣе родительской и сыновней любви. Согласно общей своей литературной фізіономіи, въ которой сочеталась могучая непо-

средственность, съ одной стороны, и сила неусыпно бодрствующаго сознанія—съ другой, Салтыковъ обобщалъ личное чувство кровной связи съ своими дѣтьми до обширныхъ горизонтовъ «вѣры въ будущее», предметной связи съ потомствомъ вообще. Конечно, у этой несокрушимой вѣры въ будущее были и другіе корни, и, прежде всего, энергическая, дѣятельная натура самого сатирика, черпавшая въ своей собственной силѣ увѣренность въ достижимости своихъ идеаловъ. Но несомнѣнно, что дѣти, не только свои, кровно родныя, а и чужія, дѣти вообще занимали во всемъ міросозерцаніи Салтыкова исключительно видное мѣсто, которое оправдывалось для него и непосредственнымъ чувствомъ отца, и высшими теоретическими соображеніями. Читатель благоволитъ припомнить хотя-бы только «Больное мѣсто».

Между писателями того направленія или приблизительно того, котораго держался въ своей литературной дѣятельности Салтыковъ, не рѣдкость такіе чадолубивые отцы. Потому-ли, что они тяготѣютъ мыслью и чувствомъ къ будущему, или почему-нибудь другому, но таковъ фактъ. Только что скончавшійся Николай Васильевичъ Шелгуновъ представляетъ этому разительный примѣръ. Великій евангельскій завѣтъ: «блюдите, да не презрите единого отъ малыхъ сихъ, въ нихъ-же есть царствіе небесное», былъ яркими буквами начертанъ въ его мужественной и нѣжной душѣ.

Передо мной лежитъ цѣлый ворохъ писемъ Шелгунова къ разнымъ лицамъ, въ томъ числѣ особенно много къ женѣ и дѣтямъ. Будущій біографъ найдетъ здѣсь для себя обильный матеріалъ, я-же извлеку изъ нихъ лишь нѣсколько чертъ, характеризующихъ покойнаго писателя, какъ человѣка.

Въ 1863 и 1864 годахъ, живя въ Петербургѣ въ крайне тѣсномъ, неудобномъ помѣщеніи и въ полномъ одиночествѣ, Шелгуновъ съ напряженнымъ вниманіемъ и непередаваемою нѣжностью слѣдилъ за воспитаніемъ, развитіемъ, вообще жизнью старшаго, тогда еще единственнаго сына, проживавшаго съ матерью за границей. Въ письмѣ къ женѣ отъ 16-го мая 1863 года, по поводу того, что мальчику пришлось разстаться съ своею нянькой, Шелгуновъ пишетъ: «Бѣдный мальчикъ! Большіе обыкновенно слишкомъ заносятся съ своимъ воображаемымъ практическимъ умомъ, вѣрностью взгляда, пониманіемъ жизни и т. п. названіями ихъ тупости и потому смотрятъ такъ легко на дѣтское горе. А оно, между тѣмъ, по своему существу и боли, на дѣтское сердце дѣйствуетъ, разумѣется, не меньше, чѣмъ разныя личныя потери, которыя взрослые люди зовутъ несчастіями и страданіями, потому что они касаются лично ихъ, не желая признавать того, что касается другихъ или не подходитъ подъ узкую мѣру умниковъ. Бѣдный мальчикъ испыталъ большое горе. Можетъ быть, это его первое несчастіе для него было не менѣе чувствительно, чѣмъ Наполеону I его отреченіе. А съ

другой стороны, земля не рай, и человекъ нужно приучать къ разнымъ потерямъ и несчастиямъ съ молодости, чтобы онъ могъ потомъ легче перепосить толчки жизни. А, все-таки, мнѣ жаль Мишу». Удрученный многоразличными неудобствами своего настоящаго положенія и опасеніями за будущее, Шелгуновъ, однако, неустанно держитъ въ умѣ далекаго сына и при всякомъ удобномъ, а иногда даже неудобномъ случаѣ вспоминаетъ о немъ, боится за него, старается воображеніемъ сократить раздѣляющее ихъ пространство. То ему приходитъ въ голову, что въ Швейцаріи, гдѣ живетъ его жена съ сыномъ, много мѣдянокъ, и онъ сообщаетъ въ письмѣ описаніе этой змѣи съ приложеніемъ очень тщательнаго рисунка ея характерной головы, — «портретъ врага, который гдѣ-нибудь въ-тихомолку точитъ свое жало, можетъ быть, и противъ васъ, дорогихъ для меня людей». То ему вспоминается эпизодъ изъ его заграничной поѣздки: на его глазахъ мальчикъ прищемилъ себѣ вагонною дверью пальцы, а злая и глупая нѣмка-мать его-же за это прибила. «Послѣднее, — прибавляетъ Шелгуновъ, — конечно, не, можетъ случиться съ его сыномъ», но прищемленные пальчики ребенка тревожатъ его память и воображеніе. Переводя какой-то учебникъ или популярный трактатъ по физикѣ, онъ представляетъ себѣ, что гуляетъ по комнатѣ съ сыномъ, держа его за руку и рассказывая ему о законахъ физики и т. д., и т. д. Не перечислить тѣхъ иногда совершенно неожиданныхъ поводовъ, которые наталкиваютъ Шелгунова на мысль о сынѣ. Онъ посылаетъ ему картинки, сочиняетъ для него сказки, подчасъ очень замысловатыя. Одну изъ нихъ я приведу собственно для характеристики той заботливой и до мелочей обдуманной пѣжности, съ которою покойный писатель пригибался до уровня интересовъ и пониманія трехлѣтняго сына. Сказка гласитъ, что однажды ночью «маленькій мальчикъ Миша» услышалъ у себя подъ кроваткой разговоръ. Разговаривали Мишины сапоги. Лѣвый сапогъ говоритъ: «Теперь намъ есть время, Миша легъ спать, сходимъ-ка къ его папѣ, къ комендантскому подъѣзду, можетъ, папа пришлетъ что-нибудь своему сынку. — Пойдемъ. — И вотъ сапоги вскочили и — топъ, топъ, топъ — побѣжали черезъ горы, лѣса и озера, расцѣвая во все горло Мишину пѣсню «вѣютъ вѣтры». Папа уже зналъ, что сапоги къ нему идутъ, и ждалъ ихъ у подъѣзда съ двумя дудками: въ одной былъ виноградъ, а въ другой яблоки и груши. Только что сапоги побѣжали, папа насыпалъ въ нихъ до верху, — въ одинъ виноградъ, а въ другой яблоковъ и грушъ, и говоритъ: теперь ужъ поздно, Миша скоро проснется, отдыхать вамъ некогда, идите скорѣе домой, да смотрите, не разсыпьте. — Ужъ будьте спокойны, — отвѣтили сапоги и поскакали домой такъ скоро, какъ воробьи. Скакали, скакали и какъ прискакали къ кроваткѣ Миши, то въ одномъ осталось всего пять виноградинокъ, а въ другомъ одно яблоко и одна груша, все остальное они потеряли дорогой, потому что ужъ очень торопились.

Миша, какъ проснулся, досталъ изъ сапоговъ виноградъ и яблоко съ грушей, отдалъ ихъ нянѣ и говоритъ: няня, папа прислалъ мнѣ бомбошки, возьми и спрячь, я съѣмъ ихъ послѣ обѣда. Вмѣстѣ съ бомбошками Миша нашелъ и письмо; папа ему пишетъ: милаша Миша, если ты захочешь гостинца, то, ложась спать, вели своимъ сапогамъ идти ко мнѣ и я тебѣ пришлю». Сказка этимъ оканчивается, а затѣмъ слѣдуетъ приписка къ женѣ: «а ты точно вложи чего-нибудь въ сапоги отъ меня».

Я привелъ эту сказку не ради какихъ-нибудь ея достоинствъ, — она, вѣдь, и писалась не съ претензіей на всеобщее оглашеніе, а только для того, чтобы трехлѣтній мальчикъ улыбнулся, слушая ее изъ устъ матери, да нашелъ — бы у себя въ сапогахъ гостинцы. Но это-то и интересно, особенно если вспомнить, что Шелгуновъ при этомъ не отъ избытка личнаго счастія удѣлялъ малюткѣ веселую минуту, а находился, напротивъ, въ чрезвычайно тяжелыхъ условіяхъ. Найти въ себѣ при подобныхъ обстоятельствахъ такой обильный источникъ нѣжности и внимательности къ ребенку, живущему за тридевять земель, — какъ хотите, а это не то, что «шопоть, робкое дыханье, трели соловья». А, вѣдь, закрывшись газетой, можно-бы было и насчетъ Шелгунова ошибиться и приписать ему грубыя и недѣльные слова: «дѣтей не полагается»...

Еще болѣею нѣжностью и внимательностью Шелгунова пользовался его второй сынъ, Николай. И немудрено: первые годы своей жизни, чуть не съ самаго рожденія, онъ находился на исключительно личномъ попеченіи Николая Васильевича, хотя впоследствии имъ не часто приходилось быть вмѣстѣ. Давнишняя и близкая знакомая Шелгунова, О. Н. Попова, живущая по дѣтамъ въ томъ самомъ селѣ Воробьевѣ, Смоленской губ., гдѣ жилъ и Шелгуновъ передъ послѣднимъ своимъ прїездомъ въ Петербургъ, пишетъ мнѣ слѣдующее, между прочимъ: «Ушла съ головой въ чтеніе бумагъ, оставшихся послѣ Николая Васильевича. Письма его къ Колѣ—это цѣлое море нѣжныхъ чувствъ, чувствъ матери и отца, цѣлая программа поведенія. Вновь переживаешь съ нимъ его терзанія послѣднихъ годовъ и, кажется, любишь, уважаешь и удивляешься ему больше еще, чѣмъ при жизни... Трогательна тетрадь, въ которую внесена исторія развитія Коли-ребенка». Я могу себѣ представить, какова эта тетрадь, потому что и у меня есть подъ руками коллекція писемъ Шелгунова къ женѣ, въ которыхъ дается отчетъ чуть не въ каждомъ шагѣ ребенка, и затѣмъ писемъ къ этому самому сыну, писанныхъ въ разное время.

Какъ и Щедринъ, Шелгуновъ не ограничивалъ, однако, своихъ симпатій къ дѣтскому міру кругомъ своей семьи. Его письма 1863—64 гг. къ женѣ содержатъ въ себѣ много плановъ разныхъ изданій для дѣтей. Онъ самъ собирался писать сказки для дѣтей, имѣя при этомъ въ

виду построить их на основѣ русскихъ народныхъ сказокъ. Привести этотъ планъ въ исполненіе ему не удалось, вслѣдствіе сложныхъ и смутныхъ обстоятельствъ его жизни. Но плодомъ его интереса къ педагогическимъ вопросамъ и личныхъ его наблюденій и опытовъ явились впоследствии «Письма о воспитаніи». Затѣмъ, какъ опять-же у Щедрина, представленіе собственно о дѣтяхъ примыкало у Шелгунова къ представленію о грядущихъ въ жизнь поколѣніяхъ вообще, о потомствѣ, какъ о наследникѣ нашихъ мыслей, чувствъ и дѣлъ. Читатели «Русской Мысли» конечно, хорошо помнятъ тѣ его «Очерки русской жизни», въ которыхъ такъ горячо и убѣдительно трактовался вопросъ объ «отцахъ» и «дѣтяхъ». Сообразно условіямъ времени, вѣрося этотъ поставленъ здѣсь совѣмъ не такъ, какъ въ «Большомъ мѣстѣ», «Господахъ Молчаливыхъ» и т. д. у Салтыкова.

Надо, можетъ быть, оговориться. Ставя имена Салтыкова и Шелгунова рядомъ, я, разумѣется, ни одной минуты не имѣю въ мысли сравнивать ихъ, какъ таланты. Салтыковъ былъ первоклассный писатель съ огромнымъ, совершенно изъ ряда выходящимъ талантомъ, Шелгуновъ—скромный журнальный труженикъ, хотя и занимавшій одно изъ видныхъ мѣстъ въ рядахъ этихъ тружениковъ. Понятно, однако, что это не мѣшаетъ сопоставлять ихъ съ точки зрѣнія ихъ отношеній къ вещамъ и идеямъ. Въ «Большомъ мѣстѣ», въ «Господахъ Молчаливыхъ» изображена, по выраженію самого Салтыкова, «заправская русская драма, настоящая, духъ захватывающая». Драма состоитъ въ томъ, что «отцы» и «дѣти», не въ фигуральномъ смыслѣ этихъ словъ, а настоящіе, кровные отцы и дѣти, притомъ, связанные между собою узами нѣжной любви, совершенно расходятся въ пониманіи цѣлей и путей жизни. Какъ курица, высидѣвшая утятъ, тревожно бѣгаетъ по берегу и жалобно кудахтаетъ, слѣдя за страннымъ и отчаяннымъ, но ея мнѣнію, поведеніемъ своихъ дѣтищъ, лѣзущихъ въ воду, такъ и «трезвенные» Разумовъ и Молчалинъ мучительно тревожатся за своихъ дѣтей. Сатирикъ занялъ совершенно оригинальное положеніе въ виду этого столкновенія отцовъ и дѣтей. Въ идейномъ смыслѣ онъ цѣлкомъ стоитъ на сторонѣ дѣтей, а вся жизнь стариковъ Разумова и Молчалина представляется ему сплошнымъ бессознательнымъ злодѣйствомъ. Но, согласно его высокому понятію о силѣ и значеніи родительской любви, ему жаль курицу, высидѣвшую утятъ, болитъ за нее его сердце, и отсюда драма. Въ «Очеркахъ русской жизни» Шелгунова столкновеніе отцовъ и дѣтей взято съ другой и въ нѣкоторомъ смыслѣ даже противоположной стороны, не говоря уже, конечно, о разницѣ въ формѣ. Во-первыхъ, «отцы» и «дѣти» разумѣются у Шелгунова въ ипосказательномъ смыслѣ, безъ отношенія къ кровному родству, а во-вторыхъ, столкновеніе ихъ занимаетъ автора исключительно въ литературной сферѣ. При этомъ представителями «трезвеннаго» элемента являются не «отцы», а «дѣти»,

или «новое литературное поколѣніе», какъ сами себя величали, главнымъ образомъ, критики и публицисты «Недѣли. Этотъ ничѣмъ не оправдываемый отказъ отъ наслѣдства, это пренебрежительное, высокомерное, вообще отрицательное отношеніе «дѣтей» къ лучшимъ завѣтамъ «отцовъ» глубоко огорчало Николая Васильевича, и еще въ послѣдней, можно сказать, уже на одрѣ смерти написанной статьѣ онъ не добромъ помянулъ его. Сюда, къ этому своего рода тоже «большому мѣсту», была направлена его послѣдняя, предсмертная мысль.

Все вышесказанное кажется мнѣ поучительнымъ вотъ въ какомъ отношеніи. Въ основѣ своей родительская любовь есть инстинктъ, общій человѣку со всеми животными. У человѣка, пожалуй, этотъ инстинктъ бываетъ иногда даже слабѣе, чѣмъ у нѣкоторыхъ животныхъ. Человѣческая природа допускаетъ паденіе далеко ниже уровня животнаго инстинкта, вслѣдствіе чего мы и видимъ вокругъ себя такую массу злодѣйствъ, невозможныхъ въ животномъ мѣрѣ. Но зато человѣку доступенъ и высшій подъемъ, одухотвореніе инстинкта. Много званыхъ на это пиршество духа, но мало избранныхъ. Большинство лишь немногимъ поднимается, и то не всегда, надъ уровнемъ животнаго инстинкта, и лишь избранные, сохраняя всю непосредственную, наивную, бессознательную свѣжесть и цѣльность инстинкта родительской любви, въ то-же время, углубляютъ и расширяютъ сферу своихъ симпатій силою сознанія. Ихъ дѣти для нихъ не просто плоть отъ плоти и кровь отъ крови ихъ. Это само собой. Но, въ то-же время, изъ этой гдлой физиологіи, а иногда даже безъ нея, разрастается сложная и глубокая психологія, захватывающая своими развѣтвленіями даже отдаленное потомство, а въ настоящемъ обнимающая все молодое, всѣ ростки жизни, «въ нихъ-же царствіе небесное». Передать этимъ новымъ росткамъ жизни все передуманное, пережитое, выстраданное, передать для дальнѣйшаго приращенія, расчистить имъ путь къ добру и правдѣ, увидѣть въ нихъ и черезъ нихъ осуществленіе своихъ собственныхъ идеаловъ—такова мечта и забота людей, о которыхъ я говорю. Такіе люди могутъ обладать большими или малыми талантами, могутъ даже владѣть или не владѣть секретомъ практическаго педагогическаго такта, но они, во всякомъ случаѣ, люди-маяки, на общій строй мыслей которыхъ можно смѣло положиться, какъ на руководящее начало. Такими людьми-маяками были Салтыковъ и Шелгуновъ.

Маленькая отрицательная иллюстрація.

Училищный совѣтъ святѣйшаго синода издалъ циркуляръ по вопросу о наказаніяхъ въ церковно-приходскихъ школахъ. Циркуляръ рекомендуетъ учителямъ церковно-приходскихъ школъ умѣренность и гуманность въ дѣлѣ наложенія взысканій съ учениковъ. Казалось-бы, что можетъ быть проще, естественнѣе, законнѣе? И что, кромѣ сочувствія и благодарности, могла-бы выразить по этому поводу литература?

Но въ нашей современной литературѣ подчасъ такое дѣлается, что серьезно думаешь, не въ сумасшедшій-ли домъ попалъ? не безнадежно-ли больные говорятъ вокругъ тебя безумныя злобныя рѣчи, кощунствуя подъ видомъ благочестія и злобствуя съ миною ханжей? «Гражданинъ», издревле припавшій на себя роль эксперта, призваннаго контролировать дѣйствія духовныхъ властей и желающій и на этомъ поприщѣ блистать «консерватизмомъ», разразился по поводу упомянутаго циркуляра громоздною статью. Тутъ и «лжепрогрессъ», и «лжегуманность», и все прочіе трагикомическіе сапоги въ смятку. Тутъ даже «отзвукъ гордой атеистической мысли», вычитанный благочестивымъ кн. Мещерскимъ «въ томъ мѣстѣ циркуляра, который называетъ стояніе на колѣняхъ униженнымъ истязаніемъ». Тутъ, наконецъ, и клевета на христіанство, потому что сорвавшаяся съ цѣпи газета получаетъ училищный совѣтъ святѣйшаго синода, между прочимъ, такъ: «Наказаніе въ школахъ, примѣняемое къ дѣтямъ, есть, по вѣковымъ преданіямъ христіанскаго ученія о воспитаніи, такое возмездіе провинившемуся дитяти, которое должно ему причинять или тѣлесную боль, или нравственное униженіе». Если спросить почтенную газету, гдѣ именно сдѣланы въ христіанскомъ ученіи подобныя указанія, то она очутится въ большемъ затрудненіи, ибо ничего такого христіанство не проповѣдуетъ и никогда не проповѣдовало. Христосъ лишь благословлялъ дѣтей, и трогательный евангельскій разговоръ объ этомъ эпизодѣ не разъ вдохновлялъ художниковъ, проникнутыхъ христіанствомъ.

Какой-же смыслъ въ дикой выходкѣ «Гражданина»? Смысла въ безсмыслии искать все равно, что рѣшетомъ воду носить. Но можно найти сдѣленіе побужденій, приведшее къ сдѣленію словъ. Кн. Мещерскаго оскорбляютъ «много лѣтъ твердившіяся глупости о вредѣ и безнравственности тѣлесныхъ наказаній, о какомъ-то для школы долгѣ вѣдать какое-то человѣческое достоинство и какую-то гражданскую личность въ каждомъ школьникѣ и тому подобныя нелѣпости, проповѣдывавшіяся нигилистами и либералами, разумѣется, не изъ любви къ юношеству, а изъ желанія сдѣлать школу средствомъ скорѣйшаго развѣтыванія государственнаго строя». Вотъ. Кн. Мещерскій, равно какъ и пѣкаторы другіе наши «консерваторы», составилъ себѣ о консерватизмѣ понятіе, не имѣющее ничего общаго ни съ этимологическимъ значеніемъ этого слова, ни съ общепринятымъ его политическимъ значеніемъ, ни, наконецъ, съ простымъ здравымъ смысломъ. Понятіе это составилось частью изъ элементовъ, полученныхъ отъ болѣе крупныхъ литературныхъ предшественниковъ, частью изъ элементовъ чисто отрицательныхъ. «Гражданинъ» собственно никакого опредѣленнаго политическаго образа мыслей не имѣетъ, несмотря на аляповатую яркость своихъ красокъ. Онъ, прежде всего, старается, — старается проникнуть въ мысли «либераловъ и нигилистовъ», старается оппониро-

вать имъ-в-что-быто нистало, quand même, старается заскочить въ этомъ направленіи какъ можно дальше, если возможно, дальше далекаго. Поэтому-то онъ и радъ случаю уличить въ либерализмъ и нигилизмъ, въ «лжепрогрессъ» и «лжегуманности» даже училищный совѣтъ святѣйшаго синода. При такой программѣ не до здраваго смысла, а лишь-бы попокаптыѣ, да покруче вышло. Конечно, не всегда старанія «Гражданина» увѣнчиваются желаннымъ успѣхомъ, потому что для этого нужно еще кое-что, кромѣ стараній, чего въ распоряженіи почтенной газеты нѣтъ. Имѣя усердіе не по разуму, «Гражданинъ» нерѣдко бываетъ вынужденъ выслушивать рѣзкія и непріятныя отвѣды изъ компетентныхъ сферъ, какую онъ, напримѣръ, въ 1890-омъ году получилъ отъ покойнаго архіепископа Никанора. Но онъ продолжаетъ стараться, и въ результатѣ—порка дѣтей, какъ составная часть христіанскаго ученія и консервативной политической программы. «Гражданину» дѣла нѣтъ до того, что гуманное обращеніе съ дѣтьми и воспитаніе въ нихъ человѣческаго достоинства не либералы съ нигилистами выдумали, что принципы эти установлены цѣлымъ рядомъ европейскихъ педагогическихъ авторитетовъ. Онъ только старается, цѣпляя слова къ словамъ.

«Гражданинъ» есть явленіе завѣдомо патологическое, а потому собственно о немъ можно-бы и совсѣмъ не говорить. Но межа, отдѣляющая болѣзнь отъ здоровья, не всегда уловима, и въ безумныхъ рѣчахъ «Гражданина» иногда лишь до уродливости преувеличивается то, что въ нѣкоторыхъ общественныхъ и литературныхъ сферахъ составляетъ почти ходячую монету. Сюда относится, между прочимъ, и предположеніе, что «либералы и нигилисты» такъ-то и такъ-то относятся къ молодымъ росткамъ жизни, «разумѣется, не изъ любви къ юношеству», а ради «скорѣйшаго развѣтвленія государственнаго строя». Кто такіе эти либералы и нигилисты, по какимъ примѣтамъ ихъ узнать можно и въ чемъ состоитъ то развѣтвленіе государственнаго строя, котораго добиваются обвиняемые,—не спрашивайте, потому что, вѣдь, вотъ и члены училищнаго совѣта святѣйшаго синода въ нигилисты и либералы попали. Казалось-бы, чѣмъ тяжелѣе обвиненіе, тѣмъ осмотрительнѣе надлежитъ его предъявлять. Казалось-бы, приведенное обвиненіе по вопросу о дѣтяхъ и «дѣтяхъ» столь тяжело, что надо, какъ говорить пословица, семь разъ отмѣрить, прежде чѣмъ этакое отрѣзать. Въ самомъ дѣлѣ, что можетъ быть недостойнѣе корыстнаго выѣзжанія на спинахъ юношества подъ видомъ любви къ нему? Однако, сложилась легенда, утверждающая именно это. Легенда слѣпа и глуха. Она повторяетъ себя безъ устали, не пытаясь провѣрить свои источники, не слушая никакихъ объясненій и возраженій. Она неслышною поступью проникаетъ всюду, индѣ осѣдая такъ прочно, что ее потомъ уже ничѣмъ не выкуришь, индѣ оставляя хотя легкій слѣдъ въ видѣ

подозрѣнія. Вотъ почему я пользуюсь случаемъ вывести на бѣлый свѣтъ вышеприведенныя маленькія подробности изъ жизни Салтыкова и Шелгунова. Маленькія онѣ, но въ данномъ случаѣ много говорящія. Шелгуновъ съ ужасомъ вспоминалъ о жестокихъ истязаніяхъ дѣтей, практиковавшихся въ то «страшное доброе старое время», когда ему приходилось учиться, и въ «Письмахъ о воспитаніи» развивалъ взгляды, не имѣющіе ничего общаго съ педагогическою теоріей кн. Менцера. Салтыковъ въ «Пошехонскоѣ старинѣ» тоже не добромъ поминалъ порку и нравственныя униженія, а изобрѣтенныя въ началѣ восьмидесятыхъ годовъ какимъ-то Кунцомъ усовершенствованныя кушетки для сѣченія выводили сатирика изъ себя. Легенда, очевидно, должна захватить обоихъ писателей, какъ за эти проявленія «лжепрогресса» и «лжегуманности», такъ и за многое другое въ ихъ отношеніяхъ къ молодежи. Они «разумѣтся» не «любовью къ юношеству» руководились... Такъ пате - же, смотрите, фабриканты легендъ! Смотрите на этихъ людей, переполненныхъ родительскою любовью, урывающихъ у своихъ нерадостныхъ дней и безсонныхъ почей время для детальнѣйшихъ и пѣвнѣйшихъ заботъ объ урокахъ дѣтей, объ ихъ забавахъ, о грозящихъ имъ опасностяхъ, и не расстающихся ни при какой обстановкѣ съ мыслью о дѣтяхъ. Смотрите и берегите свои шапки: это зрѣлище столь высокое, и для усмотрѣнія его вамъ, малорослымъ, придется такъ задрать головы, что шапки все равно слетятъ съ нихъ, хотя-бы вы и не желали воздать этимъ людямъ должное почтительнымъ поклономъ... Уже само по себѣ любовное приклоненіе обремененныхъ дѣлами, удрученныхъ обстоятельствомъ молодыхъ людей до уровня пониманія и интересовъ дѣтей составляетъ трогательное зрѣлище. Когда я, въ статьѣ «Матеріалы для литературнаго портрета М. Е. Салтыкова», привелъ для образчика одно изъ его «прелестныхъ» (такъ я выразился) писемъ къ дѣтямъ, то нѣкоторые жестоковѣйные читатели обратили особенное вниманіе на слѣдующее мѣсто: «А еще доношу, что сегодня Арапка (канарейка), когда я вошелъ въ игральную, съѣлъ сначала мнѣ на плечо, а потомъ забрался на голову, и не успѣлъ я оглянуться, какъ онъ уже сходилъ... Вотъ такъ сюрпризъ!» Жестоковѣйные читатели (и писатели) пожимали по этому поводу плечами и съ презрительною кроніей спрашивали: что-же тутъ «прелестнаго» въ томъ, что канарейка невѣжество съѣдала?! Тѣхъ, кто способенъ увидать во всемъ этомъ истинно прелестномъ письмѣ только канареечье невѣжество, конечно, ничѣмъ не проймешь! Тутъ, стало быть, имъ и мѣсто, въ канареечьемъ невѣествѣ А я, — и не одинъ я, разумѣтся, — продолжаю любоваться этимъ образомъ суроваго сатирика, къ гнѣвнымъ рѣчамъ котораго прислушивается вся читающая Россія и который, въ то-же время, озабоченъ мыслью вызвать улыбку на дорогихъ ему личикахъ 9-ти-лѣтняго сына и 7-ми-лѣтней дочери. Но этого ма-

ло. Не голый инстинкт чадолюбия руководит людьми - маяками. Не помню, привел-ли я в книжке о Щедриной слѣдующую черту. При разговорѣ о какихъ - нибудь дурныхъ людяхъ мнѣ не разъ случалось слышать отъ него вопросъ: «да развѣ у него нѣтъ дѣтей?» Это значило, что, по наивной, но, вмѣстѣ съ тѣмъ, и глубокой мысли сатирика, самый фактъ существованія дѣтей, «малыхъ сихъ», въ которыхъ должно повториться наше собственное существованіе и которымъ мы должны оставить незапятнанное имя, самый этотъ фактъ долженъ - бы воздерживать людей отъ подлостей. А съ другой стороны, припомните знаменитый конецъ сказки «Пропала совѣсть». Совѣсть, послѣ долгихъ мытарствъ, попадаетъ въ сердце «маленькаго русскаго дитяти»: «И будетъ маленькое дитя большимъ человѣкомъ, и будетъ въ немъ большая совѣсть. И печезнуть тогда все неправды, коварства и насилія, потому что совѣсть будетъ не робкая и захочетъ распорядиться всею сама». Пусть это фантазія, мечта, которой еще долго предстоитъ передаваться отъ поколѣнія къ поколѣнію. Но вы видите, во всякомъ случаѣ, что между родителями и дѣтьми, въ мысли Салтыкова, существуетъ взаимодѣйствіе, въ которомъ животный инстинктъ кровной связи одухотворяется и расширяется въ историческую перспективу. И фабриканты легендъ хотятъ насъ увѣрить, что подобные люди симулируютъ любовь къ юности... Безстыдники! Кто такъ понимаетъ родительскую любовь, что трагически скрасилъ ея даже безсознательныхъ злодѣевъ Разумова и Молчалина, кто такъ терзался за своего сына, какъ Шелгуновъ, тѣмъ можно повѣрить. Это воистину люди - маяки. Сильное непосредственное чувство играетъ въ нихъ роль якоря или фундамента въ житейскомъ грунтѣ, а на этомъ фундаментѣ высятся зданіе, увѣнчанное озаряющимъ даль путеводнымъ свѣтомъ сознанія.

VII.

О писателяхъ того лагеря, къ которому принадлежали оба вышеупомянутые покойника, вообще много легендъ ходитъ, самыхъ фантастическихъ, и меня всегда занималъ вопросъ: откуда онѣ берутся? Какъ слагаются? Такъ, однако, я этого вопроса и не рѣшилъ. Не понимаю. Дѣло въ томъ, что здѣсь мало общей механики клеветы и сплетни. Ей, вѣдь, подлежитъ лишь частная жизнь писателя, и хотя это, конечно, обширное поприще для любителей, но затѣмъ остается еще публичная, литературная дѣятельность, часто поглощающая всею чловѣка, такъ что у него и частной-то жизни никакой нѣтъ. А литературная дѣятельность есть нѣчто открытое, громогласное, нѣчто такое, къ чему всякій Ѳома можетъ съ полнымъ удобствомъ приложить свои

персты. Казалось-бы, эта очевидность и громогласность должны хотя отчасти парализовать возникновение и распространение фантастических легенд. А вот подите-же! Брякнетъ какой-нибудь кн. Мещерскій о симуляціи любви къ юношеству, поддержитъ какой-нибудь г. Феть удивительнымъ сообщеніемъ о томъ, что «дѣтей не полагается», прибавитъ что-нибудь съ большой головы на здоровую, а тамъ—чѣмъ дальше въ лѣсъ, тѣмъ больше дровъ: снѣжный комъ растетъ, растетъ, и превращается, наконецъ, въ страшную лавину, которую уже ничѣмъ удержать нельзя и которая не задумается (на то, вѣдь, она и лавина, чтобы не задумываться) раздавить человѣка и даже цѣлую группу людей.

Между прочимъ, извѣстная часть нашей литературы, та именно, которая совершенно неосновательно приписываетъ себѣ наименованіе «консервативной», часто уличаетъ своихъ противниковъ въ нетерпимости. Юмористическіе образчики собственной терпимости господъ обвинителей столь многочисленны, столь многообразны и столь переполняютъ литературу втеченіе многихъ лѣтъ даже до сего дня, что я не считаю нужнымъ распространяться объ этихъ больныхъ головахъ. Но откуда взялись и чѣмъ поддерживаются обвиненія противъ здоровыхъ головъ?

Та самая нянька, разставаніе съ которой причинило, по мнѣнію Шелгунова, его малюткѣ-сыну столько-же горя, сколько Наполеону I отреченіе отъ престола, пожелала соблюдать за границей постъ, чѣмъ, вѣроятно, вызвала какія-нибудь насмѣшки или нареканія. Шелгуновъ писалъ по этому случаю женѣ: «Ѣню считаю молодцомъ, что она не отстаётъ отъ обычаевъ и правилъ, которые считаетъ хорошими; это не то, что тѣ наши либералишки, которые вчера—крѣпостникъ, а сегодня—ярый якобинецъ, вчера революціонеръ, а позавтра—сикофантъ. Эти люди—несчастіе всякой страны, и потому, разумѣется, нужно цѣнить такихъ людей, какъ Ѣня. Пусть соблюдаетъ постъ—хорошо, но только чтобы она не слишкомъ отоцала, пожалуй, захвораетъ. Кланяйся ей».

Это мѣсто письма очень характерно не только лично для Шелгунова, но и для всѣхъ представителей литературы приблизительно одного съ нимъ направленія. Согласно этому взгляду, люди искреннихъ убѣжденій, въ чемъ-бы эти ихъ убѣжденія ни состояли, заслуживаютъ бережнаго и почтительнаго къ себѣ отношенія. И чѣмъ опредѣленнѣе, настойчивѣе, ярче выражаются эти искреннія убѣжденія, тѣмъ лучше. Съ ложными убѣжденіями можно и должно бороться, но какъ-бы ни была горяча борьба, личности носителей убѣжденій остаются почтенными, если только они въ самомъ дѣлѣ искренни и если, само собою разумѣется, убѣжденіе ихъ не въ томъ состоитъ, чтобы заставлять молчать другихъ. «Живи и жить давай другимъ», а тамъ уже логика, знаніе и сама жизнь рѣшаютъ споръ. Презрѣнны не какія-бы то ни

было убѣжденія сами по себѣ, а, напротивъ, ихъ отсутствіе, ихъ легковѣсность, ихъ подмѣнъ лицемѣрными и корыстными суррогатами. Одно и то-же мнѣніе можетъ быть выражено и убѣжденнымъ человѣкомъ, и, какъ презрительно говоритъ Шелгуновъ, «либералишкой, который вчера—революціонеръ, а назавтра—сикофантъ». И всегда будетъ разница въ нашихъ отношеніяхъ къ этимъ двумъ сортамъ людей, совсѣмъ независимо отъ самаго содержанія выраженного ими мнѣнія или совершеннаго ими поступка. Каково-бы ни было мое личное мнѣніе о постахъ, но Оеия, соблюдающая ихъ при самыхъ неудобныхъ условіяхъ, единственно потому, что таково ея убѣжденіе, во всякомъ случаѣ, достойна уваженія, а человѣкъ, который вздумаетъ поститься для того, напри- мѣръ, чтобы зарекомендовать себя съ выгодной стороны передъ начальствомъ (это бываетъ), никакого уваженія не достоинъ. Лицемѣрный или легковѣсный другъ всегда хуже честнаго врага. Хуже и опаснѣе потому, что въ немъ всегда сидитъ зародышъ предательства, и въ сношеніяхъ съ нимъ, иногда неизбѣжныхъ,—потому что, вѣдь, онъ вашъ единомышленникъ, по крайней мѣрѣ, сегодня!—всегда нужно держать камень за пазухой, что вовсе непріятно. Честный врагъ можетъ быть очень грозенъ своими талантами или знаніями, вообще своими большими силами, направленными, по вашему убѣжденію, въ дурную сторону, но онъ не готовитъ вамъ сюрпризовъ въ видѣ подлой измѣны или предательскаго удара изъ-за угла. Онъ знаетъ цѣну убѣжденія, какъ такового, и, стоя на своемъ, умѣетъ уважать и чужое. Понятно, что нравственно-низменный врагъ, не разбирающій средствъ борьбы, хуже и лицемѣрнаго или легковѣснаго друга, и честнаго врага. Ни самъ онъ не заслуживаетъ уваженія, ни къ другимъ не умѣетъ его питать. Онъ даже не имѣетъ понятія о томъ, что такое искреннее убѣжденіе, и съ наивною тупостью вѣритъ, что душу человѣческую, какъ и все на свѣтѣ, можно купить златомъ или взять булатомъ. Естественно, что онъ можетъ возбуждать только негодованіе, и вотъ это-то вполне естественное и законное негодованіе легенда обзываетъ петеримистією.

Шелгунову не разъ и не два приходилось очутиться въ исключительно трудныхъ обстоятельствахъ. Случалось ему быть накануне полнаго отчаянія, того отчаянія, при которомъ люди вѣшаются и стрѣляются или, по крайней мѣрѣ, безсильно складываютъ руки, предоставляя волнѣ событій разбить себя въ дребезги и нести эти дребезги куда она сама знаетъ. Но дальше кануна смущеніе не шло. Въ письмахъ его—и самыхъ раннихъ, и самыхъ позднихъ—часто попадаются чьи-то неуклюжіе стихи, прельщавшіе его ужь, конечно, не своимъ художественнымъ достоинствомъ: «Безумный плачетъ лишь отъ бѣдства, а умный ищетъ средства, какъ дѣломъ горю нособить». И вотъ образчики.

Въ концѣ 1863 г., находясь въ Петербургѣ, но въ исключительныхъ условіяхъ и будучи въ полной неизвѣстности относительно своего будущаго, Шелгуновъ пишетъ женѣ: «Перекры (должно быть, банкиры) хотятъ издавать энциклопедію въ 200 томахъ; каждый будетъ написанъ извѣстнымъ ученымъ. Если это не утка, то хорошо - бы тебѣ взяться за переводъ и изданіе этой энциклопедіи по-русски, или сговориться съ кѣмъ-нибудь. Дѣла на 10 лѣтъ... Теперь просьба: выучись у Ганца фотографіи теоретически и практически... Я думаю, Ганцъ согласится и не возьметъ дорого. Это—во-первыхъ. А во-вторыхъ: такъ какъ Швейцарія славится своими кондитерскими, то научись дѣлать пирожное, конфеты и разныя печенья, а также и булочному дѣлу. И затѣмъ всѣ эти искусства: кондитерское, булочное и фотографію передай мнѣ,—это будетъ намъ кусокъ хлѣба, гдѣ-бы мы, т.-е. собственно я, ни жили. Я прошу объ этомъ *весьма серьезно* (подчеркнуто въ подлинникѣ), пожалуйста, отвѣть».

Въ 1866 г., проживая въ городѣ Никольскѣ, Вологодской губ., Шелгуновъ пишетъ женѣ: «Что «Русское Слово» существовать не будетъ, я въ этомъ увѣренъ. Литературное дѣло, которое я сначала такъ любилъ, начинаетъ мнѣ теперь противѣть. Я бы съ удовольствіемъ промѣнялъ его на такое занятіе, гдѣ видишь, что дѣлаешь, и будь я въ большомъ городѣ, я постарался-бы приискать что-нибудь. Въ Никольскѣ нельзя найти никакого дѣла... Совѣтъ М. Ѳ. неосуществимъ: я не могу писать больше ни по лѣсоводству, ни по технологии, ибо я сказалъ все, что зналъ, и новаго больше ничего сказать не могу. На повторенія-же, особенно когда они никому не нужны, не поднимается рука. Однимъ словомъ, моя лѣсоводственная литературная дѣятельность кончилась и воскреснуть ей невозможно. Всякой вещи свое время». Когда въ томъ-же 1866 г. предсказаніе Шелгунова исполнилось, и «Русское Слово» было закрыто, онъ писалъ: «Предлагая мнѣ обратиться къ Краевскому, ты, должно быть, смѣяешься надо мной. Ужъ лучше я пойду служить. Я писалъ тебѣ свою программу. Самое пріятное было-бы бросить журнальную работу и приняться за какое-нибудь занятіе распорядительнаго характера. Въ Петербургѣ ты можешь это сообразить, уладить и устроить». Въ другомъ письмѣ: «Такъ какъ жизнь вышибла меня изъ колеи, то нужно мнѣ опять создать себѣ дорогу, опять взобраться на гору и подготовить тебѣ и себѣ спокойную старость, а Колѣ и Мишѣ дать образованіе. Вступилъ я было на литературный путь и даже утвердился на немъ, такъ что если-бы не было помѣхъ, можно-бы идти и устраивать свое будущее. Но и съ этого пути обстоятельства сбили меня. Нужно покинуть журнальное поприще. И такъ, съ двухъ путей я уже сбитъ—служба и журналистика. Куда идти, гдѣ искать и пробовать еще? вотъ-бы чѣмъ я могъ быть и готовъ хоть сейчасъ: я бы съ великой охотой занялъ экономическую статистику Россіи, ибо въ

сей моментъ наша экономическая (финансовая, торговая, промышленная), внутренняя и внѣшняя политика страдаетъ больше всего отъ недостатка точнаго знанія современныхъ экономическихъ условій страны. И я полагаю, что дѣльный, обширный трудъ, на которой-бы я охотно посвятилъ 5 лѣтъ, былъ-бы дѣйствительно полезенъ и даль-бы мнѣ имя въ ученой литературѣ. Къ подобной работѣ я совершенно подготовленъ всею предъидущею дѣятельностью. Но вотъ въ чемъ помѣха. Заняться такимъ дѣломъ можно только въ центральномъ статистическомъ комитетѣ м. в. д., а меня туда не возьмутъ. Учиться медицинѣ и стать докторомъ не дурно; въ 2 года можно усѣсть; но нужно эти 2 года чѣмъ-нибудь жить. А какъ пойдетъ потомъ практика? Этотъ путь наиболѣе скользкій и невѣрный. Есть еще одна дорога: служить по акцизу у Грота. Думаю, что новыхъ доказательствъ моихъ служебныхъ способностей и честности мнѣ представлять не нужно. Что же касается моего общаго и политическаго мнровоззрѣнiя, то я думаю, что при опредѣленiи крѣпости спирта и учетѣ винокуренныхъ заводовъ мнровоззрѣнiе не играетъ никакой роли и никому оно не нужно. Если придумаешь болѣе вѣрное и лучшее, упоаючиваю тебя дѣйствовать за меня». Въ концѣ все того-же 1866 г. Благосвѣтловъ затѣялъ новый журналъ «Дѣло», и Шелгуновъ опять оживился, но цензура относилась на первыхъ порахъ къ новому журналу съ чрезвычайною строгостью. 20-го сентября Шелгуновъ пишетъ: «Мои статьи, которые пробовали провести въ книжку, пропало на 600 цѣлковыхъ. Съ этимъ-бы я еще помирился. Но у меня пропало время. Я рассчитывалъ, что напишу еще три статьи, и тогда на весь нынѣшнiй годъ комплектъ статей выполненъ и я могу заняться мѣсяць или два другой работой, а, между прочимъ, и Шлоссеромъ (переводомъ). Теперь начинаю снова. Лучше-бы я провалился все время на диванѣ, задравъ ноги въ потолокъ, — по крайней мѣрѣ, отдохнулъ-бы. Вѣдь, это камень Сизифа. Я не плачу и не охаю, потому что «безумный плачетъ лишь отъ бѣдства, а умный ищетъ средства, какъ дѣломъ горю пособить». Но нахожу, что такой порядокъ жизни глупъ, и нельзя-же тратить свои силы безъ всякаго полезнаго результата. Я знаю, что сообразить все и выйти на дорогу — дѣло трудное; но знаю также, что тому, кто въ Петербургѣ, дѣло это легче, чѣмъ тому, кто въ Никольскѣ».

Въ январѣ 1876 г. Шелгуновъ, между прочимъ, пишетъ М. К. Цибриковой изъ Выборга: «Есть еще огорчающее обстоятельство чисто-денежнаго свойства: хозяинъ обижаетъ въ расчетѣ. Тяжело было мнѣ сказать это! Прежде, еще два года назадъ, даже годъ назадъ, языкъ не повернулся-бы на такой цинизмъ; мы были носители священнаго огня, теперь-же мы подешники и батраки. Душа вся выворачивается, — такъ обидно».

Въ июнѣ 1884 г., изъ Парголова — сыну: «Самое скверное, что у меня

ни гроша и до сихъ поръ я еще не получалъ гонорара за майскую книжку. Скверно это потому, что мнѣ не па что уѣхать; а уѣхать я рѣшилъ на мельницу, ибо не ходить-же по улицамъ и протягивать руку. Въ Петербургѣ мнѣ мѣста нѣтъ и дѣлать нечего. Начну молоть муку, разводять пчелъ да сажать капусту. Огорчатся всемъ этимъ нечего, ибо каждому человѣку наступаетъ въ жизни пора отставки. Ну, и въ нынѣшнемъ 1884 году наступаетъ моею журнальной службѣ ровно 25 лѣтъ. Все это, какъ видишь, въ порядкѣ вещей и даже по закону».

Какъ извѣстно, вскорѣ послѣ этого Шелгуновъ сталъ постоянно работать въ «Русской Мысли», и «пора отставки» наступила для него лишь въ день смерти. Мнѣ кажется, что этими немногими выписками изъ писемъ за значительный промежутокъ времени (1863—1884 г.) хорошо характеризуется образъ только что скончавшагося писателя. По въ поясненіе, для незнающихъ или не обратившихъ вниманія на подробности газетныхъ некрологовъ, не мѣшаетъ, можетъ быть, прибавить, что Шелгуновъ родился въ 1824 г. и воспитывался въ лѣсномъ институтѣ, въ которомъ впоследствии былъ выдающимся профессоромъ. Его спеціальныя сочиненія: «Лѣсоводство для частныхъ владѣльцевъ», «Исторія русскаго лѣснаго законодательства», «Лѣсная технологія» и разныя мелкія статьи въ свое время высоко цѣнились свѣдущими людьми. Такимъ образомъ, предлагавшееся ему кѣмъ-то возвращеніе па путь учено-технической лѣсной литературы гарантировало ему кусокъ хлѣба, успѣхъ и почетъ, но онъ не хотѣлъ и думать объ этомъ. Онъ готовъ былъ стать кондитеромъ, булочникомъ, фотографомъ, акцизнымъ чиновникомъ, статистикомъ, готовъ былъ въ сорокъ слишкомъ лѣтъ приняться за изученіе медицины, — словомъ, не боялся никакого честнаго труда и никакимъ не брезгалъ (мимоходомъ сказать, онъ былъ недурнымъ столяромъ и любилъ это дѣло). Но къ труду литературному онъ относился съ особенными требованіями, которыя нынѣ многими признаются чрезмѣрными, свидѣтельствующими о нетерпимости. Литература была для него, какъ и всякій трудъ, ремесло, но не только ремесло. Онъ пошелъ-бы, можетъ быть, къ Краевскому въ копторщники, какъ сталъ-бы снимать въ своей фотографіи портреты съ Краевскаго и его сотрудниковъ, или печь для нихъ булки въ своей булочной, или доставлять имъ капусту изъ своего огорода; но предложеніе писать у Краевскаго оскорбляетъ его, — онъ принимаетъ его за насмѣшку. Въ литературѣ онъ не просто работникъ, а «посетель священнаго огня». Я знаю, что по нынѣшнему времени слова эти кажутся многимъ напыщенною фразой, лишенною содержанія. Но что содержаніе въ нихъ было, объ этомъ свидѣлствуетъ вся жизнь Шелгунова, и, выбирая изъ двухъ золъ меньшее, я радуюсь, что они кажутся безсодержательными и напыщенными только многимъ, а не всемъ. Многіе пройдутъ, я въ этомъ увѣренъ, а «священный огонь» опять займетъ свое мѣсто.

Въ фельетонѣ «Новаго Времени» я прочиталъ слѣдующія строки: «Мы, старики шелгуновскаго возраста, гордо (но, въ скобкахъ сказать, необычайно глупо) ставимъ молодому поколѣнію свое постоянство въ убѣжденіяхъ. Вотъ, молъ, жилъ и писалъ около сорока лѣтъ и какъ въ первый, такъ и въ послѣдній моментъ писалъ одно и то-же». Затѣмъ фельетонистъ отъ имени «современной практической молодежи» объясняетъ, что она, эта молодежь, извѣрилась въ «Бѣлую Арапію», ибо таковой не существуетъ, и предъявляетъ еще много глубокомыслія, за которымъ, пожалуй, и любопытно было-бы прослѣдить, но это отвлекло-бы насъ далеко въ сторону. Я остановлюсь только на странномъ недоразумѣніи, заключающемся въ словахъ, поставленныхъ въ кавычкахъ. Если-бы человѣкъ втеченіе сорока лѣтъ, какъ въ первый, такъ и въ послѣдній моментъ, твердилъ, вопреки очевидности, что, напримѣръ, дважды два — стеариновая свѣчка, то было-бы дѣйствительно необычайно глупо ставить его въ образецъ, достойный подражанія. Мѣсто такого человѣка не въ переднемъ углу, который отводится уважаемымъ людямъ, а въ какомъ-нибудь пріютѣ для неизлечимыхъ больныхъ. Бываютъ, однако, случаи, когда сказать: «необычайно глупо» — еще не значитъ показать свой необычайный умъ, и даже напротивъ того. Таковъ именно данный случай. Автору фельетона не предстояло никакой надобности употреблять столь энергическое выраженіе, потому что Шелгунову воздають должное не за то, что онъ твердилъ всю жизнь одно и тотъ-же очевидный вздоръ, и даже не за то, что онъ вообще одно и то-же твердилъ, а за то, что онъ всю жизнь оставался вѣренъ правдѣ. Не такой правдѣ, какъ дважды два—четыре, которая, въ качествѣ безспорной, очевидной, общепризнанной истины, не только безпрепятственно, а даже обязательно пропагандируется нискольными учителями. Есть иная правда, въ которой очевидности, сложныя и сами по себѣ, осложняются еще возможностями, въ выработкѣ которой замѣшаны человѣческіе интересы, отетаняющіе себя даже вопреки всякимъ очевидностямъ. Гоббсъ говорилъ, что если-бы математическія аксіомы затрогивали человѣческіе интересы и страсти, такъ опѣ и до сихъ поръ составляли-бы предметъ горячихъ споровъ. И тутъ уже ничего не подѣлаешь. Мѣрило правды есть здѣсь внутреннее убѣжденіе, мѣрило правдиваго достоинства — вѣрность этому убѣжденію. Подъ давленіемъ житейскаго опыта и критики, убѣжденія могутъ измѣняться (въ частностяхъ они измѣнялись и у Шелгунова); но если человѣкъ всецѣло и безкорыстно отдается своей новой правдѣ, онъ чистъ передъ собственною совѣстью и передъ людскимъ судомъ. Такъ понималъ дѣло и самъ Шелгуновъ, такъ понимаютъ его и тѣ, кого г. фельетонистъ энергически, но не вполнѣ умно обзываетъ необычайными глупцами. Если Шелгуновъ презиралъ «либералишекъ», мѣняющихъ свои убѣжденія, какъ дамы мѣняютъ модные костюмы, то не за самыя эти измѣненія, а за то постыдное лег-

комысліе или за тѣ корыстныя соображенія, по которымъ они совершаются. Откуда и куда такой либералишка перескочилъ,—изъ крѣпостниковъ въ яacobинцы или, наоборотъ, изъ революціонеровъ въ сикофанты,—это безразлично. Важны мотивы и обстановка скачка. Точно такъ-же важны они и при оцѣнкѣ человѣка, всю жизнь вѣрнаго одной и той-же правдѣ. Въ этомъ отношеніи люди, чтущіе память Шелгунова, могутъ съ справедливою гордостью сказать: смотрите сами! Вы можете какъ угодно оцѣнивать ту правду, которой всю жизнь служилъ покойникъ, можете обзывать ее и «Бѣлоу Арапіей», и просто вздоромъ,—это ваше дѣло. Мы можемъ когда-нибудь объ этомъ поспорить. Но извините меня, если я употреблю ваше собственное выраженіе, только болѣе умѣстно:—необычайно глупо издѣваться надъ такимъ высокимъ образчикомъ твердости убѣжденій, искренность которыхъ засвидѣтельствована цѣлою жизнью. Поучитесь у Шелгунова хотя терпимости: онъ хвалилъ Оеню, а не издѣвался надъ нею...

Человѣкъ, придающій такое значеніе искренности и твердости убѣжденій, конечно, и долженъ былъ смотрѣть на литературу какъ на посетельницу «священнаго огня». Опъ могъ на старости лѣтъ выучиться шить сапоги и стать поставщикомъ обуви для Краевского и работавшихъ у него гг. Страхова, Щеглова, В. Крестовскаго и... какъ они еще тамъ назывались, но писать съ ними въ одномъ журналѣ не могъ, ибо для этого ему пришлось-бы поступиться своими убѣжденіями, отказать отъ своего свободнаго слова. Я разумѣю, конечно, не цензурныя условія, которыя были для Краевского съ гг. Страховымъ, Щегловымъ, В. Крестовскимъ и проч. сравнительно очень благопріятны. Русское печатное слово поставлено правительствомъ въ извѣстныя рамки, расширенія которыхъ мы можемъ желать, но которыя должны принять какъ данныя, не отъ насъ зависящія. Но есть еще другая сторона истинно свободнаго слова, которую,—по крайней мѣрѣ, до извѣстной степени,—мы, писатели, можемъ сами осуществить. Это—свобода внутренняя, свобода отъ всѣхъ стороннихъ соображеній, кромѣ тѣхъ, которыя повелительно рекомендуются цензурнымъ уставомъ и цензурною практикой и которыя, какъ сказано, не отъ насъ зависятъ. Не свободно мое слово, если я вынесъ его на рынокъ и продаю тому, кто дастъ больше,—купившій такъ или иначе, прямо или косвенно, наложить на него свою руку, и тяжела бывать рука купившаго. Не свободно мое слово, если я изъ какихъ-бы то ни было видовъ желаю угодить властнымъ-ли людямъ, или безвластной толпѣ въ ея сегодняшнемъ настроеніи,—я могу, при извѣстныхъ благопріятныхъ условіяхъ, имѣть чрезвычайно свободный видъ, но это именно только одна видимость. Не свободно мое слово, если я подобенъ флюгеру, поворачивающемуся въ ту сторону, куда дуетъ вѣтеръ,—развѣ флюгеръ свободенъ, развѣ онъ, напротивъ того, не покорнѣйшій изъ рабовъ? Не свободно, наконецъ, мое слово, если

оно направляется завистью, личною враждою, самолюбіемъ, легкомысленнымъ желаніемъ сказать непременно «новое слово», когда его нѣтъ въ запасѣ, или желаніемъ перешеголять всѣхъ конкурентовъ «консерватизмомъ» и т. п. Въ самомъ дѣлѣ, припомните, напримѣръ, замѣтку «Развѣнчанный Некрасовъ», о которой я говорилъ въ апрѣльско-й книжкѣ «Русской Мысли». Кажется, ужь какъ свободно отнесся человѣкъ къ знаменитому поэту: что только его душенькѣ хотѣлось, то и навалилъ на гробъ покойника, не соображаясь ни съ дѣйствительными фактами, ни съ логикою, ни съ простымъ здравымъ смысломъ,—на что ужь свободнѣе! А, между тѣмъ, возможно, что его истинныя убѣжденія, тамъ, въ глубинѣ души сидящія, не до такой уже степени нелѣпы, но его position oblige (я чуть-чуть не написалъ *poblesse oblige*, что было-бы большою ошибкою); совершенно постороннія обстоятельства обязываютъ его сказать что-нибудь покруче о Некрасовѣ, и потому вовсе онъ не свободенъ. Можетъ быть, даже кн. Мещерскій, столь, повидимому, свободно отнесшійся къ циркуляру училищнаго совѣта святѣйшаго синода, въ сущности не убѣжденъ, что христіанское ученіе и консервативная политическая программа предписываютъ пороть дѣтей: но желаніе заскочить дальше далекаго мѣшаетъ ему свободно изложить свои истинныя убѣжденія. Позволю себѣ привести еще одинъ примѣръ, нѣсколько личнаго характера. Я прочиталъ въ одной изъ «Книжекъ Недѣли» статью г. Единицы о Глѣбѣ Успенскомъ. Очень тоже, повидимому, свободно написанная статья. Но это только такъ кажется, что видно уже изъ того, что въ статьѣ удѣлено мнѣ, пожалуй, столько-же мѣста, какъ и Успенскому. А обо мнѣ странно излагается, что я глупъ, бездаренъ, невѣжественъ и не умѣю писать по-русски. Я почти увѣренъ, что это не есть истинное убѣжденіе «Недѣли» и что, въ данномъ случаѣ, какъ и во многихъ другихъ, слово почтенной газеты отнюдь не свободно отъ соображеній совершенно постороннихъ.

Свободное, въ указанномъ смыслѣ, слово почти неосуществимо, какъ общее правило, потому что слабъ человѣкъ. Но большее или меньшее приближеніе къ нему возможно, что доказывается фактами исторіи русской литературы, примѣрами людей, болѣе или менѣе послѣдовательно осуществлявшихъ своею жизнью свои высокія понятія объ обязанностяхъ литературы. И эти люди по истинѣ могутъ называться «носителями священнаго огня». Въ доброе старое дореформенное время быть такимъ носителемъ священнаго огня въ нѣкоторыхъ отношеніяхъ было легче, чѣмъ въ наши многосложные, многотрудные дни. Конечно, и тогда существовали человѣческія слабости, вроде зависти, личнаго озлобленія, чрезмѣрнаго самолюбія, алчности, — существовали и отражались въ литературѣ, о чемъ слишкомъ хорошо свидѣтельствуютъ не только такія позорныя пятна на исторіи нашей литературы, какъ Булгаринъ,

Гречь, Сенковскій, по и другія, не столь явственно клейменные, но въ своемъ родѣ не менѣе прискорбныя явленія. Существовала, однако, группа людей, достаточно привилегированная, матеріально обеспеченная и образованная, которая, посвящая себя литературѣ, уже самымъ положеніемъ своимъ была застрахована, по крайней мѣрѣ, отъ нѣкоторыхъ оскорбленій священному огню свободнаго слова. Обеспеченные наслѣдственнымъ добромъ, эти люди не знали работы изъ-за куска хлѣба и связанныхъ съ нею унижительныхъ условій рынка. Не было имъ надобности и угождать кому-бы-то ни было, а обеспеченная готовыми хлѣбами, значительная, иногда даже блестящая образованность позволяла имъ, еще до выступленія на литературное поприще, настолько ориентироваться въ вещахъ и идеяхъ, чтобы потомъ уже не шататься отъ дуновенія зефировъ и аквилоновъ. Но увы! всѣ эти благопріятныя для истинно-свободнаго слова обстоятельства коренились въ готовыхъ хлѣбахъ крѣпостнаго права, борьба съ которымъ составляла высшую задачу тѣхъ самыхъ людей, которымъ она гарантировала священный огонь. Это внутреннее противорѣчіе не могло не дѣйствовать разлагающимъ образомъ. Были, однако, и въ то время люди, лишеныя благопріятной обстановки, и, тѣмъ не менѣе, высоко державшіе знамя литературы. Таковъ Бѣлинскій. Вотъ человѣкъ истинно-свободнаго слова, даже въ противорѣчіяхъ своихъ идеально-благородно умѣвшій сочетать ремесло съ песнѣмъ священнаго огня! Но для большинства такое сочетаніе не подъ силу. И потому, когда съ паденіемъ крѣпостнаго права, съ одной стороны, сократились ресурсы бывшихъ господъ, а съ другой—на общественную, въ томъ числѣ и на литературную арену хлынула масса новыхъ людей, и литература стала для многихъ ремесломъ, профессиональнымъ источникомъ пропитанія, образовались два теченія. Явились повые люди свободнаго слова, матеріально хуже предъидущаго литературнаго поколѣнія обставленные, но зато и безъ наслѣдственнаго рабовладѣльческаго пятна; однако, вмѣстѣ съ тѣмъ, рыночная конкуренція даетъ свои обычные непріятные эффекты, и даже болѣе, чѣмъ обычные, вслѣдствіе особенныхъ условій литературнаго рынка: нѣкоторые товары время отъ времени съ него удаляются вышними обстоятельствами. При этомъ многимъ и многимъ, мало талантливымъ или нравственно-нестойкимъ, или распаленнымъ чрезмѣрными аппетитами, оказывается, не до священнаго огня, не до свободнаго слова. Нѣкоторые изъ нихъ не имѣютъ никакихъ убѣжденій, а только «владѣютъ перомъ»; это—чистокровные наемники, безъ всякой внутренней борьбы, безъ всякаго насилія надъ собою строчащіе по заказу того или другого поставщика печатныхъ произведеній на рынокъ. А поставщики эти въ свою очередь обдѣлываютъ свои собственныя дѣлишки при помощи литературы: кому нужно шести-этажный домъ выстроить, кому—консерватизмомъ или «новымъ словомъ» ослѣпительно блеснуть и т. д. Есть,

однако-же, и такіе, въ которыхъ сохранились убѣжденія или пѣчто подобное имъ, но слово ихъ не свободно, благодаря все той-же сложной сѣти условій литературнаго рыска. Такъ или иначе, они продались, и «горе грѣшнику, на двѣ стези ходящу!» Если они, на поверхностный взглядъ, чрезвычайно свободно изрыгаютъ худу на свои былыя вѣрованія, въ негодности которыхъ они, однако, вовсе не убѣждены, и громгласно, стараясь перекричать всѣхъ конкурентовъ, поютъ хвалу идеямъ и вещамъ, въ достоинствахъ которыхъ тоже не убѣждены,— такъ развѣ это свобода? Пользуясь обстоятельствами, напимѣрь, тѣмъ, что ихъ былыя вѣрованія находятся нынѣ не въ авантажѣ, они срываютъ свою личную злобу и вообще обдѣлываютъ свои маленькія дѣлишки, но это не свободное слово, а растлѣніе нравовъ. Негодовать на это растлѣніе, брезгливо сторониться отъ него—не значить быть нетерпимымъ. Нетерпимость прямо враждебна свободѣ слова, а тутъ, какъ видите, все дѣло именно въ требованіи свободного слова, какъ отъ себя, такъ и отъ другихъ.

VIII.

Мнѣ хочется извлечь изъ писемъ Шелгунова еще одну любопытную черту, болѣе личнаго свойства, по хорошо его характеризующую, какъ человѣка, да и не лишнюю нѣкотораго общаго значенія.

Въ моемъ распоряженіи есть нѣсколько тетрадей писемъ покойнаго писателя къ любимой дѣвушкѣ, ставшей потомъ его невѣстой и, наконецъ, женой. Первые тетради относятся еще къ сороковымъ годамъ. Нѣкоторыя изъ нихъ состоятъ не собственно изъ писемъ, а изъ дневниковъ или «журналовъ» въ эпистолярной формѣ. Въ большинствѣ, это обыкновенныя любовныя посланія, переполненныя страстными признаніями, ласковыми словами, обѣщаніями и требованіями вѣрности и проч. Я, конечно, не трону этихъ столько-же обыкновенныхъ, сколько интимныхъ сторонъ переписки. Я прошу только читателя помнить, что это писано въ сороковыхъ годахъ и совѣмъ молодымъ человѣкомъ.

Въ одной изъ тетрадей, между прочимъ, написано: «Супружескія обязанности, налагаемыя Богомъ и закономъ людей на супруговъ, меня пугаютъ; я слишкомъ уважаю невинность и дѣвственную чистоту и полагаю, что первое сближеніе супруговъ, которое, по моему физическому и нравственному устройству, никогда не можетъ лишить меня сознанія и отуманить совершенно мою голову, испугаетъ меня; мнѣ кажется, что это сближеніе оскорбитъ нѣкоторымъ образомъ женщину, не въ ея собственныхъ понятіяхъ, а во взглядѣ на нее мужчины, который видитъ въ ней не женщину-человѣка, а женщину-ангела; матеріальное

сближеніе прямо говорить: это женщина-плоть, а не женщина-духъ, а я ищу духа, а не плоти. Что дѣлать мнѣ? Какъ согласить свои понятія съ закономъ? А, между тѣмъ, не забудьте борьбу духа и плоти, которую мнѣ придется испытывать постоянно. Не подобно быть пророкомъ, чтобы угадать, что плоть восторжествуетъ надъ духомъ, и тогда... что тогда? И тогда нужно понимать непремѣнно, что связь супруговъ выражается хотя и въ матеріальномъ ихъ сближеніи, однако духовность есть начало, причина и вина всего,—нужно понимать, что не духъ живетъ для плоти, а плоть для духа,—и сближеніе супруговъ совершается не для ихъ лица, а для выполненія закона божескаго, слѣдовательно, для цѣли болѣе высшей, чѣмъ обыкновенное бессознательное сближеніе многихъ людей и всѣхъ животныхъ. Л—а, я не извиняюсь передъ вами за сегодняшній журналъ, потому что я пишу къ вамъ не какъ къ Л—ѣ дѣвственницѣ, а какъ къ Л—ѣ женѣ. Вамъ должны быть извѣстны мои взгляды на бракъ, цѣль котораго заключается въ высокой обязанности человѣка произвести себѣ подобнаго и сдѣлать его достойнымъ имени человѣка, существа духовно-разумнаго».

Мотивъ этотъ еще повторяется въ «журналахъ»;—очевидно, этотъ цекотливый пунктъ очень мучилъ юнаго Шелгунова. Сквозь наивнотринерскій тонъ и запутанную, неумѣлую аргументацію, изъ этихъ строкъ смотреть на васъ такая чистая душа, съ которою очень полезно познакомиться всѣмъ, смущеннымъ «Крейцеровою сонатой». Въ самомъ дѣлѣ, здѣсь есть какъ будто нѣчто общее съ рѣчами Позднышева,—то-же опасливо-брезгливое отношеніе къ плотской любви. Но какая, вмѣстѣ съ тѣмъ, огромная, неизмѣримая разница! Начать съ того, что Позднышевъ есть, по его собственному сознанию, развратникъ, многое въ жизни испытавшій и никогда ничего, кромѣ чисто - животнаго влеченія, къ своей женѣ не питавшій. Онъ опомнился только послѣ страшной катастрофы и, можетъ быть, уже на склонѣ лѣтъ, когда въ немъ уже совсѣмъ потухъ огонь животной страсти и когда ему, значить, было очень легко превратиться въ того *diable qui pèche la morale*. А еще хвалится, что добрался до высшей моральной истины! Въ сущности, онъ съ высоты этой моральной истины дѣлаетъ то - же самое, что дѣлаетъ человѣкъ, отказывающійся отъ наслѣдства, на которомъ лежатъ долги, въ суммѣ превышающіе цѣнность самаго наслѣдства, — не особенно великодушный поступокъ. А, между тѣмъ, обжегшись на своемъ молокѣ, Позднышевъ дуется и на чужую воду,—обвиняетъ все человѣчество поголовно въ развратѣ, а природу — въ неестественности, и не находитъ лучшаго выхода, какъ уничтоженіе человѣческаго рода... Уже въ первомъ изъ предлагаемыхъ набросковъ я говорилъ о томъ, что хотя въ фактическихъ показаніяхъ Позднышева много горькой правды, но, во-первыхъ, это не полная правда, а во-вторыхъ, изъ нея слѣдуютъ совсѣмъ не тѣ выводы, которые дѣлаетъ

Позднышевъ. И вотъ подтвержденіе. Шелгуновъ, еще молодой офицеръ, недавно разставшійся со школьною скамьей, притомъ страстно влюбленный въ свою певѣсту, умѣетъ-же подчинить свою физику своей психикѣ и, отнюдь не проклиная животнаго инстинкта, одухотворить его. Я не говорю, разумѣется, чтобы это было очень обыкновенное явленіе. Напротивъ, условія нашей жизни вообще и нашего школьнаго воспитанія въ особенности дѣлають его рѣдкостью. Но если фактъ существованія немногихъ праведниковъ могъ повести къ спасенію цѣлаго грѣшнаго города, то хотя-бы и немногіе факты того разряда, къ которому относится приведенное письмо Шелгунова, могутъ, по крайней мѣрѣ, оградить человѣческую природу отъ хулы, въ особенности отъ хулы со стороны пресыщенныхъ развратниковъ, вроде Позднышева. Не правда, что человѣкъ есть безнадежное животное, которому только и остается, что освободить лицо земли отъ своего позорнаго существованія. Возможны пышные и яркіе психологическіе цвѣты на стеблѣ, выросшемъ изъ фізіологическихъ корней. Не смѣетъ всякій развратникъ или просто несчастный человѣкъ обобщать свой личный опытъ до размѣровъ клеветы на человѣчество...

И еще маленькая разница. Маленькая! Шелгуновъ видитъ цѣль брака въ томъ, чтобы «произвести себѣ подобнаго и сдѣлать его достойнымъ имени человѣка, существа духовно-разумнаго». Я не раздѣляю этого мнѣнія. Цѣли природы намъ неизвѣстны, неизвѣстно даже, существуютъ-ли онѣ, а съ человѣческой точки зрѣнія потомство есть не цѣль, а послѣдствіе брака, — послѣдствіе, которое должно быть встрѣчено съ подобающимъ сознаниемъ его огромнаго значенія. Но мнѣніе, высказанное въ сороковыхъ годахъ юнымъ офицеромъ Шелгуновымъ и, конечно, многими и многими гораздо раньше его, было еще не такъ давно повторено гр. Л. Н. Толстымъ. Особенность графа состояла лишь въ томъ, что онъ именно женщицѣ усвоивалъ функцію дѣторожденія, какъ единственную и исключительную цѣль жизни. Впрочемъ, и это давно сказано, отнюдь, впрочемъ, не Шелгуновымъ, который предоставлялъ женщицѣ широкую дѣятельность. Сказано это разными книжниками добраго стараго времени, да и всемъ этимъ добрымъ старымъ временемъ въ его цѣлокушности. Какъ-бы то ни было, Позднышевъ не хочетъ знать приведеннаго мнѣнія графа Толстого. Идеаль женщины для него не мать, всецѣло поглощенная своими материнскими обязанностями, а, напротивъ того, старая дѣва. Что - же касается потомства, то его не нужно, а нуженъ, напротивъ, рѣшительный отказъ отъ дурной и «неестественной» привычки производить дѣтей, — нужно прекращеніе человѣческаго рода...

Я кончилъ съ письмами Шелгунова. Теперь не время продолжать изъ нихъ извлеченія, какъ-бы они ни были поучительны. Я не прощаюсь, однако, съ этимъ милымъ моему сердцу, благородѣйшимъ

человѣкомъ и еще вернусь къ нему, когда позволятъ обстоятельства.

А теперь, разъ зашелъ разговоръ о Позднышевѣ, мнѣ хочется его кончить или, по крайней мѣрѣ, продолжить собственно для выясненія одной подробности. Подробности эта такая, однако, что охватываетъ собою если не вселенную, то земной шаръ и человѣчество.

Не отступая передъ мыслью о прекращеніи человѣческаго рода, Позднышевъ мотивируетъ эту свою храбрость, между прочимъ, тѣмъ, что, вѣдь, многія философскія и многія научныя теоріи разсуждаютъ либо объ исчезновеніи человѣческаго рода съ лица земли, либо о прекращеніи бытія этого самаго лица земли; почему-же ему, Позднышеву, отступать предъ этимъ фактомъ будущаго, неизбежность котораго признается съ самыхъ разнообразныхъ точекъ зрѣнія? Дѣйствительно, физики, астрономы, философы разныхъ системъ и оттѣнковъ, наконецъ простые люди, чуждые всякой наукѣ, говорятъ о концѣ міра. И какъ-же, спрашивается, быть со всѣми нашими идеалами въ виду этого конца міра, какъ подойти къ нему? Есть люди, возлагающіе въ трудныхъ вопросахъ всѣ надежды на успѣхи техники: дескать, изобрѣтемъ такія смертоносныя орудія, что страшнѣе страшнаго, и войны прекратятся; откроемъ способъ искусственнаго приготовленія бѣлковины, и аграрный вопросъ упразднится, и т. п. Какъ - бы мы ни относились къ этимъ надеждамъ, но въ данномъ случаѣ на техническій идеалъ разсчитывать не приходится. Трудно, въ самомъ дѣлѣ, допустить, чтобы техника, какъ-бы далеко она ни пошла, сумѣла предотвратить конецъ міра; этотъ техническій идеалъ недостижимъ. Но вовсе не трудно представить себѣ, что человѣчество встрѣтитъ свой конецъ въ доспѣхахъ общественнаго идеала, воплощенія правды. Это именно и имѣетъ въ виду Позднышевъ: онъ хочетъ, чтобы человѣчество подошло къ своему неизбежному концу путемъ нравственнаго ученія, зиждущагося на преодоленіи половой страсти. Въ этомъ онъ полагаетъ свою оригинальность. Но онъ ошибается. Я думаю даже, что онъ втайнѣ почитываетъ кое-какія книжки, изъ которыхъ и почерпнулъ свою общую идею, уснастивъ ее нѣкоторыми собственными украшеніями. А можетъ быть, впрочемъ, онъ и своимъ умомъ дошелъ до открытія Америки. Это тоже бываетъ. Укажу для примѣра на Прудона, который въ «Системѣ экономическихъ противорѣчій» утверждаетъ, что напряженность половой страсти и способность дѣторожденія должны, вмѣстѣ съ развитіемъ общественности, постепенно ослабѣвать. Мысль эта играетъ существенную роль въ его опроверженіи теоріи Мальтуса. А въ книгѣ его «Объ искусствѣ» есть слѣдующія поэтическія слова: «Человѣчество когда-нибудь кончится, говорятъ нѣкоторые; земля, служившая ему колыбелью, сдѣлается для него гробницей. Я могу допустить, что планета наша можетъ состариться, хотя я этого и не знаю; я допускаю

это потому, что планета — не духъ, не совѣсть и не свобода; но, въ такомъ случаѣ, человѣчество, постепенно уменьшаясь въ дѣйствіе неблагоприятныхъ условій почвы, уничтожится, такъ сказать, добровольно, не истощившись, а перейдя въ высшую духовность. Достигнувъ совершенства, человѣкъ кончится. Достигнувъ высшей ступени сознанія, пониманія свободы и своего достоинства, въ виду истощенной, дряхлой природы, ставшей ниже его, одухотворенный человѣкъ, безъ сожалѣнія къ своей неудавшейся судьбѣ, долженъ будетъ согласиться съ необходимостью и завѣщать свою душу болѣе юному міру».

Мнѣ кажется, что мысль Прудона, въ связи съ вышесказаннымъ, станетъ яснѣе, если мы прибѣгнемъ къ аналогіи съ судьбами единичнаго человѣка. Никакая техника не въ состояніи сдѣлать человѣка безсмертнымъ въ прямомъ смыслѣ этого слова, и техническій идеалъ можетъ состоять въ этомъ отношеніи только въ большемъ или меньшемъ отдаленіи момента смерти. Но идеалу нравственному нѣтъ до этого никакого дѣла. Онъ долженъ выработать такое общее направленіе жизни, которое, удовлетворяя требованіямъ чести и совѣсти, вмѣстѣ съ тѣмъ дозволило-бы встрѣтить неизбежный смертный конецъ спокойно и непостыдно, безъ страха и упрека. Я теперь говорю это только въ видѣ иллюстраціи и постараюсь когда-нибудь вернуться къ этому любопытному сюжету.

Что касается постепенной убыли способности дѣтворженія, то объ этомъ читатель можетъ найти хорошо сгруппированныя указанія въ послѣднихъ главахъ «Основаній біологій» Спенсера. Позволю себѣ также напомнить мою «Борьбу за индивидуальность», гдѣ говорится объ убыли не только способности дѣтворженія, но и половой страсти, при условіи ослабленія общественнаго раздѣленія труда вообще, раздѣленія труда мужского и женскаго въ частности. Я полагаю, что преувеличенный жаръ половой страсти долженъ убывать по мѣрѣ того, какъ мужчина будетъ утрачивать тѣ спеціальныя черты «мужественности», которыя завѣщаны періодомъ исключительно боевой жизни, а женщина, путемъ образованія и созпательнаго участія въ общественной жизни, отдѣляется отъ столь-же спеціальныхъ чертъ «женственности», — по мѣрѣ того, словомъ, какъ и мужчина, и женщина будутъ становиться людьми.

И такъ, я ничего не имѣю противъ общей идеи Позднышева. Напротивъ, считаю ее вполне правильною и плодотворною. Но, кромѣ тѣхъ общихъ причинъ, которыя Позднышеву все дѣло портятъ и о которыхъ я говорилъ уже въ другомъ мѣстѣ (см. выше, стр. 79), а потому теперь распространяться не буду, теорія нравственнаго подготовленія къ концу міра испорчена грубѣйшею ошибкой исторической перспективы.

Тотчасъ вслѣдъ за мыслью о возможности прекращенія человѣческаго рода и въ связи съ ней, Позднышевъ выражаетъ свое негодо-

ваніе по поводу отношенія общества къ положенію старой дѣвы. Ему кажется, что это положеніе прекрасно,—лучшее и счастливѣйшее, какое только возможно для женщины. Въ частности онъ негодуеъ на то, что дѣвушки выходятъ замужъ «за негодяевъ», лишь-бы не остаться дѣвой, то есть «вышимъ существомъ». Безъ сомнѣнія, очень прискорбно, когда дѣвушки выходятъ замужъ не потому, что любить, а потому единственно, что боятся остаться «въ дѣвакахъ». Дѣлается-ли это въ виду злыхъ и глухихъ насмѣшекъ надъ старыми дѣвами, или ради обезпеченія себѣ куска хлѣба,—оно во всякомъ случаѣ прискорбно. И сугубо прискорбно, когда дѣвушки выходятъ при этомъ еще «за негодяевъ», а не за порядочныхъ людей, которые, вѣдь, все-таки, существуютъ на бѣломъ свѣтѣ. Но изъ этого вовсе не слѣдуетъ, чтобы положеніе старой дѣвы было лучшее и счастливѣйшее. Нѣтъ, вообще говоря,—потому что есть, конечно, исключенія,—оно очень печально и совершенно ненормально. До такой степени печально и ненормально, что всякіе комплименты этому положенію звучатъ оскорбительною и, притомъ, незаслуженною насмѣшкою,—въ особенности въ устахъ Позднышева, который не вѣритъ даже тому, что дѣвушка можетъ хотѣть учиться безъ задней мысли о женихахъ. Поневолѣ опять и опять вспомнишь Салтыкова, который, по крайней мѣрѣ, не хуже Позднышева понималъ терніи современнаго брака и семьи, но понималъ также, что положеніе старой дѣвы отнюдь не лучшее и счастливѣйшее. Въ разсказахъ «Христова певѣста», «Полковницкая дочь» онъ отнесся къ этимъ неудачницамъ съ такою теплою и гуманною скорбью, въ сравненіи съ которою комплименты Позднышева поражаютъ своимъ холоднымъ безсердечіемъ.

Но главное дѣло для насъ здѣсь не въ нравственныхъ качествахъ Позднышева, а въ той будто-бы логической связи, которую онъ устанавливаетъ между нравственнымъ ученіемъ, должнствующимъ подготовить насъ къ концу міра, и положеніемъ старой дѣвы въ теперешнемъ обществѣ. Въ этомъ-то и состоитъ грубая ошибка исторической перспективы. Одно дѣло постепенная убыль напряженности половой страсти въ ряду поколѣній и при извѣстныхъ благоприятствующихъ этому социальныхъ условіяхъ, и совсѣмъ другое дѣло отказъ отъ любви сейчасъ, когда она составляетъ для огромнаго, подавляющаго большинства людей естественную потребность, настоятельно и правомѣрно ищущую удовлетворенія. Въ первомъ случаѣ мы имѣемъ ожиданіе и историческую выработку извѣстнаго измѣненія человеческой природы, во второмъ—прямое насиліе надъ ней, грубое, ничѣмъ не оправдываемое и, въ концѣ-концовъ, просто недостижимое. Позднышевъ можетъ ставить эти двѣ столь различныя вещи за одну скобку, собственно потому, что онъ, какъ развратникъ, не представляетъ себѣ возможности любви, одухотворенной нравственнымъ единеніемъ. Но для всякаго, въ комъ

разумъ и сердце не выгдены развратомъ, ясно, что положеніе старой дѣвы въ теперешнемъ обществѣ не имѣетъ рѣшительно ничего общаго съ тѣмъ идеальнымъ общественнымъ строемъ далекаго будущаго, въ которомъ половая страсть деведена до возможнаго *minimum'a*. Для достиженія этого идеала нужно не насильственное подавленіе естественной потребности, — напротивъ, «жизнью пользуйся живущій», настояще пользуйся, не впадая ни въ мрачный аскетизмъ, ни въ необузданный развратъ. Если исковеркана жизнь Позднышева и его жены, взаимныя отношенія которыхъ исчерпывались животною страстью, то въ своемъ родѣ не менѣе искалѣчена жизнь старой дѣвы, не испытавшей радостей, которыми Позднышевъ, по развращенности своей, злоупотребилъ. И если онъ, *ad majorem gloriam* старой дѣвы, ссылается на отдаленное будущее, когда любовь утратитъ теперешнее свое острое значеніе, то это не болѣе, какъ грубая ошибка исторической перспективы.

IX.

Въ одномъ періодическомъ изданіи я прочиталъ обѣщаніе подробно поговорить о моихъ «воспоминаніяхъ» «послѣ ихъ окончанія». Милостивые государи, если мои «воспоминанія» настолько обратили на себя ваше вниманіе, что вы предполагаете подвергнуть ихъ своему страшному или милостивому суду, то вы можете сдѣлать это немедленно, не дожидаясь окончанія, ибо не только этого окончанія, а, можетъ быть, и продолженія ихъ не будетъ.

Если благосклонный читатель припомнитъ, я былъ натолкнутъ смертью Г. З. Елисеева на литературныя воспоминанія, но тогда-же оговорился, что отнюдь не обязуюсь только вспоминать. Я выбралъ столь общее заглавіе, какъ «Литература и жизнь», именно потому, что оно можетъ объять и прошедшее, и настоящее, а въ случаѣ надобности—даже, пожалуй, и будущее. Дѣйствительно, я не ручаюсь, что воспоминанія не уступятъ въ одинъ прекрасный день свое мѣсто предсказаніямъ все въ томъ-же обширномъ кругѣ идей и вещей, который формулируется словами «литература и жизнь». Но, сверхъ того простора, который предоставляется этимъ заглавіемъ, въ немъ есть еще спеціальная привлекательная для меня сторона.

«Много еще похоронъ вы увидите»,—писалъ мнѣ однажды Салтыковъ, опасаясь за жизнь Елисеева, который былъ въ то время очень боленъ. Не знаю, много-ли еще похоронъ мнѣ остается увидать, но знаю, что я ихъ за послѣднее время видѣлъ уже слишкомъ достаточно, чтобы почувствовать, кромѣ горечи личныхъ потерь, живѣйшую скорбь за сиротѣющую русскую литературу. Да простятъ мнѣ молодые

и только числящіеся молодыми (есть и такіе) писатели, но ихъ присутствіе не разубѣждаетъ меня въ сиротствѣ литературы. Дѣло не въ талантахъ, которые есть, пожалуй, и теперь, но которые сами по себѣ не въ силахъ измѣнить печальное положеніе вещей. Есть между нынѣшними талантами и довольно крупныя. Въ другое время они, вѣроятно, разцвѣли-бы яркимъ цвѣтомъ. Но такова нынѣ общая атмосфера, что они или зря разбрасываются, или вянутъ, не успѣвши разцвѣсть. А эта мертвящая общая атмосфера послѣднихъ годовъ характеризуется, главнымъ образомъ, тѣмъ, что литература и жизнь обнаруживаютъ, каждая съ своей стороны, рѣзкую тенденцію отлучиться другъ отъ друга, разорвать ту естественную цѣпь, которая въ принципѣ должна ихъ связывать. Есть факты болѣе печальныя сами по себѣ, чѣмъ это взаимное отлученіе, но, можетъ быть, нѣтъ факта болѣе чреватаго печальными послѣдствіями. Многое здѣсь опредѣляется чисто-внѣшними неблагоприятными условіями и можетъ измѣниться лишь съ измѣненіемъ этихъ условій. Но слишкомъ часто бываетъ, что элементы, страдающіе отъ внѣшнихъ условій, съ холопскою торопливостью сами забѣгаютъ впередъ, на встрѣчу своему несчастью, позору или бессилію. И если бѣніе пульса жизни все слабѣе и слабѣе чувствуется въ литературѣ, а сообразно этому блѣднѣетъ и роль литературы въ жизни, то значительная часть отвѣтственности за этотъ ненормальный порядокъ вещей лежитъ на насъ, писателяхъ. Какъ-бы ни были тяжелы обстоятельства, но всегда можно, по крайней мѣрѣ, бережно относиться къ наслѣдію прошлаго, дабы хоть его передать въ неприкосновенности будущему. Если кто чувствуетъ себя въ силахъ приростить это наслѣдство новыми, оригинальными вкладками, — прекрасно. Но это возможно лишь на почвѣ общенія литературы и жизни, каковое общеніе уже было достигнуто. Убыль людей, воспитанныхъ на этой почвѣ, а частью даже создавшихъ ее, или, по крайней мѣрѣ, вложившихъ въ нее весь трудъ своей жизни, естественно вызываетъ воспоминанія. Но та-же убыль, и столь-же естественно, наводитъ на разныя размышленія о явленіяхъ текущей литературы и жизни. Одинъ рецензентъ прекнулъ меня обиліемъ отклоненій отъ моей задачи, которая, дескать, состоитъ въ литературной автобіографіи. Зато другой рецензентъ обвинилъ, напротивъ, въ обиліи мелочныхъ автобіографическихъ подробностей. На всѣхъ не угодишь, и я меньше всего думаю о томъ, чтобы угодить кому-бы то ни было. Но я не хотѣлъ и не хочу вводить читателей въ заблужденіе и потому повторяю, что моя задача вполне опредѣляется заглавіемъ предлагаемыхъ очерковъ. Это—бесѣды о литературѣ и жизни въ ихъ взаимныхъ отношеніяхъ, причемъ я не отрекаюсь ни отъ формы воспоминаній, ни отъ какой другой, но и не обязываюсь ни одною изъ нихъ.

Въ предисловіи къ своей, мало у насъ извѣстной, но достойной вся-

каго вниманія «Geschichte der russischen Literatur von ihren Anfängen bis auf die neueste Zeit», Рейнгольдтъ говоритъ, между прочимъ: «Въ послѣдніе годы интересъ Европы къ русской духовной культурѣ достигъ почти баснословныхъ размѣровъ. Юліанъ Шмидтъ, Георгъ Брандесъ, де-Вогюэ, де-Губернатисъ и множество другихъ корифеевъ европейской критики въ пламенныхъ выраженіяхъ изливаютъ свое изумленіе и восторгъ. Особенно поразительно слѣдующее признаніе серьезнѣйшаго и осторожнѣйшаго изъ французскихъ критиковъ, де-Вогюэ: «Начало XIX вѣка возбудило въ насъ новыя потребности. Но всѣ наши собственные фонды оказались уже изсякшими. Мы сдѣлали займы въ Англіи и Германіи, и литература вновь оживилась. Теперь для Франціи опять наступило время голода и анеміи. Русскіе во-время пришли къ намъ на помощь. Тѣмъ, кто стѣняется заимствовать что-нибудь у «варваровъ», напомнимъ, что міръ есть гигантское общество взаимной поддержки и любви. Въ коранѣ есть превосходное указаніе: «По какому признаку можно будетъ узнать приближающійся конецъ міра? Въ тотъ день ни одна душа не будетъ способна помочь другой душѣ». Пусть-же русская душа помогаетъ нашей!» И не по случайному совпаденію другой французъ, Сарсэ, говоритъ то-же самое: «Еще никогда не оправдывались въ такой мѣрѣ слова, часто повторявшіяся въ XVIII вѣкѣ: съ сѣвера идетъ къ намъ свѣтъ». Все это относится специально къ новѣйшимъ триумфамъ русскаго реалистическаго романа (которому, мимоходомъ сказать, уже тридцать лѣтъ отъ роду). Этотъ романъ, конечно, можетъ быть названъ украшеніемъ всемірной литературы. Но изученіе русской литературы открываетъ ея триумфы и на другихъ поприщахъ. «Колелебующаяся русская душа, — превосходно говоритъ де-Вогюэ, — прошла черезъ всѣ философскія ученія и заблужденія. Она остановилась на нигилизмѣ и пессимизмѣ... Но этотъ нигилизмъ никогда не принимался безъ горечи, эта душа никогда не оставалась нераскаянной. Она стонала и искала»... «Если, — продолжаетъ Рейнгольдтъ, — намъ удалось въ нашей книгѣ прослѣдить этотъ процессъ исканія истины, невольныхъ заблужденій и дѣятельной любви, то мы достаточно вознаграждены за свой трудъ».

Очень лестный букетъ поднесенъ нашей литературѣ Рейнгольдтомъ. Но все очень лестное, вмѣстѣ съ тѣмъ, немножко страшно, потому что налагаетъ большія обязанности, а сможемъ-ли и захотимъ-ли мы ихъ выполнить? Въ словахъ де-Вогюэ заключается какъ-бы подтвержденіе того противопоставленія мощи русскаго духа «гнилому Западу», которое когда-то играло большую роль въ нашей литературѣ. Слава Богу, сколько-нибудь громкихъ и вообще значительныхъ голосовъ на эту тему не слышать нынѣ. Слава Богу, потому что нѣтъ ничего хуже самообмана, преувеличенной оцѣнки своихъ собственныхъ силъ. Чрезмѣрное самовосхищеніе не прошло даромъ даже такому красавцу, какъ

Нарцисъ, а, вѣдь, не красавцы-же мы, въ самомъ дѣлѣ. Самообманъ въ свое время дорого намъ обошелся. Съ другой стороны, Западъ, конечно, нисколько не гниетъ и нравственные фонды его отнюдь не изсякли. Напротивъ, все заставляетъ думать, что эти фонды находятся наканунѣ новаго, вполне самостоятельнаго, изъ нѣдръ самой европейской жизни истекающаго подъема. Въ ожиданіи его, литературы великихъ европейскихъ народовъ дѣйствительно переживаютъ кризисъ, причемъ не безъ вліянія оказываются оригинальныя явленія чуждыхъ литературъ, каковы нѣкоторые русскіе писатели или норвежець Ибсенъ. Но принимать расточаемыя намъ любезности à la lettre было-бы очень рискованно, въ особенности любезности французовъ, запутанныхъ искусственными и временными международными отношеніями. Но и помимо этого щекотливаго спеціальнаго пункта, большинство вліятельныхъ европейскихъ критиковъ, будучи плотью отъ плоти и кровью отъ крови извѣстнаго общественнаго слоя, при всѣхъ своихъ талантахъ, далеко не всегда вѣрно оцѣниваютъ всѣ ресурсы европейской жизни, такъ что со стороны даже виднѣе.

Несомнѣнно, однако, что русская литература не лыкомъ шита, что ей есть чѣмъ гордиться передъ цѣлымъ міромъ. Не только свѣта, что въ окошкѣ, не только то русская литература, что гаерски кувыркается, злобно клеветаетъ, живетъ въ лѣсу, молится пенью и надъ святымъ издѣвается, и «Христа своего распинаетъ, и отчизну свою продаетъ». Есть въ русской литературѣ не только брилліанты-солитеры огромной цѣнности, одиноко блестящія несравненною красотой своихъ граней, а и цѣлыя теченія, въ которыхъ принимали участіе и большія, и среднія, и малыя силы, и которыя, конечно, не посрамятъ земли Русской. «Умру на журналѣ и въ гробъ велю положить подъ голову книжку «Отечественныхъ Записокъ». Я литераторъ, говорю это съ болѣзненнымъ и вмѣстѣ радостнымъ и гордымъ убѣжденіемъ. Литературѣ расейской моя жизнь и моя кровь». Такъ писалъ Бѣлинскій въ одномъ частномъ письмѣ и всею своею жизнью засвидѣтельствовалъ, что это не фраза была. Европа, конечно, никогда не узнаетъ сочиненій Бѣлинскаго такъ, какъ знаемъ или, по крайней мѣрѣ, можемъ и должны знать мы, да и незачѣмъ ей знать. Но мы и ей можемъ съ гордостью показать самого Бѣлинскаго и рассказать тотъ процессъ его «исканія истины, невольныхъ заблужденій и дѣятельной любви», о которомъ говоритъ Рейнгольдтъ. Бѣда, однако, въ томъ, что мы часто сами не знаемъ работниковъ, мучениковъ и героевъ своей литературы, не знаемъ ея исторіи. Говорю это не только о массѣ читателей, но и о многихъ писателяхъ. Отсюда и происходитъ, что въ текущей литературѣ такъ часто комически-развязно открываются давно открытыя Америки и нагло третируются такія явленія давняго или недавняго прошлаго, которыя заслуживаютъ самаго почтительнаго отношенія. Нерѣдки также огульныя

сужденія, уже самую свою огульность свидѣтельствующія о маломъ знакомствѣ автора съ предметомъ его бесѣды. Это непозволительное незнаніе исторіи родной литературы особенно сказывается по отношенію къ новой литературѣ, къ той, которая, по своей-ли новости или по другимъ причинамъ, еще не попала въ школьные учебники. Со старою литературою мы, хотя и плохо, но, все-таки, кое-какъ знакомимся въ школахъ; сегодняшнюю литературу не то чтобы знаемъ, но, все-таки, почитываемъ, а вчерашняго дня уже совѣмъ не знаемъ. Частью это объясняется тѣми катаклизмами, которые у насъ нерѣдко отдѣляютъ вчерашній день отъ сегодня. Для массы читателей это, пожалуй, даже не только объясненіе, а и оправданіе. Но для писателей такое оправданіе не существуетъ. Они обязаны знать своихъ предшественниковъ на литературномъ поприщѣ; знать не диллетантски, а съ проникновеніемъ въ самую суть ихъ духовной жизни и во всѣ подробности той иногда очень тяжелой внутренней борьбы и борьбы съ обстоятельствами, которую имъ пришлось вытерпѣть при выработкѣ идей, ставшихъ, можетъ быть, теперь ходячею разнѣною монетою. Знать это, конечно, не мѣшаетъ и не писателямъ по профессіи, а просто читателямъ.

Займствую изъ недавно вышедшей книги г. Скабичевского: «Исторія новѣйшей русской литературы (1847—1890)» слѣдующія біографическія, а, вмѣстѣ съ тѣмъ, и историко-литературныя подробности объ А. Н. Островскомъ.

Въ 1847 г. была напечатана въ «Москвитянинѣ» пьеса Островскаго «Свои люди—сочтемся». Первоначально она называлась «Банкротъ», но это названіе почему-то не понравилось цензурѣ. Пьеса произвела большое впечатлѣніе. Садовскій чуть не ежедневно читалъ ее въ обществѣ; но о постановкѣ ея на сцену не было, повидимому, и рѣчи, потому что и безъ того «московскіе купцы сильно оскорбились пьесою, пожаловались Закревскому (тогдашнему генераль-губернатору), который призналъ ее вредной и оскорбительной для цѣлаго сословія, донесъ куда слѣдуетъ, и автора взяли подъ надзоръ полиціи, а о комедіи запретили говорить въ журналахъ». По весьма вѣроятному предположенію г. Скабичевского, эта опала сильно смутила драматурга, потому что онъ, обнаружившій впоследствии такую плодовитость, на нѣсколько лѣтъ замолкъ послѣ неудачи съ «Банкротомъ». Въ 1853 г. написана комедія «Не въ свои сани не садись». Когда предстояла постановка этой пьесы на петербургской сценѣ, «въ администраціи возбужденъ былъ вопросъ, не слѣдуетъ-ли снять ее со сцены, такъ какъ въ ней опозоривается дворянство на счетъ купечества, и театральное чиновничество сильно перетрусилось, когда на первое представленіе явился самъ императоръ съ своимъ семействомъ. Но императоръ Николай Павловичъ спасъ пьесу: она такъ ему понравилась, что онъ выразился о ней: «очень мало пьесъ, которыя доставили-бы мнѣ такое удоволь-

есть, — *ce n'est pas une pièce, c'est une leçon*». Такимъ образомъ, комедія, составляющая одно изъ украшеній русской литературы, была спасена лишь благодаря высокому одобренію самого императора. Въ 1856 г. «Доходное мѣсто» было запрещено наканунѣ представленія и лишь впоследствии дозволено. «Воспитанница» тоже не была одобрена къ представленію, а затѣмъ дозволена лишь благодаря счастливой случайности, а именно благосклонности генерала Анненкова, временно исправлявшаго должность шефа жандармовъ. И все это только одна сторона дѣла. Островскому, кромѣ того, было суждено долго нести тяжесть матеріальныхъ лишеній и нравственныхъ униженій. Онъ жалуется на нихъ въ письмѣ къ актеру Бурдину уже будучи сорока слишкомъ лѣтъ, написавъ двадцать пять оригинальныхъ пьесъ, имѣвшихъ огромный успѣхъ и на сценѣ, и въ литературѣ. Подъ конецъ жизни фортуна повернулась къ Островскому лицомъ: его заслуги передъ родною литературой и сценой были признаны, онъ сталъ хозяиномъ излюбленнаго имъ театральнаго дѣла въ Москвѣ, а до извѣстной степени и во всей Россіи. Но смерть не ждетъ, и на Островскомъ лишній разъ оправдалась старая язвительная сказка-притча о бѣлкѣ, которой достался мѣшокъ орѣховъ, когда у нея уже не было зубовъ...

Теперь Островскій спокойно помѣщается въ храмъ славы, и мы безпрепятственно любуемся его пьесами, въ томъ числѣ и той, для спасенія которой въ свое время понадобилось доброе слово могущественнѣйшаго монарха. Нынѣшніе драматурги, развязные критики, утверждающіе, что Островскій «устарѣлъ», да и многое множество простыхъ зрителей и читателей многому бессознательно научились у Островскаго, и научились-бы еще большому, если-бы дѣлали это сознательно, хотя-бы руководствуясь «устарѣвшею» тоже критикой Добролюбова. Для большинства Островскій есть блестящій авторъ пьесъ: «Гроза», «Не въ свои сани не садись» и проч., пріятно волнующихъ, вызывающихъ то веселый смѣхъ, то «внезапно хлынувшія слезы съ огорченнаго лица». Иные готовы, впрочемъ, признать его знаменитостью былыхъ временъ, которую надлежитъ почтительно (хорошо еще, что почтительно!) дать въ архивъ, дабы очистить мѣсто для новѣйшей драматургіи. Есть, конечно, люди, извлекающіе изъ Островскаго нѣчто, кромѣ извѣстной эстетической эмоціи и извѣстнаго скоропреходящаго настроенія. Но развѣ лишь очень немногимъ приходитъ въ голову, что Островскій есть не просто высоко-талантливый драматургъ, а, вмѣстѣ съ тѣмъ, одинъ изъ выразителей извѣстнаго историческаго момента; и что исторія, подобно женщинѣ, «въ болѣзняхъ родитъ чада», «со скрежетомъ носить, со стономъ родитъ». Высоко поучителенъ тотъ путь всякаго рода борьбы и препятствій, не всегда, какъ у Островскаго, перемежаемыхъ счастливыми случайностями, которымъ судьба даже своихъ любимцевъ ведетъ въ храмъ славы. Любимѣйшій писатель только тогда станетъ вамъ вполне

лсенъ, когда вы, не довольствуясь отвлеченною его оцѣнкой, вдвинете его въ историческій процессъ и уразумѣте многочисленныя и многообразныя его связи съ жизнью. Не говоря о томъ, что его сильныя и слабыя стороны выступать при этомъ рельефнѣе, онъ станетъ вамъ ближе, роднѣе, дороже, когда вы узнаете, какою цѣной куплено то удовольствіе или та польза, которую вы получаете, читая его книгу или статью; какія радости и горести волновали самого писателя; какое наслѣдство получилъ онъ отъ своихъ предшественниковъ, съ кѣмъ изъ современниковъ дѣлилъ его, кому изъ потомства завѣщалъ.

Само собою разумѣется, что исторія не одни благосклонные приговоры изрекаетъ; она «добрыхъ прославляетъ и клеймитъ злодѣя и глупца». И на историческомъ фонѣ, въ общей связи съ идеями и дѣлами своего времени, при наличности хорошо обследованныхъ вещественныхъ и невещественныхъ доказательствъ злодѣйства и глупости, они опять-таки выступаютъ рельефнѣе. Судъ исторіи—страшный судъ. Конечно, далеко не все раздѣляютъ мнѣніе Салтыкова, что непріятно понасть въ исторію съ клеймомъ злодѣя или глупца. Многимъ на судъ исторіи «вполнѣ и исключительно наплевать», какъ выражается кто-то въ одномъ изъ разсказовъ Успенскаго, ибо, вѣдь, насъ не будетъ къ тому времени: пожилъ, потомъ умру, а тамъ хоть и совсѣмъ трава не рости, а не то, чтобы еще разбирать—такая или этакая трава. Бываютъ, однако, случаи, когда судъ исторіи застаётъ насъ еще въ живыхъ...

Я, однако, отнюдь не хочу этимъ сказать, что вышеупомянутая «Исторія новѣйшей русской литературы» г. Скабичевскаго представляетъ собою судъ исторіи. Нѣтъ, это только судъ г. Скабичевскаго. Тѣмъ не менѣе, книга полезная, и авторъ совершенно основательно провидитъ въ предисловіи «слѣдующія изданія своей книги». За ними, конечно, дѣло не станетъ. Мнѣ кажется, однако, что въ этихъ слѣдующихъ изданіяхъ автору надлежитъ озаботиться не только тѣми поправками и дополненіями, которыя онъ, судя по предисловію, имѣетъ въ виду, а и еще кое-какими. Г. Скабичевскій сожалеетъ, что ему «обо многихъ писателяхъ, какъ умершихъ, такъ и въ особенности живыхъ, пришлось дать самыя скудныя біографическія данныя или-же и никакихъ не дать, по неимѣнію ихъ». Эти-то пробѣлы онъ и общаетъ восполнить въ слѣдующихъ изданіяхъ. Это хорошо, конечно, но, повторяю, не въ скудости только нѣкоторыхъ біографическихъ данныхъ состоятъ пробѣлы книги г. Скабичевскаго.

Начну съ подробностей. «Исторія новѣйшей русской литературы» появилась какъ разъ около времени смерти Н. В. Шелгунова; получивъ книгу, я, натурально, сталъ искать въ ней страницъ, посвященныхъ покойнику, литературная дѣятельность котораго занимаетъ доб-

рыхъ три четверти періода, избраннаго г. Скабичевскимъ для своего изслѣдованія. Къ величайшему моему удивленію, я даже имени Шелгунова не нашелъ въ книгѣ. Объясненія этому надо, повидимому, искать въ слѣдующихъ словахъ предисловія: «Пришлось въ значительной степени съузить задачу и ограничиться тѣсными рамками исторіи «изящной литературы» и находящейся въ тѣсной связи съ нею «критики»... О нѣкоторыхъ литераторахъ умолчано, по ихъ ничтожному значенію въ литературѣ, отсутствію оригинальной фізіономіи и своего собственного слова; другіе-же не подлежатъ исторіи, потому что фізіономія ихъ еще не выяснилась, и они, не имѣя за собою никакого прошедшаго, принадлежатъ всецѣло будущему». Шелгуновъ былъ, между прочимъ, и литературнымъ критикомъ (далеко не все его литературно-критическія статьи вошли въ послѣднее изданіе его сочиненій), правда, не блестящимъ и не оригинальнымъ. Но хотя, такимъ образомъ, какъ будто до извѣстной степени и оправдывается оговорка предисловія, я думаю, не мнѣ одному кажется страннымъ полное отсутствіе Шелгунова въ «Исторіи новѣйшей русской литературы», и это указываетъ на какой-то пробѣлъ въ самомъ планѣ сочиненія. Страннымъ кажется также отсутствіе г. Пышина, который, правда, никогда не занимался собственно литературною критикою, но имѣетъ къ ней большое отношеніе, во-первыхъ, своими трудами по исторіи литературы и во-вторыхъ, статьями по вопросу, спеціально занимающему г. Скабичевского въ отдѣлѣ «Беллетристы-народники». Г. Буренину, какъ-бы кто на него ни смотрѣлъ, также слѣдовало-бы отвести мѣсто въ исторіи новѣйшей литературы. Изъ беллетристовъ почему-то совсѣмъ пропущенъ покойный Куцевскій, чрезвычайно талантливый романъ котораго «Николай Негоревъ», кромѣ талантливости, еще и очень характеренъ для своего времени. Сильное, хотя и неровное дарованіе г. Мамина (Сибиряка) заслуживало-бы гораздо большаго вниманія, чѣмъ то, какое ему удѣлилъ г. Скабичевскій, въ особенности по сравненію кое съ кѣмъ изъ другихъ современныхъ беллетристовъ. Съ другой стороны, напримѣръ, г. Потапенко, при несомнѣнной талантливости, развѣ къ одному изъ слѣдующихъ изданій книги г. Скабичевского достаточно выяснитъ свою литературную фізіономію, и я не думаю, чтобы выясненіе это подтвердило характеристику г. Скабичевского.

Послѣднее, конечно, дѣло спорное, и я не навязываю своего мнѣнія г. Скабичевскому. Что-же касается указанныхъ пробѣловъ (число которыхъ можно было-бы увеличить), то они находятся въ связи съ однимъ большимъ изъяномъ въ самомъ планѣ «Исторіи новѣйшей русской литературы». Авторъ устранилъ изъ своего труда «разсмотрѣніе движенія наукъ, публицистики, прессы (т.-е. возникновенія, паденія различныхъ органовъ печати и ихъ взаимныхъ отношеній между собою)». Онъ сосредоточился на изящной литературѣ и литературной критикѣ.

Такъ онъ объясняетъ въ предисловіи. На дѣлѣ, однако, ему тамъ и сямъ приходится говорить и о вещахъ болѣе или менѣе удаленныхъ отъ изящной литературы и литературной критики, и о «возникновеніи, паденіи и взаимныхъ отношеніяхъ различныхъ органовъ печати». Но все это отрывочно и безъ системы. Дѣло въ томъ, что журналистика играла столь важную роль въ избранный г. Скабичевскимъ періодъ времени, что обойти ее нѣтъ никакой возможности въ исторіи новѣйшей литературы. Не будетъ даже чрезмѣрною смѣлостью утверждать, что вся эта исторія есть собственно исторія журналистики. Журналъ, а потомъ и газета опредѣляли собою нѣрѣдко и форму, и содержаніе произведеній даже выдающихся талантовъ; въ журналахъ и газетахъ группировались большія и малыя силы для общаго дѣла: журналы и газеты клали или старались класть свои штемпеля на произведенія даже такихъ писателей, которые стояли, повидимому, въ всякихъ отношеніяхъ къ «возникновенію, паденію и взаимнымъ отношеніямъ различныхъ органовъ печати»; на журнальную или собственно редакторскую работу тратилась значительная часть силъ выдающихся писателей. Какъ оцѣнить значеніе въ новѣйшей русской литературѣ Чернышевскаго, Каткова (котораго, мимоходомъ сказать, въ «Исторіи новѣйшей русской литературы» совѣмъ нѣтъ), Салтыкова, Курочкина, Шелгунова и проч. и проч., безъ отношенія къ ихъ роли руководителей періодической печати? Но журналы и газеты служили, кромѣ того, точкою приложенія для работы второстепенныхъ и третьестепенныхъ силъ, въ массѣ имѣвшихъ, однако, большое значеніе и выразившихъ собою извѣстное литературное теченіе. Я говорю въ прошедшемъ времени — «имѣли», «служили» и проч. потому, что рѣчь идетъ объ исторіи. Но вотъ, напримѣръ, г. Скабичевскій счелъ возможнымъ ввести въ свою книгу г. Чехова, о которомъ справедливо говорить, что это писатель съ большимъ талантомъ, тратящійся, однако, на поверхностное и безцѣльное творчество оборванныхъ картинокъ калейдоскопическаго характера. Справедливо также полагаетъ г. Скабичевскій, что этотъ моментально-фотографическій родъ искусства выработанъ требованіями газетъ и иллюстрированныхъ еженедѣльныхъ изданій. Но этого мало. Разъ уже г. Чеховъ попалъ въ исторію литературы, должны въ нее попасть и тѣ критики и публицисты, которые, указывая на г. Чехова, восклицаютъ: се чловѣкъ! — и затѣмъ громятъ направо и налѣво все, что не похоже на г. Чехова и не желаетъ быть на него похожимъ. Не изъ тучи этотъ громъ, конечно, не великіе критики излагаютъ эти мысли, но при всей своей малости, они для переживаемаго нами момента характернѣе, быть можетъ, самого г. Чехова.

Повторяю, исторія новѣйшей русской литературы можетъ быть сведена на исторію журналистики. И я не устоялъ-бы передъ соблазнительностью этого плана, если-бы взялся за обширную и трудную за-

дату, принятую на себя г. Скабичевским. Почтенный авторъ можетъ со мной не соглашаться, но полагаю, что, по крайней мѣрѣ, новая глава о значеніи и роли журналистики въ новѣйшей русской литературѣ будетъ отнюдь не лишнею въ послѣдующихъ изданіяхъ. Подобная глава объединить книгу, въ которой, къ сожалѣнію, составныя части и не совѣмъ пропорціональны, и часто отрывочны. Исторія такого обширнаго и сложнаго предмета, какъ литература, и особенно наша литература 1847—1890 гг., требуетъ установленія какой-нибудь центральной оси, около которой располагались-бы отдѣльныя явленія въ порядкѣ ихъ важности по отношенію къ этой оси. Разумѣю какой-нибудь принципъ, какую-нибудь идею, которая или сама по себѣ, или по обстоятельствамъ времени и мѣста представляется историку настолько значительною, что ее можно взять за центръ изслѣдованія и отношеніемъ къ ней мѣрить значеніе отдѣльныхъ литературныхъ явленій—исателей и ихъ произведеній. Такую центральную идею легче всего пайти тамъ, гдѣ различныя мнѣнія группируются, сталкиваются, отталкиваются, другъ друга поправляютъ и дополняютъ,—то-есть въ журналистикѣ. Возможно, что г. Скабичевскій счумѣлъ-бы установить такую центральную идею и не занимаясь журналистикой вплотную. Но, во всякомъ случаѣ, она въ его почтенномъ трудѣ и недостаточно ясно установлена, и недостаточно послѣдовательно проведена. Оттого-то, несмотря на всѣ оговорки предисловія, отдѣльныя составныя части «Исторіи новѣйшей русской литературы» не имѣютъ той связи, какая имъ приличествуетъ.



INSTYTUT
BADAŃ LITERACKICH PAN
BIBLIOTEKA
60-330 Warszawa, ul. Nowy Świat 71
Tel. 26-68-63

F

24.147